

К. ХОЛТ
Х. ТЮСБЕРГ

Наследие КОДУНГОВ

К. ХОЛТ
Х. ТЮСБЕРГ



Наследие конунгов



KAARE HOLT
KONGEN. 1969
HERSKER OG TRELL

HARALD TUSBERG
HAKON. ARVEN 1993

© Gyldendal Norsk Forlag, 1996

© Издательский центр «ТЕРРА», 1997

Наследие КОНУНГОВ



КОРЕ ХОЛТ

Конунг.
Властитель и раб

ХАРАЛЬД ТЮСБЕРГ

Хакон.
Наследство



МОСКВА
«ТЕРРА»—«TERRA»
1997

УДК 82/89
ББК 84 (4 Нр)
Н 31

Редколлегия серии
Наталия Будур
Любовь Горлина
Сергей Кондратов
Ирина Шурыгина

Художники
Елена Грачева
Татьяна Хрычёва

Перевод с норвежского
Екатерины Медяковой
Нины Федоровой
Татьяны Чесноковой

Серия «Викинги»
подготовлена Издательским центром «ТЕРРА»
совместно с Центром скандинавской культуры «НОРД»

ISBN 5-300-00982-2

СОДЕРЖАНИЕ

К читателю

7

К. Холт

Конунг. Властитель и раб
перевод с норвежского
Е.Медяковой и Т.Чесноковой

8

Х.Тюсберг

Хакон. Наследство
перевод с норвежского
Н.Федоровой

376

Карты

549

К ЧИТАТЕЛЮ

В предыдущем томе нашей серии под названием «Конунг» читатели уже познакомились с одним из самых драматичных в истории Норвегии периодов — эпохой «гражданских» войн и «самозванничества» (XI—XII вв.).

В стране было два конунга — Сверрир и Магнус, причем первый имел на престол права весьма сомнительные.

Сверрир возглавлял войско биркебейнеров (букв. «березовоногие»), которые получили это прозвище за то, что пообносившись за время скитаний в лесах, завертывали ноги в бересту.

Против сторонников Сверрира выступали кукольщики (или плащевики) и посошники.

Кукольщики приверженцев Магнуса называли из-за плаща без рукавов и с капюшоном, которые носили духовные лица, которые, в основном, и противились власти Сверрира.

Епископ Никлас даже собрал против самозванца войско, получившее прозвание посошники (от епископского посоха).

Вообще, надо сказать, что в этой борьбе противники не особенно стеснялись оскорблять друг друга. Вот как описывается это в старой «Саге о Сверрире»: «У Николаса и его людей был мальчик, которого они называли Инги сын Магнуса конунга сына Эрлинга.

Берестеники же говорили, что он датчанин и зовется Торгильс Кучка Дерьма».

Об этом периоде и о борьбе за власть после смерти Сверрира пойдет речь в этой книге.

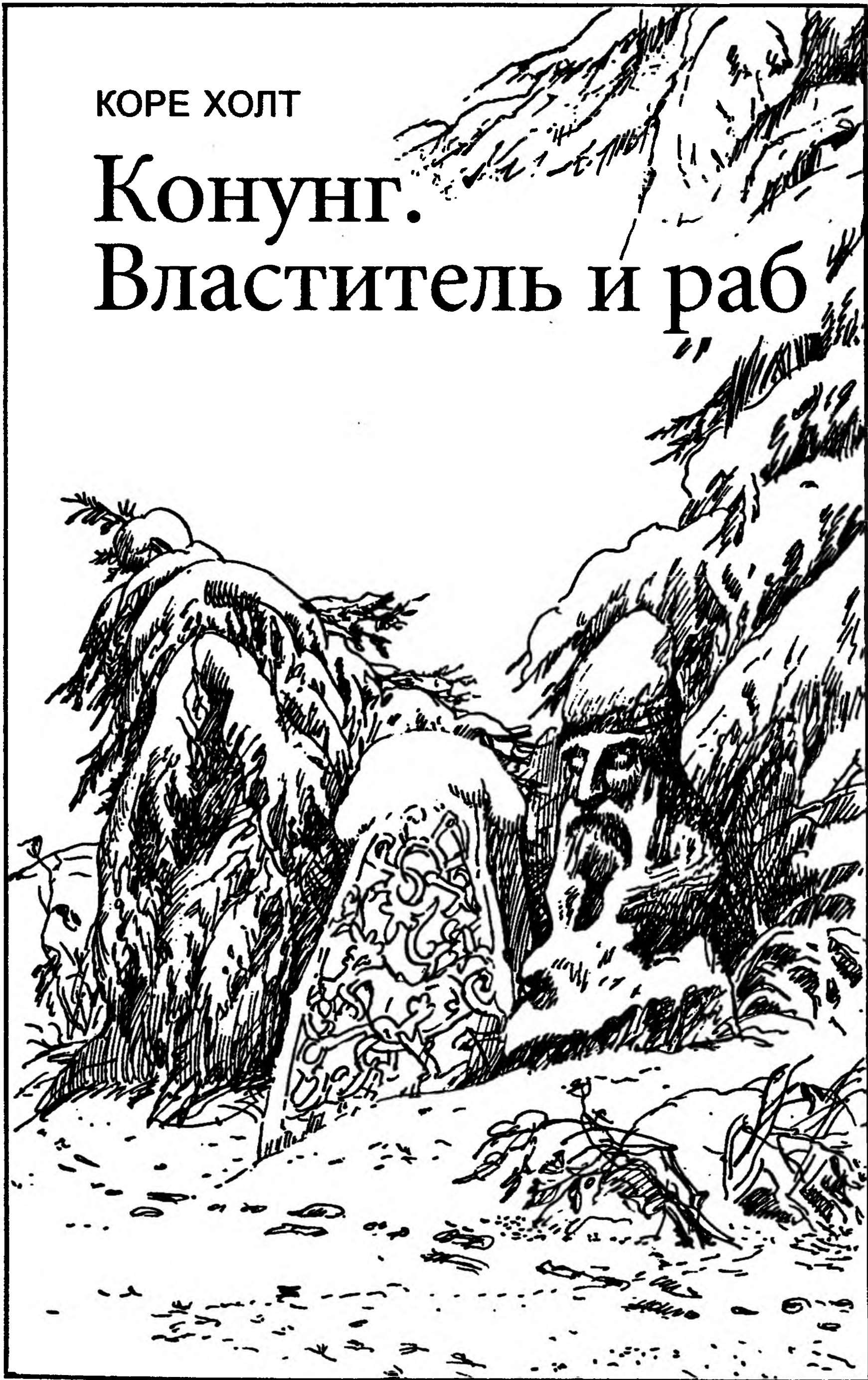
В том вошли заключительная часть трилогии Коре Холта «Конунг» и роман Харальда Тусберга «Хакон. Наследство».

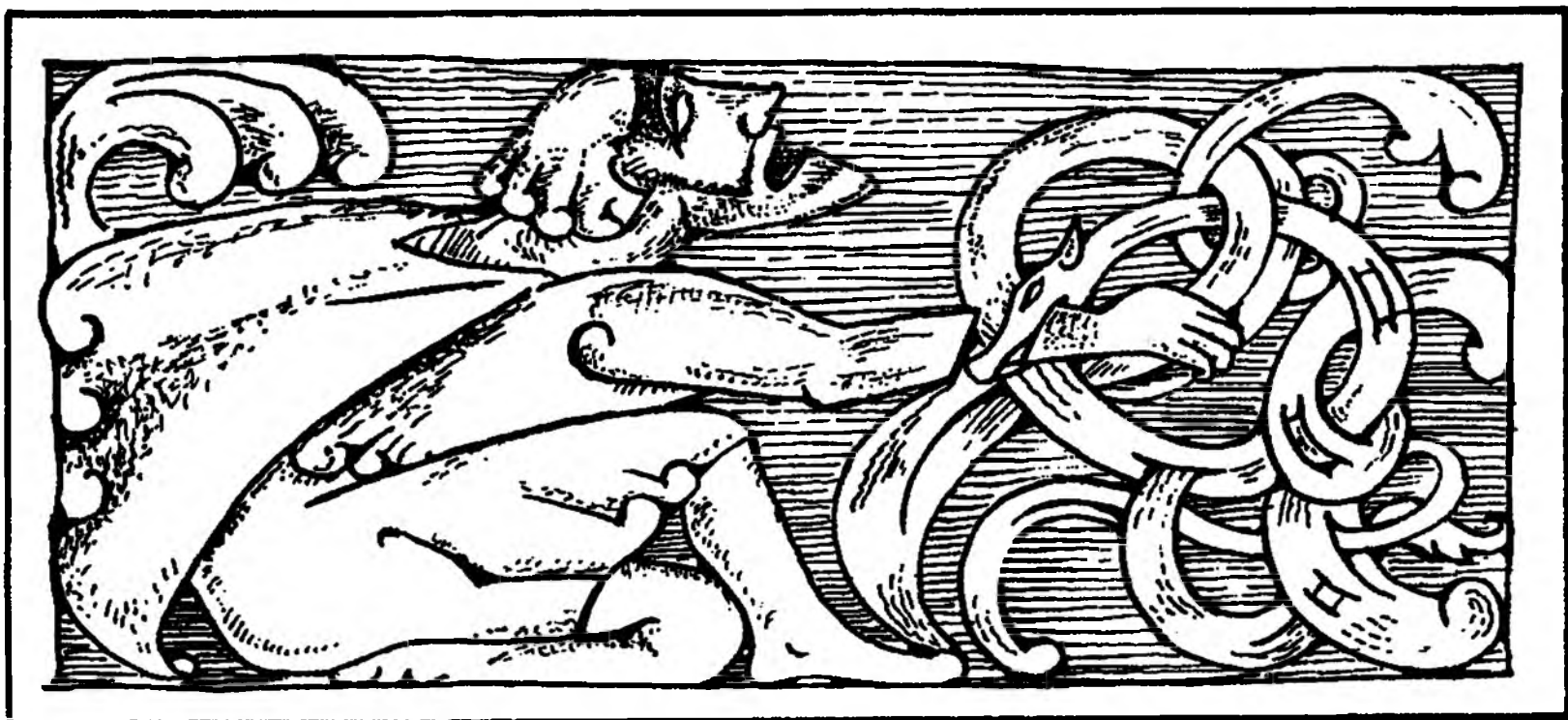
Счастливого плавания на викингских драккарах!



КОРЕ ХОЛТ

Конунг. Властитель и раб





ПРОЛОГ

Я

, Аудун Фаререц, верный спутник конунга Сверрира в добрые и лихие времена. Я все еще здесь, в усадьбе Рафнаберг в Ботне, — мрак сгустился над этим затерянным человеческим жилищем у края отвесной кручи, обрывающейся в море. Вокруг очага стоят мои немногочисленные воины, биркебейнеры*, сжимая в руках оружие. Вместе с ними Мальш, тщедушный горбун, раньше личный слуга конунга Сверрира, а теперь мой. Тут же и хозяин усадьбы бонд Дагфинн, и его бедная жена по имени Гудвейг. Справа от меня, в ночной сорочке, в синем плаще на плечах стоит дочь покойного конунга Сверрира йомфру Кристин и с ней ее служанка, прекрасная йомфру Лив.

Сюда, в Рафнаберг, мы прибыли на восьмой день после праздника Перстня**, когда кровь Господа нашего Иисуса

* Биркебейнеры или берестеники — прозвище, данное повстанцам, сторонникам конунга Эйстейна Девчушки, они скрывались в лесах, обувь у них изнашивалась, и они заворачивали ноги в бересту (Здесь и далее прим. переводчиков.).

** Праздник Перстня отмечается 12 сентября. В средневековье был местным Нидаросским праздником, отмечавшимся в память о том, что в 1165 г. в церковь Христа была привезена капля Христовой крови, очевидно, в капсуле, имевшей форму перстня.



Христа была перенесена из Йорсалира* в Нидарос**. Спасаясь бегством из Осло в Бьёргюн***, мы оказались в этих краях и были вынуждены искать убежища в усадьбе Рафнаберг. Корабли баглеров**** стояли южнее, в устье фьорда, запирая нам выход. Жестокие противники конунга Сверрира назначили высокую цену за мою голову — это так. Ибо я, священник и воин, следовал повсюду за конунгом Сверриром, и был единственным свидетелем всех его тайных подвигов и злодеяний. Они назначили высокую цену и за йомфру Кристин, не за голову ее, но за юное, девственное лоно. Есть только один человек, способный уберечь ее от этого позорного надругательства. Этот человек — я.

Пока зимние метели хранили нас от натиска баглеров, я коротал время, рассказывая йомфру Кристин суровую и прекрасную сагу о ее отце конунге. Я уже достиг того дня в одном далеком году, когда ярл Эрлинг Кривой опустился на колени в собственную кровь и лобызал корни травы в агонии смерти. Здесь я был вынужден прервать рассказ о конунге Сверрире, ибо один из моих людей — впрочем, я неправ, называя его своим, он не принадлежит никому, кроме всемогущего Сына Божия, — без моего позволения решил прорваться сквозь снежные сугробы к баглерам в Тунсберг. Он хотел броситься в ноги нашим недругам и сказать: «Даруйте нам мир! Дочь конунга, которую вы ищете, в Рафнаберге в Ботне! Убейте ее или надругайтесь над ней, — и кровь юной госпожи на ваших руках ввергнет вас в геену огненную. Или же, дрогнув при виде гнева всемогущего Господа, отбросьте ваше оружие и положим конец проклятой братоубийственной войне».

Так хотел он сказать.

До этого происшествия я созвал своих людей и всех, кто был в усадьбе, и сказал: кто предаст нас, лишится руки.

Это мало помогло. Гаут покинул нас без моего позволения. Я послал за ним одного из лучших моих людей, Сигурда из Сальтнеса. Сигурд привел Гаута назад.

* Иерусалим.

** Трондхейм.

*** Берген.

**** Баглеры, или посошники (от епископского посоха) — возглавлялись представителями крупной аристократии и католическими прелатами.

У Гаута и прежде была только одна рука, другую ему отсекли еще в юности. С тех пор Гаут бродил по стране, чтобы прощать. Он верил — с настойчивостью, достойной уважения, хотя порою и злившей меня, — что если он найдет виновных и простит, рука отрастет заново. Когда он опять стоял передо мной — замерзший, побежденный, но умевший внушать своим противникам мысль о поражении, — я собрал своих немногих биркебейнеров, кликнул усадебную челядь и велел Малышу призвать сюда йомфру Кристин и ее служанку, прекрасную йомфру Лив.

Я сказал:

— Здесь, вокруг очага, дочь конунга и вы, мои воины! Наш долг защищать ее: как апостолы Иисуса следовали за Спасителем, так и мы должны следовать за йомфру Кристин. Но нашелся и среди нас подобный Иуде, так пусть же он дорого заплатит за свое предательство — так, что пресвятая Богородица заплачет кровавыми слезами и отвратит от нас свой лик.

Итак, я отсеку его единственную руку.

Имеет одну, пусть же не имеет ничего.

Но слабость обуяла меня. Я крикнул собравшимся:

— Что сделал бы конунг, стоя на моем месте? Ты, Гаут, был и моим другом, и конунговым, — всегда прощал ты, когда мы осуждали. Что сделал бы конунг Сверрир, грозный, но милующий, на моем месте?

Йомфру Кристин сказала:

— Господин Аудун, дозвошь спросить тебя: что за сокровенная сила была в моем отце конунге? Что таил он в сердце, невидимое никому?

Я отвернулся от нее, схватил за грудки Сигурда, приподняв его над полом. — Уведи Гаута, — сказал я, — Ты человек конунга, поступи с ним так, как по-твоему, гласила бы воля конунга. И приведи его сюда — с единственной рукой или без нее.

Сигурд взял Гаута и вышел.

Йомфру Кристин промолвила:

— Скоро они возвратятся...

Они вернулись, — и кровавый шлейф стелился позади человека, ходившего по стране, чтобы прощать.



Гаут в беспамятстве прикасается к моей рубахе и пачкает ее кровью. Меня мутит, я хочу оттолкнуть его. Кричит женщина, я прислоняю Гаута к длинному столу, пытаюсь нащупать руку, которой больше не существует. Кричу людям:

— Прочь отсюда! Все по местам! Кто заснет, лишится руки!

Люди вскакивают, у очага остаются женщины, бонд Дагфинн, Гаут и я. Гаут сползает на стол, лицо белое, как нутряной жир. Я склоняюсь над ним, чтобы узнать, есть ли в нем еще дыхание жизни. Тогда он поднимает голову и целует меня. Я отшатываюсь, потом хватаю его и тащу к скамье, укладываю там. Кричу Дагфинну:

— Неси сюда лежанку!

Кричу Гудвейг:

— Неси холст и смолу!

Стягиваю с себя рубаху, запихиваю ему под голову. Он слабо кивает в знак благодарности.

Йомфру Кристин отворачивается и распахивает полы синего плаща. Что-то отстегивает, и вот уже подает через стол свою белую ночную сорочку. Гудвейг — молчаливая, без жалоб и стенаний — поставила на огонь чан со смолой, он кипит... То, что я делаю, на моих глазах делали очень часто, — когда изменнику-горожанину или мятежному бонду отрубали руку. Я затягиваю культю веревкой, и кровь останавливается. Проворным движением втираю горячую смолу в свежую рану. Гаут вскрикивает — он лежал без сознания, боль заставила его вскочить. Я снова укладываю его. Он кричит, как раненый зверь — и кто-то падает на пол за моей спиной. Это йомфру Лив. Она так и лежит перед очагом. Я в другой раз прижигаю смолой обрубок руки, теперь он пахнет паленым. Гаут вырван из глубокого беспамятства и полусидит на скамье. Он больше не кричит — но так прикусывает язык, что кровь сочится по бороде и смешивается с кровью на его рубахе. Я раздеваю его. Впервые я вижу Гаута нагим: строитель храмов, прежде однорукий, теперь и вовсе без рук. Входит Гудвейг с ночной сорочкой йомфру Кристин. Йомфру Кристин тоже приближается и помогает держать кровоточащую культышку Гаута. Я бинтую ее, веду Гаута к лежанке, поставленной Дагфинном в углу у очага. Там укладываю.

Он вновь погружается в беспамятство.

Йомфру Кристин развязывает мешочек на поясе и высыпает в ладонь какие-то зернышки. Это засушенные лепестки роз и лаванда. Она кладет зерна на камни очага и зажигает благовония, чтобы прогнать тошнотворные запахи крови. Освежающий аромат цветов и жара смешиваются с другими запахами: человеческого пота и горелого мяса. У меня кружится голова, я плетусь к скамье и падаю на нее.

Входит Гудвейг с охапкой сена и бросает ее в кровь на полу. Я вижу, как поднимается лежавшая без сознания йомфру Лив. Она выходит из комнаты. Йомфру Кристин — дочь моего покойного конунга садится возле меня и плачет. Узкие плечики вздрагивают под плащом.

— Йомфру Кристин, — говорю я, — у меня в поясе есть серебряная коробочка, с териак^{*}. Я купил его однажды за большие деньги у одного из крестоносцев, возвращавшихся домой из Йорсалира. Эта коробочка всегда со мной, во всех скитаниях. Я хотел, если ты занеможешь, располагать единственным целебным средством. Хочешь, отдадим его Гауту?

Она кивает в ответ.

Я зову Гудвейг, та подогревает молока, я открываю коробочку, высыпаю териак в молоко и размешиваю.

Поднимаю Гаута, открываю ему рот и запрокидываю назад голову. Зажимаю его ноздри и лью молоко в горло.

Йомфру Кристин говорит:

— Когда Гаут покинул нас, чтобы найти в Тунсберге баглеров и броситься им в ноги, ты велел фру Гудвейг пасть на каменное крыльцо и молить Бога в ночи о моей безопасности. Теперь мне надо молиться о Гауте?

Я склоняю голову и размышляю. Понятно, что грешная фру Гудвейг вряд ли тронет Господа своими мольбами.

— Приведи йомфру Лив, — говорю я. Она приходит, и я обращаюсь к ней: — Ты, йомфру Кристин, ничком ляжешь на каменные ступени и будешь молить о жизни нашего доброго Гаута, ночью, на холодном ветру, легко одетая.

Лив покорно снимает плащ, я даю ей овчину, чтобы преклонить колени, и она уходит в ночь бормотать свои бесчисленные молитвы.

* Целебное средство, открытое придворным врачом Нерона Андромархом.

Гаут открывает глаза.

Я понимаю, что он хочет говорить со мной, и склоняюсь над ним.



Гаут говорит:

— Я хочу простить всех, причинивших мне зло.

— Да! Да! — отзываюсь я, не в силах совладать с собственным голосом. — Прости меня, Гаут, за то, что я содеял!

— Не ты первый, — говорит он. — Яви мне милость, позови сюда Сигурда.

Я сразу усматриваю непозволительное в этой просьбе. У нас так мало людей в дозоре: двое на берегу и двое в лесу с западной стороны. Поэтому я прошу Гаута повременить. Быть может, втайне я питал недостойную надежду, что он испустит дух до наступления дня? Я говорю, что Сигурда нельзя снять с поста среди ночи, его приведут с рассветом, Гаут! Тогда ты и даруешь ему свое прощение.

— Сейчас, — отвечает он.

И столько мощи в его голосе — хотя он слаб, — такая неукротимая сила в его горячем взгляде, что мне остается только кликнуть Малыша. Тот подходит, я едва сдерживаюсь, чтобы не ударить его, заметив искру презрения в маленьких лукавых глазках: понимает ли он, в какой мучительный переплет я попал?

— Приведи Сигурда! — приказываю я. Даю Малышу оплеуху и отпускаю.

Да, приведи Сигурда. А пока я сижу возле Гаута с тихой надеждой, что он умрет, не успев встретиться со своим палачом. На ум приходит воспоминание о другой встрече с Гаутом — в те времена, когда конунг Сверрир и я были молоды. Мы солгали ему, как делали часто, — Гаут повернул наши лица к огню и произнес: «Пусть свет падает прямо в ваши глаза! Я заставлю вас говорить правду!» Хотя это было ему не по силам. Это значило требовать невозможного — в покоях конунга.

Теперь он лежит... В лучшем случае он будет влачить жалкое существование безрукого и умрет, когда ни у кого не найдется времени вложить ему в рот кусок хлеба. Сможет ли он пастись, как лось в сосновом бору, поедать отбросы подобно свинье, на коленях среди

поросят, без помощи рук, опустив рот в помой? Я слышу, как он бормочет молитву бескровными губами.

Они входят: Малыш, с тайной искоркой восторга в глазах, за ним Сигурд — мужество покинуло его. Гаут храбро приподнимается под пологом, я замечаю, как дикая радость играет в его лихорадочных глазах. Он пытается поднять руку — забыв, что она отрублена, — хотел поманить Сигурда поближе пальцем. Но пальцев нет — ни одного.

— Подойди, — стонет он. Сигурд подходит.

— Я прощаю тебя, — молвит Гаут. — Это не твое злодеяние, ты поступил так, думая, что такова воля твоего конунга. Аудун был слишком слаб, чтобы сказать «да» или «нет». Он оставил слово за тобой. В его сердце боролись два веления. В твоём было только одно. Не знаю, что повелело бы сердце конунгу Сверриру, будь он все еще жив.

Гаут опять хочет протянуть руку, чтобы благословить Сигурда, и с криком падает на постель. Я бросаюсь вперед и поднимаю его. Кровь попадает мне на руки, когда я прикасаюсь к холсту, обмотанному вокруг культи. Гаут говорит:

— Наклонись, Сигурд. Я хочу поцеловать тебя, чтобы запечатлеть свое прощение.

Сигурд отпрянул: едва ли его губы часто встречались с чужими. Мне кажется, он никогда не целовал женщин, пока не затаскивал их в постель. Наверное, он лобзал церковные стены, идя на битву — из страха перед Всемогущим, — но весьма редко оценивал благоговейным поцелуем красоту распятия. Гаут не дает ему отвертеться. Взгляд кротких, но таких упрямых глаз безрукого человека нацелен прямо в глаза палача. И последний сдается.

Свет от очага падает на них, я вижу обоих. И понимаю, что нет иного пути, кроме избранного Гаутом. Я говорю Сигурду:

— Пусть будет так!

Сигурд склоняется над Гаутом.

И Гаут целует его.

Потом Гаут говорит, и злоба сквозит в его усмешке:

— Кто получил прощение за свое преступление, тому ничего не страшно — ни преисподняя, ни воинство Господне. Ты, причинивший мне зло, теперь должен сделать добро. Возьми мою отрубленную руку, — она лежит в снегу, уже окоченевшая, — возьми ее, не оттаивай,

а храни ее так, будто это рука твоего друга (впрочем, так и есть), — поспеши в церковь в Ботне и зарой ее там. Первая рука, которую мне отрубили, не была предана освященной земле. У меня не было никакого опыта в обращении с мертвыми членами, — и я закопал руку возле своего дома в Нидаросе. Теперь я все знаю лучше. Рука однажды восстанет из мертвых. И ты, Сигурд, отрубивший ее, должен позаботиться о том, чтобы однажды она ожила. А теперь ступай с Богом.

Сигурд дрогнул, такое случалось нечасто. Чаще я видел его бросающимся в атаку по зову конунга, — хладнокровнее многих, человек, способный рубиться мечом и вонзать клинок в мягкие животы противников. Теперь он дрогнул. Я говорю Гауту:

— Ты знаешь, я не могу обойтись без Сигурда. У нас слишком мало людей в дозоре. Ты должен подождать, Гаут!

Он возражает:

— Если рука не попадет в освященную землю, пока я жив, она не попадет туда никогда. Сигурд должен отправиться немедленно.

— Но Сигурд не осмелится! — кричу я.

— У Сигурда будет больше причин для страха, если он не пойдет, — говорит Гаут. Голос его силен и ясен, возможно, это его последний час, а умирающие порой обретают новую силу. — Если он не пойдет, пусть убоится Господа! А если пойдет, ему остается страшиться только дьявола.

Я знал Гаута, его упрямство и здравый, но односторонний ум, его яростное стремление творить добро.

— Осмелишься? — спросил я Сигурда. Он не отвечает. Он содрогается. Спрашивает:

— А ты осмелишься?

Я отвечаю не сразу. Знаю, что не могу оказаться ночью вдали от Рафнаберга, от йомфру Кристин и своих людей.

— Вы не осмеливаетесь? — спрашивает Гаут. — Если бы я имел силы, то пошел бы с вами. Мы втроем несли бы отрубленную руку как наше общее достояние. А когда-то она была только моей...

Он смеется, глядя на нас почти с издевкой, значит, еще не умирает. Я понимаю, что еще много ночей он будет терзать меня своим благородством. Мы должны покончить с этим. Входит Малыш. Я говорю ему:

— Малыш! Принеси сюда отрубленную руку Гаута.

Малыш колеблется, на миг в его маленьких лукавых глазках мелькает страх. Я ловлю себя на мысли, что хочу ударить его кулаком в лицо, — но он достает мне только до живота. Он поворачивается и убегает. А вскоре возвращается, неся отрубленную руку.

— Возьми ее, — говорю я Сигурду.

Он вздрагивает, но берет. Я тоже сжимаю ее и содрогаюсь.

— Теперь и Сигурд взял руку, и я, — говорю я Гауту. — Теперь мы оба связаны с нею. Сейчас Малыш пойдет в церковь в Ботне и закопает ее там.

— Позволь мне сперва поцеловать руку, — молвит Гаут.

Я подношу ему обрубок. Рука зачоченела, он склоняет голову и целует ее. В тот же миг крупные слезы начинают катиться по его старым щекам, он не может их утереть, я достаю из-за пояса платок и помогаю ему.

— Ступай, Малыш, — говорю я, — и если ты не исполнишь моего приказания, отрублю тебе обе руки.

Малыш хватает обрубок и исчезает.

Сигурд возвращается на пост.

Гаут говорит:

— Господин Аудун, дозволю поцеловать тебя в губы. Надеюсь, что сердце твое мягче, чем они.

Я наклоняюсь, и он целует меня.

— Целовал ли ты когда-нибудь конунга? — спрашивает он.

— На смертном одре, — коротко отвечаю я.

— А прежде у тебя не хватало мужества? — вопрошает Гаут. — Или у него?

— Молчи! — ору я. Он смотрит на меня — долго, и я поворачиваюсь к нему спиной. Вскоре Гаут засыпает.



Я чувствую, что сзади кто-то есть, и медленно оборачиваюсь. Там стоит йомфру Кристин в синем плаще, туго стянутом на плечах.

— Я вернулась, — произносит она с тихой учтивостью, — чтобы узнать, не требуется ли тебе, господин Аудун, моя помощь в ночных бдениях возле нашего доброго Гаута.

Я склоняю голову и благодарю ее без слов. «Наш добрый Гаут», — сказала она. Значит, человек, который покинул нас, чтобы разыскать

в Тунсберге баглеров, для нее все еще «добрый Гаут». Я прошу ее присесть на лавку у очага. Подбрасываю дров, и огонь разгорается ярче. Она так юна на вид — так бела кожа, благородна осанка, без тени страха, в глазах живой ум и глубокая скорбь. Она — дочь моего покойного друга, и мое старое сердце сжимается при мысли, что ее отца конунга больше нет среди живых.

Чуть помедлив, она говорит:

— Позволь мне, господин Аудун, узнать твои сокровенные мысли. Верил ли Гаут в свое благое предназначение, наполнилось ли его сердце уверенностью, что баглеры простят всех нас, когда Гаут принесет им весть о прощении? Я думаю, он верил...

Сперва я не отвечаю, потом говорю так:

— Здесь, в Рафнаберге, сделано все, что можно. Наши малочисленные воины стоят на страже, они хорошо вооружены. Йомфру Лив простерлась ниц и молится о здоровье Гаута и твоей безопасности. На ней одежда, похожая на твою, чтобы запутать врагов. У нее на шее твое распятие, полученное в подарок от отца конунга. Если явятся баглеры, они поверят, что такой драгоценностью может владеть только конунгова дочь. Мы должны остаться в Рафнаберге до прихода весны. А тогда мы уедем отсюда.

— Господин Аудун, — молвит она с ноткой разочарования в голосе, ибо я охотнее говорю о вооруженных людях, нежели о безоружных. — В иные ночи ты коротал время, рассказывая мне суровую, но прекрасную сагу о моем отце конунге. Твоя повесть прервалась, когда вернулся Гаут. Найдешь ли теперь силу и мужество продолжить — вплоть до того часа, когда Сверрир, конунг Норвегии, отправился на великое свидание с Господом?

Я отвечаю не сразу, во мне борется желание и нежелание. Продолжать? Здесь, перед лицом того, кто по моему повелению лишился единственной руки? Но ухо йомфру Кристин жаждет внимать звуку моей речи — она подавила страх и полна нежности ко мне, бывшему близким другом ее отцу конунгу... Это будит во мне желание, которому нет силы противостоять. Но я все еще колеблюсь под тяжестью бремени, взваленного на мои жалкие плечи: я должен раскрыть последнюю великую тайну конунга.

— Я спрашивала себя нынче ночью, — говорит она. — Что сделал бы мой отец конунг на твоем месте? Если бы стоял там, где стоял ты,

и Сигурд явился бы с Гаутом. Ты однажды назвал моего отца конунга грозным, но милующим. А какова была его сокровенная дума? Подстегивала его болезненная жажда славы, или он почил в уверенности, что тяга к справедливости была его тайной силой? Продолжив свою повесть, ты можешь дать мне ответ.

Она выпрямилась на лавке, сильная юная женщина, бесстрашнее иных мужчин. Я подошел к Гауту и прислушался к его дыханию. Он еще жив. Я занял место у огня напротив йомфру Кристин:

— Я знаю, что для тебя моя повесть драгоценна, — сказал я, — и ничто не радует сердце старика сильнее этого. В ночь, когда Малыш спешит предать освященной земле мертвую руку Гаута, а сам он так мужественно готовится предстать перед Всевышним, я продолжу свой рассказ для тебя.

Ты спрашиваешь: «Что за сокровенная дума была у конунга, грозного, но милующего?» Йомфру Кристин, тот, кто хочет разгадать загадку конунга Сверрира, должен разгадать загадку человеческого сердца. А эта загадка неразрешима.

Но я верю, что однажды, в необозримо далеком далеке, душа Гаута поцелует душу конунга, и они сольются воедино.



ЛЕТО В НИДАРОСЕ

Уомфру Кристин, я расскажу тебе о твоём отце конунге, о его силе и бессилии в этой стране. Я начну с лет, последовавших за тем, как главный противник конунга ярл Эрлинг Кривой лобызал корни травы в агонии у Кальвскинни и был предан земле под звон капли с крыши Церкви Христа в Нидаросе. Конунг держал речь над могилой своего недруга, а сердца вокруг были исполнены ненависти. Исполнены ненависти — у сторонников ярла, и готовы разорваться от радости у нас, сподвижников конунга Сверрира. Сын ярла, конунг Магнус, сбежал после битвы. Он плыл вдоль побережья с несколькими струтами, добрался до Бьёргюна, подстрекая людей к новой расправе, получил благословение и сильное подкрепление от нидаросского архиепископа Эйстейна, снова ринулся в сражение и был с позором изгнан из страны. Архиепископ спасся бегством к своим друзьям в Англию, а конунг Магнус устремился в страну данов. Сверрир из Киркьюбё на Фарерских островах, священник и воитель, ещё два года назад опальный, вне закона, стал конунгом Норвегии.

Многие противостояли Сверриру в этом королевстве, которое теперь было его. Да, такова горькая правда — и он бесстрашно заглянул ей в глаза: к югу от восьми фюль-



ков Трёндалёга, по ту сторону гор Довре в Уплёнде и на западе, во фьордах Бьёргюна только сильное войско могло защитить конунга Сверрира от мрачной ярости бондов. В Вике в конунговых усадьбах сидели ленники Эрлинга Кривого и правили окрестными землями так, словно их господин еще жив. Сверрир — пришелец из дальних шхер, священник из Кирккюбё, — был провозглашен конунгом на Эйратинге. Однако почетного места в сердцах своего народа он не завоевал.

Хотел ли он добиться его? Мы часто беседовали об этом. Он был уже с первыми нитками седины на висках, без бывшего блеска рыжеватой бороды, запомнившегося мне в годы первой юности. Возможно, меньше живости в его движениях — зато больше основательности, а такой глубины и такого жара во взоре я никогда не встречал у других, с кем меня сводила жизнь. Крепок в вере во всемогущего Сына Божия. Однако без горячности и излишнего религиозного экстаза, который может только ослабить ясность разума. Доброжелательный к каждому другу, не лишенный снисхождения к врагу. Но мало встречал я таких, — да нет, йомфру Кристин, пожалуй, ни одного, — кто был бы настолько свободен от величайшей лжи наших дней, будто каждое сердце покупается за серебро.

Он был бесстрашен. Однако никогда не стоял в первом ряду в шуме битвы, для этого он был слишком умен. Открытый во всех своих проявлениях, — так думали многие, но лишь несколько ближайших людей знали, что за открытостью скрывалась запертая келья. И никто не проскользнул туда. Да, его сокровенная дума: сколько я пытался отыскать ее, и верю, что находил, — время от времени. Он всегда оказывал мне величайшее доверие. Иногда эта ноша была непомерна: он открыл мне, что даже я никогда не проникну в его последнюю тайну.

Знал ли он сам, что за тайный ветер гуляет в его сердце? Да, йомфру Кристин, насколько это вообще доступно человеку. Он освещал свое сердце ярким светом разума, но видел порой только темноту. Он часто говорил: — Ты веришь, что я сын конунга, Аудун? Говорил это с изменчивой улыбкой: то светлой, полной надежд, то горькой, удрученной сомнением. С радостной улыбкой того, для кого ответ мало значит, и с усмешкой, прикрывающей душевную муку. Он знал, что рожден с силой конунга. Но был ли взращен в конунговых яслях? Он

справлялся, но годы шли, возвращая сомнения. Он пестовал в себе веру. И я убежден, что он окончил свой век, веря, что он сын конунга.

В годы, последовавшие за гибелью ярла Эрлинга Кривого, наше войско подвергалось постоянным напряженным тренировкам. Хёвдингом войска теперь был Гудлаут Вали. Он был человек с весьма скудным умом, доблестный в бою, настолько простой, что любая истина, — даже самая сомнительная, — прочно сидела в нем. По мере того, как слава конунга росла, к нам стекались крестьянские юноши из окрестных земель. Оружейники круглыми сутками трудились над клинками. Хёвдингом над малой дружиной был Свиной Стефан, близкий друг Сверрира и мой еще по Киркьюбё. Горьким уделом конунга было иногда посылать свою дружину сжечь какую-нибудь усадьбу, если бонд отказывался отдать конунгу причитавшееся ему по праву. Я знаю, что конунг Сверрир делал это без особой радости. Но никто, йомфру Кристин, из множества людей, известных мне по ратной жизни, не мог отдать подобный приказ более бесстрастным голосом, чем твой отец конунг.

Мы возвели сеть сторожевых башен по всему Трёндалёгу. При каждой из них стояли дозором наши люди. Мы знали, что если дождь и туман не залегли в горах сплошной пеленой, то сигнальные костры предупредят нас о нападении менее чем за трое суток. Мы также разослали повсюду лазутчиков (не все они вернулись) — да, даже в стране данов имелись у нас люди с острыми глазами и хорошей памятью, способные сообщить конунгу Сверриру, что предпринимают Магнус и его сообщники. Магнус тоже имел лазутчиков в нашем стане. Некоторых мы знали. Они об этом не подозревали. Конунг приказал держать их под наблюдением, но не хватать и не вешать. Менее дальновидные в свите конунга не одобряли этого. Но конунг сказал:

— Весть о наших деяниях все равно дойдет до Магнуса. Повесь мы пару его лазутчиков, это только обострит бдительность остальных. Пусть верят, будто им ничто не угрожает. Пусть видят, что наша мощь крепнет. Но для чего она нам, должно быть сокрыто от них.

Проходя мимо могилы Эрлинга Кривого, он останавливался и замирал, склонив голову, словно в молитве. Он знал, что слух о молебнии конунга над могилой недруга помчится тайными тропами, босыми стопами и конскими копытами на юг, в Данию, к конунгу

Магнусу. И изумятся мудрецы: О чем думает он, человек с далеких островов, ставший ныне конунгом Норвегии?

Магнус был слабым человеком. Мы встречались в жестоких сражениях первых лет после битвы при Кальвскинни. Всякий раз мы проучивали его и его людей. Но Магнус всегда ускользал. Однажды летом Магнус приплыл с юга с сильным флотом и бросил якорь у острова Нидархольм. Он хотел говорить с конунгом. Во всем Трёндалёге установилось перемирие. Несколько дней жили мы в страхе и трепете: будет война или мир? Мира не вышло. Перемирие было сорвано. Свидание двух конунгов вылилось в перебранку, и Магнус уехал.

Но следующим летом опять прошел по Трёндалёгу слух, что конунг Магнус так ослаблен междоусобицей, что хочет мира с конунгом Сверриром. А Сверрир, чего хотел он? Оружейники трудились у наковален. Войско без устали тренировалось. Готовый к войне, конунг Норвегии желал встречи с тем, кто предлагал ему мир.



В то лето один из многочисленных кораблей конунга стоял в Нидаросе, готовый к отплытию. Его путь лежал на юг, на Селью, он должен был отвезти щедрый дар конунга Сверрира местному монастырю. По замыслу конунга, дар следовало преподнести аббату в день храмового праздника. В этом монастыре собрались лучшие мужи Вестланда, и слава о щедрости конунга разнеслась бы по всей стране. Аббата звали Сёрквир, он был сыном епископа Хрои из Киркьюбё, — и Сверрир, и я были его питомцами. Ранней весной конунг послал своего человека тайной тропой на юг, на Селью, чтобы тот разузнал о намерениях аббата. Для конунга имело особую важность то, как будет принят его дар — с искренней радостью или просто сдержанно-мудро. В ответ аббат сразу же выразил горячую благодарность. Отныне мы полагали, что приобрели в лице Сёрквира друга, а поскольку остров лежал недалеко от материка, такой дружбе мог порадоваться даже конунг.

Дар был выбран весьма обдуманно. Мы знали, что прошлой осенью в обители Сельи вспыхнул пожар. Его потушили. Но один из множества серебряных ларцов церкви погиб в огне. В ларце хранился

весь монастырский запас лаванды и розовых лепестков. Аббат отправил двоих монахов в Бьёргюн, купить новых благовоний для рождественской мессы. Они надрывались, набив рясы серебром. Злые языки говорили, — ведь они найдутся в каждом доме, — что аббат сомневался в пользе такой покупки. В глубине души он понимал, что серебро пахнет не хуже благовоний. Монахи вернулись с серебром. Во всем Бьёргюне не нашлось благовоний, и не получил аббат курений для богослужения — столь любезного братии со звонкой монетой. Той же осенью в море был захвачен корабль из Англии. Он вез в Бьёргюн благовония.

Тогда конунг Сверрир приказал взять серебряный ларец из Церкви Христа, — хотя конунг никогда не притеснял священников, он был деликатен, особенно когда неделикатность обходилась себе дороже. И ларец наполнили лавандой и лепестками роз. У нас, в городе святого конунга Олава, подобного товара было предостаточно. Пройшей осенью, когда Свиной Стефан с дружиной совершал рейд вдоль побережья, они захватили корабль, идущий в Бьёргюн. Он плыл из Англии.

Конунг сказал:

— Когда-то настоятелем в обители на Селье был Симон. Я выбрал его для подношения дара. В день праздничной мессы он будет читать молитву с амвона, где раньше стояла рака Святой Суннивы. Но надо ли ему молиться о мире?

— Если он будет просить о мире, — размышлял конунг, — это истолкуют как мою слабость. Если же Симон станет просить крови наших врагов, скажут, что Сверрир непримирим, — даже когда его посланец коленопреклоненно молится и подносит дары святой обители. Любое слово из уст Симона будет истолковано как мое слово, оно или упрочит или ослабит мою власть в стране.

— А если Симон ограничится молитвой к Святому Духу? — сказал я. — Это ни к чему не обязывает, и если он тщательно продумает каждое слово, будет невозможно извлечь из них какой-то смысл.

— Совет неплох, — сказал конунг, — но ты же знаешь, что словам в любом случае придадут какой-то смысл. Будь даже слова Симона вовсе лишены смысла — это легко удастся ему — мои недруги поспешат вложить в них собственное содержание.

— Тогда не знаю, — ответил я.

— Но я должен знать! — вскричал конунг. — Потому что корабль должен отплывать, а Симон — получить мой приказ, прежде чем взойдет на борт!

Тут сообщили, что в Нидарос прибыл наш добрый друг Гаут, человек с одной рукой. Он просил беседы с конунгом.



Мы тепло встретились — Гаут, Сверрир и я. Мы оба испытывали глубокое уважение к этому однорукому человеку. Хотя в нас пробуждалась и неприязнь при виде иссушенного ветрами калеки в лохмотьях, странствующего по свету, чтобы прощать. Учтиво повернувшись к конунгу, Гаут сказал:

— Собственно, у меня на этот раз известие для тебя, Аудун. Но это послание такого рода, что боюсь, оно причинит больше боли твоему сердцу, государь, нежели его. Я сказал «боли» — или может быть радости, надеюсь, что радости, хотя и не уверен в этом, — ибо мысли конунга проникают глубже, чем наши, — пусть и не всегда достаточно глубоко.

Гаут носил на поясе кожаную суму, проворными пальцами своей единственной руки он развязал на ней шнуровку. В суме оказалась красивая книга. Он вручил ее мне со словами:

— Я пришел с юга, из Вика. Там повстречал я преподобного Сэбьёрна, — вы, возможно, помните его после похода на Состадир близ озера Мьёрс. Припоминаете, вы прогнали Сэбьёрна из усадьбы после битвы, без штанов, в одной рубахе, которая была короче, чем следует? Думаю, Сэбьёрн теперь в стране данов, где обретается конунг Магнус. Наверное, Сэбьёрн пришел ко мне, потому что я собирался к конунгу Сверриру. Я так думаю, но не знаю. Мы беседовали в монастыре на острове Хёвудей. Он пришел с этой прекрасной сагой и сказал: «Передай ее Аудуну! У него душа чище, чем порой кажется, хотя и не столь чиста, как он сам надеется».

Я немедленно схватил сагу и стал читать. Конунг склонился над моим плечом и тоже читал. Это была хорошая сага, но не из лучших, — она повествовала о братьях-конунгах Эйстейне и Сигурде, славно живших в одном королевстве безо всякой вражды. Конунг Сверрир сказал:

— Сдается, Аудун, что это подарок мне от Магнуса, а не тебе от Сэбьёрна?

— Я тоже так думаю, — ответил я.

— И я, — сказал Гаут.

Мы расспросили Гаута обо всем, что произошло на его свидании с преподобным Сэбьёрном. У Гаута была одна слабость — отсутствие проницательности по отношению к людям с медоточивыми лживыми устами. Бедняга, лишенный дара сомнения, уверовавший в свою навязчивую идею о прощении. Поэтому не составляло никакой премудрости вытянуть из однорукого Гаута все. Мы усадили его в зале — в основном, чтобы избавиться от него, — а служанки получили от конунга приказ омыть странника и позаботиться о его отдыхе после долгого перехода через Доврские горы. Для нас было ясно, что добрый Сэбьёрн не так прост, как прикидывается, — он не мог испытывать великой радости, отправляя драгоценный подарок мне, недругу, с которым встречался раз в жизни — и остался после встречи без штанов.

Я вновь углубился в чтение саги — что-то подсказывало мне, что там содержалось больше, чем мы обнаружили. Похоже, так и было. В одном месте на коже оказалась легкая царапина: словно прежний читатель нашел нечто, что хотел удержать в памяти и передать, как добрый привет, другим, способным истолковывать тайный смысл слов. Это было место, где конунг Сигурд требовал права убивать своих людей. Это право, как тебе известно, йомфру Кристин, должен иметь каждый конунг. Без него вся его власть превращается в ничто. Он, как раб, в своей стране. Это не значит, что конунг пользуется этим правом постоянно. Но он не должен отказываться от него. Этого не мог конунг Сигурд. Этого не мог и конунг Сверрир. А теперь этого права требовал для себя конунг Магнус.

— Тебе ведь известно, — сказал Сверрир, — что когда Магнус в прошлом году бросил якорь у Нидархольма, и мы дали пощаду нашим врагам в Трёндалёге, Халльварда Истребителя Лосей угораздило убить одного из людей конунга Магнуса. Магнус требовал выдать Халльварда ему. Но я отказался. Это была одна из причин, почему между нами не вышло мира.

Халльвард Истребитель Лосей был теперь конунговым хлебопеком, и конунг кликнул его. Халльвард вошел, поставил хлеб на стол и вышел.

— Ну не грех ли отправить такого молодца на виселицу? — спросил Сверрир.

— Войско взбунтуется против тебя, — сказал я, — если ты выдашь одного из своих другому конунгу — да еще в его петлю.

— Да, — ответил он. — Но если я повешу Халльварда, — нельзя отрицать, что он сорвал перемирие. Кое-кто, конечно, роптал бы, но большинство людей глубоко чтут букву закона, пока вешают не их, а другого.

— Магнус хочет отнюдь не смерти Халльварда, — сказал я, — это ему безразлично. Он хочет только права убить его.

— Этого он не получит, — отрезал Сверрир.

Снова вошел Халльвард и сообщил, что снаружи ожидает Симон: он хочет знать, о чем молить Господа в монастыре Сельи.

— Пусть Симон ждет, — сказал конунг.

Мы смотрели на Халльварда — а он на нас.

Потом он вышел.



Конунг сказал:

— А может, отрубить ему голову?

Он мгновение помолчал, я тоже, потом он продолжил:

— Если мы отрубим Халльварду Истребителю Лосей голову, можно будет послать ее с Гаутом на юг, в Вик. Оттуда ее доставят в Данию. Конунг Магнус получит вещественное доказательство, что человек, убивший одного из его свиты, наказан. Мне это не совсем нравится. Но если такова цена мира, мой тяжкий долг — как конунга страны — испить эту чашу до дна.

— Ты принял решение? — поинтересовался я.

— Нет, — ответил он. — Но скажи, Аудун, что милее воле Божьей: отнять жизнь у того, кого знаешь, или позволить умереть многим безвестным?

— Думаешь, государь, Гаут готов отнести голову Халльварда в Вик?

— Как знать, а если вместе с ней он понесет мир.



Конунг попросил меня сочинить благодарственное письмо преподобному Сэбьёрну и написать, что я и многие другие будут рады,

если летом он пожелует в Нидарос, где мы сможем обменяться мыслями. По нашему замыслу, Сэбьёрн сразу же помчится к конунгу Магнусу, и послание будет истолковано так: не я приглашаю Сэбьёрна, а конунг Сверрир просит пожаловать Магнуса. Я составил письмо, приложив все свое усердие. Каждое слово было перенесено на кожу с величайшим тщанием, а результат зачитан конунгу вслух. Он удовлетворенно кивал. Как только Гаут отдохнет после путешествия на север, конунг попросит его отправиться на юг. Он возьмет с собой письмо.

И голову Халльварда?

Конунг еще не принял окончательного решения.



Вот что помню о «котле-труповарке» из Мёра:

Конунг приказал вооружаться и готовиться к войне, чтобы быть сильнее неприятеля, если наступит мир. Тогда по округе было собрано множество скота, а мясо потом засолили. Кормилец, человек, готовивший пищу дружинникам конунга, переживал жаркие деньки. А тут еще прошел слух, — кто его пустил, неизвестно, — что котел, в котором дружинникам варили мясо, служил в Мёре труповаркой в незапамятные языческие времена, до появления в стране святого конунга Олава. После этого котел несколько раз скоблили. Однако вся дружина поклялась не есть, пока котел не увезут к морю и не утопят там. Замену котлу такой величины было подобрать непросто.

Сперва предприняли несколько попыток очистить от скверны старый котел, два священника читали над ним от заутрени до благовеста к вечерне. Мальчик-хорист с зажженными свечами ходил и ходил вокруг котла, пока не стер ступни. Это мало помогло. Дружинники стояли на своем. В конце концов конунг был вынужден отдать приказ, чтобы котел — с вмятинами и полоской жира, такой привлекательный, соблазнительнее любой потаскухи, прошедший с нами огонь и воду, сосуд утешения после трудного дня, один из победителей битвы при Кальвскинни, где пали многие герои — этот котел должны были увезти к морю и утопить.

Кормилец долго плакал.



Вот что я помню о том, кто таскал точильные камни конунга в заплечном мешке:

Хельги Ячменное Пузо прежде носил точильные оселки в заплечном мешке. Но в битве при Кальвскинни он употребил эти камни иначе: швырнул один камень в голову конюшьяго Эрлинга Кривого и убил его. Перед битвой Сверрир сказал людям: — Каждый, кто убьет конюшьяго, станет сам конюшьям. Каждый, кто убьет лендрманна, станет сам лендрманном.

Конунг был не в состоянии сдержать обещание. Одним из недовольных оказался Хельги — честный малый, силач, терпеливый, простой, но безо всяких способностей стать хёвдингом дружины. Однажды он явился требовать обещанного у конунга.

Конунг сказал:

— Ты не обрадуешься, Хельги, если я возложу на тебя все обязанности конюшьяго. Но я могу предложить тебе выгодную женитьбу.

Невесту звали Боргхильд из Сельбу. Говорили — хотя нашлись и возражавшие, — что она не знала мужчин до встречи с Хельги. Отец ее владел тремя усадьбами и умер внезапно. Конунг послал дружинников в Сельбу и забрал ее к себе.

Конунг приветствовал Боргхильд в Нидаросе как женщину высокого происхождения. Когда Хельги подвели к ней, она ничем не выказала своей неприязни — ибо получила строгое воспитание. В положенное время после свадьбы она родила дитя. Итак, Хельги — хотя и был разочарован — не мог жаловаться, что променял один точильный камень на другой.

Но прежней великой веры в конунга он с тех пор не питал.



Как-то ночью конунг и я надолго засиделись у очага. Он сказал:

— Как тебе известно, Аудун, у меня дома остались жена и двое сыновей. Я поклялся Астрид перед отъездом: «Придет день, и я возьму тебя в страну норвежцев!» Она облила меня презрением. Я поклялся вновь и хотел скрепить обет, подняв к небу своих сыновей. Тогда она повернулась и ушла. Пристально глядя им вслед, я пообещал: «Однажды конунг возьмет вас в страну норвежцев!»

Страна пока еще не принадлежит мне целиком, от моря до Швеции. Но Нидарос мой, и они могут жить здесь, а если снова нагрянут враги, Астрид с сыновьями отправится в Сельбу и будет скрываться там, пока мы не изгоним неприятеля. А что еще может случиться, если я заберу их из-за моря?

Он повернулся ко мне, уже не пряча лица. Он сказал:

— Я конунг страны, властитель и раб. Любой из моих поступков вторгается в жизнь других людей горем или радостью. Каждое мое деяние, благое или дурное, умножает или уменьшает мою власть в стране. Двое сыновей в Нидаросе — значит, если конунг Магнус причалит к Нидархольму толковать о мире, я буду сильнее его — ведь у него нет сыновей. Но усилит ли это его волю к миру, — если я окажусь сильнейшим? Мои люди одобряют, что я привезу сюда сыновей. Женщины покинут усадьбы и выйдут приветствовать меня, когда я буду скакать мимо. По разумению народа я стану кротким конунгом, коли у меня жена и двое сыновей в стране. Но во благо мне или в тягость этот слух, будто я кроткий конунг?

Аудун, это мука для меня — и стыд — сидеть здесь, взвешивая все «за» и «против», вонзая разум, как клинок, в мои сокровеннейшие желания. И выбирать. Я не волен, как любой бонд, как ратник, как ты, наконец, Аудун, сказать: я хочу этого, хочу, потому что так кричит мое сердце. Я хочу, но могу ли?

Он долго сидел безмолвно, я тоже. Затем он встал и перешел на мою сторону очага. Сейчас он выглядел старше. Тихо произнес:

— Я ненавижу это, но я должен положить личное на одну чашу весов и бросить холодный расчет, как гирю, на другую.

— Я возьму их сюда, — сказал он.

Я почувствовал теплоту в его голосе и вдруг увидел перед собой Астрид из Киркьюбё, такую, какой она была, когда молодые Сверрир и я скрылись за горизонтом в морской дали. И я понял конунга норвежцев.



Послали за Гаутом, и конунг сказал, что хочет отрубить Халльварду голову.

— Эту голову я пошлю с тобой в Вик, оттуда ты постарайся переправить ее в Данию, конунгу Магнусу. Магнус более не будет

сомневаться в моей воле к миру. Он приедет в Нидарос, и мы сможем договориться о прекращении войны.

Гаут поблагодарил за оказанную ему честь быть конунговым гонцом, но добавил, что отказывается брать с собой голову. Верно, Халльвард не принадлежит к числу моих близких друзей, но мы много раз встречались за доброй беседой. Если ты помнишь, государь, Халльвард пришел в твою дружину с целью убить хотя бы одного человека. Не получилось: в бою он потерял сознание, и ему отсекли палец. Как воин он мне по душе. Он выходит из себя. В прошлом году он был повинен в преступлении. Нарушив твое слово, по закону Халльвард уже покойник. Но разве прощать — не право конунга, коли у того есть сердце?

Гаут складно говорил, но в словах его редко заключалась большая мудрость. Он не разбирался ни в чем, что надлежало знать конунгу, нравится ему это или нет. Конунг Сверрир с усмешкой выслушал Гаута и поблагодарил за откровенность. Он повторил:

— Тебе известно, Гаут, что Магнус ищет мира с нами, а мы с ним. Но цену назначает он. Она может показаться высокой. Однако он не так уж неправ. Нельзя отрицать, что Халльвард убил одного из людей конунга Магнуса. Только моя мягкость причиной тому, что Халльвард жив. И моя строптивость. То, что я позволяю Халльварду слоняться взад-вперед по конунговой усадьбе — знак моего презрения к тому, кто был конунгом страны до меня. Мне известно, что наши недруги шлют гонцов на юг, к Магнусу, и сообщают, что я все так же благоволю к Халльварду. Я так хочу. Пусть Магнус не думает, что я предлагаю ему мир любой ценой. Но если я отрублю Халльварду голову — да, и прости, что я говорю так, я заставляю себя, и тебя, Гаут, и Аудуна смотреть правде в глаза. Если мы отрубим ему голову, пошлем ее с тобой, а по Нидаросу распустим слух, что Халльвард был зарублен во время попойки, подняв меч на конунга... Последнее нужно, чтобы погасить недовольство среди моих людей. Тогда конунг Магнус поймет, что я сговорчив, — и приедет.

— Но я перестану быть честным человеком, — сказал Гаут. — Я должен молчать, знать твою ложь и выдавать ее за правду, оказавшись среди людей. «Халльвард поднял меч на конунга?» спросят они. «Да! Да!» должен отвечать я. А истина в том, что голову ему просто отрубили. Солгав, я не смогу прощать.

Конунг Сверрир отвернулся к стене, встал и перешел на мою сторону очага, словно прося о помощи. Затем опять повернулся к Гауту — упрямому и непреклонному, — сел и постарался взять себя в руки. Он сказал:

— Слушай, Гаут! Жизни многих людей в опасности. Это известно и тебе, и мне. Тысячи положили жизни с тех пор, как я стал конунгом страны. Добились ли мы мира? А если голова Халльварда и есть цена мира? Что ты тогда выберешь? И какой грех, Гаут, совершишь, сделав ошибочный выбор?

Гаут молчал.

Конунг произнес:

— Я могу просто отрубить ему голову и послать с кем-то из моих людей. Они молчат. И бегают проворнее тебя, Гаут. Но если придешь ты — тот, кто прощает, единственный пекущийся об обеих сторонах в распре, — с головой, которую требует конунг Магнус, — они поверят в мою волю к миру. И остальные останутся живы. Потому что Халльвард умрет.

Гаут плачет.

Я говорю:

— Однажды в Состадире у озера Мьёрс я слышал женщин, оплакивающих своих погибших мужей. Как знать, вдруг больше никто не погибнет...?

— Но голова Халльварда падет, — возразил Гаут. Он едва стоял. — Давайте позовем Халльварда и доверимся ему, — предложил он.

Конунг сказал:

— Ты был бы более жестоким конунгом, чем я, Гаут.

Мы молчали, никто не находил слов для того, о чем мы думали. Немного спустя Гаут произнес:

— Сверрир, дозвожь мне, любящему тебя — моего друга и почитающему тебя — моего конунга, сказать следующее. Когда ты говоришь, что желаешь мира в стране, я верю тебе. Но если так случится, что все выйдет наружу — например, от Магнуса: что ты, конунг, отрубил голову своему человеку, чтобы угодить ему, алчущему твоей и их крови? Поймут ли твои люди? Ты уверен, что они не встретят тебя презрением — и страхом. Возможно они скажут: конунг отрубил голову собственному хлебопеку, он может отрубить головы всем. А мы — ему.

Конунг медленно проговорил:

— Великая правда в твоих словах.

Гаут ответил:

— Многие годы я, твой друг, тоже слышал от тебя правдивые речи.

Конунг продолжал:

— Ты не облегчил мой выбор. Но, Гаут, если мы сохраним Халльварду голову — на время? Ты отправишься в Вик, понесешь письмо Аудуна преподобному Сэбьёрну. Скажешь Сэбьёрну, что если Магнус явится в Нидарос толковать о мире, Халльвард будет наказан — мною. Двое людей Магнуса будут стоять рядом и потом засвидетельствуют своему конунгу, что жизнь была искуплена жизнью.

— Я обещаю тебе сделать это, — сказал Гаут. — Но сперва я опущусь на колени перед Халльвардом и буду молить его о прощении.

— Молчи! — вскричал Сверрир. — Иначе я отрублю тебе руку.

Гаут сказал:

— Все, что у меня есть, к твоим услугам.

Я сходил за рогом с пивом и подал его Гауту. Тот сперва отстранился, но затем взял и медленно выпил. Постепенно на его бледном лице проступила краска, и я отметил нечто уже виденное прежде: когда Гаута обуревали мысли, он протянул вперед культю, но, увидев, что руки нет, с ошеломленным взглядом медленно поднял за рогом другую руку.

— Я сделаю так, как ты просишь, — сказал он. — Но это первый раз, когда я участвую в подлости против друга.

— Я знаю, ты будешь молчать, — отозвался Сверрир.

— Да, — сказал Гаут, — и не из-за твоей угрозы наказания, государь. А потому, что сделал выбор: спасти жизни многих, пожертвовав одной.

— В твоей голове водятся мысли, достойные конунга! — сказал Сверрир.

Гаут откланялся и вышел.

Выходя, он встретил Халльварда.



Вот что я помню о старом биркебейнере, увидавшем приплывший в Нидарос корабль с грузом башмаков:

Один старый биркебейнер, имя которого я забыл, прославился в те времена, когда ватага крепких парней обматывала ноги берестой, чтобы уберечься от острого наста. Он выучился тонкому искусству

плетения обуви из бересты, в которой было что-то от мягкости и прочности кожи. Он обучал мальчиков и посвящал их в многочисленные хитрости берестяного ремесла, воспитывал и давал добрые советы. Однажды ему была оказана честь обуть в бересту ноги конунга.

И вот он стоял на молу в Нидаросе и видел плывущий корабль. Тот прибыл из Боргунда, где конунг держал пятьдесят башмачников, которые шили для воинов кожаную обувь. Биркебейнер завопил дурным голосом. Ему померещилось, что время конунга Сверрира в стране кончилось, крепкое поколение скоро сойдет в могилу и придет новое, слабое и вялое. Он плюнул в море и ушел.



Вот что я помню о близнецах Торгриме и Томасе:

У близнецов Торгрима и Томаса было отрублено по одной руке. Но оставалось еще по одной. В отместку — когда конунг Сверрир стал так могуч, что добыл своим людям целый корабль обуви, а близнецы по-прежнему ходили босыми, — они распустили слух, будто котел, в котором Кормилец варил мясо, служил труповаркой в незапамятные языческие времена до появления святого конунга Олава. Дружина отказалась есть.

Кормилец страшно ругался, а конунг сказал:

— Будет довольно, если котел выскоблят, чтобы все видели, а потом один или два священника освятят его.

Но дружина продолжала роптать. Конунг был вынужден искать новый котел, — но где тот кузнец, что skleпает такую громадину, и где тот бонд, у которого найдется подобная махина? В Сальтнесе в Бувике, узнал конунг.

Туда были посланы двое: Торгрим и Томас. У них на двоих имелось две руки, по руке на каждое ушко котла. Они надрывались и проклинали это путешествие — вновь наказанные конунгом, который был умнее их.



Я вспоминаю Хагбарда Монетчика:

Хагбард когда-то был учеником у монетчика, чеканившего серебро для конунга Магнуса. Но Хагбард порвал с Магнусом, потому что

конунг и его отец, ярл Эрлинг Кривой, были нечестными людьми. Они портили монету, подмешивая в серебро медь. Хагбард перешел к конунгу Сверриру и последовал за ним без колебаний. Он стал монетчиком конунга и удостоился чести носить в поясе чекан для монеты. Помощниками у него были Малыш, его недужный сын, и двое биркебейнеров для охраны серебра. Он рассказывал им, какое наслаждение плавить серебро, купленное за меха в прекрасных французских городах и доставленное сюда морем. Серебро остынет, и ты начнешь чеканить, я сосчитаю монеты, запечатаю мешочек доброй порцией воска и понесу под надежной охраной в конунгову усадьбу.

Однажды к Хагбарду прибыл гонец: немедленно явиться к конунгу. Там он узнал, что в конунговом ларце недостаточно серебра, надо добавить меди. Но молчать об этом.

Хагбард вернулся и выпроводил стражников. Постоял немного и с тяжелым сердцем отослал прочь Малыша.

А потом подмешал меди в серебро.



Оружейник Унас из Киркьюбё долго выдавал себя за отца Сверрира. Унас появился в Нидаросе и прилежно трудился над наковальней, ковал оружие, потом хлебнул пивка и, захмелев, отложил молот. Снял меч и отправился к конунгу.

— Ты же был моим сыном, — говорит он.

— Уходи! — орет конунг. — Разве я не приказывал тебе являться в конунгову усадьбу только по великим престольным праздникам?

— Думаешь, ты правильно поступаешь, оскверняя память своей матери? — спрашивает кузнец.

— Это ты меня оскверняешь! — кричит конунг и наступает на него.

Вот они стоят друг против друга, — оба враз замолкают, — и конунг отворачивается.

— Ты хочешь, чтоб я умер? — спрашивает Унас.

— Я хочу, чтобы ты ушел, — отвечает конунг.

Унас уходит.

Потом Сверрир говорит:

— Он будет всегда возвращаться ко мне — живой или мертвый.



Вот что я помню о Халльварде Истребителе Лосей, который был конунговым хлебопеком и убил человека, когда конунг всем дал пощаду.

Халльварду однажды приснилось, что пришли его вешать. Он отправился к конунгу Сверриру и поинтересовался, не вещий ли это сон. Конунг ответил:

— Принеси хлеба, Халльвард, и не болтай чепухи!

Халльвард принес хлеб и сказал:

— Мне еще снилось, что тебе подсыпали яду в пищу, государь.

Конунг долго сидел за обеденным столом, совершенно спокойный, но говорил мало.



Однорукий Гаут пробирается на юг через горы Довре. Он бредет торопливо и с тяжелым сердцем. Однажды ночью — в горах стоит лето — он встает со своей лежанки на постоялом дворе и выходит. Голова его полна мыслей о Халльварде Истребителе Лосей, которого повесят и за которого он не заступился. Он находит сухую сосновую ветку и затачивает ее. Потом пронзает кожу на культе, чтобы принять часть кары за грех, в котором повинен.

Кровь капает в вереск, и ему становится легче от ее вида.

Ветку он оставляет в культе.



Я еще вижу перед собой лицо конунга, угнетенное сомнением, вокруг глаз и рта залегли морщины, плечи опущены. Он говорит:

— Я думаю, что самое разумное — отправить Симона на престольный праздник на Селью молиться о хлебе — хлебе и хорошем урожае. Молитва о хлебе обрадует многих и никого не обидит. Если он станет молиться о мире, пойдет молва, что я слабый конунг.

— Да, — говорю я.

— Но, — отзывается он, — разве ты не знаешь, что в хлебе бывает яд, ты никогда не слышал о святых, отравленных богохульниками?

Конунг вскакивает и темнеет лицом. Я никогда прежде не видел его таким. Я отшатываюсь. Он преследует меня вдоль стола, я поднимаю руку, защищаясь.

— Ты намерен привезти их сюда? — кричу я, чтобы направить его мысли в иное русло.

— Да! Да! — отвечает он. — И двух моих сыновей, и Астрид из Киркьюбё! Я приказал снарядить корабль.

Он успокаивается и садится на лавку, тяжело дыша. Входит Халльвард Истребитель Лосей с хлебом для конунга.

Тут дозорный сообщает, что четыре неизвестных боевых корабля бросили якорь у Нидархольма.



ИСПЫТАНИЕ ЖЕЛЕЗОМ

Конунг поднялся из-за стола и не говоря ни слова пристегнул меч. Я последовал за ним. Он был мрачен. Мы пересекли двор конунговой усадьбы и по склону спустились к Скипакроку. Оттуда открывался вид на остров Нидархольм. Во фьорде было свежо, дул ветер, над морем неслись мелкие дождевые тучи. Вдали, у острова, виднелись темные силуэты кораблей.

Конунгом овладело то, что я неоднократно видел прежде: напряженная дрожь — так дрожит тетива, перед тем как лопнуть. Здесь, в Нидаросе, у нас были войско и дружина, каждый из людей конунга Сверрира искуснее проливал чужую кровь, нежели свою собственную. Поэтому четыре корабля во фьорде не могли принести нам беды. Но конунг обладал способностью, которой я не встречал у других: до того, как разразится гроза, провидеть за настоящим будущее, сокрытое от всех. Но он не говорил.

Он словно замерз. Плечи его под летним ветром съежились, будто в спину ему ударила пурга. Он повернулся ко мне, — не для того, чтобы рывкнуть, как часто бывало, — нет, глядя кротким взглядом животного, появляющимся у него в предчувствии надвигающейся



беды. Но он не говорил. С острова во фьорд мчалась весельная лодка.

Я говорю «мчалась». В дружине конунга Сверрира много отличных гребцов, да и жители побережья гребли с той же легкостью, с какой любовница ныряет под одеяло. Но эти люди гребли иначе. Никогда я не видел подобного. Лодка выглядела изящнее тех, что имелись у нас, — с низкой осадкой, однако непохоже, чтобы она зачерпнула хоть одну каплю. Четыре пары весел, один человек у каждого весла, сзади кормчий. Гребцы сгибали спины сильнее наших, и создавалось впечатление, что человек на корме подгонял их короткими, отрывистыми командами.

Конунг сказал:

— Я возвращаюсь в усадьбу. Будь здесь, и дай мне знать, если что-то произойдет.



Я схоронился под навесом и наблюдал за лодкой, несущейся к Скипакроку. Вот скользнули две наши шхуны, прижались к бортам лодки. Но незнакомцы не остановились. Не ответили на оклики, бросили канат на землю, и один из гребцов пришвартовал лодку.

Однако ступать на землю в городе конунга Сверрира небезопасно для горстки чужаков. У Гудлауга Вали достаточно ратников. Вооруженные секирами, плотным кольцом окружили они чужестранцев. Гудлауг выступил вперед и потребовал от незнакомцев сказать, кто они. Те не отвечали. Они стояли плечом к плечу, теснее, чем наши в подобных случаях, все одинакового роста, узкоплечие, с длинными руками, у двоих — какие-то чудные кожаные шары на плечах. Но все были безоружны.

Гудлауг повторил требование, уже громче. Я услышал легкую дрожь в его голосе:

— Кто вы? Что вам здесь нужно?

Никто из девяти не ответил. Они стояли, сбившись друг к другу. Прежде чем Гудлауг повторил в третий раз, один из них выступил вперед — это был кормчий — и коротко сказал:

— Мы желаем встречи с конунгом Норвегии.

Он говорил на скандинавском языке, как любой из нас, и только с большим трудом я уловил слабый иноземный акцент. Гудлаут Вали ответил, что конунг отнюдь не держит двери открытыми для каждого:

— Но мне оказана честь быть приближенным конунга, ты можешь возложить все свои тревоги на мои плечи.

Незнакомец даже не потрудился ответить ему.

Гудлаут заговорил опять, на этот раз подобно разбушевавшемуся морю. Он требовал сообщить, что чужаки имеют сказать конунгу, откуда прибыли струги, кто их хёвдинг. Когда он закончил, кормчий ответил вновь, мрачным голосом, дав понять, что не намерен вступать в словесную перепалку:

— Мы желаем встречи с конунгом Норвегии.

Я подошел к Гудлауту и сказал:

— Веди их к конунговой усадьбе, но не пускай внутрь. Окружи их нашими людьми.

Гудлаут так и сделал: поставил тройной конвой вокруг девятерых чужеземцев. У наших было оружие, у тех нет. Гудлаут повел их через Нидарос, по улицам молча стояли мужчины и женщины, в изумлении пяля на нас глаза. Те девять шли более короткими, поспешными шагами. Они старательно печатали шаг по мостовой, все в ногу. Я смотрел на них сзади: торсы неподвижны, ни малейшего колебания. Эта маленькая процессия производила впечатление большой силы. Вот они остановились у конунговой усадьбы.

Гудлаут сказал, что готов впустить кормчего, но остальные восемь подождут снаружи. На это чужеземец ответил:

— Мы войдем все или никто.

Гудлаут отказал. Кормчий ничего не возразил, остальные восемь тоже не проронили на слова и не изменились в лице. Гудлаут посмотрел на меня, ища совета. Я сказал:

— Пошли своих людей в переднюю, и пусть иноземцы следуют за ними. Но ни шагу дальше.

Гудлаут так и поступил, и передняя набилась до отказа безмолвными людьми. Подойдя вплотную к чужакам и приняв их, я учуял запах их пота — не такой, как наш. Я сказал: — Я иду приветствовать конунга и вернусь с его ответом.

Я вошел к Сверриру, восседавшему на троне. Рассказал ему все, что видел и слышал. Он отвечал скупно, но в глазах засело глубокое

беспокойство. Он сказал, что чужак должен выбирать: говорить со мной без спутников — или умереть всем отрядом.

Я вернулся и объявил волю конунга.

Кормчий кивнул, он принимал слова конунга. Гудлаут Вали приказал своим приблизиться на полшага к чужестранцам. И так — лицом к лицу, не проронив ни звука, — стояли наши и незнакомцы, пока я вел кормчего в конунгов чертог.

Чужестранец почтительно склонился перед конунгом, сделал шаг вперед, поклонился вновь, еще ниже. Выпрямился, но не заговорил, повернулся вполоборота ко мне, словно в благодарность, что я его привел. Постарался не заметить, что я выложил перед собой на стол меч. Повернулся к конунгу. И в течение всего последующего разговора пристально смотрел в его лицо.

Конунг сказал:

— Кто ты и чего хочешь от меня?

— Я прибыл от моего хёвдинга, чтобы сказать, что он желает говорить с конунгом Норвегии. При этом разговоре должны присутствовать только ближайшие к конунгу люди.

— Кто твой хёвдинг?

— Этого я не могу сказать тебе, государь.

— Он высокого происхождения?

— Этого я тоже не могу сказать.

— Он прибыл из дальней страны?

— Этого я не могу сказать, государь.

— Ты приходишь от своего хёвдинга, который не желает говорить, кто он и чего ему нужно. Но все равно требует беседы с конунгом страны? Твой хёвдинг один из людей конунга Магнуса?

— Этого я не могу сказать тебе.

— Он нападет на нас, если я откажусь говорить с ним?

— Этого я тоже не могу сказать, государь.

Конунг встал, я почувствовал сильное благоговение перед достоинством, которое он излучал. Должно быть, он очень распалился, но не позволял ярости вырваться наружу. Он обогнул длинный стол и остановился перед чужаком, но не замахнулся мечом и не ударил, а просто скользил по нему полуотсутствующим, но ясным леденящим взглядом. Долго стоял так. Пристально разглядывал костюм незнакомца, не вполне похожий на одежду наших людей. Изучал его боро-

ду, не то чтобы отличную от наших, но какого-то особого вида на щеках. Он медленно изрек:

— Ты можешь высунуть язык?

Человек повиновался. И стоял так.

— Закрой рот.

Человек выполнил приказ. И молчал.

Конунг с расстановкой произнес, что иногда бывает вынужден прибивать к столу кончик языка тем из своих людей, кто не выкладывает конунгу всей правды.

— Скажи мне, добавил ли твой хёвдинг что-нибудь к требованию говорить со мной?

— Да, одно. По воле моего хёвдинга восемь из нас, девятерых, останутся у тебя и спустятся в темницу. Отныне мы твои заложники. Делай с нами все, что пожелаешь. Заруби мечом или повесь, коли такова твоя воля. Но девятого отпусти к нашему хёвдингу и скажи, когда тебе будет угодно принять его для беседы.

Кормчий кликнул, и внесли два кожаных баула. Он открыл их, в баулах лежала дорогая одежда, какую мы редко видели в Нидаросе. Платья было достаточно, чтобы одеть все ближайшее окружение конунга. Кормчий сказал:

— Это первый дар моего хёвдинга тебе, конунг Норвегии!

Сверрир сказал:

— Раздевайся.

Человек разделся и стоял нагим в зале перед нами. Одежду он сложил на лавку и не удостоил даже взгляда. Поклонился конунгу, чуть меньше мне, опять низко конунгу. Затем покинул нас.

Мы проследовали за ним, он нагим предстал перед своими людьми. Увидев его, те немедленно тоже разделись. Конунг Сверрир приказал Гудлаугу провести нагих воинов по улицам и спустить в темницу. А один пусть вернется на Нидархольм. Им стал старший из гребцов. Ему оставили одежду.

Конунг сказал ему:

— Сейчас я явил тебе кое-что из моей власти и немного из моей милости. Возвращайся к твоему хёвдингу и скажи, что я благодарю его за дары и заложников. Через три дня, в час пополудни, мои люди встретят его в Скипакроке и препроводят ко мне.

Гребец поклонился и вышел.

Мы смотрели ему вслед.

Нагих воинов тоже увели.

Конунг вскочил и закричал:

— Верните им одежду!

Я бросился передавать его приказ, но он нагнал меня и сказал:

— Нет-нет, пусть остаются голыми! Это мудро, что я их оскорбил.

Я никогда прежде не видел его таким.

— Хочешь побыть один? — спросил я. Он посмотрел на меня, но не слышал, что я сказал.



Отряд из лучших людей конунга, в дорогих плащах, выстроился в Скипакроке и приветствовал неизвестного хёвдинга, когда тот ступил на землю. Я стоял слева от караула. Сделал шаг вперед, поклонился чужестранцу, шагнул назад и замер. Я молчал, глаза, устремленные ему в лицо, излучали холод, рот сжат, — я был учтив, но без малейшего проявления дружеских чувств. Он подошел ко мне, слегка поклонился и тоже молчал. Глядел на меня с вялой усмешкой во взоре: словно задавал вопрос такой бездонной глубины, что не надеялся получить ответа. Я обернулся к своим. Половина отряда двинулась к конунговой усадьбе, я просил хёвдинга и его свиту следовать за ними. Я шел слева от хёвдинга. Замыкал шествие остаток отряда конунга Сверрира. Мы не разговаривали.

Я попытался украдкой рассмотреть неизвестного хёвдинга, не поворачивая головы. Увидел только одно крепкое плечо в тяжелом шелковом плаще превосходного кроя. Снова его люди ступали более резко и поспешно, чем наши. Наши спотыкались — те нет. Один из наших, случилось, сбивался с ноги — те никогда. Наши кашляли — они не кашляли. Они маршировали, как один человек, безоружные — словно одноглазые, — но это производило впечатление.

Мы подошли к конунговой усадьбе.

Я отступил в сторону и с легким поклоном просил неизвестного хёвдинга войти. Он даже не бросил взгляда на оставшуюся свиту. Привратники конунга Сверрира — сегодня они впервые получили это звание — с готовностью распахнули двери. Мы вошли. Полы были за-

стелены волчьими шкурами, в покое курились благовония, а Свиной Стефан, несший вахту на подступах к чертогу, надел золотой шлем.

Мы вошли в зал.

Но конунга там не было.

Нет, — и легким наклоном головы я предложил незнакомцу стоя дожждаться появления конунга. Он вежливо кивнул мне. Исполненный терпения, бесстрастный, прямой, голова чуть наклонена вперед, отнюдь не смиренный — человек, умеющий держаться в чужом мире. И вот вошел Сверрир.

Никогда я не видел волосы конунга так тщательно причесанными. Они блестели, как матовый шелк. Борода была подстрижена, ее форма придавала лицу моложавый и несколько воинственный вид. Плаща на нем не было. Рубашка плотно облежала плечи. Он был одет слегка небрежно, единственным украшением была массивная серебряная пряжка на поясе.

Сверрир произнес:

— Я Сверрир, конунг Норвегии. Я приветствую тебя.

Незнакомец ответил:

— Я долго ждал этого дня, государь, когда мне будет дозволено предстать перед конунгом норвежцев и выразить сильнейшее благоговение, которое я чувствую при виде его. Мое имя Эйрик сын Сигурда. Я, как и ты, сын конунга Сигурда, по прозвищу Рот. Мы братья. Я пришел просить у конунга Норвегии права пройти испытание железом и тем доказать свое высокое происхождение.

А Симона так и не послали на Селью к праздничной мессе читать молитву конунга о хлебе и урожае.



Сейчас, йомфру Кристин, я расскажу тебе об этом неизвестном Эйрике, так бесстрашно представшем перед твоим отцом конунгом. Эйрик был ниже большинства известных мне мужчин, с плоским затылком. Конунг, сам не отличавшийся ростом, выглядел высоким рядом с ним. Оба были широкоплечие, коренастые. Однако этого сходства было мало, чтобы смекалистый человек подумал: они братья. Конунг Сверрир был недурен собой. Но, йомфру Кристин, даже при-

звав на помощь самые льстивые слова, доступные моему злому языку, скажу: писаная красота — не его достоинство. Но когда его волосы и борода были расчесаны, то есть почти всегда, а особенно перед битвой, конунг Норвегии был привлекательным мужчиной. Чего нельзя сказать об Эйрике. Хотя прежде чем он явился в покой конунга, слуга прошелся гребнем по его волосам. Ему не доставало того, что я называю внутренним светом. Вести себя он умел. Твой отец конунг, обычно такой находчивый, затруднялся, когда требовалось подыскать благозвучные слова в беседе, где мысль была не главным, а второстепенным, — где стремление польстить собеседнику было важнее, чем брошенная на стол голая правда. Никогда не слышал я от Эйрика грубого слова. Сверрир тоже был сдержан в этом отношении. Но в гневе, случалось, бранился, как мясник из Кирккюбё, всадивший нож в собственный палец вместо воловьей шеи. Конунг Сверрир употреблял в разговоре бранные слова. В голосе конунга слышалась и морская буря, и хлопанье птичьих крыльев над волнами. А Эйрик говорил как, благовоспитанная женщина — да, прости, йомфру Кристин: колокольчик ее голоса прозвенит в зале, а замолчав, оставляет в памяти только мелодию.

Я думаю, что Сверрир никогда и никому не сказал всей правды, в том числе и мне. Но никто из известных мне людей не мог лучше него убедить собеседника, что раскрыл ему всю подноготную. Искусством исповеди он владел, — как и искусством умолчания. Слова из глубин его сердца я мог слушать, как морской прибой родных далеких берегов. Речи Эйрика никогда не вызывали во мне подобного чувства — будто слышишь могучую стихию. И поэтому не могли возбудить тайного волнения, радости от ее ударов. Эйрик говорил много слов, благоуханных и прекрасных, мог вдруг вскинуть руки, словно обнимая всех слушателей. Ты вышел. И мало что помнишь.

Но он был бесстрашным. Это уж точно, йомфру Кристин. Он был отважным, но не так, как твой отец конунг. Эйрик был волевым — и слепым. Сверрир втайне бросал жребий, но никогда не забывал о главном, о том, что не мог решить никакой жребий. Сомневаясь, Сверрир внимал зову своего сердца, — принимал решения, выходил к своим людям, — и никто не видел, что его еще одолевают сомнения. А Эйрик не сомневался.

Это делало его храбрость опаснее сверрировой — иногда. Но я думаю, — да, я убежден, — что сомнение превращало Сверрира в более сильного человека. Сверрир явился из Кирккюбё и потребовал признать его сыном конунга: здесь, в Нидаросе, еще обретался его первый отец, оружейник Унас, пьяный и опустившийся, — к нашему всеобщему огорчению и досаде конунга. Но внутренняя сила Сверрира подсказала, что лучше пусть так, чем смалодушничать и убить его, бывшего одной из причин для сомнения многих в происхождении Сверрира.

Такой силы у Эйрика не было. Он тоже был сыном конунга Сигурда. Он так сказал. И я верю ему. В минуты слабости, призадумавшись, я, йомфру Кристин, скорее сомневаюсь в происхождении Сверрира, нежели Эйрика. Но по своей силе конунгом был именно тот, человек с далеких островов.

Они смотрели друг на друга. И Эйрик требовал права нести железо на Божьем суде.

Позже по велению конунга я разузнал, что однажды конунг Сигурд Рот прискакал в Сельбу. Там он повстречал женщину и остался у нее. Когда та понесла и узнала — или подумала, как я полагаю, — что конунг — отец ребенка, она отправилась к своим родичам в Ямтланд, чтобы там воспитать его. Тем временем конунг Сигурд погиб. И стало небезопасно носить под сердцем одного из его многочисленных детей. Родился мальчик.

Эйрик вырос в Ямтланде. Юношей он странствовал — сначала в страну данов, оттуда на корабле через пролив Норасунд прямым в Йорсалир. Он участвовал в одном из походов на Святой Город и взял его. Так он сказал, но люди, бывшие с ним там, потом все погибли. Однажды он вошел с зажженной свечой в чудесную реку Христову и окунулся. Этому было три свидетеля. Они противоречили друг другу, когда люди Сверрира допрашивали их. Сначала Эйрик взмолился всемогущему Сыну Божию и деве Марии — «Я сын конунга Сигурда! Пусть же я выйду из чудесной реки Христовой с горящей свечой!» — он погрузился в воды, а свеча горела.

Сомнение, которое он носил в себе до этого — так он говорил, — превратилось теперь в незыблемую твердыню веры. На пути из Йорсалира он поступил на службу к императору Манули в Миклагарде. Эйрик стал одним из его приближенных — хёвдингом гвардии, и, отправляясь домой в Норвегию, получил коней, людей и оружие.

Он долго путешествовал, пробираясь на север через разные страны и служа у многих князей. Он знал, чего хотел, — так он сказал: вернуться на родину, в Норвегию, и вступить в борьбу с ярлом Эрлингом Кривым, безо всякого на то права поработившим норвежскую землю. Однажды люди с севера принесли ему весть, что Эрлинг Кривой погиб в Нидаросе, а страной правит сын конунга Сигурда — Сверрир из Киркьюбё.

У Эйрика вырвался возглас ликования, — так он сказал, — он построил людей, чтобы те разделили его радость. Господь свершил справедливость, и страной вновь управляет конунг, осиянный дарами всемогущего Сына Божия — мудростью и милостью. Получив в дар от князя, у которого служил, четыре корабля, Эйрик немедленно пустился в путь. Он хотел разыскать своего брата и просить взять его в советники. Но сперва он хотел пройти испытание железом, чтобы доказать свое царственное происхождение.

Он не трус. Они стояли лицом к лицу — и рядом я. Оба выглядели так, словно были готовы к испытанию железом перед Божьим судом. Но Сверрир никогда не выражал такого желания.

— Господин Аудун, позволь узнать: каков был ответ моего отца стоявшему перед ним человеку — моему дяде, или может быть, нет — кто знает?

— Йомфру Кристин, я видел лицо твоего отца в разных переделках: он умел скрывать сильное беспокойство под маской безразличия. Так и сейчас. Он сказал: «Как ты понимаешь, любой конунг в подобном случае должен посоветоваться со своими людьми. Ступай и возвращайся через семь дней».

Эйрик ушел.

И вернулся.



Многие спрашивали, йомфру, почему твой отец конунг никогда не брал железо перед Божьим судом, чтобы доказать свое происхождение. Полагаю, ответ кроется в том, что многие не хотят признать за правду: конунг был честный человек. Он умел приукрасить истину тем, что не всегда являлось истиной. Он мастерски направлял правду в избранное им самим русло. Он умел лгать: с открытым лицом и

закрытым, с радостью и горечью, очевидно для всех или с тончайшим искусством, так что даже близкие друзья не знали, говорит ли он правду или лжет. Но запомни: сам он знал правду.

Конунг, столь искусный в тонкостях лжи, никогда не лгал самому себе. И он не сомневался. Это значит, йомфру Кристин: он верил, что он сын конунга, — в хорошие дни без сомнения, в минуты слабости — со скрытым беспокойством, подавленным сильной волей.

А что необходимо возлагающему железное ярмо: непоколебимая вера. Не надежда, когда сдается разум, но уверенность — прежде чем он сдался. Быть уверенным в своем деле, а лучше всего вообще не знать о существовании дела. Простая душа хочет видеть границу между изведанным и неизведанным в себе. Твой отец конунг так не мог.

Конунг, йомфру Кристин, был неподходящим человеком для испытания железом. И знал это. Крайняя вера, простая и по-детски наивная, с налетом злобного упорства, — такая бывает только у незрячих, — такая вера должна быть у испытуемого железом. Твой отец конунг ее не имел.

И еще кое-что. Дело в том, — ты мало знаешь об этом, — что под моими седыми волосами кроется много дурного опыта. Прежде чем человек ступает на железо, священники идут в ризницу и запирают засовы. Не всегда, йомфру Кристин! Во многих случаях — в большинстве, — трубный глас Божий сам возвещает свой приговор, когда человек ставит босую ногу на раскаленное железо. Но есть и другой путь — для обманщиков: много Господних испытаний огнем выиграно благодаря хитростям духовенства, столь многочисленным, что не разгадать и Всемогущему.

Но тут он был честен, этот человек с великой ложью. Прибегнуть к дьявольским козням на Господнем испытании для него было как поцеловать непотребное. Это имело связь с его гордостью. Мало встречал я подобных гордецов. Он знал, что рожден от конунга — с голосом конунга и твердой его волей, с силой отдавать приказания, даже если надо дотла сжечь землю. Но зачем идти бесчестным путем, чтобы дать другим доказательства, в которых он сам не нуждался. Это одна из причин. Но были и другие.

Я знаю, что он испытывал сильное презрение к внешней форме — когда она не была наполнена внутренней правдой. Предпочтительнее

уж внешняя ложь, прикрывающая известную только ему, но не всегда заметную другим правду. Поэтому он презирал тех, кто преклонился бы перед ним, пройди он босым по раскаленному железу и останься невредимым. Хотя он все же принуждал их поклониться? Эта мысль была ему не чужда.

В его бездонной душе слились воедино страх и отвага — он знал и то, и другое, и становился от этого еще отважнее. Человек, рожденный конунгом, не просит у людей права испытать свое происхождение.

Но сейчас Сверрир, конунг Норвегии, должен ответить «да» или «нет» на требование другого человека пройти испытание железом на Божьем суде.



Вот что я помню о Сверрире, конунге Норвегии, властителе и рабе:

Я вижу его у очага, с отсутствующим полусонным взглядом, и мне, посвященному, ясно, что его переполняют отнюдь не радостные мысли. Он кидает на стол кости, — словно хочет лучше разглядеть знамение, посланное ему. Я не беспокою его. Приносят пиво — беру его в дверях, чтобы служанки не тревожили конунга любопытными взглядами и топотом босых ног. Время от времени я покашливаю. Знаю, что это действует на него, как удар ветра в паруса, пробуждает к новой схватке и заставляет мысль искать дорогу в бурном море, которую может найти только он.

— Аудун, — говорил он, — если я дам согласие Эйрику, и он пройдет это испытание, — я больше не буду единственным сыном конунга в стране...

Он встает и быстро усмехается — как человек, узнавший, что все рассыпалось в прах, но не подающий виду, как сильно его это ранит. Он огибает стол, подходит ко мне, не находя успокоения, возвращается к почетному сидению, снимает кольцо и смотрит на него, словно видит впервые. Он никогда не носит много украшений. Чаще всего только поясную пряжку, и время от времени это кольцо, полученное от епископа Хрои, когда его и меня посвящали в сан в Киркьюбё. Я знаю, что Сверрир — еще раз и с болью — возвращается мыслями к тому, что нельзя исправить: отъезд из Киркьюбё, пре-

тензии на престол конунга — и одевает кольцо на палец. Кивает, встает, выравнивает кости на столе и говорит:

— Сперва я должен спросить: что произойдет, если я отвергну Эйрика и запрещу ему испытание железом, на которое, по его мнению, он имеет право? Он пройдет испытание без моего позволения? Мы можем сказать: Нас там не было! Это не Божья истина, а человеческая ложь! Однако слух об успешном испытании — если оно будет успешным — разнесется по стране. Это ослабит меня.

Добавим, что если я скажу «нет», — что он сделает с четырьмя кораблями и послушными, твердыми людьми? Ты видел их. Ведь не без умысла они ходят плечом к плечу, молча стоят, смотрят в упор, не отвечают на вопросы, подходят по мановению его руки, не замечают наших. Это чтобы вселить в нас страх. Что сделают они, если я скажу «нет»? Отправиться на юг, к конунгу Магнусу, он не может. Требуя, чтобы его признали сыном конунга Сигурда, Эйрик представляет опасность и для Магнуса. Но если вместо этого он начнет распрю с нами — именно сейчас, когда мы должны встречаться с Магнусом и толковать о мире, — будет подстрекать бондов к мятежу, выступит как новый, истинный конунг биркебейнеров? Что тогда?

Вот где кроется опасность. И я спрашиваю:

— Не лучше ли для меня и для всех удовлетворить его требование и подвергнуть испытанию, которое, как он думает, подтвердит его происхождение? В случае успеха он станет нужным мне человеком. Я заставлю его дать клятву перед испытанием. Он даст — но сдержит ли, если руки его, отложив прочь железо, останутся невредимы? Он будет почитаем как сын конунга, а я нет? Он встанет перед ратью и скажет: «Я тот, за кем вы должны следовать?»

Но не забывай, что однажды я могу погибнуть! Кто поведет тогда моих людей? Я не замечаю среди наших способных хёвдингов. У меня двое сыновей дома, и я хочу, чтобы старший однажды возложил на себя корону Норвегии. Но кто будет править страной, если я уйду на свидание со всемогущим Господом, прежде чем мои сыновья возмужают? Эйрик сможет? Думаю, да. Я верю, что он хёвдинг, способный повелевать другими. Глубокого разума ты в нем не найдешь, но он и не кровопийца из худших. Лишь одна мука гнетет меня сильнее прочих: уступит ли он престол, когда возмужает мой старший сын?

Конунг смотрит в лицо мне, а я ему, я знаю, что его судьба — и моя тоже: в день, когда недруг займет место Сверрира, я буду мертв. Он говорит — и внезапно улыбается, с какой-то мальчишеской радостью в глазах, которую я всегда так любил в нем:

— Наилучшим будет, если он пройдет испытание, и всемогущий Господь осудит его на бесчестие. Тогда Эйрику ничего не останется, кроме как бежать из страны. Но я думаю, кое-кто из его людей предпочтет остаться на моей службе.

Он молчал. Я знал, что он вновь вручает себя судьбе, скорой на решения, — взвешивает на точнейших весах способности каждого, — и готов прикрыть правду неправдой.

Но не в себе самом.

Конунг говорит:

— Сперва мы созовем хёвдингов, знатных бондов и влиятельных горожан. Пусть соберутся в покоях конунга.

И так свершилось.



Они пришли приветствовать конунга, и я разглядывал их. Здесь стояли наши собственные хёвдинги — ныне не те, что первые, следовавшие за Сверриром. Ныне упитанные, тогда тощие, ныне разодетые, тогда изодранные, в башмаках — биркебейнеры! — с бородами и волосами, познавшими благодать гребня, с руками, больше не смердящими от крови после битв. Здесь стоит Гудлаут Вали — любитель роскошной одежды, изнеженный — не то что когда впервые пришел в отряд конунга Сверрира. А вот Свиной Стефан, наш приятель из Киркьюбё, наименее изменившийся с тех пор. Я видел и одного из новых людей, окружающих Сверрира — Барда сына Гутхорма из Рейна, также разодетого, будто собрался в Ромаборг поклониться святому папе.

Тут меня осеняет:

Это наши люди. Мы можем положиться на них, даже если они утратили былую силу. А что другие — горожане Нидароса и бонды из восьми фюльков Трёндалёга? Стерпят ли еще раз пядь конунга, или того лучше: покорятся без нажима? Я понял сразу: хитрые лисы почувяли, что два сына конунга лучше, чем один. Можно пойти к друго-

му, если первый отказал тебе в твоём праве. Ты ведешь игру с обоими, и ни один не посмеет тебя надуть, а ты надуваешь обоих.

Конунг говорил. Но думаю, что Сверрир впервые в своей жизни просчитался. Он должен был клясться всемогущим Сыном Божьим и девой Марией, говорить величественным, завораживающим голосом, со щелкающим под словами бичом, с невысказанной угрозой, а потом — приятная улыбка и обещания, имеющие не вполне ясную форму. Вместо этого он говорил, как человек в сомнении. Правильно или нет допускать Эйрика до испытания железом? Дайте мне совет! Он должен был затянуть свой приказ петлей на их шеях. Дать им свое решение — и замолчать. Сейчас он говорил красивые слова. Просил их поддержки — и не получил ее.

Вышло так, что люди встали и сами отдали конунгу приказание. Они сказали:

— Это твой долг, государь, предоставить всемогущему Господу судить, конунгов сын Эйрик или нет...

Они больше не были людьми, поющими с чужого голоса. Это были люди с собственными голосами, набравшиеся мужества быть услышанными в чертоге конунга.

И Сверрир боязливо отступил.

На следующий день он велел войску и дружине собраться на Илеволене, и обрушился на них своим зычным голосом. Рать встретила его громким криком, когда он пришел, — и еще громче, когда уходил, — он, конунг, за которым они прошли всю страну, их единственный государь, с братом или без брата; конунг, с которым стоит говорить, когда знать задирает свои носы и высокомерно проходит мимо. Сверрир из Кирккюбё, ровня своим людям — никогда еще он не говорил лучше.

А потом сошлись мелкие бонды из уездов и простой люд из горожан. Он говорил бесстыдно, лживо и убедительно:

— Всю правду выкладываю вам, слушайте же! Пойдете за мной?

— Да! Да!

— И ни за кем другим?

— Нет! Нет!

Так и подобает говорить конунгу.

Знать получила суровую отповедь. Они молчали, пока конунг говорил.

Но какой ответ должен он дать Эйрику?



Вот что я помню о Сверрире, конунге Норвегии, властителе и рабе:

Это было ночью в его покое, он повернулся ко мне и грубо засмеялся.

— Мои собственные люди готовят мне яд и кинжал! — воскликнул он.

— Нет, — ответил я, — тогда они убили бы тебя раньше.

— Да, — сказал конунг, — ведь только сейчас явился он — тот, на кого они хотят опереться, человек и Йорсалира в плаще роскошнее моего!

Он опять смеется и оглядывается через плечо. Эта манера впоследствии войдет у него в привычку. Он же знает, что в зале никого, кроме нас двоих, нет? Пытается прогнать прочь беспокойство? Но не может и оборачивается. Понимая своим трезвым умом, что вновь и вновь будет поступать так в грядущие годы. Но никого за ним нет.

Он говорит:

— Людям Эйрика наверняка известно, с кем из моих хёвдингов Эйрик имел тайные сношения. Ведь кто-то же есть? У нас в заложниках восемь людей Эйрика? Давай приведем одного сюда.

Этим одним стал кормчий, выступавший от имени Эйрика, когда отряд впервые предстал перед конунгом. Нагой, каким вышел из утробы матери, поднялся он из темницы — грязнее и изможденнее, чем в прошлый раз, щурящийся от света, несломленный и полный достоинства, как и раньше. Он приветствовал конунга поклоном — и молчал.

Конунг сказал:

— Твой господин, Эйрик из Миклагарда, имел тайных друзей здесь, в Нидаросе. Кто они?

Человек не отвечал.

Конунг Сверрир сказал:

— Иногда, когда кто-то из моих людей болтал лишнее, я прибивал его язык к столу. Чтобы он не мог им злоупотреблять. Хочешь, чтобы я послал за молотком и гвоздями?

Человек не отвечал.

Конунг велел принести гвозди и молоток в зал, потом отослал слугу, принесшего их.

— Никто, — сказал Сверрир, — не обвинит тебя в болтливости. Но язык, которым не пользуются, не нужен его владельцу. Высунешь его?

Человек повиновался.

— Ты показываешь язык конунгу, — произнес Сверрир, — но я умею быть дальновидным. Я поднимаюсь над мелочами. Ты в состоянии вспомнить, с кем из знати в Нидаросе твой господин водил дружбу за моей спиной?

Человек не отвечал.

— Пока ты еще можешь говорить, — сказал Сверрир, — и прежде чем навсегда лишишься этой способности, подумай, может быть Эйрик водил дружбу с окружением архиепископа Эйстейна? Ты знаешь, что служители церкви — я сам был одним из них, — таят в своих сердцах столь великую доброту, что без угрызений совести могут отыскать место для большей, чем у простых смертных, злобы. Это архиепископ стоит за Эйриком?

Человек не отвечал.

Конунг сказал:

— Ты устанешь так стоять, высунув язык, такой красивый и красный, — у тебя текут слюни, мне это не нравится, меня всегда мутит от слюны и рвоты. Попробуй высунуть язык еще дальше?

Человек выполнил и это.

— А теперь на колени, — велел конунг.

Человек повиновался.

— Иди на коленях к столу, — сказал конунг, — мелкими шагами, запомни! Болят коленные чашечки? Так, вплотную сюда, наклони голову и положи кончик языка на стол.

Человек повиновался.

— Это не очень-то учтиво — лизать стол конунга. Но когда конунг сам разрешает, другое дело. Можешь высунуть еще дальше?

Человек осилил и это.

— Я прибью его намертво, — произнес конунг, — здорово сказано, не так ли? Ты не смеешься, — полюбопытствовал он, нагнувшись над коленопреклоненным человеком. — Тебе тяжело смеяться с высунутым языком? Ты никогда не пробовал высунуть язык и смеяться, да-да, я понимаю тебя, это непросто. Но я хочу прибить намертво. Если язык лопнет, это приведет только к лишней боли. Я буду вы-

нужден вбивать дополнительный гвоздь... Помнишь кого-нибудь из друзей твоего господина здесь?

Человек не вспомнил.

Пот струился по обоим, и конунг медленно изрек:

— Поднимайся. Но не прячь язык.

Человек повиновался.

— Возвращайся в темницу, — сказал Сверрир, — и спрячешь язык, когда тебя приведут на место.

Вошел стражник.

Сверрир сказал пленнику:

— Когда вновь увидишь своего господина, — возможно, это случится, — передай ему привет и скажи, что его окружают мужественные люди. И меня тоже.

Пленника увели.

С конунга лил пот, он обернулся ко мне и сказал:

— Эйрик будет испытан железом! Но клятву даст под мою диктовку: «Я, Эйрик, сын конунга Сигурда, брат конунга Сверрира, беру это железо на Божьем суде...» Если ему повезет, он выдержит испытание и за меня. А не выдержит, значит он не сын конунга Сигурда.



Конунг пожелал, чтобы в эти ночи я делил с ним ложе, как часто бывало в добрые старые времена до того, как его объявили конунгом. Однажды ночью, сев на краю постели, он сказал:

— Мне бы хотелось, чтобы Эйрик был моим братом. Мы с ним пригубили бы один рог — и я сказал бы. «Эйрик, пусть этот рог теперь будет твоим, мне он не нужен». А он бы порывался вернуть его мне, отвечая: «Ты брат мой, я не отниму его у тебя». И до глубокой ночи мы могли бы забавлять себя небылицами: он — рассказами о Миклагарде, я о Киркьюбё. Лучше всего, если бы мы росли вместе дома. Помнишь, как мы карабкались за птичьими яйцами: один на веревке, а семеро тянули — и под нами шумело море, далеко-далеко внизу. Крошечные лодки на море, и рыба, и шторм, и тепло под одеялом, и дыхание людей в темноте рядом с нами... Помнишь?

— Я потерял сон, — сказал он.

— Он вернется, — заверил я.

— Возможно, — ответил он.

Он пожелал, чтобы я спал нагим в эти ночи, быть может, чтобы знать, что я не прячу нож под рубахой.



Йомфру Кристин, в городе твоего отца Нидаросе есть церковь, о которой я всегда думаю с отвращением. Это церковь святого Петра, маленькая, с низкими сводами, мрачная и, в моем представлении, нечистая. Когда я время от времени вынужден был ходить туда как посланник твоего отца конунга, я не чувствовал, что вступаю под святой кров Господень. Нет, было так, словно я наступил в собачье дерьмо, — словно кобели пристроились повсюду вдоль стен и обрызгали их, подняв задние лапы. От зловонных курений в церкви святого Петра меня мутило, и никакого трепета в душе не рождалось. Церковь была скорее собачьей конурой или домом терпимости, нежели храмом всемогущего Сына Божия.

Священником этой церкви был Торфинн, прозванный Надутые Губы, он тоже был нечист. Не потому что имел женщину, нет, йомфру Кристин, это не удивило бы меня так сильно. Уверен, что у него не было и мужчин — прости мне дерзкие речи, — но он хотел бы иметь их, обуздывал плоть и не очистился. Думаю, с наступлением темноты он запирался в своей келье и произносил там непристойные слова. Он, должно быть, знал их предостаточно.

Он был дороден чревом. Имел округлые плечи, вяло свисавшие книзу, некрасивую походку, шею, переходившую от плеч в щеки и подбородок. И, наконец, рот. Из-за него он носил прозвище Надутые Губы. Казалось, что он целовал тебя против твоей воли, и тебя начинало мутить. Но он продолжал целовать. Так он на меня действовал. И я знал, что он так же действовал на конунга.

В церкви святого Петра собирались мужчины и женщины зрелого возраста, чтобы пройти испытание железом на Божьем суде. Когда закон заходил в тупик и доказательств не хватало, последнее слово оставалось за Ним, Всеведущим. И многие выходили оттуда посрамленными.

Там они и встретились, Эйрик из Йорсалира, и Сверрир, конунг Норвегии. Им надлежало договориться о дне и часе, о священнике и свите, о клятве и обо всем остальном. Я сопровождал конунга, а

Эйрик явился с одним из приближенных. Преподобный Торфинн тоже присутствовал — со своей полуулыбкой, жирным ртом, опущенными плечами.

Был хмурый день, над Нидаросом нависли тяжелые тучи. Сверрир и Эйрик дружелюбно встретились на пригорке перед церковью. Оба учтиво приветствовали преподобного Торфинна. Взошли под своды, и меня охватило ощущение нечистоты. Там, на двух внесенных Торфинном стульях, они сели — лицом к лицу, ястреб против ястреба. Ни один из них не был красив. Но оба причесаны — конунг с окладистой бородой, Эйрик — с клиновидной. День был настолько хмурый, что Торфинн зажег факел и держал над ними. Я подумал, что Эйрику свет неприятен. Но я знал, что Сверриру — с его безукоризненной способностью контролировать малейшее движение глаз и мускулов, — нравилось, что факел зажжен.

Сверрир изрек:

— Клятва, произнесенная тобой, будет такой, какая нужна мне. Только утром, придя сюда, чтобы голыми руками взять раскаленное железо, ты узнаешь ее содержание.

Эйрик слабо кивнул, он был настороже, но не подавал виду. Только сморгнул один раз от света факела.

— Но знай, что эта страна — моя страна, я боролся за нее в лихую годину и не уступлю ни пяди того, что считаю принадлежащим мне по праву. Никогда ни ты, ни кто-либо другой не получит от меня титула конунга. Если Бог признает тебя конунговым сыном, я покорно склонюсь перед Его волей. Но не перед твоей волей. Конунг я. И ты мой слуга.

Эйрик снова молчал.

Сверрир сказал:

— Конунг я, и ты мой слуга. Но если Господь признает тебя сыном конунга Сигурда и моим братом, я дам тебе место в дружине с подобающими почестями. Твои люди будут считаться равными моим, и мы будем питать полное доверие друг к другу.

На это Эйрик кивнул.

Сверрир сказал:

— Если же ты, Эйрик, потерпишь неудачу, то не будешь изгнан, как нечестивец. Нет, ты не бесчестен, если Господь осудит тебя, — ты человек, заблуждавшийся в своей вере, что ты сын конунга. Тогда ты

выберешь одно из двух: покинуть страну и никогда сюда не возвращаться. Или, если предпочтешь, — вступить в дружину и служить мне со всеми своими людьми. Раз ты не сын конунга, командования над большим отрядом ты не получишь. Но обещаю, что каждое Рождество ты будешь есть за моим столом, и я буду оказывать тебе милость и благосклонность.

На это Эйрик кивнул.

Сверрир сказал:

— Аудун запишет на пергаменте все, о чем мы договорились, и мы поставим свои подписи. Ты умеешь писать? — поинтересовался он.

— В детстве я постигал высокую премудрость письма, — сказал Эйрик. — Я могу изобразить свое имя, но мало что сверх того.

Сверрир кивнул, — я увидел, как слабая краска гордости проступила на лице конунга, понявшего, что его собственное мастерство владения пером выше, чем эйриково.

Они договорились о дне и часе — через три воскресенья после праздничной мессы на Селье, за час до Примы*. Преподобный Торфинн из церкви святого Петра должен руководить ордалией. Торфинн и еще один священник будут шаг за шагом сопровождать Эйрика в его крестном пути с железом. Договориться, кто же будет вторым, стоило немало времени. Эйрик настаивал на своем отрядном священнике. Сверрир отказал. Сверрир хотел, чтобы вторым был я — посвященный в сан. Это отверг Эйрик. Тогда Сверрир потребовал, чтобы вторым у Эйрика стал ирландец Мартейн, монах с Нидархольма. Эйрик согласился. Он познакомился с Мартейном во время своего пребывания в монастыре на Нидархольме. Этот выбор удовлетворил обоих.

Они договорились, кто должен присутствовать, кроме немногих, требуемых законом. В разговор вмешался священник Торфинн — он имел на это право: с его большим опытом в испытаниях железом. Слова словно хлопотали, вылетая из его рта, — совсем как жир, кипящий в котле.

— Не слишком много! — сказал он. — Внутри станет тесно, народ начнет давить друг друга. Чем меньшему количеству мы позволим

* Prima Ora — Час первый (лат.), ок. 7.30, незадолго до утренней зари — средневековая разбивка дня по литургическим часам.

прийти, тем легче будет их выбрать. Меньше будет недовольных, когда почти никого нет.

Он все же был умен, этот Торфинн Надутые Губы, и конунг поблагодарил его. Сверрир хотел, — и Эйрик соглашался с ним, — чтобы перед церковью расчистили пространство, и народ мог собраться и поглазеть на Эйрика, явившегося в храм в рубище на испытание калёным железом. Эйрик сказал:

— Моя сестра, фру Сесилия, тоже должна присутствовать...

Сверрир встал — его сестра, фру Сесилия из Хамара в Вермланде, покинувшая своего слабого супруга и приехавшая к брату, конунгу Норвегии. Она обрела стол и кров в родовом поместье Гьёльми в Трёндалёге. Сверрир медленно произнес:

— Да, я тоже хочу, чтобы моя сестра, фру Сесилия, присутствовала здесь...

Сверрир поднялся и вывел Эйрика на пригорок перед церковью.

— Там должны стоять кузнецы. Их будет много. Если в твоей свите есть кузнец, добро пожаловать, пусть будет одним из них. Здесь поставят горны, железо надо тщательно раскалить. Отсюда его понесут щипцами внутрь...

Он снова привел Эйрика в церковь и сказал:

— Здесь встанешь ты и возьмешь железо. Ты сожмешь его крепко — как велит закон, — и медленно пойдешь вдоль церкви. Не спеши, помни, что здесь я и мои люди. Мы будем придирчиво следить за тобой. Обращать внимание на каждое изменение в твоём лице, на каждое движение губ. Здесь ты положишь железо. Здесь преподобный Торфинн забинтует твои руки и когда ты отойдешь ко сну прямо в церкви, мои люди будут стеречь тебя трое суток...

— У меня хорошие кузнецы, — сказал конунг.

Эйрик не отвечал, но пот лил с него градом, когда он ступал вслед за конунгом по церковному полу. У алтаря он повернулся к конунгу и произнес чуть глуховатым голосом:

— Ночи перед испытанием, государь, мои люди и я проведем в молитве, преклонив колени перед всемогущим Сыном Божьим и де-вой Марией. Мы будем поститься три дня и три ночи — да, даже те мои люди, которых я вручил твоему покровительству, будут молиться и поститься со мной. Последнее им легко удастся там, где они сейчас, государь...

Конунг отвечал, с коротким смешком, мрачнее, чем обычно:

— Коли так, я позабочусь, чтобы они в эти дни не знали недостатка в яствах, тогда сложнее блюсти пост и ближе к Божьей заповеди.

— И монахи Нидархольма, — сказал Эйрик, — благоволящие ко мне, государь, — в судный час, когда я возьму железо, будут петь на острове покаянные псалмы, дабы укрепить мое мужество.

И он спросил:

— А ты когда-нибудь испытывал себя железом, государь?

— Ты спрашиваешь, зная ответ, — сказал Сверрир, — а потому лжешь сейчас в доме Господнем. И не предстанешь на Божьем суде честным человеком. Скажи мне, — полюбопытствовал конунг, — имел ты ты тайных пособников здесь в Нидаросе, прежде чем явился сюда?

— Нет, — сказал Эйрик.

— Ты говоришь правду? — спросил Сверрир. — Помни, Господу известно, говоришь ли ты правду, как и то, сын ты конунга или нет. В Его власти покарать тебя, если ты лжешь, покарать даже сына конунга, если он лжет под сводами церкви.

Эйрик сказал:

— Я не лгу.

Сверрир произнес:

— Если ты солгал, — думаю, ты солгал, — ты лишишься Божьей помощи.

Пришло время прощаться, и Эйрик поклонился конунгу. Снаружи, на церковном холме, Сверрир снова указал место, где будут стоять кузнецы, и мы вернулись в конунгову усадьбу.



Вот что я помню о старом кузнеце в городе конунга Сверрира Нидаросе:

— Ты же знаешь, — говорил он, — что кто-то должен калить железо для множества испытуемых, и часто это делал я. Я не имел никакого представления, был ли тот испытуемый молокососом, жаждущим божественного подтверждения своего наследного права на серебро или поместье. Я раскалял железо докрасна. Но я помню одну молодую женщину, родившую близнецов. Их нарекли Торгрим и То-

мас. Спустя год после их рождения она впала в грех и объявила не своего мужа, а другого отцом мальчиков. Это был знатный человек, он все отрицал. Возбудили дело на тинге, она подняла руку и провозгласила: «Испытайте меня железом!» Я накалил железо для нее. Но когда ее ввели под церковные своды, она лишилась чувств при виде пышущего жаром железа, падая, обожглась и получила страшные раны. Не знаю, кто был отцом. Но сыновья выросли, и всемогущий Сын Божий не дал им доброго наследства: обоим потом отрубили по одной руке.

После испытания с женщины сорвали одежду и нагую изгнали из Нидароса, а весь народ потешался над ней. Сказали, что она была лгунья.



Мой добрый отец Эйнар Мудрый уже не был столь жизнерадостен, как в юные годы. Но чем он всегда отличался, так это великой мудростью, и сейчас более чем когда-либо. Я помню с раннего детства, как он спаял воедино два бесценных дара — веселье и ясный ум. Его жизненный путь был долог и полон страданий: от толкователя снов и пастуха дома в Кирккюбё до нынешнего советника конунга в Нидаросе. Он больше не присутствовал на всех советах у конунга. Но часто призывался как избранный, когда дума конунга была тяжела, когда того терзали сомнения в справедливости решения. В день, о котором я веду речь, мой добрый отец сидел, подперев руками седую, как лунь, голову и не притрагиваясь к рогу. В последнее время его голос утратил чудесное звучание далеких северных островов, где крики чаек и плеск волн сливаются с хлопаньем птичьих крыльев.

Он сказал:

— Государь, ты хочешь знать о великой загадке испытания железом, о мошенничестве на Божьем суде и о мудрости всемогущего Господа, побеждающей всякий обман?

— Да.

— Тогда вспомним те испытания железом, которые удались, и посмотрим, почему так вышло. Ты знаешь, государь, что руки у священнослужителей длинные и персты не всегда чисты, как у апостолов Иисуса Христа. По великой нужде — или нечестивому обману —

просит дитя человеческое о праве испытать его железом на Божьем суде. Скажем, юноша требует признать его сыном не того, кто придется ему отцом. Выиграв Божий суд, он часто наследует усадьбу и казну. Ради этого иногда стоит подкупить священника. Мне говорили, что они продаются. Но не забывай, что рядом стоят противники — зоркие, затаившие злобу, и тоже готовые к торгу. Жульничество — старое средство, но не так-то легко к нему прибегнуть, как полагают многие.

Теперь кузнецы. Железо есть железо, но горячее железо не всегда одинаково. Оно может быть настолько раскаленным, что шипят корни травы, когда кузнец бросает его наземь. Но может — у искусного кузнеца — стать красным, пока хватаешь его из огня, и серым, прежде чем попадет к испытуемому. И все же, государь, не забывай: горячее железо всегда горячо!

Но ты можешь приучить себя к боли. Отважные могут привыкнуть ко всему. Приблизь руку к железу в тихие ночи поста и молитвы и жди с колотящимся сердцем, что произойдет. Друзья помогут тебе. Разложат повсюду горячее железо: ты дрожишь и уклоняешься, но в следующий раз ты уже менее боязлив и подносишь руку ближе, ближе — ты сверлишь глазами железо, сверлишь и сверлишь, зная, что таков твой жребий, понимая, что тебе может помочь только мужество. Тебя прошибает пот. Можно научиться вызывать пот по приказу. Ты говоришь: вот железо, а вот я! Я тебя не боюсь!

Этот талант — яростная погоня за Господом, беспощадная, безжалостная, когда ты проклинаешь Его, как виновного, и гонишь Его справедливость, — этот талант дан не каждому. Вот подхлестываемый голодом — во время строгого поста, — терзаемый страхом, хотя и преодолимым, — возбужденный собственными молитвами и молитвами друзей, — час за часом, ночь за ночью — в экстазе воспаряешь ты к чему-то, чем не в силах управлять. Ведаешь ли ты, что это? Я не ведаю. Я знавал людей в далеких королевствах, которые могли, вперив взгляд в жалкого беднягу, заставить его войти в тронный зал и дать оплеуху самому конунгу. Те, кто может подобным образом управлять другими, имеют великий дар. Но малым даром обладают и многие дурные священники. Такой священник словно бросает свое приказание в лицо испытуемому железом. И человек утрачивает ясность сознания. Идет будто пьяный, хотя не пьян — словно в него

влит напиток лукавства под неустанными молитвами и покаяниями? Как ты думаешь, плачет тогда Господь или смеется? Приходит час, и уверовавший — сильно уверовавший, или лучше всего безмозглый — подхлестываемый словами и криками, взглядом и голосом священника, — не чувствует, что ступает по Божьей земле. Тогда он может ступать по железу. И не чувствует никакой боли.

Однако не забывай, государь: боль это одно, рана на коже — совсем другое! Известно, что мудрые старые люди, создавшие законы, знали, что стерпеть боль не значит выдержать испытание. Нет-нет! Есть рана или нет раны — вот в чем Божий суд. Через трое суток нога или рука должны быть невредимы. И это, государь, нелегко постичь даже носящему прозвище Мудрый.

Поговорим об обмане. О мазях для рук и ног. Намажь руки и ноги солью, это слегка поможет. Мазь из яичного желтка, смешанного с золой, поможет больше. Может статься, что Эйрик привез из великого Миклагарда мази, помогающие лучше желтка. Но раскаленное железо есть раскаленное железо. Ты можешь поддержать человека, ступающего на железо. Полуподнять его. Это поможет. Но недостаточно.

Я сам сторожил одного испытуемого. Три дня спустя я склонился над его ногой: она была невредимой. Был ли это Божий суд? Или победа уверовавшего над сомневающимся оком? Не знаю.

Но знай, государь, что у сильно верующих, у святых женщин и мужчин, случается, выступают капли крови там, где были раны у Спасителя. Я никогда этого не видел. Но наш добрый друг монах Бернард, пребывающий ныне на небесах, рассказывал мне, что был свидетелем подобного в прекрасной стране франков. И я подумал, что если верующий с Божьей помощью может истекать кровью там, где нет раны, то наступивший на железо босой ногой может избежать ожога там, где другие обожгутся.

Глас ли это Божий?

Мой опыт подсказывает, государь, что Господь всемогущий говорит редко, но не потому, что лишен дара речи. Я должен дать тебе один совет: никогда не бери железа! Твой ясный ум, твоя твердая воля — если нужно, идущая наперекор путям Господним, — не причислят тебя к сонму праведных. Ты сильный человек, но не слепой. Только будучи и слепым и сильным, ты мог бы пройти это испытание.

Ты сказал Эйрику под сводами церкви: «Ты лжешь!» Ты спросил: «Кто твои тайные приспешники здесь?» И он лгал, когда ответил: «У меня никого нет!» Думается, это ослабит его. Но не полагайся слишком сильно на то, что это поможет тебе. Уверовавший окутает свою ложь правдой и не ослабеет. Не советую тебе молить Бога о поражении Эйрика. Это ослабит тебя самого. А его не сделает слабее.

Государь, мой опыт подсказывает, что путь к Господу долог, а он говорит редко. Некоторые прошли муку железом с помощью искусного обмана. Но некоторые — и тут я, откинув со лба седые волосы, склоняю голову перед загадкой Господней, — некоторые прошли испытание так, что я готов засвидетельствовать: есть тайна непознанная. Во всем есть непостижимое, государь. И склоним головы наши, прежде чем попытаемся заглянуть в него.



Вот что я помню о моем добром друге Мартейне, монахе с Нидархольма:

Однажды ненастной ночью Мартейн спустил во фьорд лодку. Он тихо греб, обмотав кожей лопасти весел, и незамеченным высадился на землю в Нидаросе, подошел к конунговой усадьбе, надвинув на лицо куколь, и постучал. Мартейн с Острова Ирландцев, с иноземным языком среди нас, полный нежности к конунгу Норвегии, корни которой я был не в состоянии постичь. Мартейн был лазутчиком конунга Сверрира среди монахов Нидархольма. Это было небезопасно для него. Хотя противники конунга на острове не имели права убивать изменников, они могли — ночью, во время шторма, — столкнуть его в воду и сказать: — Мы ничего не видели.

И вот он здесь, — насквозь промокший после трудного путешествия через фьорд, запыхавшийся от ходьбы к конунговой усадьбе. Он говорит:

— День и ночь Эйрик молится!

Весть о молении Эйрика не отнести к числу больших неожиданностей в жизни конунга. Но Мартейн сказал, что он молится вместе со своей многочисленной свитой: накаляют железо, и Эйрик протягивает к нему обе руки — ближе и ближе, вновь и вновь, чтобы приучить и убедить себя, что железо можно одолеть. Он обливается по-

том. Похоже, что пот течет по всему его нечестивому телу. Ученые мужи говорят, что алчущий Божьего суда может потеть — потом храбреца, а не труса, — чтобы вытерпеть жар! Никогда не видел я потеющих столь обильно, как Эйрик!

Мартейн мог также сообщить, что те, на острове, день и ночь напролет пели покаянные псалмы, и монах, бывший прежде кузнецом, разводил огонь в горне и бил молотом по железу, чтобы удары молота, вид огня и его жар стали привычны для Эйрика и придали ему отваги в час испытания.

— Но ступни он не упражняет? — спросил конунг.

— Нет, — сказал Мартейн.

Конунг спросил, кто еще участвует в эйриковых молебствиях. Это были все без исключения монахи монастыря и кое-кто из священников Нидароса, тайно по ночам приплывавший и пособлявший молитве.

— Я также должен был молиться! — сказал Мартейн. — Было бы небезопасно отказываться. Я молился и взывал к Господу, и бил себя в грудь, проклинал тебя, государь, и падал на колени, и следовал за Эйриком, когда он подходил к железу. Бился головой оземь и вопил, и корчился, и блевал, и расшвыривал собственную блевоту, и орал: «Во имя Господа Иисуса Христа бросаю эту блевоту в конунга Сверрира!» И пока я делал это, Эйрик держал руку над железом и обливался потом...

— Ты правильно поступил, — сказал конунг. — Но он не упражняет ступни? — спросил он.

— Нет, — ответил Мартейн.

Сверрир нарушил слово, данное Эйрику. За день до испытания он послал меня на Нидархольм — я остался недовольным поручением — передать Эйрику его повеление: пройти босым по девяти раскаленным лемехам.

Эйрик молчал, пока я говорил. Я чувствовал, как у него холодели ступни.



Вот что я помню об одном молодом бонде из Сельбу:

Один молодой бонд из Сельбу сшил изящные маленькие кожаные башмачки своей жене. Но когда они стояли перед ним на столе,

и жена потянулась, чтобы их надеть, ему стукнуло в голову, что башмачки слишком хороши для нее. Он забрал их и сказал, что пойдет в город конунга Сверрира и продаст их там высокородной даме перед ордалией. Он завернул башмачки — она плакала у него за спиной, — ушел и проспал всю ночь на сеновале, где были мыши. Проснувшись утром, он увидел, что мышь прогрызла дырку на одном носке.

Тут уж заплакал он.

Все же он отправился в Нидарос, раздобыл иглу и заштопал носок на башмаке. Но их все равно никто не купил.

Он долго пил в кабаке и потом поплелся восвояси.

Но жена отказалась носить башмачки.



Вот что я помню об одном человеке и его молодой дочери в Нидаросе:

В городе конунга Сверрира был один старик, он торговал луком и у него была юная дочь, помогавшая ему в огороде. Старик соорудил два навеса недалеко от церкви святого Петра. Под одним он сам собирался продавать лук всему люду, стекавшемуся к церкви посмотреть на Эйрика, конунга и их свиты, под другим — его дочь. Было раннее утро судного дня, старику предстояло много работы. Нужно было отнести лук, и ему понадобилась помощь дочери. Но та спала глубоко и безмятежно. Он присел рядом с нею, она лежала, натянув одеяло до подбородка, и слегка улыбалась во сне. Он наклонился, чтобы откинуть одеяло, но передумал и вышел взглянуть на солнце, восходящее над горами. Затем вернулся и вздохнул — он не мог больше ждать. Она была так дорога ему. Юная, она нежилась во сне, сколько было возможно. Он наклонил голову и прочел краткую молитву, прежде чем разбудить ее.

Потом они пошли продавать лук всему люду, стекавшемуся посмотреть на испытание железом.



Рано на рассвете Эйрик и его свита плывут с Нидархольма, и пение монахов на борту возносится над морской зыбью. На корме

самого большого корабля кто-то стоит, воздев руки над головой, на фоне дождя и серого неба. Вдоль берега стоят люди конунга Сверрира и молчат. За ними горожане и бонды, собравшиеся из округи. Струги поднимаются вверх по реке, человек с простертыми руками все еще возвышается на корме, и теперь я вижу: человек этот сам Эйрик. С обритой головой, в сером одеянии, кающийся, босой, он ступает на землю, по-прежнему воздев руки. Падает на колени. Поднимается, склонив голову, — вперивает взор в черную землю Господню, принимает Его теплый дождь по темени, вдруг обращает лицо к небесам — и ничком бросается в пыль. Лежит неподвижно, затем ползет вперед и целует траву — раз, потом еще, и в третий раз. Медленно встает. Складывает руки. И громко молится.

Так стоит он долго — и позади монахи, раскачиваются и поют. Дружинники его свиты застыли, подняв щиты на плечо, — с неподвижными, благоговейными, вытянутыми лицами, — точно вырезанные из дерева и натертые жиром и мазью. Я вижу их словно через завесу воды — и впереди, в туманной дымке — человека с обритой головой, макушка его блестит, как серебро. Он снова падает ниц и целует корни травы.

Длинная процессия из воинов и монахов во главе с Эйриком, пленником собственного высокородного происхождения, медленно шествует к церкви святого Петра. Они идут между рядами людей конунга Сверрира — не глядя друг на друга — и между горожанами и бондами, напирающими сзади. Многие падают на колени и поют. Пение нарастает, как шторм в узеньких улочках:

*Amplius lava me
ab inguitata mea,
et a peccato meo
munda me...**

* Многократно омой меня
от беззакония моего,
И от греха моего
очисти меня... (лат.)
(Псалом 50, стих 4)

Вновь и вновь, народ и монахи, и вот служители церкви образуют кольцо вокруг человека в покаянном рубище и дают ему в руки тяжелый крест. Похоже, что тот сгибается под его тяжестью, но все же смело воздевает его к небесам. Крест грубо выструган и сколочен гвоздями, простой, но святой. Смертный человек только после строжайшего говения осмелится поднять этот крест, который он недостойн нести. Затем Эйрик опускается на землю. Раскидывает руки и лежит неподвижно, как живой крест в пыли, колотит кулаками по земле, бьется головой, — изнуренный поднимается, шатается, но стоит — чело проясненное, излучает внутренний свет, — и он поет. Теперь я могу выделить его голос, он ведет песню — как воин с копьем во главе войска, когда победоносно бросается на врага:

*Amplius lava me
ab inguitata mea,
et a peccato meo
munda me...*

Он снова хватает крест, с торжеством поднимает его, он — торжествующий носитель Креста Господня, больше не шатается, уверенно шествует во главе процессии монахов к церкви святого Петра в городе конунга Сверрира.

Там стоят кузнецы. Конунг распорядился поставить горны. Их шесть, по три с каждой стороны мощеной дорожки, ведущей к церковному portalу. В горнилах разведен огонь, пламя хлопает на ветру, чуть накрапывает дождь, и слышится шипение, когда капли падают на уголья. Лежат лемехи. Кузнецы потны и черны от сажи, в правой руке молоты, главы молотов покоятся на наковальнях. Дурно пахнет, — это кипящий пот, или, может быть, кто-то нарочно плеснул конской мочи, чтобы испортить воздух? Увидев их — кузнецов и горны, почувствовав жар от огня, Эйрик передает крест ближайшему монаху. На лице появляется просветленное выражение. Он идет к первому кузнецу, смиренно кланяется и благословляет его. Склоняется над огнем, так низко, что я содрогаюсь, — и осеняет его крестным знаменем. Нагибается еще ниже, губами к огню и краснеющему железу, которое покоится в огне, дожидаясь его. Выглядит так, будто он собирается поцеловать железо. Стоит, нагнувшись, потом выпрямляет-

ся, еще раз осеняет себя крестным знамением и идет дальше, к следующему горну.

Я содрогаюсь. Пот струится по спине и груди, застилает глаза, я вынужден стереть испарину. Эйрик благословляет всех шестерых кузнецов, он так кроток на вид, — вновь склоняется над каждым огнем, словно просит гореть жарко и рьяно. Опять возвращается к церковной ограде. Встает на колени. И так, на коленях, ползет меж двух рядов кузнецов и двух рядов горнил, окруженный дружинниками и монахами. Он поет — тихо, но горячо. У входа в церковь стоит преподобный Торфинн и приветствует Эйрика.

Должен прийти конунг Сверрир. Но он не идет. Тем временем дождь усиливается, и капли шипят, падая на железо и в пламя, и сажа начинает течь по лицам кузнецов. Мы стоим и ждем конунга Норвегии. Он не идет. Псалмы уже все перепеты, и непрерывно поющие монахи затягивают их сначала. Эйрик стоит впереди с воздетыми руками. Я замечаю, как он утомлен, — опускает руки и садится на колени. Склоняет голову — отдыхает. Это незаметно и выглядит так, словно он погружен в молитвенный экстаз. Монахи переглядываются: конунг не придет? Я стою неподвижно, один из монахов взбирается ко мне и что-то шепчет. Я не смотрю на него и не отвечаю. Проходит время, конунг не появляется. Гул голосов в улочках сперва усиливается, затем замирает. Над Нидаросом, над церковью и людьми повисает угрожающая тишина.

Эйрик лежит, распростершись крестообразно, голая макушка указывает на церковь.

И вот приходит конунг. Из открытой двери церкви направляется прямо к Эйрику, берет его за плечи и поднимает. Конунг оттесняет в сторону монаха, и они остаются вдвоем, лицом к лицу. Сверрир, конунг Норвегии, говорит Эйрику из Миклагарда:

— Вот клятва, которую ты должен произнести: «Я, Эйрик, сын конунга Сигурда, брат конунга Сверрира, ступаю на это железо и клянусь перед ликом Господа на Его суде...»

Тогда Эйрик отвечает:

— Не можешь ли ты повторить клятву, государь?

Конунг Сверрир повторяет ее.

Они стоят и смотрят в глаза друг другу, оба от мира сего, один в покаянном рубище, другой нет. И никто не уступает.

Эйрик говорит:

— Я не понесу железо, чтобы подтвердить чужое происхождение, а не свое собственное.

Он кивком подзывает к себе монаха. Они перекидываются парой слов. Эйрик вновь оборачивается к конунгу и говорит:

— Даю тебе срок до благовеста к вечерне. К этому часу ты должен прислать мне новую клятву. Если не пришлешь, я отказываюсь от Божьего суда, и тогда пеняй на себя, государь.

Он поворачивается и уходит, дружинники и монахи следуют за ним прочь из церкви святого Петра и из города конунга Сверрира.



Конунг вошел в церковь, и мы следом за ним. Только раз прежде я видел конунга Сверрира таким: после поражения при Хаттархамаре, когда он разрыдался, и ближние силой заставили его возглавить отступающий отряд. Сейчас он не плачет, но молчит — стиснув зубы, словно проглотил, не разжевав, черствый кусок хлеба. Он отталкивает моего отца и меня, протискивающих сквозь толпу окруживших конунга людей. Свиной Стефан что-то орет дурным голосом, его крик возвращается эхом от каменных стен. Под сводами церкви льется слабый свет. Кто-то просит принести факел, приходит Торбьёрн сын Гейрмунда из Фрёйланда и держит его над конунгом. Но конунг велит убрать факел. Поворачивается спиной к нам. Ссутуливается и становится маленьким, потом снова оборачивает лицо к нам, но ничего не говорит. Мы пробуем дать ему совет. Но какой совет мы может дать? Вдруг начинает твориться сущее безобразие: мы говорим все разом, перебивая друг друга. Гудлауг Вали обрывает меня, я отталкиваю его, у всех есть что сказать, но никто не знает, что говорит. А конунг молчит.

Тогда выступает мой добрый отец Эйнар Мудрый:

— Ты хотел сделать Эйрика глупее, чем он есть, государь! Ты думал, Эйрик примет клятву такой, как ты ее составишь, но он видит яснее, чем ты предполагал, и имеет больше мужества, чем ты ожидал. «Сверрир испугался!»-скажет теперь народ. Он признает его правым, а тебя неправым.

Конунг смотрит на моего отца с глубокой неприязнью, разжимает губы — и плюет в него.

В этот момент он готов крикнуть — и я жду боевого клича: люди поднимут щиты, конунг выступит вперед и поведет их на священников и монахов, на человека в покаянном рубище, непокорного конунгу страны... Тут в церковь святого Петра входит Симон из Сельи. Я вижу, как мой отец стирает плевок конунга со щеки.

Симон всегда был тощим и сутулым, с узкими губами, редко растягивавшимися в улыбку, с глубоким взглядом: в первые годы нашего знакомства я думал, что он видит в темноте. Мы расступились перед ним. И он прошел прямо к конунгу.

Случается, что низший по происхождению бывает высшим по положению. Симон указывает на скамью у стены церкви, и конунг в изнеможении опускается на нее. Симон кивком подзывает Торбьёрна сына Гейрмунда. Торбьёрн вновь приносит факел. И так — при свете, падающем на лицо конунгу и ему, Симон стоит мгновение, не произнося ни слова. Потом говорит:

— Я пришел не от имени Эйрика, государь, я выступаю только от себя. Но ты знаешь, что хотя я всегда следовал за тобою, частенько случалось, что мои помыслы не были до краев наполнены любовью к конунгу страны. В свое время говорили, что ты продался дьяволу. Я верил этому — или хотел верить — и распускал слух дальше. Помнишь ли также, как я просил у тебя епископскую кафедру в Хамаре, а ты отказал мне? Воспоминание об этом часто причиняет мне боль. Мое право злоститься, твое право наказывать меня за эту злобу, если она задевает тебя. Я озлоблен на тебя в своем жестоком сердце, ибо ты выше меня! Сейчас настал миг, когда я должен открыться. Когда люди Эйрика втайне явились в Нидарос и искали здесь поддержки, они говорили и со мной. Я внимательно выслушал их. Можешь меня казнить, коли хочешь. Народ скажет тогда: «Симон был прав, говоря, что конунг Норвегии продал душу дьяволу!» Я заявил людям Эйрика: «Никакой другой помощи, кроме молчания о том, что я теперь знаю, я вам не окажу. Я человек конунга Сверрира!» Однако все во мне ликовало. Не оттого, что другой, может статься, займет твое место. Но если Эйрик выдержит испытание и докажет свое высокое происхождение, конунг дружины биркебейнеров чуть смирит свою гордыню. Я знаю, что ты на равных беседуешь с воинами, бондами и горожанами. Но все же ты надменный. Появись рядом брат, представляющий для тебя угрозу, ты сразу станешь мудрее — и покорнее. В

твоей мудрости недостает смирения. Я храбрый человек, государь. Ты всегда говорил: «Величайший из даров Господних смертному — отвага!» Похоже, тебе придется примириться с моею. Я молился об Эйрике и соблюдал пост — признаюсь тебе как на духу. Я замыкался в святая святых и взывал к Богородице: «Окажи человеку из Миклагарда всю твою милость!» Говорю тебе, государь: «Не действуй обманом!» Так поступал я — время от времени. Так, пожалуй, действует Эйрик. Но ты, конунг Норвегии, не должен обманывать. Ты должен соблюсти честную клятву. И позволь мне уйти с миром.

Он развернулся и вышел. И держался прямее, чем прежде.

Но конунг окликнул Симона. Он поднялся, и мы вдруг увидели: подавленность и леденящий ветер в сердце, улыбку на сером лице... Резким, грубым движением он сгреб Симона за плечи и встряхнул:

— Ты мой друг, Симон! Теперь ступай!

И Симон ушел.

Мы смотрели ему вслед.

Конунг сказал:

— Аудун, ты составишь новую клятву?

Я сделал это.

Эйнар Мудрый сказал:

— Народ возложит на конунга всю вину, если Эйрик будет вынужден уйти, не завершив дела.

Мы покинули церковь.



Эйрик и его свита из дружинников и монахов вернулись и вступили под мрачные своды церкви святого Петра. Лица менее мудрых светились торжеством, но я заметил также, что сам Эйрик стал иным: более ясен рассудком, словно отрезвевший с тех пор, как оставил нас. И я подумал: «То, что случилось, кажется, не на руку ему?» Он снова бросился на колени. Но уже не с той страстью одержимого, с меньшей проникновенностью в мольбах. Монахи пели. Но голоса их словно потускнели.

Мне вменялось именем конунга Норвегии обследовать, босы ли подошвы Эйрика и нет ли на них какой-либо защиты от огня и жара. Не раз бывало, что испытуемые раскаленным железом прикрепляли

к подошвам тонкую железную пластинку. Когда ее срывали, Господь переставал благоволить к ним. По приказанию конунга появляется конунговий трубач Рейольф из Рэ. Он поднимает рожок — Эйрик поднимает ногу. Под сводами церкви с торжествующей силой гремит конунговая фанфара — звук отражается от стен и ударяет в каждое ухо злобным ревом. Пока он стоит, подняв одну ногу, я наклоняюсь в свете факела, который опасно близко держит Торбьёрн сын Гейрмунда из Фрёйланда, и, сощутив глаза, изучаю кожу на подошве. Провожу по ней рукой. Возможно, кожа натерта солью и мазью, но железной подметки на ней нет, подошва босая. Он опускает ногу. И чуть улыбается — с налетом презрения, но ни на миг не теряя учтивости.

Вторая нога поднята — и вновь Рейольф оглашает церковь зычным ревом своего рожка. Теперь подошел и Гудлауг Вали. Он притворяется, что не доверяет мне и моему расследованию. Однако наша цель — подвергнуть сомнению честность Эйрика и поколебать таким образом его спокойствие, — а кроме того, изнурить его долгим стоянием, балансируя на одной ноге, подняв другую. Но на обеих ступнях нет тайных пластин. Он опять улыбается — с чуть большей гримасой презрения вокруг полноватого рта.

Разозлившись, я наклоняюсь к нему — сую свой нос прямо в его некрасивые твердые губы. От него удушливо пахнет потом и мужчиной. В свете факела я вижу, как Эйрик разжимает губы, дышит энергичнее, чем раньше. Но изо рта не смердит перегаром. Он быстро сглатывает. Пил ли ты, требующий признания сыном конунга страны, отвары трав Миклагарда? В таком случае они не пахнут. Но его самообладание уже не так непоколебимо. Я отворачиваюсь от Эйрика и говорю конунгу:

— Мой осмотр показывает, что его ступни босы.

Входит фру Сесилия. Да, сестра конунга и Эйрика — если Эйрик сын конунга Сигурда. Сесилия, в ранней юности подаренная в наложницы Фольквиду лагману в Швецию и позже ставшая его женой. Покинувшая супруга из-за слабости его чресел и связавшая судьбу со Сверриром. Она, должно быть, горяча в постели — беспощадная пожирательница мужчин, словно волк, задирающий по весне ягнят. Прекрасная в блеске своей наготы — многие могут подтвердить это, — податливая, но подчас неукротимая, способная раздеть мужчину раньше, чем он разденет ее. Так отсылает его... Зовет вновь... Рассте-

гивает одежду, напевает, кидается на постель, вскакивает и носится вокруг огня с искрами в распущенных волосах. Кличет свою стражу для защиты от него, посягнувшего... Выставляет их вон... И обмякает в его объятиях...

Но при следующем свидании пинает его в живот.

Теперь она живет в Гьёльми в разлуке со своим супругом, и одна из тяжких забот конунга — найти ей нового мужа: или нескольких, сказал он однажды и рассмеялся. Вот она входит. Разодетая в шелка с головы до пят. Высокая грудь затянута в кожу — груди, как два боевых корабля, рассекают тусклый свет под церковным сводом. Башмачки, меньше которых я до сего дня не видывал. Ступает по каменным плитам так осторожно — словно это облако, а она ангел, приготовившийся танцевать. С нею три служанки. Она выступает вперед и благословляет своего, как она говорит, брата — человека из Миклагарда, представшего сегодня перед Божьим судом.

Она кланяется ей.

Лицо конунга Сверрира сейчас пепельно-серое.

Ты, Сесилия, такая умная и жестокая в своей игре. Ты знаешь, что проиграй твой второй брат, первый все равно тебя не оттолкнет. А если твой второй брат одержит победу на Божьем суде, ты уже в этот день завоюешь его дружбу и поддержку. Теперь она подходит к конунгу Норвегии и кланяется ему.

Эйрик вдруг выхватывает кисет, который носит в поясе, и сует туда руку. Вытаскивает, поднимает руку, потом другую и призывает к спокойствию. Мертвая тишина воцаряется под сводами церкви. Он прочищает горло и кричит приятным, но без особой мелодичности голосом:

— Это земля из священных кущей Голгофы! Там, где принял смерть на кресте наш Спаситель, стоял я и наполнил землей этот кисет.

Он осеняет себя крестным знаменiem, затем посыпает землей голый череп, крупички катятся на лицо, в глаза, я вижу, как он сильно моргает, но не смахивает соринки. Он берет — постояв со склоненной головой и пробормотав молитву — две горстки земли и швыряет в нас. Это означает благословение всем нам. Дар щедрого и доброжелательного человека другим, когда он сам нуждается в поддержке всемогущего Сына Божия и девы Марии. И он поет:

*Amplius lava me,
ab inguitata mea,
et a peccato meo
munda me...*

Он опять погружается в свое (как мне назвать это?) — в свое безумие, и священники разом запевают громче. Он взывает не к святому Олаву, и даже не к Богородице или особо любимому в детстве святому. Нет-нет, в своей отчаянной нужде он взывает — искренне, я вижу это, — к самому Христу. Он идет прямо, презрев окольный путь и заступничество других. Прокладывает дорогу сквозь ряды святых и бросается ниц к небесному престолу:

— Христос! Христос! Христос!

Позади него поют священники, тихо и вдохновенно, искренне, вновь и вновь:

*Amplius lava me,
ab inguitata mea,
et a peccato meo
munda me...*

Кузнецы вносят железо. По одному кузнецу и одному подмастерью на каждый лемех — мы отступаем в сторону, на нас пышет сильным жаром. Гудлаут Вали указывает места, где будет лежать железо. Они заранее выбраны конунгом. Земля шипит там, где брошены лемехи, травка меж каменных плит обугливается и сереет. Насыщенный красный цвет вынутых из горна лемехов постепенно тускнеет, но еще долго сохраняется их красно-бурый оттенок. Свиной Стефан нагибается и бросает на один из лемехов кусок сала. Мгновенно пахнет паленым. Фру Сесилия вскрикивает, конунг выходит вперед и поддерживает ее, пока запах горелого сала заполняет церковь.

Итак, час пробил. Эйрик, лежавший коленапреклоненным, поднимается. К нему идут два священника — Торфинн из церкви святого Петра и Мартейн, монах с Нидархольма. Каждый берет его под руку. Ведут к первому лемеху. Там он должен прочесть клятву.

Он кладет руку на Священное писание и читает:

— Я, Эйрик, сын конунга Сигурда, вступаю на это железо и клянусь перед ликом Божьим, что суд за Ним...

Час настал, и разом все его могучее тело прошибает пот. Он струится по лицу и шее, я вижу, как он течет по ногам, как насквозь промокает рубище, надетое на Эйрике. Это происходит, как по команде. Взгляд отсутствующий, он стонет, и стон доносится словно из чужой глотки. Делает первый шаг. Но его больше нет среди нас.

Мартейн и Торфинн поддерживают его, — и одинокий голос в толпе поет высоко и пронзительно. Я сразу узнаю голос Симона. Все Эйриковы монахи падают на колени. В тот же миг он ставит ногу на первый лемех. Он не кричит. Опускается всей тяжестью.

Идет с полуоткрытым ртом, в глазах морская даль, видны зубы, словно он что-то кусает, а я не вижу, что именно. Сесилия кричит. У нее лицо, какое бывает у женщины в тот миг, когда ею овладевает мужчина. Конунг больше не поддерживает ее. Он стоит с каменным лицом и пытается поймать взгляд Эйрика, чтобы заставить его дрогнуть. Я вижу лицо Мартейна, корчащееся от боли, — он ступает так близко к железу, что тоже принимает боль. Они ведут Эйрика с лемеха на лемех. Я не чувствую запаха горелого мяса. Но ощущаю дурноту и головокружение.

Он прошел испытание железом.

У алтаря стоит кровать. Он садится на край, Торфинн из церкви святого Петра что-то кричит ему, но взгляд Эйрика блуждает далеко отсюда, и он не отвечает. Подходит мой добрый отец Эйнар Мудрый и забинтовывает ему ноги.

Эйрик ложится в постель, и мой отец укрывает его одеялом.

Он должен пролежать так трое суток, в строгом посте: если его ступни окажутся невредимы, значит, Господь сказал свое слово и спас его. А останется хоть малейший ожог от железа — Господь осудил его.

Стражники Сверрира замерли возле ложа, так они простоят трое суток напролет. Входят подмастерья и уносят лемехи из церкви.

Расходятся монахи, и мы, люди Эйрика и конунга. Льет дождь. Я чувствую себя нечистым, словно желудочная хворь извергла из тела все нечистоты, а я не успел привести в порядок одежду.

Из церкви слышится один-единственный крик, это Эйрик кричит от боли.

Затем все стихает.

Трое суток спустя его ступни невредимы.



СВИДАНИЕ КОНУНГОВ В НИДАРОСЕ

Уомфру Кристин, в ночь, когда наш добрый Гаут лежит под сенью смерти и отчаянно борется, мои мысли возвращаются к далекому дню, когда его крепкая единственная рука вторглась в нашу с конунгом жизнь. Был теплый, ясный осенний день. Несколько недель минуло с тех пор, как Эйрик Конунгов Брат прошел по железу на Божьем суде. Доложили, что в Нидарос прибыл Гаут и с ним священник из неприятельского лагеря, они просят приветствовать конунга. Обоих сразу провели внутрь. Вторым оказался преподобный Сэбьёрн, приславший мне летом в подарок великолепную книгу. Преподобный Сэбьёрн прибыл от конунга Магнуса, взяв Гаута как свидетеля своей благонадежности. Сэбьёрн привез с собой письмо.

Чтобы не попасть в чужие руки, письмо было вшито в рукав его кожаного камзола. Сэбьёрн скинул камзол, и мы общими усилиями извлекли письмо. Он протянул мне его со словами:

— Прошу тебя, господин Аудун, как самого сведущего в искусстве составления писем, прочесть это послание конунга-изгнанника конунгу-правителю.

Слова превосходны, но Сверрир не позволил им одурачить себя. Он кликнул стражника и велел облизать письмо.



Случалось, что добрые люди в дальних странах погибали от сильнейшего яда, которым враги натирали пергамент. Они брали письмо голыми руками, потели и утирали пот, подпирали ладонью подбородок, ковыряли в носу, совали в рот палец, чтобы удалить хлебную крошку. И умирали. Стражник попробовал. Но не умер.

Мы развернули письмо, конунг и я читали его вместе. Это было учтивое послание, однако стиль не вполне хорош — я сказал это конунгу: более смысленный человек, чем конунг Магнус, не позволил бы своему писцу отправить подобное письмо. Но конунг попросил меня молчать.

— Меня меньше заботит форма, нежели суть, — сказал он.

Конунг Магнус писал, что его флот готов осенью причалить к Нидархольму, и люди на борту не поднимут оружия. С условием, что и люди конунга Сверрира не обратят против них своих мечей. То, что Сверрир был настроен толковать с Магнусом о мире в стране, могло обрадовать многих — конунги нередко завоевывали почет и славу даже менее достойными деяниями.

Сверрир поблагодарил Гаута и Сэбьёрна за радостное известие и велел служанкам внести угощение. Потом он пожелал побеседовать со мной с глазу на глаз. Я видел радость на загорелом лице конунга Сверрира, радость и сомнение, теперь, как и всегда, — а под радостью и сомнением энергично и мощно работала мысль.

Давай, йомфру Кристин, вообразим себе положение твоего отца конунга. То, что Магнус, коронованный конунг страны, сейчас намеревался прибыть к конунгу Сверриру толковать о мире, было немалой честью для священника с далеких островов. Явившегося однажды из-за моря без друзей, без войска, без оружия, имея лишь зычный голос, проницательный ум да талант предводителя. Тогда его слова не подкреплялись силой. А теперь он держал в руках письмо от Магнуса — письмо одного конунга другому.

Но была и другая сторона медали. Сверрир знал, чего жаждал народ: он жаждал мира. Однако конунг не знал, чего требовал Магнус: не была ли назначенная им цена столь высока, что Сверрир не мог ее заплатить? Сколько народу у Магнуса, насколько он зол, пообещает ли покориться конунгу Сверриру, довольствуется ли правом пользоваться его печатью или потребует свою собственную? Как долго сохранится мир? Кто больше выиграет от этого скоротечного мира?

Продолжат ли оба стана готовить воинов и ковать оружие для новой распри?

А как быть с Эйриком Конунговым Братом? Сверрир знал, что стал сильнее в противостоянии с Магнусом с приходом Эйрика и его вооруженного отряда. Но в Нидаросе пронесся слух — да и по всей стране, что Сверрир вышел из истории с Эйриком посрамленным. Один ступал босой ногой по железу и требовал Божьего суда, чтобы подтвердить свое происхождение. Другой допустил это. Прежде был в стране один сын конунга, теперь, похоже, два. Или один — но отнюдь не конунг Сверрир.

Эйрик требовал назвать его Эйрик Конунгов Сын. Сверрир отрезал: — Будешь зваться Эйрик Конунгов Брат.

Эйрик согласился — он разумный человек. Но народ? В тот день Сверрир запомнился мне таким: торопливо шагающим от очага к трону, руки беспокойны, говорит быстро и порой невпопад, в глазах — жестокая правда о себе самом. Оборачивается и кричит:

— Никому сюда не входить! — Хотя не слышно ни стука в дверь, ни шагов за нею. Он садится. Но вновь готов вскочить. — У Эйрика нет выбора, — говорит он, — сегодня нет, но завтра! Сегодня он должен следовать за мной. А у меня нет выбора ни сегодня, ни завтра. Я должен делать то, что делаю — и с Эйриком в свите. Итак, есть ли у нас выбор относительно Магнуса?

Он останавливается и сверлит меня взглядом. Я медленно говорю:

— Твой ум, Сверрир, острее моего. Но думаю, что если мы устроим засаду и схватим их — а мы это можем — народ никогда не простит, что ты напал на конунга, первым предложившего тебе мир. Ты должен принять его цену. И наступит мир. Или распря.

— В этом ты прав, — отвечает он. — Каждое слово, сказанное нами с начала переговоров, должно иметь двойное дно. Каждый заключенный нами договор — если таковой будет, — должен истолковываться двояко. Это не означает, что мы первыми нарушим договор. Но если он нарушит его — а он нарушит, — то он, а не я должен выглядеть предателем в глазах народа.

— Тут ты прав, — сказал я.

— Добившись мира в стране, я могу согласиться, чтобы Магнус стал ярлом в Вике, — говорит он. — Все равно у меня там нет никакой власти. Но мы оба должны пользоваться моей печатью, и только моей.

— Не входить! — кричит он.

— Никого нет, — отвечаю я. — Ты беспокоен из-за Халльварда Истребителя Лосей. Думаешь, Магнус потребует его смерти?

— Вопрос не о голове Халльварда или моей чести, — объясняет он. — Вопрос о том, к чему меня, конунга страны, можно принудить. Голова Халльварда для Магнуса важнее, чем для нас. И если его голова — часть цены мира, я готов заплатить. А ты? — спрашивает он и пристально смотрит на меня.

— Воля конунга — моя воля, — отвечаю я.

— Но никогда у Магнуса не будет своей печати в моей стране! — отрезает Сверрир.

— А нельзя ли предположить существование двух печатей — и обе твои, — спрашиваю я. — Та, которой пользуешься ты — с твоим собственным изображением, и другая, для него, — с твоим и его портретами?

Конунг раздумывает и согласно кивает, говоря:

— Ты мудрый человек, Аудун, и хитрый. Магнус отнюдь не глуп, но он труслив. И слишком стремится к славе. Как ты думаешь, в письме был яд? — интересуется он.

— Кликни служанку и вымой руки, — говорю я.

Он так и делает, усмехаясь, когда она входит с водой и холстом в руках. Легонько щиплет ее за щеку и говорит: ты все равно не сможешь принести столько воды, чтобы смыть с конунга все его грехи.

Йомфру Кристин, я расскажу тебе все, что помню о той осени в Нидаросе, когда два конунга встретились для мирных переговоров. Я узнавал о происходившем от многих людей — в том числе от Гаута, и оглядываясь назад, словно вижу себя в центре каждого события, слышу каждое слово.

И каждый день Халльвард приносил конунгу хлеб.



В Нидаросе нужно было кое-что привести в порядок перед важной встречей двух конунгов. В Скипакроке становилось слишком тесно, когда дружинники строились боевым порядком, и конунг приказал снести один из домов. Когда пришли плотники, живущих в доме никто не предупредил об этом. Плотники вскарабкались на

крышу и принялись сбрасывать дерн. Из дома вышел мужчина и стал браниться, потом заплакал, сказав, что его жена сейчас рождает первенца. Он побежал за помощью. Люди конунга взяли лавку с роженицей и стали выносить. Лежанка оказалась слишком широкой и не прошла в дверь — ее собирали внутри. Тогда плотники сбросили с постели женщину, та родила и лежала в забытьи. Затем они выбили спинки лежанки и вынесли ее по частям, чтобы продолжать ломать дом. Молодую роженицу мучила боль, младенцу не перевязали пуповину, — тогда один из плотников пожалел их и спрыгнул с крыши. Он вывихнул ногу, но доковылял к матери и ребенку, перекусил пуповину, затянул ее ниткой и пошел ломать дальше. Никакого приказа о том, что делать с бревнами, не поступало. Обычно плотники, сносившие дома для конунга, получали за работу половину бревен. Началась перепалка. Вернулся хозяин дома, так и не нашедший помощи. Халльгейр-знахарку забрали к конунгу, и сейчас она занималась одним из заложников, взятых Сверриром из людей Эйрика перед ордалией.

Уже была разобрана большая часть дома, когда явился гонец от конунга и сказал, что вся древесина пойдет для нового моста в Скипакроке. Таков приказ конунга. Это не понравилось работникам. Они принялись стаскивать бревна в кучу и садиться на них. Хозяин дома крикнул: — Куда дели лежанку?

— Нам пришлось ее сломать, — отвечали они. Тогда мужчина перешагнул через бревна и приподнял пару меховых одеял, пытаясь их вытянуть. Их защемило бревнами.

— Могли бы помочь мне достать их, коль сломали мой дом, — сказал он плотникам. Один подошел, но потребовал за помощь меду. Мужчина отыскал жбан с медом, и одеяла вытащили. Он забрал их и устроил ложе для своей молодой жены. Та сильно страдала, истекая кровью. Пришли другие женщины. Они с готовностью помогли, четверо растянули за углы одеяла, подняли и понесли роженицу. Прибежали поглазеть мальчишки. Хозяин хотел прогнать их, но один из маленьких поганцев повернулся задом и испортил воздух. И все хохотали, пока женщины уносили мать с младенцем.

Работник, напившийся меду, сказал, что пора доламывать дом, и плотники продолжили свое дело. Хозяин дома заявил, что пойдет к конунгу.

— Ступай! — сказали они. Тот пошел, но по пути передумал и побежал взглянуть на молодую жену и ребенка. Он не знал, в какой из домов их унесли, и сначала прибежал не туда. Когда же нашел нужный дом, одна женщина сказала:

— Мы мало чем можем помочь, она без сознания.

Мужчина побежал к конунгу, перешагивая через бревна собственного дома. Подошли еще работники и начали строить новый мост.

Человека, который был кормчим Эйрика и сидел в заложниках у конунга Сверрира, звали Йорунд. Он и остальные заложники были теперь свободными людьми. Сидя в подземелье, пока Эйрик Конунгов Брат лобызался с железом на Божьем суде, Йорунд отдавал другим свой хлеб и воду. Он бодрствовал и молился, и сильно ослабел от этого. Теперь он попал в руки знахарки Халльгейр. Она натерла его мазью, развела молоко водой и смочила два лоскута. Те сделались похожими на соски, и Йорунд сосал их. Жизнь вернулась к нему.

— Все люди Эйрика теперь люди конунга, — сказал я.

— Тогда следует хорошо обращаться с ними, — заключила Халльгейр. Когда Халльгейр стояла передо мной, меня так и подмывало хлопнуть ее по задку. На шее у нее висел кожаный мешок с травами. Она высыпала их и велела вскипятить воду. Придирчиво следила, чтобы травы были брошены в момент кипения, и подгоняла тумакми помогавшую ей служанку. Я знал, что служанки в конунговой усадьбе стали путаться с эйриковыми людьми, когда те поступили в войско конунга Сверрира. Я сказал Халльгейр, что служанка ходит сонная, потому что наверняка спала с кем-то из людей Эйрика. Тогда Халльгейр дала ей еще одну затрещину. Вода закипела. Халльгейр процеживает отвар, что-то нашептывает над ним и опрокидывает в горло Йорунду.

Йорунд и я должны отныне делить ложе. Так повелел конунг, однако я недоволен. Я сказал: за долгие годы служения тебе я привык к поту многих людей и никогда не роптал из-за этого. Но, государь, Йорунд путешествовал по чужим странам, и его пот пахнет не так, как наш.

— Тебе все равно придется, — ответил конунг. — Эйрик почтет за великую честь, если мой ближайший наперсник разделит ложе с одним из его приближенных.

— А ты будешь делить ложе с Эйриком? — поинтересовался я.

— Да, — сказал он, — я должен, и мои люди распустят по Нидаросу слух, что братья спят вместе.

Мой добрый отец Эйнар Мудрый был послан в Нидарос пустить слух в нужных местах, что не только люди конунга разделят ложе с эйриковыми, но и сами братья сядут, скинув рубахи, на краю постели и будут вместе молиться перед отходом ко сну. Мой добрый отец Эйнар Мудрый имел блаженный вид, выполняя поручение конунга. Он заходил в трактиры и пил, притворялся пьяным, будучи трезвым, покачиваясь, поднимался и брел дальше, оставив после себя пару нужных слов. В эти дни он страдал зубной болью. В Нидаросе нашелся один умелый кузнец, рвавший зубы. Мой отец отправился к нему. Кузнец был за работой: точил крючья, чтобы связать ими сваи нового моста.

— Ты умеешь рвать зубы? — спросил отец. Кузнец попросил его разинуть рот и изумленно уставился туда. Потом пришел с крюком, воткнул его в десну и коротким рывком выдрал зуб. Мой отец Эйнар Мудрый стал препираться с кузнецом о плате за работу.

— У нас дома, в Киркьюбё, кузнецы рвут зубы, не требуя серебра, — сказал отец. Кузнец прорычал, что иначе повыдергивает и остальные. Мой отец перешагнул через бревна, оставшиеся после снесенного дома, и попросил одного из работников принести рог с пивом. Получив его, дал выпить кузнецу.

Я не выносил запах пота от ног Йорунда. Сперва мы спали вальетом, и пальцы его ног упирались мне в грудь. Я поднялся и сказал, что чести много, но и бесчестья не оберешься.

— В таком случае и я того же мнения, — заявил он. Мы сели на постели, он вдруг загрустил и сказал, что любил одну женщину в далекой стране и хотел остаться с нею, но Эйрик Конунгов Брат, уезжая, забрал его с собой. Я огорчился за Йорунда. Он был старше, чем казался на вид. Ребра проступали сквозь кожу.

— Она гладила их? — спросил я.

— Все мое тело, — сказал он, — а я всю ее.

— Расскажи мне о ней, — попросил я. Он уступил, открыл мне все ее тайны и стал с тех пор моим другом. Потом пришел Коре сын Гейрмунда из Фрёйланда и сообщил, что люди в казарме жалуются, что должны делить ложе с людьми Эйрика.

— Им все равно придется, — сказал я. — Я же делю ложе с Йорундом, пот которого тоже не мед.

— Пусть так, — ответил Коре, — но это не поможет дружинникам.

— Возвращайся и поговори с ними, — настаивал я, — посоветуй им лечь валетом, на лавке станет просторнее.

— Они уже все перепробовали, — возразил он, — тогда они упрутся ногами друг другу в носы.

— А не найдется ли у тебя пива для них? — поинтересовался я.

— Пиво мало помогает против потных ног, — ответил он и ушел.

Через день появился Кормилец и посетовал, что у него всего несколько мелких котлов, и теперь, когда в дружинной палате едят люди Эйрика, стало не в чем варить пищу. Конунг вспомнил о котле, утопленном на мелководье во фьорде, — из-за распространившегося слуха, что он был труповаркой в Мёре. Он предположил, что его можно под покровом ночи поднять, а дружине сказать, что котел доставили от одного бонда из Сельбу, получившего его в свое время в дар от святого конунга Олава. И вот настала ночь, светила луна, я взял с собой троих помощников, и мы поплыли. Одним из них был Эрлинг сын Олава из Рэ. Мы захватили снасти и большие багры. Эрлинг оказался самым ловким, и вскоре добыча клюнула. Тащить котел было тяжело. Пока мы опрокидывали его в лодку, ноги промокли насквозь. С нами был Торбьёрн сын Гейрмунда из Фрёйланда. Он снял башмаки и сказал, что негоже биркебейнеру носить обувь. Потом шутки ради опустил один башмак в море. И к несчастью, выронил его. Башмак тонул в лунной глади моря, как изящная головка. Торбьёрн сын Гейрмунда признался, что раздосадован потерей именно этого башмака: он стянул его с одного из убитых на поле битвы в Кальвскинни. У убитого — лендрманна — было только четыре пальца, поэтому башмак такой маленький.

— Но у меня тоже маленькие ноги, — сказал Торбьёрн и гордо выставил вперед одну ногу. Мы поплыли к берегу.

Кормилец был счастлив и благодарен, когда мы явились с котлом. Но Торгрим и Томас — братья, потерявшие под мечом конунга по руке, рыбачили во фьорде. Они пустили слух, что из труповарки будут теперь потчевать Эйрика Конунгова Брата и его людей. Это могло оказаться опасной сплетней. Конунг немедленно вызвал Эйрика и выложил ему всю правду об этом деле. Эйрик рассмеялся, но сказал, что если верит хоть один дружинник, то в это верит и он: поэтому советую тебе снова утопить котел. Конунг согласился:

— Но в чем же варить еду? — спросил он.

— Мы не привезли с собой большого котла, — сказал Эйрик, — на кораблях мы питались преимущественно невареной пищей.

Конунг его понял. Они долго раздумывали, и я пришел им на помощь. Моему отцу Эйнару Мудрому, сейчас лежавшему без сна после выдергивания зуба, всегда лучше думалось, когда он ныл и мало спал. Он сказал:

— А нет ли большого котла в архиепископской усадьбе? Мы можем забрать его, а взамен отдать труповарку.

Так и было сделано.

К конунгу пришел один человек, прося позволения похоронить скончавшихся молодую жену и новорожденного младенца на острове Нидархольм. Брат этого человека состоял на монастырской службе, и тот хотел сберечь серебро, совершив обряд там. Конунг дал разрешение. Мужчина нанял лодку и взял с собой двоих священников. Одним был Торфинн Надутые Губы из церкви святого Петра, помогавший при испытании железом. Когда процессия с покойниками в гробу прибыла на берег, чтобы сесть в лодку, оказалось, что лодка пришвартована позади боевых кораблей. Мужчина и его родич, участвовавший в похоронах, попытались перебраться с гробом через один из кораблей и с кормы спуститься в лодку. Вышел кормчий и запретил им это. Они понесли гроб обратно и сбились с ноги. Мертвая женщина стала сползать и чуть не упала в море. Тут властно вмешался Торфинн из церкви святого Петра. Он потребовал, чтобы кто-то из команды немедленно отнес покойников в лодку. Завязалась перепалка. Священник действовал бесстрашно. Он нес свечу и размахивал ею прямо перед бородой кормчего, пока не запахло паленым. Кормчий приказал стоявшим рядом воинам:

— Отнесите покойников в лодку.

Те повиновались, но получилось некрасиво: каждый взял по покойнику в руки и понес их, как бревна. Позади шел мужчина, неся подмышкой гроб. За ним, подобрав рясы, шагали два священника. Торфинн нес в руке свечу, ее задуло ветром.

Лодка была невелика. Гроб пришлось поставить поперек. Мужчина и его родич сели на весла. На корме расположились священники с погасшими свечами, они пели. Торфинн пообещал мужчине, что по прибытии на Нидархольм свечи вновь зажгут. Поверхность фьорда была зеркально-гладкой.

— Жаль, — сказал мужчина, — я желал бури, чтобы утонуть вместе с моей семьей.

— Там стоял мой дом, — сказал он и кивнул. Лодка с двумя покойниками причалила в гавани Нидархольма.

В эти дни над Нидаросом бушевали сильные грозы, и даже очень отважные люди, испытанные в битвах, пугались. Однажды молния ударила очень близко от конунговой усадьбы. Конунг сидел в чертоге с серебряным рогом в руке и беседовал с Эйриком Конунговым Братом и мною о том, куда посадить конунга Магнуса — на почетное место или нет, — если он выразит желание быть гостем конунговой усадьбы. Тут серебряный рог осветила молния, и конунг вздрогнул. Он повернулся к Эйрику и сказал:

— Будь я сейчас убит, твоя доля в стране увеличилась бы. — И быстро усмехнулся.

Эйрик не ответил, но взял из рук конунга рог и осушил его. Вошел дружинник и сообщил, что молния ударила ниже, в Нидаросе, и горят два дома.

— Приведи воинов тушить пожар, — сказал конунг. Позже мы узнали, что у одного из дружинников загорелись волосы. Как оказалось, к счастью, прибежала юная девушка с мазью и натерла его, а потом он взял свой рог и помазал ее.

Конунг с Эйриком долго смеялись, когда им рассказали эту историю. Но конунгу не понравилось, что Эйрик осушил его рог.

В Сельбу был один бонд, смастеривший пару красивых башмаков для своей молодой жены. Он забрал башмачки в Нидарос, чтобы продать их, когда Эйрик Конунгов Брат лобызал железо на Божьем суде. Но какая-то мышь оказалась столь неучлива, что прогрызла дыру в носке башмака, и бонд припелся восвояси без серебра в поясе. Его молодая жена не желала носить башмачки. Тогда он вырезал дырку на другом носке и заштопал, чтобы оба были одинаковы. Затем снова снарядился в путь. Тут пришла жена и начала задираться, плеснула водой ему в голову и кричала, что ненавидит конунга Сверрира. Он пытался защитить себя и конунга, но не нашел слов и разозлился. Швырнул ее оземь. Она выхватила один башмак и вцепилась в него зубами, освободила обе руки и разорвала башмак пополам. Он ушел от нее.

Она пошла следом, проклиная его, кричала, что будет ложиться с каждым встречным. Он вернулся и ударил ее по лицу. Из рта пошла

кровь, она утерла ее ладонью и размазала по рваному башмаку. Он завопил, что теперь не сможет продать его.

— Деньги бы получила ты, я собирался отдать их тебе!

Она кричала в ответ, что за серебро он наверняка наведывался в публичный дом. Вытирала собственную кровь и размазывала у него по лицу. Он заплакал.

Тогда они помирились. Он клялся, что никогда и не думал ходить в публичный дом, — он собирался в Нидарос, чтобы продать кожаные башмачки и выручить за них серебро. Она тоже плакала и раскаивалась, увлекала его на сеновал и божилась, что никогда не желала никакого другого мужчины. Она хотела, чтобы они вернулись в Сельбу.

Но он считал, что должен идти в Нидарос: тебе не следует идти со мной. Я не буду спокоен за тебя в Нидаросе, полном ратников из многих стран. Она хотела знать, что он намеревается делать в городе без башмаков на продажу. Он сказал, что починит башмачки, смое с них кровь и продаст в темноте, чтобы покупатель думал, что они без изъяна. Она вытащила иголку и нитку и помогла ему зашить их. Сбегала за водой и помыла башмачки — и прижала их к себе.

Теперь она хотела их носить.

А он хотел их продать.

Они долго препирались, и он ушел.

Она снова села и проклинала конунга Сверрира.

Затем последовала за мужем в город.

Конунг распорядился доставить в Нидарос одного человека из далекого Вермланда. Он звался Асбьёрн Нежный Желудок и был знаменит своим искусством делать катапульти. Катапульта, как тебе известно, йомфру Кристин, может метать камни и мешки с горящей смолой во вражеские корабли. Асбьёрн дорого стоил. И в Швеции, и в стране данов на него был большой спрос. Но посланцы конунга Сверрира, ехавшие тайно — везли туго набитые серебром кошель и строгий наказ конунга отвечать «да» на все требования Асбьёрна. Когда люди Сверрира уже проехали с ним полпути верхом, Нежный Желудок потребовал везти его в повозке. Это был нешуточный запрос. Люди конунга принялись торговаться с ним. Предложили ему больше серебра и смену лошадей каждый раз, как зазвонят к мессе. Но он все отверг. Он хотел ехать в повозке.

Дело было в Ямтланде. Там телегу найти непросто, да и дороги такие, что нет желающих колесить по ним. Они попытались объяс-

нить это Асбьёрну. Тот не ответил. Но дал понять, что хочет ехать в повозке.

Один из наших — это был Торбьёрн сын Гейрмунда из Фрэйланда — пригрозил мастеру, что если тот не образумится и не будет довольствоваться верховой лошастью, они всадят в него меч. — Тогда конунг всадит свой меч в вас, — ответил он. Он молчал. Они тоже.

Люди конунга Сверрира отыскиали телегу с одним колесом, стоявшую во дворе местного священника. Один из приближенных папы прибыл сюда из далекого Ромаборга пару десятков лет назад. Он служил мессы в церкви, где дурные люди, впавшие в язычество, обрызгали стены конской кровью. Остальных колес не нашли. Запрягли лошадь. Воткнули жерди под оси, где не хватало колес, за каждый конец жерди взяли по человеку и подняли повозку, качающуюся на одном колесе. Асбьёрн Нежный Желудок из Вермланда взобрался в повозку. И они медленно двинулись тропой, змеившейся вдоль русла реки.

Таким способом отряд добрался бы до города конунга Сверрира не раньше дня святого Олава*. Но посланцы утешали себя тем, что Асбьёрн натрет зад. Он должен остаться без кожи — этот нетренированный наездник. Уже в первый вечер он заявил, что следующим утром снова переседет на лошадь. Но на упряжи должны быть серебряные бляшки.

Последнее оказалось делом несложным: бонды в Ямтланде издавна владели искусством копить богатства в мошне. Наши ускакали и вернулись. Следующим утром мастер из Вермланда, делавший лучшие катапульты, вновь взгромоздился на лошадь. Он скакал целый день. И молчал.

Мастер прибыл в Нидарос. Конунг встал с трона и отправился на встречу с ним.

Катапульту предполагалось поставить на мысе тингового холма в Эйраре, замаскировать листвой, чтобы при появлении неприятельского корабля быстро разгрести листья и метать во врагов камни и мешки с горячей смолой. Тут требовалась точность прицеливания. А для этого нужно было вырыть яму, натянуть ремни и сухожилия, закрепить тросы. И однажды — уже после того как Эйрик лобызался с

* 29 июля по нов.стилю.

железом на Божьем суде и у конунга появился брат, — катапульта предстояло испытать в присутствии конунга и его брата.

Асбьёрн из Вермланда отказался испытать катапульта. Он выступил перед конунгом Сверриром и изрек:

— Я недоволен приемом. Я требую, чтобы твоя сестра фру Сесилия, покинувшая супруга из-за слабости его чресел, тоже явилась сюда, ибо я буду держать речь к ней. Только тогда я готов испытать катапульта.

Доставили фру Сесилию. Она обреталась в Гьельми в Оркдальс-фьорде, — это далеко, потребовалось два дня, чтобы привезти ее в Нидарос. Она вошла, зардевшись, и присела, приветствуя мастера из Вермланда. Ее жаркой душе верилось, что прежде чем испытать катапульта, он хочет испытать ее. Она ошиблась. Он сказал:

— У меня когда-то был брат, а у тебя щипцы. Брат служил тебе. Ты решила, что он болтал лишнее — взяла щипцы и вырвала ему язык.

— Теперь, — сказал он, — я требую права выбрать тебя своим языком.

Он делал это долго.

Она краснела, пока он говорил, и, уходя, поклонилась.

После этого мастер из Вермланда был готов испытать катапульта в присутствии конунга. Но удача ему изменила.

От большой лодки отделилась маленькая, которую нужно было поразить, метнув из катапульты мешок с горящей смолой. Вместо этого смолой накрыло четверых гребцов большой лодки. Трое прыгнули в море, а четвертый споткнулся о весло и защемил ногу. Волосы горели, он дико орал, другие лодки понеслись спасать людей. Подоспели Эйнар Мудрый со знахаркой Халльгейр. Они втирали мазь в голову пострадавшего, но он умер от ожогов.

Следующий бросок достиг цели. Маленькая лодка загорелась, конунг подошел и поблагодарил мастера из Вермланда. Асбьёрн Нежный Желудок хотел объяснить конунгу, почему первый мешок не попал в цель. Но конунг не пожелал обсуждать это с ним.

У конунга был зеленый плащ, равного которому не было ни у кого. Он утверждал, что получил его в дар от одного из могущественных мужей Швеции ярла Биргира Улыбка, почтившего таким образом конунга норвежцев. Но мне ясно помнится, что плащ впервые

появился и стал достоянием конунга, когда мы взяли Нидарос. Тогда конунг мало им интересовался. Но постепенно — я не в силах это объяснить — плащ, похоже, становился для конунга все милее и дороже. Теперь он захотел его надеть при первой встрече с Магнусом, — если случится так, что два конунга сойдутся, как орел с орлом.

— Никто из моей свиты не смеет одеваться в зеленое, — сказал конунг. — Я вижу вокруг себя столько людей, одетых в красное, я повсюду замечаю синие и желтые плащи. Но зеленого нет ни у кого, кроме меня! — В тот день он был в ударе и вспоминал разные мелочи истории с получением плаща. — Помнишь, — сказал он и рассмеялся, я не знал, дразнит ли он нас обоих или — тут я содрогнулся — не дразнит вовсе? — Помнишь, Аудун, как ярл Биргир Улыбка прислал ко мне троих лучших своих мужей: все в шлемах, один был рожечник, а два других преклонили колени и протянули конунгу норвежцев зеленый плащ — дар могущественнейшего человека Швеции?

Я сказал, что у Эйрика Конунгова Брата, если я не ошибаюсь, тоже есть зеленый плащ. Конунг Сверрир рассвирепел. Он потребовал, чтобы я немедленно пошел к Эйрику и запретил ему надевать зеленый плащ, пока конунг Магнус и его флот будут стоять у Нидархольма. Я ответил, что маловероятно, чтобы Эйрик оделся в зеленое.

— Ты сам знаешь, как он говорит: ему неуютно без синего плаща на плечах.

— Но я хочу в этом деле абсолютной уверенности, — сказал конунг. — Ты должен пойти к Эйрику и запретить ему надевать зеленый плащ.

— Этого я не сделаю, — произнес я.

— Я не могу пойти сам, — сказал он, взял меня за плечи, положил свою усталую голову мне на грудь и заплакал. — Я этого не вынесу, Аудун! Все они охотятся за моей жизнью!

— Тогда, — сказал я, — я пойду.

Я поведал Эйрику Конунгову Брату, что однажды над Нидаросом пролетел зеленый ворон. Мой отец Эйнар Мудрый еще дома в Киркьюбё приобрел глубокие знания о воронах и их способности приносить людям знамения от Господа. И это должно означать счастье для одного человека в зеленом плаще, но несчастье — для двоих.

Эйрик понял. И поблагодарил меня.

Он никогда больше не носил свой зеленый плащ.

А конунг Сверрир носил свой — подарок от могущественнейшего мужа Швеции — ярла Биргира Улыбки.

В Нидаросе был один канатчик — молодой человек по имени Браги. Он обладал способностью потешаться над тем, что не всегда казалось забавным остальным. Однажды вечером — мне рассказывали, — Браги намотал на руку кусок веревки и отправился к Халльварду Истребителю Лосей попросить обменять веревку на ломоть хлеба. Пошла молва: все в Нидаросе высыпали на улицу, мужчины и женщины сбились в кучки, над городом закружили злобные сплетни, ложь стала правдой, а вечное слово истины обернулось ложью. Прошел слух, что при необходимости конунг Сверрир повесит Халльварда, если такова будет цена мира.

Браги постучал в хижину Халльварда, тот вышел, — лицо помятое от недосыпания, сплетни в Нидаросе — не слишком удобная подушка для сна. Браги излагает свою просьбу. Халльвард обещает ему хлеб взамен веревки. Браги взмахивает ею и быстро затягивает петлю вокруг шеи Халльварда. И смеется.

Теперь стала гулять молва, что смерть Халльварда на виселице была предначертана появлением на его шее красного кольца.

Я видел его однажды: он проскользнул в конунгову опочивальню и взял серебряное зеркало, полученное конунгом в дар от одного из могущественнейших людей Швеции. Халльвард посмотрелся в него, пытаясь увидеть свой затылок, но тщетно. Кожа повсюду была смуглой и гладкой.

Я рассказал конунгу, что видел и слышал. Мы обсудили, стоит ли заточить Халльварда в темницу, чтобы он был под рукой, если его жизнь окажется частью цены мира.

— Несомненно, Халльвард нарушил слово в прошлом году, — сказал конунг.

— Сейчас мы обсуждаем не это, — заметил я. Конунг мог принять упрек не моргнув глазом. Он ответил:

— Ты прав, Аудун, но я думаю, что Халльвард не сбежит, поступи он так, он будет объявлен вне закона и вскоре схвачен. Разве ты не знаешь Халльварда? Он станет увиваться вокруг меня, как собака-прошайка, украдкой плакать, умолять, но все это без особого пыла. И ждать, как агнец на заклание, когда пробьет его час.

— Итак, ты позволишь ему ходить здесь и ждать? — спросил я.

— Да, — сказал он. — Это будет знаком покорности, мы дадим понять Эйрику и прочим, что люди Сверрира имеют обыкновение повиноваться своему конунгу.

— Да, конечно, — сказал я.

— Но если я откроюсь Халльварду? — спросил конунг.

Таково было величие конунга Сверрира, — с налетом холодной жестокости, озаренное ясным знанием человеческого сердца и каждого из своих людей. Последует ли Халльвард за конунгом, как бессловесный раб, точно зная свою возможную в недалеком будущем судьбу? Конунг призвал к себе Халльварда.

Обоим было не по нраву то, что должен высказать один и выслушать другой. Дни и годы прожиты вместе. Впервые они встретились в заброшенной усадьбе в горах: конунг со своим отрядом проходил мимо и обрел друга в лице Халльварда. Халльвард истребил множество лосей. К тому же он был отменным хлебопек. При первой встрече с конунгом он попросился в его отряд, чтобы получить возможность убить в бою человека. Это было целью его жизни. Однако хорошим воином он никогда не был: в каждой битве он терял палец. Свой собственный меч он впервые обагрил кровью в прошлом году, убив человека во время перемирия.

Конунг говорит:

— Ты убил человека во время перемирия в прошлом году! Только моей милости обязан ты тем, что еще жив.

Халльвард хранит молчание.

Конунг говорит:

— Если бы это зависело от меня, я бы не только сохранил тебе жизнь, но и возвысил: сделал бы дружинником в благодарность за хлеб, который ты печешь. Но помни, что я не всемогущ в этой стране. У конунга Магнуса больше ратников, чем у меня. Он предлагает нам мир, возможно, его намерения честны, но он потребует немалую цену. Ее частью может оказаться твоя жизнь. Ты убил одного из его людей. Должен ли я сохранить тебе жизнь — и продолжать войну — или повесить тебя, хоть ты мой друг?

Халльвард хранит молчание.

У него всего четыре пальца, они дрожат.

Конунг говорит:

— Я мог бы промолчать сам и заставить молчать тех, кто распустил слухи о тебе, — ты получил бы несколько безмятежных деньков

до назначенного часа. Но мой обычай не таков. Я сам себе казался бы бесчестным. Я предпочитаю быть правдивым перед своим другом. Пойми, Халльвард, если мне придется повесить тебя, это доставит мне мало радости.

Халльвард говорит:

— Но ты сделаешь это?

— Ты будешь, — спрашивает конунг, — продолжать служить мне, окруженный сплетниками и дурными людьми, — но и добрыми тоже? Ходить, как прежде, печь хлеб, как прежде, и спокойно ждать, оставаясь человеком конунга? Каждый в Нидаросе будет показывать на тебя пальцем и говорить: «Вот идет Халльвард...» Будут показывать с великим уважением, ибо ты познал свою судьбу и выдюжил.

Халльвард согласно кивает.

Конунг отвечает на это:

— Ты отважнее меня.

Они взялись за руки, а когда Халльвард покинул чертог, конунг сказал:

— После этого он не вздумает подмешать в хлеб яду.

В Нидаросе был один старик, торговавший луком. У него была молодая и красивая дочь. Однажды старик пришел ко мне и сказал, что дружинники конунга сломали его навесы, когда таскали камни для катапульты, построенной возле тингового холма в Эйраре. Но не только это: они старались оскорбить грязными словами его юную дочь. Отец вступился за дочь, и они ушли, походя огрызаясь, когда отец объявил, что его дочь помолвлена с одним из приближенных конунга.

— Но в словах моих была ложь, — посетовал отец.

Тогда я сказал, что скоро эти слова обернутся правдой, если он не против объявить зятем меня. И когда снова явятся дружинники, угроза конунгова меча заставит их держаться подальше.

— Я готов заплатить тебе за это серебром, — сказал старик.

— Я ничего не требую за дружескую услугу, — сказал я.

— Но знай, — ответил он, — что мне не в радость принуждать дочь лечь с мужчиной не по зову сердца. А ее сердце немо.

— Ты не должен ничего делать вопреки велению ее сердца, — возразил я. — Я не требую ни денег, ни ее.

Он встал и благословил меня, как будто я был его сыном.

— Я прикажу дружинникам поставить твои навесы в другом, лучшем месте, — сказал я.

Он поблагодарил и сказал, что если я хочу — ибо серебро меня не соблазняет — он может как-нибудь ночью, когда дочь будет спать, откинуть одеяло и показать мне ее:

— Но зайти дальше я не позволю.

Я ответил:

— Спасибо тебе, господин, — я назвал его господином без издевки, — но как наперсник конунга я должен являть благородство, которого у меня недостаточно, хотя возможно — в такой же день, как этот — я захочу показать его.

Он снова поблагодарил меня и ушел.

Слухи о моей помолвке поползли по Нидаросу.

Сверрир и Эйрик встретились, как братья, оба были здравомыслящими людьми. Они договорились, что войско должно укрыться в округе, когда прибудет Магнус, и в одну ночь взять город в кольцо. Они также договорились поставить другое войско в самом Нидаросе: мужей изрядной силы, с отточенными клинками, — безмолвное войско, лица без изъяна, волосы и бороды одинаково причесаны, — повинующееся, как один человек зову своего конунга. Это войско должно вселить страх в Магнуса и отбить у него желание сражаться. А засада по округе обеспечит победу, если распря все же начнется.

Сверрир сказал:

— Следует ли нам поговорить друг с другом?

— Да, — произнес Эйрик.

Братья были принаряжены, оба уже пригубили рог, но ни один этой ночью не усердствовал в питии. Сверрир сказал: — Ты, конечно, понимаешь, что я бы предпочел, чтобы ты вовсе не приезжал в страну. Но несмотря на это в твоём присутствии я испытываю радость. Я скажу так: когда ты лобызал железо на Божьем суде, ты стал моим братом — по мнению многих и по моему собственному. К тому же ты и твои люди умножают мою силу, пока я могу гордиться тем, что ты со мною, а не против меня. Ты вызываешь поклонение моих людей. Это я переживу. Но хуже другое: в один прекрасный день ты сам захочешь стать конунгом страны, не так ли?

Эйрик не ответил.

Сверрир сказал:

— Я знаю, что ты жаждешь стать конунгом страны. Нести этот крест не такая уж радость, но это не охлаждает твоего влечения к престолу. Но я убежден, что пока у нас есть общий недруг в лице Магнуса, мы пойдем одной дорогой и пойдем, как братья. Не уверен, что с моей стороны было мудро заводить этот разговор. Но я пришел к выводу, что так лучше всего. Дело сделано, брат Эйрик.

Эйрик сказал:

— Я того же мнения, что и ты, Сверрир. Что случится однажды, никому не ведомо. Но против клинков Магнуса у нас только одно средство: стоять брат за брата. Я верю, что мы зачаты одним отцом. А между братьями найдется много добрых слов.

— Тогда осуши рог! — сказал Сверрир.

Эйрик осушил.

Рог был снова наполнен, и его осушил Сверрир.

Потом выпил я.

Они оба были мудры, и я не исключаю, что они действительно были братьями.

Жил в Рейне в Трёндалёге высокородный господин по имени Бард сын Гуторма. В молодости Барда посещала мысль стать служителем Божьим, но потом она его покинула — к вящей радости его, а также и всемогущего Господа. Когда умерла его первая жена, Бард ее не убивал, но ходили слухи об этом, конунг сказал: Можно отдать ему Сесилию.

Фру Сесилия — как я упомянул, покинула своего супруга в Вермланде из-за слабости его чресел. Теперь поговаривали, что если женщина помыслит оставить Барда сына Гутхорма, ей придется найти более правдоподобную причину. Конунг долгое время питал любовь к Сесилии, но не любовь мужчины к женщине, а страсть, какую может чувствовать брат к сестре и сестра к брату. Однако теперь он несколько охладел к ней.

Тому имелись свои причины, йомфру Кристин. Фру Сесилия была женщина большой силы, всегда учтивая, покорная своему брату конунгу, но — кровь от крови его — жадная не только до мужчин, но и до серебра, — с цепким, глубоким умом, более мужчина, нежели женщина — пока не станет женщиной для мужчины.

И вот Сверрир сказал Барду, что он может взять ее в жены. Бард сын Гутхорма был муж высокомудрый — и оттого сомневающийся. Долгое время он полагал, что конунг Магнус станет правителем стра-

ны. Пару раз его люди получали приказ поддерживать в междоусобице Магнуса. Когда власть Сверрира возросла, люди получили новый приказ. Бард сын Гутхорма из Рейна обладал талантом вычеркивать из памяти все, чему там не место. В жизни, полной превратностей, это не помешает.

— Когда человек ненадежен, сделай его надежным, — сказал конунг. — Став мужем Сесилии и моим зятем, Бард удостоится чести, о которой не мог и мечтать. Мне нужны его люди и его деньги. Породнившись со мной, он станет изменником в глазах всех, кто не покорился мне.

Фру Сесилию доставили в конунгов чертог. Сверрир похвалил ее роскошный наряд и изрек:

— Под ним ты еще роскошнее.

Она покраснела.

В зал вошел Бард сын Гутхорма.

Конунг оставил их.

И все сказали, что если она захочет бросить его, то по другим причинам, нежели прежде.

Одновременно Эйрик Конунгов Брат завел себе любовницу, от которой получил не только наслаждение. Это была молодая замужняя женщина из Сельбу, муж покинул ее, забрав пару изодранных башмаков. Однажды ночью, когда Эйрик силой овладел ею, выскочила маленькая собачонка и укусила его за зад. Собачонка была ее, не знаю, как на самом деле, но видимо ей показалось, что мужчина ведет себя с хозяйкой неподобающе. Тут она поступила опрометчиво. Эйрик страшно истекал кровью, несколько суток провалялся на животе, зашитый и натертый мазями. Потом сидел на одной половине зада со свирепым видом — ненавидел собаку и хотел всадить в нее нож. Но она — любя собаку больше, чем его, а больше всего любя так и не доставшуюся ей пару башмаков, и человека, тачавшего их, — она вступилась за собаку. Пошла молва, что Эйрик Конунгов Брат был укушен в зад. Он явился ко мне за советом.

— Каждый раз, когда народ глазеет на эту тварь, он смеется надо мной, — сказал он. — А я не могу вышибить из нее дух, потому что ее хозяйка больше не ляжет со мной. Я готов распустить слух, что эта собака моя, пусть даже она укусила меня. Но только когда я спал в одиночестве. Это урезонит болтливую толпу.

У меня прежде была собака: ее звали Бальдр, она давно издохла. Собака из Сельбу до сих пор оставалась безымянной. Я назвал ее Фарман. И только потом понял, что это была сука.

В Сельбу жила пара стариков, державших пасеку. Они продавали мед и воск женскому монастырю Бакки на Нидархольме. Их молодой сын покинул их. Его красавица жена — злее любой собаки — больше не была ему верна. Говорили, что она в наложницах в Нидаросе, — и он пошел служить к конунгу Сверриру, но сперва закусил носки башмачков, которые у него были, — в отчаянии и глубокой тоске. Старики снова остались одни в усадьбе. «Война суровый владыка», — сказал старый бонд однажды утром, ковыляя на пасеку за медом и воском.

Он вынул соты и, к несчастью, обронил их в траву. В тот же миг над ним закружил рой: за его плечами — огромный опыт обращения с пчелиным роем, но годы берут свое, и его от страха прошибает пот. Пот для пчел как кровь для волка. Они кружат над ним. Рядом лежит топор. Он хватает его и начинает отбиваться. Машет топором над головой, прыгает и машет, пляшет и машет топором. Двое крепких мужей из дружины конунга Сверрира ездят по округе. Они скупают мед и воск. Они видят человека и решают, что он хочет на них напасть. И зарубают его.

Когда прилетает рой, они прищпоривают коней и скачут прочь.

Старик еще жив и ползет к дому.

Его бедная жена доставляет ему последнюю радость: вместе они нажили серебряную монету, она отыскивает ее и показывает ему. Закрывает его страдальческие глаза, читает молитву Пресвятой Богородице, поднимается и проклиняет конунга Сверрира. Остаток дня она устало сидит возле умершего мужа и плачет.

Воск забирают три юных босых монахини из Бакки — они молятся вместе с нею, но по дороге домой прыскают со смеху, когда два конных дружинника машут им, указывают на их босые ноги и смеются.

Мед имеет сладость нектара, а что же пиво? Пиво — напиток простолюдина, в то время как мед — питье пиршественных зал. Однако и пиво может быть божественным, как женское лоно, когда оно разбавлено почти до воды. Конунг отдал приказ, чтобы ратники получали достаточно пива, но разбавленного.

— Ясная голова, — сказал он, — твердая рука на рукояти меча и всевидящее око!

Люди начали роптать.

Тогда конунг распорядился, что каждый его добрый подданный будет пить самый сладкий мед, какой только пожелает, по завершении свидания конунгов в Нидаросе. Но не раньше. Конунг послал всех, кто был свободен, собирать по округе мед. Многие вернулись изжаленные пчелами. А одни рассказали, что хозяин пасеки набросился на людей конунга. В Нидаросе мед сварили в огромном чане, и однажды ночью в город нагрянули два вора. Один был схвачен и повешен. Это подействовало и на второго. Он повесился сам, чтобы опередить людей конунга.

Коре сын Гейрмунда из Фрэйланда говорит своим людям о потливости ног:

— Знайте все в моей рати, что пот от ног — это честь мужчины, и позор тому, кто морщит нос от чужого запаха. Разве мы не исходили всю страну, напрягая последние силы, подчас с кровавым привкусом во рту? Мы чаще видели чужую кровь, нежели нашу собственную! А теперь вы кривитесь от запаха чужого пота. Засуньте его пальцы под одеяло! Набросьте покрывало на ваш собственный нос, коли недовольны запахом. Прорубите пошире окна в стенах — но только с позволения конунга, — отворите дверь и впустите ветер, дышите легко и спите крепко, дайте себе отдых, не чувствуя неудобств тесного ложа. И помните: мы собрались здесь, чтобы пересилить конунга Магнуса на великой встрече. Хотите, чтобы запах чужого пота ослабил нас, если начнется война?

Он пустил по кругу пиво.

Однажды утром, на рассвете, корабли конунга Магнуса подошли к Нидархольму.

Халльвард ежедневно приносил конунгу хлеб.



В первую ночь после того как корабли конунга Магнуса причалили у Нидархольма, конунг явился ко мне и спросил своим глубоким голосом, не окажу ли я ему любезность, поделив с ним ложе. Я согласился. Мы спали мало, но конунг лежал очень спокойно, я не ощутил никаких толчков или движений его тела. Когда мы встали, он не проронил ни слова, я тоже молчал. Только кликнул одну из служанок

принести воду и полотенце. Конунг омыл все тело, я достал ножницы и с величайшей тщательностью, красиво подстриг его бороду на щеках и подбородке. Потом мы спокойно поели. То была одна из скромных трапез, которые он так ценил: мясо, хлеб и самое слабое пиво, какое нашлось в его усадьбе, — но зато прохладное и в прекрасном роге. Перед трапезой он прочел краткую молитву. Сразу по окончании завтрака я велел служанкам унести поднос и скатерть.

Он встал и расхаживал взад-вперед, негромко напевая. У него был такой красивый голос, но он редко пользовался им в полную силу. Пел он плясовую песенку наших родных мест о парне и девушке, тайком любивших друг друга: он обманул ее, и она, стоя на горе, смотрела вслед его тугому парусу. Потом я позвал Гаута.

Гаут вошел и приветствовал конунга, он тоже был умыт и причесан. Конунг дал ему необходимые указания. Гаут взял гребца, направился к Скипакроку, и лодка отчалила под благовест к утренней мессе. Человек на веслах греб неспеша, на корме молча сидел Гаут. Вот другая весельная лодка отделилась от кораблей у Нидархольма. На ее корме сидел преподобный Сэбьёрн. Лодки встретились посреди фьорда. Гаут и Сэбьёрн приветствовали друг друга и объявили, что конунги согласны, чтобы три человека из каждого стана следующим утром в это же время сошлись во фьорде и обменялись речами.

Затем Гаут и Сэбьёрн расстались.

Следующим утром из Скипакрока отплыли братья Фрёйланд и Эрлинг сын Олава из Рэ. Множество глаз следило за ними из города и с Нидархольма. Вскоре от кораблей конунга Магнуса отделилась лодка, и обе команды медленно гребли навстречу друг другу по бурному морю. Они сближались нос к носу. На корме лодки конунга Сверрира стоял, воздев крест, Эрлинг сын Олава. На корме лодки конунга Магнуса так же стоял один из его людей. Когда они сблизились достаточно, Коре сын Гейрмунда выкрикнул:

— Мы идем с посланием от конунга Сверрира. Готовы ли вы слушать и что имеете сказать?

Один из людей в лодке конунга Магнуса ответил подобным же образом:

— Мы идем с посланием от конунга Магнуса. Готовы ли вы слушать и что имеете сказать?

Коре сын Гейрмунда из Фрёйланда ответил:

— Конунг Сверрир согласен отрядить двух своих высоких послов для встречи с такими же из дружины конунга Магнуса. Встреча произойдет в шатре возле тингового холма в Эйраре. Никто не должен иметь при себе оружия, в том числе гребцы.

Человек в лодке конунга Магнуса выкрикнул в ответ, что получил приказ своего конунга принять предложение конунга Сверрира. Но Магнус требует, чтобы никто не приближался к шатру с оружием ближе чем на пятьсот шагов.

Коре сын Гейрмунда из Фрэйланда одобрил это от имени своего конунга.

Человек в лодке конунга Магнуса крикнул:

— Мой конунг требует огласить имена уполномоченных конунга Сверрира.

— Ты узнаешь их тотчас, как назовешь имена тех, кто выступит от конунга Магнуса, — ответил Коре сын Гейрмунда.

Человек отказался, крикнув: я как старший требую, чтобы ты говорил первым. Коре сын Гейрмунда ответил, что речь идет не о нашем возрасте, а о возрасте конунгов и даже более того — о почете и ранге наших конунгов. Тогда гребец с острова выкрикнул, что Магнус не только старше Сверрира, но и, если хочешь знать мое мнение о почете и ранге, то твой конунг их вообще не заслужил. Коре смолчал. Возникло напряжение. Чуть помедлив, он крикнул, что мы можем сосчитать до трех и оба огласить имена в один голос. Но человек конунга Магнуса не захотел.

— Тогда мы отплываем, — сказал Эрлинг сын Олава из Рэ. Они налегли на весла, — люди Магнуса такого оборота не ожидали и поплыли следом. Выглядело так, словно одна лодка гонится за другой. Трое посланцев конунга Сверрира сделали крутой поворот. Вмиг их лодка прошла прямо перед лодкой конунга Магнуса, почти столкнувшись с ней носом. Затем они разошлись.

Когда чуть позже эти трое стояли перед конунгом Сверриром, он сказал, что они действовали правильно. Не оттого что последовательность имен что-то значит, а оттого что заносчивость Магнуса опасна, и мы должны быть начеку. Вошел Гаут и вызвался плыть на Нидархольм к преподобному Сэбьёрну, чтобы возобновить переговоры. Конунг согласился. Пока суть да дело, вошел стражник и сообщил, что преподобный Сэбьёрн только что высадился в Скипакроке

и дожидается под охраной. Гаут был послан к нему. Они договорились, что следующим утром в то же время те же три человека встретятся безоружные на лодках во фьорде.

Сказано — сделано. Они одновременно поднялись в лодках — каждый воздев свой крест, — и человек конунга Сверрира назвал первого из тех, кто должен вести переговоры от лица конунга Сверрира:

— Аудун сын Эйнара из Киркьюбё.

Затем посланец Магнуса назвал обоих уполномоченных на переговоры от имени Магнуса:

— Орм сын Ивара из Тунсберга и Николас сын Арни из Стодрейма в Норафьорде.

И наконец Коре сын Гейрмунда из Фрёйланда объявил второго от конунга Сверрира:

— Гудлаут Вали из Валебю.

Теперь было легко договориться о времени встречи. Лодки разошлись во фьорде. Один из лодки конунга Магнуса поднялся и плюнул вслед людям Сверрира. Тогда трое наших встали и плюнули в ответ. Двое остальных в лодке с Нидархольма немедленно проделали то же самое. Потом расстались.

В тот же день у тингового холма в Эйраре был разбит большой шатер. Конунг сомневался, стоит ли натягивать цветное полотнище. Любой цвет, сказал он, будет расцenen как мой цвет, — хотя у меня вовсе и нет никакого. Конунг Магнус сразу подумает, что я хочу подчеркнуть, что переговоры пойдут под моим цветом. Поэтому первый поставленный шатер — красивый красный — был разобран, и соорудили новый, менее красивый — из серого полотна. По уговору, в тот миг, когда люди конунга Магнуса ступят на землю в Скипакроке, Гудлаут Вали и я выйдем из конунговой усадьбы. С одинаковой скоростью мы будем сближаться, шествуя с разных сторон тингового холма. В десяти шагах от шатра им и нам надлежало остановиться. А затем шагнуть вперед, приветствуя друг друга.

Так и было. Когда мы очутились перед шатром, я сделал шаг в сторону и предложил Орму сыну Ивара войти первым.

Но Орм отказался.

— Сперва войдешь ты, потом мы оба и, наконец, ты, — сказал он, указав на Гудлауга.

Я не мог знать, какому ритуалу следовал Орм, нагнулся, вошел первым в шатер и придержал сбоку полотнище, давая дорогу людям конунга Магнуса. Вдруг меня осенило, что придерживание полотнища могло выглядеть как подобострастие перед Ормом. Они уселись: двое хорошо сложенных, сильных мужей. Оба пышно одеты: в синих плащах, с поясами, отягощенными серебром. Гудлаут и я тоже сели. Потом я поднялся и произнес:

— От имени моего конунга я приветствую вас обоих! Мы встречаемся под сенью тингового мира, пусть же он царит в наших беседах. Мы присланы сюда великими конунгами, имеющими волю и дар здравомыслия.

Орм сын Ивара поднялся и сказал:

— Благодарю тебя за добрые слова и могу сказать, что приславший меня конунг исполнен желания добиваться благословенного мира Господня для всех нас.

Он уселся и сразу положил ногу на ногу, распахнул плащ — в шатре было тепло, — и спросил, нельзя ли совсем снять его. Я ответил согласием, взял его плащ и красиво уложил на скамье, затем мы все тоже сняли плащи. Я внимательно наблюдал за Ормом. Если он снова положит ногу на ногу, я пойму, что он все продумал заранее, и буду придавать этому меньше значения. Но нет. Вместо этого он откинулся назад — возможно, чуть устало — и сказал, что ноша на наши плечи возложена великая, но ведь не тяжелее, чем мы можем сдюжить? На это я кивнул.

На левой щеке у него был шрам, думаю, он получил его в битве при Кальвскинни, когда погиб ярл Эрлинг Кривой, а Орм и конунг Магнус спаслись бегством. Я сказал, что наш первый большой вопрос заключается в том, следует ли двум конунгам встречаться лицом к лицу, или разумнее нам вести переговоры от их имени. Мой конунг выражал готовность принять конунга Магнуса — желательно в ризнице под крышей церкви Христа. Но прежде им предстояло встретиться принародно, чтобы все слышали, как два конунга говорят о дружбе и мире.

Орм погрузился в раздумья. Он сказал:

— Мы тоже мыслим, что свидание перед лицом народа необходимо. Мир между конунгами — это одно, между людьми — нечто иное. Но что разумнее: встретиться с глазу на глаз, а потом перед всем народом — или наоборот?

Мы долго обсуждали это. Он сказал прямо:

— Как тебе известно, господин, конунг Магнус невеликий оратор, хотя сейчас стал чуть красноречивее, чем раньше. С другой стороны, конунг Сверрир — человек богатейших дарований, когда держит речь к своим людям. Думаю, один извлечет выгоду из такой встречи, а другой нет. И это может причинить вред обоим.

Я согласился.

— Но, — сказал я, — конунг Сверрир властвует в Нидаросе, а конунг Магнус появляется на стругах с большой свитой. Несмотря на это Сверрир охотно приветствует его, без оружия и с прекрасными словами на устах: это по праву умножит славу конунга Магнуса. Я знаю, что конунг Сверрир пребывал в некотором сомнении, отдавая повеление о встрече, которая сейчас имеет место. Но он счел своим долгом выказать добрую волю и желание к миру в стране.

Орм поблагодарил. Он недолго хранил молчание, а потом сказал:

— Халльвард Истребитель Лосей, как вы его называете, в прошлую нашу встречу нарушил перемирие. Теперь он должен умереть.

— Таково первое требование конунга Магнуса? — спросил я.

— Да, — сказал он.

Он добавил, что Халльварда должны повесить люди конунга Магнуса.

Я сказал, что заручился словом конунга Сверрира, и Халльвард будет наказан, как ты того требуешь, господин. Но молчал, что конунг Сверрир никогда не пойдет на то, чтобы его человека выдали другому конунгу для приговора и кары. Он тоже молчал, и я воспринял это как добрый знак.

— Но, — сказал я, — конунг Сверрир требует, чтобы его обещание о казни Халльварда было принято на веру. Сперва должны состояться переговоры, и Халльвард проживет до их окончания.

— Нет, — сказал Орм.

— Да, — сказал я.

Мы смотрели друг на друга, его взгляд был тверд, мой тоже.

— Неужели смерть одного человека явится причиной новой распри и гибели многих людей? — вмешался Гудлауг. До этого он не проронил ни слова. Орм согласно кивнул.

— Это мудрые речи, — сказал он.

— Конунг Сверрир объявит, выступая с берега реки, что Халльвард должен умереть? — спросил Орм.

— Да, — сказал я, — но не называя имени, ибо всем известно, о ком речь. Если вы пожелаете, Халльвард будет стоять подле лошади конунга и тоже поймет, о ком идет речь.

Орм кивнул в знак благодарности.

— Я уверен, что мой конунг сочтет возможным одобрить слово конунга Сверрира, — сказал он.

Мы договорились, что через три дня конунги встретятся и выступят перед народом: один с корабля, другой на лошади с берега реки. А мы соберемся опять, чтобы назначить новую встречу Сверрира с Магнусом — лицом к лицу, в присутствии немногих.

— Однако ты мало сказал, — обратился я к Орму. — Чего еще требует твой конунг, чтобы в страну пришел мир?

— Разве ты сказал больше? — спросил он.

— Нет, — ответил я.

— Магнус встретится со Сверриром в ризнице? — спросил я.

— Или на Нидархольме? — ответил он.

— Это немыслимо, — сказал я.

Он поднялся, на умном лице залегла печать тяжелой думы.

— Могут ли они встретиться на двух стругах во фьорде? — спросил он.

— Не думаю, — ответил я.

Гудлауг Вали сказал, что мы должны возблагодарить Господа за достигнутое согласие и молить Его еще теснее сблизить нас друг с другом.

На том мы и расстались.

На следующий день к Гауту явился преподобный Сэбьёрн и сказал, что конунг Магнус имеет право войти в любой дом Господень в Нидаросе — в наименьшей степени и в ризницу. В этом вопросе конунг Магнус был непоколебим.

Конунг Сверрир ответил Гауту, что право Магнуса входить туда бесспорно — когда придет срок. Тогда и конунг Сверрир придет туда.



Мглистым ранним утром три струга конунга Магнуса отчаливают от острова и поднимаются по реке Нид. На кормах стоят молчаливые

люди, щиты укреплены вдоль бортов, не видно никакого оружия. По обоим берегам реки выстроились рать за ратью воины конунга Сверрира. Они тоже безмолвны и безоружны, причесаны, как на праздник, с уст не срывается воинственный клич. На корме самого большого из трех кораблей стоит человек в красном плаще и золотом шлеме. Это, должно быть, конунг Магнус. Корабли не бросают якорь. Не пристают к берегу. Они застывают у поворота реки пониже церкви Христа, удерживаемые в потоке осторожными движениями весел.

Вот и Сверрир. Конунг верхом, и Эйрик тоже верхом на пару шагов позади конунга. Конунг выбрал для себя не породистого скакуна, а приземистую, крепкую, широкую в спине, с понурой головой крестьянскую лошадку, ничем не выделяющуюся на берегу реки. Конунг едет буднично, на плечах поношенный зеленый плащ. Но волосы искусно уложены. Сегодня на рассвете одна из служанок натерла их воском, чтобы кудри держались на ветру. По одну сторону конунговой лошади стоит Свиной Стефан. По другую — Гудлауг Вали и я.

И Халльвард. Конунг взял его с собой.

На корме поднимается человек. Он делает знак, что хочет говорить. Это не конунг Магнус. Теперь я вижу его: это Николас сын Арни, бывший одним из посланников конунга Магнуса в шатре на Эйраре. Тогда Николас молчал. Сейчас говорит. Запрокидывает голову — он невелик ростом, возвышает голос, и тот сразу становится столь мощным, что только один известный мне голос может с ним сравниться — конунга Сверрира. Собственно, это можно назвать моей первой встречей с Николасом. Потом их станет много. Он поднимает и показывает нам изображение своего великого конунга — так он говорит — человека, пересекшего море, чтобы принести весть мира Сверриру из Киркьюбё. Пусть никто не подумает, что Магнус, коронованный конунг Норвегии, избегал сражений. Но Господь сказал: Ты, Магнус, должен дать своему народу мир — если сможешь. Если не сможешь, это не твоя вина, а его. Не твой грех перед Господом всемогущим, но его грех перед Господом всемогущим. Эта встреча — встреча людей. А также встреча конунгов. И сейчас будет говорить конунг Магнус...

Да, теперь говорит Магнус. Пожалуй, это разумный ход — предварить появление Магнуса таким образом: превознося его мощным голосом хорошего оратора. И все же это неразумно. Ибо когда Маг-

нус выходит и пробует голос — в неудачном месте, нетвердо стоя на ногах, не находя верного положения рук на груди, на ветру, гуляющем над городом, — когда он говорит, он похож на неопытную птицу, падающую с небесных высей со смертоносной стрелой в груди.

Он говорит о мире и немирье. И умолкает.

Тогда сидевший на лошади конунг одним рывком, встает в полный рост в седле. Теперь он виден всем. Он стоит, возвышаясь над народом, волосы развеваются, но не теряют своей красоты. Просто одет, разве? Невелик ростом, но отнюдь не на спине лошади. Не откашливается, приняв невыигрышную позу. Сразу берет верную ноту своим зычным голосом, не теряя равновесия на спине лошади. И когда он воздевает кверху руки, кажется, что он поднимает всех нас. Сначала краткая молитва. Без воплей о милости — человеческая молитва в гробовой тишине. А затем улыбка, теплое приветствие всем и каждому из присутствующих: в сей час нисходит весть о перемирии. Любого, кто сорвет мир, — или сорвал в прошлом году, — ждет кара.

— Я, Сверрир, конунг Норвегии, правитель страны от юга до севера, приветствую тебя, Магнус, вчерашний мой недруг, — а сегодня, коли сам пожелаешь, — мой друг и родич. Мы сходимся здесь безоружные. Сходимся без боязни. Наш долг — даровать мир каждому. Пусть женщины пробуждаются без страха в сердце и дети ложатся в кровати без слез. Давай же встретимся как отважные мужи — люди разума и доброй воли, давай же встретимся как братья в ризнице в церкви Христа.

Мы славим его. Те машут с кораблей. А он склоняет голову — и говорит тихо, в своем удивительном даре говорить тихо, но быть услышанным всеми:

— Прочтем все вместе «Аве Мария»...

Когда молитва окончена, он опускается в седло, прищипоривает коня и скачет прочь.

Струги, мерно покачивая веслами, уходят к Нидархольму.



День спустя от конунга Магнуса пришло известие, что он все же не готов встретиться с конунгом Сверриром в ризнице церкви Христа. В послании Магнуса высказывалось пожелание — пришвартовать

свой струг в излучине реки у церкви Христа и разбить шатер, наполовину закрывающий корабль, наполовину землю. Так Магнус, не ступая ногой в город, завоеванный Сверриром, сохранив достоинство, сможет вести переговоры с конунгом. А Сверрир сможет — в том же шатре — оставаться на суше, не замарав ног соприкосновением с палубой магнусова корабля.

Сверрир ответил отрицательно. Но втайне собрал в конунговой усадьбе лучших швей и усадил за работу. Будь требование о шатре выражением нестигаемой воли конунга Магнуса, Сверрир достаточно разумен, чтобы побороть свою. Меньшие палатки следовало распороть, чтобы набрать полотна на одну большую. На этот раз шатер должен быть красивым, а не серым, как у тингового холма в Эйраре. Имеющаяся цветная ткань оказалась недостаточно крепкой. Ее нашивали поверх холста. Женщины шили и бранились — сидя взаперти, пока служанки носили им еду и питье — под угрозой побоев, ежели проговорятся о происходившем в конунговой усадьбе.

Тем временем прибыл новый гонец от конунга Магнуса.

Магнус опять был готов встретиться с конунгом Сверриром в ризнице церкви Христа, если при встрече у него будет на одного человека больше, чем у Сверрира. По прежнему уговору каждый из конунгов приводил семерых, и всех безоружных. Теперь Магнус хотел взять восьмерых.

Сверрир ответил — не дав никакого ответа, — что в назначенное время он явится в ризницу, зная, что Магнус хочет взять на одного человека больше, чем он, конунг страны.

Когда настал день и час, конунг Сверрир прибыл в церковь с восемью безоружными людьми. Магнус был не глупее: он взял девятерых.

Мы не стали считаться. Конунги уселись лицом к лицу в ризнице церкви Христа — и долго просидели там.



Справа от конунга Магнуса сидел Николас сын Арни из Стодрейма в Норафьорде; тот, кто обращался к нам с корабля. Я опишу тебе, йомфру Кристин, этого человека, я как сейчас вижу его: немногие из противников твоего отца конунга были мудрее его — или же вовсе никто, и ни у кого не было в сердце столько злобы. Он был ученый

человек, школяр одного из прославленных парижских монастырей, редкостно преуспел в книжной премудрости. Этот человек, йомфру Кристин, позже увенчал короной голову твоего отца конунга.

Но вот с предательским коварством изо всех сил устремился он вновь возглавить борьбу против Сверрира из Киркьюбё. Долгие часы своей жизни — всем отпущенным мне разумом, который, как мне верится, не из меньших, — я размышлял над тем, что же таилось в душе этого человека. Как часто бывало, должен сказать: я не нашел ответа. Знай, йомфру Кристин, что даже сегодня, морозной зимой в Рафнаберге, этот человек остается опаснейшим нашим недругом в стране. И все же я не лишен уважения к нему. Я верю, что при встрече в ризнице Николас имел — насколько возможно для него — искреннее желание добиться мира в стране. Своим умом он понимал необходимость — и выгоду — прекращения войны. Он охотно шел окольными путями. И делал это мастерски.

Невелик ростом, на вид слабого здоровья, — но разве он не жив по сей день и не отлично себя чувствует! Сух лицом — даже после большого пиршества никогда не оставалось жира вокруг рта, — несколько запущенная борода, скрывавшая слетающие с губ коварные слова. Губ его я никогда не видел. Они всегда прятались под бородой. Думаю, они были тонкими. Узкими, как глаза, — и такими же жесткими. Я не уверен, что Николас жаждал мира с Богом. Он стремился заручиться помощью небесного владыки в каждом земном деянии — было ли оно продиктовано лишь обычной злобой — или необычной. И часто это ему почти удавалось.

Он сидел с нами.

Слева от конунга Магнуса сидел Орм Конунгов Брат. Сейчас, йомфру Кристин, я опишу тебе его.

Орма называли Конунговым Братом, потому что он был братом по матери конунга Инги Горбатого, который, очевидно был хорошим конунгом. Орм был довольно старым. Он поддерживал ярла Эрлинга Кривого. Однажды я видел его бегство: он подло бросил ярла и сбежал из Кальвскинни, когда ярл Эрлинг Кривой лежал в собственной крови. Я сказал «подло». Не уверен, что повторю это. Орм получил в дар холодный разум, то, что он делал, он делал вынужденно. Он никогда не делал ничего необдуманного. Когда пал — и он это видел, — битва была проиграна. Тогда он выбрал позорное

бегство. Лицо его отмечено шрамом. За каждой битвой, которую вел конунг Магнус, стоял Орм. Если бы он захотел, он мог бы включиться в спор за право быть конунгом этой страны. Конунг Магнус не был сыном конунга. Он был сыном дочери конунга. Зато Орм был братом конунга. Но я уверен, что существовало нечто удерживавшее его: возможно, это сухость мысли. Он никогда не смог бы зажечь своих людей. И никогда не смог бы зажечь огонь в собственном сердце.

Он сидел с нами.

Теперь, йомфру Кристин, я опишу тебе того, кто сидел между Николасом и Ормом Конунговым Братом, на высокой скамье, обтянутой красной материей, — человека в дорогом плаще, украшенном тяжелыми серебряными пряжками. Он имел горделивый взор. Это должно было укрепить его собственную отвагу и преуменьшить мужество других. Но ни то, ни другое не удавалось. Человек, имевший сурового отца, — воспитанный беспощадно, понужденный взять меч, еще не будучи в состоянии справиться с собственными штанами. Коронованный в роскошной церкви Христа в Бьёргюне — чужеземными прелатами и архиепископом Эйстейном из Нидароса. Ради сына ярл сделал все. И вот — когда Сверрир и его люди напали на Нидарос и зарубили ярла Эрлинга Кривого — его собственный сын позорно бежал, безо всяких попыток спасти свою честь. Конунг страны до этого — но не после.

Он сидел с нами.

Женолюб, скажем так. Упоминаю об этом не для того, чтобы опозорить его, ибо кто не любит женщин: коли есть охота и можешь раздевать их, уводить прочь, гладить по волосам, проявлять свою силу, не мешая однако им самим высказывать желание. Встать и сказать, если потребуется: это мой сын! Не таков был Магнус. Конунг Магнус завлекал женщин и заставлял их ждать — пока он смахнет пивную пену с рога, попотчует всех непристойной сагой, отстетнет меч и выйдет, — взяв с собой стражника и поставив его возле постели, — укладывал женщину и бросал ее. Таков был Магнус.

Он любил крепкие напитки, даже перед битвой. Да, говорили, что когда его одолевал страх, — это случалось частенько — он алкал крепких напитков, пока дружина его алкала крови. Прежде он был конунгом в стране. В своем собственном разумении он все еще был им. Но не для остальных.

Он сидел с нами. Здесь и был конунг Сверрир.
Оба молчат, молчат и их люди.



Тогда говорит Орм.

Он говорит, что первое требование, которое выдвигает конунг Магнус — передать в его руки человека конунга Сверрира, сорвавшего перемирие в прошлую встречу. Его следует повесить, и его должны повесить мы. Право конунга Магнуса — требовать смерти любого из людей Сверрира, кто убьет человека Магнуса.

Сказано сильно, я ожидаю увидеть, как конунг Сверрир поднимется и покинет ризницу.

Он этого не делает. Поводит пальцем — знак для стражника, — тот выходит и сразу возвращается с Халльвардом. Халльвард стоит белее снега. Конунг кивком подзывает его ближе. Халльвард подходит. Мы вглядываемся в него.

Конунг Сверрир говорит:

— Ты, Халльвард, убил человека во время прошлогоднего перемирия. На тебе грех, а закон суров, и суровее всего он к конунгу. Теперь ты отправишься в свой крестный путь. С великим мужеством провел ты последние дни, зная свою судьбу. Не пытался бежать от меня. Хранил верность конунгу страны до последнего дня. Но вот вопрос: кто вправе повесить тебя?

Он поворачивается к Магнусу, Орму и Николасу. Долго молчит, глядя на них. Все они много повидали на своем веку и отнимали жизни без жалости. Но я никогда не видел на их лицах столько почтительности и изумления, столько зависти и благоговения, как когда конунг страны обращался к приговоренному.

Сверрир говорит:

— Я вправе повесить Халльварда.

Вы спросите, почему?

Потому что я могу властвовать над людьми.

Он кивком отпускает Халльварда, встает, подходит к роскошному алтарю Богоматери и вещает оттуда конунгу Магнусу и его свите.

Конунг говорит:

— Я, Сверрир, готов дать тебе, Магнус, власть над Вико́м до твоего последнего дня. Там ты сможешь быть — не единовластным пра-

вителем, но соправителем. В той части страны мы оба будем равны. В остальной стране конунг я, и только я. Ты можешь подумать, что я жесток. Предположим, что ты прав. Но тебе известно, что мои люди искуснейшие в обращении с оружием, и известно, что я не колеблюсь, когда пробьет час взяться за оружие. Я охотно приветствую тебя, с почестями и при всем народе, Магнус! Нет нужды разглагольствовать об искренности наших чувств друг к другу в тот миг, Но здесь — в присутствии только наших немногих умудренных соратников — мы должны говорить одну правду. Я не отбираю твоей короны, Магнус! Ты уже достаточно зрелый, чтобы осилить это бремя, хотя это украшение тебе не по плечу. Но когда я надену корону, это будет по праву конунга. Из Вика рукой подать до страны данов. Там у тебя друзья. Оттуда ты сможешь получить помощь — если думаешь, что я нападу на тебя. В Вике ты почувствуешь себя уверенно. А значит, я туда не приду. Но остальная страна моя. Там я смогу чувствовать себя уверенно. Нам обоим нужна уверенность — нам и нашим людям: тебе и твоим побежденным, мне и моим биркебейнерам, редко проигрывающим сражения. Говорю это не для того, чтобы унижить тебя. Говорю это, чтобы возвать к твоему трезвому рассудку. Тебе будут оказаны всяческие почести, Магнус! На глазах у народа я с почетом провожу тебя в твои владения — на шаг позади конунга страны.

Магнус вскакивает и вопит, Орм хватает его, Магнус кричит снова. Николас спокойно закрывает рукой рот конунга Магнуса и заставляет его замолчать.

Слюна появляется вокруг рта. Когда Николас убирает ладонь, она влажная от слюны. Он брезгует вытереть слюну собственным плащом и не может вытереть ее о скатерть, покрывающую стол между нами. Наклоняется и вытирает руку об обивку скамьи, на которой сидит.

Конунг Магнус теперь умолк. В горле сдавленное рыдание.

Тогда очень спокойно заговаривает Орм. Он говорит:

— Вестланд не твой по сей день, конунг Сверрир, и кто знает, что будет? Что Вик принадлежит Магнусу, не вызывает сомнения, как и то, что Трёндалёг и земли к северу принадлежат тебе. Но за Вестланд мы воюем несколько лет. Можно предположить — будем правдивы, — что ты победишь в этой распре. Можно также предположить, что

это обойдется тебе дороже, чем ты думаешь, — по времени и потерям. Ты знаешь, что люди там — до сих пор — больше благоволят Магнусу, чем тебе. Ты ответишь: «Они меня не знают.» Может быть. Но если ты покоришь Вестланд — округу за округой, — люди узнают тебя с такой стороны, что путь к их дружбе окажется долог. А что если вы — таков мой совет конунгу Магнусу — будете править Вестландом попеременно: три года Магнус, три ты. Думаю, это будет лучше для вас обоих, а также для бондов и горожан. А каково твое мнение, государь?

Сверрир не отвечает, а поворачивается к Николасу:

— Мы должны договориться и о том, кто станет архиепископом вместо Эйстейна, если он предпочтет остаться в Англии до смерти...

Николас моргает — или нет, первый и последний раз я вижу, как легкая краска заливает его невозмутимое лицо. Сверрир в упор смотрит на него. Затем кивает мне. Я сначала почтительно кланяюсь конунгу Магнусу. Потом подхожу к Николасу и говорю:

— Не желаешь ли ты, господин, взглянуть на печати, которыми будут пользоваться оба конунга страны?

Николас с готовностью переходит на мою сторону стола. Я показываю ему две серебряные печати, еще незавершенные, Хагбард изготовил их по приказанию Сверрира. Одна изображает знаки конунга Сверрира и Магнуса — бок о бок, оба равновеликие.

— Это должна быть печать конунга Магнуса, — говорю я, — достойного конунга, сына ярла. А эта, — я подношу Николасу следующую, и он, сощурившись, разглядывает ее, — будет печатью конунга Сверрира, когда в стране воцарится мир.

На этой печати вырезан знак Сверрира, и только его.

Николас ненадолго застыл, раздумывая, мудрый человек, — на челе его боль, невидимая никому. Будь это не боль, а нечто большее — коварство, никто бы все равно не увидел. Я тихо говорю:

— В этом Сверрир непреклонен.

Николас берет печати и почтительно подносит Магнусу. Он говорит:

— Это печать, государь, которую конунг Сверрир желает вручить тебе. Бок о бок на ней изображены твой знак и его — красиво и достойно двух соправителей страны.

Магнус смотрит на нее и кивает.

— А это, государь, будет печать конунга Сверрира...

Николас быстро показывает печать Магнусу и возвращает мне. Взор Магнуса темнеет от негодования. Сверрир говорит, — прежде чем Магнус перехватит слово, — что мы воздвигнем высокую виселицу, высочайшую доселе в Нидаросе. Пусть все увидят его вздернутым, клянусь в этом, конунг Магнус!

Вдруг Сверрир зовет:

— Пойдемте в конунгову усадьбу!

Мы идем, стражники по дороге окружают нас плотным кольцом. Когда мы рассаживаемся в зале и служанки вносят пиво, человек с далеких островов заводит лживую сагу, не вполне приличную. Сверрир человек с отменным чутьем на лживые саги - они должны быть без изъяна, без непристойностей, свежи, изобретательны, но так, чтобы, ослабив рассудок первым глотком пива, сагу было бы не грех рассказать и в присутствии архиепископа. Эта сага менее тонкая. Поэтому несмешная. Но она веселит конунга Магнуса. И когда он должен смеяться, мы помогаем ему, гогоча во все горло. Конунг Магнус расслабляется, Сверрир встает и пьет за его здоровье.

Затем Сверрир утирает пиво с бороды и говорит:

— Мы договорились о Вике и Трёндалёге. Но не о Вестланде и Халльварде!

Он смеется громко и холодно — таким я знаю его много лет: то, что заставляет его смеяться, часто имеет мрачную подоплеку. И вдруг делает знак нам, своим людям, покинуть залу. Выходя, я слышу его слова:

— Для меня будет честью, если ты, Магнус, попросишь свою свиту выйти, и мы, конунги страны, побеседуем наедине.

Люди конунга Магнуса выходят вместе с нами.

Немного спустя нас зовут внутрь, и Сверрир говорит, что конунг Магнус общался с ним с большой охотой, выказав на этих переговорах двух конунгов свою мудрость.

— Мы договорились, что Халльварда повесят трое из отряда Магнуса и трое из моего. Через два дня мы снова встретимся в ризнице или здесь в конунговой усадьбе и обсудим вопросы, по которым еще не пришли к единству.

А завтра — таково желание конунга Магнуса — состоится потешный бой в Спротавеллире между его ратью и моей. Если конунги сумели встретиться миром, то и их дружины должны поладить.

После потехи возведем виселицу и повесим Халльварда.
Конунг Магнус и его люди покинули залу и вернулись на корабли.



Один из игроков конунга Магнуса так врезал битой по носу Торгрима, что лопнула кожа и на бороду полилась кровь.

Мой отец Эйнар Мудрый поднимается с колоды, на которой сидел, и возмущенно ворчит. Я осторожно усаживаю его, быстро говорю: «Только не ты!», но злоба закипает и во мне, и не желая того, я кричу людям Магнуса:

— Грубияны!

Народ с воплями бежит вдоль площадки. Они хотят ворваться и перебить игроков. Тогда гребцы и дружинники конунга Магнуса прогоняют их. Свиной Стефан, посаженный судить игру, громовым голосом орет, что если весь народ не уберется с поля, он заберет битую и уйдет. Это немного действует. Свиной Стефан нависает над Торгримом, лежащим в обмороке, одной рукой поднимает, утирает кровь с его рожи и рычит, врезав по уху:

— Ты слишком слаб!

Очнувшись, парень хватает битую и снова бросается в бой.

Я высказал несогласие с конунгом Сверриром, когда он объявил о потешном бое между своими людьми и магнусовыми. Если все пройдет хорошо: обе команды удачно сыграют и добьются победы, — дружба между конунгами и их подданными окрепнет. Но если дело закончится дракой и смертоубийством, или если одна команда будет наголову разбита другою, и люди никогда больше не посмеют поднять глаз в зале? Сверрир сказал, что так захотел Магнус, — он похваляется, что его люди выиграют.

— Уступив в этом, я заставил его отказаться от требования самому повесить Халльварда, — сказал конунг. Но и Сверрир, и я были полны беспокойства перед состязанием.

Великой хитростью нам удалось выставить в команде близнецов Торгрима и Томаса. По уговору между конунгами, все двенадцать игроков должны быть дружинниками высшего ранга. Братья — оба однорукие — не служили в войске конунга Сверрира. Но лишь немногие — а то и вовсе никто, владели битой столь же искусно и мощ-

но, как они. Кроме того, они обладали крепкой грудью и дикой отвагой, подчас сбивали с ног противника, — встав ногой ему на затылок и не давая подняться. Заполучив в руки биту, били ей, отпускали противника и ускользали, прежде чем он, фыркая, вставал на ноги и начинал носиться как бешеный бык. Я задал вопрос самому конунгу:

— Рискнем поставить их в команду?

— Это очень важно? — спросил он и глубоко задумался.

— Можешь не сомневаться, — ответил я.

— Забирай их, — сказал он.

Вот так и вышло, что Торгрим и Томас — однажды наказанные конунговым мечом — оказались в команде на игре с людьми конунга Магнуса.

Здесь, на Спротавеллире, собрались все, кто способен ходить или ползать. Старик и его юная дочь, торгующие луком, поставили навесы — сегодня они разживутся серебром. Мой отец Эйнар Мудрый — с клюкой в руке — сказал сегодня рано утром, что не пойдет.

— Свою последнюю игру я видел прошлым летом, — заявляет он и не двигается с места, когда я собираюсь уходить. Но вот гудит рожок — сигнал для зрителей и игроков, — и в моем отце пробуждается интерес.

— Ты не так уж стар, — говорю я испытующе, — ты ведь еще крепкий мужчина?

— Да, а я не стал чуть бодрее? — спрашивает он и с надеждой смотрит на меня.

— Да, конечно, — отвечаю я.

— Помоги же мне встать на ноги! — строго кричит он. Я помогаю. — Разве я не был лучшим игроком? — фыркает он, — я еще и сейчас сыграю лучше многих, если разойдусь...

— Во всяком случае побыть там и посмотреть игру-то ты можешь? — спрашиваю я.

— Что ты болтаешь? — отвечает он. — Это мне-то не смотреть игру?

И вот он здесь, опирающийся на клюки, укутанный в кожи. Отбрасывает клюки в сторону, кровь взыграла в старой голове, он шевелит челюстями и ворчит. Возле него стоит фру Сесилия со своей служанкой, — высокогрудая сестра конунга Сверрира, — она держит руки на груди и стонет, когда рать Сверрира, будто лось по весне,

разгоняется и обрушивается на людей конунга Магнуса, заставляя их отступить.

Как тебе известно, йомфру Кристин, в потехе с чурбаном и битой игрок идет на игрока. Никто из твоей команды не может прийти на помощь в трудную минуту, — каждый сам должен бороться со своим противником, пока не отняли чурбан. А значит, каждый из двенадцати игроков должен быть равно искусен в игре. Отступит один, может рухнуть все. И похоже, что все рухнуло...

Рухнуло для команды конунга Сверрира: один из игроков Магнуса хватает Томаса за культю и держит, передает чурбан одному из своих — в строю открывается брешь, и люди Магнуса устремляются в нее на штурм нашего стяга. Фру Сесилия кричит и рвет на груди свою роскошную сорочку. Батюшка отшвыривает клюки, мой рев сливается с остальными, мне кажется, что впереди стоит один из свиты Магнуса. Я ставлю каблук ему на пальцы, чтобы раздавить их и оттолкнуть его. Тут я вижу, что это Йорунд, кормчий Эйрика Конунгова Брата, с которым мы делили ложе. Мы побратимы. Я обнимаю его, моего друга до гроба, прыгающего на одной ноге.

— Ату! — кричим мы.

— Ату! — кричат все.

Но вот Томас вырвал культю и размахивает битой прямо перед носом соперника. Очертя голову бросается в игру, мы ревом, кто-то кричит «ату!» ему вслед, — но Томас спотыкается и падает, кто-то цепляет его рогатиной, и он не может подняться. Гребцы конунга Магнуса принимаются бросать камни в Свиного Стефана, который бежит вокруг с рожком и пытается восстановить спокойствие. Чурбан поражает стяг конунга Сверрира. Победный рев возносится над неприятельской толпой. Несколько женщин из города — все они на нашей стороне — вбегают на поле, хватают чурбан и пускаются наутек к лесу. Они отказываются возвращать чурбан, пока удар в наш стяг не будет признан недействительным — из-за того, что соперник удерживал Томаса за культю. Однако у людей конунга Магнуса имеется свой чурбан. Не зря они прогуливались накануне по ветреной погоде. Рог Свиного Стефана вновь взмывает над состязающимися. Ему еще раз удастся призвать их к спокойствию. Он ищет, на что бы взобраться, — ничего не находит, велит троим мальчикам подставить шеи и взбирается на них. Оттуда, с живой колонны, он обраца-

ется к народу. Говорит, что мы навлечем страшный позор на наших конунгов, если не сможем закончить игру как братья и добрые люди. Чурбан попал в стяг конунга Сверрира, мы должны это признать! Но знайте, что если кто-то еще раз прибегнет к обману, я убью его. Он спускается вниз и снова трубит в рожок.

Томас опять на ногах, Торгрим тоже. Как река в половодье, обрушиваются наши, тесня рать конунга Магнуса. Торгрим поражает — не чурбан, по которому бьет — он поражает чью-то голову, человек падает, я задыхаюсь от радости, мой отец поднимается, он хочет туда, в гущу борьбы. Фру Сесилия уже не прячет своих прелестей. Я вдруг обнаруживаю, что обнимаю ее.

— Бард! — кричит она, — Бард!

Это ее жених, Бард сын Гутхорма, тот, к кому она взывает, я оставляю ее заблуждаться, что я — это он, и крепче обнимаю. Постепенно чурбан приближается к стягу конунга Магнуса. Торгрим промахивается. Томас попадает. Кто-то кричит:

— Они не дружинники, вон те!

Кто-то из людей конунга Магнуса понял, что с близнецами нажульничали. Я в ярости кричу, рядом возникает старик-торговец луком и начинает швырять луковицы в людей Магнуса. Кричит мне:

— Я хочу видеть кровь!

Его юная дочь тоже здесь: ноздри раздуваются, как у загнанного зверя. Я отпускаю Сесилию. Она вцепляется в волосы моему отцу и рвет их. Я лгну к девушке с луком и кричу:

— Ату! Ату!

Она кричит «ату!» вместе со мной. И вот чурбан поражает стяг конунга Магнуса.

Мы подходим, желая положить конец игре. Люди конунга Магнуса тоже подходят, гребцы и дружинники, и начинается драка всех против всех. Над нами раздается звук рога Свиного Стефана, еще раз, нет-нет, все теперь дерутся со всеми. Чурбан снова поражает стяг конунга Магнуса!

— Мы сейчас заканчиваем! — кричим мы.

— Мы сейчас заканчиваем! — ревет старик с луком, — теперь уже без лука. Его юная дочь и фру Сесилия — одна высокородная женщина, другая простолюдинка, — повисли на шеях друг у друга.

Тут появляется Халльвард.

Посреди всего этого появляется он — тот, кого должны повесить по окончании игры. В тот же миг громкий голос кричит:

— Человека убили!

Находят убитого: это один из игроков конунга Магнуса, должно быть, он получил подзатыльник и в падении ударился головой о камень. Так потом объяснили. Но все это — мертвец и Халльвард, которого должны повесить, — заставляет людей Магнуса поверить, что убийца — Халльвард. Они несутся с камнями и палками, чтобы сбить нас с ног.

Тогда вмещивается дружина конунга Сверрира и разнимает дерущихся.

Люди конунга Магнуса сбиваются в кучу и, положив мертвеца на носилки, возвращаются на корабли.

Навесы для торговли луком снова вырваны.

Сесилия и ее служанка — обе в разорванной одежде — удаляются.

Мой отец Эйнар Мудрый по пути домой ворчит.

— Ведь чурбан не попал по стягу конунга Сверрира? — спрашивает он.

— Нет, — отвечаю я.

У конунга хватило мудрости остаться в конунговой усадьбе.

— Убийство дорого обойдется? — говорит он.

— Можешь не сомневаться, государь.

— Игра была хорошей? — спрашивает он.

— Да, — говорю я.



В последующие дни лодки неоднократно сновали между городом и Нидархольмом. Сначала один рыбак закинул невод, потом другой — со стороны острова, они побеседовали, и на следующий день двое дружинников встретились во фьорде. Перекинулась парой слов и разошлись, полные презрения друг к другу, — однако каждый усвоил послание, принесенное другим: что два конунга рискуют вновь встретиться в городе и обсудить, возможно ли возобновить перемирие.

В ночь перед свиданием, когда Сверрир и Магнус должны были вновь обратиться к народу с коня и боевого струга, Халльвард с отрубленными пальцами, корчась лежит на лавке в конунговой усадьбе.

Я говорю «корчась»: доселе невозмутимо спокойный, а теперь ва-перти, в мыслях уже с петлей на шее, терзаемый сильным страхом, скрытым под бледным лбом, в темноте обливается потом, а с приходом дня утирает его. Ночью Халльвард кричит. Крик прорезает бревенчатые стены конунговой усадьбы, достигает уха каждого, конунг вскакивает, я за ним, — мы зовем стражника, тот входит, шатаясь со сна, конунг бьет его, рот и нос начинают кровоточить, человек не может ничего ответить. Конунг кричит:

— Ударь его!

Он имеет в виду ударить того, кто кричит, но второй стражник, вошедший только что, немедля бьет первого. Крик прекращается. И в этот миг — в тиши ожидания нового крика — я прозреваю и говорю конунгу:

— Это он.

— Да, — отвечает он, — это он. Тихим голосом добавляет: — Пусть кричит.

Халльвард снова вскрикивает. Потом я узнал от других, что Халльвард ползает вдоль стен в своей тесной камерке и обнюхивает их, как собака. Входят дружинники с факелами и глазекот: человек-собака, обнюхивает углы, поднимается с совершенно иным взглядом, чем прежде.

— Что ты вынюхиваешь? — спрашивает один.

— Я ищу свою кровь, — отвечает он. Потом погружается в раздумье и произносит: — Кровь...? Меня же должны повесить? Тогда не пахнет кровью? — спрашивает он и вдруг смеется. Мгновение спустя он кричит.

Раздевается и стоит нагой. Входит служанка, оберегает свою жалкую честь, прикрыв глаза подолом юбки. Потом Халльвард завязывает на животе одеяло и говорит, что хочет идти к конунгу.

— Нагим пришел я из чрева матери моей! — восклицает он. Но стражники не пускают его. Он затевает драку со стражей. Упускает одеяло и дерется нагишом, получает оплеуху, кровь хлещет изо рта и носа, — он слизывает кровь и причмокивает, говоря: — Вот моя кровь, я пойду к конунгу и скажу: «Вот первая...»

— Но тебя же должны повесить? — кричит стражник.

— Это правда, да, — опомнился Халльвард, он снова почти счастлив. Но вскоре опять продолжает кричать.

Входит Гаут. Спокойно выгибает обрубленную руку дугой над головой Халльварда, повергая того в изумление. Обнажает руку и показывает култышку.

— Гляди, — говорит он, — обрубок, который давно мертв, сейчас на небесах и дожидается меня. Скоро я последую за ним. В горнем мире мы встретимся, моя рука и я.

Он заставляет Халльварда сесть, и тот больше не кричит.

— Ты охвачен глубоким страхом, — говорит Гаут. — Это последняя западня дьявола: в страхе ты будешь грешить, проклиная конунга, осудившего тебя! Но в приговоре конунга, грозящего тебе петлей, сокрыто твое собственное спасение. Поэтому тебе следует пойти к конунгу и сказать: «Дозволь мне, государь, просить повесить меня немедленно. Пусть меня повесят они, те, кто требуют этого — конунг Магнус и его люди. Магнус не великий конунг. Магнус раб своего честолюбия. Пусть он потешит свою честь! Выдай им меня». Так ты должен сказать.

«Этим ты, государь, подавишь собственное влечение к бренной славе и станешь еще более великим конунгом. Я стану лучше, даровав вам свою жизнь. Единственное, что имею. Но вручив тебе этот бесценный дар, я спасу многие жизни. В стране воцарится мир». Так ты должен сказать.

Халльвард больше не кричит. Голова его покоится в объятиях Гаута, он плачет. Гаут гладит его волосы, кивает служанке, та подходит с водой и полотенцем. Осторожно Гаут оmyвает все тело Халльварда, убаюкивает и успокаивает его. Поворачивает его лицо к своему и говорит:

— Слушай меня, Халльвард...

Халльвард слушает.

— Если ты пойдешь к конунгу и попросишь выдать тебя на расправу Магнусу, попроси конунга отрубить мне вторую руку.

Тут Халльвард наконец улыбается.

— Так я, может быть, умру, — смеется Гаут.

Они сидят вместе на лавке до самого рассвета.



Вновь конунг Магнус говорит с боевого корабля в излучине у Церкви Христа. Он выглядит злобным и неуправляемым, вся его сила

исходит из моря ненависти. Магнус неразумен. Потребуй он сейчас — когда берега заполнены народом, и большинство встревожено мыслью о начале открытой распри, — потребуй он выдачи убийцы, чтобы немедленно его повесить, народ вынудил бы Сверрира склонить свою упрямую голову. Но Магнус этого не делает. Вместо этого он кричит, что вызывает Сверрира на поединок:

— Только мы двое, один на один! Тогда мы сохраним людей. И адское пламя спалит тебя, Сверрир, когда я перешагну через твой труп! Осмелишься или нет?

Но священник из Киркьюбё спокоен. В глазах гнетущее безмолвие, он поднимается в седле и стоит так. Оглядывается — горожане и бонды сгрудились вдоль берегов. Ему известно, что ненависть — извечный спутник конунга. Многие в толпе полагают, что требование конунга Магнуса исходит от бесстрашного человека. Сверрир сперва говорит, что не пристало двум конунга сцепляться, как собачонки, и рвать друг друга насмерть.

— Но, Магнус, я предлагаю тебе иную битву — и она потребует от нас не меньшего мужества. Рискнет ли твоя мудрость вновь схлестнуться с моей в ризнице церкви Христа?

Но именно на это Магнус не отваживается. Вот где его слабость. Он хочет избежать этого, вызывая Сверрира на поединок. Человек на корме вмиг утрачивает последнюю способность следить за своими словами. Он вопит, что ты, Сверрир, никакой не сын конунга, а изменник, — священник с далеких островов, ты лгал перед алтарем Всевышнего и бесчестил свою собственную мать. Разве твой отец не здесь, в Нидаросе, — пьяная свинья, оружейник с сажей на ладонях? Он отец конунга Сверрира! Рядом с тобой Эйрик — разве он не бежал позорно из Миклагарда? Вместе вы состряпали испытание железом, чтобы объявить его сыном конунга. Но это вам не поможет! Однажды я получил корону — и меч, и скипетр. Надо мною Божье благословение — страна моя, и ни единой горсти земли я не отдам, — кроме той, что швырну тебе в лицо!

Он тяжело дышит и молчит. В своем сумасбродстве и негодовании он говорил складно.

Сверрир спешивается. Посреди всеобщей мертвой тишины безоружный идет к берегу и встает прямо против палубы магнусова корабля. Теперь любой обезумевший дружинник может метнуть оттуда

копье в конунга. Сверрир стоит, словно в задумчивости, поднимает руки, приветствуя Магнуса, и говорит тихо, но в тишине услышанный всеми:

— Я уважаю всякого, кто имеет мужество сказать то, что считает правдой. Но, Магнус, правда не такова, как ты думаешь. Для тебя — сына ярла — большой соблазн подвергнуть сомнению мое происхождение. Ты говорил о том, кто приходил, выдавая себя за моего отца. Хочешь увидеть его? Он в Нидаросе. Ты назвал его пьяницей. Думаю, он просто бедняга без счастья в жизни. Ты презрительно говорил, что он оружейник. По мне, любое честное ремесло красит своего обладателя. Ты сказал, я обесчестил собственную мать. Нет, Магнус, я почтил свою мать, сказав, что плод чрева ее — порождение конунга. Я знаю, — и народ вокруг меня знает, что я родился с даром повелевать людьми. Он заключается и в том, чтобы предложить своим людям мир, — только бы недруги мои имели добрую волю помочь мне. Потому спрашиваю, конунг Магнус: встретишься ли ты со мною еще раз в ризнице, один на один? Мы сможем побеседовать спокойно — поделить страну и утвердить мир, чтобы смерть отступила, а Господь восторжествовал — тот, пред кем мы однажды склоним головы, явившись на Страшный суд. Придешь ли? Осмелишься ли?

Конунг поворачивается и тяжело взбирается по берегу, беззащитный, — похлопывает лошадь по морде и останавливается.

На борту Николас и Орм увлекают конунга Магнуса под палубу. Они держат совет.

Мы напряженно ждем, и когда к конунгу подходит Гаут, желая говорить, тот отстраняет его. С Гаутом Халльвард, он хочет простить конунга, просить выдать его Магнусу и немедленно повесить. Но конунг не слушает их.

Магнус опять выскакивает на палубу. Он не выглядит человеком в здравом рассудке. Поднимает руку и хочет говорить. Рокот в толпе вдоль берегов стихает. Что это, не печаль ли вижу я на челе Орма Конунгова Брата? Магнус кричит, что не желает встречаться с конунгом Сверриром в ризнице, пока не получит полную лодку людей за двоих убитых: одного в прошлом году и одного в этом.

— Я требую человека за человека за первое убийство и пятерых за последнее. Их повесят мои люди. Разве мы не встречались на ристалище, мы выиграли игру, мы...

— Только послушайте его! — восклицает один из наших.

— Он выиграл игру? — спрашивает мой отец Эйнар Мудрый, который тоже здесь. Многие по берегам смеются, один из наших дружинников подходит к палубе, поворачивается задом к конунгу Магнусу и выпускает зловонную струю воздуха. Кто-то из свиты Магнуса швыряет камень ему в затылок.

Вмиг по берегам реки поднимается рев — конунг держит лошадь, раздаётся крик, наши пятятся, достают из ножен мечи, — ещё никто не спешит, конунг призывает своих к спокойствию. Я вижу Орма, тот хватает топор и рубит швартовый канат. Струг отчаливает. Люди на веслах выходят на середину потока, свистят камни, горожане кричат Магнусу:

— Ты выиграл игру?

Конунг вскакивает в седло и стоит, пытаясь ещё раз вызвать на беседу Магнуса. Кто-то выпускает в него стрелу. Она не достигает цели. Эрлинг сын Олава из Рэ и Торбьёрн сын Гейрмунда из Фрёйланда стаскивают конунга с коня и укрывают. Корабль возвращается. Может быть, Орм взял власть и отважился на встречу с конунгом Сверриром? Сверрир отстраняет своих, снова вскакивает на коня и кивает Орму. Но Магнус отталкивает Орма. Наши опять начинают подбирать камни. Один угодил в человека на борту, тот кричит. Орм машет гребцам, корабль в большой спешке движется вниз по реке к Нидархольму.

Люди у катапульты пускают камень вслед стругу, но промахиваются.

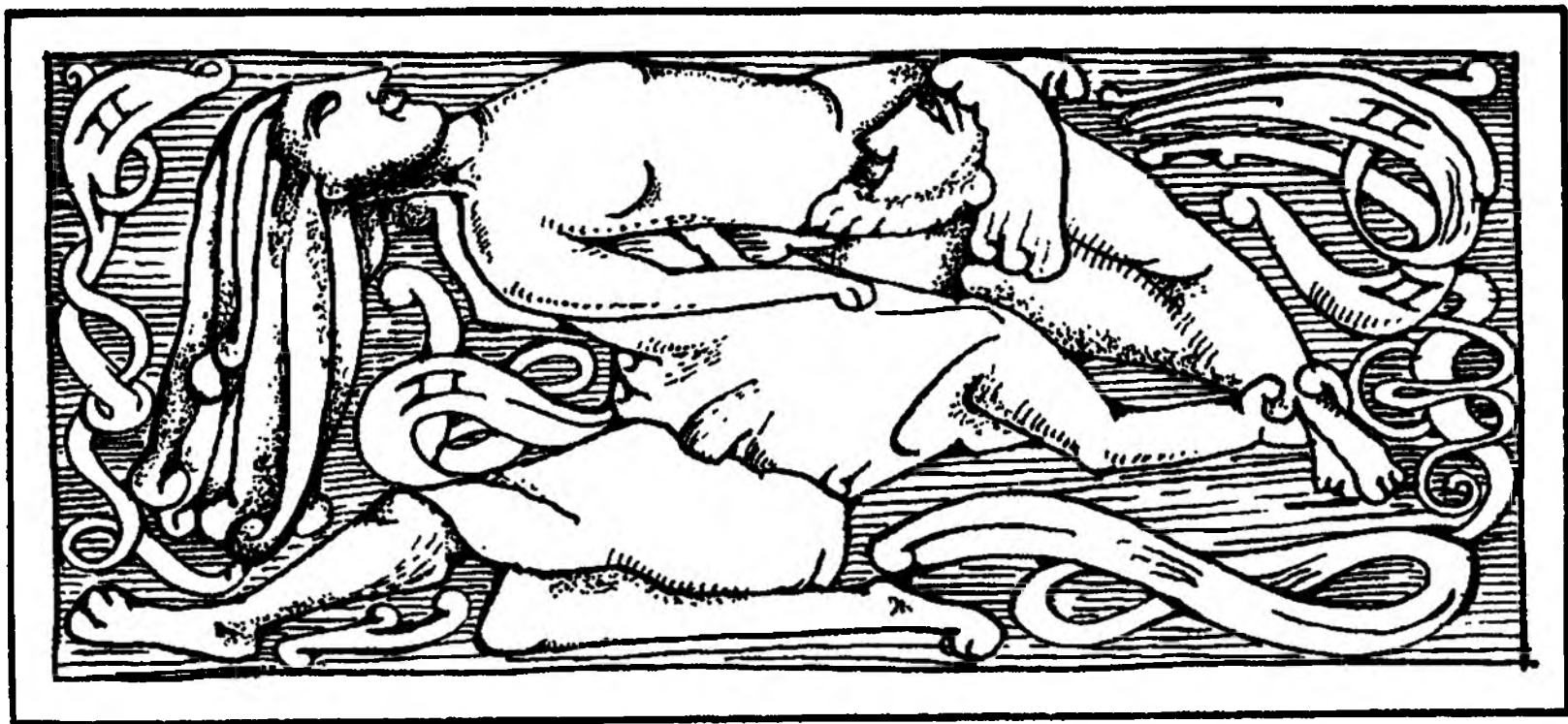
Сверрир говорит:

— Мимо.

В тот же день корабли конунга Магнуса покидают Нидархольм и берут курс на юг.

Вечером люди в городе веселятся, они празднуют победу в игре. Все согласны, что конунг Сверрир поступил правильно, прогнав Магнуса.

Халльварда превозносили как доблестного мужа. Он взял на себя и последнее убийство — ибо где истинный убийца? — и получил слово конунга, что никогда не будет повешен за эти убийства, покуда Сверрир правит страной.



ЛЮБОВЬ

Уйомфру Кристин, моей радостью и мукой в эти ночи в Рафнабереге было повествование о твоём отце конунге, о его силе и твердости, неукротимости его мощи и ясности рассудка в каждой встрече с людьми. Я также попытался — с меньшим успехом — последовать за ним в сокровенные глубины, где властитель становился рабом, и главным величием раба было преклонение перед тайнами, на которые Господь Всемогуший никогда не даст ответа. Теперь я попытаюсь показать единственной дочери конунга Норвегии ее отца во всей его нежности и любовном порыве. Прости, йомфру Кристин, мою ночную дерзость! Ты же знаешь, что легкое опьянение, украшающее такие ночи — и отравляющее серые утренние часы в Рафнабереге — придает мне храбрости глядеть в твое открытое лицо. У тебя была мать. Твой отец не любил ее. Твой отец, йомфру Кристин, любил женщину. Но это была не твоя мать.

Ее звали Астрид, тебе это известно. Она осталась с двумя сыновьями дома, в Киркьюбё, когда мы покинули родные края. Исполненная ненависти, она повернулась спиной к нашему кораблю, выходящему в море. Она не бросила даже взгляда, уходя, — ни на него, ни на меня, друга ее и Сверрира, — на меня, который выбирая между



им и ею, выбрал его. Да, Астрид, твоя гордая осанка в горечи прощания, жестокая боль твоей любви, спина, плечи, затылок, развевающиеся волосы — на ветру над морем и нагорьем! Астрид, однажды я тоже любил тебя. Я тоже отыскал у тебя извечную дорогу мужчины к женщине — в один-единственный вечер.

Он не подозревал об этом. Мы оба молчали, Астрид из Кирккюбё и я. Я иногда думал: чтобы убить дружбу между конунгом и мною, она была способна в злобе выпалить жаркую и прекрасную правду прямо ему в лицо. Этим она убила бы и его любовь к себе. Поэтому смолчит она или расскажет — Астрид с родных берегов, рыжеволосая, красивая и дикая? Ходили слухи, что Сверрир однажды нес ее нагую, по нагорью от одного фьорда до другого. Но она не стала королевой Норвегии, Астрид из Кирккюбё.

Попробуй, йомфру Кристин, если сможешь, представить себе своего отца конунга, как я его видел однажды ночью. В конунговой усадьбе было темно, шел дождь, тяжелый Трёндалёгский дождь. Мы делили ложе, конунг и я, чтобы спастись от одиночества — не господин и его верный слуга, а два друга, вновь, как в далекие годы. Он думает, что я сплю. Осторожно поднимается. Я приоткрываю один глаз, потом другой. Он стоит нагой у стола, идет к окну и смотрит вверх, бродит вокруг, бормочет, я притворяюсь, что не слышу. Возвращается и залезает под одеяло. Я глубоко дышу. Но никто из нас не смыкает глаз этой ночью.

Другой раз. Я без предупреждения захожу в его маленькую келью, он вздрагивает и хочет что-то спрятать от меня. Я быстро ухожу. Он грубо зовет меня.

— Что мне прятать? — спрашивает, — письмо, разве я не вправе написать письмо, не показав тебе, Аудун?

— Конечно, конечно, вправе! — отвечаю я. Он подвигает письмо к себе, бранится и бросает его в огонь.

— Горит моя летняя радость, — говорит он. Я не отвечаю. Он спрашивает, почему я не отвечаю. Я говорю:

— Я знаю одну молодую женщину здесь, в городе, государь. Она торгует луком в лавке своего отца, мои мысли частенько уносятся к ней. Защищая ее от посягательств грубиянов, я позволил ее отцу сказать, что его дочь — моя нареченная. Но это не так! Понимаешь, государь: между ею и мною стоит нечто большее, чем меч битвы.

Между нею и мною стоит долгое скитание через все и всяческие преграды: то, что я близкий друг конунга, единственный посвященный во все его деяния, злые и благие. Между нами море отсюда до Киркьюбё, море между женщиной и мужчиной. Могу ли я вернуться к радости? Могу ли раздеть женщину, поднять ее на руки, зарыться в ее длинные волосы и сказать: «Теперь заживем в радости»? Она живет в моих снах. Быть может, и я в ее. Но с каждым восходом солнца я вновь кидаюсь в бой.

— Да, — говорит он и долго смотрит на меня. — То, что ты хочешь сказать, верно: место Астрид рядом со мной.

Он снова пишет письмо...

И вот она приезжает. Незабываемый день в моей и его жизни. Конунг послал за море корабль, чтобы привезти ее в Нидарос. Она ступает на берег с двумя сыновьями. Первые робкие признаки осени в природе: серый оттенок травы, первые красные листья в перелесках вокруг города конунга Сверрира. Она ступает на землю. И он обнимает ее.

Йомфру Кристин, дозволю поведать тебе, что и земля может жечь. Я ушел в ризницу церкви Христа, не желая видеть Астрид из Киркьюбё. Повернулся и пошел обратно. Встретил Гаута и поговорил с ним. Гаут увидел мое страдание и сказал:

— Есть только одно утешение: взывать к всемогущему Господу!

Я вновь отправился в церковь Христа, молиться, но это не помогло. Тогда я пошел навстречу ей.

Я же сказал тебе, что и земля может жечь? Я почувствовал, как она горит под моими жалкими, проклятыми башмаками, когда шел встречать и приветствовать Астрид. Полуоткрытый рот с белыми зубами, полные губы, плечи, грудь, бедра, вся пышная красота жизни. Теперь спелее, чем прежде, женщина в расцвете своей нежности, полная томления по нему, Сверриру... И здесь же стоит он, человек с далеких островов, конунг Норвегии, властитель и раб, покоритель своих врагов, руководствующийся холодным рассудком — и только им. Но сейчас нет всего этого — есть лишь одно: любовь к ней.

Йомфру Кристин, я сказал тебе, что и земля может жечь? Я пошел купить луковицу, повернулся, подошел опять к ним, приподнял сыновей, достал из мешка за поясом берестяной туесок с медом, который всегда ношу с собой. Поднял сыновей и, забыв о них, смотрел на

нее — она улыбнулась в знак благодарности. Я ушел от них и узнал, что земля тоже может жечь.

— Завтра будет лучше, — громко сказал я самому себе. Но не верил этому.

Ночь над конунговой усадьбой. Я иду по городу, ночь над конунговой усадьбой, я знаю, что земля тоже может жечь. Небо на севере рдеет, солнечное колесо собирает силы для нового дня, пылают белые звезды — и он. Я знаю это: конунг Норвегии теперь пылает. Тот, кого я видел бродящего нагим между окном и постелью, — и она, которую я лишь однажды видел пылающей.

На следующий день лучше.

Теперь они оба смеются не так, как вчера, конунг Сверрир и его молодая жена. Слухи бурным потоком разносятся по Нидаросу и всей стране: конунг привез свою жену! Народ собирается и хочет видеть ее. Она выходит, показываясь. Выбегают мальчики и начинают играть, один падает, из ноздрей хлещет кровь. Пятнадцать служанок устремляются к нему, стражник бросает оружие и спешит принести мальчику воды. Встают на дыбы две лошади, одна вырывается. Конунг смеется и гладит Астрид по щеке: сегодня она совсем другая женщина, нежели вчера. И я в своей нищете стал богаче.

Последнее ты не поймешь, йомфру Кристин, я тоже не понимаю этого вполне, но это так. Не могу назвать это ни уверенностью нищеты, дающей спокойствие и поэтому силу, ни восторгом самобичевания и гнева. Нет-нет! Но я стал богаче, хотя и не существует этому объяснения или ответа. Посреди беспросветного одиночества я сумел повидаться с ними обоими, как друг с друзьями, и от души поблагодарить за приглашение разделить с ними вечернюю трапезу.

Йомфру Кристин, слышала ли ты, чтобы кто-то выражал свою радость игрой на обломке расколовшегося колокола? Я слышал. Как-то раз с колокольни одной из церквей в Нидаросе сорвался колокол. Прошел слух, что дьявол в злобе своей возник возле колокола и заязил спешащим мимо: «Отныне он мой...» Колокол лежал, прорастая травой. Но в первую ночь Астрид в Нидаросе мимо него прошел пьяный. Унас, кузнец и гребенщик, долго утверждавший, что он отец твоего отца, неуважаемый и презираемый большинством, изгнанный конунгом, — он вновь в городе. В радости, которая придала ему отваги, он устремился к полужаросшему колоколу, отпихнул дьявола,

если он там стоял, — и взял себе, уходя, осколок разбитого гласа Господня. Он играл на нем.

Играл на нем со страстью и мукой всю ее первую ночь в городе. Представь себе, йомфру Кристин, человек со слюнявыми губами, объедками в бороде, судя по всему, близорукий, с трясущимися руками — и искуснейший оружейник. Он был преисполнен радости, когда она явилась. Явилась с родины, принеся с собой что-то от легкости птичьих крыльев, запаха овец и водорослей, нагорья и песчаных отмелей. Башмаки ее — полустоптанные, были стоптаны дома. Под нестриженным ногтем еще хранились песчинки с побережья Кирккюбё. И он выражал свою радость игрой на осколке разбитого колокола.

Возможно, он полагал своим смутным рассудком, что все может стать, как прежде? Не знаю. Что сын вновь станет сыном — сыном оружейника, а не конунга; что невесомая паутина былого — давно порванная и отброшенная прочь — снова срастется и опутает всех? Не знаю. Знаю только, что слышал, как он играл. Не великий звонарь — отнюдь! В ударах резкость кузнеца, — на губах плаксивая гримаса, в глазах вопрос — и надежда. Он играл и играл. Во хмелю, без единого звука, приятного человеческому уху, но — уверен, — аккордами ликования для Господа.

Унас, ты, несчастный, никогда не станешь почитаемым Божьим человеком. Но разве она не приблизилась к тебе, не бросилась на шею, не поникла головой на твое плечо, сказавши то, что ее супруг и великий властитель Сверрир из Кирккюбё больше не произносил? Она сказала «отец».

Он играл всю ночь напролет.

Мой отец Эйнар Мудрый пришел ко мне и сказал:

— Сын, проникал ли ты мыслью в быстротечный век дождевой капли, в ее совершенство, тяжесть и влагу, в ее умирание, когда, падая, встречает своих собратьев и образует вместе с ними ручеек в потоке? Взгляни на ветку с каплей! Капля стара или молода? Ее зной или прохлада горячи или холодны в сравнении со зноем или прохладой других капель. Но красота ее неистребима. Сын, я однажды видел каплю воды на груди твоей матери.

Так говорил мой добрый отец Эйнар Мудрый.

Я вышел и подставил кончик языка под ветку. Глотал капли, их красоту и влагу, и зной, все их совершенство. Но мне никогда не увидеть каплю воды на ее груди, йомфру Кристин...

— Господин Аудун, позволь спросить: мой отец конунг в долготных скитаниях по стране никогда не впускал в тайник своего сердца кого-то, кроме женщины из Кирккюбё?

— Йомфру Кристин, осмелюсь ответить: Твой отец конунг впустил в свое сердце двух женщин: Астрид из Кирккюбё и тебя, йомфру Кристин.



Мне вспоминается, йомфру Кристин, глубокая и ежедневная забота твоего отца конунга не только о своей жене Астрид из Кирккюбё, но даже больше о сыновьях, Унасе и Хрои. Об их пище, когда накрывали стол, и не меньше — об их покойном сне. Он хотел рано приохотить мальчиков упражняться с луком и стрелами, однако чтобы наконечники при этом были затуплены и без железа. Среди стражников выбрали одного — хвалить сыновей, даже если те промахнутся, но в особенности, если случится, что они поразят цель. Конунг лично следил, чтобы их башмаки сидели как подобает — носки не были слишком острыми. Он долго и горячо выговаривал своему башмачнику, — прежде бывшему бондом в Сельбу и покинувшему жену за отказ носить его башмаки, — когда тот сшил Хрои пару башмаков, так что ребенок натер кожу на большом пальце левой ноги. Конунг решил сделать мальчикам шлемы — из ткани, ибо железо стерло бы их лбы до костей. Но мальчики плакали: матерчатые шлемы сидели не так, как у взрослых. Конунг призвал меня, и мы долго размышляли. Кончилось тем, что кликнули моего отца Эйнара Мудрого, погрузившегося вместе с нами в раздумья. Он предложил смазать матерчатые шлемы жиром, чтобы они не гнулись, — но потом сам с насмешкой отверг это предложение, прежде чем мы с конунгом сделали то же самое.

— Из кожи! — вскричал мой добрый батюшка Эйнар Мудрый. Он выглядел самодовольно, словно обыграл в кости самого конунга.

— Из мягчайшей лайки! — воскликнул Сверрир. Я предупредил, как важно аккуратно подшить мягчайшую лайку тончайшей кожей, чтобы не было видно кожаной каймы и юные воины не загордились, что на их шлемах подкладка, какой нет у взрослых. Конунг похвалили нас обоих, назвав разумными мужами. Он кликнул пива, явился

конунгов башмачник из Сельбу за приказаниями. Конунг похлопал его по плечу и сказал: если бы здесь была твоя жена, которую ты бросил, — я бы похлопал ее совсем по другому месту. Так его сыновья обзавелись шлемами точь в точь как у дружинников.

По отношению к Астрид конунг был преисполнен беспокойства и теплоты. Когда на лицо ее набегала тень — это случалось, быть может, из-за младшего сына, которому никак не удавалось спать сухим, по ночам — он мог выскочить и отправить дружину из одного конца города в другой или скакать в Гауларас и беспощадно обрушиться на спящих в сторожке дозорных. Они перестали спать. Но по дороге домой он слезал с коня и рвал охапку цветов для нее. Она же усаживала многочисленных служанок, — те долго трудились, и наконец, цветочки конунга стояли в серебряной кружке у нее на столе. И тучка исчезала с ее красивого лица. А малыш с тех пор спал сухим.

И это тоже любовь.

Конунг приказал постоянно держать в усадьбе шесть лошадей под седлом, и пятерым стражникам, сменяясь, дежурить при них с обнаженными клинками. Если нападут враги, Астрид должна вскочить на лошадь, за ней пятеро всадников, двое из них с мальчиками на руках, — и скакать из города в Сельбу, где ждет стол и кров, где всегда горит огонь в очаге. Конунг отослал туда сильную рать. Проведав, что ратники больше беспокоят по ночам окрестных девушек, а не стерегут долину для тех, кто должен там укрыться, — конунг по скакал туда, забил двоих, забрал в город четырех девушек в услужение богатым горожанам, угрожал всем плетью... И с тех пор дозорные исправно несли службу.

Это любовь.



Это любовь.

Я вспоминаю глубокое беспокойство Сверрира при мысли, что его сыновья еще не постигли премудрость чтения. Мой добрый отец Эйнар Мудрый — не без гордости, что его собственный сын был мастером в этом деле, — полагал, что конунг, призвав на помощь остатки соображения — средство, к которому следует время от времени прибегать конунгам, как к последней надежде, — должен по-

нять, что такие малыши еще не могут постичь премудрости чтения. Но конунг упорствовал. Он якобы помнил — моя память не простирается столь далеко, — что сам умел читать как наше собственное, так и латинское письмо в возрасте своих сыновей.

В конунгову усадьбу призвали нашего доброго друга монаха Мартейна и возложили на него почетную обязанность учить сыновей конунга чтению. Сверрир желал, чтобы обучение было в радость и без жестокостей, а коли потребуется дисциплина, вкуса которой не миновать и самому ученейшему, — то наказывать только наинейшими розгами в его присутствии. Конунг лелеял прекраснодушные надежды, что в течение короткого лета лбы мальчуганов избороздят морщины мудрости, — и появятся еще полурассеянные, незрелые, но все же глубокие мысли. Что бросив беглый взгляд на пергамент, они постигнут суть написанного. Но не вышло.

Дружба конунга с монахом Мартейном стала не та, что раньше. Я думаю, что Мартейн — с его маленькими плутовскими глазками — полный сердечности и заботы о ближнем, хотел кончить архиепископом в Норвегии конунга Сверрира, если ему удастся выучить его сыновей читать, пока промчится лето. Но ему не удалось.

Мартейн пришел ко мне. Я отправился к своему отцу Эйнару Мудрому. Отец пошел к конунгу и рассказал ему лживую сагу об ученом исландце Брюньяре, который привез высокое искусство чтения исландцам. Брюньяр не умел читать, пока в почтенном возрасте не посетил один монастырь в земле франков. Там — это не ложь, а истина, как перед ликом Божиим, — сказал Эйнар Мудрый, он бился семь лет, и только в последний день седьмого года разверзлись его очи и он стал читать. И не было большего мастера в искусстве чтения, чем он.

— Ты лжешь! — сказал конунг.

— Да, лгу, — ответил Эйнар Мудрый, разозлившись, встал и с яростью во взоре ушел из усадьбы.

Тогда конунг пришел ко мне.

Я поднял пятерню и спросил:

— Ты умеешь считать?

— Конечно, — заявил он.

— Это пять воскресных дней, — сказал я, — ни больше, ни меньше. Пять воскресений минуло с тех пор, как ты отдел приказ учить сыновей книжной премудрости. Доложу тебе, что сейчас каждый из

них знает по десять букв — то есть две буквы в неделю, и никто не вправе требовать большего даже от мальчиков, чей отец конунг.

Он чуть просветлел взором, но не был весьма обрадован.

Он ушел в лес ломать березы, но вместо этого вернулся с купленным бочонком меда и дал мальчикам наесться. Наелись они нескоро. А когда спустилась ночь, младшему не удалось спать сухим.

Это любовь.



Это любовь.

Один дружинник — по-моему, это был Эрлинг сын Олава из Рэ, в шутку пустил слух, что прекрасная жена конунга, Астрид из Киркьюбё, теперь тоже начнет постигать искусство чтения. Это многих позабавило, позабавило и конунга — он отменно повеселился. Все решили, что еще далек тот день, когда женщина с ее недалеким умом обратится к изучению премудрых букв, и нескоро еще обретет она способность складывать слово к слову и постигать их сокровенный смысл. Но раз сказано, конунг погрузился в мысли. Когда погрузился конунг, погрузились по очереди и все прочие. Даже Свиной Стефан старался изо всех сил, но мало что получилось. Думал мой отец Эйнар Мудрый, и я, и Гудлаут Вали, и Мартейн.

— Я слышал, — сказал батюшка, — что строгие аббатисы в монастырях по свету... и здесь? — спросил он, побледнев под загорелой кожей, — могут читать, как ученейшие мужи?

— Таких женщин я встречал в моей собственной стране! — сообщил Мартейн со смешанным чувством стыда и гордости.

— Тогда Астрид должна учиться читать! — постановил конунг, возвысив голос.

Он позвал ее, затем жестом указал выйти — в раздумьи нагнулся к Мартейну и что-то обсуждал с ним с глазу на глаз. Оба выглядели встревоженно. Вечер выдался нерадостным для конунга, и мы — его близкие друзья, испытанные в тяжелый час, — знали, что помогаем ему нести это бремя. Конунг вышел. Немного спустя вернулся. Он был счастлив.

— Я спросил ее, — вскричал он, — она не хочет!

Но я верю, что у нее достало бы силы духа. Да, даже в этом я верю в нее, Астрид из Киркьюбё.

Это любовь.



Это любовь.

Я помню, как однажды ночью он сидел у очага, справа Астрид, слева я. Меня просили остаться, когда ушли остальные — единственного, кроме нее. Мы трое из Киркьюбё. Сначала мы беседовали о полузабытых вещах — но здесь в ночи таких отчетливо-ясных: о далеких шагах и голосах во время шторма, — мы втроем между камней, тяжелый прибой, заходящее солнце, синие ночи, спящая овца и штормы, штормы над Киркьюбё! О нашей юности, о нашей тревоге и безмятежном счастье, о вопросах без ответа. Сначала мы говорили об этом. И говорили долго.

Теплота между ними не причиняла мне боль, их спокойствие успокаивало меня. Вот он поднимается и меряет зал своими короткими, легкими шагами. Красивый, волосы тщательно причесаны — быстрая улыбка ей, добрые слова мне. Он отпускает на волю видения из своего счастливого сердца, мечты, — так садовник мечтает о посаженном им дереве, которое обязательно вырастет.

Это любовь.

Он говорит:

— Я знаю, что я сын конунга. Да, после тяжких лет сомнений мне был глас Божий: я сын конунга. Поэтому право на моей стороне — так было, когда пал ярл Эрлинг Кривой, так будет, когда падет конунг Магнус. Поэтому люди мои, и усадьбы мои, поэтому все мое. И поэтому я не владею ничем.

Это отличает меня от прочих, бывших конунгами в земле норвежцев: потому что ничто не мое. Я молчу о святом конунге Олаве, он принес сюда бесценный дар для всех нас, и если ошибался, — да будет прощен, как Гаут прощает нас. Но другие конунги принимали все за свое. Выкачивали монету из бондов и кровь из их сыновей, позволяли дружинникам насиловать женщин, сжигать усадьбы, — я тоже так поступал, — но они позволяли дружинникам жечь, чтобы скрыть следы, изнасиловав женщин и разграбив поместье. Мое правило: я не владею ничем, потому что владею всем.

Когда падет Магнус — он должен пасть, я беспощаден: я предложил ему мир, а он отказался принять то, что я предлагал. Когда он погибнет, я один принесу мир народу, подобно святому конунгу Ола-

ву, принесшему слово пречистого Христа. Его люди станут моими наместниками. Мои приближенные будут без предупреждения разъезжать по стране: награждая честных, чтя милосердных, созывая бондов на тинг и неся им мое слово о мире и добре. Никто из бондов не будет бояться людей конунга Сверрира. С пришествием мира в стране начнутся хорошие времена. Коровы в стойле, кони на пастбище, прихожане в церкви! Корабли будут бороздить моря, привозя товары и мудрость из многих стран. Я сказал: мудрость. Да, ученые мужи, стоя пред очами конунга, буду докладывать, что узнали на чужбине. Мы не должны, замкнувшись в нашем тесном мирке, бахвалиться, что знаем все. Мы не знаем ничего! Но не следует сокрушаться, что не знаем ничего. Мы знаем многое! Однако давайте прирастать мудростью и обменивать то, что в избытке, на то, что в недостатке. Каждый воин должен — нет, не учиться высокому искусству чтения, это подобно попытке поджечь сырой стог, — но прислушиваться к речам мудреца, испытать себя не только в бою.

И после меня мой старший сын станет конунгом этой страны.

Он помолчал, потом обратился к Астрид:

— Хочешь учиться читать?

— Избавь меня! — ответила она и засмеялась краше, чем когда-либо. Под широким платьем — пышное тело, усердно служившее ему.

— Да, я избавлю тебя — от этого, — сказал он.

Но я верю, что у нее хватило бы силы духа одолеть даже это, у Астрид из Киркьюбё.

Это любовь.



Это любовь.

Ярл Эйрик Конунгов Брат, как он теперь звался, имел супругу с редким именем Абельгунда. Она появилась на свет в далеком Миклагарде, где ее мать была рабыней. Эйрик стоял на торжище среди прочих покупателей и предложил за Абельгунду самую высокую цену. Ее раздели и показали ему, и, закованная в цепи, последовала она за северным хёвдингом. До нее у него были другие наложницы. После ее появления они были отвергнуты. Это любовь, но не с ее стороны.

Абельгунда была умной женщиной, она научилась притворно любить Эйрика, заставила его поверить, что он повелитель не только

над мужами, но и — реже — над женщинами. Он взял ее в жены, и вскоре она сама бродила по рынкам далеких городов, выбирая себе рабынь. Оказавшись в холодном Нидаросе, нагая, в постели, красивая, с глубоким целомудренным взором, лилейной кожей, глазами чернее рождественской ночи, — она жаловалась, что меховое одеяло царапает ей кожу, и ночные утехи причиняют муку, а не восторг. Он поклялся, что вернет ей наслаждение. Это любовь.

Он послал всадников на юг. Клич господина подстегивал их. Плеть по конской шее — не лучшее средство, но сгодится, когда мужчины торопятся ради женщины. Далеко в южных странах имелось то, что теперь зовут женской периной, — сшитое из тончайшего полотна, внутри наполненное пухом поднебесных птиц. У мужчин перина вызывала усмешку. Неподходящий груз для транспортировки домой — женскую перину было трудно сложить, как другую одежду, она вспучивалась, раздувалась на ветру, плясала вокруг конских ног и даже связанная веревкой вновь принимала свою пышную форму. Везти ее из страны в страну было сущим наказанием — к тому же на потеху другим всадникам. Но гонцы вернулись в Нидарос. И — по обычаю далекого Миклагарда — опустились на колени перед ярлом и его супругой и вручили бесценный дар, призванный убереечь повелительницу от красных язвочек на коже и ночных укусов блох.

Ярл Эйрик Конунгов Брат тоже был неглуп. Он знал, что слух полетит от женщины к женщине, и Астрид — хоть и рожденная под более суровым небом — вряд ли придет в восторг, узнав, что другая женщина — и жена не конунга, а ярла — спит без помех по ночам. Поэтому ярл предусмотрительно велел своим людям привезти две женских перины. Одна была передана Астрид в дар от Абельгунды. Темная, рожденная невольницей, сама внесла дар для светлой, рожденной свободной, с каскадом волос, равно способной в играх, приносящих радость мужчине, пока она не занимается ими с другим. И обе обнялись.

Конунг наивно гордился всем, что могло послужить во славу фру Астрид. Он зычным голосом приказал служанкам конунговой усадьбы немедленно постелить женскую перину на ее и его постель. Когда опустился вечер с его голубым свечением над морем, краснеющими над дальним нагорьем облаками, тишиной улиц, одиноким пением, молящимся Гаутом, моим отцом с его многозначительным прищу-

ром глаз — тогда конунг провозгласил, что хочет оказать своей жене и самым близким людям честь, которой все они достойны.

Сначала нас позвали в опочивальню конунга. Астрид была одета.

Потом нас выставили — с улыбкой — и велели ждать снаружи. Конунг сам властно раздел ее. Нас пригласили внутрь. И тогда под женской периной мы увидели Астрид из Киркьюбё — ее изящно торчащую головку, белые плечи и затылок, — все остальное принадлежит конунгу. А женская перина может быть и ловушкой для мужчины.

Потом мы вышли, все, кроме него.

Он был народным конунгом, его неуголимая страсть к ней служила к чести для обоих.

Это любовь.



Это любовь.

Близнецы Торгрим и Томас, оба однорукие, нашли себе женщину и пожелали вступить с ней в брак. У обоих уже был ребенок — от другой женщины, — кто из них отец, не знал никто, в том числе и они. Они прогнали ее от себя, когда та потребовала венчаться только с одним из братьев. Теперь они нашли такую, которой были милы оба, а она — им. Она твердо верила, что осилит свое двойное призвание в жизни. Когда они шли по улицам Нидароса, это была красивая процессия. Она посередине, светловолосая, с тяжелыми мочками ушей, круглыми щеками, пламенеющими, как розы, особенно когда она смотрела направо или налево, где шли ее будущие мужья. И братья — с торчащими, словно сломанные крылья, култышками, раскачивающимися в такт ходьбе. Оба сильно веснушчатые, — люди конунга Сверрира, хотя и строжайше наказанные его мечом. Развитые не по годам, смышленные и возмужалые — оба не хотели позволить другому быть у нее единственным.

И в этом она соглашалась с ними.

Это любовь.

Братьев и их женщину обсуждали за столом у конунга. Сверрир сказал, что приняв их за одного, а второго за призрак — можно позволить им жить в триединстве, и пусть каждый делает с ней, что вздумается. Если двое за одного, заявил он, да третья в придачу, по-

лучается всего двое? Ни он, ни мы не знали, глупо ли он выглядел в тот миг.

— Но, — продолжал конунг, — эти священники! Подумайте, что за чертовщина разразится в стране норвежцев, если конунг позволит двоим жениться на одной? Я и прежде был несимпатичен поповской братии. Еще хуже стану, допустив такое святотатство. И подумайте о женщинах страны... — сказал он. Огляделся вокруг и добавил: — Подумайте об Астрид...

Все мы теперь думали об Астрид. Троллиха из Кирккюбё, способная объесть за столом не одного мужчину (чтобы не сказать — за столом и в постели), она узнала о том, что задумали близнецы. Незамедлительно явилась к конунгу со строжайшим видом.

— Можешь не сомневаться в том, что думает народ! — сказала она.

— Тут у меня нет сомнений, — ответил он. — Но разве прежде в стране норвежцев не бывало, чтобы женщина имела нескольких мужей?

— Именно поэтому они осуждают и всех прочих, кто так живет, — возразила она.

— Мне жаль их! — вскричал конунг, когда Астрид вышла. — Мы отрубили обоим руки, но что толку лить слезы о пущенной стреле. Взяв общую жену, они получают четыре руки на троих, к этому стоит прислушаться...?

— Нельзя ли одному жениться на ней в церкви и обоим в уединении? — поинтересовался я.

— Ты же сам знаешь, что они любят порядок во всем. Они настаивают, чтобы женщина, к которой оба испытывают влечение, стала женой обоих по закону. Властитель я или раб? — крикнул он мне и разозлился.

— Не знаю, — ответил я. — Давай подумаем.

Как всегда, когда что-то случается, к конунгу вызвали моего доброго отца Эйнара Мудрого. Он поведал лживую сагу из давних времен об одном воине, женатом на четырех сестрах и имевшем близнецов от каждой. На сей раз отец поспешил, и мы отменно посмеялись — он хотел скрыть, что оказался столь же беспомощным, как и мы.

— Дружина на стороне братьев, — сказал конунг. — Все войско тоже, можете быть уверены! И возможно, большинство бондов. Но женщины против. И священники. Что ж, война в стране вспыхивала и не по такой веской причине, — произнес он.

Ту, на ком хотели жениться братья, звали Йоханна. Это было имя святой женщины, заимствованное из дальних стран. Мы с конунгом согласились, что ее имя святее ее самой.

— Что они в ней нашли? — гремел конунг. — Мне пойти спросить у них? — поинтересовался я. Он не ответил, — потому что вошла Астрид, ведя за руки сыновей. Она сказала: — Помни, твой долг думать о будущем сыновей в этой стране! И ушла.

Конунг глупо уставился ей вслед, но промолчал.

Кончилось тем, что мы велели монаху Мартейну, нашему близкому другу с острова ирландцев, обвенчать двоих. Торгрим, или то был Томас, стоял подле Йоханны, а за колонной прятался Томас, или то был Торгрим? Посреди долгих молитв, положенных по такому случаю, Мартейна скрутил приступ кашля — он стал похож на железный гвоздь под ударами молота. Юноши быстро поменялись местами. Так она наполовину обвенчалась с обоими, а они с одной, и конунг всех щедро одарил. Братья повели ее домой, в свою родовую усадьбу, которую они унаследовали, и она не знала, кто есть кто. И так никогда и не узнала.

Это любовь.



Это любовь.

Однажды вечером в конунговой усадьбе сидели Астрид, Сверрир и я. Прибыл погостить Бард сын Гутхорма со своей новой невестой: сестрой Сверрира фру Сесилией из Хамара. Она теперь развелась с первым мужем. Прежде я всегда видел и знал Сесилию дикой необъезженной кобылицей, охочей до жеребцов, но при этом умеющей быть учливой, красивой и соблюдавшей свое достоинство, — и жестокой, порывистой в мыслях. Теперь она изменилась. Почти как девушка, да, почти — чуть зарумянившаяся, сидела она возле господина Барда, красивая более зрелой красотой, чем в юности. Без запальчивости вступила в беседу, с той же теплотой, с какой прежде говорила со своим братом. Да и Бард сын Гутхорма из Рейна: нет уже былой презрительности — молодой господин из родовой знати, лишь искоса бросавший на меня, священника из Киркьюбе, ледяной взгляд. Теперь он не таков. Стал зрелым мужем. На равных обсужда-

ли мы самые запутанные дела конунга Сверрира. Я со злорадством отметил, что Бард не отличался живостью ума; зато ум его был глубок, он рассуждал здраво, если времени было достаточно, чтобы дать ход мысли. Теперь я видел — и время подтвердило мою правоту: он станет одним из лучших людей конунга Сверрира. За это ему следовало благодарить Сесилию.

Она сидела рядом. Дикое животное, лакающее кровь мужчин. Теперь она напилась его крови. Глядя на него, верилось, что он насытит ее.

Это любовь.

Я медленно жевал луковицу.

Потом оставил их.

Сверрир, конунг Норвегии, одной-единственной далекой ночью под небом Кирккюбё я разделил все с той, с которой ты теперь делишь все. Она хранит молчание.

И я.

Государь, выбирая между вами, я выбрал тебя — тогда и навеки, в горе и радости. И это любовь — к вам обоим.



Не знаю, любовь ли это.

Пока я жив, йомфру Кристин, и даже в геенне огненной, — если случится, что окончу свои дни там, — я буду видеть перед собой белое лицо Симона, в бороздах, проложенных влечением к брэнной земной славе и женскому лону. Разве в ночи юности он, Симон, настоятель монастыря на Селье, не любил одну монахиню на крышке раки святой Суннивы? Потом он послал ее с ядом в поясе лишить жизни сурового и великого властелина, ярла Эрлинга Кривого. Люди ярла схватили ее. Холодным утром у подножья горы в Тунсберге ее заставили положить голову под меч, а мы со Сверриром стояли рядом.

Думаю, что с убийством этой женщины, которую он любил, Симон почувствовал нечто, что я называю наслаждением скорби. Он плакал над нею, рвал волосы и развеивал клочья по ветру, слизывал собственную кровь с ладоней, проводил рукой по шее, харкал кровью и кричал:

— Я убил ее! Я послал ее с ядом в поясе! Я знал, что ее ждет смерть!

Думаю, в Симоне таилось то, что ученые мужи называют самой злобной из козней дьявола: когда человек при его пособничестве сам убивает в себе добро — и остается навеки дурным. Разве глаза Симона не светились восторгом, когда он рассказывал, как покорно она собралась — с ядом в поясе, как семенила по мосткам на корабль, как махала ему снизу высокой монастырской лестницы, как исчезла вместе с кораблем в тумане и встретила смерть у подножья горы? С тех пор ночи Симона стали долгими.

Вожделения зрелости, гнездившиеся в его плоти — там, где бремя желания каждого мужчины, — не находили у него утolenия. Нет-нет! Все годы — я знаю — он издавал зловоние, приближаясь к женщине. Смердил хуже больного волка, опорожняющегося в горах. Поэтому любая женщина отшатывалась от него, прикрыв рот платком. Если же он хватал их — такое случалось — их приходилось скручивать, как силач скручивает в узел сырой канат. А Симон — злобный труп — был бессилен.

Я уверен, что со Сверриром, конунгом Норвегии, у Симона было то же самое. Его влекло к тому, но при встрече с конунгом он преисполнялся ненависти, бешеный волк, — хотя именно этой встречи ждал. Разве он не хотел стать епископом Хамара, провозглашенным именем конунга? Или ему было неясно, что архиепископство в Нида-росе чересчур щедрый куш для монаха из Сельи? Однако конунг умел различать в человеке здоровое и нездоровое стремление к славе и отверг Симона. Поэтому Симон ненавидел конунга Сверрира — и любил его.

Однажды ночью я увидел Симона...

Те двое — я имею в виду Сверрира и его молодую жену Астрид из Киркьюбё, уединились в своих покоях. А я пошел в город искать утolenия и облегчения. Голова горела — может, я чуял запах лука — я шел и мечтал. Проходя мимо массивных стен церкви Христа, я улучил минуту для общения с Господом всемогущим и вступил в ризницу. Там был он.

Он не видел меня.

Я хотел выйти.

Но все же остался.

Я понимал, что это не предназначено для моих или чьих-то глаз, но жажда знания во мне всегда была сильнее. Симон погружен в мо-

литву, в борьбу с Богом или дьяволом — пьяный? Не знаю, — бешеный волк. Что это, мне чудится зловоние? Он приближается к изображению Богородицы, со скорбным взором, висящему на стене, падает на колени, вскакивает и, сжав кулаки, бьется головой о стену. Кожа лопается, хлещет кровь. Он утирает ее, пачкая руки, слизывает кровь и воет — как раненый волк.

Обмазывает кровью прекрасные губы девы Марии и целует их. Лижет ее и впадает в удивительный отстраненный покой, — словно что-то отпустило, краткий миг он счастлив. Но дерево ранит его губы — внезапно отшатывается и бранится, — здесь, под святой крышей ризницы.

Занозил кончик языка?

Он тянет за него, словно хочет вырвать, носится вокруг с высунутым языком. И вновь бросается к пресвятой деве, снимает ее. Изображение не прибито к стене, потому что его часто выносят для процессий. Симон поднимает его, как символ победы, над собой, стискивает в объятиях и стонет, как раненый перед смертью. Ворчит, как рассерженная собака. И лепечет, как младенец, сосущий материнскую грудь.

Я не могу уйти. Мне не следует оставаться. Знаю, если он увидит меня, или я должен его убить, или он меня. Но неподвижно стою за колонной.

Он кладет изображение возле алтаря, приподнимает, сажает как живое. Он садится рядом. Однажды они так же сидели у раки, Симон и Катарина из Сельи, монахиня ордена святой церкви...?

Меня осеняет: ходил слух, что Катарина тоже была дочерью конунга. Ее отцом, вероятно, был тот самый Сигурд с некрасивым ртом — отец Сверрира, Эйрика и Сесилии.

И я вмиг понимаю всю глубину его бешенства, всю подноготную его скорби. Будь Катарина жива, Симон — в своем неизъяснимом грехе — стал бы деверем конунга. И здесь корень всех его терзаний — неумная жажда дешевой земной славы.

Я хочу скрыться. Но должен смотреть еще: он срывает рясу и заворачивает в нее деву, держит в объятиях, как мужчина, укутывающий свою обнаженную подругу, когда страсть угасает и пора отойти ко сну.

Теперь я ускользаю.

Не знаю, любовь ли это.



Это любовь.

Ко мне пришел Хагбард Монетчик, но не как обычно, с Малышом на закорках, — несмотря на свое уродство, мальчик все же слишком вырос. Он сказал:

— Как тебе известно, Аудун, я носил своего недужного сына по всем церквям святого Олава в стране, моля вернуть мальчику здоровье и силу. Не помогло. Если я прогневил Бога — а я сделал это — думаю, что искупил вину, вновь и вновьнося мальчика по церквям. Но не помогло.

Теперь мне кажется, что пора забыть ту, которая подарила мальчику жизнь. Нет-нет, не забыть, но чуть отодвинуть в моем тесном сердце, ибо говоря по правде, она стала мне милее после смерти, чем была при жизни. И если я возьму новую жену, мальчик обретет тепло и заботу и возможно, — хотя и сомневаюсь, — немного подрастет?

— Как ее зовут? — спросил я.

— Халльгейр, знахарка.

— Тогда я советую тебе жениться, — сказал я. — У нее прекрасное сердце, хотя могут возразить, что лицо не столь же красиво. Ты сам видел, как мягки ее руки, а что у нее еще мягче, тебе, наверное, лучше знать, чем мне. Уверен, она станет хорошей матерью Малышу и честной женою тебе. Однако знай, она не вернет твоему сыну здоровья, если уж этого не сумел святой Олав.

— Я знаю, — ответил он.

Хагбард Монетчик взял в жены знахарку Халльгейр этим летом. Я видел их, идущих по Нидаросу. Между ними Малыш — теперь это отрок, который скоро станет мужчиной. У него такой тяжелый горб. Позже я узнал, что Халльгейр каждый вечер омывала его горб розовой водой из сладких цветов клевера и натираала мазью из корней сосны и дягиля. А потом они вдвоем — муж и жена — возложив руки на горб своего сына, читали «Аве Мария».

Это не помогло, конечно.

Но я все же думаю, йомфру Кристин, что это была большая помощь.

Это любовь.



Это любовь.

В тот год, когда в страну прибыла Астрид, в первое воскресенье после праздника Перстня, мы собрались в тесной келье монаха Мартейна с острова ирландцев, в которой тот искал радость успокоения. Там были братья Фрэйланд из усадьбы Лифьялль, Эрлинг сын Олава из Рэ и я. Мартейн разглагольствовал о том, что он называл щедрым благословением безбрачия:

Как монах из далекой страны, богаче нашей, Мартейн был не чужд мысли, что женщина не всегда обязана быть собственностью мужчины. Монах или священник может наистрожайше порицать ее словом, несущим не только небесную мудрость, но не вправе требовать, чтобы она пригвоздила себя к ложу мужской плотью. В нашей стране, йомфру Кристин, не редкость, что священник имеет законную супругу и не получает за это, как подзатыльник, церковное проклятие. Они живут земным, такие священники, как мы: скотина в хлеву, крынка с молоком, забитые туши на дворе, пивные бочки, полоскание холстов по весне... Разве священник не нуждается в женщине ради скоромной пищи и хлеба, для умерщвления плоти — и для радости? Даже сам папа в Ромаборге задумался об этом и полагал — хотя и в сомнении, — что выбирая из двух зол: блудливый священник или священник с законной женой, — последнее — меньшее зло для Господа. Но тут возник Мартейн со своим, как он говорил, щедрым благословением целибата. Он разглагольствовал так:

Он признавал — поведав нам, что говорит об этом с болью, — что благословение безбрачия в полной мере может постичь лишь тот, кто в грешные годы жизни — коих немало — не всегда жил по правилам Господа, установленным для беспорочного целибата. Мартейн сказал, что как опытный человек, каковым он себя считал, он слышит те же душераздирающие вопли из наших сердец, что и из своего собственного. «Я изучил женские пороки и добродетели с большим пристрастием, чем вы. Но знайте! В этой победе нет победы. Это поражение мужчины».

Взвесьте свободу, вытекающую из щедрого благословения целибата и из силы одиночества! Вот ты видишь проходящую искушительницу, она не нагая, нет-нет! Но глаз ищет линий, о которых ты

догадываешься — а если ты грешен пред Богом, как я — линий, которые тебе известны. Знаешь, что в горячности ее роскошных бедер, в темных тропинках розового сада, в снежных холмах груди таится дьявол. Ты добираешься до него. Счастлив ли ты? Нет и нет! Но в затворнической тиши безбрачия ты обрешь время устремиться мыслями к предмету гордости человека: к свиданию с Богом. Ты чувствуешь пренебрежение, когда она входит. Молчишь, когда она говорит, плотно сжимаешь губы, и ноги сами ведут тебя прочь. Ты покидаешь ее. Прийди она вновь, ты не задерешь подола, — я имею в виду рясы, — и убежишь от нее. Если нужно, позовешь на помощь, и другие из братии окажут тебе поддержку. Однажды в Ирландии в одной монастырской келье жили три брата. Они связали друг друга веревкой. И все равно двое из трех впали в грех. И один из них был я.

— Понимаете теперь мои слова? — спросил он.

— Да! Да! — ответили мы хором. Все мы обходились без женщин.

Он проповедовал дальше, с еще большим воодушевлением, приводя слова Писания, — и я, тоже священник, — старательно помогал. Он говорит, что чувствует потребность заботиться о нас, и считает, что одинокими ночами мы можем искать утешения друг у друга. Соединимся ли, братья, в щедром благословении целибата, найдем ли силы побороть горестные желания, часто сопутствующие радости?

— Да! Да! — воскликнули мы. И покинули его.

По дороге мы дурно говорили о нашем добром друге монахе Мартейне с острова ирландцев.

Это любовь.



Йомфру Кристин, я расскажу тебе, как однажды ночью в далекие годы я сидел, согнувшись над пергаментом и выводил первые слова сочинения, которое, по моему замыслу, должно было превратиться в сагу о твоём отце конунге — и обо мне. Что потом произошло — и послужило причиной тому, что моя сага по сей день не окончена и никогда не будет окончена — об этом ты узнаешь, прежде чем разойдутся наши пути. А сейчас я хочу углубиться в один из тайников Рафнаберга и показать тебе маленький пергамент, хранящий кое-что

из моих мечтаний той поры. Прости мне, йомфру Кристин, что слово не вполне остро, а стиль недостаточно плавлен, я сумел бы справиться с этим, если бы не был вынужден вновь сменить перо на меч. Вот что я написал в одну из ночей в Нидаросе в лето, которое зову великим, — когда все мы любили одного, плотски или духовно, когда были малочисленны и счастливы — плотью и духом.

Йомфру Кристин.

В эти ночи мне видится лицо конунга, такое, с каким он, наверное, после своей блаженной кончины поднимается на последнюю ступеньку к престолу Всевышнего, чтобы пасть ниц. Оно сияет — как сейчас, когда он любит свою Астрид из Киркьюбё. Мне горько? Мне грустно? Не знаю. Знаю лишь, что среди укромных уголков моего сердца есть и такой, где я искренне желаю ему счастья в море бед. Ему — и ей.

Вечером они разговаривали... Я собрался уходить, он кивком остановил меня, посмотрел на нее, словно ожидая ее мнения, и мягкие губы сложились в согласное «да». Тогда он сказал мне: наши двое сыновей — как тебе известно — крещены дома. Им дали имена, приличествующие внукам оружейника. Но коли они сыновья конунга? Что произошло со мной, произошло и с ними: если я взвалил бремя, они тоже его понесут. Поэтому, Аудун, наших сыновей придется перекрестить: одного в Сигурда, как моего отца конунга, другого в Хакона.

Когда я вышел в ночь, меня переполняли смех и затаенная боль. И еще некая злоба при мысли о работе, которую это повлечет за собой. Мы должны созвать священников, горожан, сойдется дружина, конунг будет держать речь, я записывать, сыновей покажут народу... И все мы будем учиться легко и свободно произносить новые имена. Я пишу это в свете коптящего факела, но занимается день, и я знаю, что за этим днем...

— Здесь, йомфру Кристин, рукопись становится неразборчивой, меня вдруг прервали, и я бросил перо.



Я знаю, почему меня прервали.

У Симона длинные руки, они дотянутся до самого Киркьюбё. Из-за моря пришел корабль, и он основательно перелопатил хорошую

память команды. Один помнил, другой, кажется, слышал... И вот он, Симон, ночью явился к Нидарос, постучал в ворота конунговой усадьбы, показал знак, известный только посвященным. Подходит стражник, Симон возбужден, говорит, что у него важная весть для конунга. Стражник отказывается впустить его. Тут входит конунг. Он направляется в опочивальню, полуодет, в хорошем настроении. Просит Симона войти. Симон молчит.

Злое лицо, сильная воля, по-своему честен, достаточно умен, чтобы не притворяться другом конунга, — знает, что это не поможет. Конунг требует сказать, что за весть он принес. Симон тянет время. Конунг дает единственно верный ответ:

— Ты говоришь немедленно или уходишь.

Тогда Симон говорит.

Он не сразу переходит к делу. Ясно мыслящий, он тоже может быть туманным. Сучит одну нить, искусно сматывая ее во множество клубков, заявляет, что люди, сказавшие это, вчера отплыли, — поэтому он не вполне уверен в правдивости известия.

— Но сказанного не воротишь. И если сплетня пойдет по городу, а ты, государь, будешь единственным, кто не знает...

Он в упор смотрит на конунга.

Конунг на него:

— Это касается Унаса?

— Это касается Астрид.

Конунг наступает на Симона, чтобы растерзать его. Симон кричит:

— Все равно это правда, даже если ты меня сейчас убьешь!

Конунг набрасывается, топчет Симона, вбегает стражник, — конунг не может убить священника на людях — он тяжело дышит, плюет на Симона и отпускает.

Входит Астрид. И я.

Я оставляю их, но потом узнаю все: что-то я слышал через стены, остальное донесла молва. Она стоит полураздетая. Он срывает с нее все, — та сперва отрицает, — когда он пытается задушить ее, она стонет под его тяжелой хваткой и кричит: —

Это правда, это правда, Сверрир, но разве ты сам не грешил с другими женщинами, когда уехал?

Но он не грешил. Я знаю точно. Что делали его люди, то на их совести, но конунг во всех своих скитаниях не испытал влечения ни к

одной, кроме нее. Он иногда говорил об этом, очень редко, когда мы лежали вместе и не могли заснуть, мы говорили о Киркьюбё, о птицах в горах, о ветрах над морем, о траве на склонах — и за всем, о чем мы вспоминали, стояла она. Он не нашел никакой другой. Не искал никакой другой. И именно поэтому невиновный, жестоко обрушился на виновную, — которая скрывала и молчала, а теперь призналась и плакала, голая в его руках. Он отвернулся и ушел.

Я не был уверен, что он когда-нибудь вернется.

Это любовь.

Еще некоторое время она жила в конунговой усадьбе. Они разговаривали, очень спокойно, — о дочери, которая родилась у нее через год после его отъезда, больше не было и речи. Она еще оставалась матерью своих сыновей, но уже не женой своего мужа. Он не сказал ни единого дурного слова о Симоне. И о ней, — но мороз крепчал, — и они встречались за трапезой только тогда, когда в зале принимали знатных гостей.

Потом, на долгие годы, она обрела кров в Сельбу.

Он однажды поехал туда, по делу, поговорить с нею.

Но повернул назад.

Это любовь.



**ПОЧЕМУ, О БОЖЕ, ОТВРАЩАЕШЬ ЛИК СВОЙ
ОТ НАС В ГОДИНУ ИСПЫТАНИЙ?**

Ночью, йомфру Кристин, ко мне, как надоедливые гости, приходят лица из моей памяти. Среди них есть и хорошие, и совсем немного святых, есть скверные и порочные, дорогие и те, к которым никогда не испытывал любви. Некоторые из мужчин и женщин, встреченных на жизненном пути, были моими друзьями, многие — нет. Знаю, что все они несут на челе рубцы — и свет — оставленные им, моим спутником в странствиях: человеком с далеких островов, конунгом Норвегии.

Вот в ночи лежит и тяжело дышит безрукий Гаут. Кто отрубил ему вторую руку, конунг или я? Снаружи бормочет на ветру свои жалкие молитвы йомфру Лив — моя непреклонность поставила ее на колени — или конунгова? А над нами, йомфру Кристин, в каморке на чердаке лежит без сна фру Гудвейг, полная страха за мужа и детей. Она часто так бодрствовала, и с нею тысячи матерей в стране, завоеванной и управляемой им, — человеком, к которому я был привязан и которого не мог покинуть. Я хочу — если у тебя еще есть желание и силы следовать стезей конунга Сверрира — вывести из глубоких тайников моего сердца некоторые лица, врезавшиеся в память, — и осво-



бодиться, переложив их тяжесть на твои плечи. Одно из этих многочисленных лиц — лицо Гудвейг.

Я однажды рассказывал тебе о дьявольском дне ее молодости, когда ей пришлось послужить сукой, охотно покрытой кобелями. Это было у подножья горы в Тунсберге, — ее жених, а ныне муж, убил человека. Она пришла и умоляла стражников, те потребовали свое — и получили. Она забрала Дагфинна и ушла. Эти двое не смогли больше любить друг друга, потому что она купила его жизнь ценою, чересчур дорогой для обоих. Но дети у них были! И когда люди конунга Сверрира по весне забрали в заложники ее сына, она пошла следом, — не плача, чтобы не пугать сына. И повернула, только когда мы побили ее. Думаю, что тогда она заплакала.

Потом сын вернулся в Рафнаберг. Она увидела его, выросшего здесь. В ее жизни тоже должны быть хорошие деньки: согбенная над навозными вилами, над молочной кринкой, над корытом — вечно с согнутой спиной, но нестибаемая! Известно ли тебе, йомфру Кристин, как глубоко я уважаю фру Гудвейг из Рафнаберга, женщину из Ботны? Много женщин я повидал, и многие приветствовали меня, ибо я был наперсником конунга. Но только малая толика из них встречали меня с радостью — Гудвейг никогда. И все же осмелюсь утверждать, что после моей собственной матери (теперь она в сонме блаженных) и после Астрид из Киркьюбё — Гудвейг из Рафнаберга та, перед кем я испытываю желание пасть на колени. Но никогда этого не делал.

Знаешь ли, йомфру Кристин, почему мое суждение о ней столь высоко? В старом, сморщенном лице Гудвейг я вижу сокрытыми десять тысяч лиц женщин этой страны, сыновья которых отняты жестокими людьми. Сыновья, возможно возвращенные вместе с женщиной, к которому не питали любви, — которому спасли жизнь, подарив свое лоно на поругание псам. Смотрела ли ты внимательно на руку такой женщины — или рабыни, — на ней морщины, грубая кожа, отчего она с трудом держит столь тонкий инструмент, как иглолка и нитка. Видела ли ты эти руки? Но сначала взгляни в лицо такой женщине, йомфру Кристин. И склони голову, устыдившись.

Я расскажу вот что.

Моя обязанность — обыскивать здесь в Рафнаберге всех и вся, чтобы убедиться, что ничего пригодного мне и моим людям не было

утаено. И однажды утром я увидел ее. Я шел босиком, чтобы не шуметь. Зашел в хлев. Было раннее утро, чадил факел: в его свете я увидел фру Гудвейг из Рафнаберга. Раньше всех она уже за работой — прислонив голову к коровьему боку, чтобы передохнуть. Бадейка полна молока. Она встает перелить его. И вдруг — откуда мне знать, что шевельнулось в груди этой женщины? — она нагнулась, припала ртом к вымени и начала сосать. Не знаю, почему она пила так, а не из кринки. Возможно, тепло коровьего вымени всколыхнуло в ней сокровенное: давно забытое, краткий миг погружения в глубины памяти. Снова дитя у материнской груди, впереди вся жизнь: от объятий первой любви до следующей. Но не сложилось...

Она медленно поднимается, не замечая меня. Я тихо исчезаю.

Такой, йомфру Кристин, она запомнится мне до смерти: фру Гудвейг из Рафнаберга, женщина из Ботны, подарившая мне, несчастливому, лучик счастья.



Однажды в Нидаросе ко мне пришли поговорить братья из усадьбы Лифьялль. В то лето конунг Сверрир прогнал со двора Астрид из Киркьюбё, не желая больше видеть ее своею законной супругой. Братья поведали, что их престарелые родители дома совсем одряхтели. Они получили известие, что усадьба лежит в запустении, зерно не падает в землю. Из бесед с братьями я знал, что те не испытывали радости от ратной жизни, и теперь хотели, чтобы я пошел к конунгу и испросил для них отставки. Я обещал.

Коре сын Гейрмунда Фрёйланд — младший из братьев — сказал, что если старший, Торбьёрн, женится, и усадьба не сможет прокормить всех, Коре займется торговлей и заработает денег. Он часто размышлял о том, что разве не мужское дело вырубать точильный камень в Эйдсборге и везти его подводами и лодками по озерам в Братсберг и Гимсей. Камни можно продавать и в страну данов. В лицах братьев появилось нечто новое, чего я никогда не видел прежде: иная радость, нежели радость храбрецов после выигранной битвы. Да, даже с благородной радостью дружбы я не могу это сравнить. Должен ли я называть это радостью земли, женщины и грядущего доброго дня? Я не откладывая пошел к конунгу. Но он отказал.

Он сказал, что отправь я двоих, все захотят разъехаться, — это известно и тебе, и мне, Аудун.

— Пусть братья придут, — сказал он.

Я позвал их. Конунг сразу развеял их утверждение, что они получили известие из дома из Телемарка.

— Кто принес его? — пожелал он знать. Братья лгали очень старательно: оба способные ученики даже в этом, хотя и не такие мастера в хитросплетениях лжи, как конунг и я. Конунг сказал:

— Кто является в Нидарос, не известив меня? У моих соглядатаев уши отсюда до Киркьюбё! Сойдемся на том, что вы лжете? — рассмеялся он.

— Да, — ответили они.

Но Торбьёрн сын Гейрмунда сказал, что может верою послужить конунгу и в усадьбе Лифьялль.

— Я могу собрать там рать, которая поднимется по требованию конунга Сверрира и, если в округе появятся псы Магнуса, дам знать конунгу страны.

Коре сын Гейрмунда сказал, что если решится возить точильный камень из Эйдсборга в Гимсей, то охотно уступит конунгу четвертую часть вырученного серебра и все камни, которые могут понадобиться конунгу Сверриру. Конунг поблагодарил.

— Но, — сказал он, — если вы уедете, уедут все. Поэтому вы должны остаться.

Они поняли. И остались.

Я видел лица конунга и братьев: они расстались друзьями, как истинно мудрые люди. Но конунг Норвегии больше не был для них тем же, чем прежде.



Этим летом конунг отправился через горы Довра на юг в Уплёнд. Несколько мятежных шаек узнали на себе тяжесть конунгова меча. Впервые я не последовал за конунгом, и мы оба, Сверрир и я, сожалели об этом. Дело в том, что ярл Эйрик Конунгов Брат должен был оставаться в Трёндалёге и править от имени конунга. Но конунг не питал большого доверия к своему брату из Миклагарда. Поэтому просил меня побыть в городе советником и наперсником ярла. И ярл,

и я подчинились желанию конунга. Но как я не испытывал теплой привязанности к ярлу, так и он ко мне.

Ярл Эйрик Конунгов Брат, бывший теперь могущественным человеком в Трёндалёге — больше всего в собственном представлении, но и для других тоже, — потребовал в это лето, чтобы каждый, кто приближается к ярлу, делал три шага вперед, низко кланялся, стоял опустив лицо и глядел снизу вверх — и в такой позе ожидал приказаний ярла. Получив распоряжения, человек должен был опять поклониться и сделать еще три шага вперед, или — того хуже, — если ярл прикажет ему уйти, — повернуться направо, одно плечо поникшее, другое чуть приподнятое, грудь обращена к ярлу — и так, как ласточка в полете, — выскользнуть из зала. Я сказал, глядя на ярла:

— Конунг Сверрир мудрый человек...

— Мой брат конунг получил кое-что от мудрости, которой преисполнены мы оба, — ответил ярл. Он холодно уставился на меня. Я был закален в стольких спорах. И возвратил ему тот же холодный взгляд.

Нет, меня он не выучит, человек из Миклагарда, он знает, что я близкий друг конунга. Он также знает, что каждое его слово — и каждое движение лица, теперь слегка обрюзгшего от яств и меда — дойдет от меня к конунгу. Эйрик попытался подружиться со мной. Однажды ранним утром, когда я встал, на столе лежал кошель с серебряными монетами. Кто-то заходил в покои, пока я спал. Я отдал деньги ярлу, сказав:

— При конунге Сверрире стража в Нидаросе была такой надежной, что никто не мог проникнуть в чужие покои от «completorium» до «matutina»*...

Ярл сказал: должно быть, это удивительный вор, если уходя забывает добычу на столе, Я сказал, что этот вор еще удивительнее, ибо он хотел украсть верность одного из людей конунга — и ценою, которую мы с конунгом презираем. Он снова посмотрел на меня — теперь с ненавистью. Должно быть, на моем лице тоже была написана ненависть.

— Ты можешь делать четыре шага перед поклоном..., — сказал он. — Остальные — три...

* Названия церковных служб по каноническим средневековым часам: «повечерие» и «утреня».

Я повернулся спиной и ушел, не поклонившись.
Оставалось восемь дней до мессы святого Мартейна*.
Во фьорде лежал туман.
Выходя, я встретил Эрлинга сына Олава из Рэ.



Эрлинг сын Олава из Рэ принадлежал к числу моих немногих близких друзей по разным причинам. Выше всего я ценил то, что он выказывал больше умения в бесполезном, нежели в многочисленных обязательных занятиях наших дней. Сейчас он показал мне арфу, купленную за серебро у одного из людей ярла Эйрика Конунгова Брата. Арфа, должно быть, попала сюда прямо из Миклагарда, немногие в сверрировой Норвегии видали такую игрушку. Но у Эрлинга сына Олава были проворные пальцы и талант подбирать нужный тон на струне. Мы сидели на камень возле погоста церкви святого Петра и славно проводили время. Был теплый день, полосы тумана из фьорда сюда не доходили. Эрлинг сын Олава наигрывал мелодию, о которой и сам толком не знал, сочинил ли он ее или когда-то выучил. Однако думаю, что он сам её сочинил, потому что — будучи сдержанным и разумным человеком — охотно уступал другим честь в том, что касалось занятий, большинством почитавшихся недостойными. Сегодня Эрлинг сын Олава был печален. Мы встретились в подавленном настроении, но вскоре отвели душу, помянув недобрым словом тех, кто недостойн доброго. Ратное дело превратилось для нас обоих в обузу. Дни тянулись безрадостно.

Вдруг в арфу вонзилась стрела, одна струна лопнула.

Мы вскочили — во фьорде туман, раздаётся один крик, и вот уже повсюду вокруг нас крики. Враг в городе, — к нам бросаются двое, Эрлинг сын Олава обрушивается на голову одному арфу, я кидаюсь под ноги другому, он спотыкается. И мы ускользаем. Я прыгаю через стену на погост церкви святого Петра. Эрлинг сын Олава за мной, поскользывается на влажной траве и падает. Мы теряем друг друга.

Но, йомфру Кристин, я навсегда запомню волну горечи, захлестнувшую Эрлинга сына Олава из Рэ, когда стрела, пронзив туман, ударила в арфу, и порвалась струна.

** День святого Мартина, 11 ноября.



Я вскарабкался на башню церкви святого Петра, через окошко мне было видно, что творится внизу. Люди конунга Магнуса — это были они — рыскали по улицам, врывались в дома и выгоняли народ. Одну женщину ударили по голове трижды, изо рта и носа хлынула кровь; она лежала, как мертвая. Одного мужчину прогнали прямо с поля, где он работал, и всадили в череп секиру — он умер с лопатой в руках. Ворвались также в церковь святого Петра и вытащили укрывавшихся там. Но убили их только за пределами храма. Последнее свидетельствует, что и они в такой час испытывают уважение к дому Господнему. На башню они не поднялись.

Люди конунга Магнуса разбрелись по городу, и повсюду был слышен вопль. Я притаился в башне и принял решение: услышав шаги на лестнице, буду ждать до последнего, а потом выброшусь из окна. Людям Магнуса не достанется живым тот, кто лучше всех знает путь конунга Сверрира. Потянулись долгие часы.

На церковном погосте я увидел двух моих друзей: Хагбарда Монетчика и его новую жену, знахарку Халльгейр. Они кого-то несли на куске шкуры. Это был Эрлинг сын Олава из Рэ. Они прикрыли ему голову одеждой, но я узнал его по желтым башмакам. Я надеялся — а затем и убедился, что Эрлинг не погиб. Просто они хотели спасти его и себя таким способом. Они несли его в церковь под видом своего умершего взрослого сына. Рядом шел Малыш.

К ним подходят двое воинов, один заносит секиру и хочет для верности раскроить мертвецу череп. Но тут на пути встает Халльгейр — лицо измазано сажей, наверное, чтобы походить на рабыню или старую служанку. Она возникает перед воинами, воздев руки над головой и изрыгая проклятия. Те пятятся, шаг за шагом. Малыш идет следом. Карлик со своим скорбным грузом на спине, — он постиг так много и имеет мужество делать то, что постиг. Тоже поднимает руки и вторит проклятиям, изрыгаемым в лица обидчиков его новой матерью. Те отступают. Халльгейр за ними. Они пятятся, один бросает меч и бежит, другой замирает, ошарашенно глядя, и потом тоже убегает. Они опять поднимают Эрлинга и несут через кладбище к церкви Христа. Исчезают из виду.

Ее черное, ненавидящее лицо, отмеченное Богом, никогда не соотрется из моей памяти, йомфру Кристин.



Я спускаюсь вниз с башни церкви святого Петра. Я знаю воинов Магнуса, знаю, что ими овладело опьянение кровью. Если, рыская по церквям, они обнаружат многих соратников конунга Сверрира, — многих, но не всех, — то возвратятся и обыщут каждый дом Господень заново, еще тщательнее. Они не хотят, чтобы остались свидетели, которые опять, как и прежде, расскажут об избиении мужчин и женщин, вытщенных из убежищ в стенах церкви. Меня осенило, что перед алтарем в церкви святого Петра стоит гроб. Покойник дожидается мессы за упокой своей души, но священников сейчас нет. Крышка еще не заколочена. Я снимаю ее. Усопший — преподобный Торфинн из церкви святого Петра по прозвищу Надутые Губы, священник, свершавший ордалию, когда ярл Эйрик Конунгов Брат шел по железу на Божьем суде. Он вчера умер.

Кажется, неподвижное белое лицо Торфинна светится ненавистью к конунгу Сверриру и мне. Но у меня нет времени предаваться страху или благоговению перед мертвым. Беру его рукой за шею и содрогаюсь, наполовину приподнимаю, быстро и с отвращением срываю с мертвеца священническую рясу. Стаскиваю собственную одежду и надеваю его. Я мерзну в ней.

Расстилаю свой плащ поверх преподобного Торфинна и возвращаю на место крышку, хватаю забытые четки и кладу на нее. Шагов пока не слышно. У меня есть время торопливо склонить голову перед гробом Торфинна, повернуться и уйти. Однако как глупо, что у него есть четки, а у меня нет. Храбро возвращаюсь и забираю их. Выхожу.

Воинов не видно. Но неподалеку слышатся шаги, и я вспоминаю, что однажды сказал Сверрир: — Если опасность велика, иди прямо на нее. Тогда ты надежно защищен. Так я и делаю.

Ниже по улице какие-то дружинники схватили Гудлауга Вали и принялись пытаться его. Если я не направлюсь туда, это вызовет подозрение. Я иду.



Но в решающий миг не осмеливаюсь, пот льет градом, ряса на плечах промокла. Один из людей Магнуса радостно кивает, увидев

священника, и я вынужден подойти ближе. Они подмяли Гудлауга под себя и бьют его. Тот молча принимает удары. Двое поднимают его, воевода говорит, что не следует стоять посреди улицы в толпе зевак, идем в конунгову усадьбу. Они направляются туда. Чтобы не вызвать недовольства, я должен плестись за ними.

Там, во дворе усадьбы, в окружении множества довольных свидетелей из приближенных Магнуса, они снова принимаются пытаться Гудлауга. Гонец от Магнуса сообщает, что конунг желает знать, куда Сверрир запрятал серебро — которое у него, конечно, водится, — и где сейчас двое сыновей Сверрира? Гудлауг должен знать? Тот не отвечает.

Они выпрашивают поначалу дружелюбно, набрасывают веревку на шею, смеются и пинают его, все красивые молодые мужчины. Но Гудлауг молчит. Тогда они рассуждают, не вогнать ли крюк ему в спину и подвесить, чтобы он разговорился? Но один заявляет, что если опора рухнет, — он шлепнется вниз и околеет. Воевода соглашается. Он получил приказ конунга и горд этим. Велит привязать Гудлауга за ногу к лошади, и пустить лошадь вскачь по двору. Гудлауг молчит.

Пот прошибает уже не только меня, но и кое-кого из людей Магнуса: один достает нож и отрезает Гудлаугу палец. Тот кричит. Колодит рукой, бормочет и получает в ответ удар. Его поднимают на ноги. Один является с миской углей. Опускает его пальцы в уголья.

Он вскрикивает, орет, что Сверрир забрал сыновей с собой в Уплёнд, где серебро, он не знает. Они поджигают его волосы — и тушат, поджигают бороду, тушат и заливают водой. Опять поднимают его и спрашивают: — Где сыновья? Но он молчит.

Тут он видит меня, йомфру Кристин... Но, будучи мудрым, храбрым, верным и нестигаемым человеком, понимает все. И молчит.

Когда-то я не любил Гудлауга Вали, а он меня. Когда мы впервые овладели Нидаросом, Гудлауг выступил против конунга Сверрира, и весь следующий год ни конунг, ни я не были им довольны. Но постепенно Гудлауг все же стал одним из людей конунга Сверрира: крепкий и неподатливый, до гробовой доски верный долгу, в правде и неправде вместе со своим конунгом. Он снова признает меня и все понимает. Знает, что это хорошо, что я здесь: значит, найдется кому рассказать другим о происходящем. Он смотрит на меня и молчит.

Волосы его мокры и не могут гореть. Тогда мучители приносят веревку и отрезают от нее кусок. Заявляют: ты заговоришь или умрешь. Он нем. Его подвешивают, и он принимает смерть.

Конунг Магнус выходит из конунговой усадьбы и рассерженно ворчит, что они умертвили человека, так ничего из него и не выжав. Воевода, йомфру Кристин, — прости за малозначительную деталь, которая последует дальше, — воевода, сам получивший ожог от волос Гудлауга, обмочился от страха перед своим рассерженным конунгом. Потом люди его осмеяли.

Я пошел прочь оттуда.

Приблизилась молодая женщина и дала мне луковицу. Ее волосы красиво развевались на ветру.



За пару дней до нападения конунга Магнуса и его людей на Нида-рос, ко мне пришел Гаут и сказал:

— Не подстрижешь ли ты мне волосы и бороду так же красиво, как у тебя?

Я всегда гордился своими красивыми волосами и, отчасти, бородой. Я велел Гауту сесть и заработал ножом и гребнем. Тогда он сказал — это вышло так неожиданно, он не был откровенным человеком, — что долго размышлял, обретет ли Божью благодать, скитаясь всю жизнь по свету и прощая людей. Не будет ли большим смирением найти женщину, назвать ее своею, возлечь с нею и исполнить работу каждого честного мужчины? Я сразу же ему это и присоветовал.

— Можно ли узнать, кто она? — спросил я.

— Конечно, — ответил он. — Здешняя девушка, из Нидароса, ее отец торгует луком.

С тяжелым сердцем я наилучшим образом обрезал и вымыл ему волосы, подровнял бороду, благословил перед уходом и сказал:

— Поговори сперва с ее отцом! А уж потом с нею.

Позже он вернулся нерадостным.

— Видно, придется мне продолжать бродить по свету и прощать, — сказал он.

— Все мы нуждаемся в прощении, — ответил я.

Это вспомнилось мне, когда я пробирался из Нидароса под покровом ночи, с одной луковицей из всей дорожной снеди.



В сером мареве я наткнулся на одного из людей конунга Магнуса. Увидев мои четки и рясу священника, он упал на колени и захотел исповедаться. Он плакал и растерял все мужество, — что-то, верно, случилось, я должен строго выговорить ему.

— Как пастырь, — сказал я, — и служитель Господа здесь, в Трёндалёге, приказываю тебе встать!

Сначала он лежал, уткнувшись головой в черную землю, потом нетвердо поднялся на ноги и снова рухнул на колени. Слезы тонули в бороде. Она была запачкана кровью.

— Что ты содеял такого невыразимого перед Господом? — поинтересовался я.

— Это конунг Магнус приказал мне содейть, — ответил он. Конунг сказал: «Ступайте в окрестности Нидароса и забивайте скот!» Бонды здесь пособники Сверрира. Мы делали, как велел конунг, шли по двое, потом разделились. Я зашел в один хлев и зарубил скотину.

Они стояли за моей спиной: весь двор — муж, жена и дети. Плакали, а я рубил. Я ударил животных топором, но они не издохли, тогда вонзил острие меча в их горла и оставил истекать кровью. Я думал, что так бонд сможет воспользоваться их мясом. Но бонд напал на меня сзади. Я сбил его и пнул в пах, он повалился в коровью кровь и запачкался. Потом я зарубил лошадь.

— Отложи свой меч, — сказал я.

Он повиновался.

— Положи голову на землю, — сказал я.

Он повиновался и лежал, не шевелясь. Я взял меч и мог бы сейчас убить его, если бы захотел. Сначала я сомневался, но потом прочел над ним «Аве Мария» и сказал:

— Лежи так — долго.

И пошел прочь он него.



Мне всегда вспоминается башмачник конунга Сверрира, бонд из Сельбу, который дал жене башмаки, та не захотела их носить, и он бросил ее. Придя в Гаульдаль, я вновь встретил башмачника среди

прочих беженцев из Нидароса. У него сгорели волосы. Он кинулся в горящий дом, услышав, что внутри кто-то плачет — и вышел из огня вместе с тем, кто плакал. Но волосы его загорелись. Он побежал от людей конунга Магнуса, обхватив голову руками и ужасно страдая. Здесь, в Гаульдале, он снова повстречал ту, на которой был женат — теперь оба лишились обуви. Они помирились.

— Ты думал, это я плакала в огне? — спросила она и сорвала с себя сорочку. С обнаженной грудью, она обмотала полотном сорочки его голову и поцеловала, и прижалась грудью к его страдальческому лицу, чтобы утолить боль. Тогда он ответил:

— Да! Да! Я думал, это ты плакала внутри...

Они долго были в ссоре, но теперь все прошло.



Здесь, в Гаульдале, спаслось множество беженцев, и среди них был ярл Эйрик Конунгов Брат. Он больше не требовал, чтобы вошедшие делали три шага вперед, низко кланялись и ждали приказаний ярла, прежде чем сделать еще три шага. Увидев его вновь, — постаревшего за несколько дней, — я понял, что он отважен, в особенности когда выполняет чужие приказы. Я встречал в жизни многих — большинство храбрецов, — но крайне мало таких, кто был бы нахрабрейшим без командира над собой. И Эйрик таким не был. Когда он выдержал испытание железом на Божьем суде, он знал, что следует приказу самого Всевышнего. В Миклагарде он подчинялся слову короля. Но как правитель Трёндалёга в отсутствие Сверрира, ярл растратил время на изучение шагов собственных подданных, а не неприятеля.

Пока мы обретались в Гаульдале, пришли новые беженцы с известием, что конунг Магнус завладел кораблями конунга Сверрира и отправил их на юг. Тогда Абельгунда, чужеземная супруга ярла, набросилась на свою собственную служанку и сорвала с нее одежду.

Даже Абельгунда, невеликого ума женщина, понимала, что значит корабль для конунга. Понимала и то, как аукнется потеря кораблей ярлу, поставленному для их защиты. Она увидела своего супруга более бессильным, чем когда-либо в их совместной жизни. И когда гонцы сообщили, что корабли захвачены, это было для нее тяжелым ударом.

Служанка Абильтунды прежде была крестьянкой в Сельбу, но бросила своего мужа из-за пары башмаков. Прошел слух, что теперь она стала отрадой ярлу в постели. У нее была собака. Должно быть, именно эта псина вцепилась ярлу в зад. И вмиг — как огонь на сухую стерню — накинута на бедную женщину Абильтунда, раздирая одежду и волосы. Все случилось в усадьбе, которую мы занимали. Я думаю, слухи, что ее господин и супруг имеет тайную любовницу, достигали ушей Абильтунды. Доселе ей не изменяла внутренняя сила, заставляющая женщин молчать. Но теперь — увы.

Это было малоприятное зрелище: бывшая рабыня, а ныне жена ярла, изорвав одежду на другой женщине, воет, пинает, дерется и плюется, все оттого, что люди Магнуса угнали корабли конунга Сверрира. Мы ничего не могли поделать. Только оставить все как есть. Когда все кончено и служанка лежит на полу, как кровавый узел тряпья, я ухожу.

Чуть позже выходит она, крестьянка из Сельбу, так жестоко проученная. Разыскивает своего мужа и возится с ожогами, которые он получил на пути из Нидароса сюда.



Один бонд из Гаулардаля делает лопату. Я направляюсь к нему в поисках успокоения. Тот прерывает работу и обучает меня искусству делать лопаты.

— Ты можешь выбрать дуб или березу. Когда древесина высохнет, измерь на глаз, а если не совсем уверен, измерь пальцем или рукой. Лопата должна быть равной по весу в черенке и в штыке, слева и справа. Черенок обстругай ножом так, чтобы он легко скользил в руках: не слишком тонкий, не слишком толстый, а гладкий, как кожа на женской ляжке. Запасись временем. Не надо спешить с лопатой. Начинай, покуда в ходу имеется другая. Сядь к огню, пусть мысли уносятся прочь, нож строгают, а тебя словно бы и нет. Так выйдет справная лопата.

Я благодарю его за науку и говорю:

— У меня есть отец. Он теперь старик. Он мудрый человек, и думаю, позволит мне передать тебе от него привет. Бонд поблагодарил и попросил меня тоже поприветствовать отца от него.

На том и разошлись.



Из Гаулардаля я отправился на юг через Доврские горы встретить конунга Сверрира, продвигавшегося к северу. В течение короткого лета он завоевал Уплёнд, добыл там богатств, мужчины кланялись ему, а женщины приседали в пыль. До нас доходили слухи, что конунг еще не знает о разорении Нидароса Магнусом и угнанных кораблях. В горах стоял чудесный день.

Меня сопровождало несколько человек. Вереск по осени оделся багрянцем, берег белел на фоне синей воды. Конунг ехал верхом, когда мы встретились оба утомленные после долгого пути. Конунга переполняла радость. Я был невесел.

Я вкратце рассказал о том, что случилось в Нидаросе и его окрестностях. О ярле Эйрике Конунговом Брате, ничего не сделавшем для защиты города, о спящих людях, о страже в устье фьорда, не зажегшей сигнальных костров — должно быть, из-за клочьев тумана над морем, помешавших увидеть корабли Магнуса. Никто не показал проворства в обороне, но все только в бегстве. А ярл, о чем же позаботился он, спасаясь из Нидароса? О своей супруге Абильтунде и женской перине, чтобы укрываться ее во время сна.

Я не очернял ярла, не порочил конунгова брата. Он предстал в моем рассказе таким, как и в собственных поступках. Но было похоже, что я выплюнул ярла, разжевав на зубах, чуть попробовал мясца и, не оценив миклагардского вкуса, пустил плевок по ветру через Доврские горы. Но я видел: Сверрир был доволен, пока я говорил.

Он так разумен даже в своей злобе, этот человек с далеких островов, аккуратно причесанный на горном осеннем ветру. Ни единого дурного слова не было сказано между Сверриром и мной. Ибо мой долг советника конунга в Нидаросе: донести до конунга и здравый ум, и безрассудство ярла. Так я и сделал.

Но конунг Сверрир был рад. Да, посреди скорби о кораблях и негодования, скрыв ее под презрением, тая под страхом, — который он тоже должен был испытывать при мысли, что конунг Магнус вновь напал на Трёндалёг, — он чувствовал радость, оттого что ярл Эйрик Конунгов Брат в первой же встрече с врагами трусливо бежал.

Мы медленно ехали бок о бок по холмам, конунг Норвегии и я.

Чудесный день, но короткий. Вереск покрыт инеем, насколько хватает взгляда, на севере снег. Мы обсуждаем дела, мы мудры — опять я чувствую наслаждение от беседы с ним, понимающим все — полунамеки и слова, мимолетные мысли и глубокие. Я никогда не встречал человека умнее конунга Сверрира. И, йомфру Кристин, он едва ли встречал кого-то умнее меня.



Итак, они встретились вновь, конунг Норвегии и его брат, ярл из Миклагарда. Ярл ворвался в одну усадьбу в Гаулардале и хотел немедленно увидаться с конунгом: в лице верность, на устах многословие. Но конунг работал в другой усадьбе и велел сказать, что ему доставит радость, если ярл сперва в уединении позавтракает, а потом уж вновь явится к конунгу Норвегии. Ярл повиновался. Но очевидцы, с которыми я потом говорил, сообщили, что ел он мало.

Вот они сошлись снова, — ярл пришел и одиноко стоял во дворе усадьбы, где остановился конунг. Двор был велик. Стражу конунг забрал внутрь. Один человек вышел и объявил ярлу, что конунг погружен в раздумья и будет рад, если ярл немного подождет и, причесав волосы, предстанет пред очи конунга. Последнее было трудно проглотить. Но ярл — имея богатый опыт Миклагарда, Йорсалира и Нидароса, — принял последнее унижение мужественно. Он вернулся в усадьбу, где обретался с Абильтундой. Та долго расчесывала ему волосы — и вымыла теплой водой. Потом причесалась сама — покорно, без помощи служанки, с печальным лицом, готовым озариться радостью, когда будет вновь дозволено приветствовать Сверрира, конунга Норвегии.

На этот раз ярл взял жену с собой. Они остановились во дворе, не докладываясь страже, стояли почтительно и молча. Стемнело. Они ждали.

Зажглись звезды, они еще ждали. Абильтунда упала в обморок, но ярл проявил твердость и оставил ее лежать. Когда пробила полночь, он снял плащ и накрыл ее. Через миг она очнулась, прижалась к его плечу и долго плакала.

Когда наступило утро, к ярлу и его супруге вышел стражник и сказал, что конунг сейчас встает. Потом ушел внутрь.

Дальше стражник вышел и сказал, что конунг уже встал, теперь он причесывается, затем должен поесть и поразмыслить, но ярл непременно получит от него весть. И получил.

В следующий раз стражник смог сообщить, что конунг занят, нужно написать письма, но если ярл подождет, то, уверил посыльный, конунг выкроит время приветствовать его. Сообщение было не вполне ясным. Но ярл закалился в стольких передрягах, — хотя и не во всех снискал себе славу. Он продолжал стоять на дворе. Шел дождь. Была осень. Абильтунда сидела подле него на бревне, принесенном ярлом под покровом ночи. Она молчала, прислонив голову к его колену.

Вдруг выбегают двое стражников и зовут ярла внутрь, он бредет по ступеням, позади Абильтунда. Ее оттесняют в сторону. Стража выталкивает ее на двор. У огня сидит конунг, поднимает глаза, когда заходит конунгов брат, встает и приглашает его ближе к огню. Они встречаются, муж с мужем. Но не брат с братом.

Конунг зовет, и множество народу высыпает к очагу. Конунг приглашает всех садиться, сейчас внесут пиво и мы славно проведем время. С одной стороны от конунга сидит Эйрик. С другой я.

Ни единого дурного слова не произнесено между ними, да и добрых мало. Сверрир поднимается и в своей скупой манере рассказывает о событиях в Уплёнде: о людях Магнуса, которые были проучены и убегали так, что подошвы раскалились, о серебре в поясах и добром оружии, привезенном сюда через Доврские горы.

Садится. Никогда конунг Сверрир не говорил цветистых фраз, описывая собственные подвиги.

Ярл молчит. Ему никогда не быть конунгом Норвегии.

Той же осенью мы отбили Нидарос.



Мы провели в Нидаросе наступившую зиму, и нам было не до отдыха. Конунг сполна расплатился серебром с каждым корабельным мастером к северу от Доврских гор, бонды возили лес, закопченные кузнецы не разгибались над наковальнями с утра до позднего вечера. К нашей величайшей досаде мы не знали, где Магнус — в Бьёртуне или Вике, в Конунгахелле или на юге, в стране данов. Когда Магнус

захватил Нидарос, ему удалось изловить многих лазутчиков конунга Сверрира, — он отрубил им руки, заставил говорить, вырвал с корнем вражеских соглядатаев, как лодочный киль распарывает надвое рыбацкую сеть. Тогда пришел Симон.

Поджарый и храбрый Симон, неказистый на вид и не всегда честнейший друг конунга Сверрира. Ни единожды втайне велись беседы между Симоном и Эйриком, после того как Эйрик выдержал испытание Божьим судом. Часто сходились лицом к лицу Сверрир и Симон: два колких взгляда, и никто не хотел опустить глаза первым. Сверрир доверял Симону не более, чем многим другим своим врагам. Если бы не одно исключение: ненависть Симона к конунгу Магнусу и всей его шайке была столь пламенной, что в своей откровенности он представлял прекрасным, как пресвятая дева, улыбающаяся нам с небес.

Теперь Симон пришел к конунгу. После бесславной осенней битвы Эйрика, так презренно оборонявшего Нидарос, Симону не было нужды ходить в его друзьях. Симон вызывается пробраться сквозь зимнюю мглу по горам и долам в Бьёргюн и шпионить за конунгом Магнусом. Или, если нужно, следовать за Магнусом по пятам, выслеживать, как охотник, и вернуться с самым дорогим — знанием, положить его на стол конунгу, не требуя награды.

Конунг говорит «да», обсуждает это со мною. Мы сходимся на том, что Симон или останется жив, или умрет. Умри он, мы не будем скорбеть, а коли останется жив, вернется сюда, увидев больше, чем любой другой.

Симон сбрасывает бороду и велит Халльгейр-знахарка исцарапать ему лицо тупым ножом. Свежие шрамы делают его неузнаваемым даже для своих. Теперь он один из множества несчастных, попавшихся в руки к конунгу Сверриру, — изуродованный за нежелание выложить то, что, по мнению конунга, он знал. Поэтому он идет к конунгу Магнусу в поисках защиты и помощи. Симон не проронил ни звука, пока Халльгейр полосовала его. Я сидел рядом, не без удовольствия наблюдая за мучениями Симона. Думаю, Халльгейр — золотые руки — могла бы сделать это быстро, но нарочно тянула время. Кровь капает в миску. Она разводит кожу в стороны, чтобы увеличить шрамы, мажет горячей смолой, Симон кричит. Теперь он неузнаваем. Конунг говорит с улыбкой, которую можно считать дру-

желюбной: — Ты доставил мне так много радостей, Симон. И эта не меньшая из них.

Мой отец Эйнар Мудрый оказывает Симону честь, благословляя его на дорогу. Отец говорит:

— Я благословлял многих, и это помогало, но не уверен, что именно это всегда было главным, что помогало. Симон из монастыря на Селье получает и серебро. Я слышал — и знаю, что тот, кто смажет монеты жиром и проглотит их, если они без острых краев, потом увидит свое серебро вновь, — порывшись в отхожем месте и претерпев муки, без которых не обойтись, если носишь свое богатство в себе.

Мы не знаем, увидим ли когда-нибудь Симона вновь.

Конунг Магнус взял заложников, покидая Нидарос. Одним из них был тот, кто долго набивался в отцы конунгу, Унас из Киркьюбё.



Но Симон возвращается.

Ранней весной Симон вновь в Нидаросе, теперь без серебра. Он объявляется в покое конунга не без гордости, и признаем, йомфру Кристин: он заслуживает всех доставшихся ему похвал. Тайные сведения, принесенные им, такого рода, что только я присутствую вместе с конунгом при рассказе. Он был в Бьёргюне. Магнус там. Симон был у Магнуса и говорил с ним. Не с глазу на глаз, но в присутствии людей. Симон пожелал конунгу Магнусу удачи в новой войне со Сверриром. Симон знает, что на стапелях в Бьёргюне строятся новые корабли. И захваченные в Нидаросе корабли конунга Сверрира тоже чинят. Людей стоняют и заставляют упражняться с оружием. Собирают серебро — Симон смеется — и приводят коней из округи. У конунга Магнуса большие запасы зерна.

В Бьёргюне находятся и заложники, пригнанные конунгом Магнусом из Нидароса. Среди них Унас.

— Но, — говорит Симон, — это одна сторона того, что я видел.

А вот другая.

Конунг Магнус и его люди справляли Рождество в Бьёргюне. Дружина и ближние конунга пили мед, а рядовые воины нет. Им досталось пиво, чуть крепче, чем в будни, мясо в мисках и служанки, с

готовностью носившие угощение, но еще охотнее взвалившие на себя иную ношу. Однако же не мед. И вмиг между знатными дружинниками и воинами простыми разгорелась перепалка.

Захмелевший Магнус, в чересчур короткой рубахе, сорванной с женщины, имени которой он, возможно, даже не знал, — должен под дождем носиться по улицам и разнимать собственное войско. Люди не слушаются. Воины нападают на хирдманов. Последние укрываются в Гильдейском доме. Воины приносят огня и хотят поджечь дом. Хирдманы вышибают дверь, выворачивают камни из копильной печи и швыряют в темноте в пьяную толпу. В кого-то попали. Один человек умирает. Приходит конунг — уже в плаще, сорванном с одного из стражников, который тоже пьян и чуть было не вlepил конунгу оплеуху. Голос конунга Магнуса посреди шума! Но что такое голос конунга Магнуса? Птичий писк в бурю, кашель из раненого горла. Это не раскатистый гром конунга Сверрира, останавливающий камень на лету и обращающий его против бросавшего. Магнус прыгает на одной ноге — так гласит молва, — потому что какой-то воин наступил ему на пальцы. Пришел Орм Конунгов Брат. Зарубил двоих, а третьего задушил. После этого в Бьёргюне стало тихо.

Приговоренные к повешению — каждый пятнадцатый из отряда, затеявшего побоище, — перед казнью говорили мало. Но с наступлением нового года многие из людей конунга Магнуса по ночам убегали.

Конунг Сверрир спрашивает Симона:

— Тебе нужно серебра?

Оба смеются, я тоже, Симон говорит:

— Я никогда не презирал земных благ, но все же думаю, что ненависть во мне сильнее тяги к богатству.

Мы соглашаемся.

— Возможно, ты однажды все-таки станешь епископом? — говорит конунг.

Симон улыбается. Даже червь бывает чувствительным.



Я забыл рассказать, йомфру Кристин, как однорукие близнецы Торgrim и Томас поплатились за то, что помогали конунгу Магнусу, захватившему Нидарос. Они копили в себе желчь, ибо меч конунга

Сверрира в свое время покарал их. И помогали грузить на корабли награбленное добро, получив в награду пару платьев. Но Сверрир вернулся.

Мы говорили об этом, и Сверрир был не чужд мысли пойти на мировую. «Они там однорукие, — думал он, — им нужна помощь». Многие были согласны с конунгом. Но иные сказали: «Если ты, государь, встанешь на этот путь, каждый раз найдутся среди твоих людей такие, кто сочтет самым выгодным изменить. Мы узнали, что та, на ком они были женаты, — у них была общая жена, я рассказывал об этом, — указывала людям Магнуса, где в городе спрятано добро».

Тогда Свиной Стефан взялся отрубить ей руку и тем самым наказать всех троих. Они выжила, но с тех пор стала мрачной. Теперь все живущие в одной усадьбе имели на троих три руки. Когда они шли, зрелище было забавное, многие потешались.

Почему, о Боже, отвращаешь лик свой от нас в годину бедствий?



Халльвард Истребитель Лосей, не повешенный по требованию Магнуса, и Кормилец, следовавший за конунгом Сверриром в самые суровые годы, сидят вечером у огня и беседуют. Оба горды собой: один печет конунгу хлеб, другой обеспечивает яствами все столы в конунговой усадьбе. Они потрясены услышанным: дать дружине меду, а рядовым воинам не дать. И это на рождественском пиру в присутствии самого конунга Магнуса. Они громко смеются.

— Здесь, — говорят они, опорожняя рог, прежде чем вновь наполнить, — такого бы не случилось. Или всем меду, или никому, или по глотку каждому в войске конунга Сверрира, или все вон и отрезано: «Здесь никто не пьет!» Никогда не видали мы конунга Сверрира, пьющего втихую. Никогда никто из его приближенных не отважился делать то, чего не делал конунг. Даже в лихие годы — их было немало — конунгу часто предлагали два куска там, где другие получали один. Но он всегда отталкивал второй. Никогда не бывало, чтобы он ел, когда другие голодали.

— Поэтому он конунг Норвегии! — воскликнул Халльвард Истребитель Лосей и довольно добавил: — Он меня не повесил.

— Ты падешь от вражеского меча, — говорит Кормилец. Это льстит Халльварду. Они снова пьют и обещают смешать кровь и побрататься, когда окончится пост.

Но я не уверен, что они сделали это.

Ибо оба не любили вида собственной крови и испытывали мало радости при виде чужой.



Я сказал, йомфру Кристин, что в эту зиму твой отец строил корабль. Он объявил, что ему было видение, как построить стапели для корабля доселе невиданных размеров. В 33 скамьи, не имеющего равных по вместимости, с горделивым высоким носом. Как чайка, заплещет он над волнами, под покровительством девы Марии, и с форштевня люди конунга Сверрира будут разить врагов, а тем придется тянуться, чтобы ответить. Но корабельщик, Асбьёрн из Вермланда, построивший катапульту в Нидаросе, не разделял светлой веры конунга в том, что касалось огромного корабля. Он был упрям. Когда конунг однажды отправился в Сельбу встретиться с Астрид — и повернул обратно, прежде чем доехал, ибо еще носил в себе рану и тяжкую любовь к женщине с родного северного острова, — Асбьёрн отдал плотникам новые распоряжения. И промолчал перед конунгом.

Имя кораблю было «Мариин корабль». Он вознесся над городом, но был меньше, чем ожидал конунг. Приходит весна, корабль растет, все выше над землею, зажатый между домов. Похоже, что многие дома придется снести, чтобы спустить корабль на воду. Однажды является конунг — в хорошем настроении, но строгий: требует доложить обо всем, всходит на борт и принимается мерить. Ворчит.

Жизнь Асбьёрна теперь гроша ломаного не стоит. Но он отважный человек. Он бросает вызов своим мастерством:

— Найди лучшего корабельного плотника, государь! А меня повесь!

У конунга негусто с мастерами корабельного дела. Асбьёрн подозревает, что конунг колеблется, и отказывается подчиниться приказу разрубить корабль пополам и построить заново по первоначальным меркам. Вокруг яблоку негде упасть. Конунг выхватывает нож и, посерев от ярости, отрезает ухо мастеру из Вермланда. Говорит на ходу: —

Отныне двое моих стражников будут неотступно следовать за тобой. Ты разрубишь корабль и построишь больший.

Сказано — сделано. Асбьёрну забинтовали голову, Халльгейр ходила за ним по пятам. Поговаривали, что ухо ukrала и съела собака. А по всему городу, как огонь по сухой стерне, пронесся слух, конунг строит корабль, который утонет, едва коснувшись воды. Корабль растет, зажатый между домов, где живут люди, не смыкающие глаз по ночам. Они знают, что в урочный час конунг, если нужно, сметет все до бревнышка.

Он сказал, что это не понадобится. Начертил и объяснил, где здесь встанут люди с канатами, где уложим бревна, смажем их рыбьей кровью и жиром. Когда корабль тронется, развернем его вот так, здесь еще веревки, люди подопрут сзади. Корабль протиснем через три ряда домов. Он лично заходит в дома и велит людям:

— Спите по ночам!

В одном из них живет конунгов башмачник из Сельбу, теперь вместе с женой, которую так полюбил, еще сильнее после того как у него сгорели волосы, и она залечила его ожоги. Оба ретивы в своей преданности конунгу. Бегают повсюду и рассказывают каждому, кто способен слышать:

— Конунг не снесет нашего дома!

Но многие в городе ропщут. А кое-кто смеется.

Приходит мой отец Эйнар Мудрый и подзадоривает конунга:

— Бьюсь с тобой об заклад, — говорит отец.

— Ты? — спрашивает конунг, подозревая, что даже Эйнар Мудрый не верит, что «Мариин корабль» поплывет, став на воду.

— Ставлю серебро против серебра, — говорит Эйнар. — Я ставлю, что поплывет, а ты против.

— Я не желаю ставить вопреки моей собственной вере! — кричит конунг.

— А я? — спрашивает Эйнар, притворяясь рассерженным. — Почему тебе, конунгу, всегда выгода: разве не ты как богатейший должен ставить на больший риск? Да или нет! Я думаю, идет. Ты, государь, бьешься против.

— Я не сделаю этого! — кричит конунг, полузлясь-полурадуюсь, затем бьется об заклад с моим отцом и делает вид, что проиграл. — Вот серебро! — восклицает он радостно. — Знаешь, Эйнар, что ты должен сделать?

— От конунга часто жди неприятностей, — изрекает Эйнар.

— Ты должен стоять на палубе вместе со мной, когда «Мариин корабль» спустят на воду.

Так и было. Стоял чудесный день, солнце и ветер над городом — холмы усыпаны народом, канаты уложены, — и вот уже через мгновение все в полном порядке, крики и тихая молитва, женщины, не осмеливающиеся дышать, башмачник и его жена, рассеянн улыбающиеся, шепча:

— Дому ничто не угрожает...

Конунг с Эйнаром высоко на палубе самого большого из доселе виданных кораблей, распиленного и заново сколоченного... и корабль трогается.

Он словно танцор на скользком полу, веревки разворачивают его, дома стоят. Корабль проходит в дюйме или меньше, какой-то мальчишка ревет — и вот все разом радостно шумят, все мужчины и женщины города, — когда корабль спускается на воду. Он плывет — а дома стоят.

Потом разносили мед. По рогу на каждого и ни капель больше. Но на всех все равно не хватило. Конунгу и его приближенным пришлось в тот вечер довольствоваться пивом.

Асбьёрн с одним ухом лживо славит конунга.

Не всегда ты, о Боже, отвращаешь лик свой от нас в годину испытаний.



Мы собираемся плыть на юг.

Но за пару дней до отплытия тяжелый недуг сразил моего доброго отца Эйнара Мудрого, вызвав теснение в груди. И он, и мы знали: пришел его последний час.

Конунг уже отдал приказ об отъезде, и мой тяжкий долг — сопровождать его. Поэтому в эти дни я молю милосердную Матерь Божию: если моему отцу суждено умереть теперь, то пусть он умрет до нашего отъезда из города.

Так и вышло. Мой отец обрел приют у монахинь в монастыре Бакки, руки их мягки, а знание о недугах велико. Однако у врат смерти — столь темных для многих, но не для него — никакая

мазь не в силах помешать предначертанному. Он лежит почти без сознания большую часть времени. Он красив. Многочисленные морщинки, появившиеся в последние годы, сейчас глубже, чем когда-либо. Высокий лоб стал еще выше — возможно, оттого что волосы перестали спадать на него. Он похож на хёвдинга: в глубоком раздумье, человек, познавший в мудрости своей, что сейчас, в последний день земного бытия он должен примириться со всеми недругами.

Я говорю это конунгу, сопровождающему меня в монастырь вечером накануне отъезда. Конунг отвечает: таково и мое желание — в свой последний час суметь примириться со всеми недругами.

Аббатиса с достоинством встречает конунга и меня и провожает к ложу больного. Но Эйнар Мудрый из епископской усадьбы в Кирккюбё, что лежит посреди северного моря, утратил ясный свет своего разума. Он не узнает вошедших. Долог был твой путь, мой добрый отец Эйнар Мудрый. Дни твои были наполнены не только мудростью, но и добротой. Ты дал моей матери то же, чем она отплатила тебе. Два человека, видевшие смерть своих детей, — лишь я, единственный оставшийся в живых, взял на себя бремя и честь претворить в жизнь их мечты. Ты был сорван с насиженного места суровыми людьми, перевезен через море из Кирккюбё сюда, в страну норвежцев, и здесь верно служил конунгу Сверриру, но не пресмыкаясь, как червь, без лести на устах, достойный в своей прямоте говорил ты властителю и рабу всю правду и добавлял: «Это моя правда».

Теперь он лежит здесь. Аббатиса раздевает его и кладет на грудь теплую кашу, чтобы облегчить боли. Две монахини тихо молятся, стоя на коленях при восковых свечах. Но его время на исходе.

Он поднимает глаза и узнает нас. Мы преклоняем колени, конунг Норвегии и я. Он благословляет нас обоих слабым кивком.

Так умер мой добрый отец, мечтатель и мудрец, кто был так близок к конунгу Норвегии и всегда говорил ему правду.

Аббатиса закрыла его глаза и сказала мне:

— Покажи свою сыновнюю покорность отцу!

Я понял ее мысль. Снова встал на колени, сперва помолился, а потом взял протянутую ею ложечку и съел кашу с груди умершего отца.

Мы с конунгом покинули монастырь.



День спустя после отхода моего отца Эйнара Мудрого в мир иной мы выходим из фьорда у Нидароса и берем курс на юг. Ветер раздувает паруса, ничто не препятствует нашему продвижению вдоль побережья. «Мариин корабль» разрезает волны, как дивная птица, в кильватере пристроилось еще несколько струтов. Под командованием конунга небольшое, но хорошо вооруженное войско, каждый тверд и исполнен ненависти.

Когда мы продвинулись далеко на юг, и пора сворачивать во фьорд к Бьёргюну, конунг Сверрир собирает на острове людей и держит речь. Дождливая летняя ночь. Он говорит: как вам известно, нас мало, а их много, у нас доброе оружие, но и их мечи остры. Мы можем плыть отсюда дальше — обогнув побережье к Вику или, если хотите, оставить за спиной землю и устремиться на запад, в открытое море к островам — искать покоя и отдохновения. Либо это — либо идти и сразиться с ними.

Прежде чем прозвучит их ответ, он поднимает руку и тихо говорит:

— Я могу положить жизнь здесь, ибо знаю, где мое право. Я вынужден отважиться на все, ибо я конунг страны. Но ответьте честно, что хотите вы: обрушиться всей мощью — и победа наша — или смерть.

Или вам по душе бесславное возвращение?

Их ответ прозвучал, как штормовое море.

Под покровом ночи мы выплываем.



В глубине бухты Воген, у подножья отвесных скал лежит Бьёргюн. Во мраке мы чувствуем, что корабль коснулся пристаней, и обматываем уключины весел кожей. Вода струится вдоль бортов, мы прячем оружие, чтобы отблеск луны не играл на металле. Люди в шерстяных носках быстро спрыгивают на землю. В руках у них секиры, провоными ударами они рубят швартовы кораблей конунга Магнуса. Стражи не видно. Лодочными баграми мы отпихиваем струги, и вскорости они уже, покачиваясь, плывут вдоль залива. Люди конунга Сверрира устремляются в улочки. Никогда я не слышал такого бес-

шумного войска — все босые или в шерстяных носках поверх башмаков.

Вон и дружинная палата, возвышается над окрестными домами. Уже вышла луна, но бегущие тучи время от времени закрывают ее. Падают редкие капли дождя, ветер силен, и шелест листьев играет нам на руку. В саду возле дружинной палаты разведен костер. Мы различаем силуэт стражника у костра.

С нами Халльвард Истребитель Лосей, ни для кого этот поход так не опасен, как для него. Попадись Халльвард в руки конунга Магнуса, пощады ему не ждать. Целыми днями упражнялся Халльвард в том, что сейчас вершится: положит краюху хлеба на стол, крадется вперед, обмотав ноги шерстью, и колет со всех сторон, обеими руками, держа нож меж нескольких оставшихся пальцев, — сам быstroногий и меткий. Затворяет ставни и не впускает свет, делает краюшку меньше и все так же сильно и уверенно разит ее, заставляя меня ахнуть во время демонстрации мастерства.

А теперь давай...

Это важно для него, — разве наши не подсмеивались над Халльвардом, так часто возвращавшимся с поля боя, не обагтив рук чужой кровью, зато потеряв пару собственных пальцев? Этой ночью он отомстит. Как вихрь проносится он по траве и гальке, человек у костра дремлет, мне видно его лицо в отсветах пламени. Он хрипит. И все. Хрипит, но не кричит. Над его лицом я мельком вижу халльвардово.

Халльвард вытаскивает нож из убитого.

Отряд конунга Сверрира устремляется в дружинную палату, к лавкам, где спят пьяные, отяжелевшие люди. Криков почти не слышно.



Потом я узнал вот что.

В Бьёргюне пробило полночь, когда конунг Магнус появился с пирушки. В дверях у конунговых покоев стоял на страже один из его людей: воевода, участвовавший в набеге на Нидарос и повесивший Гудлауга Вали. Магнус потом завел привычку давать ему оплеуху, проходя мимо. В ту ночь — без общества наложницы, редкое зрелище — конунг останавливается перед стражником и бьет его. Это доставляет ему удовольствие. Несчастный человек, власть его в стране

ничтожна. Довольствуется радостями, доступными днем и ночью: это одна из них. Воевода не отвечает, не спрашивает, не дает сдачи, просто принимает удар. Слабый человек. Он только моргает, глядя на занесенный кулак конунга.

Конунг смеется. Он забавляется, делая вид, что хочет ударить, и вдруг бьет со всего размаху и хохочет. Стражник молчит, конунг свирепеет. Снова напоминает, что воеводе не хватило ума и силы выпытать истину у Гудлауга Вали перед смертью.

— Сыновья конунга Сверрира должны были находиться в Трёндалёге? Он запрятал больше серебра, чем мы отыскиали? Ты выпытал правду у Гудлауга?

Стражник не отвечает.

Конунг орет:

— Веди меня в постель!

Тот повинует, конунга рвет, рвота попадает на плащ стражнику. Конунг смеется, но при новом позыве рвоты испытывает отвращение, опять пытается ударить стражника и промахивается. Его доводят до постели, где он сразу засыпает.

Стражник возвращается.

Вскоре он слышит звук, непохожий на шум ветра, шелест листьев или травы. Такой может производить овца на выгоне или далекий ливень, доносящийся сюда слабым шорохом.

Слышатся еще звуки.

Он не так расторопен, как следовало бы: это его месть. Он тихо заходит в конунгову опочивальню, смотрит на конунга, прежде чем вырвать его из сна — резким рывком за волосы, так приказал конунг. «Если близится опасность, а я сплю, стражник должен дернуть меня за волосы». Конунг вскакивает — в этом сила Магнуса: он вмиг просыпается. Удирать конунг Магнус мастер. В конунговой усадьбе всегда готова оседланная лошадь. Он бежит через галерею, прыгает со стены во тьму. Приземляется на ноги и падает, наверху тихо. Стражник прыгает за ним. Гул нарастает, люди Сверрира близко. Лошадь стоит там, где положено. Конунг в исподнем. Он набрасывает плащ стражника себе на плечи. Это тоже приказ конунга: «Если я убегаю без плаща, стражник отдает мне свой», быстро садится в седло. Лошадь взвивается на дыбы. Но конунг Магнус хороший наездник — в бегстве.

Он пускает лошадь шагом, чтобы не шуметь. Песок хрустит под копытами.

Стражник остается, кладет стрелу на тетиву лука, чтобы защитить конунга от преследователей. Вдруг поворачивает лук, целясь в согнутую спину конунга, и натягивает тетиву. Отвага изменяет ему. Он опускает лук, но стрела срывается и ударяет в круп коня. Конь ржет и мечется. Подбегают двое из отряда Сверрира. Лошадь затаптывает их. Магнус скрывается, повиснув на конской шее.

Это рассказал воевода, взятый нами в плен и опознанный мною и другими, как убийца Гудлауга Вали в Нидаросе.

— Смерть ему или жизнь? — спросил Сверрир.

Оказалось, смерть. Прежде чем конунг вынес свой приговор, этого человека нашли с перерезанным горлом. У Гудлауга Вали был близкий родич, он мало говорил, но сильно ненавидел, — я уже не помню его имени, но помню его ненависть. Думаю, конунг был рад, избежав на этот раз необходимости выбирать между жестокостью и миролюбием.



Мы овладели конунговой усадьбой и скоро поняли, что весь Бьёргюн наш. Конунг послал дружину за Магнусом, но тот улизнул под покровом ночи. Потом мы узнали, что ему удалось собрать немногих сторонников, захватить корабль и скрыться в стране данов. Однако боевые корабли в бухте Воген теперь были наши, город наш — и Вестланд.

К нам в конунговы палаты вошел Свиной Стефан и сказал:

— Тут один ларь никак не открывается.

Свиной Стефан, хёвдинг над воинами, обшарил каждую комнату в усадьбе. Он нашел постель конунга Магнуса, еще теплую — там не было наложницы, какое разочарование для нас.

— Мы нашли серебро и дорогие наряды, много ценного добра, сундуки без замков и другие, которые легко отпирались. Но этот — большой, кованный тяжелым железом — был заперт, и ключ потерян. Мы могли сбить замок топором.

Но конунг сказал:

— Здесь может храниться священная церковная утварь. Ее нельзя портить.

Свиной Стефан посылает за кузнецом.

Входит кузнец. Это Унас.

Унас был взят заложником, когда конунг Магнус разорил Нида-рос. Его собирались показывать в Бьёргюне — пьяного и непристойного, почти безумного, радующегося каждой мелкой монете, поданной ему. Он отец конунга Сверрира. Так было сказано. Народ высыпал из домов поглазеть. Он был дружелюбен и неопасен, конунг Магнус не собирался держать его под замком. И вот он входит.

Встреча между конунгом и тем, кто долго выдавал себя за его отца, оказалась нерадостной. Но замок ему поддается.

В сундуке лежит корона конунга Магнуса, однажды водруженная на его детскую голову здесь, в Бьёргюне. Рядом скипетр и мантия из драгоценного горноста.

Все это достает Унас. Мы ахаем, Унас, который уже не пьян, говорит Сверриру:

— Не я ли должен был вручить тебе это...

Потом уходит.

На конунга тяжело смотреть. Никогда, йомфру Кристин, я не забуду лица священника из Киркьюбё, когда он поднял корону и держал ее обеими руками, прежде чем положить назад.

Золотой скипетр тяжел и красив. Я не чувствую себя достойным взять его в руки, но нагибаюсь и рассматриваю прекрасный узор, выгравированный на золоте. Сверрир говорит мне: — Идем.

Не бросив даже взгляда на корону и скипетр, мы с конунгом покидаем палаты.



Мы переходим в усадьбу епископа, расположенную неподалеку. Люди Свиного Стефана обыскали усадьбу и нашли немного, епископ скрылся, одна комната заперта и требуется позволение конунга, чтобы сломать замок. Конунг отвечает «да». Меня кое-что удивляет. Он весьма осторожен, если дело касается порчи церковного имущества. Но скорее всего он просто не хочет повторно приглашать кузнеца, кроме того, мысли его далеко: вновь они кружатся над Киркьюбё, и я не могу его осуждать. Один из наших начинает колотить по замку.

— Это комната наложниц, — говорит он. — Здесь, в епископских палатах, конунг Магнус запирает своих наложниц. Они с епископом делили их по-братски, как головку сыра.

Кто-то смеется, рассказывают, что в Бьёргюне слышно, будто конунг Магнус сбежал ночью вместе с тремя наложницами. Один из наших точно знает, что так и было. Потому что именно его затоптала лошадь Магнуса, когда конунг убегал. Человек сам видел, что с конунгом в седле сидели две или три наложницы.

— Наверное, две, — говорит он, — одна спереди, одна сзади.

— Ну, — отвечает другой, — если девицы мелкие, могло быть и три.

Дверь в комнату взломана. Мы входим.

Это личная молельня епископа. На стене висит распятие.

Людей просят выйти, Сверрир и я вновь стоим перед большим распятием, однажды привезенным с Оркнейских островов в епископство Киркьюбё. Его втащили на сушу и освятили там, на родине. Сверрир и я, молодые священники, тоже присутствовали. Страстотерпец Христос на кресте, все истерзанное тело светится болью — и несокрушимая внутренняя сила, почти дикая гордость в своей сверхчеловеческой мощи. Так чувствовал я тогда. Так чувствую и теперь.

Сборщик подати Карл, человек ярла Эрлинга Кривого, наведаясь в Киркьюбё, украл это распятие и привез в страну норвежцев. Мы часто спрашивали друг друга, Сверрир и я:

— Где-то сейчас распятие?

Оно висит здесь.

Кажется, страстотерпец Христос кивает нам, а мы ему. Не знаю, сколько мы так стоим.

Приходит Свиной Стефан и говорит:

— Мы сейчас взвесим корону и золотой скипетр.

Мы идем за ним, но мысли не о золоте. При взвешивании стоит ужасный гвалт, люди в окровавленной броне напирают и требуют дать им посмотреть. Многие просят дотронуться до конунга Сверрира — сегодня, когда у него корона и скоро будет вся страна. Он должен позволить им это. В зале великое ликование.

Наконец мы свободны и возвращаемся на епископскую усадьбу.

Мы видим, что страстотерпец Христос исчез из молельни, где висел. Возможно, распятие украл какой-нибудь священник, пока мы были в конунговой усадьбе, — укрыл, как хотел бы он сказать. Мы

видим гвозди в стене, словно распятый был снят с креста. Но я не чувствую, что он воскрес из мертвых.

Мы возвращаемся к золоту.

Почему, о Боже, отвращаешь лик свой от нас в годину испытаний?



АРХИЕПИСКОП И НЕНАПИСАННАЯ САГА

Есть многие, йомфру Кристин, которые не умирают в день своей смерти, а продолжают оставаться частью покинутой ими жизни. Они сопровождают нас запахом в наших снах, криком в наших ночных страхах. Поначалу медленно слабеют они и исчезают, чтобы наконец унести ветром на долгие годы. Я встречал многих из таких людей: мой добрый отец Эйнар Мудрый и епископ Хрои из Киркьюбё, Сигурд из Сальтнеса, фру Сесилия из Хамара в Вермланде. Однако, и пусть это придаст моей ночной саге благородный полет: это также относится к человеку, который был противником твоего отца конунга с самого первого завоевания Сверриром Нидароса. Я слышал о нем со страхом. Он, должно быть, был одержим, исполнен низкой зависти, без стеснения прибегал к грязной лжи, и всегда весьма искусно. Они не встречались, конунг Сверрир и он. Но однажды один орел воспарил к владениям другого.

Этот человек — архиепископ Нидароса, Эйстейн сын Эрленда, однажды увенчавший короной голову конунга Магнуса. Я знал, что Эйстейн призвал строителей и великих заморских зодчих, чтобы завершить горделивое здание в Нидаросе: церковь Христа во славу Божию. Его окружали вооруженные мужи. В себе он, должно быть, вына-



шивал мечту о красоте для нас, смертных, и о прославлении бессмертного Господа. В битве при Хаттархамаре — где конунг Сверрир и все мы потерпели тяжелейшее доселе поражение — именно корабль архиепископа из города появился в миг, когда победа была близка, — и обратил нас в бегство. Он был великим недругом конунга Сверрира. При его мягком существе — скажем так, — ясном разуме, воле, нестигаемой силе тягаться с ним было сложнее, чем с ярлом Эрлингом Кривым. Мы ненавидели его, конунг Сверрир и я. Но к ненависти обоих примешивалась печаль, ибо мы оба чувствовали, что где-то глубоко и тайно живет в нас желание иметь такого человека в стане друзей. И вот известие для конунга: Архиепископ Эйстейн желает приветствовать конунга Сверрира...

Теперь мы узнали, что корабль архиепископа бросил якорь у Пристаней Йона. Он повелел своим людям вступить в сражение на стороне конунга Магнуса. Но те не успели вовремя. Когда битва была окончена, он послал гонца — и под защитой сильной рати конунг отправился на встречу с архиепископом страны. Конунг-победитель пошел приветствовать человека, молившего Господа обрушить на нас свой меч. Архиепископ Эйстейн имел голову лучше, чем у большинства. Я, йомфру Кристин, знал только одного, кто не уклоняясь отвечал ему взглядом на взгляд, словом на слово. У твоего отца конунга мудрости бело не меньше, чем у архиепископа.

В келью аббата монастыря Мунклив конунг Сверрир взял с собой только одного человека: этим единственным был я. Там сидел Эйстейн — в одиночестве.



Архиепископ Эйстейн был мал ростом. На его крупной голове волос росло больше, чем обычно у людей, и в манере причесывать их было что-то непокорное. Мне никогда не верилось, что такая прическа возникала по желанию епископа: хотя кое-что в нем и противоречило строгому порядку, с которым он был вынужден сверять свои поступки. Лицо его было не очень красиво. Я говорю сейчас не о причудливом узоре морщин, не о боли дней, запечатлевшейся в них. И не о бороде, нестриженной и словно сбитой на сторону порывом ветра. Нет, я хочу сказать, что очертания его головы, носа, рта, не

могли быть красивыми в расцвете юности. Но стали таковыми. Красота его развивалась от внутренней к внешней — никогда не расцветши полностью под бременем бесчисленных архиепископских забот и тяжкой доли. Это разрушало впечатление чего-то некрасивого и превращало его в красивого человека.

Одно плечо у него было ниже другого, правая рука действовала плохо. Он легко поднял ее с помощью левой, идя нам навстречу приветствовать конунга и меня. Он был облачен в простую одежду — без креста, под тяжестью которого гнутся в дугу многие священники. Нет ничего невозможного в предположении, что его тщеславие — которого он был не лишен — проявлялось именно в простоте и сдержанности. В серой рясе он держался лучше, чем в красной. И знал это.

Он предложил нам садиться на лавку у очага, мы сели. Медленно начал говорить. Говорил он, а не конунг. Будет верно сказать, что он позволили нам узнать правду — и бесстрашно дал понять, что это не вся правда.

Он начал:

— Я просил тебя, Сверрир, встретиться со мной, потому что знаю, что ты теперь конунг страны. Знаю также, что Магнус больше не конунг. Народ скажет, что архиепископ Нидароса, изгнанный людьми Сверрира, вернулся всадить кинжал меж лопаток конунгу, которого сам же однажды короновал. Я делаю это, — скажет народ, — потому что хочу вновь заполучить оставленные святой престол и богатства земли Господней. В этом немало правды. Но не вся правда.

Могу ли я, государь — впервые архиепископ Норвегии именует так священника из Кирккюбё, — могу ли я, государь, сначала рассказать кое-что из собственной жизни? Не потому что тебе важно это выслушать. Но потому что мне важно это сказать. Поведать тебе, кто я — не епископ под тяжестью креста, в моем случае золотого, из более благородного материала, чем тот, что нес мой Спаситель, — но кто я в глубоком ничтожестве своем. Возможно, ты сумеешь поверить мне и принять таким, как есть. Если же не согласишься, государь, вонзи в меня меч и уйди. Такова чаша моя. И твоя будет не легче.

Я сын хёвдинга из Трёндалёга, как тебе известно. Так говорят, но правда в том, что я сын бонда. Я рос на земле. Я рос на ветру и шторме, весною с зерном в ладонях, среди коровьего мычания и ско-

та на пастбище. Я учился грести и ладить орудия труда. Мой батюшка владел множеством дворов и мог вооружить нескольких воинов. Мы имели достаточно рабов и могли бы примерно наказывать каждого из них, если бы потребовалось, — и зачастую требовалось. Но, видишь ли, во мне таилось что-то иное. Это не обозначить простым словом. И все же верю, что ты, государь, и ты, господин Аудун, так верно следующий за нашим конунгом, — вы поймете меня. Однажды вы тоже вышли из лодки и устремились к книгам, променяв загадку проросшего семени на загадку букв. И вы почувствовали радость от этого.

Так же и со мной. Я рано постиг высокую книжную премудрость. Мой батюшка — который теперь или в недрах чистилища, или уже перед небесными вратами — сказал: «Иди в мир учиться!» Он был умным человеком. Моя мать была еще умнее, их объединенная мудрость досталась мне в наследство. Поэтому, государь, человек, сидящий сейчас перед тобою, обладает совершенно ясным умом.

Меня послали в мир. Отец был прав. Учиться — это счастье. Мать тоже была права. Она однажды сказала: «Учение окупается сторицею, о чем мы даже не догадываемся, вступая на этот путь!» Я приехал в прекрасную страну франков. Изучал многие тайны цифирного искусства — не только складывать числа на счетной доске, но и тонкости науки: продажу и покупку, обмен товаров, цены, которые могут расти и опускаться, и все, имеющее неотъемлемую пользу для конунга и страны. Но одним глазом я постоянно заглядывал в книгу высшей мудрости. Днем я постигал этот мир — с его красотой и греховностью, ложью и смехом. По ночам я постигал Бога.

Но последнее продолжало оставаться загадкой для меня.

Из французской земли я направил стопы в Англию, где прошел науку в ученых монастырях. Я приобрел друзей, встречавших меня с великим уважением. Теперь я понял, что могу бывать всюду, где собираются мудрые люди — и не чувствовать себя посторонним.

В этом счастье моей жизни. А несчастье в том, что за каждой разгаданной загадкой стояла другая, еще сложнее, которую я не мог разгадать. Хуже того: меня призвали, и я явился. Тебе известно, что во времена моей молодости страной правил недужный конунг Инги. Во многом он был разумный конунг. Не из великих, но когда он призвал меня, я явился. Соблазнившись властью и престолом, денежной

кубышкой и блеском всего того, перед чем я тогда преклонялся больше, чем потом. Конунг Инги сделал меня своим казначеем.

Государь, я продолжу.

Он сделал меня своим казначеем, сказав, что я — одним оком обращенный к Господу всемогущему — должен всеми силами выколачивать серебро из народа. Не оттого, что конунг Инги был человеком, жадным до богатств этого мира. Нет, но как конунг страны, ввергнутой в междоусобицу, он должен был иметь деньги на продолжение войны. Поэтому моим делом было изобретать все новые налоги и взимать их, закрывая при этом не один, а оба глаза. Ведь я знал последствия своих поступков: брань мужчин и плач женщин, дети, умирающие от голода, когда суровые сборщики конунга Инги покидают двор.

Но все равно эта проклятая жажда во мне — жажда чего-то иного и большего, — как жужжание шмеля над ухом, беспокойство день и ночь. Поэтому и бессонные ночи, и эти морщины на лице — кто-то говорит, красивые, и я верю, что это правда. Поэтому медленный, а потом все быстрее, отход от того, что считал истинным к тому, что считал возможным, Знаком ли тебе, государь, путь, по которому я шел?

Конунг Сверрир кивает.

— Я стал, — сказал Эйстейн, — архиепископом Нидароса. Только сын конунга был теперь выше и только его бремя тяжелее. Что есть архиепископ? Человек, который может благочестиво сотворить молитву пред Господом? Нет и нет. Когда у меня было время вернуться к радостям юности? Прочитать новые принесенные мне книги? В моих палатах всегда толпились люди. Всегда кто-то ждал у моей двери. А могущественнейшим человеком в стране был теперь ярл Эрлинг Кривой.

Страна все еще жила в раздоре. Ярл Эрлинг Кривой был кровавым человеком. Мальчик Магнус — я всегда подозревал, что из него не выйдет великий конунг, — воспитывался с мечом в руках. Новые рати поднимались, чтобы свергнуть ярла Эрлинга — и он раздавливал их. Тогда мне виделось, — думаю, что виделось верно: лучше, если ярл Эрлинг Кривой получит всю власть в стране, и народ обретет мир. Его мир — хотя и суровый. Худой мир лучше, чем никакого.

Цена, которую ярлу Эрлингу Кривому предстояло заплатить за мою поддержку в распре, была высока. Человека тверже архиеписко-

па Эйстейна в торге надо поискать, конунг Сверрир! Я получил все, что только мог. Но требовал больше. Ярл вскипел и стал браниться — ударил и плюнул мне в лицо, а когда я ушел, испугался, бросился следом — я отказался принять его. Заставил его ждать. И он ждал. Послал мне серебро, я его взял. Мы встретились снова. И священный пергамент — я сказал «священный»: слово это осквернено, оно из тех, что зовут полуправдой и истолковывают на все лады, — этот пергамент был написан моими клерками так, как я им указал.

В нем были перечислены причитающиеся церкви усадьбы и власть. Ярл, проученный церковью, положил свою обезображенную руку на пергамент и поклялся следовать ему до последней буквы. Я знал, что это ложная клятва. Знал, что и моя клятва не из правдивейших. Но, насколько было возможно, пергамент создавал мир между церковью и ярлом, между ярлом и мною. Я хотел получить власть — и поэтому я ничтожен. Но я и велик, ибо хотел употребить эту власть — пусть и не всегда — во благо других, а не себя самого.

Мы никогда не встречались, как друзья, ярл Эрлинг Кривой и я. Он был отнюдь не глуп. Но разум его не проникал глубоко. Он знал это и всегда питал недоверие ко мне. Однако власть Эрлинга Кривого в стране все же уберегала народ от проклятия войны. И тут, Сверрир, явился ты.

Разве я не заглядывал в тайники своей души, спрашивая себя — не Бога, но собственный разум? Я решил, что тебя ждет поражение, и вновь последовал за ярлом. Разве не был ты мятежником — говоря правду или ложь о том, что ты сын конунга? Разве мы не имели мир в стране, пускай горький и холодный? А ты явился с раздором, который еще горше. Ты изгнал меня из Нидароса. Известно ли тебе, что спасаясь бегством — это было долгое странствие — я проезжал мимо церкви святого Фомы в Филифьяль. Только что построенная по моему приказу, стояла она, возвышаясь среди огромной пустоши, — дом Господень, который был моим творением более, чем чьим-либо! А ты прогнал меня из страны. Я удалился в Англию.

Я проклял тебя, государь. Понимаешь ли что это значило? Мне не удалось заручиться поддержкой святейшего папы в Ромаборге и сделать мое отлучение общецерковным. Но помни: я Божий человек! Я вступал под сень церкви, вставал перед алтарем и воздевал руки к небесам. Я взывал к всемогущему Сыну Божию: Брось мою душу в

преисподнюю, мою или Сверрира! Но вот я здесь, чтобы договориться с тобой.

Понимаешь ли? Понимаешь ли, что я — в своей мудрости — познал глубокую муку? Знаешь ли, что я — слыша молву о твоих победах — понимал, что ты не хуже тех, кого убивал? И когда я явился в Бьёргюн — конунг Магнус послал за мною, я раздобыл корабли, людей и оружие в Англии — все это для того, чтобы принять его сторону в распре и бросить решающий жребий. Я еще надеялся увидеть тебя в луже собственной крови. Тогда бы путь к моему возвращению в Нидарос был открыт.

Открыт ли он теперь?

Мои люди и я не успели к бою. Конунг Магнус больше не конунг страны. Священник из Киркьюбё занял его место.

Но я все еще могущественный человек. Ты можешь зарубить меня, Сверрир, — мне это не по вкусу, но смерть сегодня или завтра — это только вопрос времени. Однако отдавай себе отчет — как ты всегда делаешь, — что за убийство архиепископа дорого заплатит любой конунг. К тому же у нас есть общее: ты выиграешь, заключив мир со мною, законным архиепископом Норвегии. И я выиграю, заключив мир с конунгом Сверриром.

Не потому что я испытываю глубокое уважение к нынешнему конунгу страны. Для этого моя ярость еще не улеглась. И не потому что я глубоко уважаю себя самого и свои поступки, государь! Нет-нет, но что есть, то есть. Вот ты, а вот я. Вместе мы можем — кто знает — даровать мир стране.

— И я верну себе святой престол... — сказал он и быстро улыбнулся.

Конунг Сверрир произнес:

— Ты сказал за нас обоих.

Меня осенило: однажды я должен написать сагу о них — об архиепископе и конунге.

Мы вместе вернулись в Нидарос.



Как-то ночью в Нидаросе ко мне пришел Малыш с известием, что я должен прямо сейчас явиться в усадьбу Хагбарда Монетчика. Я незамедлительно встал и пошел. Лил дождь, мною овладело глубокое

беспокойство. Я предчувствовал, что иду на одно из тех свиданий в моей жизни, от которых не жди радости. Хагбард встретил меня во дворе, тоже обеспокоенный, на мои расспросы не отвечал, втолкнул меня в маленькую каморку и исчез. Там сидела она. Астрид.

Она была еще неприбрана после долгой, изнурительной скачки из Сельбу. Поднялась, когда я вошел, преисполненная благодарности и, как я заметил, печали. Я спросил, здоровы ли сыновья. Она ответила — мрачным голосом, — что оба сына спали, когда она уезжала, и ничего дурного не предвиделось.

— Что же мучит тебя? — поинтересовался я.

— Ты скоро узнаешь, — ответила она.

Астрид и я — однажды нас соединила страсть между мужчиной и женщиной! Ее молодое тело было таким прекрасным и белым в синем свете над морем, дома в Киркьюбё, — незабываемая ночь в моей жизни. Ее и моя тайна... Которую она не вспоминала, когда он был рядом, но если мы встречались наедине, кое-что из ее теплоты изливалось и на меня. Вот и сейчас.

Она сказала:

— Благодарю тебя, Аудун, за то, что ты еще мой друг! Я послала за тобой, потому что уверена: ты окажешь мне помощь, в которой я нуждаюсь. Вопреки — и благодаря — тому, что мы однажды встречались так, как не следует мужчине и женщине, — кроме тех случаев, когда они должны...

Во мне всколыхнулась гордость, оттого что она отважилась заговорить о случившемся между нами. Мы сели на лавку у очага. Жар — но не от огня — полыхнул на меня, и я содрогнулся.

Она произнесла:

— Сходишь к нему от моего имени, Аудун...?

— Да, — сказал я. Я догадался, что за этим она и прискакала в Нидарос.

— Пойди к нему и скажи: теперь и навсегда Астрид твоя женщина! Ты живешь в ее сердце, сияешь подобно звезде над грешной землей.

— Я скажу это.

— Скажи, что когда я встретила другого после вашего со Сверриром отъезда, и родила от него дочь, мною двигала ненависть к конунгу Норвегии. Ненависть вырвалась из любви к нему — из голода

по нем, жажды по нем, как безумие! Я хотела возмездия. И получила его. Я раскаивалась каждый день с той поры.

— Я скажу это!

— Пойдешь ли за ним, если он не станет слушать, будешь ли жалить его словами, пока не сломается, возьмешь ли конунга Норвегии с собою на вершину, показав правду об Астрид и Сверрире из Киркьюбё?

— Я сделаю это.

— Я не требую стать королевой страны! Он может выставить меня прочь с первым рассветным лучом, если бы только мрак ночи был нашим! Я не требую укрывать меня дорогим плащом, если только мне будет позволено сбросить свою жалкую одежду перед ним — не конунгом, но мужчиной, зная, что этот мужчина мой.

— Я скажу это, Астрид!

— А что он ответит? — спросила она. Голос ее дрогнул.

— Я могу предложить ему взамен только одно, — произнес я. — Ты потом узнаешь, что именно.

Она встала: одна из немногих женщин в моей жизни, и единственная — в его. Теперь я знал: я напишу сагу о них, о Сверрире и Астрид из Киркьюбё. Когда эти двое исчезнут, как ветер в траве, а наши жалкие сердца предадут земле, память и о нем будет продолжать жить для немногих избранных, постигших книжную мудрость. Это я хотел сказать ему.

Я оставил ее.



Следующим вечером мы сидели вокруг очага в конунговой усадьбе: конунг, я и еще несколько человек. Я поднялся и попросил остальных выйти. Впервые в жизни я позволил себе такую вольность в присутствии конунга. Я увидел, как в глубине глаз Сверрира вмиг вспыхнула радость. Он тоже был сдержанным человеком. Он оценил, что другой требует своего права: говорить наедине с конунгом страны.

Я отодвинул рог — не зная, допить ли его или выплеснуть пиво в огонь. Затем перелил свое пиво в его рог и сказал:

— Выпей ты! Тебе сейчас понадобится, государь!

Он откинулся на троне и с радостью и напряжением смотрел на меня.

— У тебя будет ребенок? — спросил он.

— Нет, — сказал я. — Хуже.

Он спокойно ждал. Я сказал:

— Ты, верно, помнишь, я упоминал, что хочу написать твою сагу. Время пришло. Я больше не могу следовать за тобой по стране. Кровь, виденная мною, — слишком тяжелая ноша. Деяния долгой череды дней изнурили меня. Время раздумий стучит в мою дверь. Найди мне уединение. Лучше всего у монахинь в монастыре, там красота и покой. Там долгими ночами я буду сидеть и писать мою сагу о Сверрире, конунге Норвегии.

Он наклонил голову и быстро сглотнул. Лишь немногие умели подобно ему выразить благодарность — без слов, но при этом с теплотой. Он положил ладонь мне на руку, убрал и сказал:

— Аудун! Я люблю тебя.

Прежде чем я успел сказать: «Ты не слышал, какова цена»; прежде чем хоть одно слово об Астрид слетело с моих уст, он заявил:

— Ты можешь найти себе келью в женском монастыре, но разве тебя не устраивает здесь? У меня не будет повода часто навещать тебя. И, уединившись здесь, тот, кто пишет сагу, не будет обеспокоен шумом конунговой усадьбы.

— Я удаляюсь от тебя, — сказал я.

— Но нам же нужно говорить? — спросил он.

— Разве я не знаю все о тебе? — возразил я.

— Конечно, — сказал он, — кроме одного: что я хочу записать, а что нет...

Я посмотрел на него в упор — если это шутка с его стороны, то такая шутка навсегда засядет во мне занозой. Я снова взял рог, осушил его и сказал:

— Твои деяния — твои, государь. Но слово — мое.

Он догадывался, что играет с огнем, но бесстаршно подходил все ближе к нему. Говорил — не утруждая себя выбором осмотрительных слов, ибо знал меня и знал, что передо мной нет нужды облекать истинный смысл слов в мягкую шерсть. Он сказал прямо:

— Ты будешь писать сагу обо мне, конунге Норвегии. А конунг Норвегии сядет рядом и будет говорить, что должно вывести твое перо.

Я встал. Внезапно осознав, что он имеет в виду. И так же резко вдруг понял, что здесь пролегла огненная межа между конунгом Норвегии и мною. Страх перед этим жил во мне долго и только сейчас прорвался наружу? Я снова потянулся за рогом, нашел его и произнес:

— Ты правишь страной и народом, государь. Но моей сагой правлю я.

Я никогда прежде не видел Сверрира таким: рассеянным, заикающимся, не находящим слов.

— Не думал, что ты повернешь все так, Аудун, — сказал он.

— Ты лжешь, — ответил я, — именно так ты и думал.

— Аудун, — сказал он, — мы совершили вместе столько подвигов, однако и мои гнусности тоже были твоими — иногда. Не всегда, нет-нет! Я знаю, что каждую подлость измышлял мой мозг. Но, Аудун, ты тем не менее следовал за мною. Сказав все обо мне, ты скажешь все и о себе. И будешь выглядеть некрасиво.

— Но я сделаю это, — ответил я.

Он вскричал:

— Я не сделаю! Слышал, что говорил архиепископ? Помнишь, что я ответил? Ты, архиепископ Эйстейн, сказал за нас обоих! Он должен то, что должен. И я должен то, что должен. Думаешь, мне нужна сага, написанная тобою, моим близким другом, где ты рассказываешь всю правду о конунге Норвегии? Она не будет стоять мне титула. Не будет стоять ни власти, ни людей. Но она стоит мне памяти потомков.

— Нет, — сказал я, — память о тебе выиграет от правды и проиграет от лжи.

— Быть может, через десять поколений, — ответил он. — Но не через два.

— Выбирай за себя сам, — возразил я. — Я выбираю за себя.

Он вскочил и заорал — и я вскочил и заорал. Дикие, грубые вопли. Он бросил быстрый взгляд на дверь, испугавшись, что кто-то войдет.

— Притворимся пьяными, — сказал он отрывисто.

— Это ты пьян, конунг Норвегии! — закричал я. — Всегда у тебя найдется хитроумная ложь! Ты хочешь сагу, составленную из полуправды и мелкого вранья. Такого крохотного, что сойдет за правду, не будучи таковой. Ты будешь кричать: «Мы пьяны!» Потому что этому поверят твои люди. Но мы не пьяны.

Руки его дрожали, он достал из поясной торбы серебряное зеркало. Выставил передо мною.

— Ты не очень-то красив — сейчас, — сказал он.

Я взял зеркало и повернул к нему.

— А ты красивее? — любопытствовал я.

— Когда-то мы были друзьями... — медленно проговорил он.

— Сколько же это может продолжаться? — спросил я. — Знаешь, Свэррир, никто не может помешать мне думать, что я хочу. И только меч помешает мне написать то, что я думаю.

— Так далеко я не зайду, — сказал он.

— Потому что у тебя не хватит мужества, — парировал я.

Он заставил себя успокоить: таким он был особенно опасен. Чуть позже спросил, с усталостью в голосе:

— Хочешь, обсудим еще раз...?

— Нет, — сказал я. — Мы и так обсуждали на раз больше, чем следует.

— Ты понимаешь меня? — спросил он. — Ты уяснил мои причины?

— Да, — сказал я, — и тем же правом могу спросить, государь: понимаешь ли ты меня? Испытывал ли когда-нибудь гнет истины в себе, зов истины — вопреки всему? Или ты конунг страны и не знаешь, что такое истина? Да или нет, Свэррир!

— Я должен то, что должен, — ответил он.

— И я, — сказал я и пошел прочь.

Он следом за мной.

— Ты все равно будешь писать... — спросил он.

— Да, — сказал я.

Он повернулся и ушел.

Это одна из множества моих ночей с конунгом Норвегии, глубоко засевших в памяти, йомфру Кристин.



Я шел через Нидарос в большом возбуждении, была ночь, по небу бежали тучи. Подойдя к усадьбе Хагбарда Монетчика, где нашла приют Астрид, я увидел человека, сидевшего на каменном пороге людской. Голова его косо свесилась, сверху падал лунный свет. Я подумал, что это один из нидаросских пьяниц, и хотел прогнать его,

прежде чем разбудить Астрид. Взял пару камешков и швырнул в него. Первый попал в спину, второй в голову, но он не пошевелился. Я подошел ближе. Это был Унас.

Я приблизился вплотную и повернул его лицо к себе: его осветила луна. Сейчас он был старый и бледный. Я нагнулся над Унасом и прислушался. Он больше не дышал. Когда я отпустил его, он свалился у моих ног.

Я выпрямился и огляделся — ночь, весь Нидарос спит. Унас, пьяный как обычно, брел своим скорбным путем, и я уже никогда не узнаю, что направило его стопы к дому, где спала Астрид. Быть может, он рвался увидеть сына — оружейникова или конунгова, — но не осмелился пройти мимо стражи у ворот конунговой усадьбы. И был вынужден зайти сюда. Возможно, он знал, что Астрид здесь — один из немногих, кроме меня и Сверрира, кто знал ее по родине. О чем думал он, сидя здесь? Или не думал — и смерть взяла его: выпит последний глоток, чайка улетела в ночь над темными волнами. Ей нужно назад, в Кирккюбё, что лежит посреди моря на севере.

Я оставил его, бросил камешек в окно каморки Астрид, и она вышла.

Пролила слезу над усопшим, как подобает женщине. Я сказал, что мы никого не станем будить, пусть спят, — только один человек в городе знает Унаса лучше, чем мы. Унас был легким. Я взял его за руки. Сказал, чтобы Астрид взяла за ноги: мы отнесем его в церковь святого Петра и положим там. Мы так и сделала. Никто не встретился. Я пару раз отдышал, прислонив Унаса к стене и зажав между нами. Мы мало говорили. Церковь была незаперта и темна, свечи у нас не оказалось. Но лунный свет, падающий через прорези окон, помог нам отыскать алтарь. Там я положил его. Завернул в свой плащ. Мы сели у алтаря рядом с ним, Астрид молилась, медленно, глубоким, чистым голосом. Я спросил ее, чуть помедлив:

— Думаешь, он был отцом Сверрира?

— Нет, — ответила она.

С наступлением утра мы ушли оттуда, Астрид привела священника, обещавшего бодрствовать и молиться, пока мы не вернемся. Я отправился в конунгову усадьбу. Стража пропустила меня, как и раньше, и я вошел прямоком без стука в опочивальню Сверрира.

Он взглянул — но ничего не сказал.

Я произнес:

— Ночью умер некто очень близкий тебе, государь...

Он быстро поднялся с ложа, я заметил, как налился скорбью его взор: он подумал, что это Астрид. Я сказал: это Унас, государь. Когда-то он был твоим отцом. Конунг склонил голову и не ответил.

В тот день мы встретились втроем, и в последний раз они стояли бок о бок, Астрид и Сверрир из Кирккюбё. Унас лежал в гробу у алтаря церкви святого Петра. Священников отослали. Мы трое вместе читали молитву над усопшим. Думаю, Сверрир плакал. У меня не хватило мужества взглянуть на него — и я не знаю, о чем он думал. На пути из церкви он сделал то, о чем я всегда вспоминаю с удовольствием. Он положил голову Астрид себе на грудь, прежде чем расстаться с нами.



Я знал, что моя жизнь была, возможно, в большей опасности, чем когда-либо прежде. Я знал конунга. В эти дни, когда скорбь по его первому отцу неотступно бредила мозг, он одновременно испытывал радость, которую был не в силах подавить. Человек, бывший огромной обузой в жизни конунга, ушел из нее. Но конунг стыдился этой радости. Посреди всего этого рухнула наша дружба. Кроме того, он снова увидел Астрид — и отстранил ее. Я знал Сверрира. Он, как скряга деньги, подсчитывал все совершенные несправедливости, подводил итог, зная, что так должно быть, — и разом прогонял печаль, стремясь все уничтожить, перекрыть пути назад и освободиться от бремени выбора. Ведь народ наверняка скажет: — Конунг велел убить Унаса? Я знал, что он этого не делал. — Но если он убьет меня? Никто не поверит, что он убийца. Над моим телом конунг сможет улыбнуться — несчастной улыбкой человека, который никогда больше не изведает радости жизни.

Я переехал со двора Хагбарда Монетчика, где обрел приют, в тесную келью моего друга монаха Мартейна с Острова Ирландцев. Мартейн был и другом конунга. Я мог выговориться ему. Днем я спал, зная, что если люди конунга придут, они придут в полночь. А каждую ночь я выходил и слонялся по кладбищам, даже бодрствовал одну ночь у тела Унаса и несколько часов пролежал в молитве перед одним

из бесчисленных алтарей Нидароса. Однажды меня осенило, что я должен пойти к архиепископу и просить его о беседе. Меня сразу впустили. Я же еще был — для многих — человеком, близким к конунгу.

Архиепископ Эйстейн, как я сказал, йомфру Кристин, был мудрым человеком. В тот момент, когда я занял место перед ним, я понял — мне бы следовало понять это раньше, — что здесь поддержки не дожидаться. Он сообразил, что у меня на уме, прежде чем я раскрыл рот. Он сказал, что недавно имел беседу с конунгом: конунг просил о помощи. Хотел знать, нет ли у меня человека, способного написать его сагу. Я думаю, что есть. Один аббат из Исландии, только что прибывший в Нидарос. Его зовут Карл сын Йона.

Я поднялся с лавки, на которой сидел, подошел к висевшему на стене за тронем архиепископа распятию и снял его. Оно было очень красиво.

— Где церковники украли его? — спросил я.

Архиепископ постарался скрыть замешательство. Я сказал, что люди конунга постоянно рыщут повсюду и берут, что подвернется. То же и с людьми церкви. И всегда находятся слова для оправдания содеянного.

Я повесил страстотерпца Христа на прежнее место и сказал, что было глупостью с моей стороны прийти сюда. После новой большой дружбы между конунгом страны и архиепископом Нидароса нечего ожидать, что я — человек, пожелавший написать правдивую сагу — дождусь здесь поддержки. Он не ответил.

— Конунг страны и архиепископ — разные люди, — сказал я, — но одно у них общее: они знают цену неправде и готовы заплатить ее.

— Как и все мы в нашей ничтожной юдоли, — ответил он.

— Но кто-то всегда должен стоять рядом и говорить правду, — парировал я.

Он молчал, я сказал, что мой добрый отец Эйнар Мудрый часто является мне после ухода в лучший мир. И другие тоже время от времени: моя матушка и многие родичи, большинство из которых я не знал при жизни. Мне известно, Владыко, что когда моя душа вырвется на волю из царства смерти, мой жаркий дух вселится в скальда, еще живущего на грешной земле. Тогда все, что я видел и слышал, что помнит мое сердце и знает мой разум, волеется в него. И он напишет свою правдивую сагу о Сверрире, конунге Норвегии.

Архиепископ встал, но не ответил.

Я сказал:

— Быть может, он — мой преемник в истерзанной Норвегии конунга Сверрира — сумеет написать свою сагу лучше, чем я — свою. Ибо за ним буду стоять я и нашептывать каждое слово, водить его рукой, пока перо не выскользнет из пальцев. И каждый прочитавший будет знать, что это правда от того, кто был близок конунгу.

Архиепископ кивнул.

Я вышел от него и больше не чувствовал страха перед конунгом и его людьми.



Был вечер, я сидел и грустил в маленькой келье Мартейна, Астрид уехала назад в Сельбу. В дверь постучали. Я не ответил — и вошел конунг, без оружия и без челяди. Я не встал. Заметил, что у него прибавилось седых волос с нашей последней встречи. Морщины, расходившиеся от носа к уголкам рта, стали глубже. Он быстро произнес: — Мне нужно кое-что тебе сказать, Аудун.

Сел рядом со мной, мне это не понравилось, я встал и отошел в угол, к лавке. Он говорил медленно, но без лишних слов. То, что произошло между нами, не всплывало. Он сказал:

— Астрид должна покинуть страну. Видишь ли, Аудун, я могу простить многих, кого не люблю: несметные полчища моих врагов, их я тоже могу простить, хотя это и неумно с моей стороны. Ибо чего мне ждать от них — ничего, или хуже: радости в миг моей смерти. Их я могу простить.

Я не могу простить Астрид. Тебе известны все мои скитания по стране, кровь, которую я видел. Но мое рвение к славе никогда не было чрезмерным, — настолько сильным, чтобы убить доброе во мне. И она помогала мне. Потому что она была — пусть за морем, но в назначенный день она должна была приехать. И она приехала.

Разве я не ждал этого честно, разве ко мне не приводили женщин — люди, рвущиеся доставить своему конунгу радость? Я выпроваживал их. Я ждал долгие годы — пока она не приехала. Но она не ждала.

Или я не знал, что ожидание беспощадно! Что зов человеческого сердца так силен, что однажды ночью ты изменяешь слову, данному

тому, кого любишь, и идешь к другому. Поэтому я не осуждаю ее. Но и простить не в силах.

Поэтому она должна покинуть страну.

Есть много резонов кроме этого:

Конунг Магнус еще не погиб. Но его день придет — или мой. Став единовластным конунгом страны, я буду вынужден схлестнуться с данами на юге, в Вике. Мне нужна опора в другом месте. Это возможно только в Швеции. У Эйрика Шведского Конунга есть дочь по имени Маргрете. Будет мудро с моей стороны провозгласить ее королевой страны.

Так честно и так кратко. Я не ожидал этого. Он также сказал, что его двое сыновей останутся здесь, она уедет одна. Ибо — и ей это известно — через некоторое время подойдет возраст, когда они все равно последуют стезею отца. А она должна покинуть страну.

Сейчас он был маленьким и седым. Если он знал, что такое слезы — а он знал — то их было щедро пролито долгими одинокими ночами. Но сейчас он не плакал. Не подошел ко мне, не говорил больше ничего. Дал мне столько времени, сколько потребовалось.

— Ты съездишь к ней? — спросил он.

Я посидел еще немного и сказал, что если сделаю это, то между нами уже никогда не будет так, как было.



Я говорил, что Астрид вернулась в Сельбу, и теперь я пустился вдогонку. Когда сыновья получили мои подарки и были отправлены спать, я попросил Астрид выйти. Мы бродили берегом озера Сельбу, спустилась ночь, я слышал ее торопливое встревоженное дыхание среди легкого плеска волн.

Она сказала:

— Ты привез плохую весть, Аудун?

Я ответил:

— Как тебе известно, твои сыновья от конунга страны скоро станут взрослыми. Они оставят тебя. Ты не можешь противиться этому, как бы тебе не хотелось. И он требует, чтобы ты уехала из страны.

Я слышал ее крик. Взял за руку и быстро проговорил:

— Ты знаешь его? Единственный способ помешать конунгу Норвегии претворить свою волю в жизнь — это убить его. Хватит ли у нас силы? Захотим ли мы, если даже сумеем? Есть две возможности. Первая: он вышлет тебя, хочешь ты или нет. Тогда тебе позор. Народ скажет: он прогнал ее от себя.

Есть и другая. Ты уезжаешь от него. Тогда позор ему. Народ скажет: Астрид бросила его ночью, пока он спал. Она не захотела спать с ним.

Она вперивает взгляд в мое лицо, а я в ее. Я знал, что ясный ум — один из бесценных даров всемогущего Господа Астрид. Знал ее честолюбие — и скорбь в глубинах ее души тоже знал.

Она долго плакала в ночи, я сидел рядом, но не мог подобрать слов. Она была еще красива, без печати возраста на челе, легкая на подъем, как и прежде. Но печаль уже никогда не покинет ее.

— Придет день, когда Сверрира не будет среди живых, — сказал я. — Тогда твой сын станет конунгом Норвегии.

Она тихо произнесла:

— Пусть Сверрир живет долго.

Встала, я за ней, обернувшись ко мне, она сказала:

— Я ставлю два условия: мои сыновья должны немедленно последовать за своим отцом. Таково их огромное желание, пусть оно исполнится. Тогда они не будут грустить о моем отъезде.

Я пообещал ей.

— И второе, — сказала она, — пусть парус корабля, который повезет меня назад, в Кирккюбё, будет черным.

Я пообещал и это.

Она вошла к сыновьям. Первый раз, выйдя от них, она плакала. Долго переживала и вошла вновь. Выйдя в следующий раз, она опять плакала. Снова зашла, теперь в последний раз. Выйдя, она не плакала, только кровь текла из закусенной губы.

Мы с ней вернулись в Нидарос.

Сверрир и Астрид не виделись в городе.

Парус на корабле, увозившем ее домой, был черный.



ФИМРЕЙТИ

ты знаешь, йомфру, что в Согнефьорде расположен Луса-каупанг, о котором мы, биркебейнеры, упоминаем с великим презрением. Когда конунг Магнус бежал из Бьёргюна, и Сверрир посадил в Вестланде своих наместников, в маленький Лусакаупанг он назначил Ивара Лужу. Ивар был одним из наименее проверенных людей в отряде конунга Сверрира — умный, но слабый, из рода трёндалёгских бондов. Многие удивлялись, что конунг выбрал Ивара своим наместником в этом узком фьорде. Конунг сказал, что это должно привлечь к нему бондов. Поэтому было важно выбрать того, на ком немного крови — особенно чужой. Ивар получил строжайший наказ конунга действовать мягко. С собой Ивар Лужа взял многих отборных мужей конунга Сверрира. Одним из них был Хельги Ячменное Пузо.



Хельги долгие годы сопровождал конунга Сверрира, таская за плечами мешок точильных камней, пока биркебейнеры скитались по стране. В битве при Кальвскинни Хельги убил лендрманна и в награду получил от конунга жену. Она умерла в родах. Народ болтал, что Хельги не особенно разорился на заупокойные мессы по ней.

Хельги отнюдь не случайно получил приказ конунга сопровождать Ивара в Лусакаупанг. У Хельги был в Сокнадале брат по имени Эрленд. Этот Эрленд служил воином у могущественного Арнтора из Хваля — одного из тех в Согне, кто противился конунгу Сверрира. Пошлет Арнтор стрелу войны — бонды соберутся; призовет бондов к миру — те последуют совету. Хитрый — и дальновидный — план конунга Сверрира заключался в следующем. Эрленд, подчинившись влиянию брата, отправится к своему хозяину как доверенный конунга Сверрира. Арнтор, как поговаривали, слаб до серебра. Но, йомфру Кристин, счастье не улыбнулось твоему отцу конунгу.

По осени Хельги Ячменное Пузо получил приказ Ивара отправиться в Сокнадаль на поиски брата. Тот повиновался. Ему оказали теплый прием, а однажды вечером пригласили к столу хозяина, Арнтора из Хваля, и расспрашивали о конунге Сверрире и его походах. Хельги отвечал разумно и без боязни. Он подчеркнул, что у конунга в поясе всегда водится серебро. Хельги не был слаб на крепкие напитки, но зато слабоват на похвалы, производившие впечатление искренних, но не всегда бывших таковыми. Он гостил у брата пять дней и ночей. Эрленд проводил Хельги назад. Все было хорошо, — так могло показаться.

Дело шло к Рождеству. Однажды Хельги явился к Ивару и сказал, что нашел удачную партию в Лусакаупанге. Он хотел ввести новую супругу в дом до праздника. Ивар счел разумным, что его люди подыскивают себе невест в Согне, и немедленно дал разрешение. Однако прошел слух, что женщина — ее звали Сигрид, по прозвищу Темная из-за черных волос — уже была замужем за одним из соседей Арнтора из Хваля. Она бросила мужа.

Ивар хотел отослать ее прочь.

— Но она уже побывала на ложе со мной, — сказал Хельги.

— Прогоним ее, на нас вскоре нападут бонды, — произнес Ивар.

— А если отошлем ее с моим ребенком под сердцем, их придет в несколько раз больше, — сказал Хельги.

— Если конунг узнает, он повесит тебя, — заявил Ивар.

— Тогда он повесит нас обоих, он не делает разницы между высоким и низким, — изрек Хельги.

Итак, Сигрид осталась в усадьбе Каупангер у наместника, но Хельги не обвенчался с ней по закону. До Рождества оставалось еще

несколько дней. Туман тяжело навис над фьордом, люди ходили в дозор с неохотой. Яств и доброй выпивки в усадьбе наместника было негусто. Люди обвиняли Ивара, что он не собирает по дворам необходимое: скотину для жарки, пчелиный мед для варки меда. Ивар сделал вид, что согласен с ними. Таким способом он пытался скрыть, что больше не управляет своими людьми. Он поступил так, как многие до него: послал воинов, и она вернулась с богатой добычей.

— Народ здесь не воет, когда мы забираем скот из хлева, — удивлялись ратники.

— Может статься, мы взвоем, когда нас выгонят вон, — сказал Ивар.

Ивар приказал Сигрид из Сокнадаля идти к его людям, чтобы она устроить настоящий праздник для конунговой рати. Но Сигрид рвалась домой. Хельги сказал, что вынужден привязывать ее на ночь, чтобы не сбежала. Ивар решил, что ее следует запирасть, нельзя позволить ей ускользнуть. Она скажет дома, что ее прогнали отсюда, это обернется нам во вред.

— Но я не желаю, чтобы ты спал с нею! — в гневе заорал он на Хельги.

— Я тоже теперь раскаиваюсь, — сказал Хельги.

Настало Рождество. Большого праздника в усадьбе наместника в Каупангере не получилось, но многие были пьяны, и женщина из Сокнадаля сбежала. Одну дверь оставила приоткрытой — она достаточно натерпелась от людей конунга Сверрира. Хельги лежал в беспамятстве от выпитого медом. Тогда-то бонды из Сокнадаля окружили усадьбу.

Арнтор из Хваля послал стрелу войны. Эрленд взялся за оружие, поклявшись наказать брата, поступившего на службу к конунгу Сверриру. Бонды двигались тихо. Была темная дождливая ночь.

Но люди Сверрира оказались не лыком шиты. Одного стражника убили ударом ножа в спину, но он успел крикнуть перед смертью. Остальным удалось закрыть на засов две двери. Многие из отряда Ивара Лужи взобрались на крышу и стреляли оттуда. Хельги пробудился.

— Я слышу снаружи вопли моего брата, — сказал он.

— Скоро он заорет внутри. — ответил Ивар.

Ивар Лужа сделал то, чего не делал доселе ни один из людей конунга Сверрира: он запросил мира. Он крикнул и потребовал ти-

шины, а когда стихло, храбро подошел к окну и высунул голову. Двор был освещен факелами. Он крикнул вновь и был услышан.

— Поскольку мы призываем к миру, мы складываем оружие и спасаем вас и себя от бессмысленного кровопролития, — сказал он. Кто-то снаружи засмеялся.

— Это смеется мой брат, — сказал Хельги.

Ивар уже никогда не смыл с себя бесчестие, — да и жил он после этого недолго. Люди из Сокнадаля нашли приоткрытую дверь. Они больше не радовались примирению. Ивар убил двоих неприятелей, прежде чем получил удар мечом в живот.

— Конунг после этого никогда не почтит мою память, — сказал он. Это были его последние слова.

Хельги Ячменное Пузо бился, но надеялся, что брат поможет ему восстановить мир, и никого не убил. Позже он раскаялся. Бонды из Сокнадаля взяли его в плен. Остальные люди конунга Сверрира истекли кровью, и их трупы оттащили в сторону.

Эрленд предупредил своего брата, что не пойдет на мировую.

— Кто идет на службу к конунгу Сверриру, пусть готовится принять смерть, — сказал он. Люди вокруг смеялись. Хельги ответил:

— Я приму смерть сегодня, если ты, брат мой, согласишься принять ее завтра.

Они заперли Хельги в подвале. Не хотели напрасно грешить, вздернув его в Рождество.

Когда пришла ночь, Эрленд выпустил Хельги.

— Остальные напились, — сказал он. — Я провожу тебя со двора.

Он проводил Хельги в горы и сказал:

— Я не могу вернуться назад, они же знают, кто отворил тебе.

— Пойдем со мной к конунгу Сверриру, — предложил Хельги.

— Я не сделаю этого, — сказал Эрленд. — Я испытываю только ненависть к этому человеку.

— Но куда же ты пойдешь? — спросил Хельги.

— Не знаю, — сказал Эрленд, — назад в Сокнадаль я никогда не вернусь.

Они спешили, шел дождь, снега в горах не было.

— Знаешь, — спросил Эрленд, — кому предназначалась Сигрид?

— Она кому-то предназначалась? — спросил Хельги.

— Муж ее слаб здоровьем и скоро умрет, а я, как тебе известно, в прошлом году овдовел.

— Это скверно, — рассудил Хельги.

— Я недоволен тобой, — сказал Эрленд.

Хельги спросил своего брата:

— К кому она рвалась, когда покинула меня?

— Уж не к своему мужу, — ответил Эрленд.

— Я частенько думал, — сказал Хельги, — что намного лучше, если женщина стремится только к своему мужу и всегда при нем.

Они зашли далеко в горы, занимался короткий день.

— Я теперь стал изгоем, — сказал Эрленд. — Вне закона, но не без чести. — А если тебе направиться в Вик? — спросил Хельги. — Там можно найти хёвдинга и поступить на службу.

— Если вернется конунг Магнус, я последую за ним, — сказал Эрленд.

— Тогда, возможно, мы еще встретимся, — сказал Хельги.

— Но не как братья, — возразил Эрленд.

У них был только один меч. Каждый хотел отдать его другому. Оба клялись, что они не настолько гадки, чтобы оставить брата безоружным. Стали препираться, Хельги выхватил нож, они чуть не убили друг друга. Тогда Эрленд решил, что надо бросить жребий. Он отыскал монету, свою единственную, — бросил, и Хельги выиграл. Тут Хельги расплакался.

Потом они расстались. Хельги пошел на север в Нидарос и рассказал обо всем случившемся конунгу Сверриру и мне.



Конунгу оставалось теперь только одно. По весне он снарядил флот и вооружил людей. Было начало лета, когда мы вышли из Нидароса и взяли курс на юг. Конунг сказал: я вызову бондов Сокнадала на встречу, — если придут, их кошело полегчают. Не придут — я возьму все. Он не сказал, что все. А я не спросил.

Мы вошли в Согнефьорд. Бросили якорь у острова Хваммсей, и конунг послал своих отборных людей на берег. Они двигались быстро и бесшумно, по двое, неся с собой жезлы. Повстречав бондов, они выхватывали мечи и отрезали им волосы, показывали конунгов жезл и говорили: — Передайте дальше!

Посланцы вернулись назад, и мы ждали. Настало воскресенье, день был чудесный. С утра показались лодки, vyplывающие из ру-

кавов фьорда. Конунг в напряжении стоял на палубе. Скрепя сердце, он решил напасть здесь, ибо прошел слух, что конунг Магнус собрал корабли и людей в Дании и может ударить нам в спину в этом узком фьорде. Мы увидели в толпе приближающихся одного знакомого: настоятеля монастыря на Селье, Сёрквир, сына епископа Хрои из Киркьюбё, рукоположившего нас со Сверриром в священники в святой церкви Господней, перед нашим отплытием в страну норвежцев.

Сёрквир легко впрыгнул на борт конунгова корабля и приветствовал Сверрира и меня. Бонды оставались в лодках. Должно быть, они чувствовали себя скверно под взглядом конунга. Конунг был не просто рад снова видеть Сёрквира. Он почитал его своим другом. Но когда друг встает между тобой и твоими недругами — облеченный большими полномочиями, требуя выслушать его как их доверенное лицо, — стоит усомниться в его дружбе. Конунг к тому же не любил напоминаний о горах и фьордах родины, о надломленном звучании говора, о стежках-дорожках, по которым ступали дорогие ему люди, и об Астрид с развевающимися на ветру каштановыми волосами.

Не думаю, что Сёрквир сейчас действовал умно. Приди он кротким, пусть даже заговорив о далеких милых сердцу вещах: о плеске волн, о ветрах над горами... Вместо этого он явился как судия — он, моложе нас, еще ученик в школе своего отца, когда мы — свежеспеченные священники, преклонили колена для рукоположения и славили Господа.

Сёрквир мог бы рассказать, что принимал во владение дарованные монастырю Сельи усадьбы здесь, во фьорде. Но он поступил неумно, сказав: — Эти усадьбы передал нам Арнтор из Хваля в Со-кнадаля, присутствовавший при убийстве твоего наместника Ивара Лужи в Лусакаупанге. Арнтор хотел заручиться помощью и поддержкой против тебя, конунг Норвегии...

Аббат засмеялся, конунг молчал: как всегда, когда кто-нибудь вел себя непочтительно в его присутствии. Конунг пригласил Сёрквира в шатер. Там было жарко, как в печи, когда сажают хлебы. В нас росло раздражение. Конунг еще владел собой, он предпринял вынужденную попытку заговорить о Киркьюбё и знакомых, спросить о новостях. Аббат ответил кратко:

— Я не знаю, добралась ли Астрид домой...

Конунг выругался, кольчуга, в которую он себя запрягал, лопнула. Он встал и ударил кулаками по столу перед аббатом. Среди вещей, которые Сверрир никогда не прощал, была глупость, сказанная умным человеком. Он сделал то, чего я никогда не видел прежде: облизал губы. А они должны были оставаться сухими. Он позабыл то, что всегда держал в памяти: вести себя учтиво. Он снова сел. Но я знал, что вира, которую заплатят бонды, растет по мере высказанных аббатом глупостей.

Аббат наговорил еще. Когда он снова обратился к конунгу, то сказал:

— Ты, Сверрир, должен явить милость и вычеркнуть из памяти случившееся здесь! Помни, что не только бонды Сокнадаля совершили беззаконие против тебя, но и люди конунга Сверрира были несправедливы к бондам. Есть ли у кого-то право забирать скотину из хлева, не заплатив за нее серебром? Ты, Сверрир, повинен в каждом злодеянии твоих людей, а их много. Уходи из фьорда вместе со стругами и людьми. Пусть пройдут дня и годы, и посмотрим, сможешь ли ты — если еще будешь конунгом — вернуться сюда и найти здесь друзей...

Если еще будешь конунгом... Конунг поднимается, он холоден и спокоен. Это сказано тем, кто не уважает конунга, даже хуже: кто не знаком с его законом. Уйти отсюда по приказу какого-то аббата! В лучший день, чем этот, мы с конунгом Сверриром уединились бы и вволю посмеялись. Но сейчас конунг выходит на палубу, не приглашая аббата следовать за ним. Но тот идет. Конунг останавливается, не внимая мощному потоку слов аббата. Конунг говорит:

— Возвращайся к своим людям в лодках.

— Они не мои люди, — говорит аббат. — Но я их!

Конунг не слушает, он продолжает:

— Через трое суток они должны быть здесь с серебром, которое я требую. Или пусть пеняют на себя. И это все.

Аббат хватается конунга за плащ, конунг холоден и не смотрит на него.

— Что все? — кричит аббат.

— Как конунг я не обязан докладывать другим, что намерен делать, — говорит конунг. — Ступай! — добавляет он, и аббат уходит.

Бонды плывут прочь.

Они не возвращаются.

Нет, трое суток проходит, а они не возвращаются. Думаю, что конунг в глубине лелеял робкую надежду, но бонды не пришли. Конунг властитель и раб. Раб своего слова и властитель над своими людьми, получившими приказ войти во фьорд.



Там, где фьорд разветвляется у Слиндом и Рамнабергом, конунг отдал Свиному Стефану приказ плыть с пятью стругами к Лусакаупангу. Конунг с оставшимся флотом двинулся к Сокнадалю. Я на этот раз сопровождал Стефана, так хотели и конунг, и я. После того как конунг запретил мне писать его сагу, прежней дружбы между нами не было. Вместе со Стефаном и мною на борту были Эрлинг сын Олава из Рэ и два брата Фрэйланд из усадьбы Лифьялль. Мы подошли ночью. На поверхности Согнефьорда, облака отражались в воде, люди вдоль бортов молча вглядывались в темноту. Склоны гор окутывала легкая дымка.

Мы не приблизились к пристаням. Двое наших сели в лодку, а остальные на борту ждали, держа наготове луки. Они скользнули в узкие улочки, проверили ближайшие дворы, вернулись и кивнули нам. Десять человек остались охранять корабли. В этом городе народ не выстраивался на улицах, чтобы приветствовать нас при встрече.

Город был безжизненным, ни единого человека. Конунг сказал, прежде чем мы покинули его:

— Поджигайте каждый дом, превратите каждую лачугу в баню!

Нашим долгом было исполнить приказ конунга. Стефан собрал людей, мы слышали дыхание друг друга, он говорил кратко и напомнил слова конунга.

— Но сначала, — сказал он, — возьмем то, что нам нужно.

Мы переходили из дома в дом и брали, что хотели. Торбьёрн сын Гейрмунда из Фрэйланда и я объединились, но радости в том, что мы видели, было мало. Скот уведен, под каждым чугунком погашен огонь, еды не сыскать, одежда и инструменты снесены в тайник. На одной лежанке подвернулось годное одеяло, мы взяли его. Но Торбьёрн сын Гейрмунда сказал:

— У нас достаточно одеял.

И я был согласен с ним. Мы оставили одеяло на лавке.

— Вон, кажется, стоит котел на углях? — сказал я, когда мы вышли во двор.

— Ты имеешь в виду, на остывшем пепле? — переспросил он.

— Да, — сказал я. Мы снова вошли в дом, я сел на убогую скамью, он справа от меня. Но говорить было не о чем.

— Пора хорошенько запалить здесь, — рассудил я. Торбьёрн сын Гейрмунда не ответил.

Котел висел над очагом, я пнул его, уходя. Он был большой, из отличного кованого железа, умелый кузнец над ним потрудился. Что-то кольнуло меня. Я взял секиру и ударил по нему. Котел устоял. Я разозлился и велел Торбьёрну помочь мне. Он тоже ударил секирой, но котел устоял. Я разъярился так, что ничего не видел, он тоже, и мы колотили по котлу со всей мочи, пока не сделали в нем вмятину.

— Они вернутся и будут рыться в куче пепла, когда мы уйдем, — сказал он. — Они не должны найти ничего целого.

— Только бы нам расколоть его, — произнес я. Котел раскололся со следующего удара.

— У нас был такой же дома, — сказал Торбьёрн, — ему нелегко найти замену.

Мы перешли на скотный двор.

В хлеву лежала мертвая девушка. Она, должно быть, осталась ждать других, спряталась и умерла от страха, когда мы вошли. У нее были светлые волосы, перевязанные лентой на затылке. Она лежала на боку и была еще теплая, но сердце не билось, когда я положил ей руку на грудь. Мы вышли.

Эрлинг сын Олава из Рэ и Коре сын Гейрмунда зашли к нам и поинтересовались, что это мы били.

— Замок, — сказал я. — Там был сундук, но он оказался пустым.

— Вы подожгли? — спросил Торбьёрн.

— Нет еще, — ответили они. Мы увидели, что первый огонь загорелся в другом конце города.

Мы бросились туда, чтобы занять огня, и скоро полыхало все вокруг. Свиной Стефан разбил людей на маленькие ватаги и следил, чтобы никто не оказался запертым огнем в улицах.

— Теперь народ залег в горах и глазеем вниз смотрит на город, — сказал Эрлинг сын Олава из Рэ.

— Пускай глазают! — зло крикнул я. Потом мы подпалили двор, где я и Торбьёрн нашли котел и раскололи его.

Поджечь дерн на крыше было несложно, огонь разгорался быстро. Пекло было невыносимое, и мы покинули двор. Пронесся один из наших — я еще вижу перед собой его лицо, — он махал руками так, словно что-то тушил, не переставая вопил и исчез. Прыгнул в море. И утонул там. Не знаю, получил ли он ожоги или ужаснулся чего-то, в чем участвовал, и ужас погнал его в море.

Лусакаупанг горит. Восторг в нас перемешивается со страхом. Жар так силен, что мы пятимся и пятимся, но новые огонь и дым подкрадываются сзади. Мы носимся по улицам, хватаем горящую траву, прыгаем и швыряем куски травы в новые крыши. Уже горят все крыши. Мы должны спускаться к пристаням, Свиной Стефан кричит увести корабли, чтобы не перекинулся огонь. Люди на борту достают багры и отталкиваются. Корабли быстро ложатся в дрейф, а мы опять на суше. Проносится какой-то зверь — собака или кошка, я не могу разглядеть в дыму, — шкура его горит, он прыгает в море и плывет, обессиливает и тонет. Когда мы подплывали, над Нидаросом летали ласточки. У них были здесь гнезда, и они охотились за комарами. Теперь гнезда горят. В дыму над ними я слышу крики ласточек, подлетевших и отброшенных жаром. Две ласточки с горящими крыльями камнем падают рядом со мной. Я давлю одну ногой. Вдруг кто-то кричит:

— Церковь горит!

Церковь стоит в рукаве фьорда, позади посада. Конунг сказал:

— Не жгите церковь!

Мы бросаемся туда. Но приходится выбирать окольный путь — или по склону горы, или морем. Корабли не могут подойти, чтобы пламя не попало на паруса. И мы устремляемся по склону гор в обход горящего города к церкви. Уже горит ее крыша. Кто-то кричит, что надо спасти церковное серебро. двое врываются внутрь, один из них Коре сын Гейрмунда из Фрёйланда. Поспешно выходят, церковь горит изнутри. Свиной Стефан прекрасно знает жар конунгова негодования и орет, что мы должны растянуть над крышей парус и поливать водой. Но паруса остались на стругах во фьорде, а воду носить нечем. Мы находим несколько ведер в сарае, выстраиваемся рядами и черпаем воду из моря. Помогает мало, церковь только что осмолили. Свиной Стефан кричит, чтобы

кто-нибудь влез на крышу и содрал ее, чтобы спасти саму церковь. Двое загоняют секиры в угловые сваи и, используя их как перекладыны для ног, взбираются наверх. Один проваливается сквозь крышу и оказывается внутри. Мы спешим внутрь. Дым клубится нам навстречу. Один из наших хватает другого за волосы и тащит. Но это не тот, кто провалился через крышу.

Тут мельком — когда порыв ветра разгоняет дым — я вижу на стене над алтарем распятие и меня осеняет:

— Это распятие из Киркьюбё, украденное оттуда, найденное мною и конунгом в Бьёргюне — и пропавшее снова. Теперь оно висит здесь. И горит.

Я хочу внутрь. Трое, которые всегда рядом, Торбьёрн, Коре и Эрлинг, следуют за мной. Не знаю, что их влечет. Распятия они не видели. Но входят. Мы накидываем на головы куртки, поверх курток льем воду и пытаемся прорваться. Но дым и жар отбрасывают нас назад.

Теперь горит вся церковь. Я кричу этим троим:

— Я видел там распятие из Киркьюбё!

Они понимают, что это значит, и мы снова совершаем попытку прорваться. Но обрушивается крыша.

Теперь горит Христос. Я вижу, как он горит, как поднимается над огнем и дымом, над морем и искрами.

— Он возносится! — кричу я.

— Христос возносится! — кричат другие. И церковь погружается в море огня.

— Церковь мы не жгли... — говорит мне Свиной Стефан. — Что ты имеешь в виду? — спрашиваю я.

— Я отрицаю! — кричит он.

— Вот как! — говорю я и ухожу от него.

Внизу на берегу мы раздеваемся донага и моемся. Кто-то затевает перебранку. Я бью одного в лицо, и он замолкает. Торбьёрн сын Гейрмунда говорит мне:

— Зачем ты ударил человека? Я рычу в ответ, что Торбьёрн мне больше не друг, и мы готовы вцепиться друг другу в глотки прямо на берегу. Церковь и город у нас за спиной сгорели.

Люди с кораблей посылают нам пару лодок, и мы отплываем. Трое суток мы с Торбьёрном сыном Гейрмунда не разговариваем друг с другом. Потом мы снова друзья.

Но было ли то распятие, что я видел, из Киркьюбё? Не знаю. Я больше не знаю и того, видел ли я возносящегося Христа. С того дня появилось во мне что-то, говорящее, что он, возможно, не возносился.

— Как, по-твоему, ее звали? — спросил однажды ночью Торбьёрн сын Гейрмунда.

— Быть может, Вибекке, — сказал я, — как одну святую, о которой мне рассказывал мой друг монах Бернард.

В моей памяти она носит это имя — женщина, найденная нами мертвой на задах усадьбы.



Потом от Хельги Ячменное Пузо и от других я узнал, что случилось в Сокнадале.

Хельги пошел к конунгу и просил освободить его от обязанности жечь в долине. Он сказал, что здесь у него была женщина: она должна была стать моей женой, но бросила меня. Выходит, я не был ей очень-то дорог, а она мне. Но если я сейчас снова столкнусь с ней? Он ползал на коленях перед конунгом и умолял, конунг сверкнул зубами в жестокой усмешке и велел Хельги следовать за остальными. Хельги был готов разрыдаться. А конунг смеялся — громче и резче, чем обычно. Он не внял мольбам Хельги.

— Ты терзаешь меня, государь, — сказал Хельги.

— И делаю это с радостью, — ответил конунг. Так Хельги последовал за остальными.

Оба рассказывали мне потом об этом: Хельги и Сверрир, и оба раза конунг Норвегии вызывал у меня отвращение.

Долина тесна, люди идут по трое. Вокруг не видно ни души — ни людей, ни скота, все подались в горы. Дома и усадьбы стоят пустые, кое-где на замках, а кое-где двери распахнуты настежь. Нигде никаких инструментов. Должно быть, унесли и спрятали. Люди конунга рассыпаются по долине по обоим берегам реки. Они не пропускают ни одной деревушки. Следующим утром будут жечь.

С Хельги идут двое парнишек. Это младшие братья Халльварда Истребителя Лосей, их зовут Эйвинд и Тор. Они немного трусят в неприветливой долине, но время бежит, ни души не видно, оба приходят в

доброе расположение духа и начинают рассуждать обо всем, что они здесь найдут. Каждый из наших получил разрешение конунга брать все, что найдут, прежде чем поджигать. У каждой группы имеется кремень и трут. Нужно перейти ручей, и Хельги поднимает над головой берестяной короб с трутом. Раз он поскользывается и чуть не падает.

— Это могло быть дорогое падение для нас, — говорит Эйвинд.

— И выгодное для бондов там наверху, — рассуждает брат. И продолжает путь.

Они зашли далеко в долину и выбирают усадьбу, которая достанется им. Но не идут прямо во двор, а располагаются в леске перекусить имеющейся снедью. Хельги следит за двором. Не видно ни души. Ватаги людей конунга Сверрира проходят мимо, они потны от перехода и бранятся, что могли бы с тем же успехом поджечь вечером, а не дожидаться завтрашнего утра.

— Конунг дает бондам время собраться и просить о мире, — говорит Хельги. Остальные ругаются в ответ.

Приходит ночь. Тихая и теплая. Нагорье отражается в воде, ветер шумит по склонам, в полночь загорается бледная звезда, и Хельги лежит и смотрит на нее.

— Однажды вы мучили меня, люди из отряда Эрлинга Кривого. Я приблизился к конунгу Сверриру. Теперь я здесь. Приложишь ухо к земле и слушаешь далекие шаги. Но приближаются они или удаляются, друг это или не друг?

Наступает утро. Похоже, день будет жарким.

Они идут во двор, там никого не видно. Как называется усадьба, они не знают, усадьба небольшая. Что-то здесь знакомо Хельги, но он не знает, что именно. Он, конечно, бывал в Сокнадале прежде как гость Арнтора из Хваля, но здесь он не был. Возможно, ему кажутся знакомыми ручеек за скотным двором или резные завитушки на двери чулана. Щемит грудь. Он говорит Эйвинду и Тору: приступайте. Ломайте замки. Берите, что найдете, если что-то осталось. Со мной не делитесь.

Они приступают. Хельги достает берестяной короб, спасенный от воды ручья. Вот кремень и трут, хорошенько располагайся во дворе и за дело. Спешить не нужно. Он высекает раз за разом, не пытаясь поймать мелкие искорки. Эйвинд выходит из чулана и говорит, что там особо не разжиться.

— Я нашел юбку, — заявляет он, прикладывает ее к животу, поднимает и делает вид, что за чем-то идет. — Ты не можешь высечь огонь? — вдруг спрашивает парнишка.

— Займись своим делом! — резко отвечает Хельги, и Эйвинд возвращается на скотный двор.

Одна искра падает на трут, Хельги сидит и смотрит на нее, не раздувая. Немного погода начинает разгораться.

— Я помогу тебе, — говорит вошедший Тор. Он доволен, нашел свиной хрящик, расхаживает и грызет его. Он приносит охапку сена, и сразу вспыхивает пламя.

— В жаркий день хорошо горит, — говорит паренек.

— В преисподней горит еще лучше, — отвечает Хельги.

Он сидит и ждет, зная, что не один в усадьбе. Входит и разыскивает парнишек, они ломают сундуки, достают какую-то одежду и пару кадок, которые хотят взять в собой. Потом по приказу Хельги уходят на опушку леса.

— Следите за лесом, чтобы не вернулись бонды, — говорит он. Итак, он остается во дворе один.

Но он не один. Время от времени он бросает поленья в огонь, чтобы тот не потух. Идет в хлев и смотрит, там никого. Возвращается, ждет во дворе; день жаркий, он потеет.

— Ты никогда прежде не бывал здесь? — спрашивает громко и оглядывается, не услышали ли его слова парнишки.

Там стоит она.

Белая, как нутряной жир, и без единого слова упрека. В ней нет враждебности. Она протягивает руку, но потом убирает. Он берет ее за руку. Ладонь холодна, как лед, поспешно отпускает ее.

— Да, здесь теперь живу я, Хельги, — говорит она. Он не отвечает.

Потом они садятся, но не рядом друг с другом. Огонь тлеет во дворе. Он бросает взгляды украдкой, она кажется ему уже не такой красивой, как зимой, когда они собирались пожениться, — но еще дороже, чем тогда. Она тихо говорит:

— Здесь в долине со мной обошлись нехорошо, когда я вернулась. У меня был муж, я его бросила. Худосочный старик, меня заставили выйти за него совсем юной. Я ушла от него. Но ты был человеком конунга Сверрира. И когда я вернулась, меня хотели утопить, ибо я не соблюла святость брака. Я напомнила им о том, что

оставила приоткрытую дверь, убегая из усадьбы Каупангер. Потому что ненавидела конунга и его людей. Но они не слушали, связали меня и поволокли. Я сказала: «Развяжите меня, я пойду сама». Я шла за ними в горы. Они были храбрые, молодые бонды, мой муж заплатил им серебром. Ты слыхал о горном озере, где в старые времена топили женщин, изменивших своим мужьям. «Иди!» — сказали они и погнали меня. «Мы утопим тебя?», — сказали они. Я шла впереди, а они следом, немного били меня, но не жестоко, больше для удовольствия, чем из ненависти. Когда подошли к водоему, наступила ночь. «Рано поутру утопим тебя», — сказали они. Я поблагодарила. Тут прибежал мальчик. «Ее муж умер», — сказал он.

Теперь они не знали, будет ли законно утопить меня. Правда, я изменила мужу, пока он жил, но может ли он требовать моей смерти, если умер раньше меня? Они были умными и рассудительными. Долго совещались. Я сидела рядом и слушала. Тут прибежал еще один юноша, крича: «Корабли конунга Сверрира приближаются к фьорду!»

Они помчались назад, я последовала за ними, но без радости. Они ушли в горы. А я здесь.

Она смотрела на него.

— Ты красивая, Сигрид... — сказал он.

Она не ответила, но взяла полено и положила в огонь.

Он встал и направился к ней, но вдруг повернулся и побежал к опушке. Велел юношам идти дальше в лес и караулить там. Он вернулся и плакал, прильнув к ней. Ругался и плакал — она не пошевелилась, — взял нож и воткнул в дверной косяк, бранясь, призывая смерть на голову конунга Сверрира и его людей.

— Ведаешь ли ты, что жажда власти разлилась, как яд, в его глазах, Сигрид, когда он смотрит на былинки травы, те чахнут и вянут? Он может одарить серебром — чтобы получить власть, пасть на колени перед Господом и следовать его слову — чтобы получить власть, всадить нож в женщину и повернуть его в ране — чтобы выпытать из нее единственное слово, которое должен знать, чтобы не потерять власть. Таков он!

— Теперь ты лжешь, — сказала она.

— Нет! — выкрикнул он и хотел полоснуть лезвием ножа по запястью, чтобы прочертить собственной кровью на лице и сказать: «Пусть там останется моя кровь, пока я не увижу его крови!»

Но она оттолкнула его руку с ножом, и тот, зазвенев, вонзился в дверной косяк.

Теперь он все высказал и дрожит. Она снова встает и подбрасывает полено в огонь.

— Поджигашь, так поджигай, — говорит она, — я не хочу, чтобы ты трудился, высекая огонь во второй раз.

Он встает на колени и бьется лбом оземь, молится, но не теми словами, какие употребляют священник или конунг.

— Мы можем пойти в горы? — вдруг спрашивает она. — Я знаю тропинки в горы. Недавно, — говорит она и слабо улыбается, — я пришла оттуда.

Тут один из парнишек кричит из леса:

— Смотрите туда!

Они смотрят в долину, над самой верхней деревушкой поднимается дым. Один из юношей опять кричит:

— Смотрите туда!

Он указывает, и они говорят:

— Горит на юге в долине.

Тут она хватается за него, но он вырывается. Она кидается ему в ноги и цепляется за них, он пинает ее в лицо и освобождается. Приходят Эйвинд и Тор.

— Вон отсюда, вы! — кричит Хельги. Хватает головню и перешагивает через нее, она больше не сопротивляется, когда он швыряет головню в сухую дерновую крышу. Огонь разгорается.

— Отважные люди у конунга Сверрира, — говорит она.

— Подвинься! — отзывается он. Она отходит, и он несет огонь в хлев и конюшню. Скоро усадьба полыхает.

Только чулан еще невредим. Она возникает перед ним и говорит:

— Ты видишь, что я ношу дитя? А кто отец?

Он не отвечает. Она говорит, что усадьба горит, и если чулан останется, конунг об этом не узнает. И юноши тоже. Дым скроет все.

Дым скрывает теперь и его, и ее.

Она говорит:

— Не я умоляю тебя. Наш ребенок сегодня молит тебя.

Он хватается за головню и обходит Сигрид, та провожает его взглядом, он бросает огонь в сухой дерн на крыше чулана. И бежит прочь от нее.

Нерадостным спускается он в долину.

Посылает юношей вперед и пережидает. Вечер застает его в лесу. Он слышит, как спускаются люди конунга Сверрира, большинство из них недовольны, мало взяли, лишь немногие тяжело нагружены. Когда опускается ночь, он сидит под деревом, вновь горит одна звезда. Тут к нему приходит она...

Она держит нож и хочет его вонзить, он ползет прочь, чем быстрее ползет он, тем быстрее догоняет она. Но все время между ними один шаг, она ударяет дважды и оба раза метко.

— Этот удар был в тебя, — говорит она. — А этот удар был в него.

— Кто это он? — спрашивает Хельги.

— Он — это наш сын, — отвечает она.

— Ты можешь знать, что будет сын? — спрашивает он.

— Могу, — отвечает она, продолжая ползти за ним по лесу.

Две раны кровоточат, она слизывает кровь. Все лицо делается красным, потом она голая и прикрывается его кровью.

— Наш сын теперь мертв? — спрашивает он.

— Нет еще, — отвечает она. Он ползет дальше и кричит, а она растет и становится облаком, и из облаков появляется сын.

Сначала он маленький беленький мальчик, потом большой мальчик, у него начинают кровоточить раны, которых больше, чем у отца. У него нож. Он вонзает нож в отца — медленно, погружает и вынимает, говорит: подожди немного, мне нужно наточить.

— Разве ты не носил мешок с точильными камнями для людей конунга Сверрира?

Хельги должен сбегать за мешком, он истекает кровью и тяжело дышит. Мальчик достает один камень и точит нож.

— Ложись, — говорит он отцу. Отец ложится. Возвращается она.

— А мы не поведем его в горы? — спрашивает она. — Там есть озеро.

— Мы лучше заколем его, — говорит сын.

Он колет медленно, опять вынимает нож и бранится, потому что нож не режет. Снова достает точильный камень.

— Ну теперь? — кричит он и закалывает отца.

Отец ползет к водопаду, рокот которого он слышит, и хочет прыгнуть туда, чтобы смыть с себя кровь. Тут мимо проходят двое людей конунга Сверрира. Они трясут его и говорят:

— Ты отыскал пива, которого мы не нашли?

— Да, — отвечает он и плетется за ними.

Вся долина пахнет гарью.

Потом Хельги рассказал это мне.

Конунг поблагодарил людей, и они уплыли из фьорда.



Кольцо безмолвных людей и Сверрир, конунг Норвегии.

Конунг сидит у берега и ест, струги рядом на якоре. Фьорд у хребта Фимрейти сверкает, как серебряное зеркало, счастливой обладательницей которого может быть только дочь конунга. Усадьбы вокруг фьорда еще не сожжены. Но над Сокнадалем и Лусакаупангом поднимаются дымы, и кое-где загорелись леса. Легкий ветер с севера проносит запах гари. От нас всех исходит запах гари.

Но конунг ест. Он повелел накрыть на плоском камне на берегу, чтобы все могли видеть: вот поджигатель, человек с далеких островов, конунг Норвегии. Прежде он всегда ел среди своих людей. Сегодня нет. Он строго выговаривает Кормильцу, что человек, накрывающий стол для конунга, не припас ничего получше. Конунг сердито выплескивает пиво и кричит, что оно слишком слабое: разве у тебя нет чего-нибудь обжигающего губы? Но у Кормильца такого нет. Конунг орет, чтобы послали людей:

— Неужели в усадьбах Согнефьорда нет пива, я, конунг Норвегии, и не получу пива?

Никто не отвечает. Но Свиной Стефан кивает паре своих людей. Те неохотно садятся в лодку, чтобы переплыть фьорд и раздобыть еды в каком-нибудь Богом забытом дворе у подножья гор. В ближайшей усадьбе они все находят.

Никто не приближается к конунгу. Тогда он посылает за мной. Я не хочу, но подхожу. Впервые я предпочел компанию дружинников, а не его.

— Ты должен есть со мной, — говорит конунг и холодно смотрит прямо мне в лицо. Но я знаю, что под внешней холодностью конунг слаб.

Я говорю:

— Сегодня я не могу есть с тобой, государь. Я использую все свое время для обдумывания саги, которую однажды напишу...

Конунг посылает за Хельги Ячменное Пузо, тот приходит. Хельги приглашают занять место за столом конунга. Тогда я делаю доселе неслыханное и в присутствии конунга Сверрира: встаю у стола, но не разговариваю. Конунг говорит Хельги:

— Расскажи, что произошло в Сокнадале.

Хельги повинуется. Он подыскивает слова и заикается, сидит как на иголках, но конунг наслаждается каждым словом. Я вижу восторг, сочащийся из маленьких глазок Сверрира — да, маленьких; словно его веселят боль и запахи гари, крики, ненависть и проклятия.

Конунг застыл с полуоткрытым ртом. Так он никогда раньше не сидел. Всегда был предельно вежлив в каждой беседе, своим людям выказывал прохладное дружелюбие. Теперь похоже, что он глотает слова Хельги. Глотает и захлебывается, хочет еще, простоватый, как пьяный бонд, когда его рог опустел. И хохочет, видя, что Хельги страдает.

Это не мой Сверрир, это чужой, он поворачивается ко мне и грубо кричит:

— Чего ты тут стоишь?

— Я стою и обдумываю сагу, которую однажды напишу о конунге Норвегии...

Он поднимается и идет, возможно, чтобы всадить в меня меч. Так мы и стоим, глаза в глаза, а люди молча сидят вдоль берега.

Тут прибегает дозорный с хребта Фимрейти, он кричит, что во фьорд заходит чей-то флот.



Это я потом узнал от Эрленда из Сокнадаля, брата Хельги:

Дует ветер с моря, большой флот конунга Магнуса тяжело продвигается вдоль берега. Эрленд лежит на дне в собственной рвоте, люди смеются. Море над рифами белое, все на веслах, Эрленд из тесной долины Согна давится рвотой, но гребет. Ты, пересекший страну, чтобы узнать великого конунга Магнуса, теперь разочарован. Ты его увидел: на расстоянии ста шагов, увидел фигуру конунга в окружении стражи, услышал голос конунга, — но что он сказал и что тебе от того, что он сказал? Ты мог владеть усадьбой. Теперь ты владеешь половиной сундука. Твои ничтожные делишки оттеснены прочь тем, который не уважает тебя. Точи оружие! Шевели веслами!

Жди харчей у котла. Гребь и гребь, — брань и грубая речь, — мокни насквозь от морских брызг, спи на островах в прохудившейся палатке, стой в дозоре, вглядываясь в завесу дождя и тумана, и клюй носом. Таково житье у конунга Магнуса.

Ты простился в горах со своим братом, брел через пустоши на юг, в страну данов. Конунг Магнус сразу же снялся оттуда. На север, в Конунгахеллу, — но что ты там видел: стоял в дозоре. На север, в Тунсберг, — но что ты там видел: пока конунг пировал, ты стоял в дозоре. Отправились в Гимсей — ты грузил на борт точильные камни, груды камней из Телемарка, конунг взял их с собой как метательное оружие, ты грузил и получал за это брань и немного еды, — лучше, чем лежать в собственной рвоте, когда все смеются.

Прибываем в Бьёргюн. Ты рвался в бой, пока корабль бороздил море. Но когда ты последним спрыгнул на землю, всех немногих людей конунга Сверрира в Бьёргюне уже зарубили. Трупы лежали на улицах. конунг Магнус велел, чтобы они лежали до следующего появления Магнуса в Бьёргюне. Пусть узнают все, кто держит сторону конунга Сверрира, что теперь ему и его людям смерть. Лежат на съедение лисам и воронам. Ты идешь по улицам и смотришь — жарко, начинают распространяться запахи, тебя рвет. Прежде ты видел смерть. Но не знал запаха смерти. Он нехорош. У одного из людей конунга Сверрира отрублена голова. Голова исчезла.

Тебя осеняет, что это может быть Хельги, твой брат, ибо кто узнает брата, если отрублена голова? Ты вскрикиваешь и бежишь, набираешься мужества и возвращаешься, поворачиваешь безголовое тело и ищешь в куртке что-нибудь, что может помочь тебе опознать брата. Но ничего не находишь.

Ты поднимаешься на борт и желаешь, чтобы конунг Магнус плыл к Согнефьорду — победить или потонуть там. Но с того дня ты больше не страдаешь морской болезнью.

Вечером конунг Магнус держит речь к людям. Ты стоишь дальше всех и не слышишь, что он говорит.

Флот входит в Согнефьорд.



У нас с собой нет лошадей, конунгу приходится взбираться на гору пешком. Я бегу следом и замечаю, как он еще скор на ногу, как

глубоко дышит и полон сил, которые сейчас ему пригождаются. Когда мы стоим там — я уже возле него, и остальные его ближние подходят — он опять новый Сверрир. Фьорд открыт. Вокруг высокие горы. В устье фьорда лежит серо-голубая дымка. Солнце чертит полосы в тумане. Тут мы видим корабли. Они медленно всплывают.

Может статься, это купец заходит во фьорд, чтобы торговать с местными бондами. Но мы сразу понимаем, что сегодняшние гости коварнее, если рискнули приплыть сюда, где встал конунг Норвегии со своими мрачными стругами. Сверрир оборачивается ко мне и говорит с быстрым смешком:

— Сегодня один из конунгов отправится в Хель.

Мы торопливо возвращаемся к кораблям. Конунг приказывает сдвинуть их как можно плотнее к суше. Люди встают рядами по борту или собираются на берегу. Конунг поднимается на камень, и каждый в несметной рати слышит все его слова. Он вырастает, когда говорит, прогоняет прочь уныние, он снова муж среди мужей, — но сильнее, мудрее, чем они.

Он говорит, что мы некрасиво обошлись со здешними бондами, прогнали их и запалили все дворы. Скоро они вернутся, чтобы беспощадно ударить нам в тыл. Знайте же, что отступление — путь к смерти, где разгневанный бонд на каждом шагу. Всем им есть за что мстить: за сожженную усадьбу, за погибшую женщину, за ребенка, у которого не хватило сил выжить. Их возмездие обрушится на нас.

А вот корабли перед нами, спускаются сюда! Это корабли конунга Магнуса. Их больше, чем нас. Так бывало часто. Возможно, у них лучше оружие. Так было всегда. Но мы есть мы. Для нас бегство — смерть. Для нас победа — единственное, что дарует жизнь. Давайте же победим.

Нет-нет, не взывайте ко мне, не приветствуйте! Мы были малодушны вчера, станем же отважны сегодня, пронзим их мечами, поразим секирами, вышвырнем за борт. Но не бросайте оружия, не кидайте ни единого камня, если не убьете ими врага. Вцепитесь в них зубами, если лишитесь оружия, задушите их, если выбиты зубы. Знайте, либо они убьют нас, либо мы их. Или спасемся бегством...?

Мы можем бежать? Можем спалить наши корабли здесь. В таком случае я никогда больше не построю корабля в этой стране. Мы можем перебраться через горы на север, в Нидарос. В окружении разгневанных

бондов, с волками конунга Магнуса по пятам, голодные и оборванные, истекающие кровью, гонимые как бесчестные люди. Но это мы можем выдержать. Побежим — или сразимся сегодня?

В толпе нарастает рев, этому невозможно помешать. Он спрыгивает с камня и вновь взбирается, снимает куртку, стоит в одной рубахе, воздевает руки, глаза горят. Он читает своим мощным голосом «Аве Мария» для людей — пока они безмолвствуют вокруг.

Соскакивает с камня.

Идет к ручью и медленно совершает омовение, скоро ему на праздник. Из толпы людей ни звука.

Потом он возвращается и раздает приказания.

Корабли вошли в устье фьорда.



Гонец мчится с хребта Фимрейти:

— Корабли входят!..

На Мариином корабле и на всех кораблях конунга подняты фальшборты. Забивают гвозди, кому-то попали по ногтю, человек кричит, все ругаются, достают кожаные ремни и оборачивают ими фальшборты, чтобы были крепче. Люди встают цепью и грузят на борт камни с берега. Камни не должны быть слишком крупными, круглыми или гладкими, старые бойцы с опытом многих битв за плечами находят нужные. Юноши грузят — бросать с корабельного настила нельзя — камни с острыми краями лучше всего, но не такие, которые проносятся, отклоняясь от курса, и падают мимо. Корабли тяжело осели в воду. Вдруг на сушу выскакивает парнишка, живот расстроился, приседает за кустом, мимо идет другой, видит это и говорит:

— Сегодня ты наложишь в последний раз.

В тот же миг его самого объял страх, он тоже скрючивается. Дурно пахнет, мимо проходит старый биркебейнер, сегодня он босой, чтобы не поскользнуться на досках палубы, если их зальет кровь. Он фыркает, увидав присевших парней, плюет в их сторону и говорит:

— Сегодня вы наложите в последний раз.

Два корабля еще не вернулись из Сокнадаля. Спешит пара шхун с известием, гребцы сломали весло, корабли повстречались

им на выходе из фьорда. На борту Эйрик Конунгов Брат. Он подбадривает своих людей. Как на гребной гонке, Эйрик выкрикивает ритм, корабли едва не сталкиваются, в горлах гребцов все резче кровавый привкус, это отвлекает мысли от той крови, которую они скоро увидят. Вдруг от берега отделяется лодка, в ней женщина, она снует меж кораблей и хочет переплыть на другую сторону фьорда. Она едва не тонет. Женщина пугает воинов: ведь говорили встарь, что встреча с женщиной перед битвой — к беде. Весь флот конунга Сверрира в сборе. Слух проносится из уст в уста, как огонь в траве. Люди из Сокнадаля встретили женщину в лодке... Это капля, которая может переполнить рог, — рычаг весов не должен накрениться. Слух достигает конунга. Он тоже знает, что говорили встарь. Поднимается на палубу Марииного корабля, с него льет пот, он возвышает голос и вещает с кормы. Этот голос разносится далеко. Даже сейчас он сохраняет свое горделивое спокойствие, свою красоту и силу, он возносит молитву Господу и возвращает его заверение:

— Ничего дурного сегодня с нами не случится!

Прибегает гонец:

— Корабли входят!..

Теперь мы готовы к бою, нет-нет, никто и никогда не готов к бою. Конунг в лодке передвигается от струга к стругу. Предводители получают приказы, люди — добрые напутствия. Конунг заглядывает в лицо парнишке, сломленному страхом и плачущему, конунг встряхивает его и хлопает раз, потом еще. Вдруг говорит:

— Я знаю, ты храбрый воин!

И уходит от него.

Так и оказалось. Парень, которого звали Тор, бился очень отважно и погиб.

Корабли не будут связывать друг с другом. Конунг хочет управлять ими в бою, маневрировать в море, заходить туда, где удобнее, бить неприятеля там, где он слабее всего. Все имеющиеся у нас лаги и бочки уложены меж бортов. Такова площадка, где мы сегодня схватимся со смертью. Солнце в зените, ни дуновения ветерка, ни облачка. Что это за лодки отходят от берега?

Прибегает гонец с горы:

— Корабли входят!..

Теперь мы готовы к бою, нет-нет, никто и никогда не готов к бою! Люди брызгают водой в лица. Она остужает и успокаивает. Конунг учил их: плещите водой в лицо, но не мочите доски палубы, поскользнетесь. Теперь мы готовы к бою. Конунг послал лодку поглядеть за мыс. Она поспешно поворачивает и мчится назад, — впереди бурлит вода, сзади шелестит короткий ливень. Но это не ливень. Это стрелы, не попавшие в цель.

Они расточают свое оружие, те, на борту магнусовых кораблей. Конунг Сверрир кричит людям, это последнее ободрение, слова переходят из уст в уста:

— Они расточают свое оружие! Большой флот конунга Магнуса показывается из-за мыса.

Представь себе этот плот: мрачные, тяжелые корабли, нос к носу, люди на борту стоят, сомкнув ряды, они пока немые, без боевых кличей, сверкает оружие, с весельных лопастей стекает вода, — похоже на приближение смерти, медленно-медленно, но не останавливаясь. Подходят ближе к нам.

Тут раздается боевой клич людей конунга Магнуса.

Теперь выплываем мы. Наши корабли тоже идут сплоченно, однако не нос к носу, как флот конунга Магнуса. Между нами сейчас расстояние в три-четыре полета стрелы. Сверрир хочет направить Мариин корабль против наименьшего из магнусовых кораблей, попытаться очистить его, придать мужества своим, сбросить в море чужих, чтобы воинственный клич превратился в шторм... Тут Мариин корабль садится на мель, не давая пошевелить веслами.

Между флотами остается только три полета стрелы, Мариин корабль нужно снять в мели, и поскорее. Люди пытаются столкнуть его, подходит другой корабль, это «Дева», корабль Эйрика Конунгова Брата. Мы перекидываем канат и тянем, один человек падает за борт, и начинает тонуть, выныривает и виснет на канате.

— Отпусти канат! — кричит Эйрик, и тот отпускает. Уходит под воду. Не знаю, удалось ли ему спастись.

А Мариин корабль снимается с мели и плывет, мы потеряли время, уже только полторы стрелы между флотами. Конунгу Сверриру не удалось направить направить Мариин корабль так, как хотелось. Корабли с грохотом сталкиваются.

Корабли Магнуса плотно сгрудились вокруг носа Марииного корабля, по три с каждого бока, люди на них атакуют, на корме сверрирова корабля становится жарко, град стрел, свистят камни, я замечаю, что это точильные камни, у них подходящий вес и их удобно метать. Конунг спускается в лодку, он должен быть там, где больше всего нужен. Свиной Стефан остается за предводителя на борту Мариина корабля.

Я как сейчас вижу Свиного Стефана:

Он никогда не был мне близок. Человек, неразборчивый в словах и поведении, на которого нельзя положиться; но разве отвага и мудрость Стефана не возрастали вместе с властью конунга Сверрира? Свиной Стефан недостижимо велик в битве. Стоя под градом стрел, полуприкрывшись щитом, он ухитряется следить за всем, кричать именно тем, кому нужно, он — прирожденный предводитель.

Корабли расходятся и сталкиваются вновь. Люди конунга Магнуса хотят зацепить крючьями Мариин корабль к своим собственным стругам и потопить. Но люди конунга Сверрира не даются. Враги цепляют багор за наш нос, один биркебейнер бросается и разбивает его. Еще никто не погиб. Но первая кровь пролилась, одному пареньку попал в голову камень, он падает и держится за глаз, убирает руку — там, где был глаз, зияет дыра. Корабли снова сходятся.

Рев нарастает, теперь люди конунга Магнуса взбираются на наш корабль. Свиной Стефан ободряет своих людей, свистят камни и дротики, в руку Стефану вонзается стрела, тот выдергивает и отшвыривает ее; если у него и был плащ, то теперь он потерян. Биркебейнеры внезапно атакуют. Этой уловке научил их конунг: «Если вас жестоко теснят, отступите, но не поспешно, прикиньтесь, что вы дрогнули, но головы держите холодными, притворитесь, что вы обратились в бегство, шаг за шагом. И внезапно наступайте. Ревите по-иному. Не ругайтесь, проклятия унесутся в шуме. Ревите». Так они и делают.

Некоторые поскользываются на досках и валятся на палубу, другие перешагивают через них и топчут ногами. Люди конунга Магнуса отступают. Но шесть кораблей Магнуса по-прежнему окружают Мариин корабль, полные оружия и людей. На корме сверрирова корабля еще не вступили в бой. Мариин корабль очень длинный. Схватка идет на носу.

Мариин корабль нужно провести вперед, но если люди сядут на весла, они будут убиты. Невозможно одновременно защищаться и грести. Халльвард Истребитель Лосей с отрубленными пальцами позову Свиного Стефана бросается к веслам. За ним Хельги Ячменное Пузо. Появляется и башмачник из Сельбу, сегодня он последовал за конунгом Сверриром в битву. О чем он думает сегодня, он скидывает башмаки, поскользывается и падает: обращаешься ли ты мыслями к ней, к той, которой ты сшил башмаки, бросил и простил — к женщине твоей жизни? Он падает со стрелой в груди. Хочет вытащить ее. Но наконечник засел в мышце, он морщится и тащит, подбираясь к веслам со стрелой в груди, за ним Халльвард, впереди Хельги Ячменное Пузо. Халльвард падает. Однако башмачник продолжает грести со стрелой в груди, и Мариин корабль трогается. Башмачник оседает. Зато Халльвард ползет вверх. Камнем ему отбило еще один палец. Башмачник тоже поднимается. Теперь корабли конунга Магнуса рассредоточились вдоль бортов Мариина корабля. Люди на корме вступают в бой. Наши стоят выше. Воины Магнуса вынуждены вставать на цыпочки, чтобы дать сдачи. Так оправдывает себя стремление конунга Сверрира построить корабль больше других.

Я пытаюсь смотреть, но мало что вижу, пытаюсь слушать, но все сливается в один общий крик. За нами высятся отвесные скалы. Появляется женщина на лодке, потом я узнал — она подстрекала бондов, те вооружились булыжниками и приплыли в лодках. Они расположились в тылу кораблей конунга Сверрира. Дрогни мы, они нападут. Но мы не дрогнем.

Конунг видит, что два корабля Эйрика еще не выбрались и праздно стоят позади флота. Конунг Сверрир вновь садится в лодку и берет с собой Кормильца. Кормилец — отличный гребец, но в бою от него мало проку. Он везет конунга — конунг в бурой одежде, маленький, плотный человек, стоя в лодке, плывет сквозь шквал стрел, — будь он сейчас узанным, тысяча лучников на кораблях конунга Магнуса нацелит в него свои стрелы. Но конунг добирается до Эйрика Конунгова Брата. Сверрир кричит, чтобы Эйрик плыл в обход и всадил оба своих корабля в наименьший из магнусовых, словно два лезвия ножа в каравай. Он употребляет именно эти слова. В них налет презрения. В них скрытое торжество. Бой превращается в празднество. Люди славят его. Проносится рев, и вмиг оба

корабля снимаются с места. А конунг плывет обратно под градом стрел.

— Как близко, — говорит Кормилец. В обшивке лодки совсем рядом с конунгом торчит стрела.

— Может статья, другая попадет ближе, — отвечает конунг. Мгновение он рассматривает свои ногти, словно хочет привести их в порядок, прежде чем отправиться навстречу предначертанному: победе или свиданию с Господом.

О чем думаешь ты, Коре сын Гейрмунда из Фрёйланда, из усадьбы Лифьялль? Сидя с ногой, зажатой между мачтой и двумя оторванными досками палубы. Сидишь и выдираешь ногу, но ее заклинило. Думаешь ли ты о точильных камнях, которые хотел возить из Эйдсборга в Гимсей, а конунг не отпустил тебя? Вот они камни. Кто-то привез их для тебя. Твой собственный камень просвистывает над тобой. Не достигает цели, падает, подскакивает и отлетает тебе в колено так, что ты кричишь. Но нога высвобождается.

Солнце изливает на нас свой жар, фьорд лежит, как зеркало. За нами отвесные скалы. Потом я узнал, что одна женщина подстрекала бондов, кляла их последними словами, заставила их приблизиться к кораблям конунга Сверрира, так что самые ловкие могли докинуть до нас свои камни. Пока это невеликая беда для нас. Но если мы дрогнем? Тогда они нападут.

О чем думаешь ты, Рейольф из Рэ, рожечник конунга, второй раз в жизни получивший приказ броситься в гущу врагов и трубить там? Впервые это произошло, когда мы захватили Нидарос. Тогда ты был ранен, но по сей день жив и вот стоишь и ждешь. Когда Свиной Стефан кивнет, ты, рискуя быть зарубленным, бросишься, согнувшись, держа сбоку рог, — будешь пытаться прорваться как можно глубже в ряды магнусовых воинов. Лучше всего, если удастся дойти до мачты. И затрубишь оттуда, рог конунга Сверрира раздастся над их кораблем. И посеешь смятение среди них. Тут явимся мы.

Рейольф стоит и ждет, о чем он думает, не знает никто. У него когда-то была дома невеста — Хельга; минули годы, он больше ее не встречал, но слышал, что в конце концов она разделила ложе с другим. Теперь ему терять меньше, чем тогда. Он поднимает рожок и смотрит на него, — ты вертел его в собственных пальцах, долгими днями разучивал сигнал, чтобы конунг сказал: — Никто не сумеет

протрубить лучше Рейольфа из Рэ! Он стоит и ждет. И никто не знает, о чем он думает.

Вот Эйрик Конунгов Брат со своими двумя кораблями зашел в обход и обрушился на пару шхун в тылу конунга Магнуса. Йорунд, человек, говоривший от имени Эйрика, когда мы впервые встретились в Нидаросе, понесет стяг Эйрика. Эйрик слышал, что Сверрир как-то при взятии Нидароса приказал своему рожечнику пробраться с стан врага. Теперь Эйрик посылает своего знаменосца. Но это не так просто: знаменосец должен поднять стяг, он не может проскользнуть, как трубач. Йорунд никогда не колеблется. Он из тех, кто может идти, закрыв глаза и не раздумывая. Первым врывается он на борт вражеского корабля, волоча за собой знамя, и поднимает его.

И первым падает, но удерживает стяг. Тот долго развевается, люди Эйрика видят это и идут на него. Они устремляются через борта, прыгают через боевые прикрытия первого из кораблей конунга Магнуса.

О чем ты сейчас думаешь, Арнтор из Хваля, взбунтовавший бондов в Сокнадале, подстрекавший их убить сверрирова наместника на прошлое Рождество? Ты на борту струга конунга Магнуса. Разве не расхаживал ты, бахвалясь тем, что содеял, — унимая тревогу похвальбой, — объявился у конунга Магнуса, был принят с почестями и обласкан, охотно рассказывал всем друзьям, как хвалил тебя конунг Магнус. «Он назвал меня Убийцей наместника!» Ты гордился прозвищем. Но темными ночами желал, чтобы его никогда не произносили. Так часто говорил: — Это может стоить мне жизни! Мне или Сверриру! Ты смеялся и пил. А теперь хочешь, чтобы его никогда не произносили.

Что чувствуешь ты, Арнтор, видя, как первые из воинов конунга Сверрира врываются на суда конунга Магнуса?

Но и Сверриру несладко сегодня. немногие ни Мариинном корабле невредимы. Но еще мало кто убит. Похоже, что упоение боем продлевает им жизни, никто не сдается смерти добровольно: одной рукой зажимают раны, чтобы остановить кровь, а другой рубятся. Конунг в лодке объезжает корабли, стрела проходит ему меж пальцев и задевает кожу на одном. Он гонит людей на сушу набрать еще камней. Это рискованно: могут принять за бегство, а обращенный в

бегство увлекает за собой других. Но никто не следует за ними. Люди стоят по пояс в воде, наполняют лодки камнями и поворачивают обратно. Свистят новые камни, дротики, заброшенные на Мариин корабль с кораблей Магнуса, летят обратно. Два юных брата, Тор и Эйвинд, сопровождавшие Хельги в Сокнадаль, бьются бок о бок. Их учили, что если делать выпады одновременно, плечом к плечу, то противник будет сломлен, он не сможет противостоять сразу двоим. Конунг кричит одному из них. Он хотел похвалить, но юноша оглядывается и гибнет. Второй остается в одиночестве и тоже погибает.

Женщина в лодке мечется по фьорду и подстрекает бондов. Потом мы узнаем, что она кричит:

— Хельги, Хельги на борту Мариина корабля! Прицельтесь и убейте его!

Кольцо лодок с бондами сжимается.

Люди Эйрика ярла наступают и захватывают самый маленький из кораблей конунга Магнуса.

О чем думаешь ты, Торбьёрн сын Гейрмунда из Фрёйланда из усадьбы у подножья Лифьялль? Ты рано поднаторел в высокой книжной премудрости, хотя и был простым бондом. Как-то в усадьбе твоего отца лежал больной монах, и ты пообещал монаху всяческий уход и заботу за уроки чтения. Ты был весьма горд этим, ибо кто в суровой конунговой дружине понимает тайны пергамента, кроме бывших священников? Однажды ты пришел ко мне и сказал, что владеешь искусством смешивания чернил. Это доступно немногим. Не обычных чернил из сажи, зачастую разведенной кровью, и не из ржавчины с добавлением жира, — такие сделает каждый. Нет-нет, такое письмо держится недолго и дает неровную линию. Истинно превосходные чернила имеют свои секреты, они держатся поколениями — когда погаснет свет твоих очей, чернила все еще будут вгрызаться в кожу, — да, глаза еще неродившихся однажды скользнут по пергаменту и постигнут слово мудрости. Такие чернила ты мог делать.

И не желал говорить, что ты туда мешал. Возможно, ты узнал секрет от монаха Бернарда, который когда-то сопровождал нас и нашел смерть в горах у Раудафьялль? Не знаю. Но знаю, что именно ты сделал нам с конунгом нужные чернила. Я зауважал тебя за это.

Что чувствуешь ты теперь, когда мимо просвистывает дротик и отрезает тебе мочку уха?

Вот уже многие на борту Мариина корабля бросаются в контратаку. Потому что с вражеского корабля вдруг грянули звуки рожка конунга Сверрира. Наш корабль очищен, и беркебейнеры врываются на вражеский. Кое-кто доходит до середины, но останавливается. там лежит Рейольф из Рэ. Он мертв. Наши оттаскивают его тело, когда начинается контратака людей Магнуса конунга.

Эрлинг сын Олава из Рэ, о чем ты сейчас думаешь? Ты не захотел стать шутком конунга Сверрира, ты, способный кувыркаться через перекладину и передразнивать всех так, что все хохотали. Это было величайшим удовольствием твоей жизни. Но что-то удержало тебя. Не то, что конунг прогнал бы тебя. Он хвалил любого хорошего шута, его радость от доброй лживой саги была велика и искрена. Но что-то другое удержало тебя: быть может, подо всем твоим шутовским весельем пряталась серьезность, печаль, для выражения которой ты не находил слов. И ты стал воином в отряде конунга Сверрира.

Что ты чувствуешь теперь, когда тащишь тело Рейольфа из Рэ на Мариин корабль? Он мертв. Вы росли вместе. Эрлинг говорит:

— Теперь мы выросли.

Люди Эйрика очистили первый корабль. Команда отступает и перепрыгивает на следующий. Это маленькая шхуна с низкими бортами, обе команды сбиваются в кучу, и шхуна вмиг тонет, а люди Эйрика прыгают назад, на свой корабль.

Что чувствуешь ты, Магнус, когда тонет первый из твоих кораблей? Вспоминаешь ли, как ребенком тебя подвели с твоему отцу ярлу, и он сказал: «Смотри мне в глаза!» Ты старался. Но под его ледяным взглядом потупился. Тогда подошли двое мужей, их кликнул ярл. Они сказали по очереди: «Смотри нам в глаза!» И так тренировали тебя час за часом, день за днем: «Смотри нам в глаза!» Так тебя выучили глядеть в упор — твердо и холодно, чтобы ты выдерживал чужой взгляд, а другие отводили. И вот ты был коронован — ребенком.

Корона конунга оказалась тебе велика. А разве не приезжали ко двору твоего отца иноземные мастера снимать мерку с юной головки? Первый раз — пока ты спал, чтобы только ярл и его приближен-

ные знали, что в Норвегии будет коронованный конунг, как в дальних странах. (Корабль тонет.) И тебя, дитя, еще неспособное просыпаться сухим, заставили понимать и говорить то, чему не подошло время. Первый раз мерку сняли, пока ты спал. Послали гонца, выковали корону, закалили на огне, отделили и украсили, поднесли тебе на пурпурной бархатной подушке — и оказалась велика.

Они попытались уменьшить. Но времени было в обрез. Ее набили мягким шелком, но все равно корона не годилась ребенку, и первый раз, проходя в процессии через Бьёргюн, ты стер до крови кожу на лбу и плакал. (Корабль тонет.)

Люди тонут, многие перепрыгивают на другие корабли. Ты кричишь на них, они не повинуются, ты орешь, что им смерть, если не защитят своего конунга в час опасности. Но кто слушает тебя, конунг Магнус? Корабли тонут.

Никогда твой голос не был силен. Ты не мог, подобно конунгу Сверриру, собирать слова в пучки розог и хлестать ими, зажигать их, как звезды во мраке, возбуждать ими радость и высекать искры гнева, дать ничтожнейшему в твоём отряде почувствовать себя равным конунгу. Ты этого не мог. Корабли теперь тонут.

Твои люди бегут с корабля на корабль. Корабль Орма Конунгова Брата тонет. О чем думаешь ты, Орм, холодный и мудрый, но лишенный несокрушимой силы? Разве ты не говорил конунгу Магнусу перед битвой:

— Не связывай корабли вместе! Встретим Сверрира каждый порознь, тогда мы сможем маневрировать, — давай встретим его так, как он нас.

Но конунг отказался. Ты пожал плечами. И теперь умираешь.

Вот тонет корабль под Ормом.

Мариин корабль подходит ближе, штевень вздымается над головами тонущих людей, их застали врасплох и теперь они тонут. Один из войска конунга Сверрира видит в воде неприятеля — он целился в него во многих битвах и промахивался, когда-то они росли вместе, но потом разошлись. Сжимая меч, биркебейнер прыгает через борт в море, пронзает врага — вынимает меч, человек тонет, а биркебейнер плывет обратно к своему кораблю и взбирается на палубу.

Корабли тонут. Люди бегут с корабля на корабль, но под их тяжестью тонут и новые. Кое-кто может плавать. Конунг Сверрир зычным голосом перекрывает шум:

— К берегу!

Поворачивают шхуны, несутся лодки. Когда первые из людей конунга Магнуса достигают берега, биркебейнеры уже на месте и рубят их.

О чем ты думаешь теперь, конунг Магнус?

Так потонул он, ярлов сын, первый коронованный конунг страны норвежцев. Он не бросил оружия, крепко вцепился в него и ушел вместе с ним под воду. А вокруг него кричат люди.

На борту и Эрленд из Сокнадаля, брат Хельги. Он ранен, но жив, когда-то он выучился плавать, Это спасает его теперь. Он проплывает под килем струга, расстаётся с тяжелым снаряжением, всплывает и хватается ртом воздух, в урагане камней и стрел над морем никто не замечает его. Ему удастся сбросить башмаки и шатаны, нагишом проплывает он еще под одним килем и выбирается на берег позади биркебейнеров, рубящих вылезающих из воды врагов. Тут Эрленд видит, что кто-то поджидает его: это его брат. Это Хельги.

Они сходятся и вцепляются друг в друга, никто еще не знает, пощадят ли врага. У одного оружие, у другого нет, но человек из пучины хватается другого за горло и стискивает. Хельги выхватывает нож. Эрленд кусает брата за руку и держит зубами — разжимает и сплевывает кровь. Оба разом отпускают друг друга.

В этот момент мимо проходит конунг. Он дарует Эрленду пощаду. Хельги говорит:

— Не знаю, государь, заслуживает ли он.

Когда спускается ночь, они спят вместе, братья из Сокнадаля. Другой биркебейнер, имеющий несведенные счета с Эрлендом, подкрадывается, чтобы нанести ему смертельную рану, хотя конунг дал Эрленду пощаду. Но ошибается и колет в темя Хельги. Тот вскакивает и бросается на брата. Но брат спит.

Хельги выживает. Но голову теперь держит криво, как новый Эрлинг Ярл.

Сказывали, что той ночью бонды из Сокнадаля гнали в горы одну женщину. Она подстрекала их вступить в бой на неверной стороне. Далеко в горах был водоем, где топили неверных жен, опозоривших своих мужей. Она следовала за ними без веревки на запястьях и щиколотках, гордая и до гробовой доски исполненная ненависти. Легко взбиралась на камни. Они запыхались — она нет, они поскальзывались — она нет. Внизу лежало и блестело озеро.

Они приговорили ее и просят снять юбку. Она снимает. Они просят снять сорочку. Она отказывается. — Умереть я могу, но показываться нагой недостойным мужчинам не буду. Тогда один говорит: я должен явиться домой без позора, принести что-то той, с кем делю стол и ложе. Она понимает, что ей не отвертеться, и стаскивает сорочку.

Они бросают ее, и она тонет. Говорили, что она крикнула:

— Привет от меня...

Остальное не успела, но они поняли, что привет предназначался Хельги.

Немногим из тех, кто доплыл до суши, была дарована пощада. Когда настала ночь, вдоль берега горят костры. Ночь дождливая, с моря надвигается туман. У костров сидят биркебейнеры и возятся со своими ранами. Башмачник из Сельбу вытащил наконечник стрелы и выжил. Еще не было времени сложить в кучу тела убитых. Один из наших уселся на труп воина конунга Магнуса. Втирает горячую смолу в рану на руке. Конунг проходит мимо и сгоняет его.

— Ты не должен бесчестить мертвых, — говорит он. Биркебейнер смотрит на него взглядом, полным изумления — в изнеможении сползает и умирает.

Конунг взбудоражен. Он всегда взбудоражен после битвы. Рядом с ним я — он вдруг обнимает меня и плачет. Я уже готов произнести: «Между нами все как прежде». Но молчу. Тогда говорит он:

— Аудун! Возможно ли, чтобы все было как прежде между нами?

— Конечно, — отвечаю я.

Мы поднимаемся на борт Марииного корабля, и впервые с тех пор как он запретил мне писать его сагу, я вновь чувствую тепло, исходящее от конунга Сверрира.

Мариин корабль направляется в Слиндвик, на другой берег фьорда. Когда светает, там собираются все биркебейнеры. Нас почти на восемьсот человек меньше, чем накануне. Воеводы пытаются посчитать, но они не очень-то сильны в счете. Конунг говорит:

— Возблагодарим Бога.

Еще не зная, сколько его людей прибрал к себе Господь, конунг благодарит всемогущего Сына Божия и деву Марию за одержанную победу. Голос его слабее, чем когда он обращался к ним перед битвой. Но в нем звучит доселе неслыханная красота и глубина, а в

манере говорить — смирение конунга. Он замолкает. Спускается с палубы Марииного корабля и прыгает на землю.

Вдоль всего побережья собирают тела погибших. На волнах фьорда качаются лодки, люди время от времени достают трупы и волокут их на сушу. Стоит летний зной. Мертвецы не смогут долго пролежать на жаре, не разлагаясь. Но конунг хочет похоронить их в освященной земле. Нелегко перевезти столько трупов. Некоторые придется погрузить на струги. А иные навьючить на конские спины. Но по мере того как растут по берегам горы тел, конунг укрепляется в мысли освятить участок земли возле фьорда под кладбище. Находят перепуганного священника, который так заикается от страха, стоя пред очами конунга, что тот бранится и прогоняет его прочь. Подходит стражник и объявляет:

— Здесь один из людей конунга Магнуса, он хочет говорить с тобой, государь...

Один из людей конунга Магнуса?..

Это Николас, тот, кто сопровождал Магнуса и Орма в Нидарос на переговоры со Сверриром. Ты не трус, Николас. Ты никогда не был красавцем, низкорослый и кривой, но зато ты мудрый, отважный и хитрый. Знаешь, что Сверрир теперь единовластный конунг. Выбери же: служить ему или умереть.

Николас не участвовал в битве. Его маленькая шхуна замешкалась в устье фьорда и не поспела вовремя. Вообразим, что конунг Сверрир пожелает помиловать как можно больше своих бывших противников. Ему могут пригодиться твои услуги, Николас. И ты знаешь это.

Конунг благодарит его. Говорит:

— Я не доверяю тебе и никогда не буду. Но покуда власть моя, твое дело — верность.

Священник Николас освящает участок земли под кладбище, и наши павшие недруги могут быть погребены.

В тот же день находят тела Магнуса и Орма Конунгова Брата.

Я долго стою и смотрю на тело Магнуса. Дивлюсь, что же было в нем такого, что народ любил его больше, чем Сверрира. Ведь он был слабым конунгом? Не всегда учтив, но зато красив — немного узкоплечий, с мягкими светлыми волосами. Особым умом тоже не отличался.

Думаю, чрезмерная мудрость Сверрира причиной тому, что народ не смог полностью признать его своим конунгом. У Магнуса при всем его ничтожестве было нечто понятное народу: его слабости — это и их слабости, а сильных сторон негусто у всех.

Следующей ночью мы с конунгом долго разговаривали. Он хотел отвести тело конунга Магнуса в Бьёргюн и замуровать в стену Церкви Христа.

— Пусть все любившие Магнуса проходят мимо своего мертвого конунга и кланяются ему, — говорит Сверрир.

Непостижимое зрелище — армада боевых кораблей выплывала из фьорда с одним мертвым конунгом на борту и другим живым. Живой не ликует. Он теперь единовластный конунг страны. В последующие дни некоторые из наших воинов умерли, растратив силы в сражении.

В Бьёргюне горожане приветствовали конунга Сверрира пышной процессией. После этого достали тело конунга Магнуса, чтобы замуровать его в стене церкви.

Люди идут мимо своего мертвого конунга — падают на колени и целуют его, плачут и стенают при виде его, в рыданиях отходят прочь. Все это видит конунг Сверрир. И молчит.

Потом он говорит речь над телом поверженного врага. Временами в его голосе ненависть, реже радость, а в основном — достоинство. Но я-то знаю, что под каменным лицом бушуют штормы.

Теперь все стало как прежде между нами.

В усадьбе у хребта Фимрейти один бонд усердно делал лопату.



ВЛАСТИТЕЛЬ И РАБ

Я

— Сверрир, человек с далеких островов, конунг Норвегии, властитель и раб. Когда я стоял на палубе Мариина корабля, глядя, как над Сокнадалем стелится дым, будто жаркая мгла из глубин ада, тогда мои люди отвернулись от меня. Эти трусы подняли плечи от страха, спрятали глаза, — и это они, кто должен благодарить меня за все. И я, конунг Норвегии, испытывал те же чувства, что и они. Да, в самой глубине души, за непроницаемой, ледяной внешностью, лежало нечто подобное. Будто по слову Господа Всемогущего: слабость, раскаяние пред Господом, вопросы о правом и неправом, сомнения, — и все это словно ступень между жестокостью и милостью.

Из дыма над Сокнадалем встают видения: птицы над берегом Киркьюбё, моя добрая мать с твердым взглядом, старый отец Аудуна, Эйнар Мудрый, и она... За ней я бегу как пес, преследуя ее в горах; я бросаюсь в море, радостно смеясь и ликуя, выныриваю и снова выбираюсь на сушу. Я вижу ее в дыме над Сокнадалем. Мать моих сыновей, она вернулась ко мне и вновь отправилась за море, но уже под черным парусом, и живет теперь дома, под крышей из дер-



на. А может, на обратном пути ее настиг ураган? Что я знаю об этом, конунг Норвегии? Я, властитель и раб.

Я мог бы подсчитать для своих людей — и для Аудуна тоже — все «за» и «против» того, чтобы спалить Сокнададь дотла. Я брал бы камешки и бросал их на полотно: «Это — страх, что конунг Магнус вернется обратно! А потому нам надо истребить своих противников в Сокнададе, чтобы они не напали на нас внезапно, в удобный для них момент. Это — боязнь того, что бонды и горожане в единой волне ненависти восстанут против меня — и вас тоже, — по всей Норвегии. Поэтому нам надо ударить первыми. А вот этот камешек, поменьше, чем остальные, — опасение, что если мы будем защищаться с мечом в руках, то против нас восстанут многие, и мечи у них будут больше наших. И что тогда? Вы же, безымянные воины, довольствуйтесь тем, что слушайте своего конунга, а сами помалкивайте. Я, конунг Норвегии, буду выбирать нам путь, и что бы я ни выбрал, меня все равно осудят».

Я вижу ее в дыме над Сокнададем. Да, это Астрид, мать моих сыновей... Ветер уносит тебя и вновь возвращает ко мне: ты в моих воспаленных глазах, в гулких ударах сердца. Ты всегда будешь жить во мне.

На следующий день после битвы в Фимрейти, когда нестерпимо палило солнце и светил грозный свет с Божьих небес, мы вытащили из воды на берег множество трупов. А иные все еще лежат на дне моря, люди конунга Магнуса... Мы вылавливали их, укладывали на спины лошадей, — по трое или четверо, — будто бы это связки голов и ног, которые свешивались с коней. И тогда я подумал: а что, если это трупы моих сыновей?...

Я знал, что это не так! И все равно позвал Аудуна, он не пришел; тогда я крикнул другим людям: они были послушны мне, как только может пожелать победный конунг. Но чего я ждал от них? Я, конунг, человек с далеких островов, который пожаловал в эту страну всего с одним-единственным спутником, выиграл борьбу и стал тем, чем является любой другой конунг: моя жалкая награда — властитель и раб, — так чего же я жду от этих людей, которые пришли на мой зов? Разве могли они предложить мне свою дружбу? Мне, конунгу, который одним словом может послать любого из них на смерть? Разве они могли подарить мне веселый смех или крепкий сон? Могли бы? И мог бы Аудун?

Пожалуй, Аудун мог бы. Путь назад, к нашей бывшей дружбе, будет долог, Аудун, если мы сможем пройти его. Трупный запах щекочет мне ноздри, и я закрываюсь влажным платком, смываю с себя запах тления. И тогда мне приходит в голову, что я больше уже не уверен в своих собственных людях. Когда тело конунга Магнуса внесли на борт корабля, чтобы отвезти его в Бьёргюн и замуровать в церковной стене, я вдруг подумал, что пусть после его смерти для меня и наступило спокойствие, но все же я буду жить отныне в другом, еще большем беспокойстве, чем то, которое я ощущал, пока он был жив. Разве теперь я могу доверять своим людям?

Могу ли я? Ночью подул сильный ветер, сгустились тучи... Я никак не усну, все ворочаюсь на своем драгоценном ложе, а потом вскакиваю с постели и кричу: «Поставьте двойную охрану!» Что, если один из стражников ненавидит своего конунга? Я зову ему, и он приходит ко мне. Я уверен, что и в нем, как во мне, глубоко спрятана тоска по нашей бывшей дружбе. Но живет в нем и горечь досады на меня за то, что я запретил Аудуну написать сагу о конунге Сверрире. Вот он бросается ко мне... и втыкает в меня нож...

Нет? Откуда мне знать? Разве все они не шепчутся за моей спиной, не встречают меня с радостью, которая вовсе не та, что прежде, кланяются мне ниже, чем я требую, а когда я велю им: «Не кланяйтесь без нужды конунгу Норвегии!» — то они совсем перестают отвечать поклоны, словно я уже и не конунг в своей стране.

Я вижу ее в дыме над Сокнадалем... И если это глас Божий ко мне, то Он — жесток... Он суровее конунга Норвегии, когда я караю своих людей. И в запахе трупов из Фимрейти я различил запах собственных сыновей... Когда они были еще маленькими, но потом, однажды, им тоже надлежало вступить в бой: встретить его как и подобает мужчинам, — властителям и рабам, — встретить смерть с большой, последней ложью в сердце: ложью о том, что они избрали Божий путь, следуя мужским понятиям о чести. А я?...

Бывает, что он приходит ко мне по ночам. В первый раз я не знал, кто он. Был ли это Аудун, которого я заставил отказаться писать сагу обо мне, ибо сила правды была в нем столь велика, что плечи конунга не вынесли бы ее? Да, так был ли это Аудун? Нет-нет, не он! И был ли это мой первый отец, или же второй? Видел ли я оружейника или конунга? Я не знаю. Может, то был Эйнар Мудрый, а может,

монах Бернард, который часто поучал меня своими мудрыми словами и с которым мы радовались вместе. Нет, нет, тоже не он.

И однажды ночью я понял: это был Сын всемогущего Бога. Почувствовал ли я себя гордым от того, что меня посетил Сын Человеческий, а не просто святой конунг Олав, как прежде бывало в моей жизни? Именно Сын Божий? И если я ощутил гордость, то она притупилась от страха. И если я ощутил смирение, то оно осквернилось гордыней. Так, с высоты своего света, Он обратился ко мне, но я не слышал, что Он говорил мне.

Он говорил недолго. Я крикнул Ему, — не знаю, было ли это во сне или наяву, — но я крикнул, чтобы Он говорил громче, иначе я не разберу, что Он говорит. И тогда Он умолк и скрылся от меня.

А потом Он вернулся и говорил со мной уже громче, но я снова не слышал, что Он говорит. Я кричал Ему, и Он отвечал, но я не мог разобрать, что именно. Тогда я вскочил, — во сне или наяву, не знаю, — воздел к Нему руки и закричал: «Говори, говори же, чтобы я мог услышать Твои слова!» И Он заговорил громче. Но я не слышал, что Он говорит.

Тогда я вернулся на свое жесткое ложе — теперь-то я не спал — и я знал, что умолчу об этом, хотя столь часто рассказывал о своих снах своим людям. Ибо что же это было, что Он говорил мне?

В дыме над Сокнадалем я вижу ее, и в трупном запахе у Фимрейти я узнаю запах своих сыновей. Но что же Он говорил мне? Теперь я вижу, что меня уже больше не волнует, был ли конунгом мой отец: я знал, что я сын конунга, — я, человек с далеких островов, и однажды отец мой был оружейником, а теперь я — сын конунга. Да, конунга; мои люди верят в это, и я тоже. А если у меня и были сомнения на сей счет, то я отмел их, ибо я один — властитель и раб, и в моей власти выбирать себе происхождение. И пусть Всемогущий не терзает меня за это.

Но что же Он говорил мне? И снова видения: вот они выносят на берег еще один труп! Рука у него отрублена, и человек тот истек кровью, а потом утонул. И вспомнился мне Гаут. А вместе с тем медленно постигал я истину в словах Всемогущего — но не в слепящем свете, а в тихом, не в громе, а в молчании, и мне больше не надо было прилагать усилий, чтобы расслышать эти слова, о которых я лишь догадывался, глядя на шевелящиеся губы.

И Он говорил мне:

— Как властитель этой страны, ты, Сверрир, — сын конунга. Но как раб своих людей и Мой, ты должен испытать горькую чашу: тебе надлежит выбирать не между добром и злом, как делают грубые человеческие души. Нет, ты выбираешь между злом и еще большим злом. Таким будет твой выбор.

Когда теперь хоронят твоих погибших врагов, прости тех недругов, которые остались в живых. Пусть женщины вздохнут свободно, а мужчины вернутся с миром к своим повседневным делам. Твои люди станут властителями в этой стране по твоему слову, а ты сам будешь властителем по слову Всемогущего. И если ты будешь осужден за то, что не встал на путь, указанный Мною, то и люди твои подвергнутся осуждению за то, что не пошли твоим путем. Если твои люди отберут у другого его серебро, убей их. И если они украдут овцу из чужого хлева без твоего разрешения, принародно накажи их. Сделай это. И помилуй их.

Да, именно так. Ты ведь иногда испытывал от этого радость. Иную радость, нежели та, которая охватила тебя после победы у Фимрейти. Велика радость конунга! Но радость прощения больше. Это не значит оставить врага в живых, потому что ты сознаешь, что он пойдет за тобой и поможет тебе в бою с недругами. Нет, это значит идти против разума, когда ты пишешь на дощечке для счета и знаешь, что неразумно оставить врага в живых. Когда твои люди приходят к тебе и говорят:

— Неразумно оставить его в живых! Но лучше отпусти его.

И радость эта неизмеримо выше, она освобождает тебя от рабского проклятия и позволяет сохранить величие конунга.

Но способен ли ты на это? И разве твой разум, твое хладнокровие и трезвый расчет, твои мудрые слова не подталкивают тебя скорее к жестокости и беспощадности? Может, ты и хотел набросить на свои деяния покрывало мягкости, отпустить врага, сохранить ему жизнь, но твои люди, по слову твоему, шли за ним по пятам, а потом, возвратившись, сказали:

— Он предал тебя!... И мы его зарубили!...

Это тебе понятно. Но понял ли ты, что значит простить?

Сможешь ли ты обрести эту главную радость, — ты, сын конунга, — и хватит ли у тебя сил жить, как настоящий конунг? Можешь ли ты

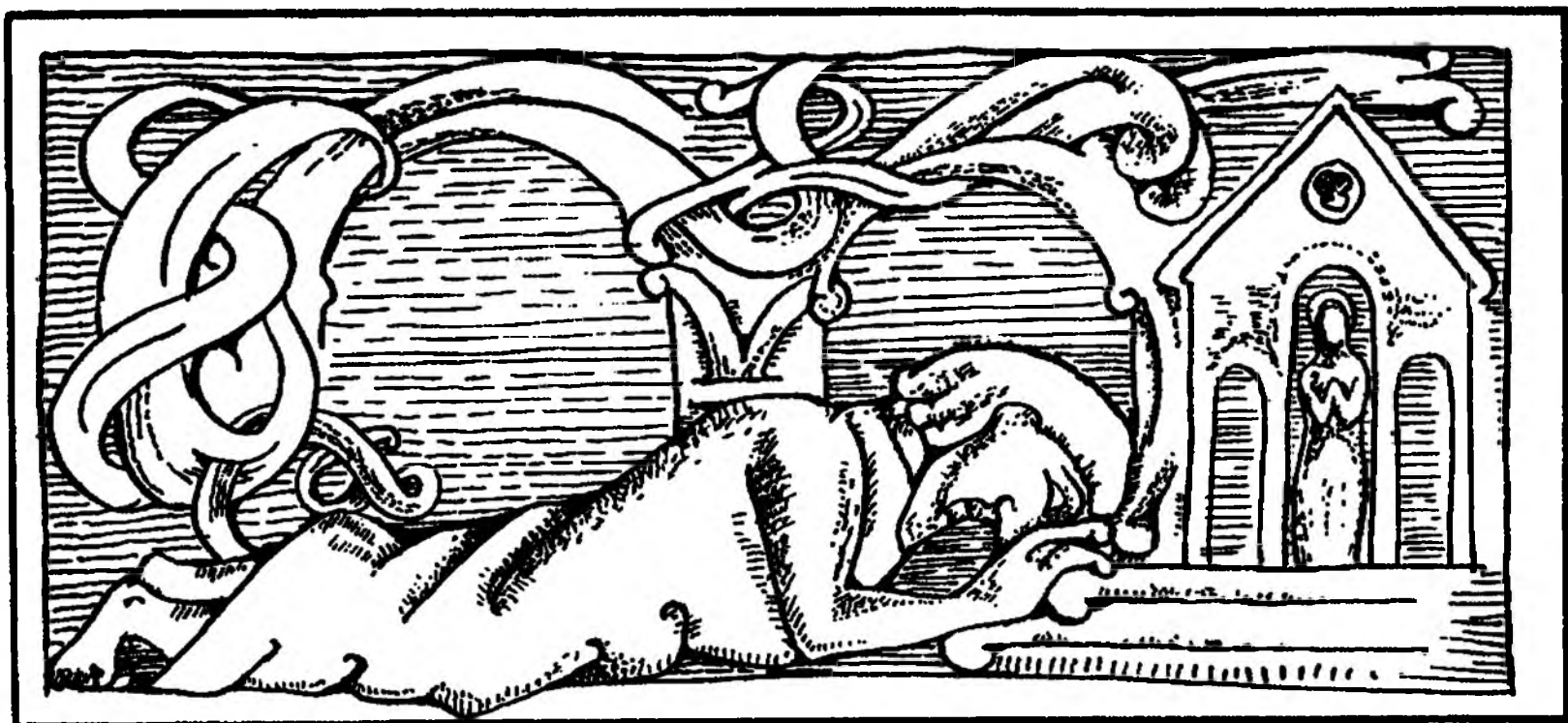
миловать? И сумеешь ли ты однажды предстать пред очами Всемогущего, поклониться ему и уразуметь, что когда Он кладет на чашу весов Астрид, которую ты отослал от себя под черным парусом, трупы Фимрейти с их тошнотворным запахом, и все твои преступления многих лет, — то лишь милость на другой чаше способна приоткрыть для тебя небесные врата? Веришь ли ты в это?

Кажется, ее звали Маргрете? Да, ее имя было Маргрете, это дочь шведского конунга. Захочет ли Астрид простить тебе это? Да, если она жива, то по ту сторону моря уже долетела весть о пышном свадебном пире конунга. Захочет ли она простить?

Отбрось сомнения и ступай к своим людям! Еще остаются в живых воины Магнуса, они выжидают, не зная, захочет ли конунг помиловать их или нет. Твои же люди желают убить их. А ты хочешь их уберечь. Ты понимаешь, что стране нужен мир. Братья и сыновья твоих врагов охотнее пойдут за тобой, если ты пощадишь остатки разбитого войска конунга Магнуса. Объясни это своим людям. Они должны понять тебя.

Но значит ли это простить?

Я видел Его во сне, и я никогда не скажу об этом своим людям: сам Всемогущий говорил со мной. Но конечная мудрость в его словах никогда так и не дойдет до моего сознания, — меня, человека с далеких островов, конунга Норвегии, властителя и раба.



БЕСЕДЫ В РАФНАБЕРГЕ

Господин Аудун рассказывает своему другу Гауту

Этой ночью, мой друг Гаут, когда Рафнаберг будто был под защитой ветра и снега, и никто из враждебных нам баглеров не сумеет добраться сюда из Тунсберга, — желал бы я отыскать слова, чтобы облегчить свою душу. Не знаю, разумно ли я поступил, когда по приказу конунга велел отрубить тебе вторую руку. Может он, конунг, в своей жестокости решивший пощадить тебя, собрался взять назад свою угрозу и не увечить тебя, хотя ты и упорствовал. Когда конунг велик, я выгляжу ничтожным, а там, где его ясный разум непостижимым образом проникает сквозь тьму, — мое разумение не поспевает за ним. Правильно я поступил или нет? И вот ты лежишь здесь! В глазах еще теплится жизнь, а обрубки рук шевелятся, и в груди бьется сердце. На губах играет слабая улыбка, — или это мне кажется во мраке ночи. Я попросил йомфру Кристин пойти к себе и отдохнуть, я хотел остаться с тобой наедине. Она касалась твоих обрубков своими нежными пальцами, после того как Сигурд отрубил тебе руку. Она сидела возле тебя неотлучно, пока ты был без созна-



ния. И если бы слезы могли исцелять, мой друг Гаут, то ты обрел бы новые руки, потому что йомфру Кристин выплакала свое страдание при виде твоего изувеченного тела! Веришь ли ты в тайну прощения? Да или нет? Отвечай мне, Гаут, если в силах ответить: веришь ли ты этой ночью, безрукий, объятый болью, — веришь ли ты в тайну прощения? Да или нет!

Я взывал к тебе сквозь шум урагана за окном, а тем временем йомфру Лив в своем легком платье лежала на каменном крыльце и молилась Божией Матери. Гаут, слышишь ли ты меня? Я все кричал и кричал, но ты не ответил мне: ты отверг мои слова, ты лежишь, укрытый овчиной, глухой к призывам, обращенным даже не столько к тебе, сколько к Сыну Божию. Теперь ты ответишь?

Я расскажу тебе о том конунге Сверрире, которого я знал: то был другой властитель, нежели тот, которого видели ты и прочие люди. Все вы видели человека, который побеждает в битвах, ставит парус и плывет навстречу новым сражениям. А что видел я? Я видел его безоружным, сидящим у очага и погруженным в глубокие мысли; видел перед собой уставшего человека в сомнениях, и у него хватило мужества спросить меня, единственного, кто был близок ему: «Я сын конунга или нет?» Но годы шли и он уже больше не сомневался в своем происхождении. Получалось так, что сомнение это ушло вглубь, но не отпускало его. Прав я был или не прав, когда огнем и мечом рассудил себя и своих противников? Я видел его радостным и видел печальным, когда мы вместе сидели у огня и вспоминали горные тропинки в Кирккюбё, лодки у берега, солнце в горах и нас самих, висящих на веревке над пропастью: семеро держат веревку, пока четверо собирают птичьи яйца. Я видел его и в тяжелых раздумьях у чужих могил: Эрлинга Кривого, конунга Магнуса, — могил, в которых покоятся его враги, ожидая всеобщего воскресения. И он стоял над ними в сомнении. У него хватало мужества сомневаться в своем праве лишать других жизни, — тех, кто покушался на его жизнь. Он был великий человек в своей смелости и в своем трезвом рассудке. И он мог бы стать великим в своей доброте.

Тем более, как я думаю, в вещах менее важных. Как однажды в тот день в Бьёргюне, когда пришло известие о том, что люди конунга, напившись, бросились с оружием друг на друга, и трое из них были убиты. Я хотел, чтобы он набросил на плечи свой красный

плащ, чтобы взгляд его запылал огнем — а конунг умел делать это, — чтобы он созвал своих людей, поговорил с ними, укорил их, чтобы наказание пало им на головы, как ястреб с высоты. Но он не захотел. Он встал на колени и молился.

Можешь ли ты представить себе его: невысокий человек, уже стареющий, со следами многолетних сомнений и битв, стоит на коленях и просит у Сына Божия, чтобы Бог даровал его людям такой же ясный разум, как у него, Сверрира.

Он стоит на коленях и просит... Стоит у очага, с горечью, без надежды. Согнувшись под тяжестью бремени, ибо каждый день кто-то приходит, хлопчет, требует, пьет, похваляется, сомневается в словах конунга. Неужели никогда не наступит покой? Не будет часов тишины, молчания между мессами, когда у ворот уснут стражники и ни один незванный гость не пожалует к конунгу? Я видел его и таким: не властитель, но раб. Склонившись к очагу, так низко, что я боялся, как бы у него не загорелись волосы. Он выкрикивает проклятия Сыну Всемогущего. А потом еще яростнее взывает о прощении, молит о даровании света истинного, об указании пути, о ниспослании доброго дня для него и для всех остальных. Наконец он поднимается с колен.

Я часто видел его таким. И до сих пор я молчал об этом. Но сегодня ночью я хочу, чтобы ты узнал об этом, Гаут, потому что я велел отрубить тебе руку, сказав, что так повелел конунг. Этого могло бы не произойти! Я хочу, чтобы ты узнал другого Сверрира, который тщательно взвешивал свойства своих людей, их доброту и злобу, который наказывал каждого, кто крал серебро из чужого пояса или силой брал женщину. Но наказывал он всегда неохотно. И этой ночью я вижу конунга, преклонившего колени перед ракой святой Суннивы в Бьёргюне или долго, неподвижно стоящего перед мощами святого Олава в Нидаросе. Он стоит одиноко, скрытый от посторонних взоров. Таким он тоже был, на людях, хотя подчас и против воли, с ухмылкой. Чаще всего мы стояли одни, — конунг Норвегии и я. И в такие минуты он искал совета у Бога. И бывало, что получал его.

Какую посмертную память он пожелал бы оставить о себе в стране? Только не то, что он был конунг, который бесстрашно вел своих людей в бой. По правде говоря, он редко рвался в бой, впереди всех.

Это было бы не разумно с его стороны. И он знал, что люди наговаривают на него. Он позволял им делать это. Он знал об их пересудах: наш конунг не идет впереди всех в бой, как бывало раньше у конунгов! Но он не принимал разговоры близко к сердцу. Ибо он сознавал, что мужество его не покинуло. Как и мужество слыть малодушным. Нет, он хотел, чтобы о нем после смерти говорили в стране: этот конунг умел сделать правильный выбор, когда ему приходилось стоять между двух зол. Думаю, что именно о такой памяти он мечтал.

Однажды он сжег селение возле Боргарсюсселя, потому что ему надо было покарать тамошних бондов. Но один двор уцелел, и к конунгу выбежал маленький мальчик, прося пощадить дом. Тот поднял мальчика на руки и повелел своим воинам не трогать оставшийся двор. А когда служанки распевали хулительные песни о конунге, и он вышел к ним, так что они затряслись от страха, — он лишь усмехнулся и ткнул их кончиком ботинка, сказав при этом, что поют они неплохо. Но что он ненавидел, — так это измену.

Хотя он мог простить и изменнику. И тут, Гаут, есть в его действиях нечто такое, чего мое разумение — столь же ясное, хотя и не такое, как у него, — постигает с трудом.

Этой ночью, Гаут, я хотел представить тебе человека на коленях, у огня, — человека, зовущего Бога и ждущего ответа. Что делать ему со своими людьми, чтобы дать им надежную, внутреннюю силу? Три воина пали в стычке после того, как напились в Бьёргюне. Когда настало утро, он приказал собрать войско и говорил своим людям о проклятии пьянства и о той силе, которую дает ясный разум.

Кто-нибудь скажет: «Лицемер». Другой скажет: «Он богохульствует». Но я знаю, что правды в нем было больше, чем лжи, если только сильный человек должен нести еще и бремя лжи.

Так ответь мне, Гаут, веришь ли ты этой ночью в тайну прощения? Открой рот пошире, чтобы я смог влить горячее молоко между твоими посиневшими губами; и хлеб я для тебя разжевал, — это я, кто велел отрубить тебе руку! Но прежде ответь, веришь ли ты в бремя прощения этой ночью?

— Веришь ли ты, господин Аудун, что руки у меня вырастут заново, если я прощу врагу своему?

— Я верю, Гаут, что если ты сможешь простить меня — своего друга и недруга, — то ты умрешь спокойно, и я тоже почувствую лучик радости, прежде чем умру.

— Тогда я прощаю вас обоих, господин Аудун: конунга Норвегии и тебя. Оба вы были рабами, а я, прощающий вас, — единственный, кто сумел господствовать над вами.



Господин Аудун рассказывает бонду Дагфинну

Я позвал тебя сегодня ночью, Дагфинн, чтобы ты сел у огня, взяв в руки нож, и доделал наконец ручку для лопаты. Сколько зимних ночей ты сидел вот так: мысли бродят далеко-далеко, мерзнут ноги, а на столе перед тобой — рог с разбавленным пивом. Идут годы, женщины оставляют нас, конунги ездят по стране. А ты, Дагфинн, каждый вечер берешь нож, благодаришь Бога за пиво и покой и трудишься над ручкой для лопаты.

Разве тебя не схватил за сердце ледящий страх, когда я позвал тебя сегодня вечером? Разве господин Аудун не узнал только что, кто ты — дьявольское отродье, участник последнего большого восстания бондов против конунга Сверрира в Вике? Ха-ха! Дагфинн, я давно знал об этом. Но неужели ты думаешь, что я мог придать значение тому, что ты, вшивый бонд, был когда-то вынужден взять в руки топор и пойти в бой, с неохотой, с ненавистью как к тем, против кого ты сражался, так и к тем, на чьей стороне ты был. Не думаешь ли ты, что я, друг конунга, вместе с его дочерью, — моим главным сокровищем, — захотел бы отклониться от нашего пути в поездке через страну, ради того, чтобы свернуть в Рафнаберг и излить на тебя свою месть, покарав тебя за совершенные злодеяния? Нет! Нет! Мы приехали сюда, чтобы быть в безопасности. А то, что ты совершил когда-то, пусть будет теперь забыто, как сосульки прошлой зимы.

Ты смотришь на меня, Дагфинн, и улыбаешься. Но если ты намереваешься упасть предо мной на колени и восхвалить мою доброту, то не терзай меня этим сегодня ночью. Я позвал тебя, потому что мне надо поговорить с кем-нибудь, — теперь, когда йомфру Кристин устала, а наш добрый Гаут дышит так тяжело во сне. А я хотел сказать тебе вот что. Ты думаешь, я не заметил вспыхнувшей страс-

ти между тобой и Гудвейг, как не видел я и крови и пота каждого бонда в стране, и кровь и пот их струились по моей спине, когда конунг пустил в ход кулаки против вас? Нет же, я все это чувствовал на себе самом! Ты не веришь мне? У меня на самом деле есть такая способность: когда вы изнывали, то мука ваша сидела словно колючка в моем сердце. И в сердце конунга тоже.

Опять не веришь? Да нет же, это было именно так. Боль поражения других людей колючкой застревала у меня в сердце, и у конунга тоже. Когда многие из вас тайком отправлялись в поход, стягиваясь со всего Вика, единственно для того, чтобы разбить войско конунга Сверрира, и когда вы же, истекая кровью, с позором отступили, — без оружия, без чести, еще беднее, чем прежде. Тогда конунг сказал: «Боль потерпевших поражение — как шип в моем сердце, Аудун! И в твоём тоже».

А знаешь, Дагфинн, я часто думал обо всех этих противниках Сверрира: ведь они могли бы быть моими друзьями. И мысль эта приходила мне в голову и тогда, когда я увидел в Бьёргюне бездыханное тело Йона Капюшона, — того самого беднягу, который присвоил себе королевское имя и пошел против конунга Сверрира. Он говорил, что является сыном конунга Инги! Но даже его соратники не верили его словам. Против Йона никто не восстал. То был человек без чести, ему не хватало той ясности мыслей, которую всегда так ценил в себе и других конунг Сверрир. Да и смелостью он не отличался: он был просто орудием в руках епископов и прочих людей в рясах, — тех, кто так умеет изрыгать проклятия на голову конунга своей страны, натянув на себя капюшоны, — и одновременно, теми же устами, петь Господу хвалу. Таким вот и был Йон Капюшон. Но когда он поплатился за все и лежал, словнодохлая рыбешка на берегу, нагой, с разрубленной головой, и похож он был на нищего, — я стоял и смотрел на него. А рядом со мной был конунг. И Сверрир тогда сказал: «Вот теперь он красивый».

А я заплакал над погибшим. Бедняга, павший в бою, он вступил на бесчестный путь, взалкав славы. Говорили, что Йон был сыном некоего Петера из Бьёргюна и Астрид Стейк, как звали несчастную жену того человека. «Приведи их», — велел конунг. Сперва мы накрыли тело погибшего. А потом люди конунга привели Петера и Астрид, двух немощных, старых людей, трясущихся от страха при взгляде на конунга.

— Есть ли какой-нибудь признак, указывающий на то, что это ваш сын? — спросил Сверрир.

— Да, — ответил ему Петер, — однажды он задел правую ногу косой, и с тех пор на том месте остается шрам.

— Снимите чулки с умершего, — приказал конунг. И когда его приказ исполнили, Петер сказал:

— Да, это мой сын, который лежит у моих ног мертвый.

И он зарыдал, а за ним его несчастная жена Астрид рыдала над трупом сына. Сверрир и я тоже прослезились, глядя на Йона Капюшона, беднягу, который поднял людей против самого конунга, встал на путь лжи и поплатился за это жизнью.

Иным было восстание Сигурда сына Ярла. Он, сын Эрлинга Кривого, возмечтал стать конунгом в стране после того, как пал его брат, конунг Магнус. Но Сигурд был умен и знал, чего ему требовать. Одно время он был при дворе Сверрира. Да, у нас был двор в годы после того, как Сверрир вступил в брак с королевой Маргрете. Я вспоминаю о том времени с отвращением и ненавистью, а конунгу эти воспоминания еще более гадки. Сын Эрлинга Кривого был при дворе, ел за столом конунга, говорил с самим конунгом, носил оружие, и все это под носом у конунга, рядом с ним, как и другие. И никто за ним не следил. Многим это не нравилось. Люди считали, что он может нанести Сверриру удар в спину. Но Сверрир говорил: «Мои вчерашние недруги завтра станут мне друзьями».

И вот поднялись против конунга баглеры, и Сигурд сын Ярла сразу перебежал к ним. Он сделался одним из наших самых опасных, грозных и, вероятно, благородных противников.

Его преследовали. Его людей убивали. А они все лелеяли мечты об убийстве конунга Сверрира. Спасаясь бегством после одной из наших многочисленных битв в Бьёргюне, Сигурд пробирался через Телемарк. В церкви Винье он вырезал проклятие королю Сверриру. Сделано было красиво, как говорили об этом. А Сверрир, этот неопостижимый человек, послал в Винье нескольких своих воинов, и в том числе братьев Фрейланд, которые знали каждую тропку в Телемёрке. Он повелел им переписать проклятие и привезти его королю. Он прочел его с болью в сердце. «Неужели Сигурд был мне другом? — спросил он. — И теперь он так складно прокликает меня? У Сигурда была способность к дружбе, как мало у кого из тех, кто

попадался мне на пути, — сказал Сверрир. — Он был сыном моего главного врага. И некогда он сидел со мной рядом. Что же побудило его бежать от меня? До чего же он складно умеет проклинать!» — повторил конунг.

Я могу также вспомнить ярла Харальда с Оркнейских островов, который поднял восстание в Эйскегге. В далекой молодости, когда мы со Сверриром гостили на Оркнейских островах, мы встречали там ярла. Тогда он был юным и надменным. А теперь он приплыл в Норвегию и был вынужден склонить свою упрямую голову перед конунгом. Ярл Харальд поставил себе целью убить конунга. И вот он молит о пощаде. Он был прощен. Люди конунга стояли вокруг и негодовали, глядя на ярла. А тот преклонил колени перед Сверриром. В тот день он уже не был спесивым, этот ярл с Оркнейских островов! Конунг сказал ему: «Однажды в нашей юности мы уже встречались...» И это было единственной мстью конунга Сверрира. Ярла отправили через море обратно. И когда он взошел на борт корабля, в тот миг, Дагфинн, мне стало жаль его.

Сегодня ночью хочу я вспомнить, Дагфинн, и прекрасную сестру конунга Сверрира, фру Сесилию из Хамара в Вермланде. Она встретила смерть в Нидаросе. Она родила сыновей, и многие мужчины пленялись ею. Она имела власть, как сестра конунга и жена Барда сына Гутторма. Но вдруг она умирает. Она прибыла в Нидарос с большой пышностью, и может, опять жадная до мужчин; со своей свитой она прискакала из Гьёльми в этот город Сверрира. Она спрыгнула с коня, в ней еще были силы и прелесть, и она с улыбкой обняла меня, а потом обняла еще нескольких охранников конунга, которые, как и подобает, находились рядом. Она вбежала в дом и вновь вышла к нам: сняла свой дорожный костюм и надела легкое платье, которое обнажало ее роскошное тело. А на следующий день внезапная болезнь унесла ее в могилу.

— Дьявол впился мне в грудь, — стонала она перед смертью. — Ты, Аудун, как священник, прогони его своим поцелуем...

Я обнажил ее белоснежную грудь и прогнал поцелуем от нее лукавого.

Сердце ее всегда было открыто для мужчин. Многие из нас скорбели о ней. Целый день простоял я у постели, глядя на тело умершей Сесилии, и не чувствовал усталости. Я долго плакал над ней. Думаю,

что на земле Божией она проиграла. Она любила многих, но никогда — кого-нибудь одного. И потому она проиграла.

А знаешь, Дагфинн, кто главный проигравший из всех тех, кто пошел за конунгом Сверриром? Я знаю. Это я сам, и вот теперь я сижу перед тобой — глядя на твои завшивевшие волосы, чувствуя твое зловонное дыхание и видя тусклый взгляд. Да, смотри на меня. Это я проиграл.

Знаешь ли ты, что однажды я держал в своей злой, покрытой шрамами руке сагу аббата Карла сына Йона о конунге, и дрожал. Это я, друг конунга, которому было известно малейшее веяние его могучей мысли, его сокровенные мечты, — я должен был написать сагу о нем. Но автором стал аббат Карл.

И в этом — мое поражение! Я проиграл, потому что требовал идти путем истины. Должен ли я был простить конунгу, когда он избрал аббата? Часто я подумываю об этом. Но иногда мне так не кажется. И я сижу здесь обиженный и озлобленный, а в моем распоряжении одно-единственное сокровище! Дочь конунга. И последнее, страстное желание в моем сердце — рассказать йомфру Кристин-правду о ее отце, конунге Сверрире.

Я потерпел поражение.

А что, если я когда-нибудь — хотя я сам не верю в это, — что, если я на склоне лет моих, убеленный сединами, смогу обрести покой в каком-нибудь монастыре, кликну монаха, ибо мои руки трясутся от старости, и скажу ему: «Записывай! Это истина о Сверрире, конунге Норвегии, властители и рабе»...

Но нет, долго мне не прожить, бонд Дагфинн.

А теперь поднимайся и ступай прочь. Взгляни на меня и знай, что из нас двоих, проигравших, ты, бонд, проиграл меньше меня. Но знай также и то, Дагфинн, что тот, кто победил в бою, — конунг, — потерпел поражение перед Всемогущим Господом. Путь к Богу открыт только одному, не ведающему горечи поражения: тому, кто простил своим врагам то, что они отрубили ему вторую руку.



Господин Аудун рассказывает фру Гудвейг

Я велел тебе прийти сюда, фру Гудвейг, чтобы мы вместе отдохнули у очага в эту темную ночь в Рафнаберге. Мне хочется верить, что ты пожелаешь услышать мой стареющий голос, что ты будешь внимать мне, прикрыв глаза, как сестра, повинующаяся своему брату. И я знаю, что ты предпочитаешь молчать в моем присутствии! Ты хорошо помнишь, как я ударил тебя кожаным ремнем по запястьям, когда пришел сюда. Но сегодня ночью я прощаю тебе молчаливость, фру Гудвейг! Дай сказать мне, ибо для меня это радость, и самая большая из моих многочисленных слабостей — это слишком сильная радость перед словом. Йомфру Кристин покинула меня сегодня вечером и удалилась в комнату своей служанки, йомфру Лив. Ушла она по моему желанию. Ибо сага, которую я расскажу этой ночью, не предназначена для ее ушей. И расскажу я о ее матери, — о женщине, которую я сперва встретил с недоверием и без радости, а потом испытал к ней лишь ненависть.

Итак, мой брат конунг — сегодня ночью я буду называть его именно так, — послал своих воинов в страну свеев, чтобы просить конунга Эйрика сделать его дочь королевой Норвегии. Они никогда раньше не видели друг друга — человек с далеких островов и Маргрете. Она рано выучилась семенить своими атласными туфельками по таким огромным залам, которых в нашей стране и не сыщешь. Но я особенно не опасался, что именно это воздвигнет между ними стену. Нет, если бы она была умна и послушна своему мужу, как всякая добрая жена, то она получила бы взамен благодарность и возвысилась бы, как и подобает истинной королеве. И оба они зажили бы счастливой супружеской жизнью. Но этими качествами она не обладала.

Люди, которых конунг Сверрир послал в Швецию, чтобы взглянуть на Маргрете, были проницательны и рассудительны. И среди них — Эрлинг сын Олава из Рэ. Вернувшись назад, они ответствовали конунгу, что дочь конунга свеев Эйрика станет для нас королевой, лучше которой нельзя и пожелать. И молвив это, они замолчали. А я был уверен, — ибо я хорошо знал его, любое изменение его лица и голоса, — что Эрлинг сын Олава из Рэ умолк прежде других. Я отвел его в сторону, чтобы поговорить наедине. «Что скажешь?» — спросил я его. «Я скажу то, что говорил всегда», — ответил он. «Трудно угадать твой ответ», — продолжал я. «Значит, мы единодушны», — сказал он и отошел от меня.

И вот приехала она. Мы встречали ее в Ямтланде, — эту женщину с гордой осанкой, уже не молодую, без блеска юности и красоты в глазах и на лице. Я не хочу сказать, что она оказалась для нас полным разочарованием. Ибо надежда в человеческом сердце покидает нас последней, фру Гудвейг. Но вовсе не каждая золотая монета, которую достаешь из ларца, сияет небесным светом. Он, конунг Норвегии, игрок на многих досках, мужчина, владеющий своим телом безусловно, радостно бросился ей навстречу. Волосы и бороду он причесал по-новому: ради такого случая он сильно навощил их, чтобы пряди не развевались на ветру. А потому волосы на его голове жестко топорщились, хотя он не любил этого. Он обнял ее за талию. Помог сойти с седла.

Ему следовало вести себя иначе. Ей не понравился прием, и она даже не сумела скрыть свое недовольство. Да и лошадь ее вряд ли одобрила свою первую встречу с конунгом Норвегии. Она поднялась на дыбы и в гневе пустила большую струю. К ней подскочили два конюха и схватили ее под узцы. Но это должен был сделать он, чтобы поддержать всадницу. Воспитанная при королевском дворе, она заметила его оплошность, но подчинилась и промолчала. Будущий муж ей не понравился, и ее ожидания потускнели. Потом она уже не молчала.

Фру Гудвейг из Рафнаберга, позволь мне еще сказать! В тот день конунг казался нерадостным. Он встретил женщину с безобразными ногами! Когда ветерок приподнял складки на ее платье, все увидели ноги в чулках. Женщина эта была слишком крутой в плечах, узкой в бедрах, тяжела там, где это было лишним, и совершенно без жен-

ской мягкости. Волосы ее были без блеска, хотя их и расчесывали каждое утро ее многочисленные служанки, которых он привезла с собой из отчего дома. Зубы были мелковаты и некрасивы: они виднелись тогда, когда она ела; это были не зубы хищного животного, — нет, в этом она не казалась опасной, — и главное, они не блестели между нежными губами, они не впивались в яблоко так, что сок брызгал в разные стороны. Нет-нет. Но когда она говорила, она походила на хищницу.

Была ли она умна? Не думаю. Я не думаю, что ее ума хватило бы на что-то большее, чем просто выбрать самое неподходящее время для кровавой порки провинившихся слуг, или же для битья палкой по проворным пяткам служанок, бегающих после этого еще проворнее. Она редко молчала, хотя именно молчание было ее долгом. Она часто говорила даже тогда, когда молчал ее муж. И это, фру Гудвейг, мне не нравилось в ней больше всего.

Я, конечно же, понимаю, что будучи близким другом конунга, я должен был неизбежно испытывать чувство неудовольствия от того, что у него теперь появился тот, кто окажется ему ближе, чем я. Но это еще не вся правда обо мне и королеве Маргрете. С Астрид я встречался наедине. Маргрете же я встретил как один из других мужчин.

Фру Гудвейг, постарайся понять меня. Маргрете была дочь конунга, но она не была рождена с королевским достоинством и благородством. Так и случилось: она делила с конунгом ложе, не обладая теми качествами, которые истинная королева подносит в дар своему народу. А еще хуже было то, что она не была рождена стать женщиной. Ей следовало бы родиться мужчиной, стоять лицом к лицу с врагом на поле брани, пасть от смертельного удара и быть похороненной в земле, после того как более известные герои станут прахом прежде нее. Но вместо этого она делила ложе с конунгом.

Свадебный пир в Бьёргюне был невеселым. Конечно, его отличали пышность и изысканность, и повсюду были выставлены длинные столы, а вокруг конунговых чертогов выросли палатки, где люди могли выпить и поесть за здоровье королевы. Со всех концов страны съехались музыканты. Звоном литавр и пением труб приветствовали они конунга и его жену, шествующих во главе процессии из церкви. Мечами били о щиты, семенили женщины, кричали дети; священники преклонили колени, а мощи святых — их оказалось

больше, чем я думал, — были вынесены в раках из церкви, и их несли впереди и позади конунга. Ликование росло, и Господь Всемогуший тоже радовался на небесах, но больше всех осталась довольной королева. Вообрази себе прическу конунга Сверрира, фру Гудвейг. Конунгу надо было бы сказать ей, что на свадьбе лучше будет, если волосы его взъерошит ветер, а он сам сможет подбежать к какому-нибудь ребенку и похлопать его, подмигнуть старушкам, вскинуть руки над головой. Но она была против. И он промолчал. В этом был первый признак того, что он больше не единовластный правитель в своей стране.

Волосы конунга были еще сильнее смазаны воском, чем в тот раз, когда он встречал королеву. Они казались деревянными, а борода стояла торчком, словно ей незнакомы были ни ветер, ни дождь, ни солнце. У конунга был совсем иной вид, не такой, как раньше, — и отчуждение между ним и его людьми выросло. Она не поняла этого. И он молчал.

Он надел штаны, которые были ему узковаты сзади. Прежде конунг Сверрир любил носить широкие, просторные штаны. И ходил размашистой походкой. И хотя это было не всегда красиво, он не хотел стеснять своих движений. Вскакивал ли он на коня или, наоборот, соскакивал из седла на землю, — он всегда двигался быстро, проворно, и в движениях его было нечто от свободных повадок животного. Но теперь штаны оказались слишком узки. Я хочу назвать это именно так. То было последнее изобретение при дворе ее отца, который ежегодно посылал своих гонцов на юг, в большие страны: штаны на мужчинах должны быть заужены спереди и сзади. Ты хорошо разбираешься в женщинах, фру Гудвейг, или тебе лучше знакомы мужчины? Ты должна знать, что если одна женщина по особому причешется, собираясь на праздник, или ту же затянет пояс на талии, так что конец его торчит наружу, — то на следующем же перекрестке ей будут подражать остальные женщины. Однажды в старые добрые времена мы говорили об этом с конунгом Сверриром. И оба мы считали, что любой наряд, мужской или женский, должен шиться после тщательного размышления о том, для чего это нужно. И когда хорошенько поразмыслят, то можно время от времени вносить небольшие изменения в свой наряд. Ни он, ни я никогда не понимали, зачем шить себе такую одежду, которая сидела бы как

шило в одном месте — прости мне эти вольности сегодня ночью, — или жала бы там, где не надо. И все это лишь потому, что прискакал посланец из южных стран с известием о том, что там, на юге, у всех зад обтянут узкими штанами.

И все же, когда пробил час, Сверрир надел такие узкие штаны, что не мог наклониться и взглянуть на собственные башмаки.

Хуже того: башмаки ему тоже жали.

Не знаю, натер ли он себе ноги, и смог ли он потом сам, без посторонней помощи, намазать ссадины мазью. Он никогда не рассказывал потом об этом. С тех пор, фру Гудвейг, как Маргрете вошла в его жизнь, — и в мою тоже, — между мной и конунгом не было уже той близости, как прежде.

Внесли первые блюда... Да, богатой была Норвегия конунга Сверрира, эта бедная страна. За столами восседали люди, — важные, будто в церкви, — и с натертыми воском волосами. Но веселья между ними не было. Хотя лакомые блюда их порадовали, спору нет, да и большие рога с напитками тоже, что никогда не нравилось конунгу. Жир тек по рукам, как положено, смешиваясь с воском в бородах, таял в жарком пламени свечей; славные воины отрыгивали пищу, воздух в зале был спертый, но жадность до еды не уменьшалась. Отведала ли она угощение?

*Жареная дичь на блюдах,
Поросята с яблоком во рту,
Бычок с яблоком в зад,
Супы с большими луковицами,
В жире плавают рыба,
Рыба с тимьяном во рту,
Ряды золотистого хлеба,
Сласти на ценном блюде,
Снова рыба с тимьяном,
Фрукты заморских стран,
Вишня, мед,
И теленок, заколотый на бегу,
Зажаренный на бегу,
Внесенный в зал на бегу.
Хлеба ряды, и масло,*

*Кубки, полные меда,
Рога, глотки и чарки,
Бычок с яблоком в задугу,
В зал на бегу внесенный.
Отведала ли она угощение?*

Я сидел поблизости. Она ни разу не повернулась ко мне. Я больше не принадлежал к тем людям, с которыми королева обязана разговаривать, хочет она этого или нет. Она поковыряла в тарелке. С большей охотой она отхлебнула из рога, но даже после этого она не проявила особой радости по поводу того, сделалась королевой в стране конунга Сверрира. Да, если бы она могла — хотя ее этому не учили, — вскочить на стол и танцевать между блюдами с мясом, обхватить шута за талию, приподнять его и отшвырнуть в сторону, подхватить под руки знатную персону и танцевать с ним, велеть принести новый рог и осушить его до дна, а потом, — чтобы мы это видели, — размахивать юбкой, показывая ноги, снова опустить подол, схватить конунга за волосы и поцеловать его, и чтобы все гости вскочили на ноги и приветствовали своих повелителей. Но она всего этого не умела.

Нет. Отведала ли она угощение?

Догорели свечи.

Многие гости уже покинули зал, но еще звенели литавры и пели трубы. И низенький шут с бубенчиками в волосах проделывал свои последние кувырки и танцевал на цыпочках вокруг почетных сидений. Трудно было понять, о чем задумался конунг. Один за другим, гости кланялись новобрачным, уходя с пира. Сверрир учтиво отвечал на поклоны. Королева тоже слабо кивала в ответ. Наконец, в зале остались только служанки и я.

Стража еще стояла у дверей, потом ушли служанки. Свечи догорели. Последний стражник покинул зал, и я вместе с ним.

Тогда конунг встал и повел свою невесту туда, куда ее теперь надо было вести.

Впереди шла служанка с зажженной свечой.

Затем она их оставила наедине друг с другом.

И тогда, фру Гудвейг из Рафнаберга, конунг вернулся в мыслях к Астрид из Киркьюбё.



Йомфру Кристин рассказывает господину Аудуну

С радостью в своем бедном сердце, господин Аудун, я говорю с тобой в эту ночь, после того как ты ночи напролет, — с большей радостью, нежели с искусностью, — изливал на меня свои речи. Я знаю, что ты общался с моим отцом конунгом гораздо больше меня. Что ты сопровождал его повсюду, давал ему советы, а иногда — прости мне мою вольность, — дурачил его. И я знаю также, что ты меньше, чем я, успел побыть с моей матерью, королевой. А потому ты разумно умолчал о ней, и в этом я вижу твое почтение перед королевой, женой моего отца. И все же я заметила, что когда ты умолчал о ней, в глубине души твоей скрывалась неприязнь к моей матери. Я знала об этом. И я хочу рассказать тебе правду о моей матери-королеве.

Ты знаешь, господин Аудун, что она желала увезти меня из Бьёргюна в Швецию и выдать там замуж. Меня это не радовало. Я всегда самолюбиво надеялась, что стану женой только такого же высокородного человека, как мой отец. И разве могла Швеция предложить мне жениха королевского достоинства? В этом я сомневалась. Но будучи послушной дочерью, я последовала за матерью, и тогда ты и твои люди похитили меня в Осло и увезли от королевы, так как биркебейнеры не хотели отпустить меня, дочь конунга Сверрира. За это я прокляла тебя, и справедливо. Вот еще что — только молчи об этом, забудь то, о чем я тебе скажу: втайне я радовалась тому, что вернулась к людям, к которым принадлежал и всегда будет принадлежать мой отец-конунг.

Вот почему я так охотно последовала за тобой и без ропота выслушивала твои длинные речи: они красивы, разумны и глубоки. Но слишком уж ты многословен, господин Аудун.

Сегодня ночью ты посматриваешь на мою вздымающуюся грудь? Ты не веришь, что я стала женщиной? Думаешь, я не вижу в твоём голодном взгляде желания обладать тем, что скрыто под одеждой? По правде говоря, я считаю, что ты не самый безобразный из всех мужчин, которых я видела, хотя и не самый красивый. Как и мой отец-конунг, я верю, что ты самый умный из всех остальных. И у тебя учтивые манеры, что мне всегда нравилось; ты красноречив, и это тоже мне по вкусу. Когда ты говоришь с женщиной, то всякое слово у тебя — это слово. Потому-то, господин Аудун, я вижу в тебе не только друга своего отца. Я вижу в тебе еще и мужчину.

Но слишком старого мужчину! Ты знаешь это так же, как и я. Поэтому я могу прямо сказать тебе об этом и поблагодарить за твою помощь и доброту, за заботу о моей служанке, йомфру КристинЛив, и обо мне. Но моя мать-королева не любит тебя.

Любил ли ты в своей жизни женщину, господин Аудун? Мне казалось, что ты любил Астрид, — ту женщину, которая была с моим отцом, прежде чем в его жизнь не вошла моя мать. Я ни капли не уважаю эту Астрид. Она из тех немногих женщин — или многих, — которым я никогда не доверилась бы при встрече. Но любил ли ее ты? Да или нет, господин Аудун? Ты молчишь, когда с тобой говорит дочь конунга? Что же, молчи и знай, что я чувствую удары твоего сердца. А ты, чувствуешь, как бьется мое?

Все могло бы быть, господин Аудун, если бы мы повстречались в горах Киркьюбё, которые ты восхвалял столь часто! И если бы мы оба были в самом начале своей весны. И если бы мы шли одинаковыми тропинками, которые привели бы нас друг к другу: я — не дочь конунга, а простая девушка, у которой две овцы да одна скирда сена. А ты — парень с косой в руках.

Мы встретились бы под птичье пение с высоты небес, под ветер с моря, под бурю и солнечный свет! И там ты дал бы мне то, чего я никогда не ждала от мужчин: я не думала, что кто-нибудь из них способен любить меня, когда наступит мой счастливый — или несчастливый, — час и когда он ночью снимет с меня сорочку, — если он не будет похож на тебя.

Но мать мою ты не любил. Любила ли ее я? Так знай же, что она вела себя с величайшим достоинством и всегда поддерживала своего мужа-конунга. Он прислушивался к ее советам. Да, и она рассказывала

мне, что при первой их встрече он навошил свои волосы, хотя ему это было не по душе, а на свадебный пир, где ты был их дорогим гостем, он надел тот наряд, который выбрала для него она. И таким послушным, — хотя это слово не подобает относить к конунгу, — таким почтительным и готовым исполнить ее желания был он все это время.

Моя мать-королева часто рассказывала мне о свадебном пире и о радости моего отца, о том чувстве, которое они испытали друг к другу при первой же встрече. О любви с первого и до последнего взгляда. Рассказывала она и о том, как время от времени, но не часто, ибо она поступала умно, — она могла направить мысли своего мужа в иное русло и убедить его изменить свои приказания. Она обладала своей долей власти. Но никогда не злоупотребляла ею. И она следила за порядком в королевских покоях, чего никогда не умел делать отец. С того дня, как она вошла в его жизнь, он постоянно намазывал себе волосы воском.

Знаешь ли ты, господин Аудун, каково мое тайное желание? Однажды увидеть тебя с навощенными волосами. Не в Рафнаберге, не в бурю и шторм с севера. Нет-нет! В Рафнаберге такие вещи выглядели бы насмешкой над нами. Пусть это было бы в один прекрасный день, в королевском дворце в Бьёргюне: тыходишь, кланяешься моей матери-королеве и мне, и волосы твои падают тебе на лицо при поклоне. Тогда я смотрю на тебя, — без суровости, но с легким раздражением во взгляде. Ты поворачиваешься и уходишь. А потом возвращаешься с блестящими от воска волосами.

Ты простишь меня, господин Аудун, за то, что я раньше не рассказывала так много о своей матери-королеве? Она частенько наказывала меня, но никогда не позволяла делать этого служанкам. Она сама вела меня в свою комнату и там наказывала. И я знала, что когда слезы высохнут, а моя мать-королева отдохнет, — придет мой отец-конунг и принесет мне меду. Он никогда не наказывал меня.

И он разрешал мне ездить верхом без седла: я до сих пор люблю делать это. Он требовал от меня, чтобы я научилась благородному искусству чтения, но он также понимал, что женщины любят наряды, и позволял мне наряжаться. Видел ли ты нежность в глазах моего отца, когда он встречался взглядом с моими?

Господин Аудун, если бы Господь дал мне выбрать между моим отцом и матерью! Тогда я преклонила бы колени пред Богом и ска-

зала: «Да минует меня эта чаша!» А если бы Он и дальше настаивал, то какой же мне сделать выбор, господин Аудун? Ответь мне, ты ведь все знаешь.

— Ты сама знаешь ответ, йомфру Кристин.

— Господин Аудун, что ты еще мне скажешь этой ночью?

— Йомфру Кристин, прежде чем ты уйдешь к своей служанке йомфру Лив, я хочу, чтобы ты знала, что для меня ты — дочь конунга, и только. Что же скрывается в глубине моего грешного сердца, — это ведает один Господь Всевидящий.

— И иногда я, господин Аудун.

— А теперь ступай к себе, йомфру Кристин.

— Я ухожу одна, господин Аудун. Но знай, прежде чем я уйду, что в девичье сердце ведет очень узкая дверь, и лишь избранные достаиваются чести заглянуть в нее.



ЕПИСКОПЫ И ПРОКЛЯТИЕ

Этой ночью, йомфру Кристин, я хочу рассказать тебе о тяжелой битве в жизни твоего отца-конунга, — и о последней. Ты, конечно же, знаешь, что после победы в Фимрейти твой отец стал единовластным правителем в стране, и если он не получил мира в последующие годы, — зато он получил власть. Но мир в стране был главной целью конунга Сверрира, и он настойчиво добивался его. Он был уже не молод. Не мне судить, был ли он счастлив или нет в глубине своей души. Но планы его были обширны: бонды получали от него помощь, развивалась торговля, на места посылались чиновники, чтобы править от имени конунга. И многие из тех, кто прежде восставал против конунга Сверрира, были помилованы. Но теперь врагами его сделались и бонды, и церковники.

Все началось с того, что архиепископ Эйстейн слег и находился при смерти. Возможно, этот мудрый отец церкви давно почувствовал приближение смерти, но молчал об этом. Однажды к конунгу пожаловал гонец со срочным известием: не угодно ли конунгу сей же час отправиться на двор к архиепископу? Сверрир взял с собой только меня. Мы вошли в покои архиепископа Эйстейна. Он



возлежал в своей комнате, больной, угасающий, и рукопожатие его было слабым, безжизненным.

Епископ пригласил нас сесть и сказал:

— Мой господин, прости, что я попросил тебя приехать сюда, а не сам, как подобает, посетил тебя в королевском дворце. Мне приходит конец, чего я долго ждал и, конечно же, боялся, хотя мне и следовало бы с радостью встретить тот час, которого никому не избежать. Знай же, конунг, что я давно ненавижу тебя, и даже теперь, когда мне становится иногда легче, продолжаю ненавидеть тебя, конунга Норвегии...

Конунг не проронил ни слова.

Архиепископ вновь заговорил:

— Но, господин мой, всякий раз я уединялся и говорил: «Если владычество Сверрира та чаша, которую мне предстоит испить, то пусть это свершится! Ибо как же я, — слуга Церкви, если не слуга Божий, — могу верить во всемогущество Бога, когда я не верю, что конунг — помазанник Божий? Ты пришел к нам с далеких северных островов, без людей и оружия. Но ты сделался конунгом и остаешься им и по сей день.

Так значит, на то воля Божия? Я склоняюсь перед Его волей. Не могу избавиться от чувства ненависти к тебе, лишь изредка удается заглушить ее. Но знай, что над моей волей стоит воля Божия, и если Он избрал тебя, то и я избираю тебя. Я строил козни против тебя, конунга Норвегии, после того как снова вернулся на свою епископскую кафедру. Поэтому, Сверрир, я прошу теперь у тебя прощения, теперь, когда я стою одной ногой в могиле, и никто не знает, будет ли мне заслуженной карой ад или незаслуженной наградой — рай.

Он откинулся на подушки, и на мгновение почудилось, что смерть совсем близко. Я бросился к нему, но он слабо махнул мне. А потом, собрав все силы, которые еще тлели в этом немогущем теле, он откинул одеяло, и мы увидели, что он лежит нагой, буквально в чем мать родила. «Так я хочу встретить конунга Норвегии, — сказал он. — А потом встретить Бога».

Сверрир приблизился к архиепископу и преклонил колени. Архиепископ Эйстейн благословил конунга и попросил у него прощения. Сверрир поднялся и сказал, что и он не всегда поступал с ним

по справедливости. «И если ты просишь у меня прощения, — я прощаю тебя, но и ты меня прости».

Умиравший простил его.

Мы покинули архиепископа Эйстейна, и на следующий день он скончался.

Сверрир сказал, что мы должны хорошенько подумать над тем, кого мы хотели бы видеть новым архиепископом в стране. Я подумывал о Торире из Хамара. Но больше всего желал бы я видеть нашего славного друга Мартейна из Англии в роли архиепископа: на него мы могли бы положиться в любой момент. Однако захотят ли каноники церкви Христа избрать того, кто так дружен с конунгом?

— Мы можем подкупить их? — спросил я.

— Наверное, — ответил он. — Но не забывай, что ненависть к конунгу Норвегии глубоко засела в них. И она еще больше от того, что конунг сам некогда был священником.

Затем мы узнали, каноники церкви Христа предали конунга, начав действовать за его спиной. Незадолго до своей кончины архиепископ Эйстейн написал им послание о том, что он хочет видеть своим преемником епископа Ставангера, — старого, сурового Эйрика, который всегда был противником конунга Сверрира. И священники, и епископы в стране стремились заполучить себе конунга, с которым легче было бы поладить, нежели со Сверриром, но они не подвергали сомнению право Сверрира на королевский престол. Это сделал Эйрик. Он гневно обличал конунга Сверрира в своих проповедях и открыто заявлял, что Сверрир — сын конунга не больше, чем любой другой, у кого отец — оружейник. И вот теперь Эйрик станет архиепископом.

— Мы должны помешать этому, — сказал Сверрир. — Если сможем.

Он прибавил также:

— Так значит, в душе ты остался предателем, Эйстейн, — причем на пороге смерти, бормоча слова прощения перед конунгом Норвегии!

Прошло некоторое время, и все епископы и каноники собрались в Нидаросе, чтобы избрать нового архиепископа страны. Едва они собрались, как Сверрир созвал своих людей. Дорого обойдется принуждение церковников, которые прибыли в королевский город. Но

еще дороже окажется, если оставить все как есть. Когда церковники заседали в церкви Христа, вокруг нее плотным кольцом стояли люди конунга. Без оружия: таков был мудрый приказ конунга. Сверрир послал в церковь известие о том, что все священники, епископы, каноники и прочие служители должны выйти к нему. Они вышли. И он обратился к ним.

Он не советовал им выбирать Торира или Мартейна. Он только сказал, что это не его дело. Но он отсоветовал выбирать архиепископом Эйрика. Эйрик стоял тут же, опустив глаза. Конунг ни одним словом не обмолвился о том, что Эйрик подвергает сомнению его королевское происхождение. «Однако, — сказал он, — Эйрик из Ставангера, хотя он и слуга Божий, тем не менее не получил от Господа дар ведать деньгами. Но разве не должен тот, кто будет занимать архиепископскую кафедру, которая ему не принадлежит, но дана святым отцом в Ромаборге, — обладать также и земными талантами, для того, чтобы управлять?» Конунг попал в больное место, заставив архиепископских каноников провести не одну бессонную ночь, ибо правда заключалась в том, что епископ Эйрик был не без способностей, но они, как и сказал конунг, оказывались ограниченными. Эйрик распоряжался каждой серебряной монетой в свою пользу, а другим мало что перепало.

Сверрир говорил добродушно, без злобы. Он вспомнил об архиепископе Эйстейне, добром человеке, и рассказал, что они простили друг друга, прибавив при этом, что говорил архиепископ на смертном одре: «Я раскаиваюсь в словах, которые я бросал своим братьям! И Господь не оставил мне времени на то, чтобы сказать им, что я изменился»...

После речи конунга церковники, между рядами воинов, вернулись назад, чтобы выбрать нового архиепископа страны. Они выбрали Эйрика.

Они не испугались. Сверрир, разочарованный, но спокойный, сразу же признал, что испытывает уважение к их мужеству. А потом, улыбнувшись, сказал: «Теперь я тоже нуждаюсь в мужестве».

Вот каков был Эйрик.

Он был худым и ходил босоногим. В глазах его горел огонь. Было в его облике что-то болезненное. Часто он подпоясывался веревкой, как делали нищенствующие монахи, и голос его был хриплым, а

язык острее ножа. Никто не знал, что у него на уме. Но те, кто знал его, говорили, что он в повседневной жизни был скромным. Он ненавидел женщин, мог прожить без еды, мало пил, и то лишь разбавленное водой вино. Он требовал того же от своих клириков. Они должны были в молчании трудиться с рассвета до заката, при слабом свете сальной свечи. Когда епископ размышлял, он стоял. Это был единственный человек, кто думал стоя, которого я встречал в своей жизни. И кто думал в одиночестве. И он был нетерпимее кого бы то ни было. Для него не существовало ни малейшего греха, за который не следовало бы осудить человека. Когда однажды он положил один свой пергамент на полку, а клирик переложил его на другое место, то Эйрик тут же вызвал провинившегося к себе. Епископ вычитал ему за то, что пергамент лежит не там где положено. Клирик оказался догадливым и осознал свою вину. Однако епископ не хотел давать ни единого повода для сомнений в том, что вчера пергамент лежал не там, где он оказался сегодня. Он вызвал свидетелей. Одного было недостаточно. Двое или трое, независимо друг от друга, должны были поклясться, что вчера пергамент лежал на другой полке! И после того, когда малейшее сомнение было уничтожено, епископ вновь устремил свои мутные, властные, осуждающие глаза на клирика, покорно ожидающего своей участи, и проговорил: «Ты все еще сомневаешься?»

Клирик не сомневался. Епископ еще долго и рассудительно говорил о важности поддержания порядка в доме и потом добавил, что если в доме епископа не будет строгого порядка, то не будет его и в храме Божиим. И что же тогда будет с порядком в наших мыслях, с чувствами в наших сердцах?

Епископ Ставангера, старый Эйрик, всегда содержал свои мысли в порядке.

Говорили, что его подчиненные любили его. Но те, кто любил его, носили в себе такую же слепую веру, как и сам епископ. Он сказал: «Конунг нашей страны не сын конунга. Нет тому подтверждения. Значит, он не конунг».

Теперь епископ Ставангера стал архиепископом страны.

Он отправился в Ромаборг, чтобы получить там знаки архиепископского сана. А потом вернулся обратно.



Когда архиепископ Эйрик вернулся из Ромаборга, он тотчас же обложил двойным налогом тех многих членов церкви, которые были обязаны заплатить за свои грехи. Он нанял себе дружину и вооружил ее; у него были свои корабли под парусом, и вскоре он сделался могущественной силой в стране, — так, что даже у конунга появились причины опасаться его.

Умер епископ Свейнунг из Осло — он давно болел, но все продолжал жить. Архиепископ избрал на его место Николаса сына Арни. Николас долгое время поддерживал конунга Магнуса, но потом перешел, — как я говорил, йомфру Кристин, — на сторону конунга Сверрира: это случилось после битвы в Фимрейти. У Николаса, таким образом, уже имелся опыт предательства, и при случае он вновь мог перевернуться на противоположную сторону. Его больше привлекала власть, а не деньги, друзей у него не было, и мало кто из недругов мог померяться с ним в коварстве и силе!

Сверрир сказал: «Мы должны помешать этому!» Но я заметил, что взгляд его омрачился. Ибо одно дело — увлечь за собой людей, повести их в бой, самому идти впереди них, если нельзя отступить, сражаться отважнее врага, быть умнее его. Но как быть с церковниками? Сверрир, сам в прошлом церковник, понимал, что здесь потребуется нечто другое. Церковники не побоятся противиться даже самому Господу, если Он пожелает забрать у них власть. С Николасом в Осло и Эйриком-архиепископом скоро каждый священник в стране сделается противником конунга. Нелегко будет справиться со всеми ними. И конунг признавал это. Потому-то он и хотел вмешаться, пока не поздно.

Однажды в комнату к Сверриру вошла королева Маргрете. Иногда случалось, что королева бывала мудрым советником своему мужу. Не хочу говорить здесь о многих изъянах женского разума: я достаточно повидал слабостей человеческого сердца, шатаний и блужданий. Но нельзя отрицать, что королева страны подчас упорно настаивала на своем, когда конунг считал иначе. Наверное, он порой и наказывал ее. И если он твердо знал, чего хочет, то ее советы не имели для него никакого значения. Но если он сомневался, — а это случалось, — если он боролся со змеем искушения во тьме, то под-

сказки королевы окончательно сбивали его с пути. Так было и теперь.

Она выпалась, он — нет. Королева не улыбалась, губы сурово сжаты, голова неподвижна. Может, он любил ее не столь нежно, как она того желала? Она чувствовала, что он, даже если и любил ее, — а это было именно так, — ибо конунг Сверрир мог полюбить любую женщину, с которой он избрал бы долю вместе делить стол и постель, — все равно ставил своих воинов выше ее. И теперь она пылала мстью.

Она заставила его снова сесть. Ей это удалось. Я вышел из комнаты. Он позвал меня. В его голосе слышалась мольба о помощи, и я вернулся. Но она указала мне на дверь. Я вышел, и он снова позвал меня. И так, на пороге, одной ногой в комнате, я увидел, как королева приперла Сверрира к стене.

Пообещал ли архиепископ Нидароса ей что-то такое, чего не мог дать ей конунг? Нет-нет! Но случилось так, что королева приходила в ярость от того, что Сверрир любил своих людей больше, чем ее.

Она желала, чтобы Сверрир покорился и не препятствовал Николасу сыну Арни стать епископом Осло. Так и получилось.

Это была большая ошибка конунга Сверрира. Он всегда потом жалел об этом.

В один прекрасный день на двор к конунгу прискакал Коре сын Гейрмунда из Фрёйланда. Он был в Гьёльми, где жила в конце своей жизни сестра конунга, фру Сесилия. Туда, как сказал Коре, явился однажды преподобный Сэбьёрн: тот самый священник, которого мы в молодые годы захватили в плен в Састадире. Этот самый Сэбьёрн заявил, что он назначен священником в местную церковь. Однако усадьба по-прежнему принадлежала фру Сесилии, и именно здесь, на земле сестры конунга, пусть и покойной, — архиепископ собирался посадить своего священника, даже не спросив об этом конунга.

И тогда конунг проклял все.

В тот же день мы — Сверрир и я и еще некоторые из его близких людей — шли из усадьбы в Скипакрок, чтобы приветствовать прибытие в Нидарос кораблей с юными воинами из Халогаланда. По пути нам попался архиепископ со свитой, состоящей из сотни хорошо вооруженных людей. По закону, архиепископ имел право держать свиту самое большее из тридцати человек, когда он путешест-

вовал по стране. Хуже того: если бы он захотел, он мог только махнуть своим людям, и они напали бы на безоружного конунга. Мы вернулись назад.

В определенной мере для конунга это было облегчением. «Час пробил!» — сказал он. «Да!» — ответил ему я. Сверрир немедленно отдал приказ. На следующий день он со своими людьми решил навеститься в усадьбу к архиепископу и поприветствовать его словами, которые тот поймет быстрее, чем бледную улыбку конунга при нынешней встрече.

Но на следующее утро, на рассвете, архиепископ отплыл из Нидароса. Своим ясным разумом он, конечно же, понял, что час настал.

Архиепископ поплыл на юг, в Бьёргюн. Мы с конунгом пустились вслед за ним.

Архиепископ плыл дальше, в Тунсберг, Сверрир — за ним. Там встретились они оба в прекрасном монастыре святого Олава: один — хворый орел, второй — здоровый и полный сил. Хотя я думаю, что больной орел, прежде чем силы его окончательно иссякнут, будет биться с большей яростью, нежели здоровый. Сверрир был пока еще здоров. Да, именно здоров телом, и здоров также рассудком и душою. Да, коварный, суровый, когда это требовалось, хотящий заманить архиепископа в ловушку. Но все же здоровый. Чего нельзя было сказать о втором.

Когда он стоял перед нами — худой и несколько неопрятный, старый, но по-прежнему прямой, то я заметил что-то болезненное в его состоянии. Он не захотел сесть для беседы с конунгом. Поэтому мы со Сверриром были вынуждены стоять. И тем самым разговор лишился той учтивости и приятности, которые часто сглаживают раздражение с обеих сторон, даже если говорится неправда, что хорошо понимают собеседники. Происходило так, словно конунг и архиепископ разговаривали с обнаженными мечами, и оба ранили друг друга, но не убили.

Сверрир сказал:

— Архиепископ Эйрик, ты должен сделать выбор: либо ты собственноручно коронуешь меня на царство, как твой предшественник, архиепископ Эйстейн, короновал в свое время конунга Магнуса, — либо тебе не быть архиепископом в этой стране.

Это были жестокие слова. Сверрир знал, что он идет против власти более сильной, чем власть архиепископа: ведь за Эйриком стоял сам папа Римский. Но Сверрир полагал, что Эйрик, столь сребролюбивый, не захочет лишаться богатств в Норвегии и покидать страну, чтобы сделаться таким же нищим, как и Сын человеческий, которому он, собственно говоря, служил. Архиепископ ответил:

— Я не буду короновать никого, кто не имеет права наследовать престол.

Сверрир сказал на это, что нам обоим известно твое пристрастие к деньгам, и оно сможет утешить тебя в трудный час, но конунг имеет право потребовать от тебя те налоги, которые, как ты считаешь, принадлежат тебе по справедливости. Так вот, те богатства, которые принадлежали церкви при конунге Магнусе, я тоже могу вернуть обратно. Но получишь ты их только в качестве дара от законного конунга страны, коронованного тобою.

Архиепископ сказал:

— Я не буду короновать тебя.

Эйрик собирался сказать еще что-то, скорее презрительное, чем разумное. Но конунг уже бросил свой жребий: он ушел. И, уходя, прибавил:

— Завтра, Эйрик, я вернусь. И тогда ты склонишься перед конунгом или заплатишь мою цену. Она будет высокой.

Архиепископ ответил:

— Цена папы в Ромаборге не ниже.

Мы оставались ночью на кораблях, под горой, чтобы не подстрекать людей архиепископа к бою. Но когда настало утро, то обнаружилось, что архиепископ уплыл через другой приток.

— Он бежит из страны, — сказал конунг.



Мы поняли, что архиепископ Эйрик собрался искать помощи на юге, в стране данов, — точно так же, как до него делал конунг Магнус. В соборе Лунда архиепископ мог рассчитывать на поддержку, а на торжищах в Сконе он вполне сумел бы набрать себе воинов, соблазнив их походом против конунга Сверрира. Конунг послал на

юг одного из лучших своих лазутчиков. Это был Торбьёрн сын Гейрмунда из Фрэйланда.

В один прекрасный день Торбьёрн сын Гейрмунда вернулся назад: он очень спешил и, не передохнув с дороги, направился прямо к конунгу. Торбьёрн сын Гейрмунда сообщил, что был в соборе Лунда и слышал, как сам Эйрик читал там проклятие папы конунгу Норвегии. Тоткий архиепископ возвышался перед алтарем, в глазах его сверкала болезненная ненависть, и он произносил анафему, осуждающую конунга Норвегии и его людей на вечные муки ада. А потом он осенил себя крестом.

Произносил он слова самого папы.

А может, нет?

Немного времени прошло с тех пор, как Эйрик бежал из страны. Не мог ли архиепископ, в своей ненависти к Сверриру, собственноручно написать буллу о проклятии, чтобы не терять времени, и послать своих людей в Ромаборг, к папе, прося его благословения? Такая мысль осенила конунга, а потом он долго лелеял ее.

Никогда раньше я так не сближался с конунгом Сверриром, как ныне. Его сильная воля была порой мне наказанием. Мое желание, йомфру Кристин, написать о нем сагу, и его выбор аббата Карла омрачили нашу дружбу. После сражения в Фимрейти мы начали сближаться снова. И теперь, когда он был проклят, все стало как прежде.

Он встал и обнял меня, когда Торбьёрн сын Гейрмунда покинул зал.

— Пред вратами ада мы будем стоять рядом, — сказал он, — Или лукавый вновь разлучит нас?

— Он связал нас вместе тем, что мы сделали, — ответил ему я. — И правда — за нами.

— А мое королевское имя! — воскликнул он. — В нем я никогда не сомневался. Хотя теперь, пожалуй, нам пригодится то, что мы были священниками, — улыбнулся он. — Никто не ладит так славно с лукавым, как они.

Смех конунга был нерадостным, но громким, и никогда впоследствии я уже не замечал, чтобы Сверрир проявил сомнение в своем праве на престол конунга.



Сверрир повелел всем епископам страны собраться в Бьёргюне, и они повиновались. Под тяжелыми сводами церкви Христа сидел Ньяль из Ставангера — маленький, скромный человек, — затем Торир из Хамара, мирный и богобоязненный: редкий дар, даже для епископа. Старый Паль, епископ Бьёргюна, недавно умер. Тогда конунгу Сверриру удалось, несмотря на сопротивление епископов, избрать на место Палья нашего доброго друга Мартейна из Англии. Это был ловкий ход конунга, напоминающий фокус шута на пиру, который вдруг вытаскивает из рога с вином у кого-нибудь из гостей живого мышонка. Сидел здесь и Николас.

Он был суров и непреклонен, коварнее всех остальных епископов и потому приветлив на вид: кошка, застывшая перед прыжком, спрятав когти, а они были у него длинными. Конунг вышел к епископам и обратился к ним с речью. Он сказал:

— Архиепископ Эйрик лжет перед святым отцом и Всевышним, произнося мне, королю Норвегии, анафему...

Сверрир поведал собравшимся, что один из его ближайших людей был в Лунде и привез домой надежные доказательства того, что булла, которую читал архиепископ, написана не папой, а самим Эйриком. И теперь он — лжец перед Богом, обманщик, которого ждет суд, и зловония ада источают корни его ногтей, а во взгляде таятся ядовитые змеи. Разве пожелал бы я, конунг Норвегии, стоять здесь, перед вами, и говорить все это, если бы я не был уверен в своей правоте? И разве не может Тот, кто все видит, различить истину или ложь в моей душе? Не захотел бы Всемогущий в таком случае поразить меня огнем с неба, если я лгу? И если Он терпит, то не увеличу ли я бремя своих грехов этой чудовищной ложью на главное духовное лицо страны? Ответьте мне — да или нет? Думаете ли вы, епископы норвежской церкви, что папа в Ромаборге смог бы, не выслушав предварительно конунга, предать его анафеме? Лишь на основании слов архиепископа Эйрика, которые не всегда правдивы? Мог ли папа, с его глубоким ведением сердец человеческих, осудить конунга на муки ада, не заслушав его показаний? Отвечайте — да или нет!

Вы отвечаете — нет. Так вот, я отправляю своих людей в Ромаборг с письмом от меня, где написана вся правда, чтобы они свиде-

тельствовахи обо мне перед нашим святым отцом. Разве я осмелился бы на такое, когда бы не был уверен в своем происхождении? Разве не захотел бы я спрятаться куда-нибудь подальше, если бы лгал на свое королевское имя, — не захотел бы уплыть темной ночью из страны? Но я хочу открыто говорить с папой. Я посылаю ему письмо и свидетельствую перед святым отцом в Ромаборге, что тот человек, которого он рукоположил архиепископом Норвегии, солгал ему...

Конунг умолк. Епископы тоже молчали. И тогда вошел Рикард Черный Магистр.

Такое у него было прозвище, он был новым человеком в окружении конунга. Рикард носил роскошные одежды, был высокого роста, а волосы и бороду стриг на чужеземный лад, и было видно, что он не из страны конунга Сверрира. Конунг встретил его в Англии. И немало было заплачено серебра, чтобы уговорить Рикарда приехать в Норвегию. Архиепископ Эйстейн однажды в разговоре с конунгом назвал этого Рикарда одним из своих друзей в Англии. Рикард был умным человеком, он изучал разные премудрости в Париже, любил быть советником конунга, а в душе это был сущий ребенок. И большой разбойник. «Такой человек мне как раз и нужен», — сказал конунг. Втайне он попросил Свиного Стефана отправиться в Англию и хорошенько заплатить Рикарду. Прошло лето. И вот Рикард здесь.

Его звали Черным Магистром, потому что он якобы имел тайные знания, наряду с явными, черную мудрость, скрывающуюся за светлой, белой мудростью, полученной от Бога. Рикарда боялись, и вот он стоит здесь, под сводами церкви Христа. Епископы впервые увидели его воочию.

Конунг зачитывал многочисленные свидетельства, которые описывали благочестивое учение Рикарда, переходившего из монастыря в монастырь в южной Европе. Этот человек, как сказал Сверрир, встречался с самим папой. И прежде чем наш возлюбленный Целестин стал наместником Бога на земле, они вместе с Рикардом учились книжной премудрости в Болонье. Рикард был возмущен, когда услышал из уст Эйрика анафему конунгу. И теперь он намерен поехать в Ромаборг и навестить папу. Рикард был близким другом архиепископа Эйстейна. И если бы был жив наш дорогой Эйстейн, то он непременно отправился бы в Ромаборг вторым.

— Не хочешь ли ты, епископ Торир из Хамара, отправиться на юг?..

И прежде чем скромный Торир успел ответить, Сверрир резко повернулся к Николасу и бросил ему: «Ты предал конунга, и в моей власти убить тебя!..»

Конунг выхватил письмо, руки у него тряслись. Каждому была видна искренность его поведения. Он развернул письмо, на глаза его набежали слезы, он начал шарить в поисках платка. Но платка у него не оказалось. Я протянул конунгу свой платок. Он был красный, из мягкого шелка, подаренный мне сестрой конунга, фру Сесилией, прежде чем смерть похитила ее. Рикард Черный Магистр тоже протянул свой платок: он был зеленого цвета, тоже шелковый. Вытирая глаза красным и зеленым платками, конунг начал читать.

Это был суровый приговор. Видел ли когда-нибудь я или кто-то другой, как Николас съеживается под чужими словами? И вот теперь он съежился под словами Сверрира. И если кто-то мог предположить, что это письмо сочинил Сверрир, и все это ложь и небылица, то при взгляде на епископа Николаса и его белое лицо развеивались все сомнения в истинности слов конунга. Письмо было написано самим Николасом. И оно было послано ярлу Харальду на Оркнейские острова в тот год, когда он поднял восстание против конунга, собираясь убить его. Николас обещал ярлу полную поддержку. Теперь это письмо оказалось в руках Сверрира. Руки его дотянулись до него.

Конунг медленно читал письмо.

Под церковными сводами воцарилась тишина.

Конунг неторопливо повернулся к епископу Ториру и проговорил:

— Хочешь ли ты оказать мне услугу и отправиться вместе с Рикардом Черным Магистром на юг в Ромаборг, чтобы передать папе послание конунга Норвегии?

— Да, да!..

Конунг зачитал письмо к папе. Долгими ночами мы вместе трудились над ним: Сверрир, Рикард и я. Рикард — со своим знанием многих языков, мы — с нашей ломаной латынью. Но в мыслях мы были едины: письмо разоблачает ложь в булле архиепископа Эйрика против конунга, клеймит предателя Эйрика, взывает к небу, чтобы архиепископа постигла кара, а папа заставил его подчиниться.

Затем конунг заявил:

— Теперь, когда в Бьёргюне собрались все епископы, я хочу, чтобы меня здесь короновали.

Стояла гробовая тишина, и вынести ее было мучительно. Случилось нечто такое, чего даже епископы с их догадливостью не могли предположить.

В церковь принесли весть о том, что Торбьёрн сын Гейрмунда из Фрёйланда прибыл в Бьёргюн и желает говорить со мной. Конунг посылал Торбьёрна снова на юг, в Лунд, — следить за архиепископом Эйриком. Я тотчас вышел к Торбьёрну.

И сразу увидел, что он привез важные вести. Он отвел меня в сторону и сказал:

— Господь Всемогуший поразил архиепископа слепотой! Он поручил одному из своих клириков зачитывать теперь буллу против конунга!..

Можешь ли ты понять, йомфру Кристин, какие чувства я тогда испытал? Я повел Торбьёрна в церковь. Конунг стоял все еще с письмом к папе в руках. Он изумленно обернулся, и епископы тоже: что делает здесь, в храме, этот грязный путник? Понимаешь ли ты, йомфру Кристин, мою радость, мой восторг перед знаком Небес? Я зашептал конунгу на ухо: «Архиепископа поразила слепота!..»

Это было знамение Небес, мы знали это. Конунг откашлялся: голос его вдруг сделался хриплым. И вкратце поведал епископам, что архиепископ ослеп.

Это была кара Божия, и все умолкли.

А когда настал вечер, епископа Николаса вызвали к конунгу. Он шел, опустив плечи. Конунг сказал ему, что именно он, Николас, возложит корону ему на голову и благословит именем Сына Божия, как и подобает в этом случае...

Мы оба смотрели на епископа. К чувству ненависти в моей душе примешивалась доля уважения к этому человеку, что озлобляло меня еще больше. Ждал ли он услышать здесь себе приговор, — было незаметно по его виду. Не знаю, испытывал ли он чувство унижения или награды. Он молчал, подавляя в себе протест. И склонился перед конунгом.

— Либо так, либо — убить его, — промолвил Сверрир, когда епископ ушел.



Всю страну облетела весть о том, что архиепископа постигла кара Божия, и он лишился зрения. Мужчины и женщины жаждали попасть на церемонию коронации в Бьёргюне, и в каждом доме спрашивали: «Он действительно ослеп?..» Одни шили, другие готовили пищу, а молодежь между поцелуями шепталась: «Он ослеп...» Странники, босоногие и утомленные, поклонялись мощам святой Суннивы, крестились перед распятием: «Он ослеп!» К столам выносили жаркое на больших блюдах, и по женским пальцам струился жир: «Он ослеп, он ослеп!..» Литавры и трубы, арфы, процессии, шелковые платья и блестящие мечи; воины, которые ругались и на которых шикали окружающие; люди из Фимрейти, старые вояки, от которых все еще пахло давними сражениями: «Он ослеп!» И если они иногда сомневались в истинном происхождении конунга, то теперь все были уверены: «Архиепископ ослеп!» Говорили, что личный соглядатай конунга стоял в Лундском соборе, рядом с архиепископом Эйриком. И тогда молния ударила с небес, народ бросился на пол и зарыдал, а когда все осмелились поднять глаза, то оказалось, что Эйрик ослеп. Его увели десять человек. Он был слепым! Из пустых глазниц закапали кровавые слезы, оставляя красные полосы на белых щеках архиепископа. Он ослеп! А потом к нему приблизился ангел и сказал: «Ты навсегда останешься слепым! Твои злые глаза горят в адском пламени. Они будут гореть долго, на медленном огне, и их будут поворачивать снова и снова, пока ты здесь и пытаешься отыскать свои глаза в аду. Ты противился конунгу? Многие делали это. Но ты, архиепископ Эйрик из Нидароса, восстал против самого Сына Божия! Вот почему ты ослеп.»

Корона конунга Сверрира была из чистого золота. Ее привезли сюда из-за моря, и три года она дожидалась своей очереди, пока конунг подыскивал подходящий момент и наконец нашел его. Он не лишился зрения.

Литавры и трубы, арфы, процессии, люди в шелках, епископы в дорогих мантиях, с посохами и высокими митрами, женщины на улицах, ликующие воины: «Он ослеп! Он ослеп!» Церковь Христа в Бьёргюне украшена ценными коврами, по углам стоит стража, люди

кланяются, люди сгибаются пополам, зная чествует конунга. И многие желали бы, чтобы он ослеп.

Епископ Николас из Осло возлагает корону на голову конунга и кланяется ему. Но епископ желает, чтобы конунг ослеп.

Литавры и трубы, арфы, процессии; вот ты и коронован, Сверрир, человек с далеких островов, властитель и раб.



За день до Праздника перстня из Тунсберга пришло известие о том, что умер Эйрик Конунгов Брат. Сверрир посадил своего брата ярлом в Вике, и Эйрик сумел поладить и с бондами, и с горожанами в этих землях. Он часто устраивал пиры в конунговой усадьбе Сэ-хейме — именно там его и поразила болезнь.

Так рассказывал Симон, который принес в Бьёргюн это известие. Симон сам пожелал сопровождать Эйрика в Вик, и был там одним из его ближайшего окружения. А теперь он предстал перед конунгом, опечаленный горестной вестью, которую он принес. Испытывал он и злорадство, ибо когда же, йомфру Кристин, приносил Симон плохие вести и не радовался чужому горю? Вот что поведал конунгу Симон:

Они сидели и пировали вместе: Эйрик, жена его Абильтунде, которую он нарек Осой, по обычаям нашей страны, и несколько знатных людей из города и окрестностей. Только что в зал внесли младенца хозяев, чтобы показать гостям, а потом служанки снова унесли малютку. Гости уже собирались отправиться в путь. Наступила ночь, зажгли факелы, и в дверях стояла стража. На пиру все обсуждали слепоту архиепископа. Брат Сверрира, должно быть, порадовался, что Эйрик потерял зрение, но вместе с тем он и огорчился, ибо был достаточно умен, чтобы понять, что Божия кара, обрушившаяся на архиепископа, и слепота его отныне возвысят конунга, а значит, и его любимого брата. Поэтому Эйрик почувствовал разочарование, вспомнив об испытании железом в Нидаросе. А потом случилось так, что его поразил недуг.

Он вдруг посерел и вскрикнул. Жена его вскочила с места и позвала служанку. Потом она приказала стражнику: «Приведи сюда немедленно знахарку!» Мгновенно доставили женщину, сведущую в

целительстве. А Эйрик, брат конунга, совершенно ослабел и не мог головы поднять.

Наутро заболели также его жена и крошечный сын. Священники Тунсберга звонили во все колокола. Они курили благовония в доме и на улицах, но ветер быстро уносил ароматы. У алтаря церкви святого Лаврентия, под горой, прогнали прочь двух монахов, которые молились за упокой души Эрлинга Кривого, и их место заняли три священника, коленопреклоненно молящиеся о ярле Эйрике, Конунговом Брате. Но это мало помогло.

Троих больных перенесли из Сэхейма прямо в городской монастырь. Так пожелал сам ярл. Следом за процессией шла знахарка: время от времени она поднимала ярлу одно веко. Она заметила, что у больных пошла ртом кровь, и подложила им подушки под головы, чтобы они не захлебнулись. Она давала им пить целебные отвары из трав. Они же выплевывали их обратно. И тогда она догадалась, что хозяев ее отравили, и яд, остающийся в их теле, отторгает лекарственные травы.

Первым в монастыре умер ребенок, и целые сутки после этого звонили во все церковные колокола, призывая помощь Божию. Потом умерла жена ярла, так и не успев исповедоваться священнику. Многие говорили о ней: в последние годы жизни у этой женщины было мало грехов.

И тогда ярл Эйрик, брат конунга, поднялся с постели. Его поддерживали под руки монахи монастыря. Сперва он преклонил колени перед умершей женой, потом — перед сыном, которого так любил и в котором мечтал увидеть могущественного правителя страны. Затем он встал. Он попросил вывести его наружу.

В монастырском саду Эйрик встал на колени, под открытым небом, и никто не знал, о чем он молился. Может, в мыслях своих он возвращался к тому дню в церкви Христа в Нидаросе, когда он ступал по железу во время суда Божиего? Мы не знаем об этом. Но когда он поднялся с колен, поддерживаемый монахами, он сказал: «В последний раз видит сын конунга Небеса Божии».

В тот же день он умер.

Сверрир горевал о нем, но внутри испытывал чувство облегчения. Думаю, что он ощущал именно освобождение, когда оставался один в своей комнате и закрывал все окна и двери. Но в ту осень он редко бывал один.

Мне никогда не был близок Эйрик, Конунгов Брат. Он не обладал ни общительностью Сверрира, ни его ясным разумом, ни его голо- сом. Но теперь мы понимали: злые люди подстерегают нас, и смерть ярла была предупреждением самому конунгу Норвегии.



Когда наступила зима, к конунгу Сверриру пожаловал странный гость. Он назвался Рейдаром, жителем Вика. Он состоял на службе у императора в Миклагарде, а потом вернулся домой с честью и серебром. Рейдар был учтив и умел обходиться с другими людьми. Он часто смеялся, и они быстро поладили с конунгом. Рейдар обладал также способностью говорить все начистоту. Когда Сверрир был расположен выслушать чужое мнение, — а так бывало частенько, — то Рейдар мог без обиняков заявить ему, что тот не всегда бывает прав в борьбе с епископами. Если бы конунг посмотрел на вещи с точки зрения архиепископа Эйрика, то он нашел бы в его позиции долю истины. И конунг Сверрир соглашался с Рейдаром. Но оба были согласны и в том, что если подсчитать на дощечке все «за» и «против», то все равно общая сумма указала бы на справедливость позиции конунга. Они частенько просиживали ночи напролет за недопитым рогом. И я был с ними. И впервые, йомфру Кристин, я не испытывал зависти, когда замечал, что другой человек выше ценится конунгом, чем я.

Рейдар любил посмеяться, но грубости никогда не веселили его. В этом смысле он был более застенчив, чем мы с конунгом. Однажды Сверрир сказал ему:

— Ты не боишься, что я убью тебя, Рейдар?

Рейдар не улыбнулся. Помедлив мгновение, он ответил:

— В твоем голосе я слышу подозрительность, и ты человек достаточно опытный, чтобы почуять предательство. Но убивать друг друга... Чтобы ты убил меня? Я не верю этому. Хотя путь конунга извилистый, и если бы ты шел прямо вперед, то мог бы попасть в трудное положение.

Затем Рейдар спросил у Сверрира, не может ли тот дать ему хороших людей: лучше всего — молодых парней, горящих желанием отправиться в поход и послужить в Миклагарде. Тамошнему импе-

ратору всегда нужны воины. «И теперь я могу сказать тебе, — поведал Рейдар, — что император Миклагарда слышал о тебе и твоих победах и просил сообщить, что предпочел бы держать стражу из людей конунга Сверрира. Хотя все это ложь. Ты, со своей проницательностью, конечно же, догадался, что это грубая лесть. До Миклагарда слишком далеко, и чужеземный император не мог ничего знать о тебе. Все дело в том, что он поручил мне нанять для него людей, и я точно уверен, что если это будут твои воины, то я снова вернусь в Миклагард и буду в чести, а также еще больше разбогатею».

Сверрир ответил ему, что должен подумать. Думал он основательно, и у него сильнее начали расти усы. Я не говорил тебе, йомфру Кристин, что когда конунга мучали подозрения, у него быстрее росли усы. Рейдар, вернувшись, ждал ответа. Конунг сказал ему: «Ты можешь набрать себе жителей Вика, Рейдар. Многие из них искусны в обращении с оружием». И он долго смеялся своим словам.

Рейдар поблагодарил конунга. Он тотчас занялся набором воинов, а с приходом весны покинул страну. Сверрир считал, что удачно отделался от тех жителей Вика, кто мог бы присоединиться к архиепископу Эйрику и его датским сторонникам, в случае если архиепископ надумает напасть на страну. «Но может, мне надо было убить его?.. — спрашивал Сверрир. — Кого же надо убивать, а кого — нет?» — воскликнул он в ярости. «Господин мой, — ответил ему я, — это выбор властителя и ... раба».



В один прекрасный день епископы восстали. Это произошло неожиданно. До конунга долетели тревожные вести о том, что Ньяль из Ставангера и Николас из Осло сели на корабли и уплыли из страны. А с ними — те священники и каноники, которые, очевидно, получили строгий приказ от архиепископа Эйрика бежать из Норвегии конунга Сверрира. В письме архиепископа якобы говорилось, что всякий, кто осмелится подвергнуть сомнению папскую буллу из Ромаборга, будет гореть в аду с головы до пят, и еще в этой земной жизни у них сгниют до корней ногти. Но Мартейн осмелился.

Да, Мартейн, наш близкий друг из Англии, епископ Бьёргюна. Он тоже получил письмо архиепископа с угрозами. Но он осмелился. Я

видел его по ночам. Он бился лбом о стену, так что рассек себе кожу, он царапал ногтями каменные плиты и рыдал; найдя хлыст, он до крови хлестал себя по спине. Одевался в рубище, чтобы унижить себя. И когда он представал перед конунгом и говорил с ним, в глазах его мелькало безумие. Словно бы Мартейна рвали на части два коня, к которым он привязан за шею и за ноги. Дружба с конунгом подгоняла одного коня, а архиепископское осуждение — другого. И только сильная воля Мартейна помешала разорвать его пополам. Он осмелился.

— Почему ты приехал из Англии сюда? — спрашивал я его.

— Потому что конунг Сверрир умеет смеяться, — отвечал он. — Дома у меня не смеются, все ходят опустив глаза, с мрачными лицами, и поклоняются Богу, одетому в черное. Но я хотел радоваться и при этом не казаться невежей. Там, дома, когда наступала ночь, монахи выходили к причалу и соревновались в том, кто дальше пустит струю мочи в море. И победитель в этом соревновании получал кубок с вином и отправлялся к шлюхам. Такой вот была монастырская жизнь в моей стране. А я хотел любить Бога и радоваться Ему. Однажды я встретил сбежавшего из Норвегии архиепископа. Ты уже знаешь, что это был Эйстейн. Вид у него был печальный. «Чем ты так опечален?» — спросил я у него. «Я грустен от того, что я понял: мне не следовало уезжать из своей страны, — ответил он. — О новом конунге говорят, что он умеет убивать и смеяться. Поэтому он и побеждает».

Я оставил без внимания способность конунга убивать. Но он умеет еще и смеяться? Мною овладело неодолимое желание отправиться в ту страну и повидать конунга Сверрира. И я осуществил задуманное. Я услышал, как он смеется.

Слышал ли ты когда-нибудь, чтобы человек, властвующий над другими, умел так нежно, горячо и неподдельно смеяться? Видел ли ты, как он краснел от стыда, когда мужчины распускают языки и похваляются друг перед другом, кто дальше пустит струю мочи, стоя на берегу? Сверрир был именно таким, каким я себе его представлял. И он стал моим другом.

— Тогда ты остаешься у нас? — спросил я.

— И в ад попаду тоже, — ответил он.

В третий раз вернулся из Лунда Торбьёрн сын Гейрмунда из Фрёйланда. И вновь он привез конунгу важные новости. Каждое

лето, в Халей, к югу от Лунда, даны устраивали большую ярмарку. Туда прибыл Рейдар Посланник со своими людьми из Вика. И там же был епископ Николас.

Торбьёрн сын Гейрмунда оделся нищенствующим монахом и смело приступил к делу: жизнь его висела на волоске. Несколько раз его поколачивали палкой, но он нес перед собой сломанный крест и кричал, что недостойные люди посмели поднять руку на крест Господень. Тебе известны, йомфру Кристин, такие монахи, и у каждого из них своя проповедь. Однажды ночью Торбьёрн сын Гейрмунда попытался поставить себе столб рядом с пивными, где обретались Рейдар и его люди. Он хотел взобраться на этот столб и призывать ежедневно милость Божию. Его прогнали. Но он не сдавался. И начал ходить кругами. Он время от времени поворачивал голову в сторону своих преследователей, неся в руках все тот же сломанный крест, и не отвечал на ругательства, а только выкрикивал, что крест Господень сломали нечестивые люди, которые не достойны носить его. Иногда он завывал, как пес. Вокруг него постоянно была кучка любопытных. Но они переговаривались о чем-нибудь своем, словно не замечая его.

Таким-то вот образом он и разузнал новости о Рейдаре Посланнике и епископе Николасе. Епископ и Рейдар встретились в Халее и оказывали друг другу большую честь. О чем говорили между собой эти двое — никто не знал, даже нищенствующий монах из страны конунга Сверрира. Но одно было ясно: Рейдар и Николас собирают вокруг себя воинов, и все они хорошо вооружены. Их называют баглерами.

Туда же, на ярмарку в Халей, среди бочек с сельдью и связок вяленой рыбы, пожаловали однажды вечером Рикард Черный Магистр и епископ Торир из Хамара, — люди, которых Сверрир посылал своими свидетелями в Ромаборг. Они прискакали верхом, уставшие после долгого пути, в сопровождении небольшой вооруженной свиты. Они пробирались между палаток, под выкрики рьяных торговцев, предлагающих меха и мед, воск и кожаные ботинки. Люди из Ромаборга искали себе убежища и вскоре остановились на ночлег. Мнимый монах пробрался за ними в дом.

Его выгнали, но он до рассвета держался рядом с тем домом. Люди из свиты проговорились ему, что поездка в Ромаборг оказа-

лась успешной. Возвращаясь домой, епископ и Черный Магистр пребывали в прекрасном настроении. Что же они везли с собой?

Об этом люди умалчивали. Мнимый монах только и смог разузнать, что ехали он не с пустыми руками. Что же прятал епископ на своем теле или Черный Магистр — под своей темной одеждой?

Наступил день.

И тогда человек конунга Сверрира услышал, что епископ Торир из Хамара и Черный Магистр, Рикард из Англии, скончались прошедшей ночью, ночуя в Халее. Обоих унесла болезнь. Их раздели донага и похоронили.

Едва конунг Сверрир услышал это, как он зарыдал.



Только однажды видел я Сверрира в таком состоянии: когда мы спасались бегством после битвы под Хаттархамаром. Тогда его вырвало: он был ранен и смертельно устал. Видела ли ты, йомфру, совершенно здорового человека, который внезапно срывается с места, будто его схватили за горло, бросается к двери, и его рвет. Затем он возвращается обратно. Лицо у него серое, словно несвежее белье, силы его оставили, а те, что еще есть, он использует для того, чтобы оскорблять и поносить нас, стоящих поблизости. Он не верит собственным словам. И сам же признается в этом. Он снова поносит нас, а потом цепляется за нас, умоляет простить его, и снова его тошнит, лицо залито слезами, он хватает меня за край плаща, и Симона тоже, утирает нашими подолами глаза и рот.

Он кричит, что те двое, Черный Магистр и Торир, не могли знать, что Николас и Рейдар тоже будут на ярмарке в Халее. Видел ли я Рейдара? Действительно ли он, именно он, был там, — этот человек из Миклагарда, с которым я, конунг, пил и смеялся и которому оказывал честь? Не верю этому. Да нет же, верю! А этот Николас, ядовитая змея, вполз к тем двоим под покровом ночи, забрался на постель к старому епископу Ториру, у которого учился Священному Писанию, — и укусил его. Огляделся, выпустил свой яд и укусил. А потом проник к ученому Рикарду, обвинил его, как змея, а голову положил ему на бороду, греясь теплом его подмышек. И ужалил его, спящего. Потом змея превратилась в епи-

скопа Николаса и покинула дом. Унося с собой добычу — письмо от папы из Ромаборга.

Ведь было же у них с собой письмо из Ромаборга? В котором я признан невиновным и где мне возвращают мое достоинство, — мне, верующему в милость Божию, — снимают с меня проклятие? Разве я не надеюсь более преклонить колени, ничтожный, но уповающий на прощение, перед Господом всемогущим?... Но письмо потеряно навсегда...

И тогда, йомфру Кристин, сердце мое исполнилось страдания при виде твоего отца. Ибо я понимал, что он прав. Слишком трудным представлялось отправить в Ромаборг новых людей, везти папе новое послание, настоящее или поддельное, вернуться обратно с ответом. Тем более теперь, когда наши противники сплотились и вооружились против нас на торжище в Халее.

Сверрир кричал, что он, священник и конунг, не может поступить, как другие. Могу ли я? Могу ли я велеть своим людям взять перья и пергамент, написать послание от лица папских клириков, угадать слова и мысли папы, вглядываясь во тьму и умоляя Деву Марию милостиво подсказать слова из того письма, которое украл Николас, а потом сделать вид, что это новое письмо от папы? Я не могу сделать этого. Ярл Эрлинг Кривой мог. Конунг Магнус, этот бедняга, не обладал разумом, чтобы увидеть в этом бесчестье. Но я не могу. Николас, эта змея, источающая яд, мог бы жить в Ромаборге тем, что писал бы поддельные папские буллы и продавал их за деньги. Он совершил большой грех, когда сжег подлинное письмо от нашего святого отца в Ромаборге, чем я, подделав другое. Но я не смогу.

Он кричал, что его воины должны немедленно взяться за оружие. Мы завтра же отправимся в путь, повторял он, — на юг, в Халей, и убьем каждого, кто пошел служить Рейдару Посланнику и этой змее Николасу. А потом он собственноручно сложит дрова для костра и будет поджаривать Николаса. На медленном огне. Он будет разгораться медленно, этот костер. Ха-ха, на медленном огне! Костер будет затухать, а мы подложим в него новые дрова и вновь разожжем его. Ха-ха! Он будет гореть на медленном огне!

И снова конунг выбежал за дверь, и его рвало.

Тогда я взял власть в свои руки. В первый и последний раз. Я приказал Свиному Стефану поставить на дворе тройную стражу, и

распорядился, чтобы никто не покидал своих помещений без разрешения конунга. Потом я вернулся к Сверриру и держал его, пока его рвало.

Уже на рассвете он уснул. А я велел Свиному Стефану, который тоже был родом с северных островов, сторожить Сверрира.

Я позвал Симона. Того не страшили врата ада. Я долго думал, что как только конунг Норвегии приобрел себе врага в лице церкви, — он тут же сделал Симона своим другом. И теперь я позвал его с собой. Он обладал ясным умом и знал все, что ему полагалось знать. Он с радостью последовал за мной. Трезвым он не был, и старое похмелье еще не сошло с него, и шел он покачиваясь. Было похоже, что Симон, в прошлом аббат монастыря на острове Селья, испытывал веселье при мысли о том, что он нагрешит пред лицом Господа. Мы оба вошли в его маленькую комнатку.

Потом мы вышли оттуда. Я твердо знал, что он будет молчать. И я знал также, что в один прекрасный день, когда Сверрир, если останется в живых, и церковники снова мирно и без оружия встретятся друг с другом, — то конунг сделает Симона епископом.

Письмо от папы нашлось в Лунде: его там спрятали. Так мы решили. Один из людей епископа Николаса изменил ему: он украл письмо, прежде чем его успели сжечь, а потом, следуя за Торбьёрном сыном Гейрмунда, добрался до Бьёргюна. Я положил письмо от папы на стол конунга. Оно освобождало его от проклятия.

Конунга больше не рвало. Но когда Симон вышел — а Симон был достаточно умен, чтобы не дожидаться моей просьбы, — Сверрир долго и молча плакал. Потом он сказал, что письмо должно быть зачитано во всех церквах страны, где только есть священники, — так, чтобы люди узнали, что папа освободил от проклятия меня и моих людей.

Но с того самого дня я никогда больше не видел Сверрира радостным. И смеялся он реже, чем прежде.



Подняв паруса, мы отправились на юг, вдоль берега Ранрики. Кораблей у нас было немного, но конунг решил не терять времени: ведь люди из Халея вскоре взойдут на корабль и возьмут курс на север. Конунг задумал укрыть свой флот в скалистых фьордах и напасть на противников, как ястреб с неба.

Когда стемнело, мы нашли глубокий залив. Он был узким, но слева от нас, меж скал, протекал приток. Если устье будет заперто, мы сумеем при штиле вывести свои корабли через этот приток. Выставили стражу. Среди воинов был и старший сын конунга, Сигурд, — он сопровождал своего отца в походе. Хакон, младший, тоже был с нами. Начал накрапывать дождь; люди, отдыхая на скалах, укрылись под кронами деревьев. Тихий, грустный вечер. И вот появился стражник: на нас напали враги.

Дело обстояло плохо, однако не столь безнадежно, как он сказал. Когда мы поднялись на скалистый остров, — конунг, тяжело дыша, спешил впереди меня, — мы увидели, что море кишит кораблями, устремившимися прямо на нас. Повсюду были воины с поднятыми щитами. Значит, они знали о нас больше, чем мы — о них. Конунг сказал, что уже вечер и вряд ли мы сумеем в темноте выбраться из залива. Он пристально вглядывался в водную гладь и улыбался.

Ибо темнота была и нашим союзником: враги не осмелятся продвинуться вглубь фьорда. Битва в незнакомых шхерах, под ночь, с храбрецами конунга Сверрира, — едва ли это соблазнит разумного епископа Николаса, если он вместе с ними, — а мы полагали, что он именно там.

Наступила ночь.

Для ленивых в войске конунга Сверрира эта ночь была многотрудной. Похоже, у конунга за поясом оказалось гораздо больше серебра, чем многие думали. На борту его личного корабля имелись пращи, да и Асбьёрн, мастер из Вермланда, которому конунг отсек ухо, тоже был с нами. Пращи были перенесены на сушу. Люди зажгли факелы, и при их свете, под надежной охраной, в дождь, мы установили на каждой стороне притока по праще.

Но все шло отнюдь не гладко. Асбьёрн из Вермланда изрыгал ужасные ругательства, когда обнаружил, что замок одного из двух ларей, которые он вез с собой, заклинил. По всей видимости, кто-то поковырялся в нем. И когда мастер наконец в бешенстве схватил топор и сбил злополучный замок — так, что крышка отлетела, — то он увидел, что две из четырех стальных пружины для пращей исчезли неизвестно куда.

Он сразу понял, в чем тут дело, и позвал конунга. Конунг собрал людей. Именно этой небольшой группе было строго-настрого прика-

зано не отходить от мастера ни на шаг. Они научились от Асбьёрна ставить пращи. И вот теперь они здесь — все восемь человек. Один из них украл стальные пружины из ларя оружейника.

Черная ночь, ветер с моря, низкие тучи. Во фьорде невозможно разглядеть корабли. Их качает на волнах, и людям на борту не до сна. Оттуда, снизу, они видят наши сигнальные костры — по одному на каждой скале. И наверное, они спрашивают себя, почему там мелькают люди! Что они там такое делают, непонятно.

Конунг кликнул людей. Голос его, всегда строгий и властный, теперь пылал ненавистью: «Если не сознаетесь, я отрублю каждому ногу!...»

Мы стояли вокруг и молчали. Конунг взял в руки секиру. Ему протянул ее один из восьми, — Бьяртмар, молодой парень, которому Халльвард Истребитель Лосей в отцы годился. Конунг зорко взглянул на Бьяртмара. «Ты что-то знаешь?» — спросил он. «Нет», — спокойно ответил Бьяртмар. Конунг велел мне считать до двенадцати, и если никто не сознается, то всем без исключения отрубят ногу. Люди молчали.

И тут к нам приблизился Малыш, теперь уже юноша. Он был по-прежнему низкорослым и мог пройти меж ног взрослого человека.

— Господин, — сказал он, — обидно будет, если семеро таких славных воинов лишатся одной ноги только из-за того, что провинился восьмой.

— Если ты знаешь что-то, выкладывай, — крикнул конунг.

Малыш выпрямился в полный рост, но это мало что изменило: его заветной мечтой было сочинить однажды такую песню, чтобы ею заслушался весь королевский двор. Малыш указал на Бьяртмара:

— Разве не ты был у ларя с инструментами и держал в руках отмычку? — спросил он.

Малыш спал по ночам рядом с кузнецом и его ларем и вполне мог заметить что-нибудь, ибо один глаз у него всегда был приоткрыт. Бьяртмар побледнел, и при свете костра это было заметно. Конунг кинулся к изменнику. А Малыш снова проговорил:

— Когда он отстегивал пояс, я слышал позвякивание монет.

Конунг сорвал с Бьяртмара пояс. На землю посыпались серебряные монеты.

— От кого ты получил их? — допытывался конунг.

— От одного человека в Тунсберге, который сказал, что это дар епископа Николаса, — произнес Бьяртмар.

— Где пружины для пращей? — продолжал конунг.

— Придется тебе нырять за ними, государь, — сказал Бьяртмар и холодно рассмеялся.

Конунг вновь подозвал к себе семерых и заявил, что один из них должен отрубить Бьяртмару обе ноги. Когда дело будет сделано, пусть сам виновный позаботится о себе и остановит кровь, если сможет.

— Есть желающий? — спросил конунг, и вперед выступил низенький человек по имени Сигвальд. Говорили, что этот Сигвальд приходится сыном Хельги Ячменное Пузо, но точно уверены в этом не были, и менее всего сам Хельги.

— Бьяртмар высмеял меня, когда я не смог пустить струю мочи так же далеко, как и он, — сказал Сигвальд.

— Здесь речь идет не о твоей мести, а о справедливом наказании, — отрезал конунг. Мы бросили жребий. Выбор пал на Сигвальда.

Конунг протянул Сигвальду секиру и сказал, что Бьяртмар должен сесть у костра, чтобы все, кто захочет, могли видеть его.

— На месте ли стража? — вдруг резко крикнул он.

— Да, — ответил ему Свиной Стефан, который тоже здесь, рядом. Стали искать какой-нибудь пенек, на который Бьяртмар мог бы положить свои ноги перед казнью, ибо конунг заявил, что секиры наши быстро затупятся, если мы будем рубить по камню. Нелегко было найти пень. Тогда наш плотник добрался до корабля и вернулся с куском доски в руках. Он промок до нитки и, поскользнувшись на камне, ругнул и Бьяртмара, и конунга заодно. Бьяртмар зарыдал и попытался приблизиться к Сверриру. Но воины оттолкнули его. Тогда Бьяртмар выкрикнул конунгу, что он осудил его отца, Халльварда Истребителя Лосей, на смерть.

— Помнишь ли ты об этом? Ты заставил его дожидаться смерти в Нидаросе, пока сам следил за конунгом Магнусом. Я был тогда маленьким мальчиком. И я видел все это.

— Знаешь ли ты, что попадешь в ад? — крикнул он конунгу. — Ты проклят!..

Но конунг ему не отвечал.

Бьяртмар положил ноги на доску.

И Сигвальд отрубил их.

На мгновение Бьяртмар потерял сознание, но потом очнулся и приподнялся. Лицо его ужасно перекосилось, и он простонал, глядя на конунга:

— Твой сын, Сигурд, напился вчера вместо того, чтобы стоять вместе со своими людьми на страже. Поэтому корабли твоих врагов опередили тебя и не дали тебе уйти.

И он, побелев, скончался.

Люди молча оттащили тело в сторону.

Конунг велел поставить пращу, хотя она и оказалась непригодной. Ее должны были водрузить на кучку камней. Возвышаясь над скалой, праща эта должна служить грозным предупреждением врагу. Он приказал также своим людям выдолбить углубление в скале, чтобы исправная праща казалась безобидной. Ночь подходила к концу. Начало светать. А люди все носили и носили камни к праще, и на кораблях точили мечи.

На этот раз конунг не выстраивал своих воинов в боевом порядке, чтобы говорить перед ними.

А потом на нас напали они. Надеясь застать нас врасплох, пока мы еще спим. Кораблей их насчитывалось более полсотни. Но проток был слишком узок, и по нему могли идти в ряд лишь два корабля, бортом к борту. Так что наши позиции были не хуже. Но их было много, а нас — меньше. Берега круто обрывались вниз, и баглерам нелегко было сойти на сушу, где их поджидали мы. Похоже, люди на борту не осмеливались приблизиться к пращам. И поворачивали назад.

Они пытались просочиться со стороны другого холма, где стояла праща поменьше. У Асбьёрна камень был уже наготове. Пятеро натягивают пращу, Асбьёрн поднимает руку, и камень летит в корабль противника. И не попадает в цель. Падает надалеко от правого борта. Корабль покачивается на волнах.

Тогда воины Сверрира решили показать, что не даром они зовутся биркебейнерами. Годами упражнялись они в этом: рука отведена назад, веревки натянуты, стальные стрелы напряжены. Асбьёрн прицеливается: в петле — пятеро на борту, дрожат линии и штаги. Он поднимает руку...

Камень угодил прямо в середину корабля, пробил днище; шхуна затрещала, люди, крича, заметались, начали прыгать в воду, кто-то

пустился вплавь к берегу, но наши стрелки осыпали их градом стрел. Ни один не выбрался на сушу.

Вскоре появилась другая шхуна: но теперь она разворачивалась, и люди с трудом налегали на весла. Вражеские корабли вновь образовали кольцо, и между ними сновали лодки. Наверное, хёвдинги держали совет, как им быть, чтобы поквитаться с конунгом Сверриром.

Епископ Осло, Николас сын Арни из Ставрейма, человек, который короновал Сверрира, впал сегодня в немилость у Господа.

Сгустился туман, и упала пелена дождя. Вряд ли баглеры порадуются решению остаться в море еще на одну ночь, чтобы караулить людей конунга Сверрира. Конунг отдал приказ разжечь на мысе четыре костра, подальше от наших кораблей. Люди бросали смолу и скрывались. Таким образом внимание противника было устремлено на суету с кострами. Туман все сгущался, но все же над морем еще стояла полоска света. Мы вывели корабли конунга Сверрира через узкий боковой приток. Одно судно село на мель. Мы пробили ему дно и взяли людей на другой корабль. Остальные спаслись. И прежде чем враг сообразил, что же произошло, мы уже плыли, держа курс на север. Они кинулись за нами в погоню. Однако в открытом море взять легкие шхуны конунга Сверрира было непросто.

На скале лежало тело Бьяртмара. Не быть ему погребенным в освященной земле.

В тот день мы ничего не ели, и только теперь поделили между собой еду. Люди сидели и жевали пищу. Конунг был с ними.

Появившись среди нас, он бросился к своему сыну Сигурду и обрушился на него с проклятиями; встряхнув его, он ушел. Перешагнув через скамьи гребцов, он направился на корму. Никто не осмелился последовать за ним.

Мы смело двигались вперед в полной темноте, неуклонно держа курс на север.



Сперва мы дошли до Тунсберга, а потом повернули на запад, двигаясь вдоль берега. И тогда мы увидели сигнальные костры, предупреждающие о том, что некий флот идет по Фольден-фьорду прямо в Осло. Это мог быть только епископ Николас со своими

баглерами. Конунг повернул; дул попутный ветер, а из-за легкого тумана нас вряд ли можно было увидеть с берега. На следующий вечер, под покровом темноты, мы бросили якорь у острова Хёвудей. Нарубив веток с листьями, мы укрыли свои шхуны.

Нельзя было терять ни минуты: каждый из нас сознавал теперь свой долг. Воины окружили плотным кольцом монастырь. Смелый аббат вышел к нам, но его быстро втолкнули обратно. Затем к острову причалила наша шхуна, и весла ее были обмотаны кожей. Вслед за ней должны были появиться остальные. Конунг был в сомнении: в последний миг он сам взялся командовать своими воинами. Повернувшись к Сигурду, он тепло попрощался с сыном. Отдал ему свой меч, а сам взял другой. Я всюду следовал за конунгом.

У нас были проводники, и мы бесшумно двигались вперед по улочкам, спрятав оружие под плащами и надвинув капюшоны на лицо. Нам был нужен епископский дом. Стояла непроглядная ночь. Мы напали на стражника. Он закричал: наш человек с ножом промахнулся, и удар был не смертельным. Между ними завязался бой, а мы побежали дальше, и ноги наши гулко хлопали по сырой земле. Но тут мы услышали удаляющийся стук копыт. Епископский дом был пуст.

Да, эта лисица с епископским посохом улизнула от нас, и конунг помрачнел. А вскоре обнаружилось, что в Осло находится лишь ничтожная часть епископского войска; где же остальные? Мы забрали себе несколько вражеских кораблей, стоящих у берега. Из церкви Халльварда вышли люди: они искали в ней убежища. Оказалось, что это наши. И среди них — Сигурд, конунгов сын; он скрылся в церкви, едва услышал топот на дороге.

Конунг отдал приказ разграбить Осло. Воины его могли забрать себе все, что захотят. Однако он повелел не убивать безоружных. Со своими ближайшими советниками конунг отправился назад, на остров Хёвудей. Своему сыну Сигурду он не позволил грабить город. С издевкой в голосе он сказал, что если тот пойдет туда, где чувствует себя в безопасности, то храмы Божии совсем обнищают. И Сигурд остался. А меч отцовский он потерял.

На следующий день люди возвратились из города с богатой добычей. Многие из них напились и едва держались на ногах. Конунг заявил им, что охотно купит добычу, но может предложить лишь четверть цены. Воины зароптали. Однако они не знали конунга так,

как знаю его я; заметив, как наливаются кровью его глаза, как они загораются ненавистью, — я отвел Сигурда конунгова сына подальше, надеясь, что отцовская ярость поубавится, если сын не попадет-ся ему на глаза. Но это не помогло. Хёвдинги то и дело подходили к нам, говоря о недовольстве воинов. Но конунг кричал на них, и они уходили восвояси.

— Уж не напился ли конунг прошлой ночью? — шепнул мне Коре сын Гейрмунда из Фрёйланда.

— Да, — ответил я, — он пьян ненавистью.

— Или гневом на Сигурда, — добавил Коре.

Конунг решил, что раз люди зароптали, то пусть каждый из них, выстроившись в длинную цепочку, пройдет мимо конунга и, преклонив голову под вытянутым посохом, поприветствует его. Тогда я не выдержал и закричал:

— Неужели, Сверрир, ты не можешь управлять страной, не унижая своих людей?

Но он прорычал в ответ:

— Принеси мне посох! Я отказался сделать это.

— Ты хочешь, чтобы твои люди стали тебе врагами? — спросил я его.

— Ты позовешь людей или нет? — снова крикнул он.

— Да, — ответил я.

Воины собрались вокруг монастыря, а конунг стоял в саду. Выйдя к людям, он снова велел подать ему посох. Один из воинов подбежал к конунгу: это был Сигвальд, который отрубил Бьяртмару ноги и с тех пор повредился в уме. В руках у Сигвальда был посох. Он схватил конунга за плечо и замахнулся. Но Сверрир вырвался и завладел посохом безумца. Он сильно ударил им Сигвальда.

Подошедший стражник принес известие: на востоке запылали сигнальные костры. Это значит, что во фьорде заметили новые корабли.

Тогда конунг взобрался на монастырскую ограду и обратился к своим людям.

— Я не знаю, — сказал он, — как много людей собралось здесь, и потому разве нам не требуется всех пересчитать, чтобы по справедливости разделить серебро? Постройтесь и пройдите под посохом, а Аудун и Коре сын Гейрмунда из Фрёйланда посчитают вас.

Они будут считать про себя. И если придут к общему числу, то значит, подсчет был произведен правильно.

Я предлагаю вам тройную цену в серебре против той, что назвал раньше. Но нам надо спешить. Мы должны покинуть это место.

Люди начали проходить под посохом, который держал Свиной Стефан, стоя перед конунгом, а мы считали. Потом оценили добычу и раздали серебро.

У конунга снова не было денег, а люди его радостно бросились к кораблям. Сигвальда оттащили в сторону. Он лежал без сознания, после того как конунг ударил его. Решили посадить его в лодку.

Между Сигурдом и его отцом-конунгом стояла теперь непроницаемая стена. Второй сын, Хакон, был пригожим и разумным юношей. Он всегда держался рядом с отцом.

Мы вышли из Фольден-фьорда, не встретив ни единого корабля на своем пути.



Вскоре мы разузнали, что епископ Николас со своими баглерами направился на север. Они подчинили себе Упплэнд и собирали людей в храмах. Здесь зачитывалось проклятие Сверриру и его воинам. Епископ требовал от бондов, чтобы они хором поизносили анафему конунгу страны. Те, кто не торопился в церковь, подвергались опасности быть обнаруженными баглерами и понести наказание: им могли отрубить ногу. Вот почему той осенью в храмах был такой большой наплыв людей.

Потом баглеры захватили Нидарос. Но в крепости, построенной по повелению конунга на горе, прямо над городом, долго держали осаду люди Сверрира, пока баглеры хозяйничали внизу. Хёвдингом крепости был человек по имени Торстейн Кугад. Он был согбенным и выглядел всегда удрученно. Для меня остается загадкой, йомфру Кристин, как твой отец сделал такого бедолагу хёвдингом. Рассказывали, что Торстейн однажды якобы видел конунга Сверрира струсившим. Не знаю, когда такое могло быть, но сам Торстейн не стал храбрее с тех пор, как сделался хёвдингом над конунговыми воинами. Вместе с ним в крепости на горе был и Халльвард Истребитель Лосей. Сверху они смотрели на город. Однажды вечером внизу заго-

релся огонь. Пылали два двора. Кто-то из верных конунгу людей в городе не пожелал сдать баглерам оружие. и теперь расплачивается за это. Епископ заявил провинившимся, что сожжет их заживо: жарко им придется, но ничего, это еще только начало... В аду будет пожарче.

Один из дворов принадлежал Хагбарду Монетчику, и он заживо сгорел в своем доме.

Из тех, кто добровольно встал на сторону баглеров, были братья Торгтрим и Томас. У каждого было по одной руке, и жена у них была одна на двоих, и тоже однорукая. Она уже родила им детей. Братья охотно встретили противников конунга в Нидаросе. Порадовались они и Сигвальду, — тому самому, который отрубил ноги Бьяртмару и с тех пор лишился рассудка. Сигвальд спасался бегством на юге Осло и попал к баглерам. Братья и Сигвальд были добрыми друзьями с давних времен. И теперь они вместе произносят анафему конунгу Сверриру.

Когда баглеры подожгли дом Хагбарда Монетчика, на дворе у него обгорел теленок. Томас украл мясо. Их с Торгтримом общая жена накрыла одной рукой на стол. У Сигвальда были невредимы обе руки, и он чувствовал себя самым сильным среди хозяев. Однако вести, которые он принес, были не лучшими. Разве никто не знает, что конунг обезумел, что всякий раз, когда наступает полночь, из его красных глаз вылетают языки адского пламени? «Разве у конунга красные глаза?» — спросил Торгтрим. «Они стали у него такими, — ответил Сигвальд. — Так говорят ученые люди, и епископ тоже говорит, что если страх стучится внутри человека, то глаза у него краснеют. А чего он боится? Каждую ночь проклятие толкает его все ближе к преисподней. Я сам слышал об этом! На берегу в Ранрики, когда конунг отрубил Бьяртмару ноги, он привязывал себя к скале по ночам. Ибо дьявол подталкивал его все ближе к аду. Понимаете? Ближе и ближе каждую ночь. Все ближе к аду! И дьявол хохотал над ним. А поутру у конунга краснели глаза...»

Они долго пили в тот вечер. И глаза у них наливались кровью.

Торгтрим и Томас всегда отличались щедростью к друзьям. И открыто требовали равной чести как для хозяев, так и для гостей. А поэтому они заявили, что если Сигвальд сомневается в том, что их жена способна ублажить еще и третьего, то они разрешают гостю самому убедиться в этом. Женщина засмеялась. Она не

противилась гостю. Обняла Сигвальда своей одной рукой, а тот обхватил ее двумя.

Но тотчас же Сигвальду пришло известие: его ждет епископ Николас. Сигвальд был пьян и с трудом натянул на себя штаны. Торgrim и Томас бежали за ним к королевскому двору, где обосновался епископ. Оба остались ждать его на дворе.

Епископ был проницательным человеком. У него был длинный нос, глубоко посаженные глаза, — маленькие, но умные. Он понимал, что обратной дороги к конунгу Сверриру у него нет. Тот, кто возложил корону на главу конунга, а потом обнажил против него меч, должен победить в бою или умереть. Поэтому епископ мало спал по ночам. Поэтому он не колеблясь сжег дом Хагбарда Монетчика. Он запретил священникам совершить панихиду по Хагбарду: будучи воином конунга Сверрира, Монетчик тоже был осужден на муки ада. Рассудительный епископ заметил, что этот Сигвальд, трусливый пес, — самый настоящий биркебейнер. И может статься, что люди, засевшие на горе, захотят прислушаться к его словам. Если же они убьют его — потеря невелика: кто знает, а вдруг этот Сигвальд, со своим испуганным взглядом, на самом деле подослан конунгом Сверриром?

— Ты пойдешь на гору, — сказал ему епископ. — Можешь взять с собой пару горожан, если считаешь нужным. Кричи и стреляй, если увидишь, что дело твое плохо, но я уверен, что ты вернешься живым и невредимым. Скажешь Торстейну Кугаду, что мы спалим его двор, если он не пустит баглеров в крепость. Да скажи еще Халльварду Истребителю Лосей, что конунг собственноручно убил его сына. Расскажи ему, что ты стоял рядом и видел это своими глазами, — и тут епископ улыбнулся. — Ведь это ты убил...

Выйдя от епископа, Сигвальд чувствовал себя несчастным. Ему захотелось вновь сделаться маленьким мальчиком, как когда-то, в те времена, когда Халльвард Истребитель Лосей играл с ним и Бьяртмаром, а потом приходил Хельги Ячменное Пузо, отец Сигвальда, и они вместе славно проводили время. Но все прошло! Сигвальду был знаком здесь каждый куст, каждая тропинка, и он легко нашел в темноте дорогу, выводящую его из города. Торgrim и Томас по-прежнему шли позади него.

— Вот здесь люди Сверрира отрубили мне руку, — проговорил Томас немного погодя.

— А здесь — мне, — подхватил Торгрим.

Рано, на рассвете добрались они до крепости. Их окликнул стражник. Они ответили, что идут с посланием от епископа к Торстейну и Халльварду. Прошло некоторое время, и на стене появился Халльвард. Он крикнул, что сейчас спустит веревку и поднимет гонцов наверх. Но они не пожелали этого.

— Лучше сам выйди к нам, — сказали они.

Этого не хотел Халльвард. Он ушел, потом вернулся вместе с Торстейном. Все вместе порешили, что подойдут друг к другу на такое расстояние, чтобы можно было переговорить, но не настолько близко, чтобы достать друг друга мечами. Люди из крепости прикрылись щитами.

День выдался прекрасный, над крепостью плыли облака; и Сигвальд поведал, что он, будучи прежде человеком конунга Сверрира, теперь бежал от него.

Что же мне оставалось делать, — говорил он, — если в глазах у конунга каждую ночь горит адское пламя? Конунг набросился даже на Аудуна и чуть не задушил его! Люди рассказывали, что это из-за того, что Аудун написал сагу о конунге, которая ему не понравилась. Хуже того: я принес печальную весть тебе, Халльвард. Конунг убил твоего сына.

Халльвард вскрикнул.

И тогда Сигвальд сказал:

— Конунг сказал твоему сыну Бьяртмару: «Ты украл мое серебро!» Но Бьяртмар этого не делал. Конунг сорвал с него пояс, тот оказался пустым, но конунг в ярости продолжал обвинять его: «Ты украл мое серебро!» И он повелел своим людям принести доску, и Бьяртмара связали. Он разорвал узы, ибо силы у него хватало. Его снова связали и заставили положить ноги на доску. И конунг отрубил их.

Тогда Халльвард воздел руки к небу и проклял конунга, и Торстейн, сторбившись еще больше под тяжким бременем, не находил для него слов утешения. Сигвальд подошел к людям из крепости совсем близко.

— Я пришел к вам как друг, — сказал он. — Епископ просил меня сказать, Торстейн, что если ты не отопрешь ворота крепости, то дом твой сторит. Мы с вами будем единственными, кто знает, что ворота будут не заперты! И все, находящиеся в крепости, будут помилованы.

— Если Торстейн не отопрет ворота, то это сделаю я, — сказал Халльвард.

Сигвальд повернулся и ушел, и Торгрим и Томас поспевали за ним, пробираясь через лес.

А на следующую ночь, когда отряд баглеров подошел к крепости конунга Сверрира, ворота оказались приоткрытыми. Баглеры вломились в крепость и поубивали большинство ее защитников.

Сигвальда пощадили, ибо епископ Николас намеревался послать его по войскам, чтобы он рассказывал всем о конунге Сверрире и его злодеяниях. Халльвард лежал без сознания. Когда же он пришел в себя, ему отрубили еще один из пальцев. Он стонал, пока текла кровь, что не верит ни единому слову Сигвальда: «Я знаю, что сын мой жив.»

Я узнал об этом от самого Халльварда в последний вечер перед тем, как он умер.

Конунг Сверрир налетел, как ураган, на побережье и отбил Нида-рос. Епископ и баглеры бежали на юг, через Доврские горы, и Сигвальд — вместе с ними.



На следующий день после того, как мы вошли в Нидарос, на двор к конунгу пожаловал Гаут. С тех пор, как мы его видели в последний раз, он постарел, в волосах появилась седина, и походка его стала тяжелее. Но внутренний огонь в нем не затухал.

— Теперь я долго пощусь и пробую еще кое-какие средства, — сказал он. — Я до крови бичую себя, в надежде приблизиться к истине. Но это мало помогло мне. Еще я кусаю мой жалкий обрубок руки, и когда течет кровь, капли ее падают в огонь очага. Вот тогда-то меня и осенила истина.

— Что же это за истина, Гаут?

— Что в борьбе с епископами правда на твоей стороне, конунг! Понимаешь ли ты, что значит для меня сказать такое, — для меня, который всю жизнь прощает и милует? Но теперь я уверен в том, что Господь избрал тебя конунгом, и потому право на твоей стороне. Но выбрал ли Он каждого епископа епископом? Как знать, не искушает ли дьявол время от времени папу в Ромаборге? Тебя-то я вижу

воочию. И твою славу тоже. И еще видел тебя в нищете и грехе. В тебе есть что-то от света Божия. И потому право на твоей стороне.

Конунг был тронут словами Гаута.

— Что ты дашь мне в награду? — спросил Гаут.

Конунг рассмеялся.

— Я догадываюсь, что у тебя есть еще что сказать мне.

— Торгрим и Томас, которым ты отрубил по руке, пошли служить епископу. Но ты ведь добр, повелитель, и ты сохранишь им оставшиеся руки? Ты понимаешь, что я, тоже однорукий, люблю их как своих сыновей. Только вот не могу дать им матери.

Конунг пообещал не наказывать братьев.

— Но они должны явиться на Эйратинг и услышать письменное разрешение, которое им будет зачитано, чтобы они помнили: конунг милостив к ним.

С этим Гаут согласился.

Халльвард должен умереть. Конунгов хлебопек, человек, которому спасли жизнь, когда его собирался убить конунг Магнус, должен теперь умереть.

— На Халльварда нельзя положиться после того, как мы отрубили ноги его сыну, — сказал конунг.

— Конунг прав, — согласился с ним Халльвард.

Его повесили на рассвете, и мы с Гаутом сидели возле него, пока он еще жил. Он особенно не печалился перед казнью.

— Умираю ли я позорной смертью? — спросил он.

— Наше бесчестие больше твоего, — ответил ему я. — Можешь не верить мне, Халльвард, но конунг тоже так думает.

— Значит, он не глуп, — сказал Халльвард. Он был в нерешительности, стоит ли ему печь хлеб для конунга в утро своей казни, но потом все же взялся за работу.

Торстейна конунг помиловал. Сверрир узнал, что эта лисица-епископ оставил Торстейна в живых, чтобы тот ходил по городам и проклинал перед людьми конунга Сверрира. Но теперь Торстейн был послан рассказывать о жестокости и бесчинствах баглеров. Он хорошо знал, о чем говорил.

Оратор из него был неважный. Он стоял ссутулившись и медленно выдавливал из себя слова. Расслышать его могли лишь находившиеся поблизости. Большинство хохотало над ним.

Баглеры, прежде чем отправиться на юг через Доврские горы, спалили его двор.

Однажды вечером в Нидаросе, когда я возвращался из войска, перед которым выступал Торстейн, ко мне подошла женщина. На вид она была не старой. Она протянула мне луковицу.

— Жив ли твой отец? — спросил я ее.

— Он умер этой весной, — ответила она.

— Однажды, — сказал я, — он предложил мне откинуть в сторону твоё одеяло, когда ты спала, и взглянуть на твоё обнажённое тело, если я пообещаю ему оставить оружие. По глупости своей я не выполнил обещания.

— Все ещё может быть, — сказала она. — Но прежде оставь свой меч навсегда.

— Слишком поздно, — ответил я.

И мы расстались.



Ты знаешь, йомфру Кристин, что когда твой отец-конунг отправился на север и вновь захватил Нидарос, ты вместе со своей матерью-королевой находилась в Бьёргюне. Конунг справедливо считал, что город на семи горах будет самым надёжным местом для твоей матери-королевы и для тебя. А с наступлением лета конунг со своей свитой вернулся в Бьёргюн.

Йомфру Кристин, ты в свои юные годы можешь уже с полным правом зажечь факел своих воспоминаний и озарить его светом нас обоих, — как и мой огонек светит сейчас для тебя. И может статься, что твой рассказ о тех же самых событиях будет отличен от моего. Но позволь мне ещё досказать тебе свои слова, к которым я так привязан, и поведать, что же случилось, когда твой отец-конунг встретил тебя в Бьёргюне.

Ты уже выросла. И он, неустанно разъезжая по стране, редко видел тебя: в его памяти ты по-прежнему сидела на руках у матери. Или у него на коленях. Конунг привез домой чудесные подарки: сладости, которые тают на языке и у взрослой дочери, золотой крест, янтарное украшение, золоченую уздечку. В тот раз, когда он вошел, ты заплакала. Не знаю, почему. Что-то тяготило тебя, и ты искала утешения у своего отца-конунга. И находила его.

Весь первый вечер дома он играл с тобой. Я помню, как он достал свою корону: ты выпрашивала ее у него, и он отослал твою недовольную мать, а сам принялся катать корону наподобие колеса, и вы оба весело смеялись, он — громче всех. Ты надела корону на себя, но она была слишком велика тебе, и тогда он кликнул служанку, это была все та же йомфру КристинЛив. Она принесла подушечку. Конунг вложил ее в корону и снова надел ее на тебя. А ты засеменила по полу с важным видом, будто сама королева, вызвав у всех улыбки, а следом за тобой ковылял Малыш, на которого ты не обращала никакого внимания. Он пытался передразнить тебя. Конунг велел всем в крепости распахнуть двери, и люди стояли и улыбались тебе навстречу. Слово конунга — закон. В крепости началось шумное веселье.

А ты спросила тогда:

— Отец, ты будешь носить эту корону в раю?...

На радостное лицо твоего отца набежала тень, оно приняло горестный вид. Но он прогнал тяжелые мысли прочь. Врата рая или ада: я знал, что после анафемы конунг часто размышлял по ночам о том, какая участь уготована ему на суде Господнем. Но в тот миг у него были дела поважнее: он играл со своей любимой дочкой.

— Ты будешь носить эту корону в раю?...

— Замолчи! — не выдержала твоя мать-королева и хотела было закатить тебе оплеуху, но твой отец схватил ее руку и отвел в сторону. Он стоял на одной ноге, передразнивая Малыша, и взял у тебя корону, а потом крикнул, чтобы принесли королевский жезл. И так вырядившись, еще не передохнув после долгой дороги, он играл в игру, будто ты — Всемогущий Бог, восседающий на небесах, а он — старик, ковыляющий к престолу: «Можно мне жить у тебя?» «Да, да!» — воскликнула ты и хлопала в ладоши. «Тогда я жертвую своей короной, — проговорил конунг серьезным голосом и снял ее со своей головы.

И тут нагрянули баглеры.

Стража донесла: баглеры ворвались в Бьёргюн. Конунг отложил корону и застегнул свой пояс. Женщины и дети поспешно укрылись в крепости. Биркебейнеры, наученные горьким опытом, тотчас взялись за оружие. Никогда еще наш противник не был столь многочисленным. А мы — столь жестоки, безжалостны и свирепы, как

тогда. И на этот раз, как и прежде, баглеры отступили. Но они захватили наши корабли.

На валу святого Иоанна люди конунга и епископа сошлись лицом к лицу. Сигвальд, сын Хельги Ячменное Пузо, был на стороне баглеров, а его отец — Сверрира. Позднее рассказывали, что сын в ярости — или в отчаянии — зарубил трех человек, чтобы добраться до отца и прикончить его. Но в этот миг мужество покинуло его. И ненависть тоже. Отец, раненый, опустился на камень. Он не отрываясь глядел на сына. И тогда сын опустил меч. А отец сплюнул и сказал: «Ну и дрянь же у меня сын».

Тогда сын зарубил отца.

Когда сражение уже приближалось к концу, конунг узнал о происшедшем. Он вскочил в седло и кинулся за убегающим Сигвальдом. Тот спешил в церковь святого Иоанна. У стены конунг настиг его...

— Положите их в одну могилу, — сказал потом конунг. Так и сделали.

Баглеры, захватив наши корабли, стояли в Вогене. Мы узнали, что на борту находился и епископ Николас. И мы повернули назад, в крепость, обагрив в этой битве свои мечи. Не все из нас вернулись туда.

У конунга не было сил продолжить игру с тобой, йомфру, ибо баглеры напали на нас так внезапно. Когда же настал вечер, мы увидели, что баглеры собрались на берегу. Среди них был и епископ со своей охраной. Мы послали туда своего соглядатая — Торбьёрна сына Гейрмунда из Фрёйланда, одного из умнейших воинов конунга Сверрира. Вернувшись, он поведал нам, что епископ Николас снова, с удвоенной силой, призывает проклятие на голову Сверрира, конунга Норвегии. Конунг по-прежнему оставался в крепости. Он вышел на крыльцо и пристально всматривался в сторону берега. Свет от костров выхватывал из темноты фигуры людей.

Он долго стоял там и молчал.

А Симон смеялся. Симон из монастыря на Селье, который так часто перечил королю Сверриру, пока у того все было хорошо, и который становился теперь самым преданным его слугой, когда церковная анафема все больше пахла преисподней. Симон стоял у перил и смеялся. Он видел костры баглеров внизу и понимал, что наша власть сейчас как никогда мала. Поэтому он смеялся.

Йомфру Кристин, в глубоком подземелье крепости сидели твоя мать-королева и ты.

*Крепость на горе,
тебя строил простой люд,
его согнали сюда.
Крепости в Бьёргюне,
Нидаросе,
Тунсберге,
воздвигнуты горожанами,
их согнали сюда!
Пленные строили их,
страшась своего наказания,
бонды, которые ели
собственные нечистоты,
у них не было хлеба,
и они получили хлеб,
выстроив эту крепость.
крепость, крепость,
конунг, конунг,
Бросил монетку,
Бросил другую,
сегодня —
хозяин усадьбы,
завтра —
выгнанный прочь.*

С наступлением ночи баглеры не решились напасть на нас.



За два дня до праздника святого Иоанна небольшие отряды биркебейнеров незаметно покинули крепость, выйдя из нее через задние двери и сад. Мы встретились в церкви и надели на себя монашеские рясы, найденные там.

Под ними мы спрятали оружие. Вновь маленькими группками, погруженные в молитвы, люди двинулись через город: на

многих были кресты. Мы обошли вокруг Вогена, приблизились к монастырю Мунклив и вошли на пустующий скотный двор в лесу. Священники, монахи, хористы, — все молчали... Выставили стражу, она спряталась за деревьями. Накрапывал дождь. Конунг был с нами.

Через открытую поляну в лесу мы могли разглядеть и сам монастырь, и корабли у берега. Мы рассчитывали, что на рассвете воины на борту сойдут на берег, чтобы посетить монастырь на праздничное богослужение. Наступил день. Мы почти ничего не ели.

Вдруг в сероватом тумане появился монах: он шел от монастыря прямо на нас, не предполагая, что здесь прячутся люди. В противном случае это был настоящий храбрец. Конунг желал, чтобы монах прошел мимо: если же он подойдет ближе, придется схватить его. Так и вышло. Монах остановился и начал озираться: он словно почувствовал человеческий запах в хлеву. И тут же на него накинулись двое. Это был Сёрквир.

Да, он, сын епископа Хрои в Киркьюбё, — тот, кто был раньше аббатом на острове Селья и которого мы потом встретили в Согне. Теперь он — аббат Мунклива. Он почувствовал себя неловко, обнаружив, что захвачен в плен старыми друзьями, но потом заявил конунгу, что для церковника справедливее будет не вставать на чью-то сторону в разгоревшемся сражении. Но ты знаешь, как сказал он конунгу, что если мне придется выбирать, то я поддержу тебя. Он остался у нас с конунгом. Сёрквир был достаточно умен, чтобы не просить конунга отпустить его. Он понимал, что Сверрир, загнанный в угол, не захочет искушать судьбу этой ночью.

— На моем пути попадалось слишком много предателей, — произнес Сверрир.

— Я знаю, — сказал Сёрквир.

Конунг угостил Сёрквира медом, который он носил в маленькой коробочке у пояса, и Сёрквир, я и конунг по очереди опустили в нее языки. И тут пришли они.

Стоял легкий туман, и день обещал быть жарким. Они пришли на мессу. К берегу подплывали лодки, и многие хёвдинги из них направлялись к монастырю: они были хорошо видны нам сквозь листву. Они и не предполагали, что в лесу прячутся биркебейнеры. Конунг велел нам дождаться, пока все не сойдут на бе-

рег, а потом разбиться на мелкие группы: одна кинется к лодкам, а другая — к монастырю, чтобы отрезать им путь к отступлению. И захватить их.

Первая лодка причалила к берегу.

Тогда Сёрквир закричал. Никогда я не слышал, чтобы человек так кричал — словно подстреленный волк, в груди которого бушует буря, он сгибался и кричал без остановки. Он отбежал в сторону, но стражник настиг его, схватил за волосы, ища горло, чтобы придушить его. Но Сёрквир увернулся и продолжал кричать. Лодки остановились у берега. Из первой лодки выпрыгнули люди и оттолкнулись от суши подальше. Лодки уходили прочь.

И тогда я взглянул на Сёрквира: он стоял лицом к лицу с конунгом, с ненавистью во взгляде, и выкрикивал ему:

— Будь ты проклят, сын оружейника!... Ты лжешь перед Богом и людьми!...

Двое стражников схватили Сёрквира и удерживали его. Конунг сказал:

— Отпустите его!

Он отвернулся, не глядя больше на Сёрквира, а тот бросился за ним следом, толкнул своего старого знакомого что есть силы и убежал.

Мы шли дальше, полсотни людей в рясах. У некоторых на шее висели кресты.



Настала осень, а мы все еще оставались в Бьёргюне, когда однажды ночью, под покровом темноты, к берегу пристали два корабля с баглерами. Оба они были нагружены смолой и дровами. На борту имелись также котлы с огнем. Баглеры подожгли нас с двух сторон: внизу, у церкви Христа, и к северу от церкви Девы Марии. Епископ Николас велел также спалить сами церкви. После того, как люди Сверрира захватили их, они уже ни на что не пригодны, разве что на публичные дома, сказал он.

Его слова вспоминали долго, и каждый биркебейнер, входя под церковные своды, приговаривал: «Я иду в публичный дом епископа с волчьими клыками». Баглерам повезло: в эту ночь дул сильный ветер. И вскоре огонь полыхал над всем Бьёргюном.

Пламя поднялось над городом, быстро распространяясь по улочкам и у пристани, и лодки в Вогене тоже были охвачены огнем. Большие амбары, где хранилась рыба, полыхали вовсю, и в запахе дыма мы узнали эту самую рыбу. Рыбий жир стал хорошим помощником огню. Конунг кричал, чтобы мы спасали крепость; город в огне, мы должны спасти церкви и наше оружие! А ветер все усиливался.

Город горел, люди выскакивали голые на крыши домов, пытаясь сбрасывать вниз дерн, чтобы прибить пламя, — но оно перекидывалось на другие дома. Эти голые люди на крышах, едва различимые в дыму, кричали друг другу, молили о помощи Всемогущего Господа, — но крыши были объаты огнем. Я был вместе со своими людьми, и мы помогали горожанам, тоже полуодетые... У Эрлинга сына Олава из Рэ загорелись волосы. Мы окатили его водой, он извивался и стонал, потерял сознание, потом снова вскочил на ноги. Волосы полностью обгорели. Мы попытались образовать живую цепь, чтобы передавать воду для тушения пожара. Мы кинулись к домам у моря, но сама улица была охвачена огнем. Перебежав на другую сторону, мы силились остановить бушующее пламя. Навстречу нам неслась собака, шерсть на ней пылала. С воем перебежала она дорогу, но мы отпихнули ее, и собака бросилась в проем между домами на другой стороне. Там тоже полыхало. Мы бросались на огонь, перепрыгивали через него. Ветер нес языки пламени прямо на нас. Баглеры, оставаясь на своих кораблях, стреляли в женщин и мужчин, боровшихся на улицах с огнем. Я помогал выводить скот с одного двора. В лошадь угодила стрела. Она упала на колени. Грива на ней запылала. Ветер раздувал пламя, и грива, охваченная огнем, развевалась, как знамя; я пнул лошадь, она была мертва. Кто жив, а кто мертв был в ту ночь? Вокруг — лишь дым и огонь. Властный голос зазвучал где-то рядом: «Уходите отсюда!..» Это был конунг. Мы покинули двор. Перебежали на другой, пытаясь тушить пожар. Я говорю «мы». Кто мы? Вымазанные копотью: где Эрлинг сын Олава из Рэ и где — конунг Норвегии? Со стороны кораблей в нас летели стрелы. Кто-то крикнул: «Баглеры сошли на берег! Они стреляют в нас с крыш домов!» Рядом со мной, в стену дома вонзилась стрела. Ко мне подбежал человек; я схватил его за плечи и потрянул: он упал на колени. Это был Симон. Весь черный от копоти, так что его невозможно

было узнать. Я потянул его, но едва он встал на ноги, как загорелась его ряса. Он начал кататься по земле. Погасив на себе огонь, он вскочил, бросился бежать, обгоняя меня, и мы оба влетели на новый двор. С крыш больше не стреляли.

Да нет же, стреляли! Но теперь мы собрались вместе, — мы, люди конунга, и несколько воинов бежали уже вдоль причала: дерево было сырым, и огонь его не брал. Отсюда наши люди принялись обстреливать корабли баглеров. Те отчалили от берега: стрелы их нас уже не доставали. Отряд за отрядом, воины конунга Сверрира вступали в борьбу с пожаром. Часть людей тушила его возле Сандбру. Там было достаточно воды. Два отряда охраняли крепость. Четвертый отряд пытался спасти церковь Девы Марии. Они встали вокруг нее кольцом, но у них не хватало парусины и кадок, да и воды было маловато. Они сражались с бушующим пламенем голыми руками, срывая с себя рясы, плащи, штаны, чулки. Они сбивали огонь. Но пламя разгоралось снова. Как рассказывали потом, один монах покинул стан баглеров. Как он нашел дорогу в ночи, никто не знает. Это был Сёрквир. Он тоже сражался с огнем бок о бок с людьми конунга Сверрира. Он якобы кричал: «Я не хотел этого!..» Но кто слушал Сёрквира? Теперь горела церковь.

Тогда Сёрквир взобрался на крышу, — проворно, как белка. Он решил потушить на ней пламя. Одежда на нем загорелась, и он скатился на землю, а кто-то из наших воинов выкрикнул: «Не баглер ли он?..» И оглянулся в поисках меча. Но где искать этот меч в такую ночь?

Церковь горела. Рушилось все. Тогда конунг велел вынести навстречу огню святое распятие из Каменной церкви. Приказал он также взять раку святой Суннивы из алтаря церкви Христа. Мало священников осталось в Бьёргюне. Когда-то их здесь было столько, что нельзя было на улицах протолкнуться без того, чтобы вши со священника не перебежали на тебя и не смешались с твоими собственными. Теперь все священники ушли с баглерами. Поэтому кликнули меня. Я должен был идти впереди святых мощей и вести за собой процессию прямо навстречу огню. Но что я мог помнить из того, что когда-то учил? Разве есть специальные молитвы у церкви на случай, если мощи святой выносят прямо в огонь, бушующий в городе? Удастся ли мне хоть что-нибудь вспомнить? Я побежал к

церкви Христа. Она была всегда такой красивой; и в эту ночь тоже, в отблесках огня! Вокруг раки святой стояли люди. Среди них — братья Фрэйланд из Лифьялля и Эрлинг сын Олава с обгоревшими волосами. На мне не было священнического облачения. В руках у меня не горела свеча. Но зачем она в эту ночь? Огонь полыхает повсюду! Я схватил кадило, откашлялся, а потом упал на колени и приложился к мощам святой. Я должен идти впереди, остальные — за мной.

Рака была тяжелой, люди кряхтели и стонали. Я мучительно вспоминал слова молитв. Жар от огня обдавал нас, мы задыхались, и я падал на колени через каждые три шага. Потом я уже полз на коленях, не пытаясь подняться. Кожа на них содралась. Позади меня со стоном несли раку с мощами. Мы направлялись к Сандбру. И теперь мы видели, что пожары на западе и востоке города слились в единое море огня. Оно катилось прямо на нас. Мы шли к этому морю. И тут мне на ум пришла молитва, которая читается в церкви по определенным дням, и я решил, что для Бога всякая молитва будет приятна, если она исходит от страждущего сердца. И я начал выкрикивать:

*Teribilis est locus iste,
hic Domus Dei est et porta coeli,
Quam dilecta tabernacula tua,
Domine virtutum!**

Позади меня подхватили слова молитвы, и голоса наши слились в единый возглас:

*Teribilis est locus iste,
hic Domus Dei est et porta coeli...*

Навстречу нам попался горожанин. Спасаясь от огня, он нес на спине ребенка, а впереди бежала его жена с двумя детьми постарше.

* Ужасно место сие,
Здесь дом Божий и врата небес.
О, сколь возлюблены скинии твои,
Господи добродетелей! (лат.)

Один из детей воскликнул: «Святая Суннива восстала из мертвых!..» Женщина вскрикнула и пала на колени, а муж ее, подбежав к ней, тоже опустился на колени рядом с женой. Святая Суннива воскресла! Остановившись, люди поставили раку на землю, и один из них закричал: «Святая Суннива воскресла!..»

И сразу же раку стало легче нести; люди почти бежали. Святая мученица восстала из мертвых и помогала нам нести раку, чтобы победить огонь. Муж с женой и детьми бежали вслед за нами, возлагая руки на раку. А я снова и снова выкрикивал:

*Teribilis est locus iste,
hic Domus Dei est et porta coeli!..*

Вокруг нас бушевал огонь.

Мы уже достигли Сандбру. Там мы встретили другую процессию, которая несла святое распятие из Каменной церкви. Вдруг в море огня я увидел епископа Мартейна, согнувшегося под крестом, а рядом — монаха Сёрквир! Да, Сёрквир был с нами в ту ночь! И еще я увидел: это было то самое распятие, которое похитили из Кирккюбё до того, как мы со Сверриром переправились через море! Разве оно не сгорело в Лусакаупанге, в Согне? Теперь оно здесь.

Я не отрываясь смотрел на распятие, меня качало из стороны в сторону, но кто-то подхватил меня, а я чувствовал, что вот-вот потеряю сознание от жажды и пекла. Но кто-то набросил на меня платок: он был мокрый, и прохладные капли воды омыли и напоили меня. Огонь ослепил меня. Но теперь он был мне не страшен. Так мы и встретились у Сандбру: с одной стороны — святая Суннива из церкви Христа, с другой — святое распятие из Каменной церкви. Так хотел конунг. Огонь должен быть зажат между двумя процессиями — и умереть.

И он умер.

Тогда мы запели. Преклонили колени и пели, и кто-то — была ли это Пресвятая Богородица? — да, это была она, и святая Суннива помогала ей, — обе они покрыли нас платком с прохладными каплями. И огонь больше не обжигал нас.

Огонь умер.

Многие лежали без сознания вокруг святой раки. Сёрквир и Мартейн качались под тяжестью распятия. Но когда они упали, то на

мгновение распятие застыло в воздухе, никем не поддерживаемое: оно стояло само по себе.

Подбежали другие люди и взяли распятие.

С тех пор я никогда больше не видел его.

Пламя спадало, и возле раки многие все еще лежали без сознания. Но теперь они встали. Ожоги у них были слабые, боли не чувствовалось. И пламя было уже не то, что прежде.

В некоторых местах еще виднелись пожары, но не здесь. Еще летели искры, но ветер утих. Со стороны моря налетела туча, и пошел дождь. Женщины вокруг заплакали.

Пришел конунг. Крепость была спасена.

Сверрир, конунг Норвегии, оставался конунгом и в эту ночь.

Вокруг стелился дым, раздавались крики людей... Он повелел своим воинам вывезти королеву с дочерью из крепости. Да, йомфру Кристин, ты и сама об этом знаешь. Но я хочу еще раз описать тебе ясную мысль и сильную волю твоего отца. Он приказал вывезти вас из города, через горы и фьорд, и доставить на корабль, который, подняв паруса, дожидался в надежном месте. Баглеры выслеживали нас в Вогене. Но им это мало помогло. Ты, йомфру Кристин, и твоя мать-королева сумели ускользнуть от них на север.

После пожара горожане невзлюбили епископа Николаса.

Пять церквей, которые он прозвал публичными домами, сгорели дотла.

Мы покинули город.



Да, мы покинули город.

У нас еще было несколько сотен воинов — обгоревших, в лохмотьях, но с оружием в руках, — и путь нам предстоял долгий. В одном из селений у Бьёргюна к Сверриру подошел старик и сказал, что это его первая встреча с конунгом. Ко мне приходил священник, сказал он, и велел мне проклясть тебя. Но я благословляю тебя. Я могу показать тебе дорогу через горы.

Конунг обрадовался, и горечь, накопившаяся на душе, излилась слезами благодарности. В тот день мы брели по непроходимым местам. Впереди шли старик и конунг. О чем они говорили между со-

бой, никто не знает, и я в том числе. За ними шли мы, — длинная, длинная вереница людей. Баглерам не очень-то посчастливилось в жаркую ночь в Бьёргюне. И они не преследовали нас.

Была осень, в горах стоял туман. Мы дошли до Восса. Здесь мы когда-то сражались; с тех пор минуло двадцать лет. Тогда у меня еще были темные кудри, а сейчас в них седина. У нас было мало еды, но конунг не хотел, чтобы мы грабили бондов. Однако не хотел он и видеть нас изможденными. В селениях у большой горы на востоке нам удалось разжиться пищей, прежде чем начать переход через горы. Конунг спросил у старика, не может ли он попросить у бондов еды для нас. «Но серебра в поясе у меня больше нет,» — прибавил конунг. Старик взял с собой нескольких наших людей и ушел, а потом они вернулись с едой на все войско. Конунг сел вкушать пищу вместе со стариком.

Мы не знали, кто он. Прошел слух, что сама святая Суннива будто бы пришла к нему в ту ночь, когда горел Бьёргюн, и вывела его из огня живым и невредимым. Но никто не знал этого в точности. И никто не спрашивал об этом. Но я верю, — только молчи об этом, ибо не подобает распространяться о вере другого человека, пока тот не увидит воочию истины, — я верю, что это был ангел, посланник Божий, в образе старика, который провел нас через горы.

Он знал каждую тропку. Но когда мы, осмелев, спросили, откуда он знает все эти долины, реки и ручьи, если сам он живет под Бьёргюном, — он лишь улыбнулся в ответ. И промолчал. Походка его была легкой. Небольшая борода, ухоженная, белоснежная, и говор, который не походил ни на западные, ни на восточные наречия страны.

В горах был туман. Мы все поднимались и поднимались к вершинам. Люди осунулись, устали, но никто не падал. Позади всех брел Свиной Стефан: он был хёвдингом над жестокими воинами конунга Сверрира. Однажды вечером, остановившись на ночлег, мы уже укладывались спать и развели костер, чтобы не замерзнуть. Тогда старик подошел к Свиному Стефану и без всякого спросу вытащил меч у него из ножен. И возвратил меч ему. В том пути меч больше не послужил Свиному Стефану оружием убийства.

Тяжел был переход через горы. С нами была Халльгейр Знахарка. Она вышла замуж за Хагбарда Монетчика, но баглеры спалили их

дом в Нидаросе, и сам Хагбард сторел живьем. А она доплыла на шхуне с севера до Бьёргюна, и ее нежные руки и снадобья служили теперь нам большим утешением и опорой. Она шла вместе с нами через горы: старая женщина в мужской одежде, выносливее многих молодых парней. Вечерами они выстраивались к ней в длинную цепочку: люди с ожогами, рублеными ранами, страдающие недугами. Она доставала из тяжелой сумы, которую носил за ней мальчик, мази, отвары и снадобья, мазала нас, читала над нами — и мы жили.

Когда туман сгущался, конунг перекликался с нами. Хёвдинги каждого отряда отвечали друг другу по цепочке. Сперва слышался голос конунга — сильный, красивый, проникающий всюду, до последнего воина. Потом начинали перекликаться остальные: голоса их были грубые, хриплые, усталые, тонкие, слабые. И между нами росло согласие, подобного которому я не припомню.

Начинался дождь. Последним в цепочке шел Свиной Стефан.

Мы все шли и шли, шаг за шагом, и горы казались нам вечными, йомфру Кристин, как мечты юноши о любви! Холм за холмом, час за часом, день за днем. И крутые вершины, которые угадывались в тумане. Так было в горах.

Оклик конунга. Ему отвечают другие. Мы идем и идем вперед.

Мы спускаемся в долину и приходим в Упплёнд.

Здесь он покидает нас, старик с запада. Кто он был и куда исчез, я не знаю; никто не знает. Но я продолжаю верить теперь, как и тогда. И все верили, как я.

В один прекрасный день мы вновь оказались в Нидаросе.



В ту зиму в Нидарос пришло известие о том, что папа в Ромаборге велел зачитать свой интердикт о короле Сверрире с алтаря главного собора. И архиепископ Эйрик, слепой душой, сделал то же самое в Лундском соборе. Интердикт означал, как ты знаешь, йомфру, что не только воины конунга Сверрира, но и каждый, кто не выйдет на конунга с оружием в руках, — попадут в ад.

Тогда конунг приказал людям из Нидароса и окрестных селений собраться в церкви Христа. Было солнечно в то воскресенье, и стоял сильный мороз. Дыхание людей поднималось белыми клубами к

церковным сводам, но вскоре люди согрелись и перестали притаптывать ногами. Вошел конунг.

Вошел он молча, просто одетым. Волосы были подстрижены и расчесаны, одежда на нем была серого цвета. Никакого меча у пояса, никаких охранников. Те немногие священники, которые еще оставались в Нидаросе, были приглашены в церковь. Но конунг прошел мимо священников. Он не смотрел на них.

Он вошел к алтарю, где стояла рака с мощами святого конунга Олава. Пал на колени и помолился. Затем поднялся и оглядел собравшихся.

Так он стоял некоторое время — крепкий, приземистый человек. Плечи его еще не согнулись. И голова все так же гордо сидела на плечах. Волосы поседели, а глаза по-прежнему ясные, и если в них и таилась скорбь, то сегодня она была незаметна. Потом конунг медленно снял с себя одежду. Он тихо произнес:

— Нагим вышел я из утробы матери. Нагим хочу возвратиться в землю. Но знайте, — продолжал он, возвысив голос, — что рожден я был сыном конунга и умру конунгом. Это мое последнее слово. И в нем — моя истина. Здесь, перед алтарем, перед мощами святого Олава и пред лицом Всемогущего Господа я взываю: Убейте меня! Убейте на месте, если я солгал в храме Божьем! Покарайте меня на глазах у людей, лишите жизни! Или даруйте жизнь, если я говорю правду!

Папа в Ромаборге зачитывает теперь свой интердикт и проклинает меня и моих людей. Оставьте меня, если хотите! Повернитесь ко мне спиной! Мои воины получили приказ отпустить вас с миром. Но останьтесь, если верите моему слову! Я вновь взываю к тебе, Олав, конунг Норвегии: убей меня! Взываю к Деве Марии: ты, Богородица, все видишь и сострадаешь страждущим! Видишь ли ты мои страдания? Видишь, как я истекаю кровью вместе с ранеными и голодаю вместе с голодными? Но, как конунг, я должен идти дорогой конунга. Принеси мою мольбу, Богородица, Господу Всемогущему и скажи: «Он лжет! Убей его!» Или оставь мне жизнь, если я говорю правду.

О Боже, Тебе ведомо все. Ты знаешь, что наш святой отец в Ромаборге был введен в заблуждение злыми людьми. Они замышляют против нас недоброе. Просвети его, пусть мы будем жить по

слову Твоему, а не папы. Убей меня, если язык мой говорит неправду! Или даруй мне жизнь.

Он сделал легкий жест рукой, и все вышли.

Последним вышел из церкви конунг. Он велел своим воинам окружить Нидарос и проверить свое оружие.

Ранней весной пришли баглеры.

Битва продолжалась шесть часов. Мы одолели их.



Мы задержались в Нидаросе на несколько дней, прежде чем следовать на юг, вдоль берега, нагоняя обратившихся в бегство баглеров. Вечером накануне отплытия конунг попросил меня пойти с ним в церковь Христа. Совершив короткую молитву, мы вышли наружу, и он сказал:

— Я вижу Нидарос в последний раз.

В этот миг к нам подошла женщина и попросила конунга принять от нее в дар вещицу. Это была красивая резная ложечка для воска. С другого конца она представляла собой зубочистку.

— Мой отец вырезал ее и желал преподнести в подарок конунгу, — сказала она. — Но он был человек скромный и не осмелился сделать это. Потом он умер. Примешь ли ты этот дар, государь?

Конунг ласково поблагодарил женщину и попросил поминать его в молитвах.

Женщина протянула мне луковицу.

На этом мы расстались.



Когда я вышел сегодня ночью на двор, йомфру Кристин, чтобы полюбоваться звездами в небе Господа Всемогущего, то в ветре над Рафнабергом я ощутил дыхание весны. И тогда я вспомнил, что скоро надо нам будет покинуть это место и отправиться в Бьёргюн — по суше, или, если удача будет нам сопутствовать, по морю на корабле. Ибо я понимал, что когда сойдет снег и дороги будут доступны, — баглеры снова будут преследовать нас.

Но есть еще в запасе ночи, и мы сможем мирно сидеть у огня в Рафнаберге. и жив еще наш добрый Гаут: он спит, положив обрубки

рук поверх овчины, и лицо его повернуто к очагу. Взгляни на него! Не рассказать ли тебе сегодня, йомфру Кристин, сагу о влюбленных? После той крови, которую я тебе описал, пролитой в сражениях твоего отца, нас может успокоить и развлечь история о женской прелести и мужском желании.

Так слушай же! Она была уже немолода. Но в моей памяти она навсегда останется юной. Я знал ее когда-то. Она была светлая, с гордой осанкой, и ноги ее ступали столь бережно по тропинкам и мягкой траве. Плотная юбка защищала ее девственное лоно от жадных взглядов воинов. Никто из мужчин еще не познал ее. Но один из них жил в ее сердце.

Он все не приходил. Он хотел прийти, но никак не мог выбрать между нею и мечом. У него не хватало сил отложить меч в сторону. Но этого требовала она. И того же требовал ее отец. У него была борода пророка, спадающая ему на грудь, и даже в сильный мороз он ходил с непокрытой головой. Никогда я не видел на нем и рукавиц. Я ничего не знал о том, кто была его жена. Он очень любил свою дочь, и однажды склонился над ней в раздумье, когда она спала. Тот воин, о котором я говорил, в это время пришел к ним. Отец ее молвил: «Ты любишь мою дочь, и я вижу, что человек ты хороший. Хочешь, я откину одеяло? Но прежде откажись от меча.»

Но воин этого не сделал.

В один прекрасный день к ней пришел другой и бросил все к ее маленьким ножкам. Владел он немногим. Он скитался по стране и прощал всех, сострадая каждой из сторон в этой проклятой войне, — войне между братьями. Он обещал ей, что они будут жить в Боге. Оба они чтили Бога. Но она его не любила.

И потому она разлучилась с ним и жила по-прежнему девственницей. Потом умер отец. Она с плачем бежала за гробом, — четыре монаха несли его, а затем опустили в землю. Одинокое стояла она у могилы отца.

Он вернулся назад: тот человек, который всех прощал.

А воин не приходил. Настал его желанный час, но он не пришел. С мечом или без меча, воин конунга или нет, но ему не надо было бросаться к ее ногам. Он бы поднял ее, словно знамя, сорвал бы платье, обнажив ее белую грудь. Но он не пришел. Он был далеко, в горах. И пришел другой. Взгляни на него.

Как никто другой, он любил Сына Божьего. Но женщину он никогда не любил. Мне говорили, что ночью, когда ему не спалось и он проводил время в молитве, он падал на колени и рыдал, но не из страха перед адом и гневом Божиим. Он падал на землю, бился о стены головой и рыдал. Почему он рыдал? Кого звал? Ведь он прощал всех людей! Что-то другое томило его: мужское желание, голод любви. Тогда они встретились.

Встретились раз, и больше никогда.

Когда у нее родился сын, она не пожелала видеть отца ее ребенка. Он приходил. Но она прогнала его прочь. Он снова пришел: ползал на коленях и кричал, что прощает ее, но и она должна простить его. Она прогнала его прочь. Она любила ребенка, возненавидев его отца. А потом она тронулась в путь.

Каждый год проходили воины через город конунга Сверрира, и за ними тянулся кровавый шлейф. Без отца ребенка, без собственного отца, она теперь стала женщиной, которая должна была, как считали люди, держать свой дом открытым для каждого прохожего с серебром в поясе. Но на юге у нее жил брат. Он удачно женился и владел теперь двором в Боргарсюсселе. Однажды, ранним летним утром, она посадила ребенка на спину и тронулась в путь. Пристала к толпе паломников, возвращавшихся от мощей святого Олава. А по ночам, когда остальные спали, она покидала постоялый двор и бежала к ближайшим соседям, расспрашивая: «Видел ли кто-нибудь воинов конунга Сверрира?»

Так она узнала, что конунга Сверрира и его людей не особенно жалуют в этих краях. У нее в Трёндалёге люди радовались конунгу и по его слову брались за оружие. Здесь же было иначе. Долгими вечерами она говорила об этом с братом. Как женщина, она обесчестила свое имя: кто она — грешница без мужа, с ребенком на руках? Она знала, что ей предстоит ползти на коленях к храму и каяться. Так она и сделала. Но на обратном пути она заявила брату: «Я — на стороне конунга Сверрира!»

Брат обещал приютить ее в своем доме. К югу лежал Хорнесфьорд. Брат сказал ей: «Здесь — краткий путь в страну данов. И там вооружаются баглеры! Там же, каждое воскресенье, в Лундском соборе, произносят анафему конунгу Сверриру!» Она ответила: «Ложь!» Но брат возразил ей: «Нет, правда!» И он засмеялся, а она разрыдалась. Сын же ее улыбался во сне.

Да, сын улыбался во сне: слабенький, несмышленный и радующийся всему. И тогда она вдруг подумала, что если тронется в путь сейчас, в сентябре, и будет идти без пищи и отдыха, то успеет прийти в Нидарос, пока не наступит зима. А там — конунг и его люди.

Последняя зима рядом с ним?... Она — женщина, он — мужчина.

Она вся пылала, спеша на север; тоскуя по сыну, но зная, что жена брата лучше сумеет позаботиться о нем. Если бы только успеть сообщить конунгу: «Твои враги копят силы на юге, у данов, об этом я знаю от брата!.. Но он солгал мне, сказав, что ты проклят!» Когда она будет стоять перед конунгом, рядом окажется он, ее возлюбленный. И он узнает ее...

Сбросит ли она перед ним одежду? Нет, нет! Возможно, конунг захочет послать своих людей на юг, когда наступит весна, и она будет с ними и сможет забрать ребенка домой... А он будет ждать ее...

Ее тянуло назад, к сыну, но властная рука толкала ее на север, к мужчине. По колено в снегу пробиралась она через Доврские горы.

Один раз ей пришлось заночевать в подвале. Там хранились запасы лука.

По пути в Нидарос ей вдруг вздумалось повернуть назад, броситься на юг, к сыну. И тут она повстречала Гаута.

Она отвернулась от него.

В ту зиму конунга Сверрира и его воинов в Нидаросе не оказалось.



О том годе, когда мы горели в Боргарсюсселе, я помню вот что.

Мы сошли на сушу в Хорнес-фьорде, и конунг сказал, что если бонды не покорятся ему, они пожалеют об этом. Конунг нуждался в запасах еды, и люди его пошли по дворам. Но бонды не отозвались. Некоторые пришли. Из самых бедных, и с собой привели овцу. Но конунг сказал: «Возвращайтесь назад со своей овцой! Мы не хотим разорять неимущих». А богатые бонды не шли.

Тогда конунг сказал, что мы должны запастись едой: я не могу, сказал он, отказывать в пище войску. И я не могу править страной, не держа бондов под страхом наказания. Но они все не шли.

Тогда он собрал свое войско и разбил его на отряды. Одни должны будут охранять корабли, другие, где хёвдингом был его сын Ха-

кон, должны обойти селение с запада и поджечь его. Сам же конунг собрался идти со своими людьми с востока и совершить то же самое.

Мы шли не спеша. У бондов еще было время, и конунг сказал, что помилует их. Но скот куда-то девался, да и людей не было видно. Дома стояли пустые, без лавок, столов, утвари. Мы подожгли их.

Мы шли не спеша, как я уже говорил вам, и к северу от деревни нам встретился Хакон и его люди. За спиной у нас стелился дым, небо было ясное, но вскоре покрылось тучами. Мы вышли к Большой Долине. В ней жил Хавард Бонд, самый богатый здесь. В тот день его не было дома.

Мы подожгли его двор, стояли вокруг и смотрели, пока он горел. Нас было несколько сотен. Когда двор сгорел, мы двинулись дальше.

К северу от долины стоял еще один двор. Мы собрались подпалить и его, но из леса выбежал мальчик и бросился к конунгу.

— Не поджигай наш дом, — сказал он.

— Здесь хозяин — твой отец? — спросил конунг.

— Нет, это дом моего дяди, — ответил мальчик.

— Его что же, нет дома? — снова спросил конунг.

— Он укрылся в лесу и послал меня к тебе, — сказал мальчик.

— Твой дядя не отличается храбростью, — сказал конунг. — Но у детей я дома жечь не буду.

И мы повернули назад.

Конунг велел оставить его одного и сел под тенистым деревом. Но когда наступила ночь, он позвал меня, ибо не мог уснуть.



Этой ночью я взываю к тебе, Дагфинн из Рафнаберга, чтобы ты мучился час под розгами моего голоса. Правда твоя многолика, а я больше, чем ты думаешь, знаю о тех, кто противился конунгу Сверриру. Слушай же, йомфру Кристин, и сама посуди, достоин ли бонд Рафнаберга, кто дал нам ночлег, — умереть или жить.

Такою ночью, как эта, в самый разгар зимы, хочу я вспомнить другую зиму, когда конунг остался в Осло, чтобы удержать Вик под своей властью. Толстый лед сковал берега, и леса утопали в снегу. Нам было известно, что баглеры собирают силы и придут воевать со Сверриром. Конунг отправил своих людей по селениям — запасти

пива, мяса, муки. Тяжелее поборов бонды еще не видели. Нередко случалось, что воины, израненные, возвращались назад, а то и вовсе исчезали. В ту зиму мы стали догадываться, что нищие бонды впервые взроптали на конунга Сверрира. Но разве не в них была его сила? Когда знать закипела от ненависти на человека с далеких островов, конунг всегда мог рассчитывать на бедный люд. Теперь бедняки от него отвернулись.

Так значит, он больше не тот, не отважный храбрец, за которым идет молодежь, и женщины поднимают младенцев повыше, чтобы они посмотрели на конунга? Отныне он только кровавый, и слишком уж долго сечет его меч и бондов, и горожан. Иных теперь слушают люди, а те собираются по ночам, деля недобрые мысли. Мы знали об этом. И конунг знал. Но не случилось ли так, что его острый ум изменил ему в эту зиму? Ясно ли он сознавал, что все вокруг — против него?

И ты, Дагфинн, тоже был против. Я уже потом узнал об этом: однажды ночью ты переплыл в лодке через фьорд в Боргарсюссель, налегая на весла. Ты был перепуган. Молил Всемогущего о защите. Но тебе не удалось уйти. Разве ты не верил, что Господь Всемогущий поможет тебе в пути? Ибо ты выступаешь против проклятого конунга? Ты вез послание от богатого Халлькеля из Ангра к Симону-лагману в Боргарсюссель. В послании было вот что: встретимся в церкви Халльварда в Осло, оденься в рясу монаха, будь там за четыре недели до Рождества! Мы устроим заговор в собственном городе конунга.

Ха-ха, Дагфинн, ты побледнел! Я вижу, что побледнел. Ты и не знал, что всю эту долгую зиму я носил в себе твою тайну. Но зачем мне поднять над тобой свой топор и отсечь твою жалкую руку? Когда ты не нужен ни мне, ни моим людям? Смотри на меня. Смотри на меня! Нет, нет, не моли о пощаде. Просто сиди и смотри: теперь ты напуган. Я знаю — ты переплыл через Фольден-фьорд в зимнюю ночь. Тогда ты был храбрым. Но не сейчас, Дагфинн.

Итак, они встретились в церкви Халльварда, в Осло, — знатные люди из Вика и Упплэнда! Вспомни о них: в монашеских рясах, с посохом, согнувшись и кашляя, уставшие до смерти. Один на коленях полз через улицы Осло, чтоб приложиться к мощам святого Халльварда. Потом мы узнали об этом. Они встретились вместе, чтобы затеять недоброе против конунга страны. Назначили день и

час. И снова взялись за посохи, в своих монашеских рясах и, утопая в снегу, двинулись в Вик. Но они приходили...

Они приходили к тебе, Дагфинн! И может, именно тот, кто потом рассказал мне об этом. Ха-ха, мое знание о твоих злых делах больше, чем ты думаешь. Слышишь, йомфру Кристин? Они были здесь, в Рафнаберге, эти жестокие баглеры. Они набирали в свое войско бондов. И вооружали их. Они сказали тебе, Дагфинн: «Однажды ты убил одного из людей Эрлинга Кривого. Теперь мы убьем тебя, если ты не пойдешь с нами против конунга Сверрира...»

Похоже, я угадал? Верно. Я знаю, чем эти люди воздействовали на тебя. Они говорили: «Ты убил одного из людей ярла Эрлинга! За это ты попадешь в ад. Но вспомни: конунг Сверрир проклят! Поднимись против проклятого конунга, и ты избежишь муки ада». Разве не так они говорили? Идем с нами, сказали тебе они, и убьем наместника конунга Сверрира в Тунсберге!

Разве не так?

Я догадываюсь, что пришла фру Гудвейг. Твоя бедняжка жена, разве она не упала им в ноги, обмазав себя навозом, рыдая, моля пощадить? Готовая сорвать с себя платье и обнажить жалкое тело, отдав им себя на бесчестие. Но они рассмеялись. У них были женщины помоложе. И они заставили тебя выбирать: смерть или битва на их стороне. Ты выбрал последнее.

Наместника конунга Сверрира в Тунсберге звали Бенедикт. Я знал его, но немного. Бонды восстали против него. Из всех окрестных селений: Ботны и Рэ, Андебу, Санде и Стокки. И ты был одним из них. Не ты ли сразил Бенедикта?

Разве они тебе не сказали: «Если ты не пойдешь, Дагфинн, впереди, то мы припомним тебе убийство того, кто был с ярлом Эрлингом!» Ха-ха! Разве не стыдно оказаться трусливым, когда вокруг — храбрецы? Но ты доказал свою смелость, когда нагнал Бенедикта: он спасался на крыше, а двор был охвачен огнем. И ты всадил в него меч.

Потом вернулся домой — и заплакал. Молил Всемогущего Бога, чтобы конунг Сверрир не проведал об этом убийстве. Но я-то все знаю. И знал об этом давно. Смотри на меня, смотри, Дагфинн!

И в этом — одна из причин, почему я избрал это место, почему мы сейчас в Рафнаберге, спасаясь вместе с йомфру Кристин от баглеров на кораблях. И я добрался до тебя.

Ты, Дагфинн из Рафнаберга, желал бы, конечно, сидеть у огня и стругать свою ручку лопаты. Ты хочешь покоя. Но так не пойдет. На бонда имеют виды и люди конунга, и враги. И они берут все, что им надо. Не спрашивая ни о чем.

Дагфинн, смотри на меня.

И ты, йомфру Кристин, смотри. Простишь ли ты этого бонда?

— Господин Аудун, именем своего отца-конунга я прощаю бонда из Рафнаберга.



Когда конунг узнал, что Бенедикт убит в Тунсберге баглерами, он разослал гонцов по всем остальным своим наместникам в Вике и Уплёнде. Гонцы возвратились в Осло, едва переводя дух. Они сообщили, что все без исключения наместники конунга, — а их было немало в селениях вокруг Фольден-фьорда, — убиты, а дома их сожжены.

Редко я видел конунга Сверрира таким, как тогда. Если бы он был один в зале, то он, я думаю, вцепился бы зубами в край стола и изрыгнул бы щепки. Не знаю, поймешь ли ты меня, йомфру. Когда человек остается наедине с собой, он может дать волю злости или отчаянию: вцепиться зубами в стол, схватить серебряный кубок и бросить его оземь, или выплеснуть брагу в огонь, а кубок согнуть узлом. Но в следующее мгновение неузнаваемо вдруг измениться: приветливо встретить почетного гостя и предложить ему сесть. А потом говорить с ним, храня спокойствие.

Конунг кликнул Филиппуса; это был новый воин, который в последние года два приблизился к Сверриру. Ты, Филиппус, как сказал конунг, будешь наместником в Тунсберге, — там, где убит Бенедикт. Филиппус едва ли порадовался словам конунга. С мрачным видом стоял он, внимая конунгу Сверриру. И если умом он не выделялся из прочих друзей Сверрира, то все-таки понял, что смерть Бенедикта — не последняя в Тунсберге. Конунг говорил быстро и долго, вдаваясь в подробности, которые Филиппусу и не надо было бы знать, повторяясь и торопясь. И умолк.

Потом конунг сказал:

— Ты, Филиппус, был в Трёндалёге, когда мои люди и я навестили Боргарсюссель той осенью. И тебе неизвестно, что происходило

там. Бонды отказались выдать мне требуемое. И сперва я решил спалить их дома. Мы шли от двора к двору, разбившись на два отряда, и искали скот. Но не нашли ни скота, ни людей. А потом подбежал ко мне маленький мальчик. «Ты не сожжешь нашу деревню?» — крикнул мне он. «Нет, не бойся!» — ответил я. И не тронул ни дома.

И знаешь ли ты, Филиппус, что случилось потом? Бонды вышли из леса. Женщины подносили ко мне своих младенцев, чтобы я приласкал их. Мы ехали верхом меж рядов счастливых людей. А те священники, что нашлись в деревне, хотя и боялись меня, проклятого конунга, — но все равно поспешили зажечь свечи и целовали следы моего коня на земле. А один — пусть я буду казаться грубым, Филиппус, — слизывал конскую мочу на моем пути. Так они все благодарили меня.

— Да, это так! — произнес Филиппус.

Конунг продолжил дальше, но тут он увидел меня. Я сидел на скамье у огня и молчал. Конунг вскочил, засмеялся, встряхнул Филиппуса за плечи, словно чему-то радуясь.

— Нет, нет, мой славный Филиппус! Я обманул тебя! Во время сражений конунг мечом карает виновных. Не вывел свой скот конунгу, — будешь убит. Спрятался — все равно отыщем. Желаете своему конунгу гореть в преисподней — задыхайся, когда огонь охватит твой дом... Я это сделал, Филиппус. Хочешь, посмеемся вместе сегодня ночью?

И они долго смеялись.

Потом конунг обернулся ко мне.

— Ты ведь читал сагу аббата Карла? — кисло спросил он.

— Да, — ответил я. — Но без особого удовольствия.

— Что же, ты думаешь, она так плоха?

— Я говорил тебе прежде, что дело не в том, хороша или нет: она лжива, а потому недостойна конунга Норвегии.

Он подошел ко мне ближе.

— Ты сам хотел написать то, что истинно?...

— Да, — отвечал ему я. — И в этом я непреклонен, государь.

Конунг подошел совсем близко, я ощутил его дыхание на своем лице. Я заглянул ему в глаза. Там было все, кроме злобы.

Он отошел к Филиппусу.

И резко спросил:

— Я могу на тебя положиться?

Все произошло слишком быстро: Филиппус запнулся и так и застыл, открыв рот. Конунг говорил медленно:

— Я знаю многих своих людей, — сказал он, — и надеюсь, что знаю тебя не хуже. Мне известно, что они могут любить женщин больше, чем своего конунга, и находить больше радости в роге с вином, чем в бою за конунга. И я понимаю их. Но однажды мне передали, что один из моих людей захотел взять силой честную женщину в Осло. Этого мне не понять. Слышишь? Она шла пешком из Трёндалёга в Боргарсюссель. Там у нее были брат и сын. Она кормилась тем, что продавала лук. Но один из моих людей попытался взять ее силой!..

Она отвергла его. Позвала на помощь.

И тогда все тот же воин конунга нашел другую. Или, может, другая сама пришла к нему, — не знаю. Это была жена башмачника из Сельбу. Мне говорили, что она покинула своего мужа и ушла к тому воину, о котором я рассказываю... — И тут конунг вскрикнул. Он пошел прямо на Филиппуса. А тот, побледнев, отшатнулся. — Мои люди пьянствуют и бегают за каждой юбкой! — прогремел конунг. — А мне нужны мужчины! Знай же, что если они покинут свои места, я казню их. Знай об этом!

— Могу ли я положиться на вас? — снова спросил он.

Мы ничего не ответили. Он спросил, словно извиняясь за эту вспышку гнева, будем ли мы с ним в эти лихие времена? Еще год-два? И откажемся ли мы от распрей и ссор? Не будем смотреть на женщин и сплотимся вокруг конунга, хотя бы еще на время?...

Он встал, схватил Филиппуса за грудки и приподнял его. Ты должен служить мне там, сказал он, где я укажу. Или умереть.

Конунг отдал приказ. И Филиппус отправился, куда велено.

Я хотел уйти, но конунг вновь превратился в моего старого друга из епископской усадьбы, в Киркьюбё. Он спросил меня усталым голосом, не смогу ли я остаться с ним этой ночью. Мы вместе уселись у огня. Он замерз, и я принес плащ и накинул ему на плечи. Потом он начал рассказывать о своих сыновьях. Младший, Хакон, был особенно дорог отцу.

— Ты знаешь, — сказал он, улыбнувшись, — он похож на Астрид...

— Да, — ответил я, — а плечи у него твои.

Конунг обрадовался моим словам. Но я знал, что он хочет поговорить и о старшем сыне тоже. Немного погодя он упомянул Сигурда. Сказал, что иногда — когда Сигурд напьется и делается неучетливым — он напоминает ему Унаса. И снова Сверрир взглянул на меня.

— Почему ты так думаешь?... — спросил я.

— Не знаю, — ответил он.

В ту ночь Филиппуса убили.



Филиппус со своим отрядом стоял в дозоре на пристани. Было темно и холодно. Филиппус, доверяя своим людям полностью, вскочил на коня и помчался к дому в саду Акера. Он взял с собой одного стражника. Там ждала его она: жена башмачника из Сельбу, которая бросила мужа.

И в ту ночь к берегу пристали несколько кораблей, и в темноте на сушу высадились люди.

Они убили стражников. Один из них перед смертью открыл, где их хёвдинг: в доме, который в саду Акера. Там его и нашли баглеры. Он выбежал на двор в сорочке, утопая в снегу; кружились снежные хлопья, и баглеры напали на него сзади. Он был одним из неизвестных людей конунга Сверрира. И саги о нем не сложили.

Нашли баглеры и ее, вытащив из-под овчины: она была нагая, будто только что вышла из утробы матери. Пока они забавлялись с ней, стражник Филиппуса, не тратя времени даром, успел скрыться. Он предупредил конунга.

Вовремя конунг созвал своих воинов.

Тогда пришел к конунгу башмачник из Сельбу.

— Господин, — сказал он, — в такую зиму, как теперь, твоим людям надо бы сделать шипы на подошвах. Тогда они смогут сражаться с большей силой. Я знаю, где раздобыть шипы — у местного кузнеца.

Конунг поблагодарил его и построил войско.

Это была месть башмачника.



Конунг кликнул Малыша.

Малыш вставал на скамеечку, когда помогал Сверриру облачаться. Он надел на него через голову кольчугу и зашнуровал ее по бокам; потом взял гребень и расчесал конунгу волосы: они мягко спадали на плечи. Малыш надел на конунга панцирь и завязал на нем кожаные ремешки. Конунг нагнулся, чтобы проверить, хорошо ли он облегает грудь и спину. Сверху конунг собирался надеть красное платье. Мы не советовали ему делать это. Сперва — я, а потом и Симон. Он сказал, что конунга сразу заметят в таком наряде. Зачем тебе преждевременно кичиться своей отвагой, сказал он. Она не станет меньше от того, если ты скроешь ее. Но конунгу эти слова не понравились. И он приказал Малышу подать ему красный наряд. Он сразу же делался слишком заметен. Словно бы он окровавлен еще до начала сражения. Закованный в латы, он тяжело сидел в седле. На голову он водрузил стальной шлем. Ему привезли его всадники из заморских стран. Конунг послал их за шлемом, а сам усадил потом кузнецов за работу, и они смастерили такие же шлемы для первых хёвдингов Сверрира. Затем он взял меч. Из ковки стали, обоюдоострый, не длинный, которым можно было поразить противника наповал, если конунг окажется с ним лицом к лицу. Щита у конунга не было, ибо его защищала кольчуга. Садясь на коня, он взял в левую руку легкое копье.

Ездил он на кобыле, мышинового цвета, быстроногой, спокойной, но дикой, когда ее прищпорят. Грива ее была коротко подстрижена, чтобы не мешать в бою. Часто конунг скакал без седла. Но сегодня он оседлал ее, прикрепил копье на ремне и велел подать ему меч. Большинство его воинов были вооружены так же, как конунг.

Одного из них звали Оке. Видом своим он был как две капли воды похож на конунга Сверрира. Те же широкие плечи, прямая спина, и так же спадают волосы по бокам. Когда конунг и Оке были одинаково одеты, то трудно было отличить их друг от друга среди прочих людей. Но Оке еще не догадывался, что его ждет.

По велению конунга Малыш облачал теперь Оке в панцирь и красный наряд. Он тоже надел на него шлем, и Оке стал вылитый конунг. Теперь воин понял, в чем его долг, Но он был не самым

умным среди людей Сверрира: и он позволил себе заметить, что не желает погибнуть, как конунг, не будучи им. Конунг подошел к Оке и заявил, что страхи его все равно ничего не изменят. Ты поскачешь вперед, на врага, сказал он, и будешь сражаться, пока хватит силы. Остаться в живых или пасть — это твоя забота, другим это менее важно. Но я знаю, что ты не подведешь.

Конунг послал своих воинов снять двери с церквей; он хотел, чтобы ничто не препятствовало горожанам войти в храмы. И если баглеры нападут на людей прямо там, то о них разнесется весть, что они с оружием в руках ворвались в церкви, которые не закрывались. Испуганный священник шел позади, когда уносили дверь его церкви. Он кропил ее святой водой. На сильном морозе вода замерзала, а священник отламывал с двери сосульки и сосал их, защищая себя от нелегкого часа, которого ждал впереди.

А потом пришли горожане. Они загоняли свой скот прямо в церкви. Сюда же вносили все, что было взято из дома: орудия, стулья, одежду. Мужчины снимали ножи и втыкали их в дверной косяк, чтобы войти в храм безоружными. Многие женщины плакали.

И тогда, на мгновение, я увидел женщину, которая была в Осло, но я об этом не знал: женщина с луком, она вела мальчика, и держала в руке свечу. Она вошла в церковь святого Халльварда. Меня она не заметила.

Я уехал вместе с конунгом.

Мы делили меж воинов обувь с шипами.



Епископ Мартейн пришел к конунгу. После того, как Мартейн тоже был проклят, он следовал за нами по всей стране. Он постоянно страшился огня преисподней, но странное дело: рядом с проклятым конунгом его страх уменьшался. Мартейн сказал:

— Ты, государь, требуешь, чтобы я благословил твое оружие на битву! Но разве возможно благословить его? Прежде ты никогда не просил священников благословлять оружие словом Божиим. И я не знаю, в воле ли это Господней. Воля здесь только твоя.

Конунг ответил:

— Выбирай: будешь ты другом конунгу или же нет.

И Мартейн выбрал жребий друга.

Когда воины были построены, Мартейн вышел вперед: народу было более тысячи. Он возвысил голос и прочитал молитву, потом склонил голову. Сидя верхом на коне, он воззвал к Всемогущему Господу и святому Халльварду, который покоится в этом же самом городе. Было морозно, и белый пар вырывался у Мартейна изо рта. Он говорил так:

— Боже, благослови оружие конунга Сверрира в этот день! Не часто Ты, Господи, благословляешь оружие конунгов! И если наш бой — справедливый, то он и священный: и тогда Ты благословишь оружие конунга Сверрира! Тогда люди конунга будут сражаться не ради того, чтобы миловать. Они будут биться и убивать. Мы знаем, что на то твоя воля, Господи: и каждый воин, кто струсит в бою, — лишится одной ноги. Пусть, если захочет, бежит одноногим. Благослови же сегодня оружие конунга Сверрира!

Но потом, в покоях Сверрира, добрый наш Мартейн рыдал.

День был холодный. И пар от дыхания поднимался над тысячью человек и тремьями конями. Деревья отяжелели от инея, на всех дорогах — утоптаный снег, и вокруг — большие сугробы. Нелегко будет через них пробираться.

Вот оба сына конунга верхом: Сигурд и Хакон. Их отряды должны поскакать к Рюгинабергу и перейти в наступление против бондов, собравшихся там. А сам конунг с людьми отправится через Мёртустоккар.

Прежде чем разделились отряды, конунг подъехал к своим сыновьям и тихо беседовал с ними. Я был уверен, что он говорил им отцовские слова напутствия. А может, то были суровые наставления конунга перед битвой.

На том они и расстались.

С Мёртустоккара нам хорошо был виден весь город, фьорд и холмы. Было ясно и холодно. И мы заметили то, о чем и не думали раньше: люди, которые высадились на сушу ночью, в саду Акера, нашли себе много союзников. Город кишел людьми. Они были маленькие и темные, словно блохи. Они были повсюду: на каждой улице и дороге. А внизу, прямо на льду, собирались в большие отряды другие люди. Похоже, они причалили к берегу на корабле этой

ночью. Мы видели темное море за ними и шхуны, стоящие у берега. Похоже, люди построились в боевом порядке.

Тогда конунг повернул свое войско.

Мы шагом проехали через город.

Мы напали на них.

Они отбивались храбро. Но мы были верхом, и лошади были подкованы, а на пеших воинах — обувь с шипами. Там, на льду, десять бондов приходилось на каждого из людей Сверрира. Но они, без шипов, скользили и падали. По льду растекалась кровь, она дымилась, не застывая сразу, и на кровавом льду скользили бонды, роняя оружие, а мы оттесняли их дальше, к самой кромке льда. Я не хочу говорить об этом. Над нами — холодное небо, с моря плывет туман, падают снежные хлопья. И раздаются крики. Я не хочу говорить обо всем. Коре сын Гейрмунда из Фрёйланда, Эрлинг сын Олава из Рэ. Кто еще пал в том бою? Я не хочу говорить всего. Торбьёрн сын Гейрмунда из Фрёйланда, я помню твой радостный смех и верную руку друга. Я не хочу говорить об этом. И конунг, конунг, в глазах его — небо и ад, и в них заключалось все. Он был обогрен чужой кровью. За спиной у него бился Малыш. Да, Малыш — ростом не выше ребенка, крепкий, он кричал и рубил всех подряд, твердо стоя на шипах. Да, конунг! Лошадь под ним осела. Он получил другую. Снова разил копьем, оно все покрыто кровью. Конь его топчет людей, и Малыш, Малыш за ним следом кричит. И Симон.

Да, Симон, когда-то аббат, теперь здесь. Братья Фрёйланд из Лифьялля и Эрлинг сын Олава из Рэ. Не думал я этого. Я не хочу говорить обо всем.

Конунг упал на колени. Мы рванулись к нему; на него налетели бонды, и Малыш закрыл собой конунга, а бонды скользили в крови. Их — десятеро на каждого из нас. Но они, поскользнувшись, падают. А конунг опять на ногах, и снова копье его покрывается кровью, а бонды, скользя, погибают.

Кровь застывает на холоде. Льется новая кровь, кони в испуге храпят, топчут бондов и тоже скользят. Кони скользят на кровавом льду, гонят бондов к ледовой кромке, теснят их к воде. Один за другим, бонды тонут. Кони тоже срываются с льда и уходят под воду. Но мы не скользим. У нас на ногах шипы. И мы одолели бондов.

Последние из них убегают, скользят, и море поглощает их. А кто-то, упав на колени, читает молитву. И мы настигаем их.

Воины конунга в этот день беспощадны.

Я не хочу говорить обо всем.

Вскоре настал вечер.



И тогда на нас напали новые баглеры. Мы спешно повернули назад, но, лишившись в битве многих своих лошадей, были вынуждены сражаться спиной к открытому морю, как бонды — прежде до нас. И тут мы увидели, что бьемся против своих. Они отступали из города, в ранах, и мужество их покинуло. Они нам кричали о том, что конунг убит.

Но Сверрир был с нами. И он сказал:

— Это убили Оке...

— А что сейчас делают баглеры? — спросил конунг.

— Они празднуют твою смерть, — ответили люди.

— Недолго придется им радоваться, — заметил Сверрир.

Хакон, сын конунга, был вместе с нами. Ему нанесли две раны, конь его хромал, и он бегством спасался от баглеров, но, похоже, бился он с ними отважно. Он думал, что осиротел. И тут повстречал отца. Но о Сигурде, сыне конунга, Хакон не мог рассказать ничего. Братья в бою потеряли друг друга из виду. В городе властвовали баглеры.

Тогда мы, собравшись, напали на них...

Да, да, мы рассеялись в сумерках по улицам города и напали на них. Они-то сидели и веселились в кабаках, думая, что конунг мертв. Но конунг пришел. Они-то пошли по дворам, грабить жителей, уводя с собой женщин и забирая себе серебро. Ведь они, баглеры, одержали победу. Конунг был мертв. Но конунг пришел.

На пороге церкви святого Халльварда кто-то раздел тело конунга, то есть Оке: мертвый лежал в свете факелов, и баглеры верили, что это и есть конунг. Они вопили от радости и пинали умершего. Кричали, что труп конунга Норвегии надо подвесить, чтобы все его видели. Так и сделали. Обнаженное тело Оке раскачивалось на веревке, а мальчишки подбегали к нему и дергали за мужское достоинство,

выкрикивая, что они теперь сами конунги, раз удостоились такой чести. И все вокруг потешались. Женщины, у которых мужья и братья сражались на стороне баглеров, пришли посмотреть на нагого конунга. Тело висело, покачиваясь. Под ним лежал сдохший конь. Там же было и платье конунга. Между женщинами вспыхнула ссора, ибо каждая захотела себе оторвать лоскут. Платье было в крови. И тем оно было ценнее. Кровь замерзла, но теперь, в руках женщин, она потекла от жары, и все они перепачкались кровью конунга. Баглеры были повсюду. Они стояли у входа в церковь святого Халльварда и кричали, что если народ добровольно не выйдет оттуда, — они спалят саму церковь. В Норвегии этого проклятого конунга не осталось больше церквей. Они стали публичными домами, едва их порог переступили биркебейнеры Сверрира. Но отныне конунга нет.

Конунгов труп все качался — труп Оке, — и кровь от тепла зажженных факелов закапала с трупа. Но тут пришел конунг.

На баглеров мы налетели, как буря, и сдернули мертвого Оке вниз. Мы настигали их на улицах города, и кто-то из баглеров поспешил укрыться в церквях, где уже набился народ. Они оттесняли женщин и плачущих детей, но мы настигали противника. И выволакивали баглеров назад. В Норвегии не осталось храмов. Они превратились в вертеп, едва в них входили наши враги.

В уличных стычках случайно лишился руки маленький мальчик. Мать подхватила с плачем ребенка на руки.

А из церкви святого Халльварда вышел старший сын конунга, Сигурд, ведя под уздцы коня. Он укрылся в церкви от боя. Отец и сын теперь встретились. Отец, обгаренный кровью. И сын, покрывший себя бесчестием.



Когда наступила ночь, конунг с сыном сидели в келье аббата, в монастыре на острове Хёвудей. Конунг спросил у сына:

— Ты знаешь, что ты проклят?..

Ты знаешь, — сказал он и встал, — что ты тоже проклят? Сперва они проклинали меня. Осудили на муки ада, читали мне в Лунде анафему. Потом проклинали тебя. Ведь именно ты унаследуешь престол конунга в Норвегии, если меня не будет? Однажды меня убьют. И ты

будешь норвежским конунгом под грузом проклятия... — Подойдя к нему, конунг сказал: — Они прокляли и твоего брата Хакона. Но он не из трусливых. Он похож на меня. За нашей спиной — преисподняя, впереди у нас — баглеры, но Хакон и я сумеем сберечь наше имя. А ты?

Отец шел за сыном, их разделял стол, и они обошли вокруг. Мы наблюдали за ними: нас было четверо-пятеро, и мы хранили молчание. Сверрир не был пьян. Но может, он опьянел от крови? После сражения кровь все еще оставалась на нем. Прежде он умывался. Теперь же кровавые капли ступились в его бороде. И волосы запеклись от крови. Малыш пытался смыть с него кровь, но конунг прогнал его прочь.

— Пусть мои люди видят, что конунг покрыт кровью! — воскликнул он. Грудь его была вся в крови. Но не его, а чужой.

Было видно, что даже зубы во рту, и те окровавлены. Наверное, кровь попадала в рот. Словно он пил эту кровь. Он преследовал сына, как будто бы жаждал новой крови.

— Ты ведь не трус? — говорил он. — Ты не боишься огня преисподней?

Ты хорошо знаешь церкви, — продолжал конунг, — и даже сегодня, в день битвы, когда все мы бились с врагом, — у тебя нашлось время пойти в храм Господень. Ты что, там молился? Узрел в храме Сына Божия? Деву Марию? Ты не знаешь, что проклят?

Ты что же, забыл, что конь твой нагадил в церкви? И ты вслед за ним? И ты за собой не почистил? Теперь уже ночь, и посмеешь ли ты, сын конунга, тоже проклятый, возвратиться в церковь, совсем один, — ты помнишь, что двери там нет, — и ты попадешь туда без усилий. Иди и почисти после себя и коня!...

Конунг произнес это тихо, а меж губами виднелись кровавые зубы.

— Поди принеси сюда конский навоз — закричал Сверрир.

Сигурд ушел.

Но обратно он не вернулся.

Конунг не пожелал смывать с себя кровь.



Я вспоминаю о маленьком мальчике, которому нечаянно отрубили руку.

Четыре монаха несли его на носилках, ступая по льду, направляясь из Осло к себе в монастырь на Хёвудей. Один из монахов все кашлял. Он останавливался, сбивая с ноги других. Опускали носилки на лед, и холод проникал через них в ребенка. Один из монахов рассеянно натянул покрывало на детское личико. Но тут закричала она, мать ребенка, которая шла рядом с ними. Монах перекрестился и снова убрал покрывало. Впереди шли два воина с факелом. Конунг велел им: баглеры топтались в нашей крови, но скоро придется им падать, скользя в их собственной. Голос у конунга был неровным, звенящим от ярости. Он взлетал и делался резким, словно наточенный нож. Скоро монахи с мальчиком будут в монастыре. Халльгейр Знахарка, которая помогала раненым воинам, теперь поспешила сюда. Спокойно, как и всегда, сняла она рукавицы и осмотрела ребенка. Обрубок подвижен, капает кровь, мальчик жив, но пока без сознания.

Тогда она взяла смолу, велела дать ей огня и горшок, удалила людей, отпихнув так резко монаха — старого и нетрезвого, что он покатился в снег. Кликнула двух хористов, велел им достать свечей. Они возвратились с двумя огарками. Получив оплеуху, они принесли по факелу, и свет их падал на раненого. Но Халльгейр были нужны еще и церковные свечи. Они будут гореть вокруг ложа ребенка. У ног малыша склонилась в молитве несчастная мать. В горшке закипела смола, и Халльгейр-знахарка, проворным, привычным жестом, приложила ее к обрубку.

Мать закричала. Но мальчик в себя не пришел.

Халльгейр велела хористам внести сюда большое распятие: оно висело в церкви монастыря. Хористы начали спорить, можно ли взять распятие без разрешения аббата. Его сейчас не было. Он обратился в бегство и скрылся, когда биркебейнеры выгнали баглеров вон, захватив монастырь. Хористы боялись взять распятие, не спросив у аббата. Ведь они слышали в школе, на проповедях и читали из книг, что нельзя выносить распятие, не окропив его прежде святой водой. Затем надо пасть на колени, затем... И тут пришел я. Одному закатил оплеуху. Потом наподдал другому. Они живо взялись за распятие и принесли его к ложу ребенка, который еще не пришел в себя.

В ногах у него распростерлась в молитве мать. Та самая женщина, что торговала луком; теперь она высохла и постарела... Когда-то

отец ее мне говорил: «Хочешь, я откину одеяло, которым она укрыта?» Она распростерлась в молитве, взывая к Деве Марии: «Прости и помилуй, о Богородица, я согрешила, родив дитя, и теперь я наказана. Но пусть лучше я лишусь своих рук: отсеки их, пусть дьявол откусит мне обе руки, а ручка ребенка пусть вновь отрастет!..» Она поднимала лицо, обращаясь к небу, не видя меня, и я тоже пал на колени, и слезы застлали глаза.

Повсюду в монастыре был удушливый воздух, и много людей скопилось вокруг. Они были ранены в битве, харкали кровью и умирали, падая в снег. Монахи умели делать отвары и снадобья: они хлопотали не покладая рук, милосердно ходя за страдальцами. Но в сам монастырь никого не пускали. Время от времени дверь открывали. Мы запирали ее опять. Воины кляли нас, монахи бранились, что их не пускают в их монастырь. Но так велел конунг: «Мальчику надо прожить эту ночь!» В ногах его, не поднимаясь, молилась мать.

Потом она встала. В келье аббата сидел конунг. Он так и не смыл с себя кровь. Никто не сказал ей, где сейчас конунг. Она же, шагая, будто во сне, двинулась прямо к нему. Открыла двери, вошла в келью. Я шел за ней. Во сне она или безумна? Не знаю. И конунг не знал. Я стоял позади. Конунг сидел перед ней. И тут я подумал: «В руке ее нож?» Она бросилась к конунгу Сверриру, стуча в его грудь жесткими кулачками. Сорочка на нем — вся пропитана кровью, которая уже высохла. Она била его по лицу и груди. Он сидел неподвижно. Встал, хотел расстегнуться, чтобы удары пришлись на голую грудь. Застежка не поддавалась, тогда он сорвал ее прочь. Она била его по груди, рыдала и била вновь. И ушла.

Но уходя, сказала: «Доставь его руку сюда...»

Халльгейр-знахарка могла рассказать, что по вере святых жен отрубленный член, приложенный к телу, вновь прирастал по молитве о нем. Конунг велел прийти стражнику. Тот прибежал, весь покрытый кровью сражения, и конунг приказал ему взять десятерых, или двадцать людей! Пусть найдут руку мальчика.

Стражник не понял. Конунг хотел ударить его, но я вывел стражника вон. Вместе мы отыскиали Коре из Фрэйланда. Ему отрубили в сражении нос. Я передал приказ конунга. Коре сын Гейрмунда взял людей и пошел к лошадям, отдыхающим после сражения. Люди вскочили в седла и поскакали в Осло.

Утопая в снегу, они принялись искать вокруг церкви святого Халльварда. Потом позвали еще людей из соседних дворов и велели им тоже искать. Ночью шел снег. Он покрыл старую кровь тонким слоем. Искать было трудно. Повсюду валялись трупы людей. Их оставляли на месте. Один горожанин сказал, что видел собаку, бегущую с детской ручкой в зубах. Тогда принялись искать собак. Мимо проковылял престарелый священник, держа в руках требник. Он поднял книгу над головой, загораживаясь от снежных хлопьев. Он поведал, что люди выкопали могилу здесь, у церковной стены, где похоронят отрубленные руки и ноги. Завтра священник прочтет над могилой молитву. На том он ушел.

Но Коре сын Гейрмунда удержал святого отца. Он упросил его показать, где эта могила. Оказалось, что ее нет. А снег все падал и падал. «Значит, те люди еще не успели вырыть могилу,» — сказал священник. Коре сын Гейрмунда обещал, что не отпустит священника до тех пор, пока они не найдут ее. Священник, укрывшись книгой, согнулся в жестоком кашле. И тут пришли люди Сверрира, сказав, что нашли небольшой сундук: он полон отрубленных членов и покоится в церкви.

Они вошли в храм. В свете пылающих факелов церковь была полутемной, могучей и грозной. В сундуке лежали три ноги и ручка ребенка. Коре сын Гейрмунда взял эту ручку и поспешил в монастырь.

А конунг тем временем кликнул монахов, велел им молиться всю ночь о ребенке, лишившемся ручки. Многие с неохотой повиновались ему. Они ведь стояли за баглеров, но тех победил конунг. А теперь им велят подчиниться конунгу биркебейнеров, молясь за чужого ребенка. В молитвах их не было силы. Конунг пришел в ярость. Словно запевала на борту корабля, который входит во фьорд, приближаясь к берегу, он подстегнул хор монахов, и те запели живее. Вошел нищенствующий монах. Он сбросил с себя лохмотья и принялся бичевать свою обнаженную спину. Подгонял себя радостным криком. Потом подскочил к конунгу и попросил, чтобы тот высек его своею рукой. Сверрир плюнул в него. «Молитесь!» — велел он монахам.

Тут пришел Коре сын Гейрмунда из Фрэйланда.

Мы зашептались, как нам войти к ней, — той женщине: держать ли ручку в руках или внести на блюде? Я отыскал у аббата в келье

блюдо из серебра и положил на него маленькую, окровавленную, окоченевшую ручку. Так мы вошли туда.

Женщина вскрикнула.

Мы приложили руку к обрубку, обернув ее шелковой тканью. Оттаяв, рука начала кровоточить. Ткань стала красной. Мальчик был еще жив. Конунг кликнул меня к себе. «Ты ведь священник? — сказал он. — Я совсем позабыл об этом. Ты должен помочь в молитве!» — и мы подошли к монахам. К их хору конунг присоединил свой могучий голос. И тут мальчик умер.

Наутро мать взяла сына на руки: так пожелала она. И тронулась в путь, через лед, к церкви Халльварда, чтобы похоронить там дитя.

Мы встали пред ней на колени: конунг страны и я.

С тех пор я ее не видел.

А через несколько дней ко мне подошла служанка и вручила подарок, который просила отдать мне та женщина. Это был лук.



Башмачник из Сельбу пришел ко мне и просил вырезать руны ему на дощечке. Надпись должна быть такой: «Целую тебя, любимая».

Он рассказал, что влюбился в нее еще дома, с первого взгляда, и любовь поглотила его. Но она отвергла те башмачки, которые он сшил ей.

— А может, я сам отобрал их, — сказал он, — теперь и не вспомнить. Так это было давно. Мы любили и ненавидели друг друга, я уходил от нее, и она — от меня. Но всякий раз, когда мы встречались, мы целовались с ней. Наверное, из-за того, что жизнь мы прожили вместе, и нам улыбалось счастье. Когда она убежала с этим гадким Филиппусом, конунг послал меня в Упплэнд, — шить башмаки его воинам, стоявшим на острове Хельги. Меня ведь не было в Осло, и я не мог ее целовать. Тогда она ушла с Филиппусом.

А потом он погиб и покоится ныне в земле. Она же как будто спряталась в саду Акера, мне говорили об этом. Баглеры надругались над ней, и что же? Ее они не целовали. Если ты, Аудун, вырежешь мне на дощечке руны: «Целую тебя, любимая», — то я схожу с ней на двор и прикреплю дощечку у изголовья, пока она будет спать.

Прочти над ней молитву, Аудун. Напиши на ней все священные знаки, какие ты только знаешь. Пусть Слово Божие просияет над ней и

прогонит прочь всех злых духов. А когда она, проснувшись, возьмет эту дощечку, то рука ее пусть заблестит золотом. И пусть Дева Мария поможет мне, и жена моя внемлет словам: «Целую тебя, любимая».

— Она умеет читать? — спросил я.

— Нет.

Я долго трудился над рунами, работая самым острым своим ножом, а на третий вечер пришел башмачник. Приходил ко мне и конунг — взглянуть на работу. Я спросил у него:

— Как бывает, когда ты целуешь женщину?

— Ты не умеешь целовать? — спросил меня он.

— Ты же знаешь, — сказал я, — долгие годы на службе у конунга я либо держал меч в руке, либо — с большей охотой — перо.

— Так никогда и не целовался? — снова спросил конунг.

— Нет, целовался, — ответил я и готов уже был поведать сагу об Астрид из Киркьюбё, но удержался.

— Целуются так, — начал конунг. — Ты вытягиваешь губы или округляешь их, открываешь рот или держишь его закрытым. Язык твой тугой, словно звенящий меч, или же мягкий, подвижный, как колокольчик на ветру. Ты наклоняешься к ней. Обнял ее крепко или слегка, откинув назад ее голову, а лучше — набок. И целуешь ее прямо в губы. Когда никуда не спешишь, то пусть поцелуй будет долгим, особенно в длинные зимние ночи, когда за окном воет ветер. И также летом, при свете дня. Таков поцелуй мужчины.

— Да, это так, — согласился я.

— Так что же, ты вырезал надпись: «Целую тебя, любимая»?

— Да, — ответил я конунгу.

Башмачник схватил дощечку и бросился в дом, где жила она.

Через пару дней она вернулась к нему.



В те дни Сёрквир из Киркьюбё возвратился в Осло, — тот самый, который был раньше аббатом в монастыре на Селье. Сёрквир перешел на сторону Сверрира, после того как баглеры спалили Бьёргюн. И конунг просил Сёрквира отправиться на восток, в земли свеев, чтобы купить там книгу, в которой он нуждался. И если потребуется — выложить за нее серебро в десятикратном размере.

Да, недешево обошлась эта книга. Двенадцать воинов охраняли ее по пути домой. И люди эти могли бы сгодиться в Осло, чтоб защищать город. Но конунг сказал: «Книга — важнее!» И вот теперь она лежала перед ним на столе. Переплет ее был из красивой кожи; чудеснее букв я не видел. Заглавные буквы прописаны с величайшим искусством, светились золотом. И меня охватил восторг, чего я не ведал прежде. «Decretum», — прочел я с почтением. Мы с конунгом оба знали, как важно владеть этой книгой. Она создавалась в Болонье, за десять лет до того, как мы увидели свет, и слава о ней донеслась до епископа Хрои, на дальних северных островах. В этой книге ученый муж Грациан начертал на пергаменте всю свою мудрость и знания о том, как должны короли и церковь относиться друг к другу. Грациан наделил папу властью, которую требовал Божий слуга по праву, — но и конунг обладал достаточной властью.

Конунг решил, что теперь мы сами должны сочинить послание, которое будет читаться в храмах по всей стране. И мы объясним простыми словами из этой ученой книги, что власть конунга над страной не меньше, чем власть духовенства и злого архиепископа. Много ночей просидели мы вместе, склонясь над пергаментом: конунг, Сёрквир, Мартейн и я. Позвали также и Симона: его острый, язвительный ум мог всегда сослужить службу там, где люди держали тайный совет. Но самым полезным для нас оказался ученый Мартейн из Англии — единственный из епископов, кто остался в Норвегии конунга Сверрира. Мартейн долго учился в своей стране, и он нам очень помог.

Те ночи встают теперь предо мной в странном свете. Я вижу их словно сквозь воду. Все мы были ученые люди, священники. И мы вновь заострили свой ум. Не крик умирающих на поле брани звучал теперь в наших ушах; нет, мы прислушались к голосу сердца. Не звону внимали мечей, но звучанию слов. Мы могли распаляться в бою. Но сейчас мы хранили покой. Охотно мы слушали Симона, конунга. И если Симон в своем озлоблении заходил далеко, мы устилали ковром острые шипы его слов. А когда размягчался Сёрквир, — мы добавляли огня. В тот миг мы были друзьями и мыслили сходно. Конунг решил — и мы тоже, — что ни единое слово, сказанное против епископов, не должно быть направлено против святого отца в Ромаборге. Епископы дали папе совет, который был далеко не муд-

рым. Они обманули папу. Епископы часто так делали. Но власть конунга древнее епископской, и конунг — помазанник Божий. И мы собрались доказать это людям.

Так мы и делали. Изречения из труда Грациана мы перекладывали с ясной латыни на наш неуклюжий язык. Перевод можно делать по-разному. Мы не вставляли новых слов, но умели выжать из грациановой книги больше, чем даже он сам собирался сказать. Так забавляясь, мы громко смеялись. И дальше всех заходил опять Симон. Конунг сказал: «На надо спешить! Каждый, владеющий славным искусством читать, должен сличить обе книги и ничего не заметить. В наших словах не должно быть различья». Так мы писали.

Уже на рассвете нам подали пива, но мы не сделали ни глотка. Оно осталось стоять на столе. Мы не хотели, чтоб ясность ума помутнела от этого напитка. Исписывали доску за доской, снова вычеркивали. Разравнивали воск, кололи новые палочки, не жалели пергамента. И были согласны во всем.

Я думал о конунге Сверрире: «Он весь погружен в работу!...» Но сам не знал до конца своих мыслей. И вот однажды конунг сказал:

— Осталось теперь переписать все начисто.

И тогда Мартейн встал.

Мы обратили к нему свои взоры. Он выглядел постаревшим, больным.

Он обратился к нам и заговорил.

— Как вы знаете, — начал он, — я отправился через море в Норвегию конунга Сверрира. Не знаю, сумел ли я словом и делом выразить свою дружбу тебе, господин, которую ты вправе требовать, я был в Нидархольме монахом, священником конунговой дружины, епископом Бьёргюна, и когда мое сердце не славilo Бога, — оно принадлежало тебе. Мой ум, — а он остается ясным, — подсказывал мне, что конунг идет лишь своим путем, и путь его далеко не всегда пролегает стезей Господней. Но в глубине души ты всегда оставался Божиим слугой. И я видел это. Поэтому шел за тобой.

Со временем я подчинялся тебе уже с меньшей охотой, чем прежде. Когда ты был проклят, я затворился и снял одежду. И бичевал себя: впервые с далекой юности я обратился к этому средству, в которое плохо верил. Но когти ада впились в меня. Чем дальше, тем сильнее впивались они мне в грудь. Я чувствовал, что погибаю.

Могу ли я, Божий священник, епископ, близко стоящий к конунгу и архиепископу, жить дальше под грузом проклятья? И вот я ухожу. Но прежде паду пред тобой на колени.

Он пал на колени и вскоре поднялся.

— Я пожелал послужить умом напоследок тебе, мой конунг, в этом писании, направленном против епископов вашей страны. Я помог тебе всем, что имел. Но теперь я ухожу. В моей жизни ты — истинный конунг. Ты с Аудуном учил меня дружбе. И вот я ухожу. Когти ада впились мне в грудь. Я хочу искупить проклятие, осознать, что я вновь снискал милость у Бога. Но сперва поклонюсь тебе.

И он вновь поклонился конунгу, а потом ушел навсегда.

У всех на глазах были слезы.

Конунг сказал мне:

— Дай ему все, что попросит: свиту и лошадей.

Больше его мы не видели.

Вскоре мы сами покинули Осло.



ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

Позволь мне теперь рассказать тебе, йомфру Кристин, о самом последнем бое в жизни твоего отца — и самом тяжелом. Этот бой, кровавый и страшный, оставил во рту Сверрира привкус дикого меда, когда приближался к концу. Это объяснялось не только тем, что он одержал победу, — как бы она ни была дорога ему. Главная причина лежала в том, что твой отец-конунг, как очень немногие, обладал состраданием, и оно проявлялось даже к врагам. Йомфру Кристин, послушай же, что я скажу тебе в эту ночь!



Отец твой, взял Вестланд и покорил Вик: его люди держали бондов и горожан в страхе. До самой Конунгхеллы доставал его длинный и острый меч. Но в Тунсберге еще сидел Рейдар Посланник. И с ним — сотни две баглеров. Они укрылись на горе, завидев, что мы приближаемся. И мы обложили их.

Стояла осень, и долгие, темные ночи царили в Тунсберге. Я все еще помню торопливых, испуганных горожан на улицах, корабли у причала, звезды над городом, а с наступлением темноты — кольцо костров вокруг горы. Горожане рассказывали, что баглеры успели увести с собой скот. Был у них на горе и колодец. Осень стояла су-

хая, и две сотни людей нуждались в воде. На нашей же стороне, йомфру Кристин, были песочные часы. У конунга были причины для радости: он знал, что победит.

Редко когда в своей жизни он бывал в таком вспыльчивом, скверном настроении, как теперь. Он словно бы понял, что время его истекает, дела его жизни подсчитаны Богом. Цель конунга в том, что прежде свидания со Всевышним страна должна стать его — от Вермланда и до самого моря. Он требовал, чтобы бонды и горожане знали имя конунга и с почтением кланялись королю. Но конунг также миловал. И милость его тяготила.

Еще один отряд баглеров засел на острове Хельги, на озере Мьёрс. Конунг тревожился, что они смогут прорваться в Тунсберг и прийти на помощь тем, кто осажден на горе. А потому он велел, чтобы вокруг этой самой горы возвели частокол. Тогда баглеры не сумеют взять нас в кольцо. Мы принялись рубить деревья в лесу, но дело двигалось туго. Быстрее бы было разобрать пару домов, стоящих поблизости, и потом затесать жерди. Жители этих домов пусть ищут другое место.

Мне всегда хорошо жилось в Тунсберге, йомфру Кристин, но редко встречал я там гостеприимство. Всегда было так, что с самой моей первой встречи с этим городом его жители сдержанно относились ко мне. Я не входил в число своих. Так было в Тунсберге. Разве я не был приближен к конунгу? Не был там, кто много знает? Идя по улицам, я замечал, что прохожие смотрят мне вслед, но не всегда с восторгом. Той осенью я получил приказ конунга следить за разбором домов и возведением частокола.

Однажды пришел конунг. «Почему она поет?» — спросил он. Конунг стоял на ветру, а люди его разбирали дом. Вытаскивали бревна, мох и прочая пакля сыпались из стен. Люди чихали, ругались, но снова брались за дело, увидев поблизости конунга. «Почему она поет?» — спросил он.

В доме сидела старуха и пела. Глупо сказать: «В доме», — ибо мы разобрали крышу. Внутри упал дерн, и огонь в очаге потух, но она сходила к соседям и вновь развела огонь. Села у очага. Не посмотрев на нас. Снова запела грустную песню, а может — не с грустью, а страстью и пылом? Не знаю. Голос ее был скрипучий. Может, она призывала на помощь Бога, но тогда ей хорошо удалось скрыть свой призыв. Если же

она кликала дьявола, чтоб одолеть конунга, то клич ее тоже услышать было не легче. Но петь она пела. Все громче и громче.

— Почему она поет? — все допытывался конунг.

— Я не знаю, — отрезал я.

Наши люди уже порядочно потрудились, разбирая стены, и нам стала видна голова старухи.

— Ты не можешь пойти и спросить у нее, почему она поет? — не отставал конунг.

— Разве не следует мне сперва подождать, когда разберут ее дом? — ответил я. И когда оставалось всего одно бревно от стены, я перешагнул через него, откашлялся и учтиво спросил, не желает ли она рассказать конунгу, отчего она поет в такой день. Она не ответила.

А люди затесали бревна и вскоре унесли их к горе.

Конунг опять вспылil, как это часто бывало в последнее время. Я шел за ним в монастырь святого Олава, где мы остановились на ночлег. Он бежал впереди меня, ни разу не обернувшись.



В такую же ночь, как эта, меня разбудили мои люди, которые стояли в дозоре у подножия горы. Они сказали, что к ним подошла молодая женщина, прося разрешить ей подняться на склон и покричать оттуда, зовя свою собаку. Она сказала еще, что там, наверху, потерялась собака. Сперва стражники хотели прогнать ее, но она бросилась на колени, уткнув лицо в землю и обхватив руками пень. И у них не хватило духу пинать ее ногами. Я пошел с ними. Когда я при свете факелов взглянул на нее, мне показалось, что она скорее ребенок, а не женщина. Она рассказала мне, что собака ее убежала на гору, и она хочет позвать ее, чтобы та спустилась.

— Как зовут твою собаку? — спросил я.

— Фарман, — ответила она.

Мою собаку когда-то тоже так звали: давным-давно я похоронил ее в монастырском саду, в Нидаросе, и долго потом горевал о ней. И я сказал, чтобы женщина шла за мной: при свете луны мы поднимемся на склон, и ты крикнешь, сказал я. И мы должны заслониться щитами, иначе в нас могут попасть стрелы.

Я взял с собой два щита, и мы взобрались на склон крутой, мрачной горы. Была ясная лунная ночь, и стража баглеров могла без труда разглядеть нас с вершины. Я поднял щиты, и она закричала:

— Фарман!.. Фарман!..

Голос ее звенел чисто, красиво. Собаки нигде не было видно. Помедлив немного, мы спустились с горы.

— Эти бревна — из нашего дома, — сказала она, погладив один из столбов частокола. — А моя мать сидела и пела, когда вы забрали их.

— Надеюсь, твоя собака найдется, — сказал я.

— Да, — проговорила она и ушла.

Я приказал своим людям вернуть собаку хозяйке, если найдут ее.



Ты, наверное, знаешь, йомфру Кристин что у церкви святого Лаврентия, что под горой в Тунсберге, очень высокая башня. Конунг сказал, что желает послать наверх человека: пусть тот заберется на башню и посмотрит оттуда, что делают баглеры. Однако непросто было найти такого, кто решился бы совершить этот подвиг, не побоявшись сорваться вниз в случае неудачи. Тогда к конунгу пришел один горожанин и рассказал, что есть один парень, по имени Асбьёрн, который однажды взбирался на башню и прикреплял на шпиль флюгер, который снесло ветром. Послали тотчас за Асбьёрном. Он не любил конунга и прямо сказал об этом.

— Но, — сказал он, — властью в стране обладаешь ты, государь. И я выполняю твой приказ.

— Почему же ты против меня? — спросил конунг.

— Потому что ты есть, — сказал парень. — Но если бы тебя не было, то я пожелал бы, возможно, чтобы ты был.

Ответ его пришелся конунгу по душе. Он показал рукой на церковный шпиль:

— Если ты заберешься туда, сказал он, и посмотришь оттуда вокруг, — ты получишь две серебряные монеты. Но если ты повернешь назад с полпути, я выколю тебе один глаз.

— Не можешь ли ты приказать своим людям заново выстроить нам дом вместо этих монет? — спросил парень. Конунг не смог обещать, хотя эта помощь больше, чем серебро, порадовала бы и

парня, и его мать. А тот рассказал еще, что у него есть брат, и он — на горе, в стане баглеров.

— Ему, наверное, обещали монеты в обмен на то, что он подстрелит меня, — добавил Асбьёрн. — И брат, и я умрем богачами, — сказал он. А потом он стащил башмаки, обмазал руки смолой, сплюнул, перекрестился и, засмеявшись, добавил, что дело закончится тем, что в последний раз перекрестит его уже священник. И начал взбираться на башню.

Там были железные прутья, и парень взбирался все выше и выше, удаляясь от нас, держась подветренной стороны. То и дело с горы в него летели стрелы. Но не долетали до цели. Одна вонзилась как раз между рук смельчака. На такой высоте он нам казался не больше осы. Он начал спускаться.

— Ты не забыл о глазе? — крикнул ему конунг.

— Помню, — ответил Асбьёрн. — Разве забудешь угрозу увечья. Но ты, господин, и сам понимаешь, что мне нужны оба глаза, чтобы тебе послужить. А спускаюсь я потому, что мне нужна не та помощь, которую ты предлагаешь со своим каленым железом. Я хочу, чтобы она спела для меня.

— Приведите ее, — сказал конунг.

Ее привели, и она была той же, что и тогда, в последний раз: утрюмой, горбатой и злой. Она подошла к сыну и обняла его. Прижавшись к ней, он оттолкнул ее. А она вошла в церковь, села у алтаря, словно сам сын Божий позвал ее на пир. И запела. Пела она не красиво, но сильно.

А сын ее начал взбираться. Теперь ему было легче. С горы вновь летели стрелы: одна угодила в башню, за ней — еще одна.

Другая стрела угодила в палец, но Асбьёрн не упал. Потом он рассказывал, что никогда не висел на башне увереннее, чем тогда, — словно разбойник на кресте. Он вырвал стрелу, откусил клочок кожи... Зубы у него были крепкие. Сильно сочилась кровь. Но он уже был наверху.

А вскоре он начал спускаться вниз.

Конунг сорвал с шеи платок и перевязал ему палец.

— Скоро пройдет, — сказал он и дал ему три монеты. — Я обещал тебе две, а третья — для матери.

— Она не поет за деньги, — сказал парень.

— Что ты там видел? — спросил конунг.

— Люди на горе насыпают земляной вал и носят камни, укрепляя крепость, — сказал Асбьёрн. — И еще я увидел то, что порадовало меня побольше.

— Что же это?

— Тебе неизвестно, что мой отец строил церковь святого Лаврентия? И башня, на которую я забирался, воздвигнута именно им. Отец мой боялся, когда работал там, наверху. И мать говорила об этом. Отец кормил большую семью, и ему открылось, что прежде чем башня будет достроена, сам он умрет, а дети останутся беззащитными. Так и случилось: он упал и разбился. Но прежде успел пожертвовать Богу свой глаз, чтобы Господь не оставил сирот. И я, взбираясь на башню, думал: «Если конунг мне выколет глаз, это значит, что в нашем роду целых два глаза отданы Богу. Отец сомневался, лучший глаз принести ему в жертву или же худший. Зоркостью он не отличался. Но он понимал, что пожертвовать Богу надо не худшее. Наконец решившись, он вырвал здоровый глаз. Положил его в ларчик из серебра и прикрепил на верхушке шпиля. Там он висит до сих пор. Отец говорил, что оттуда глаз его видит Бога.

— После всего, что ты рассказал, я тоже вижу Его, — молвил конунг.

К Асбьёрну подбежала его сестренка и закричала:

— Ты не видел там Фармана?...

— Да, — улыбнулся он. — Сверху я видел его.



Одного из баглеров на горе звали Гудлейк. Он был молод и приходился сыном служанке, которая жила у сестры конунга, фру Сесилии. Один священник, противник Сверрира, — Сэбьёрн из Хамара, — сблизился со служанкой. Он не знал, что она ждет ребенка. Через год она умерла, и однажды к Сэбьёрну в дом пожаловали пилигримы, неся на руках младенца и говоря, что он — его сын. И сын, и отец, когда пришло время, примкнули к баглерам. И теперь оба они обрелись на осажденной горе.

Но Гудлейк не чувствовал себя здесь своим. Люди не любили его отца — старого, немощного священника, который некогда, как гово-

рили, появился перед конунгом Сверриром в исподнем, чтобы, потешаясь над ним, его помиловали. Не любили люди и Гудлейка, ибо он не тратился ни на выпивку, ни на женщин, а каждую добытую монетку прятал себе в пояс. Гудлейк мечтал, что однажды разбогатеет и уедет далеко на юг, в страну данов, чтобы прожить там остаток жизни. Теперь пояс его был уже тяжелым...

И никогда он не трогал пояса... А однажды в Упплэнде он украл церковную казну. Потом Гудлейк узнал, что именно в этой церкви стоял на коленях его отец, моля Божию Матерь о прощении за то, что был близок с женщиной, на которой не был женат. И сын стащил серебро. Зашил деньги в пояс. И спал, не снимая его. Но за эти злосчастные недели на горе в Тунсберге голод превратил Гудлейка из человека в животное.

Йомфру Кристин, даже теперь, в изгнании, ты не терпишь ни в чем нужды, и можешь ли ты понять, что значит голод? И знаю ли я об этом, — близкий друг конунга? Да, я знаю. Во времена моей далекой молодости, когда биркебейнеры еще обматывали ноги берестой, — мы разгребали на кочках снег и замерзшими пальцами искали ягоды, чтобы выжить. С тех пор я знаю, что такое голод. Но я всегда сохранял в себе силы. И я надеюсь, что не утратил с тех пор и достоинства. В войске конунга Сверрира мы были сильны мужской дружбой. Но там, на горе, дружбы осталось немного. Да и как ей быть, когда на все войско делили лишь пару говяжьих ног. Баглеры ослабели: они не привыкли страдать от голода. Но у горы поджидали их Сверрир и смерть.

Потом я узнал, что Гудлейк впервые открыл свой пояс и принялся кланчить у друга: «Продай мне кусок!...» А друг все взвинчивал цену. Сперва запросил две монеты, потом — три, четыре. И наконец разделил ногу и запросил целых пять монет за ее половину. Он получил серебро. Но потом пожалел, что продал за деньги еду.

Продавца звали Торир. Он был из Тунсберга. И был у него брат по имени Асбьёрн. Однажды Торир стрелял в своего брата.

— Если попадешь, получишь серебряную монету, — сказал ему Рейдар Посланник. Но Торир попал просто в башню. И остался ни с чем. Тогда он был рад. Но потом, когда кишки скрутило от голода, когда он терял сознание, — он готов был проклясть брата Асбьёрна. У них там, внизу, есть еда! Есть вода для питья! Под горой ждали мы и смерть...

— Знаешь ли ты, — сказал Торир, чтобы помучить Гудлейка, — что тот, кто ест мясо собаки, будет гореть в аду?...

Гудлейк вскричал, а Торир почувствовал новые силы: он бросился вслед за Гудлейком, который совсем изнемог.

— Ты будешь гореть в аду!.. Ты будешь гореть в аду!..

Гудлейк опять закричал, а тот все требовал денег. Гудлейк швырнул ему еще серебра. Продавец же спросил:

— Разве не стоит многих монет мясо собаки для друга?..

С наступлением ночи Гудлейк пришел к своему отцу Сэбьёрну. Тот сидел в церкви святого Михаила и ожидал, когда же голодные воины придут молить о помощи Деву Марию. Но никто не пришел, — только сын. Гудлейк плакал и желал уяснить, будет ли он гореть в преисподней за то, что ел собачье мясо.

— Нет, нет! — закричал отец. Сам Сэбьёрн три дня и три ночи держал во рту камень. Слюна отделалась как надо, и он не терял сознания, сидя погруженным в молитву. И теперь он пошел за подарком для сына. Он спрятал его в алтаре.

Это была дохлая лягушка. Старый Сэбьёрн, над которым смеялись, помня, как он щеголял в исподнем на глазах у конунга Сверрира, чтобы скорее получить прощение, прочел теперь «Аве Мария». И дал пищу сыну.

Тот съел, ощутив, что сил стало больше.

Он был в состоянии пересчитать серебро, упрятанное за поясом.



Настала осень, и по утрам вода была скована льдом, когда я сопровождал конунга из монастыря к его воинам. Он шел, завернувшись у плащ, и молчал. На востоке над Хаугаром алело небо, и день раскрывался над фьордом, как светлое опахало. У берега стыли темные корабли; мы слышали слабый крик, и на лодке плыл человек, перекликаясь с воинами на корабле. Тянуло приятным запахом дыма, и в открытых дверях домов виден был огонек очага. А гора была мрачной, тяжелой, застывшей. На ней жили люди; они голодали, гибли; смотрели с горы на нас. Но не спускались.

А мы отправлялись все дальше и дальше на поиски пищи. Каждое утро от берега отплывали лодки, и воины в них гребли на север.

На закате они возвращались. Привозили немного пищи из соседних селений. Бонды скрывали свои запасы. И каждый день воины, возвращаясь, рассказывали об отрубленных пальцах или ступнях. Бонды молчали. Конунг строго следил за тем, чтобы еда справедливо делилась между людьми в его войске. Те, кто стоял в дозоре, получал по ночам чашку горячего супа. А на горе голодали.

Но не спускались...

Конунг надеялся, что долго они не продержатся. И сойдут с горы. Либо подняв руки, либо, если еще будут силы и храбрость, выйдут с оружием и будут биться. Каждая неделя в Тунсберге была теперь мукой для конунга и для нас. И умный Рейдар Посланник там, на горе, понимал это. Так встретились две сильные воли: Сверрира и Рейдара. И конунг сказал: «Моя пересилит».

Верил ли он в свою силу? Он вскакивал по ночам. Поднимал меня. А потом, рассердившись, отправлял снова спать. Лицо его сплошь покрыли морщины, и я с трудом вспоминал, каким он был прежде, мой друг Сверрир. Он никогда не говорил о ней...

Нет, никогда — ни об одной из них: о королеве в Бьёргюне и о другой, о женщине его жизни, уплывшей за море под черным парусом. Он также знал, что с каждой неделей в бондах Тунсберга нарастает протест. И если бы конунг добился здесь скорой победы, то Вик целиком стал бы его. А с ним — вся страна.

Тогда он придумал план. У дороги, ведущей с юга к горе, стояла деревянная крепость. Она возвышалась на прочных сваях. Из нее нас могли обстрелять, если мы подойдем слишком близко. Конунг замыслил разрушить ее. Одна ее свая слегка наклонилась. И если ее подрубить, то рухнет и все остальное. Непросто было добраться до крепости и исполнить приказ.

Он попросил меня подыскать сильного, смелого парня, который был бы готов на все, чтобы прославиться и заслужить любовь конунга. Но прежде чем я взялся за дело, он сам подыскал смельчака: Асбьёрн — тот, кто взбирался на башню и кого ранило стрелой. Мы знали, что Асбьёрн участвовал в битве на льду, возле Осло, и там уложил двух из наших людей. Узнали мы это совсем недавно. Но Асбьёрн, этот глупец, поменял невесту. Брошенная девица легко развязала язык. Конунг помиловал Асбьёрна. И парень теперь так и кружил вокруг Сверрира, ловя его взгляды, желая услышать хоть

слово от человека, во власти которого — жизнь или смерть. И вот ему отдан приказ.

Под покровом ночи Асбьёрн был должен пробраться к крепости, обвязать веревкой ту самую сваю и дать сигнал. И воины дернут ее.

Он отправился в путь. Ночь была темной, беззвездной; на горе не слышно ни звука, а сотня наших людей сняла с себя башмаки. Под чьей-то ногой покатился камень. Едва не ругнувшись, воин утих, и снова не слышно ни звука, только шум весел у берега фьорда.

Наконец Асбьёрн дал нам знак.

Сотня схватилась за эту веревку и дернула что есть сил. Тишину разорвали крики. Мы слышали возгласы сверху горы, топот чужих ног, мелькание факелов. Вдруг веревка порвалась в наших руках. И воины покатались по склону горы, снова к подножию, перелетая через кусты и камни.

Кто-то из баглеров выбежал к нам и ткнул факелом прямо в глотку Асбьёрну. Потом говорили, что брат его, Торир, совершил эту месть.

Я никогда не забуду тот крик: хуже любого звериного воя. Асбьёрн кричал непрерывно, пока мы его несли обратно к монастырю. Факелов мы не зажгли. Люди шли, спотыкаясь, пока один не вбежал в чей-то дом и не вынес оттуда горящую головню. Увидев огонь, Асбьёрн закрылся руками. Воины бросили головню, и она догорела в луже. А конунг гневно велел:

— Внесите его в дом!..

Мы достигли монастыря. За дело сразу взялись монахи. Я никогда не видел ужаснее раны. Весь рот обгорел. Черные зубы, культя языка, обожженное горло. Тот, на горе, вероятно, сильно продвинул факел и подержал его там. Не сразу погасла его смола. Асбьёрн кричал и кричал. Меня преследовал этот крик. Я остался в монастыре и хотел уснуть, но не мог. Конунг ушел в келью аббата, но вскоре вернулся:

— Они пришли за мной... Они пришли за мной!.. Разве ты не видишь? — кричал он. — Почему ты молчишь и отводишь глаза, Аудун? Ты что, не видишь, что они здесь?..

Асбьёрн кричал.

Все уже знали, что так поступил его брат.

А на дворе была черная ночь.



Конунг пришел ко мне и сказал:

— Разум меня не покинул. Ночью меня разбудил крик Асбьёрна, и я принял это как знамение. Словно сам святой Олав стоял передо мной и наделил меня мудростью. Ты что же, не веришь, что святой конунг Олав мог посетить меня? — вскричал он. И обошел вокруг стола. — Так вот, Аудун, мы разделим войско: часть мы отправим на гору Фродаас; они под покровом тьмы доберутся туда и будут ждать наступления дня. А на рассвете они нападут на город, где остаются еще наши люди. И пусть не прячут оружия. Я буду с теми, кто бьется в городе. Буду верхом на коне. Там, на горе, увидят нас. Ха! Ты не рад? — быстро спросил он, и голос его зазвучал подозрением. — Я буду в городе со своими людьми. Мы будем сражаться, но понарошку. Я сделаю вид, что падаю с лошади и умираю. Ха-ха! И они все увидят с горы! Но не поймут, в чем же дело. Они решат, что на помощь им прибыл отряд баглеров из Упплёнда. И побегут с горы вниз. А мы повернем и возьмем их...

Конунг веселился, как дитя, и бросился вскоре к своим воинам. Он снова был прежний конунг: грозил малодушным, хвалил храбрецов, походя на мамашу с детьми. С наступлением ночи часть биркебейнеров поднялась на Фродаас и спряталась там.

И вот пришло утро.

Тогда мы явились у всех на виду: я был с биркебейнерами, конунг — с другими, которые в городе. Мы закричали, вперед вырвался конь и упал: потом мне сказали, что это конь конунга. Никогда еще в жизни мы так охотно не умирали. Падая оземь, оставались лежать: кто-то протягивал руку и тихо срывал былинку, кладя ее в рот. Но баглеры не появлялись.

Для конунга это было позором: наши враги не пришли. С горы доносился веселый смех. Хёвдинг баглеров понял маневр Сверрира и велел своим людям ждать. А конунг лишился коня. И пешком возвратился назад, в монастырь.

— Ты больше не веришь мне? — спросил он.

Я ничего не ответил. Ты должен мне дать правдивый ответ, сказал он. Аудун, ты больше не веришь в мой ум? Разве я не был всегда

умен? Ты сам говорил мне об этом. Но теперь ты решил, что другие умнее меня?

— Я не знаю, чему мне верить, — ответил я конунгу.

И вмиг пожалел об этом. Он посмотрел на меня. Потом поклонился и обронил:

— Да, это честный ответ. Я тоже не знаю, как быть.

Мы снова пошли к Асбьёрну, который не мог глотать. Он еще жил и стонал. Конунг спросил меня, не поможет ли териак против ожога. Я ничего не знал.

— Как, ты не знаешь? — воскликнул конунг, унизив меня намешкой.

Он побежал к одному из монахов, который вздремнул на скамье. И закричал:

— Ты боишься огня преисподней?..

Монах тотчас перекрестился. А конунг довольно захохотал. Потом сорвал с монаха венец и отхлестал им его по лицу.

— Вот как тебя отхлестает дьявол за то, что ты служишь проклятому! — все кричал он.

Однако никто не мог сказать, поможет ли териак против ожога. Я сбегал в город спросить у знахарок, но так ничего и не узнал. Когда я вернулся, то конунг сказал:

— Если ему не помочь, он умрет.

И конунг достал серебряную коробочку, всегда висевшую у него на поясе. Он высыпал порошок в чашу. Размешал его в вине, подержал во рту, чтоб согреть. Потом взял Асбьёрна за нос и заставил разинуть рот. Внутри было черным-черно.

Он влил внутрь вино, и несчастный снова начал кричать.

Затем к конунгу вышел Симон. Он заявил, что придумал план, как заставить баглеров сойти вниз. У наших врагов не хватало воды. Там, на горе, лишь один колодец, и в такой мороз вода в нем уж точно замерзла. Но как только совсем замерзнет, не оставив ни капли, они спустятся вниз и будут молить о пощаде. Что, если нам бросить в колодец труп?..

Симон расхохотался, а конунг прищурил глаза. Я часто их видел такими: в такие мгновения оба были безобразны. Симон всегда источал злобу, стоя перед конунгом страны. Да и конунг нечасто сиял добротой, советуясь с Симоном.

Теперь конунг тоже захохотал, — да так, что закашлялся. На глазах появились слезы. Потом он кивнул Симону, подавая тем самым знак, что тот угодил конунгу и может браться за дело. Сверрир так хохотал, что утратил дар речи. Он проводил Симона до двери и хлопнул его по плечу. И если Симон был счастлив тем, что его одобрил конунг, — то странное это было счастье. С наступлением ночи отряд из двадцати человек должен будет пробраться на гору с юга. Они обстреляют баглеров, чтобы привлечь к себе их внимание. Все остальное — за Симоном.

Но прежде надо найти труп.

Если бы понадобилось, Симон бы взял в руки меч, но случилось так, что как раз скончался старый крестьянин из Тунсберга. Едва стемнело, как Симон явился в амбар и унес его труп. У гроба сидела женщина. Она пела, и Симон прогнал ее прочь. Покойника было легко нести, — у Симона сил бы хватило. Я ждал у входа, и Симон сказал, чтобы я помог ему. Мы понесли покойника вместе. Он был облачен в поношенную сорочку. Ничего поновее не могли сыскать, отправляя его в последний путь. Мы сняли сорочку; мертвец был худой... Симон держал за ноги, а я ухватился за волосы. Мне пришло в голову, что вши мертвеца смешаются вместе с моими.

Мы вышли к открытой равнине, к северу от горы; когда-то здесь было место казни. Однажды, в далекие юные годы, стояли здесь я и Сверрир. Мы видели, как Катарина, монахиня с Сельи, склонилась под топором ярла Эрлинга. Она была дочерью конунга Сигурда и, значит, сестрой Сверрира и Сесилии. Симон любил Катарину. Позднее, когда наступила осень, я видел, как Симон, придя на то место, грыз землю. Меня он не видел. Стоял на коленях и грыз землю. Искал ли он кровь Катарины? Не знаю. Но он был один во всем нашем проклятом войске, кто не боялся мук ада. Так, он стоял на коленях и грыз землю как раз на том месте, где ее юная кровь смешалась с травой и ветром.

Я незаметно ушел. И никогда ни единым словом не обмолвился об увиденном твоему отцу-конунгу. Тебе первой я рассказал об этом.

Итак, мы были на месте... Из темноты показались три воина, они исполняли приказ конунга. Они взобрались по склону горы. Затем мы слышали крики и брань с другой стороны, где наши люди ввязались в бой. А мы потихоньку поднимали наверх труп, передавая

его из рук в руки. Симон не отставал. Я оставался на месте. Именно Симон был должен проделать те несколько дерзких шагов, чтобы столкнуть мертвеца в колодец.

И тут мы услышали крик.

Баглеры обнаружили нас: в нас полетела горящая смола. Враги зажгли факелы и обстреляли нас из луков. Мы повернули назад. С нами спустился и Симон. Ему подпалили руку. А труп бедолаги остался лежать наверху.

Затея не удалась. Я возвратился назад, в монастырь, и сообщил о провале конунгу. Тот захохотал.

— Это выдумал Симон, не я! — хохотал он. — Это выдумка Симона, Аудун! Вы убежали, а мертвый старик остался лежать на горе!.. — Он резко умолк и поднялся. Сказал, что Асбьёрн отмучился. Умер. Териак ему не помог.

Конунг молчал, и я тоже. Потом он спросил, не останусь ли я разделить с ним ложе. Я согласился. Он долго не мог уснуть и все говорил в темноту, что если бы кто-то спел для него. Но всякая песня в конце превращается в крик.



Выпал снег.

Однажды ночью баглерам удалось спустить с горы своего человека. Он заспешил на лыжах прочь. Наверное, кинулся искать помощи в Упплэнде. Нелегкий ему предстоял путь. Конунг отправил за ним вдогонку своих всадников, но лыжня терялась в горах, и они повернули обратно. Потом мы узнали, кто это был: Свейн из Рафнаберга, сын бонда Дагфинна и жены его Гудвейг. Баглеры вынудили и Свейна, и Дагфинна примкнуть к ним. И Дагфинн тоже был на горе.



Эрлинг сын Олава из Рэ побывал у себя дома и вернулся довольный назад, неся с собой двух белых кур. Родные приберегли их как раз для него. «Курицы стары и жестковаты, но их можно рвать щипцами,» — сказал Эрлинг. Я предложил оципать этих куриц. У меня была задняя мысль, и умный Эрлинг понял меня, заявив, что лучше

быть званым гостем. Пока мы варили кур, пришли оба брата Фрёйланды из хутора возле горы Лифьялль. Они сразу учуяли запах еды. И принялись вспоминать, как однажды спасли Эрлингу жизнь, дав ему два куска хлеба, когда он лежал, ослабев от голода в горах Раудафьялль. Эрлинг не помнил такого. Со слабой надеждой он задал вопрос, не забыли ли братья взять с собой миски? Они у них были всегда. Эрлинг вздохнул и прибавил, что родичи его в Рэ и думать не смели, что все войско Сверрира пожелает попробовать этих двух кур.

Мы сидели в просторном доме: его хозяева скрылись, как только конунг взял город. Я спросил у Эрлинга, не хочет ли он пригласить еще одного почетного гостя?

— Неужели он голодает? — заволновались другие.

— Вы знаете, — ответил им я, — что он никогда не возьмет лишнего куска себе, когда не хватает еды людям.

Они согласились со мной.

Тогда я пошел за ним. Он просветлел лицом и обрадовался. Но не только горячий суп поманил его: отраднее было узнать, что люди его, собравшись вместе, помнят о конунге и приглашают к себе. Позвали его без страха. И он радостно поспешил на их зов.

Все было так, как однажды. Мы разбранили Эрлинга-повара, но ели курятину с удовольствием. Горячий бульон питал изможденное тело, мы отогрелись у очага и напрочь забыли про все: о вьюге над Раудафьяллем, о крови на льду, мертвеце на горе, о воплях из черного горла.

Мы снова переживали мужскую крепкую дружбу. И в эти ночные часы о многом рассказывали друг другу. У каждого из нас был свой кусочек в большой общей саге, где запечатлелась наша судьба. Тот, кто лжет, знает, что значит слово. Я спросил:

— Эрлинг, не надо ли было добавить луку?

— Да, — ответил он, и никто не смеялся. А конунг сказал:

— Я вспоминаю о птицах над Киркьюбё...

Да, он вновь говорил о Киркьюбё, о том, что такое висеть над обрывом, когда тебя держат семь человек, а ты — на веревке, с корзинкой на животе, и собираешь яйца; вокруг тебя хлопают птичьи крылья, и море шумит внизу. Иногда скала круто обрывается, и ты повисаешь на веревке. Не смотришь вниз. Ты покачиваешься, хватаясь за выступ, и снова скользишь. Те, семеро, — наверху. Они

держат крепко. И ты наполняешь корзину яйцами и поднимаешься. Семеро тянут тебя наверх, и ты снова — на твердой земле.

Конунг спросил:

— А если бы я сорвался?..

Он посмотрел на нас. Мы продолжали молчать.

— Однажды она стояла внизу, — продолжал он. — Стояла у берега, и ее лицо побелело от страха: что если я упаду?... И я полюбил ее.

Мы продолжали молчать. А разумный Эрлинг подлил еще супу. Мне стало понятно, что конунг теперь не вполне здоров.

Эрлинг хотел подлить ему супу, но конунг спросил, не угостить ли нам женщину — ту, что сидела и пела.

— Мне кажется, будто она сидит у меня в душе и поет, — сказал он. — Но чаще кричит.

Эрлинг сын Олава из Рэ быстро сбегал за той старухой.

Когда он вернулся, мы разошлись. Что-то в нас пело. И что-то кричало.



А баглер на лыжах спешил на север. Он вломился в хлев по дороге и там пососал молоко у коровы, и вновь, встав на лыжи, шел дальше. Он сбился с пути, но на следующий день вышел прямо к церквушке в Ботне. Там он приложился к стене, но губы на сильном морозе примерзли к камню. Содрав себе кожу, он снова отправился в путь. И вот, наконец, Рафнаберг.

Жива его мать, Гудвейг, и он опустился устало у очага. Она разделала его и дала молока. И тут он увидел, что Гаут здесь. Свейн, торопясь, рассказал, что случилось. Он мчится вперед, на остров Хельги, за помощью баглерам на горе.

— У них мой отец! — кричал он. — Что будет с ним, если я останусь у вас?..

И он рассказал, чем грозили они, если Свейн не выполнит их приказа. Он обратил весь свой гнев на ту, что дала ему жизнь. Мать стояла в ночной сорочке, наспех одевшись в юбку, с неприбранными волосами: еще одна ночь в ее жизни исполнена боли и злобы. Они не отрубят ему руку, нет! Они только вырвут ноготь. Потом

подождут немного, подтащат поближе к костру: от жары он очнется и закричит сильнее. Тогда они вырвут еще один.

— Но если я побегу дальше, чтобы позвать на помощь, то ты останешься здесь одна!

И мальчик рыдал в объятиях матери.

Она поднялась и пошла к Гауту. Он стал ей врагом в эту ночь — тот, кто прощал всех вокруг. И она издевалась над ним. Должна же она на кого-то излить свою горечь и боль. Он был единственным здесь, в Рафнаберге.

Гаут не отвечал. Она взяла в руки горячий уголь из очага и хотела выжечь ему глаз. Тогда он схватил ее руку и отвел назад. Сказал, что не будет проку ни для кого, если Гудвейг возьмет этот грех на душу.

— Убей их! Убей их! — кричала он, не выпуская сына. Гаут сказал:

— Я пойду в Тунсберг и попрошу конунга помиловать баглеров на горе.

И вскоре он двинулся в путь. Он шел без лыж. Рафнаберг был покрыт плотным слоем снега.

А на следующий день одинокий лыжник пошел на север.



Наступил Рождественский сочельник, и по приказу конунга биркебейнеры развели у горы большой костер. Они варили овцу. Травы для варева нашлись в Тунсберге у горожан, и в огонь подбросили можжевельника, чтобы он усилил запах еды, дразнящий баглеров на горе. Когда над Тунсбергом стемнело, и холодное, блеклое небо застыло над фьордом и деревнями, — баглеры наблюдали с горы, как внизу, у костра, сидят люди и поедают овцу. И смеются.

На самом же деле поела лишь стража. Другим в королевском войске конунга досталось совсем немного. Рейдар Посланник созвал всех людей к себе. Он снова пообещал им, что биркебейнеры скоро устанут и покинут Тунсберг.

— Или же, — что еще лучше, — к нам подоспеют на помощь наши друзья из Упплэнда. Да и еда у нас пока есть! Четверть селедки на брата — конечно, немного, но раз под горой голодают, то сможем держаться и мы! Или кто-то захочет спуститься к конунгу Сверриру,

чтобы подставить голову под его топор? Разве вы позабыли, что с той битвы на льду Осло он никого не простит? И мне известно, — но как, это тайна, — что в прошлую ночь конунг созвал на совет своих воинов и заявил им: «Когда баглеры нам сдадутся, — ни одного не щадить!..»

Рейдар велел принести пару бревен из того злополучного дома на сваях. Они разожгли костер. Впервые за много дней, баглеры сели вокруг огня. Вскипятили воду, потом долго варили остатки кожаных ремней. Длинною в два пальца на каждого. Сперва — кусок сельди, потом ремешок, и запить напоследок горячей водой.

— Сосите ремни не спеша, — сказал им Рейдар из Миклагарда. Он оставался вместе со всеми. Делил с ними пищу. И голодал. Воины знали: в нем есть та же сила, что и в конунге Сверрире.

В этот сочельник старый Сэбьёрн отправился в церковь святого Михаила, стоящую на горе, чтобы служить там службу. В церкви не было ни одной свечи. Он знал, что все свечи съедены. Но он притворялся, будто они сгорели. Люди давно не ходили в церковь: на службу они не пришли и теперь, оставшись сидеть у огня. Старый священник встал перед алтарем, ища в темноте Книгу Божию. Но она исчезла.

Он прочел в пустом храме краткую молитву, никак не собравшись с силами додумать до конца одну мысль, которая не оставляла его. Руки замерзли. Он подышал на них. Казалось, что даже дыхание замерзло. Вдруг руки его коснулись кого-то: он сразу не смог понять, кто здесь, перед ним: живой человек или труп.

Потом оказалось, что это тот парень, которого все сторонились. Его звали Торир. Он лишился последнего разума. Вокруг говорили, что видели сами, как он сунул факел в лицо тому, кто был его братом. В этой войне и прежде случалось, что брат восставал на брата. Но сунуть горящий факел прямо в глотку родному? Люди его сторонились. И он избегал их.

Однажды ночью он приник в церковь на горе. Вошел туда гордо. Но в темноте встал на колени, а после и вовсе пополз. В храме было еще холоднее. Наконец он подполз к алтарю и пошарил, надеясь найти хоть огарок. Руки наткнулись на книгу. Она была мягкая, прямо как женская кожа, и казалось, ее переплет еще сохранял тепло.

Теперь он знал точно: «Ты попадешь в ад!... Ты и твой Сверрир, проклятый конунг, — вы оба сгорите в аду! Ты сунул факел в рот собственному брату? Будете с конунгом в преисподней!»

Об этом ему шептали стены, каменный пол... Колени его затряслись: «Ты попадешь в ад!.. Мерзнешь?.. Будешь гореть в аду!..» Он стоял с книгой в руках, понимая, что это Божия Книга. Она обожгла ему руки. Он попытался кричать, но не мог издать ни звука. И убежал из церкви.

А на рассвете он встретился с Гудлейком, сыном старого Сэбьёрна. Тот рыскал вокруг в поисках пищи. Свет восходящего солнца слабо сиял над горой, и руки Гудлейка казались голубоватыми. Он разгребал снег, выкапывая из земли былинки и корешки. Но земля была слишком промерзшей. Торир теперь понимал, что после такой ужасной ночи тот, кому все равно попасть в ад, может без страха делать, что хочет. И он спросил:

— У тебя еще есть серебро?..

У Гудлейка оставалось еще немного монет в поясе, некогда столь тяжелом. Он поспешил их достать. Спросил, что продается за деньги.

— Остаток теленка, — сказал ему Торир. — Я украл его ночью, и Бог Всемогуций простил мне мое воровство...

Гудлейк отдал серебро. Взамен получил телячью кожу. Торир порвал Книгу Божию на лоскуты, и кусок за куском давал Гудлейку. Тот медленно клал их в рот и жевал.

А ночью священник не смог найти Божию Книгу на алтаре.

Гудлейка вырвало. Кончилось и его серебро.



В ночь перед Рождеством конунг страны и я сидели в келье аббата, в монастыре святого Олава, и делили селедку. Сверрир сказал, что с утра уже знает грустную новость: ее привезли на корабле из Бьёргюна. Старший сын конунга, Сигурд, умер.

Конунг разговаривал мало, я — еще меньше. Смерть от вина — а похоже, что так и случилось, судя по переданному письму, — вряд ли возвысит конунга и его род. Но конунг — еще и отец. В глубине его темных глаз лежало страданье, словно увядший цветок. Он молчал. Только отметил, что после того, как он сам умрет, Хакон оста-

нется править страной. «Он — мой единственный сын.» И еще он добавил: «Сигурд прожил без чести и воли. И все-таки это мой сын».

Потом конунг встал и вынес мне нечто, найденное в монастыре. Он показал мне книгу, написанную мудрецом. Когда-то ею владел наш добрый, а ныне покойный друг, ученый монах Бернард. Он был здесь аббатом, пока не примкнул к войску конунга Сверрира. Конунг громко начал читать по-норвежски. Его сильный голос звучал удивительно и достойно. Я стоял позади и заглядывал в книгу через плечо. Когда-то Бернард говорил: «Эта сага написана на нежной коже девицы...»

...Одна девушка вышла на поиски Бога: она исходила много дорог, но так Его и не нашла. По тем же дорогам, следом за ней, шел тот, кто ее любил. Однажды он видел ее на площади и больше не мог забыть. И он скитался по всей стране, ища свою любимую, но так и не мог найти. Она под конец, обессилев, упала и больше не поднялась. Он умер следом за ней. И они обрели свое счастье в том, что без устали гнались за тем, чего не нашли...

Конунг сказал: «Я еще не настолько голоден, чтобы съесть эту книгу».

Все Рождество мы сидели в келье аббата в Тунсберге.



Matutina*:

Конунг рассказывал о своем детстве, о доме в Кирккюбё. Вспоминал о птицах в горах. О том, как бились о берег волны, о долгих зимах и светлой весне. О тех, кто жил в усадьбе епископа и кто умер и был погребен. Мы оба с тобой шли за гробом, но мало что понимали тогда. Однажды мы сами ляжем в гроб. И те, кто пойдет за нами, провожая в последний путь, — тоже нас не поймут.

Он говорил о своей матери, волевой фру Гунхильд, вспоминая ее добрым словом. «От нее мне досталась сила, — сказал он. — И знание о моем происхождении. Но те минуты сомнений, которые меня посещают, достались не от нее. У нее всегда была воля к борьбе. И лишь после смерти она обрела покой».

* Утренняя (лат.)

Об Унасе он умолчал. Но с радостью вспомнил епископа Хрои и моего отца, Эйнара Мудрого, и еще мою мать, фру Ранвейг из Киркьюбё, которую очень любил. Потом он спросил: «Смогли бы они простить?..»

Мы оба молчали, зная ответ.

Prima*:

Теперь он вспомнил Астрид и ее белую кожу. Он говорил, что она походила своей белизной на снег, а внутри горел скрытый огонь. И если ты ее тоже любил, Аудун, то теперь тебе это простится. А знаешь, что я иногда ненавидел ее? Я долго не мог понять — почему. Теперь знаю. Ведь женщина — это путы, она не дает нам сражаться, когда раздастся клич к бою! Она родила мне двух сыновей. Но я отослал ее.

Однажды я предстану пред престолом Всевышнего, и все мои злые дела будут брошены на весы. А их много. Добрые тоже есть, но вряд ли они перевесят все злодеяния. Тогда мне на помощь придут они — моя сильная мать, фру Гунхильд: она будет рвать на себе волосы, взывая к Господу, чтобы передо мной открылись врата небесные... И твоя добрая мать, преклонив колени, с нимбом вокруг головы, произнесет: «О Боже! Смилуйся над несчастным!» И Эйнар Мудрый, и Бернард и другие, — все, кто мне друг, поспешат на помощь. И ты, Аудун, если раньше меня отдашь Богу душу. И все вы просите: «Смилуйся, Всемогущий! Отвори ему двери рая!..»

А потом придет Астрид. Моя любовь к этой женщине сможет спасти от проклятья и вечных мук ада.

Но захочет ли она простить?

— Да, — сказал он и заглянул мне прямо в глаза.

Tertia**:

Теперь он заговорил о том, что сам Бог избрал его, Сверрира. И я думаю, сказал он, что ты, Аудун, тоже избран идти за мной. Я же избран править людьми. И правил ими. Молил ли я Господа, чтобы Он ниспослал мне силы? Нет, нет! Я молил лишь о том, чтобы силы мне были сохранены. И если я чувствовал силы в душе, то отчего же мне было не дать им волю, отчего не зажечь ту свечу, которую мне

* Час первый (лат.)

** Час третий (лат.)

вручил Всемогущий? Лгал ли я на своем пути? Да, бывало. Но ложь никогда не была сильнее моей веры в себя и в свой путь. Бог призывал меня. И я не изменник, чтобы свернуть с указанного пути...

Потом меня прокляли. Предали анафеме за мою верность гласу Всевышнего. Попаду ли я в ад? Я не знаю. Свет разума, озарявший мне мою жизнь, не способен постичь тайны ада. Но знаю одно: если бы я начинал все снова, я вновь бы последовал зову Всевышнего, который сильнее меня.

Я снова в сомнениях: прощать мне врагов или нет.

Sextia*:

Он рассказал о книгах в своей жизни. Я помогал ему сосчитать, сколько же было книг, но скоро мы сбились со счета. Он просто махнул рукой, словно бросая на чашу весов радость от книжной премудрости. И я осознал, что она весит премного. Он просиял в лице. Соломоновы Притчи, Псалтирь, мудрые книги пророков, богослужения круг. А больше всего он любил, как я думаю, лживые саги, которые слышал или читал. Он мог усмехаться ночью, когда вспоминал эти саги. Любил перечитывать их, вполголоса, наклонившись к огню, — счастливый и молодой.

Еще он любил молитвы.

Он снова спросил у меня:

— Я должен простить их, людей на горе?...

Nona**:

Он рассказал о недуге, давно поразившем его: жажде власти. Власти ненужной и бесполезной. О вере, что только лишь он способен править людьми, что он говорит разумнее всех, что все должны подчиняться его повелениям. И еще — подозрительность. Но разве я не был обязан подозревать? Разве меня в темноте не поджидали убийцы? И разве они обращались в бегство не только из-за моего ума? А все те, что плели интриги? Они льстили и получали прощение. И вновь предавали меня. Была ли моя подозрительность к людям порождена злой душой? Да, я убивал врагов. Попаду ли за это я в ад? А что, если я помилую баглеров, и за это они нападут на моих же людей? Где тогда окажусь я — в аду?

* Час шестой (лат.)

** Час девятый (лат.)

Vespera*:

Меня навещают умершие. Они говорят со мной. Приходил Бернард, старый друг из Тунсберга, который замерз и погиб в горах Раудафьялль. Он стоит и теперь за спиной. Но только не оборачивайся, Аудун; покойники очень не любят, когда их видят живые. Он так и стоит, где стоял. Я ощущаю его дыхание у себя за спиной. За Бернардом стоят другие. Моя сильная мать, фру Гунхильд, Унас, — да, Унас, — мой умерший сын, и еще Сесилия, моя покойная сестра. С ними — и Сигурд из Сальтнеса, павший в бою под Хаттархамаром, и его брат Вильям, зарубленный у себя на дворе. Они собрались все вместе. И молятся обо мне.

В глазах у них — мудрость смерти, им ведомы все слова. И то последнее слово, которое мы после смерти прочтем на устах Всевышнего, прежде чем он укажет дорогу во свет или тьму. Помолись, Аудун, со мной ночью.

Должен ли я их простить?

Completorium**:

Говорят, что прощать — это мудрость. Я знаю, что на горе у баглеров кончились силы. После прощения враги перейдут ко мне. Отцы их и братья станут меня восхвалять: «Ты — справедливый конунг в стране!...» Так что это разумно. Но потом ведь они предадут меня. И все потеряет смысл.

Что будет с моими людьми? Теперь мы впервые за много лет добились победы над баглерами; осталось только добить последних врагов, и в стране воцарится мир. Мои воины голодали, терпели стужу, и вдруг я велю им сложить оружие? Они хотят отомстить. И я понимаю их. Слишком долго сражались мы с баглерами, лишившись многих людей. Я их понимаю. Что будет, если я буду прощать врагов?

Я знаю, что против меня сплетут заговор. Симон решит, что разум мне изменил, если я помилую баглеров. Он захочет мне помешать. Но смогу ли я помешать ему? Удержу ли я своих воинов от сраженья, едва баглеры спустятся вниз?

Этой ночью я снова думал об этом. И вновь у меня — мертвецы. В одну руку я взял все свое зло, в другую — смирение перед волей Всевышнего. Должен ли я простить?

* Вечерня (лат.)

** Повечерие (лат.)

Теперь, Аудун, ты знаешь ответ.

Ждать больше нечего!

Я хочу оставить посмертную память в своей стране.

— Мой конунг, ты даруешь им жизнь?

— Потому что сам я умру.



Гаут добрался до Тунсберга и там повстречался с Симоном. Симон сказал ему, что конунг полон ненависти к баглерам на горе и к своим собственным воинам. Все заметили это в сражении на льду Осло. Он всех ненавидит, но больше всего врагов, — и это тот, кто раньше охотно миловал, и его доброта казалась многим безумством.

— А сам я, — прибавил Симон, — уже глубокий старик...

Гаут изумленно взглянул на него...

— Ты знаешь, Гаут, что когда ты прощал и странствовал по стране, напоминая всем нам о силе прощения, — я усмехался. Хуже того: я плевал. Ты шел прощать, а вдогонку тебе летел мой желчный плевок. Теперь признаюсь тебе в этом. Простишь ли ты мне?

— Да, Симон.

— Так знай, Гаут, как я постарел с тех пор. Четверть столетия назад я пошел по пути, указанном конунгом Сверриром. Понюхал я крови, увидел смерть. Да и моя все ближе.

Теперь собираюсь прощать я. Конунг — не хочет. Можешь взойти на гору и предложить им мир?

Гаут согласился.

Симон добавил, что лучше всего предложить трем из баглеров сойти вниз с горы.

— Пусть будет даже пять человек. Мы их окружим. Воины Сверрира теперь дружелюбнее конунга. И мы вместе пойдем к нему и заявим: «Отпусти этих баглеров с миром!» Так, перед лицом своих же людей, которые жестче к нему, чем к врагам на горе, конунг смирится. Коль скоро пять получили прощение, то будут помилованы и остальные.

Гаут пошел к горе. У ее подножья стояли на страже воины Симона. Они пропустили Гаута к врагам. Те встретили его радостно. Была

ночь. Четверо баглеров сразу же вызвались следовать вниз за Гаутом. Рейдар Посланник одобрил их план. Голод сломил и его. Гаут пока оставался у баглеров.

Тем временем Симон, сидя в засаде со своими людьми, напал на баглеров сзади и зарубил их. Один перед смертью успел убить одного биркебейнера.

Симон предчувствовал, что конунг размяк и готов помиловать баглеров. Но Симон был против. Он был готов уничтожить их всех до единого. Тогда мир в стране воцарится прежде, чем смерть унесет проклятого конунга и его самого.

Тот баглер, кому удалось уложить биркебейнера, успел изуродовать тело врага. Воинов мучил голод, и в Тунсберге все крепчал мороз. Те, под горой, твердили: баглеров — истребить.

Конунг пока молчал.

Наконец вниз спустился Гаут. Баглеры отпустили его.

Когда он узнал, что случилось, когда он всмотрелся в утрюмое лицо Симона, видя на нем предательство, когда он понял его обман, — тогда он впервые почувствовал злобу, схватился за нож и своею единственною рукой ткнул Симона прямо в грудь.

Тот истек кровью, но уцелел.

Сам конунг вышел к Гауту и спас его от биркебейнеров.

Кончался последний день года. Звонили колокола.



На следующий день после нового года усилилась стужа и резче стали порывы ветра. Шел снег, покрывая равнину и заметая на ней следы. Позже он прекратился, но черные тучи нависли над городом и горой. Баглерам нечем было разжечь костер. Дрова отсырели. Но как и прежде, мы видели головы стражников, стоящих у крепости. А биркебейнеры, запахнувшись в плащи, сидели в дремоте вокруг костров. Конунг послал своих воинов в город. И вскоре они возвратились, ведя за собой двух коров.

В те осень и зиму в Тунсберге с едой было плохо. Конунг велел не трогать коров: молоко пили дети, больные и старики. Потом отменил приказ. И в этот холодный, пасмурный день его воины ели мясо. И вновь поплыли по воздуху запахи пищи, новость была у

всех на устах, воины собирались в кружок, стража топталась на холоде, женщины наклонились над котелками с едой. Наконец горячее варево пошло по рукам, и люди обжигали себе губы.

Тогда пришли соглядатаи. Отяжелев от еды, люди вскочили с мест. Появились хёвдинги, — ленивые, расстегнув пояса. Все решили, что это баглеры сходят вниз. Но это было не так. На закате биркебейнеры выстроились на равнине, к северу от горы. Кто-то тошнил, отвыкнув от пищи. И вот появился конунг.

Он шел молча, от воина к воину. Мы никогда не видели его таким. Он словно светился. Наш нестигаемый, твердый конунг как будто был охвачен веянием Божиим, будто очищен, и в глазах его сияла воля. Он не был мягок, но и не тверд. Это — новый конунг Сверрир, и — скажу прямо, — последний; тот, кто счистил с себя всю накипь и теперь вновь приветствует своих воинов.

Он не произнес ни слова. Он только шел от воина к воину и брал их за руки. Заглядывая им в глаза, говорил: «Завтра, на рассвете я хочу говорить перед войском...»

Потом он вскочил в седло и повернул назад, в монастырь.

Наступила странная ночь. Прошел слух, будто конунг не хочет больше быть конунгом. Сонные люди, впервые наевшись за долгое время, ворочались с боку на бок, но сон к ним не шел. Что хочет сказать им конунг?

Они не знали, что этой ночью конунг послал на гору Гаута. Стража на северной стороне получила приказ пропустить его. Там были братья с хутора Лифьялль и Эрлинг сын Олава из Рэ.

Настало утро.

Снова пришли лазутчики, и сонные воины поднялись. Теперь — с новой силой после вчерашней еды. Они должны были вновь собраться у горы, на равнине. И снова дул ветер, как и вчера; над Фродаасом и Хаугаром брезжил серый рассвет, падал снег, покрывая гору, селенья и мрачный фьорд.

Так и стояли они, суровые, исхудавшие. К воинам выехал конунг.

Он был верхом, в черном плаще, невысокий и плотный, и в свите его был только я. Он остановился перед войском. Долго молчал, перебегая глазами с одного на другого; потом указал пальцем на одного. Тот вышел из строя.

Конунг сурово окинул его взглядом, не принося ни слова. Жестом отправил его назад.

И тут же Сверрир спешился и быстро вскочил на камень. На камне был снег, но не скользко: конунг склонил голову в краткой молитве. Потом воздел руки кверху.

И вот он заговорил: как прежний конунг Сверрир, с его звучным и властным голосом. Услышат ли его те, на горе? Голос Сверрира доходил до каждого воина в его войске. Он вздымался, как хищная птица, и стремительно падал, и каждое слово — как острый клюв, било в цель.

Но конунг был и мягок. Уста его — медоточивы. Да, голос его сочетал в себе сладость и желчь, мягкость и силу, милость и злость.

Он говорил:

— Есть ли кто-нибудь в войске, кто против конунга Сверрира? Сделайте шаг вперед...

Все оставались на месте.

Конунг заговорил о своем брате ярле Эйрике. Тот умер в Тунсберге странной смертью; кто же убил его? Мы не знаем. Мы лишь догадываемся, что наши враги подложили ему в кубок яд. Конунг напомнил и о своем отце, конунге Сигурде: он был убит в Бьёргюне, еще до прихода Сверрира в земли норвежцев. Конунг сказал о друзьях, которых он потерял в бою, о своих ближайших советниках, которые следовали за ним, не щадя своей жизни. А я, сказал Сверрир? Что делал я? Может ли кто-то назвать день и час, когда я не голодал вместе с вами? Вспомнить тот бой, когда я не шел впереди? Разве не я стоял у Фимрейти под градом стрел, и не бился ли я в Бьёргюне? Но я не погиб. Всемогущий Бог и святой конунг Олав хранили меня. Я был призван жить, призван сражаться на своем земном пути. Так скажите же мне, был ли я трусливее вас, малодушнее вас, отворачивался ли от вас? Сделайте шаг вперед!

Все молчали.

Конунг снова заговорил. Он вспоминал сражения и боевую дружбу. Вспомнил о биркебейнерах, о кострах, о дорогах, о наказаниях — да-да, ибо если конунг не будет суров, власть похитят разбойничьи вороны. Но в памяти остается боевое братство мужчин! После победных боев мы собирались вместе, и знахарки ле-

чили нам раны. И разве было такое, чтобы я приказал: «Сперва займись моей раной...»

Скажите мне, разве бывало, чтобы конунг страны требовал себе больше благ, чем было у его войска?

Смеялся ли я над кем-то? Бывал ли несправедлив? Выслушивал вас без внимания? Говорил не от вашего имени, а от себя?

Сделайте шаг вперед!

Все молчали.

Он продолжал:

— На долгом моем пути сюда из Кирккюбё святой конунг Олав не раз являлся мне — посланником Сына Божия. Святой говорил: «Однажды в стране воцарится мир! Ты будешь шагать по трупам врагов. Но все же наступит мир. Твой тяжелый долг — сражаться с врагами, вести за собой людей. Отбрось, если надо, мужскую честь! Отбрось все сомненья. Ведь ты, сын конунга, избран Богом для мира в стране. И пусть твои люди идут за тобой.»

Да-да, вы всегда шли за мной! Через Доврские горы в снегу, через Раудафьялль, тоже под снегом, через снежные дебри Ямтланда! Вы были со мной в море, на корабле, в шторм и бурю; и когда вы сидели на веслах, рядом с вами сидел ваш конунг! Вы пошли за мной долгим кровавым путем, невзирая на трупы врагов; и теперь все мы здесь, у горы в Тунсберге. Так идемте же со мною к миру!

Да, пусть наш путь приведет нас к миру! Мы, кровавые воины, видим время, которое впереди! Так узрим же святого конунга Олава: он сегодня явился мне ночью и молился о нас. Внемлем святому, и он говорит нам: «Идите мирным путем.»

Наши враги на горе обескровлены. Будем ли это достойно храброго биркебейнера — вызвать на бой голодного? Они скоро спустятся вниз. Будет ли это достойно — встретить их взмахом секир, когда у них нет сил ответить? В стране у них есть братья. Живы еще их отцы. И все они будут за нас, если наступит мир.

Я не прошу у вас права помиловать. Милую Я, конунг этой страны. Одно мое слово — и войско молчит, поднимет мечи или бросит на землю. Я вас не спрашиваю. Ибо я — конунг. Да или нет?

Сделайте шаг вперед, если вы не согласны...

Все остались на месте.

Тогда он сказал:

— И все же у вас я прошу совета: простим мы людей на горе?..

Все молчали.

И тут пришли баглеры.

Жалкий строй отощавших людей спустился с горы. Впереди шел Гаут. Люди были одеты в лохмотья, многие спотыкались, им помогали идти. Последним шел Рейдар Посланник. Кто-то упал, его снова поднимали; все побросали оружие. Баглеры шли между двух рядов биркебейнеров. А те стояли с мечами в руках. Они направлялись к конунгу, кланяясь перед ним, выпрямляясь и отходя в сторону, прямо в глубокий снег.

И каждого конунг прощал.

Воины конунга тоже прощали.

Один баглер вытошнил кожаные лохмотья Книги Господней: их сразу покрыл белый снег.



На другой же день мы отплыли из Тунсберга. Было холодно, низкое небо висело над городом.

Баглеры плыли на кораблях с нашими воинами. Здесь же был Симон: он быстро оправился от полученной раны и делил постель со своим же обидчиком, Гаутом. Впереди, на большом корабле, был конунг. Плыл с ним и Рейдар Посланник.

Конунга свалил недуг. Он лежал в постели под палубой и не мог подняться. Взор его потускнел, он был бледен. Он позвал меня и попросил, чтобы я взглянул напоследок на оставляемый город. А потом он спросил, что я видел...

Я ответил ему, что смотрел на гору: она мрачная, неподвижная. А макушка бела от снега. Будто нога человека там не ступала. Будто люди на ней не жили, не мучались и не терзались, не охраняли крепость, не вглядывались во тьму. Ничего там не разобрать. Но я вижу церковь святого Михаила. Она маленькая и низкая. Я вижу только ее.

Конунг проговорил:

— Этих мест я уже не увижу.

Мы направлялись к Россанесу, и он снова спросил, что я вижу.

Я сказал, что смотрю на город: на его уцелевшие от боев дома. Вижу дым очагов, и мне кажется, что различаю склонившихся над

огнем людей. Они говорят друг другу: «Отныне мы будем жить, кормиться, держать скотину, возделывать землю, а к вечеру возвращаться домой отдыхать.» Вот что я вижу.

Конунг проговорил:

— Этих мест я уже не увижу.

Мы обогнули Россанес, и он снова спросил, что я вижу.

— Теперь ничего, — сказал я. — Мне чудится пение женщины. Она скрючилась у огня, и ее хриплый голос выводит веселую песню. Без горечи и страданья.

Конунг взглянул на меня.

— Я тоже слышу ее.

Вдоль берега, по черному, зимнему морю мы приближались к Бьёргюну.



Мы перенесли конунга на носилках с корабля в его крепость. Вокруг него собрались друзья, а за ними — все биркебейнеры. Бьёргюн еще не оправился от пожара, который устроили баглеры. Дома и улицы покрывала копоть. Но в день, когда конунг Норвегии в последний раз навестил этот город, — начался снегопад. Мы несли конунга к крепости, а вокруг лежал ослепительный снег.

Конунга положили в зале, — там, где стояло почетное сиденье. Люди приветствовали конунга. В очаге разожгли огонь; конунгу холодно. По стенам висели ковры, а пол устилали медвежьи шкуры, приглушая наши шаги. Когда мы внесли его в зал, он дремал. Потом удивленно открыл глаза. И усмехнулся.

— Корабль уже не качается под ногами, — тихо промолвил он. — Я не слышу шагов людей...

Собравшись с силами, конунг велел всем покинуть зал, кроме меня. Он попросил написать письмо к сыну Хакону, который в ту зиму сидел в Нидаросе. Конунг наказывал сыну быть милосердным, не посрамить своего имени и справедливо править страной. Выказывать мудрость, но также и силу. И полагаться скорее на разум, чем на меч. И следовать мирным путем, если сможет.

— Сын мой Хакон, сразу пошли людей на юг, к архиепископу в Лунд, и к святому отцу в Ромаборг. Примиришься с ними. Тогда они

снимут проклятье, несправедливо обращенное на меня. И если цена окажется высока, — все равно заплати им, не жалея ни серебра, ни почестей. Когда я умру, они не отвергнут твоих молений.

Итак, сын мой Хакон, благословляю тебя, пока не настал мой последний час...

Конунг откинулся на подушки, велел прочитать мне послание вслух. Я выполнил повеленье. Он приказал отправить немедленно письмо и добавил:

— Тебе не хватает умения произносить речи, — так, как умею я. Но ты, Аудун, превзошел меня в искусстве письма.

И он улыбнулся.

Потом попросил, чтобы к нему привели Халльгейр знахарку. Многим хотелось бы верить, — сказал он пришедшей Халльгейр, — что ты исцелишь меня травами, волеешь в меня новые силы. Но это не так. Мне уже не помогут ни травы твои, ни Слово Господне. Я просто хочу в свой последний час поблагодарить тебя за то, что ты верно служила нам. Ты исцеляла нам раны после сражений. Мы снова шли в бой, а ты утешала умирающих. Не знаю, как сильно твое умение и мудрее ли ты других. Но в твоем лице я благодарю всех их: тех женщин в стране, которые в муках рожали детей и хоронили своих стариков. Я не часто мог им воздать честь и хвалу. Но теперь я о них не забыл.

Силы оставили конунга, он откинулся на подушки. Халльгейр заплакала, и я, обняв ее, вывел из зала.

Но конунг снова воспрял и повелел привести Гаута. Тот было пал на колени, но конунг сказал:

— Если бы я был в силах, то я преклонил бы колени перед тобой, Гаут. Ты был единственным в этой стране, кто умел прощать ближним, и тебя почитали и мы, и враги в проклятой войне между братьями. Простишь ли ты мне, что я не прощал?

Гаут простил конунга.

Сверрир сказал:

— Ты победил, Гаут.

Я вывел Гаута из зала.

А конунг хотел видеть Симона, и я разыскал его. Симон был еще слаб после Тунсберга. Он шел, согнувшись, чтобы рана в груди не раскрылась и не начала кровоточить. Он тоже хотел пасть ниц перед конунгом. Но Сверрир сказал:

— Не вставай на колени! Ты был единственный, кто не боялся, когда меня проклинали архиепископ и папа. И чем ближе я подвигался к аду, тем вернее ты мне служил. Я знаю, ты ненавидишь многих из нашего войска. Ты ненавидишь меня. Но больше — моих врагов. Хочешь оказать мне последнюю услугу?

— Да, государь!

— Когда-то ты говорил, что любил монахиню ордена нашей святой церкви. Ее казнили в Тунсберге по приказу ярла Эрлинга Кривого. Мне говорили, будто она приходится мне сестрой. Я хочу, чтоб мы вместе помолились о ней...

Симон встал на колени.

Оба произнесли:

— Катарина, монахиня ордена нашей святой церкви, женщина, грешница, Господь да помилует твою душу.

И Симон ушел.

А потом пришли воины, их было много, и кто-то плакал. Вот братья Фрёйланды с хутора Лифьялль; они успели состариться на службе у конунга Сверрира. Вот Эрлинг сын Олава из Рэ: его вечно веселый взгляд теперь омрачен печалью. Один за другим, они приближаются к конунгу и гладят его по голове. За ними идут другие: воины со всей страны, и все они — безоружны. Вот Кормилец, он долго служил у Сверрира, накрывая ему на стол. Вот Малыш, убогий слуга; а вот старые биркебейнеры: мало из них осталось в живых. Вот молодые: всех я не знаю по именам. Многие плачут. И каждый склоняется перед конунгом. И уходит.

Наступила ночь. И я привел королеву.

Я внес две свечи и зажег их, а сам удалился. В полночь я тихо вернулся назад — зажечь новые свечи. Конунг как будто уснул. Держа королеву в объятьях.

Когда рассвело, я привел тебя, йомфру Кристин.

Но теперь я умолкаю, и ты молчи, йомфру Кристин. Ты будешь молчать о его словах и о своих. Но однажды, когда ты состаришься, ты поведаешь своим детям, что он сказал тебе, твой отец-конунг, в чем признался тебе в ту последнюю встречу между дочерью и отцом.

Затем пришли священники.

Они еще оставались в Бьёргюне, и их призывали соборовать конунга. Они, окружив его, молчали. И конунг тогда сказал:

— Вы здесь, чтобы напомнить проклятому конунгу о вечном огне и муках ада?

Они не ответили.

Он продолжал:

— Вы здесь, чтоб напомнить проклятому конунгу о преисподней, о том, что ждет его после смерти?

Они не ответили.

Он продолжал:

— Вы здесь, чтоб напомнить мне об адских мучениях, о злово-
нии и огне?

Они не ответили.

Он же сказал:

— Подойдите поближе! И если у вас хватит мужества, совершите
надо мной соборование.

У них было мужество. И уходя, они благословили его.

Тогда он пожелал остаться со мной. Он напомнил мне о моем
рассказе про то, как я сам узнал о смерти моей доброй матушки, фру
Ранвейг из Кирккюбё. Ты стоял тогда в церкви Христа в Нидаросе,
как ты говорил. И там ты ее увидел.

— Да, — ответил я конунгу. И снова пересказал ту историю: я
преклонил колени перед Матерью Божией. Она улыбалась, держа на
руках Божественного младенца. Я стоял перед ней на коленях и мо-
лился. Тогда я увидел, что губы ее шевелятся одновременно с мои-
ми. И она произносит ту же молитву, что я. Снаружи не доносилось
ни звука. И только через окно проник солнечный луч, заиграл в
пылинках и ослепил меня. Стены были зеленого цвета, а Пресвятая
Дева одета в красное. Я на коленях приблизился к ней.

И тут я увидел: на руках у нее — не младенец, а моя добрая мать.
Значит, матушка умерла, ее не было среди живых. Лицо ее было
белым, она не улыбалась, но источала радость. Вглядевшись, я обна-
ружил, что она похожа на Деву Марию. Она была словно ее дитя, а я —
ее сын. И я не почувствовал скорби, узнав, что она умерла. Я радо-
вался, что подошли к концу ее одинокие годы...

Конунг сказал:

— Когда я умру, отправишь к Астрид корабль под черным парусом, с известием обо мне?

Я обещал ему это.

Он сказал, чтобы я после его кончины положил его тело на видном месте, чтобы люди простились с ним.

— Может статься, что тело окажется белым, сияющим, ибо я был конунг, а не лжец перед Богом. Пусть люди простятся со мной. Если же я солгал, то тело мое почернеет.

Он кивнул мне. Я наклонился и поцеловал его.

Затем я позвал королеву и тебя, йомфру Кристин. А он сказал:

— Поцелуйте меня...

Это было его последнее слово.

Умер Свэррир, человек с далеких островов, конунг Норвегии, властитель и раб.

Корабль под черным парусом ушел с известием за море, а воины и народ молчаливо прощались с умершим, проходя мимо белого, светлого тела.



ЭПИЛОГ

Я встал и направился к ней, взял ее дрожащие белые руки в свои. Заглянул в глаза йомфру Кристин и сказал:

— Такова сага о твоём отце-конунге, такова истина, которую я знаю, и теперь ты можешь меня ненавидеть...

Она не отвела взгляда, но глаза ее потемнели, и я прочел в них ненависть и презрение. Ещё я увидел слезы, а в самой глубине — нечто иное: любовь к другу ее отца, от которой ее защищали годы, лежащие между нами. Она положила мне руки на плечи. Начала говорить: сначала слова, которым она обучалась, как дочь конунга.

Ты, господин Аудун, в красивом и мудром рассказе провел меня по тем же дорогам, по которым шел мой отец-конунг. Я увидела кровь и цветы. И я бесконечно благодарна тебе за прекрасную сагу о короле Норвегии — жестоком, но дающем пощаду врагам.

И она заплакала.

— Мне холодно, — проговорила она.

— Мы все здесь замерзли, — ответил я. — Но скоро наступит весна в Рафнаберге.

Я отошел к скамье, на которой лежал Гаут. В последние дни ему стало лучше, и я уже думал, что он переживет свое новое увечье и будет дальше скитаться по дорогам



страны и прощать. На полу у скамьи спал Малыш. Он тихо похрапывал во сне.

Я слегка обнял йомфру Кристин и подвел ее к скамеечке у очага. Меня осенило, — меня, воина и священника, у которого было так мало женщин, да и то я любил их тайком, — что миг наступил: если сейчас я отброшу последний стыд, она упадет в мои объятия, как яблоко, сорванное с дерева ветром. Она вперила в меня взгляд, полный желаний и ненависти. В доме все замерло.

В горах уже зацвела весна, и вскрылся фьорд. С крыш звенела капель, и пели первые скворцы. Скоро за нами придут: наши люди или же баглеры. Мы либо спасемся, либо умрем.

Но прежде мне надо выбрать: либо достойное — встать на колени, прежде чем йомфру Кристин отправится спать, либо — позор: принудить дочь конунга опуститься предо мной на колени.

К нам вошла служанка йомфру Кристин, прекрасная йомфру Лив.

Я приказал ей пасть ниц на каменном крыльце: и молиться там за дочь конунга и за нас. Ей, этой девственнице, лежать на ветру, без плаща, непреклонной в своей преданности госпоже и в молитве Богу. Она дрожала от холода. И хотя над Рафнабергом дул теплый ветер, на дворе еще лежал снег. Она смиренно молила о часе сна. Я позволил ей отдохнуть. Она поклонилась йомфру Кристин и мне. И пошла в свою комнату. Красивая, стройная, юная, добрая и благородная.

Я снова позвал ее.

Она стояла передо мной: платье ее походило на то, что носила йомфру Кристин. Обе они — одного роста. И у обеих — высокая грудь. Они были словно монеты, чеканенные одним мастером.

Я сказал:

— Йомфру Лив, на тебе ли еще тот крест, который принадлежит йомфру Кристин?..

— Да, — ответила мне она и показала крест.

— Можешь идти, — сказал я.

Теперь, когда мы с йомфру Кристин смотрели друг другу в глаза, я вновь понимал, что навечно буду склоняться пред волей конунга. Я сказал:

— Ты тоже ступай. Ты поклонилась мне, дочь конунга, и снова поблагодарила за сагу, что я рассказал, но никогда не напишу.

Я остался один. Малыш мирно дышал на полу перед лавкой. Гаут спал беспокойнее.

Я знал, что конунг со мной. Долгая, затяжная зима в Рафнаберге, горькая тайным счастьем, теперь позади. Скоро они придут: баглеры или наши; спастись или умереть. Я вдруг ощутил, что они вот-вот появятся здесь. Я вскочил со скамьи и хотел было разбудить Малыша, растолкать его, послать с поручением к страже: «Не спите сегодня ночью!» Но я опомнился. Надо ждать. Внутри я слышал голос конунга. Передо мной стояло его лицо. Но кто же придет: баглеры или наши?

И тут вбежал Сигурд. Он сообщил, что во фьорд вошел чей-то корабль. Он сел на мель у прибрежных скал, люди спрыгнули в воду. Это не биркебейнеры. И сейчас они бьются со стражей...

— Кони готовы? — спросил я.

— Да, господин Аудун.

— Ты помнишь свой долг. Когда я с дочерью конунга умчусь прочь, ты совершишь все, как велено: подожги волосы йомфру Лив, сорви с нее крест йомфру Кристин и брось перед Лив на пол. А сам хоть умри.

— Все ясно, господин Аудун.

И мы поскакали прочь из Рафнаберга — я и дочь конунга Сверрира.



Мы ехали долгими ночами, а вокруг лежал снег. Сам священник, я искал приюта у священников, говоря, что моя юная дочь опозорена воинами конунга Сверрира. Я говорил об этом украдкой, как мужчина мужчине, завоевывал расположение и получал помощь. Но я понимал также, что мою юную дочь надо будет выдать замуж, и я говорил об этом нашим друзьям, как она красива, но опечалена. А она закрывала лицо.

Наконец наступила весна. У меня еще были деньги, и как отец, я делил по ночам с ней ложе, и всякий раз она оставалась лишь дочерью. Она всхлипывала у меня за спиной.

— Я хочу быть твоей дочерью, и ничьей больше, — говорила она.

— А я бы хотел, чтобы ты была дочерью кого-нибудь другого, — шептал я.

Мы ехали дальше. Уже набухали почки и распускались цветы, зазеленели березы, и позади у нас не было кровавого следа.

Так мы добрались до монастыря на острове Гимсей. Там мы остановились. Я рассказал аббатисе, что моя юная дочь обещана воинами конунга Сверрира. И потому я задумал посвятить ее Богу, но меня одолели сомнения.

— Останьтесь и молитесь Господа разрешить все ваши сомнения, — сказала мне аббатиса.

За вечерней трапезой я осторожно спросил у нее, не боятся ли монахини, что к ним в монастырь нагрянут враги?

Она мне ответила, что в монастыре почти не чувствуется война. Этой весной к ним пришел лишь несчастный старик без рук. Откуда он, мы не знаем. Еще он без языка.

Тогда моя дочь склонила голову и прочитала «Аве Мария».

Аббатиса смогла рассказать о безруком, что он якобы злодей, который понес наказание, что он не желал выдавать своих сообщников, и потому лишился языка. И если он грешник перед людьми, то он грешник и перед Богом? Аббатиса взглянула на меня.

— Нет, — ответил я, — это необязательно так.

Я не вошел к несчастному калеке, но моя славная дочь сделала это. Она сразу вернулась обратно. И шепнула мне, что он кивнул головой в сторону фьорда, словно нас ждет там послание. Больше я ничего не знаю.

Весенней ночью шел теплый дождь, и я спустился вниз, к фьорду. Потом я вернулся, ведя за собой наших людей. У них был корабль. Я забрал из монастыря свою дочь. Забрал с собой и калеку. И мы вышли в море, держа курс на запад.

По пути в Бьёргюн я сидел на палубе и пил пиво с калекой Гаутом. Он кивал мне, благодаря. С нами была йомфру Кристин. Она смотрела на волны, а потом сказала: «У меня теперь нет служанки, господин Аудун, и мысль о том, что стало с йомфру Лив, причиняет мне боль. Ответь мне: ты поступил с ней так, потому что я — дочь конунга? И потому что отец мой — сын конунга?»

— Да, — ответил ей я.

Такой краткой бывает правда и ложь. Когда Гаут уснул, корабль покачивало на волнах, а йомфру Кристин грустно молчала, я ощутил

на мгновение горечь при мысли о том, что ее отец, мой друг и в жизни, и в смерти, позволил аббату Карлу написать свою сагу, а мне приказал уйти. Но я горжусь тем, что оказался непреклонен.

Я также знаю, что никогда не смогу на старости лет написать ту сагу о конунге Норвегии, которую я рассказал его дочери в Рафна-берге. Но я понимаю и то, что — и в том моя гордость и радость, пока наш корабль скользит по черной воде, — как мертвые продолжают жить в наших сердцах, так и я оживу для того, кто однажды захочет создать эту сагу о конунге Сверрире.



ХАРАЛЬД ТЮСБЕРГ

Хакон. Наследство



НАШИМ ДЕТЯМ*

*Жизнь — молот? Пожалуй. Кует нас, разит
И грозною тенью над нами висит.
Одни малодушно сдаются скорей,
Другие мужают, став духом сильней.*

*Коль в жизни ты хрупким стеклом себя мнишь,
Чуть что отступаешь, пасуешь, бежишь,
Все бросив на кон, будешь горько скорбить,
Что, жить не начав, дал себя ты разбить.*

*Поверь же в себя, в то, что создан прочней
Любого железа, сдаваться не смей.
И сколько бы жизнь — день за днем — ни разила,
Сумеет лишь выковать новую силу.*

*Расчет на удачу не строй ты вовек,
Ведь сам свое счастье кует человек.
Ниспослан нам дар, тот, что правит судьбой, —
Решать самому, кто же есть ты такой.*

* Перевод Е. Пучковой.



СКУЛИ ТОРДАРСОН И ГАУТ ЙОНССОН

Единственным своим глазом Гаут смотрел на Скули Тордарсона. Прямо как Один* или Олав Трюггвасон** — Олав ведь тоже был кривой, сам оставил себя без глаза, в насмешку над языческим богом.

Каменное лицо Гаута не выражало ничего. Он прищурил глаз и, не спеша доедая ужин, изучал посетителя. Пускай подождет, торопиться некуда. Скули вдруг подумал, что могущественный господин Гаут, пожалуй, тянет время потехи ради, забавно ему глядеть, как он, Скули, стоит в безмолвном почтении. Господин Гаут славился тем, что умел в душе хохотать, хлопая себя по коленям, а внешне оставался мрачен как туча.

В конце концов Скули было дозволено приобщиться к этой своеобразной забаве — Гаут сбросил непроницаемую маску и расплылся в ухмылке. Он прожевал последний кусок мяса, рукой утер губы и знаком пригласил Скули сесть.

* Один — верховное божество скандинавского пантеона; отдал один глаз великану Мимиру в обмен на мудрость. (Здесь и далее прим. переводчика.)

** Олав Трюггвасон (ум. ок. 1000 г.) — легендарный норвежский король; перешел в христианство; погиб, видимо, в битве при Эресунне.



Любому приезжему из дальних краев уже через день-другой было ведомо, кто такой Гаут Йонссон — родовитый лендрман* из Хардангра**, лучше многих знавший короля Хакона. Седовласый, полный спокойного достоинства, он прекрасно понимал, что вправе требовать уважения.

— Стало быть, ты и есть Скули Тордарсон?

— Да, господин. Я из Исландии.

— По-прежнему гадаешь на восковых табличках?

— Нет, господин.

Скули Тордарсон был человек дельный, серьезный и раньше впрямь гадал на восковых табличках. Сейчас, сидя здесь в черном платье с кожаной бахромой, он побледнел лицом, но смотрел добродушно. Старик внушал ему глубокое уважение. И хотя Скули сам просил о встрече, он считал, что вести беседу по праву должен господин Гаут. Гаут же медлил, ожидая, что Скули заговорит первым. Но Скули молчал, и тогда Гаут произнес:

— Мы виделись, когда ты впервые приехал сюда, и даже перекинулись словечком-другим, однако по-настоящему никогда не беседовали. Ты, верно, пришел узнать, как был убит твой дядя по отцу Снорри Стурлусон***?

— Это я знаю, господин.

— И все-таки хочешь писать историю короля Хакона?

— Да.

Гаут Йонссон встал и сделал несколько шагов по каменному полу, словно так лучше думалось. Исландец знал, что господин Гаут никогда не был другом Снорри и имел на то свои причины. Но он не мог поверить, что такой почтенный муж мог стоять за столь подлым убийством.

* Лендрман — обладатель земельного пожалования от короля; должностное лицо, в обязанности которого, в частности, входила организация ополчения.

** Хардангр (ныне: Хардангер) — земли по берегам Хардангер-фьорда на юго-западе Норвегии.

*** Снорри Стурлусон (1179 – 1241) — великий исландский поэт-скальд; автор королевской саги «Хеймскрингла» («Круг земной») — истории Норвегии до 1177 г.; убит по приказу короля Хакона Старого.

— Король Магнус* хочет, чтобы ты написал историю его отца, всю целиком? — спросил Гаут.

— Не всю. Но писать я должен правду.

Ответ Гаута Скули запомнил навсегда.

— Если писать не все, твоя сага легко может обернуться враньем, пусть даже в ней не будет ни слова лжи.

Скули оживился.

— Потому я должен прежде узнать чистую правду. Король Магнус позволяет мне ознакомиться со всеми архивами, что хранятся в замке, и побеседовать со всеми, с кем пожелаю. Вот почему я здесь.

Гаут отошел к рогу с медом, хлебнул глоток. Потом сказал:

— Сага о короле Хаконе — это сага и о Гауте Йонссоне; коли напишешь ее, то подаришь всем нам вечную жизнь — тем, кто стоял у колыбели норвежского государства. И поэтому я помогу тебе. Однако ж все должно рассказать по правде. И я должен поведать о событиях, происшедших на моей памяти, поведать так, как они, мне думается, происходили. Ведь я не был свидетелем всему, король Хакон и тот всего не видел. Но я много лет размышлял о том и этом, расспрашивал, и в конце концов у меня сложилось свое представление о правде.

— Я знаю, господин.

Гаут улыбнулся.

— Владеешь ли ты искусством писать правду между строк? Ведь король Магнус никогда не допустит, чтобы в саге, которая написана по его заказу, открылась вся правда.

— В этом искусстве преуспел один только Снорри.

— Пожалуй. Я буду говорить без утайки и сразу предупреждаю: я человек старый и в ответе за многое и за многих, что будут жить после меня. Грядущему нет дела до злости короля Магнуса. Все, что я расскажу, ты можешь использовать по своему усмотрению, но ни в коем случае не упоминай, что ты узнал это от меня.

— Обещаю, господин.

— Если ты не сдержишь слово, я объявлю тебя злоумышленным лжецом и велю повесить. Таково мое обещание. Ну вот, теперь мы оба знаем, что обещали друг другу.

* Магнус Лагабёгир («Исправитель законов»; 1238 – 1280) — сын Хакона Старого, король Норвегии с 1263 г.

— Да, господин.

— Что же ты хочешь узнать?

Скули помедлил. Однако, увидев, что Гаут улыбается, будто заранее знает, о чем пойдет речь, собрался с духом и сказал:

— Король Магнус желает, чтобы я писал о Хаконе ярле с особым почтением, хотя, сдается мне, для этого нет оснований.

— О Хаконе Бешеном? Вполне понятно, у королевского дома есть на то причины. — Господин Гаут рассмеялся. — Надо поискать, глядишь, и о бешеном ярле что-нибудь хорошее напишем. Задача нелегкая. Ну а в крайнем случае постарайся писать о нем как можно меньше. Что еще тебя занимает?

— Как бы мне получше узнать короля Хакона?

— Нельзя узнать короля Хакона, не зная о его отце Хаконе сыне Сверрира, который был убит. А еще важнее для тебя узнать про его деда, короля Сверрира, самого из них великого. Даже после смерти король Сверрир говорил свое веское слово! — Господин Гаут выдержал паузу. Потом добавил: — Еще тебе надобно узнать о Хольме* и о Бьёргвине**, где все трое жили, только в разное время. И о Нидаросе***.

Лендрман Гаут и Скули Тордарсон в дальнейшем виделись часто и стали добрыми друзьями, несмотря на большую разницу в возрасте. И Скули узнал то, что хотел. Гаут рассказывал и судил обо всем по-своему, на свой лад толковал события тех лет, когда Норвегия была по-настоящему собрана в единое государство и стала самой мощной державой Севера. Было и такое, чего Гаут своими глазами не видел, однако он и об этом умел рассказать так, что, слушая его, Скули мог во всем разобраться.

Кое о чем, вероятно, происходившем в ту пору поведали Скули Тордарсону — прямо или обиняками — старинные висы, которые ему пели люди в иных местах, и хитрый Гаут об этом знал. Много чего Скули выяснил таким образом и многое вписал в сагу о Хаконе Хаконарсоне, как и желал король Магнус.

Но не все. Иначе сага была бы совсем другая.

* Хольм (Бергенхус) — крепость в Бьёргвине.

** Бьёргвин (Бьёргюн) — ныне город Берген, древняя столица Норвегии; основан в 1070 г.

*** Нидарос — ныне город Тронхейм.



КОРОЛЕВСКИЙ ГОРОД

Гаут Йонссон знал в Бьёргвине каждый закоулок, а чего он не знал, то никакого интереса и не представляло. Шел 1217 год. Господин Гаут был молод, и вот однажды в тот год случилось кое-что особенное.

Стояла весна, день выдался свежий, ветреный, когда в погоде мешаются сразу все четыре времени года. С Северного моря спешили тучи, белые, серые, черные, цеплялись за вершины гор. То солнце, то дождь, то снег — и вдруг прорвутся солнечные лучи, заливая городские постройки, и горы, и склоны холмов потоками удивительного света, какой увидишь разве только в святом Иерусалиме. По крайней мере так уверяли бьёргвинцы, те, что участвовали в крестовых походах. Они всегда любили похвастаться и не упускали случая расхвалить родной город.

Но ведь Бьёргвин и правда был самым большим городом во всей Скандинавии и крупнейшей торговой гаванью к северу от германских земель. Одних горожан восемь тысяч да пришлых не меньше тысячи, это уж точно, — многие норвежцы, которые прежде ничего подобного не видывали, только глаза таращили на тамошнюю жизнь: чудеса ведь, право слово! Иноземные купцы обитали в отдельных кварталах, где воздух гудел от голландской, английской, французской речи. Особенно громко гомонили ганзейцы, цепко державшие Немецкие пристани в самом сердце внутренней бухты. Шутка ли, ведь было их тут во всякое время до полутора тысяч душ. С Балтики и с германского побережья съезжались горластые вздорные купцы — кричали, а заодно и плеть пускали в ход. Кричал хозяин, кричал и работник. Все кричали. А приезжали сюда и уезжали отсюда только мужчины, жившие в безбрачии. Женщинам доступа не было. Не до-

звоялось немцам ни оставаться дольше определенного срока, ни заводить семью, и за малейший треховный помысел, коли подтверждался он письменным свидетельством, рисунками или жестами, грозила жесточайшая порка.

А вообще-то Бьёртвин благонаравием отнюдь не славился. На площадях играли музыканты, забавляли народ танцующие медведи, скоморохи с набеленными лицами, огнеглотатели и акробаты. Зачастую это был сущий сброд — воры и обманщики, которых полагалось бы взащей гнать из города. Однако ж эти забавы имели шумный успех. Под вечер многие из приезжих начинали выпрашивать, где тут можно найти женщин. Посылали их тогда в Верхний переулок, где обитали сотни две бойких бабенок и было немало шумных пивных и жарких банек. Путник, по неведенью искавший здесь пристанища, второй раз в Верхнем переулке никогда не ночевал.

Город был опоясан палисадами, стенами и укреплениями, а внутри этого пояса, спускаясь к гавани, теснились фасад к фасаду маленькие и большие дома. Выше, на горных кручах, стояли кое-где пастушьи хижины и бревенчатые избушки, откуда народ в погожие дни любил смотреть вниз, на городскую суету.

Вдали, господствуя над входом в Бухту, на острове, виднелся Хольм — огромная, построенная из бревен королевская крепость, с тесовыми палатами, крытыми галереями и мостами. Сто лет назад сюда перебрался из поместья в Альрекстадире Эйстейн Магнуссон*. Раньше норвежские короли селились на высоких местах, чтоб вовремя заметить вражеские корабли и чтоб можно было при необходимости укрыться в горах. А вот Эйстейн рискнул возвести крепость в низине, у самого берега. Посредине королевской усадьбы стояла Церковь Апостолов, деревянная ставкирка с ризницей и крытыми галереями, где дружинники, направляясь к мессе, оставляли оружие.

На Хольме располагалась и Церковь Христа. Ей было всего полвека, и освятили ее при коронации Магнуса Эрлингссона**, сына

* Эйстейн Магнуссон (1103 – 1123) — норвежский король, сын Магнуса Голоногого.

** Магнус Эрлингссон (1162 – 1184) — норвежский король; его мать Кристин происходила из рода Харальда Прекрасноволосого.

Эрлинга Кривого. Именно тогда эта торжественная церемония впервые состоялась на земле Скандинавии. Великолепный собор воздвигли между морем и полуторасталетней деревянной церквушкой, построенной основателем города, Олавом Спокойным*. Было на острове и множество других зданий — резиденция епископа, два монастыря, жилища для воинов короля и епископа, постоянные дворы для знатных гостей. Все на Хольме, даже епископский яблоневый сад, аптекарский и капустный огород, находилось под защитой высоких стен, моря и болот.

Жизнь на Хольме всегда кипела ключом. Не покладая рук трудились там искусники-мастера и военнопленники, да и горожане часенько по призыву луров** и рога сходились на площадь перед Церковью Христа — услышать важную весть, а не то посмотреть на казнь преступника.

Глядя сверху на Бьёргвин, можно было насчитать дюжину церквей, четыре капеллы, три монастыря и несколько светских каменных зданий, причем довольно больших. Вокруг толпилось множество приезжих — похоже, в иных частях страны такие каменные дома были редкостью. Куда ни глянь — всюду шло строительство, и городские палисады все время переносили на новое место. А раз так, поневоле переселялись и «нечистые». Прокаженным положено было, держась на почтительном расстоянии от городских ворот, ждать, пока отчаявшиеся родичи или сердобольные монахи не принесут им каких-нибудь объедков. А случись кому ненароком оказаться поблизости, горемыкам надлежало предупредить его звоном колокольных и крикнуть: «Нечистые!».

Дома в городе большей частью были маленькие, вроде крестьянских, и лепились один подле другого, стена к стене. Ограду почитай что и ставить негде. На торфяных крышах паслись овцы.

«Ну не хороша ли нынче овца? Жирная, справная, второй такой не сыскать. Всю траву дочиста выщипала, стало быть, пора ее на продажу».

* Олав Спокойный (Тихий, или Бонд; 1066 – 1093) — норвежский король, сын Харальда Сурового Правителя; отличался миролюбием, за что и получил свое прозвище.

** Лур — старинный деревянный духовой инструмент наподобие трубы.

Лестницы к стене, живо на крышу, овцу вниз, веревку на шею — и прощай, голубушка! Продали. Ни повозки, ни ручной тележки не требовалось: баранина сама покорно трусила за новым хозяином на корабль, в чугунные котлы.

Вдоль причалов по обеим сторонам Бухты бежали в гору длинные ленты улиц. Под прямым углом к ним тянулись вниз, к гавани, общинные угодья. По немощеным проулкам текли нечистоты, навозная жижа, помои, дождевые ручьи, торфяная вода с крыш. Народ приспособился справлять в этих проулках нужду, но вонь там стояла такая, что без крайней необходимости никто носа туда не совал.

В крепости еще спали, а город был уже на ногах. Бухта сегодня кипела жизнью, и особенно бурная суeta царила у причалов. Множество кораблей теснились буквально борт к борту, одни на якорь, другие на швартовах. Сколько земель — столько причалов. Свои у исландцев, свои у гренландцев, и у людей Оркнейских, Фарерских и Шетландских островов, и у тех, что прибыли вовсе издалека — с острова Мэн и южных островков Ирландского моря. Единоплеменники держались заодно, сообщая торговали и швартовались всегда в определенных местах. Самые большие корабли приходили с юга. Крепкие ганзейские когги из Любека, разукрашенные червенью и золотом суда из Лондона, франкские и испанские корабли с вином, оснащенные шелковым такелажем. И со всех сторон лесом высились мачты черных кораблей с севера Скандинавии.

Северянам нужно было зерно, мед и драгоценные ткани. Сами же они предлагали вяленую и сушеную треску, шкуры тюленей и белых медведей, а еще сливочное масло. Тамошнее масло пользовалось огромным спросом, разве только зерноторговцы и могли рассчитывать получить его в обмен. Так прошел почти весь день.

В королевских палатах затрубили луры, раз, другой, третий, — тревога! Со всех сторон стали сбегаться воины, ближние королевские дружинники собрались у своего предводителя Гаута Йонссона, и были они изрядно перепуганы, ведь каждый отвечал за охрану жизнью. Конюший, Дагфинн Бонд, второпях никак не мог надеть латы и метал грома и молнии.

— Пропал! Исчез! Вы что, спали?

Подошел и ярл* Скули. Он был встревожен, зная, что подозрение легко может пасть на его дружинников и на него самого, а в городе могут вспыхнуть беспорядки. Потому-то и крикнул не в меру громко, как бы подчеркивая свою непричастность к этому:

— Пропал? Тогда пусть и мои люди отправляются на поиски!

Господин Дагфинн повернулся к ярлу спиной и стал вполголоса отдавать короткие приказания, делить людей на группы. Он что же, сбежал? Или похищен? Дагфинн Бонд уже удостоверился, что за городские ворота пропавший не улизнул, значит, он наверняка где-то в городе. Конечно, если он еще жив. Этого конюший вслух не сказал, добавил только, что действовать надо с оглядкой, не поднимать переполох. Иначе пойдут слухи, а, как известно, упорные кривотолки могут дать кое-кому желанный повод расправиться со своими противниками.

К северо-востоку от королевских палат на крутом обрыве высотой локтей в двадцать пять находилась давняя каменная твердыня короля Сверрира. Туда поспешила на поиски одна группа дружинников. Другая будет искать под причалами. Если беглеца убили, труп, скорее всего, бросили в море — как говорится, концы в воду.

Третью группу отрядили посмотреть, нет ли его среди бьёргвинских бродяжек, оборванцев и нищих, которые задолго до наступления темноты стекались в город на ночлег. Запоздаешь — ночуй под стенами. В тот вечер монахи из монастыря Вечного Света, распевая псалмы, наделяли голытьбу сморщенными яблоками. Но в толпе не нашлось никого мало-мальски похожего на исчезнувшего.

Двадцатисемилетний Гаут возглавил собственный отряд из двенадцати дружинников. Они начали поиски в величественных епископских палатах, тщательно осмотрели служебные и хозяйственные помещения, поварни и людские. Все как обычно, посторонних не видно. И в надвратной часовне, и в консистории, где проходили заседания суда и переговоры, тоже никого не было. Обшарили холодный летний зал и другой, каменный, где зимой топили, даже опочивальню епископа — но и там ничего не нашли. В

* Ярл — титул представителей высшей родовой знати в средневековой Скандинавии, начальник или наместник области; впоследствии — герцог.

епископской усадьбе доживали свой век на церковном содержании зажиточные старики, внявшие советам священства и принесшие в дар церкви все свои деньги и земельные владения, чтобы на склоне лет иметь кров и защиту. Однако и эти люди ничего особенного не заметили.

Под конец Гаут со своими дружинниками прочесал болота, что подковой охватывали половину Хольма. Сообщение с материком обеспечивал подъемный мост — через топи Болотины и низины Сандбрутанген. С горных лугов Стёлена в Болотину сбегала речка, которую отвели к стенам Хольма и создали таким образом естественный защитный ров именно в том месте, где Хольм можно было без труда соединить с берегом. Мало-помалу Болотина чуть не сплошь покрылась небольшими бочагами, и зимой там ходили, привязав к подметкам овчинные снегоступы и опираясь на острые палки. Но теперь дело шло к весне, и лед подтаял. Дружинники вооружились баграми: надо искать в воде.

Пока все это происходило, новый архидиакон Аскель Йонссон, тридцатипятилетний брат Гаута, собирал целебные травы в аптекарском огороде епископа, подле Церкви Христа. Он только что приехал в город из Хардангра и едва успел устроиться, как епископ, который опять хворал, дал ему первое поручение. Солнце пригревало по-весеннему, и Аскель изрядно упарился в своей черной рясе. Он разогнул спину, чтобы утереть пот, и вдруг заметил неподалеку мальчика лет двенадцати-тринадцати, который смотрел на него. Потом взгляд мальчика скользнул вверх, к резным чудовищам на кровельных лотках и выступях церковного здания. Иные походили на птиц с мерзкими петлистыми языками и длинными острыми клювами — в дождь из них потечет вода. Больше всего было, однако ж, полулюдей-полузверей: сверху человек, снизу, например, гусь; или вот лютнист — голова поросычья, а ноги петушьи; пес — с двумя головами и в штанах; женщина с головой теленка и когтями грифа — задирает юбку, бесстыдно обнажая свое лоно. Мальчик опять посмотрел на Аскеля.

— Ты знаешь, почему такой собор, как Церковь Христа, этак диковинно изукрашен?

Аскель никогда не спрашивал об этом ни себя, ни других и объяснений тоже никаких не слышал. Другое дело мальчик, который и говорил-то как взрослый.

— Потому что все должны видеть, что в церкви могут найти прибежище самые диковинные твари. В соборах нет ничего случайного. Ты замечаешь в этой церкви изъян?

Аскель невольно улыбнулся. Он знал ответ, но хотел испытать, вправду ли сей отрок углядел то, что замечали весьма немногие, и молча вопросительно посмотрел на своего юного собеседника.

— Главный притвор повернут почти что на запад, хотя вообще-то ему полагается смотреть на восток. Запад связан с заходом солнца, Судным днем и смертью. Восток — это солнечный восход и спасение. Север — это холод, он наводит на мысль о прошлом, о тьме, из которой мы исходим. Вот почему все изображения на северной стене относятся к Ветхому Завету, тогда как южная стена, знаменующая свет, и тепло, и тот край, куда все мы однажды попадем, — южная стена изукрашена образами Нового Завета. Это в Церкви Христа сделано правильно.

Аскель почувствовал уважение к мальчику. Кто он такой? Стоит уверенно, широко расставив ноги, и допрашивает его ровно школьный наставник. И Аскель в свою очередь любопытствовал:

— Ты, поди, в родстве с кем-то в усадьбе епископа, раз так много знаешь?

— О нет, не столь уж и много. Но меня очень интересует, как должен выглядеть собор. Ведь народ в большинстве не умеет ни читать, ни писать, оттого-то, проповедуя слово Божие, монахи и священники поневоле прибегают к рисункам и скульптурам.

Мальчик сделал несколько шагов, внимательно посмотрел на Аскеля, желая удостовериться, следит ли тот за его мыслью, и продолжал:

— Все украшения, что ты видишь в Церкви Христа, полны смысла. Как и миниатюры в святых книгах. Ни один образ не выбран случайно. Ты, архидиакон, учился в Ростокке, видел множество скульптур и образов, скажи — каковы атрибуты святой Барбары?

Аскель глаза вытаращил от изумления.

— Почем ты знаешь, какой у меня сан и что учился я в Ростокке?

— И зовут тебя Аскель Йонссон... А знаешь ли ты, Аскель Йонссон, как отличить святую Барбару?

— У нее в руках башня с двумя окнами.

— Башня, только с тремя окнами, для Троицы. Одно окно — для Отца, одно — для Сына и одно — для Святого Духа. А это что за святые: один несет под мышкой собственную голову, у другого голубь на плече, у третьего в руках гусь?

— Святой Дионисий, святой Григорий и святая Мария Египетская.

— Правильно, святой Дионисий и святой Григорий, а вот гуся несет святой Мартин. У святой Марии Египетской в руках три хлеба, которыми она питалась сорок лет. Ну что ж, теперь я задам тебе по-настоящему трудный вопрос. Бронзовая змея, жертвенный агнец и терновый венец. Кого они символизируют?

— Сдаюсь, — засмеялся архидиакон. Вот так штука, ничего подобного он еще не видывал.

— Моисея, Самуила и Давида, — продолжал мальчик, — номера четыре, пять и шесть в ряду тех, кто пророчествовал о пришествии Христа. Прежде идут Мельхиседек, Авраам и Исаак, затем они трое, а дальше Исаия, Иеремия, Симон, Иоанн Креститель и святой Петр.

— Где ты все это узнал?

— У монахов в Нидаросе.

Аскель помолчал, собираясь с мыслями. Сорвал еще несколько растений, сложил в пучок. Объяснение тут может быть лишь одно.

— Ты, верно, через год-другой тоже отправишься в Росток, а потом станешь священником? — спросил он.

— Нет, уволь, у меня другие намерения, да и не верю я всему, что говорят священники. Вряд ли святая Мария Египетская могла сорок лет питаться тремя хлебами или змей в Раю умел разговаривать.

— Но ведь так гласит Писание.

— По-моему, большая часть из того, что мы, люди, напридумывали про Христа и записали в Священной книге, самому Учителю была неведома.

— Почему же ты в таком случае стремишься узнать все о церкви?

— Я хочу знать как можно больше о том, чем церковь занимается, и о второстепенных вещах вроде вот этих, и о более важных, ибо однажды церковь повернется против меня.

В эту самую минуту в огород ворвался брат Аскеля, лендрман Гаут Йонссон, и закричал:

— Он здесь! Мы нашли короля!

Тотчас прибежали обрадованный Дагфинн Бонд и повеселевший ярл Скули, и с ними дружинники, у которых и вовсе точно гора с плеч свалилась. Гаут же Йонссон просто ликовал. Эти несколько часов были самыми тяжкими в его жизни, а ему много худого довелось пережить.

Тринадцатилетний король Хакон Хаконарсон бросил взгляд на горную кручу, на развалины каменной дедовой твердыни, и, уходя, сказал:

— Усадьба конунга Сверрира будет отстроена заново.



КОРОЛЬ СВЕРРИР

Вернемся теперь на пятнадцать лет назад.

Новогоднею ночью 1202 года король Сверрир* понял, что скоро умрет.

В городишке на берегу Осло-фьорда, у подножия Замковой горы, народ украдкой поглядывал вверх, на стены крепости. Громко говорить не решались, но меж собой шушукались, что-де наверху не все как надо.

Крепость стояла на горе, открытая одному лишь небу. Дороги к ней не подходили, на вершину взбирались по узкой лестнице, которую легко можно было перекрыть. Имелась там и церковь, посвященная святому Михаилу. Внизу, у подошвы горы, притулилась небольшая плодородная равнина. Летом Тунсберг** был полон солнца, и людей, и судов со всей Европы.

От побережья тянуло сюда свои щупальца хмурое седое море, змеилось среди обветренных островков и шхер, чтобы в конце концов уткнуться в Нёттерёй, защищавший гавань от осенних штормов. Резкая смена времен года наложила отпечаток и на здешних обитателей. Они славились двумя качествами — щедростью в подаяниях бедным и беспробудным пьянством.

В минувший год торговых кораблей тут было непривычно мало. Король Сверрир держал в осаде крепость, где засел Рейдар Посланник с двумя сотнями баглеров***. Палаточный лагерь выгибался ду-

* Сверрир Сигурдарсон (ум. 1202 г.) — король Норвегии с 1184 года; боролся против церкви и старой знати за единство королевской власти.

** Тунсберг (ныне Тёнсберг) — город на западном берегу Осло-фьорда, один из старейших в Норвегии, основан в IX веке.

*** Баглеры — приверженцы «церковной партии», противники короля Сверрира.

гой с севера на юг, от берега фьорда к городу, и по приказу короля был окружен глубоким рвом и палисадами. Ведь, может статься, Сигурд сын ярла все же рискнет прийти баглерам на выручку, хотя вероятность этого очень невелика. С многотысячным королевским войском шутки плохи. Особенный страх всем внушали сто пятьдесят наемников-франков, которых дал Сверриру английский король. После них ни одной живой души не оставалось.

Биркебейнеры* трудились не покладая рук, ставили метательные машины, и все это под градом стрел и камней, подсылали лазутчиков, чтобы отыскать слабые места в обороне, отправили одного из своих на колокольню церкви Святого Лаврентия и устроили там, укрыв от дождя стрел, — чтобы записал и зарисовал, что за новые башенные укрепления баглеры спешно возводят в южной и северной части крепости. Биркебейнеры умудрились затем пробраться внутрь, привязали к одному из четырех опорных столбов канат, и сто двадцать человек принялись за него тянуть. Башня зашаталась, но и канат начал дымиться. Человек, которому удалось закрепить канат, благополучно вернулся к своим и даже расправился по дороге с несколькими дозорными.

Тогда Сверрир решил пойти на хитрость. Однажды утром Рейдар Посланник, стоя на стене, увидел, что из лесу высыпало множество пеших воинов. Биркебейнеры внизу на равнине в испуге закричали, что, мол, подходит ярл Сигурд, и бросились врассыпную. Однако ж они скользили и падали на сухом месте, вопили слишком уж истощенно и убегали вовсе неуклюже. Время шло, а особого ожесточения в схватке не чувствовалось, и крови на одежде и оружии видно не было, поэтому Рейдар ничего предпринимать не стал.

Сидя в своих башнях, баглеры помалу воспрянули духом и принялись осыпать осаждающих глумливыми насмешками. И щенком Сверрира обзывали, и клячей, и трусливой ведьмой, когда же бранные возгласы начали утихать, биркебейнеры благоразумно убрались подальше от стен, потому что оттуда сей же миг хлынули зловонные нечистоты. А это, пожалуй, было едва ли не хуже, чем кипящая смола, которую баглеры приноровились лить со стен и от которой воины Сверрира успевали вовремя увернуться.

* Биркебейнеры («берестеники») — сторонники короля Сверрира; прозваны так за то, что по бедности обертывали ноги берестой.

Войско Сверрира начало роптать и поговаривать о возвращении домой, и король Сверрир произнес громовую речь, напомнив им о былых победах и о героях той поры. Тогда воины готовы были ходить в истлевших лохмотьях и глодать ножны от своих мечей и кожу башмаков, но не отступали. После года осады, продолжал он, баглеры находятся в куда худшем положении, чем они сами. В крепости уже едят кожаные ремни и не сдаются лишь по одной причине: знают, что поголовно все будут повешены. Вот почему он решил ускорить дело. На своем веку он повидал много крови, много мстил, совершил множество худых поступков, за которые придется держать ответ перед Создателем. И воинам его тоже пора задуматься о душевном спокойствии. Он намерен предложить мир Рейдару Посланнику и всем баглерам, если они сложат оружие. Кой-кому это такое великодушие показалось чрезмерным. Целый год осаждали крепость — и на тебе... Надо бы поквитаться! Ну хоть самую малость! Король Сверрир поднял бровь — и все его войско сей же час единодушно признало, что король говорил мудро, а мысль о пощаде и мире просто выше всяких похвал.

Рейдар Посланник тотчас сложил оружие, баглеров накормили, отвели в баню, выдали им новое платье, а потом распределили по отрядам Сверрира. Сам Рейдар хворал. Король Сверрир был так увлечен своей новой идеей о примирении и о добрых делах, которые надо совершить, прежде чем встретишься с Творцом, что лично взялся ухаживать за Рейдаром, кормил его, пользовал целебными травами. Но такие нагрузки и ему оказались не под силу. В конце концов он тоже слег.

Все Рождество в Тунсберге король почти не вылезал из-под непривычных собольих и куньих одеял, раздобытых королевским казначеем. Голова у него кружилась, он с трудом стоял на ногах, а по ночам метался в забытии, мучимый удушьем. Казалось, будто бы одно из массивных каменных чудищ с колокольни бьёргвинской Церкви Христа взгромоздилось ему на грудь и злобно сверлит взглядом. Сверрир узнал этого уродливого грифона с орлиным языком, хищными птичьими когтями и острыми крыльями.

Утром он решил, что сразу, как вернется, сбросит жуткую тварь наземь и разобьет вдребезги. Хотя, пожалуй, от этого только доба-

вится неурядиц с бьёргвинскими священниками и епископом, да и с другими епископами тоже, как живущими в Норвегии, так и опальными, которых он изгнал за пределы страны.хлопот не оберешься, голова кругом пойдет. Нет, от битья епископских чудищ сон его вряд ли улучшится.

Конунг Сверрир выглядел старше своих лет, а чувствовал себя вовсе дряхлым. Был он невелик ростом, коротконог и не столь крепок и вынослив, как раньше, хотя сравнялось ему только пятьдесят. Он называл себя Сверрир Сигурдарсон и упрямо твердил, что ему не больше пятидесяти. А вот злые языки говорили, что он старше, ведь у него якобы уже ломался голос, когда Сигурд Рот познакомился с его матерью Гуннхильд.

Тяготы жизни, частые зимовки под открытым небом состарили короля, уже и не догадаешься, что короткая седая борода, окаймлявшая широкий подбородок, некогда была огненно-рыжей. При виде этой бороды многие люди умолкали, когда Сверрир снимал свой устрашающий шлем и смотрел на них, прежде чем начать речь.

Он не удивлялся, что скоро умрет. С точки зрения Господа Бога время было самое подходящее. Конунг Сверрир сделал для страны все, что мог. Ну а сам он считал, что пора идти дальше, к новым целям. Но где знак свыше? За всю его бурную жизнь Господь ни разу не преподносил ему неожиданностей. Незадолго до важных событий он всегда получал знак-предупреждение. И никогда не поверит, что в его жизни не было какого-то сокрытого плана, промысла неких тайных сил. Вот и гаутская колдунья о том же говорила. В битве при Фимрейте стрела пролетела на волосок от его головы и вонзилась в корму корабля. Лишь странная усмешка скользнула тогда по губам короля, словно он один только и ведал, отчего так случилось. «Прежде времени не тронет», — коротко сказал он.

Теперь же, хоть никакого знака явлено не было, он сам чувствовал, что время его истекло и удача покинула удачливого короля. Дружинники и те вполголоса поговаривали об этом. Охрана приходила на смену раньше обычного, расспрашивала, не произошло ли чего нового.

Однажды ночью король с громким криком проснулся, с превеликим трудом перевел дух, кое-как выбрался из постели, добрал до дверей и позвал караульного.

— Скажи Дагфинну Бонду, пусть придет.

— Слушаюсь, государь.

В тревоге и спешке господин Дагфинн даже подсвечник опрокинул; король едва успел дотащиться до постели, как двери распахнулись, и в покой влетел его тридцатидвухлетний военачальник. Сверрир решил, что господин Дагфинн вообще не раздевался и не спал, ожидая вызова. Это пришлось ему по нраву, и он благосклонно кивнул, понимая, что все, о чем он сейчас поведет речь, Дагфинна не удивит.

— Мне трудно говорить, поэтому слушай внимательно и задавай поменьше вопросов. Завтра чуть свет спусти корабли на воду. Если кто любопытствует, скажешь, мол, недоросток из внешних шхер возвращается в Бьёргвин умирать. Станут допытываться, добавь, что там-де живут большинство моих старых биркебейнеров. Многие из тех семи десятков, что первыми примкнули ко мне. Они прошли бок о бок со мной все испытания и будут рядом, когда для Сверрира «дьявольского священника» начнется последнее и самое захватывающее приключение. Мой бывший противник Рейдар, такой же хворый, как и я, поплывет с нами. Постелешь нам обоим на носу и укроешь парусом, но так, чтобы мы видели берег. Рейдар Посланник был хорошим противником, он много путешествовал и знает куда больше вашего, и теми немногими словами, что у меня остались, я желаю разумно с ним потолковать.

Зима крепко вцепилась в побережье, ветер не утихал, и флот почти все время мог идти в бейдевинд. Сверрир лежал на возвышении в носовой части палубного настила, он был тепло закутан, а сверху укрыт парусом. Но лицо он прятать не стал — хотел чувствовать мощные порывы ветра, капли дождя, снег и видеть берега, запечатлевая их в памяти. Обок него дружинники поместили Рейдара Посланника. Старики допоздна вели между собой разговоры. «Король, поди, надеется, — перешептывались воины, — что помрут они оба разом и тогда он предстанет перед Господом вместе с врагом, который стал ему другом».

Сверрир спокойно размышлял вслух, ронял отрывочные фразы, вовсе не рассчитывая, что Рейдар сумеет ответить. Например, он говорил:

— Жалко Йона Кувлунга, да военачальник-то из него был никудышный.

А немного погода замечал:

— Суд Божий? Победа в сражении — вот суд Божий.

Рейдар слушал и каждый раз благоразумно помалкивал.

Ну а знак королю все же был. В самую первую ночь плавания Сверрир увидел сон: к нему подошел некий человек — хорошо знакомый и однако неузнанный. Этот человек что-то ему сказал, только вот у него мужества не достало понять сказанное. Может, Рейдар смекает, в чем суть такого сна? Оно конечно, сразу и не ответишь, одно ясно: знак важный.

Король Сверрир говорил все время разное, и Рейдару вдруг подумалось, что он не иначе как шлифует речь, которую произнесет перед Создателем. А Сверрир тихонько кивал, посылая привет иззубренным горным кряжам, что рисовались на фоне ясного звездного неба.

— Я пришел к этому народу из внешних шхер, я избавил его от худой власти и от гордыни. Призвал на борьбу против внутреннего раскола и дал свободу, и все-таки норвежцы платят мне враждебностью, равной которой свет не видывал. Целых семь дружин подняли они против меня, и лишь два года из двадцати пяти прошли без военных походов. Бонды били камнем о камень и приговаривали: «Хорошо бы этак вот угостить Сверрира камнем по голове». Бонды плохо сносят поражение.

Сверрир с трудом отдышался, но, поскольку еще не излил свое раздражение до конца, тотчас продолжил:

— Стоит одному заикнуться, Сверрир-де удачлив в бою, так другой мигом объявит: «И не диво, потому что Сверрир проданся дьяволу, а может, он и есть сам дьявол». Поверь мне, Рейдар, если б у каждого на здешнем берегу, кто желает мне гибели, вырос на лбу рог, изрядное бы стадо рогачей получилось.

Рейдар молча усмехнулся. Облака плыли над головой, исполинские горные кряжи купались в белом сиянии луны. Король опять повернул разговор в другое русло.

— Мы, норвежцы, схожи в одном — в вечных разладах. А коли и действуем иной раз сообща, так непременно объединяемся вокруг чего-то такого, что якобы видим собственными глазами... Наши

предки видели могучие горы и называли их Асгард, ибо там жили боги, асы. Сами же они обрабатывали землю по склонам и на взморье, ведь на юге, и на западе, и далеко на севере было море, да и на востоке, за Шведской Державой, тоже. И мы пахали землю, разводили скот на острове среди моря, в Мидгарде*.

Сверрир вновь умолк, переводя дух. Ему нравилось читать наставления и иметь внимательных слушателей. Он бросил взгляд за планширь.

— С морем шутки плохи. Мировой Змей кольцом сжимает весь Мидгард и в любую минуту может нас проглотить. А все же порой нас неодолимо влечет за море, в Утгард**, где ждут и приключения, и великие опасности. Объявленных вне закона, точно бешеных волков, отправляли в Утгард. Может, исправятся, может, сгинут. Неудачнику всегда давали еще один шанс.

Насчет неудачника, вдруг сообразил Рейдар, явно камешек в его огород. Почему король оставил его в живых? И почему Сверриру вздумалось рассуждать о предметах, которые никак не могут иметь для него сейчас большого значения? Рейдар плотнее закутался в одеяла и молча стал слушать дальше. Король все говорил, говорил. А ведь он отнюдь не так весел, как представляется на первый взгляд. Должно быть, монотонный гул черных валов оскорблял его слух, и он поневоле без умолку говорил, отражал словами предательский ветер.

— Красавица великанша Герд родила Одину сына. Звался он Фьельнир и стал родоначальником уппсальских Инглингов и нашего Харальда Прекрасноволосого. А великанша Скади родила сына богу Фрейру, и тот назвал младенца Сэмिंगом. Сэминг стал родоначальником Хладиров и подарил Фрейру скипетр, перстень и царское яблоко. Нынче никто уже не вспоминает о языческих богах. А вот скипетр, перстень и держава по сей день остались для нас знаками королевской власти. Мы христиане и одновременно язычники. Ты задумывался об этом?

Нет, у Рейдара такого и в мыслях не было.

* Мидгард — в скандинавских преданиях так назывался мир людей.

** Утгард — в скандинавских преданиях царство великанов, враждующих с асами и с людьми.

— Удивительное дело, два рода — Инглинги и Хладиры — нередко соединялись брачными узами, и корона была то в одном роду, то в другом, но всегда им сопутствовали распри и кровопролитие. Война и смерть, смерть и война. А все короли желают мира. И надобно тебе знать, Рейдар, что и моей целью был мир.

Вновь повисло молчание. Рейдар Посланник улучил минуту и сказал:

— Как ни силен грохот войны, отзвуки посвиста стрел всегда утихают быстрее, чем отзвуки колокольного перезвона в церквях. Потому-то, государь, мне отрадно слышать, что ты, сам в прошлом священник, нынче думаешь о мире.

Король поразмыслил немного о словах Рейдара, потом сказал:

— Я всегда считал тебя умным человеком, Рейдар. А теперь вижу, что ты понимаешь меня лучше, чем многие, и догадываешься, что я болтаю о чем угодно, только не о том, что вправду занимает мои мысли. За честность я тебя отблагодарю: честно поведаю то, что многим очень хотелось бы знать. Кое-кто прямо говорит: Сверрир — это-де загадка. Однако ж сказать «загадка» — значит не сказать ничего. Вот почему другие уж вовсе трусливо шушукаются за моей спиной, что отец мой не Сигурд Рот, что никакой я не потомок Харальда Прекрасноволосого, а родила меня Гуннхильд от Уно Гребенщика. «Сверрир — обманщик, — шепчутся они, — мошенник, в точности как все духовные лица, что идут и едут сюда со своими диковинными уговорами да подложными грамотами, подписанными сатаной, небожителями и самим Господом Богом, а не то с поддельными щепками от креста Господня, коробочками гвоздей и мощами святых». Наше время — сплошная, бесконечная ложь. Удивительно ли, что многие втихомолку думают, будто Сверрир ни на волос не лучше всех этих пащенков, которые потому только объявляют себя королевскими сыновьями, что перед их рождением королю случилось проезжать мимо. «У Сверрира, — шушукаются они за моей спиной, — прав на королевский венец не больше, чем у любого сельдееда из Внутренних фьордов». Хочешь услышать правду, Рейдар? Тогда спрашивай, пока мы тут с глазу на глаз, и тебе одному я все расскажу.

— И ты обещаешь ответить чистосердечно, государь, коли я обещаю молчать?

— Можешь задать один-единственный вопрос, и о чем бы ты ни спросил, Рейдар, я обещаю, что ответ мой будет правдив.

Рейдар задумался и наконец спросил:

— Когда будет ужин, государь?

Той ночью Сверриру вновь приснился человек, знакомый и однако неузнанный, и вновь этот человек сказал ему что-то, чего он не понял.



УЛЫБКА

Седьмого февраля, прямо перед началом поста, флот подошел к Бьёргвину. Опасения короля подтвердились: его сын Хакон до сих пор находился в Нидаросе. Скорее всего, письмо с сообщением о болезни Сверрира еще было на пути через Доврар*. На всякий случай, по приказу короля, один из кораблей тотчас же, не заходя в гавань, отправился дальше на север со срочным посланием.

В Бьёргвине лил дождь. И никого это не удивляло, дождей здесь всегда хватало. Дружинники отнесли стариков не в каменный замок, который изрядно пришел в запустение, а в огромные деревянные палаты, которые Снорри в свое время изобразит как самое большое и самое замечательное сооружение к северу от германских пределов. Там их устроили в большой зале возле огня.

Сверрир хотел, чтобы они с Рейдаром без помех отдохнули, однако не принял в расчет королеву Маргрет, которая сию же минуту ворвалась в зал. Королева была дочерью шведского короля Эрика, прозванного Святым, и сестрой не так давно усопшего шведского короля Кнута.

Волосы у Маргрет были черные как вороново крыло, и необузданностью нрава она ничуть не уступала своему супругу. В народе шла молва, будто она знакома с ядами и колдовством и водит компанию с темными личностями, а королеве такое вовсе не пристало. Бог весть, откуда она прослышала, что королю Сверриру был во сне явлен знак. В спешке Маргрет даже не поздоровалась с мужем, сразу спросила, какой ему привиделся сон, чтобы дать истолкование. Ко-

* Доврар (ныне Довре) — горная группа на севере центральной части Норвегии, к юго-западу от Нидароса.

нунг Сверрир, обессиленный после долгого путешествия, тянул время и отвечал уклончиво. Но королева не сдавалась.

— Тебе снился зверь? Лев, а может, мертвец или какое пещерное существо в звериной шкуре? Зверей ты можешь не опасаться, они помогают тебе одолеть затруднения.

— Нет, зверей я не приметил. Ну, разве что поросенок... Хотя нет, поросенка тоже не было.

— Тогда, может, змея? Змеям свойственно нечто божественное.

— Нет, и змеи не было. Помнится, скорей уж, человек.

— Не ребенок ли? Это был бы добрый знак, он говорит о будущем и о развитии. Или, может, тебе снились роды? Такой сон опять же предвещает новое.

— Слишком я стар, чтоб родить, да и не женщина вдобавок.

— А зубы не выпадали? Если да, тебя ждут большие перемены. Хотя, судя по твоему виду, зубы ты во сне не терял... Ну а где все происходило —высоко в башне или глубоко в подземелье? Попробуй вспомнить. В вышине живут мысли, в глубине — неприятности.

— Тогда речь, верно, о неприятностях, потому что спал я под целой горой меховых одеял.

— Здесь не до шуток. Ведь очень важно знать и где происходил сон. Горы знаменуют необоримое, леса — одиночество, а море — что-то связанное с печалью и тоской. Коли снится дорога — значит, ты терзаешься чувством вины. Коли падаешь — значит, обстоятельства вот-вот станут для тебя неуправляемыми.

От усталости Сверрир был совершенно вне себя.

— Все верно, все так и есть, хоть во сне я ничего подобного не видал, все необоримо, я одинок, меня терзает печаль и чувство вины.

Однако Маргрет упорно не желала оставить его в покое. В конце концов Сверрир прикинулся, будто потерял сознание. Королева так и ушла ни с чем, сказав напоследок, что непременно пошлет за Педером Разгадчиком Снов. Король готов был с возмущением выбрать ее, но счел за благо лежать «без памяти», иначе покоя не видать.

Вот там-то, в деревянных палатах, на полу, Гаут Йонссон первый и единственный раз в жизни видел короля Сверрира. Двенадцатилетнего Гаута привел с собой отец, лендрман Йон Гаутссон, сын мо-

гущественного Гаута Энесского из Меля в Квинхераде. Лендрману Йону хотелось, чтобы его сын мог рассказать своим потомкам, что собственными глазами видел короля Сверрира. Как впоследствии говаривал Гаут: «В тот раз я смотрел в оба глаза. Годы спустя я увидел его еще отчетливей. Он тогда был мертв, да и я имел всего один глаз».

Вначале лендрман Йон и его брат Мунан сражались против Сверрира. Но, одержав победу, король, к всеобщему удивлению, даровал им пощаду. Ни имущество не отнял, ни права. С той поры Энесский род тоже смотрел на Сверрира как на великого человека, достойного всяческого подражания. А род этот был старинный, на весь Хардангр славившийся учтивостью и великодушием. Говорили даже, что есть в нем и королевская кровь. По дороге в Бьёргвин лендрман Йон говорил двенадцатилетнему сыну:

— Помни, король Сверрир соединяет в себе множество талантов. Он и красноречив, и остер на язык. Великий воин и ученый книжник. А кто шепчется, что-де король Сверрир обманщик, пусть остерегается шептаться так, чтоб я услышал. Потому что в бьёргвинских палатах лежит величайший воин, рожденный в Норвегии со времен Харальда Прекрасноволосого.

У входа в залу толпились старики биркебейнеры, пришедшие оказать королю почет и уважение. Их допускали к нему небольшими группами, и они ждали своей очереди, по обыкновению людей пожилых неустанно рассуждая о минувшем. Они помнили «дьявольского священника», иные — с самого первого дня, когда он собрал их вокруг себя, разношерстную ватагу мятежников, оборванцев, которые поневоле обертывали икры берестой, чтобы не обморозиться до смерти. «Убивший лендрмана сам станет лендрманом!» — провозгласил Сверрир. Теперь они вновь сошлись на Хольме, для одних путь был недолог, другие ехали из дальней дали. Некоторые явились из тех же усадеб, от тех самых жен, которыми завладели много лет назад, когда их мужья пали в бою.

Кое-кто из победителей — зачастую знаменитейшие богатыри — лучше сносил напасти, нежели благоденствие. Свидетельством тому была не только их внешность, но и теперешние имена: Хельги Перловое Пузо, Карл Окорок, Гуннар Горшок Каши, Эйнар Масляный Бочонок.

Об Йоне Гаутссоне король спрашивал на особицу, и войти ему дозволили вместе с сыном, только на цыпочках, чтобы не разбудить Рейдара Посланника. Король Сверрир встал со своего ложа, прислонился к резному креслу. По тогдашней моде на нем была длинная, до пят, туника. Раньше он, бывало, высмеивал тех своих приближенных, что ходили в этаких одеяниях: дескать, вырядились в бабьи рубахи. Теперь же и внимания на это не обращал — туника и туника, не все ли равно. Больше всего двенадцатилетнему Гауту запомнились глаза короля. Водянисто-голубые, но пронизательные и живые, как у юноши. Встретившись с королем взглядом, ты мгновенно забывал даже, как он бледен и одышлив. С таким человеком без приглашения не заговоришь. Тут надлежит слушать и отвечать, только когда спросят. Конунг Сверрир посмотрел на отрока и сказал, что с виду он настоящий Энес, по всем статьям крепкий да сильный. Хочет ли он стать воином, как отец? Истинным биркебейнером?

И юный Гаут Йонссон сам ответил:

— Да, государь.

— И как твой брат Арнбьёрн Йонссон*, баглерский воевода?

Назвав имя двадцативосьмилетнего Гаутова брата, самого грозного из нынешних своих противников, король Сверрир явно изучал перепуганные лица отца и сына. Он забавлялся.

— Арнбьёрн Йонссон — воин милостью Божией. Счастлив епископ Николас, воспитавший баглерам такого воителя, и счастлив я, ибо вы двое на моей стороне. Но теперь мы больше не будем воевать с моим родичем, епископом Осло. Как я понимаю, третий твой сын — кажется, его зовут Аскель? — по натуре более миролюбив?

— Аскель только что воротился из Ростока, государь. Он теперь ученый магистр и богослов.

— Для надежного человека вроде Аскеля нам бы не мешало сыскать место на Хольме. А то здесь многовато переменчивых богословов, у которых семь пятниц на неделе. У тебя прекрасные сыновья, Йон Гаутссон, все трое боевые, каждый по-своему. Перед вами же — донельзя усталый, одержимый дьяволом, негодящий вояка, ныне

* Арнбьёрн Йонссон (ум. 1240) — в начале жизни был одним из вождей баглеров. После распада партии баглеров (1217 – 1218) перешел на службу к королю Хакону и стал одним из его приближенных.

благодарный Господу за то, что Аскель миролюбив, а Гаут юн, что не пришлось идти на уловки и сталкивать твоих сыновей лбами. Ты, однако, расскажи им, как старый Сверрир учил тебя военному искусству, Йон, расскажи о слабостях больших военных отрядов и о силе малых.

Засим король сделал рукой знак, и отец с сыном, кланяясь, покинули залу. На пороге они разминулись с молодым дружинником, который спросил, примет ли король двух своих племянников, Хаконна Бешеного и Петера Стёйпера. Король ответил, что Рейдар спит, а сам он устал, пусть молодые господа придут в другой раз.

Снова очутившись за дверью, отец и сын тотчас поклонились племяннику короля, воинственному Хакону Бешеному, который, как говорят, получил это необычное прозвище оттого, что порой люди поневоле задумывались, в своем ли он уме. В ответ он чуть заметно кивнул. Поклонились они и второму королевскому племяннику, набожному Петеру Стёйперу, который денно и нощно боролся с мирскими соблазнами. Он тоже кивнул им, но при этом тепло улыбнулся. Королевские племянники стояли первыми в очереди ожидавших приема, стояли в нетерпении и надежде, оба разряженные, в модных остроносых башмаках, в платье из дорогих заморских тканей. Оба воплощали как бы две части девиза короля Сверрира: «*Ferus ut leo, mitis ut agnus*» — «Дикий, как лев, кроткий, как агнец».

Когда объявили, что королю надобно отдохнуть, племянники вознегодовали. И как раз в этот миг появилась королева Маргрет и решительно прошла мимо охраны прямо в залу. Какую весть она принесла, никто не знал.

Однако ж наутро обитатели Хольма увидели весьма диковинную фигуру. На сей раз этот человек был в развевающемся черном плаще и в чудной островерхой шляпе, тулью которой украшал полумесяц из нашитых стеклянных бусин. Когда он сказал, что за ним посылал сам король, его тотчас пропустили.

Педер Разгадчик Снов угодливо поклонился и сделал сочувственное лицо.

— В каком месте боль особенно донимает нашего всемилостивейшего короля?

— Голова болит.

— В покойницких — да низойдет мир на души усопших! — мертвецам всегда подвязывают нижнюю челюсть платком. Чтобы она не отвисала и рот не открывался. Эти платки, соприкоснувшиеся со смертью, имеют большую целебную силу. К примеру, если болит голова, можно повязать лоб таким платком — и боль как рукой снимет.

— Еще у меня болит грудь. Дышать нечем.

— В Мелёе делают на груди и на спине, на плечах то есть, надрезы в виде креста, а вытекшую кровь смешивают с вином и дают пить больному. Тогда дышится легче.

— Ну а от боли в горле что посоветуешь?

— В Улленсванге обычно сосут живую лягушку. И болезнь отпускает.

Минуту-другую король смотрел на Педера. Потом сказал:

— Лягушку?

— Живую лягушку.

— Был бы я в добром здравии и надумал завести у себя в палатах шута, я бы выбрал тебя, потому что ты большой забавник. Да, если бы ты меня не забавлял, я бы давным-давно поступил так, как мне много раз предлагали: ох и заболело бы у тебя горло — никакая лягушка не помогла бы! Коли я тебя не повесил, а призвал к себе, то не ради смеху. И не затем, чтобы спешить навстречу смерти, принимая снадобья, какими ты или королева решишь меня пользоваться. Нет, я призвал тебя потому, что ты умеешь толковать сны. И говорят, всегда был мастером в этом искусстве и впросак не попадал. Хотя отчего незримые силы избрали своим орудием такого болвана, как ты, — поистине загадка. Разве только оттого, что истина глаголет устами шутов, а ты и есть шут.

— Сущая правда, государь, я болван и шут во многих отношениях, но сны толковать умею и о таком важном деле, как откровение во сне, тебе, государь, никогда не солгу.

Король помедлил и, наконец, сказал:

— В последнее время я видел сон, который ты не должен рассказывать никому, даже королеве. И не спрашивай почему.

— Понимаю, государь.

— Этот сон я видел несколько раз. Человек, которого я вроде бы знаю, но не помню откуда, приходит ко мне и что-то говорит. Нынче я впервые услышал эти его слова.

— Что же он сказал?

— «Приготовься восстать, Сверрир, — так он сказал, — приготовься восстать». Я что, все-таки выздоровею?

Педер надолго погрузился в глубокие раздумья; заложив руки за спину, прошелся по комнате, глянул в окно. Потом обернулся к королю.

— Обещаешь ли ты, государь, не вешать меня, если я скажу, что этот человек имел в виду?

— Обещаю и хорошо заплачу.

— Государь, не гневайся. Но этот человек разумел воскресение в день Страшного суда.

Сказано ясно, без обиняков.

Наутро, в среду на первой неделе Великого поста, король Сверрир приуготовился. Лишь теперь священникам и монахам велели быть под рукой: недалек тот час, когда им надобно будет соборовать отлученного от церкви короля. Кроме того, спешно отрядили гонцов ко многим из первых людей страны. Все они собрались у ложа короля. И он приказал прочитать вслух письмо, которое намеревался отправить в Нидарос, своему сыну Хакону. Там были наставления в том, как управлять королевством после его кончины. Особенно важно, чтобы Хакон призвал епископов из ссылки на родину и замирился с ними. Король Сверрир вдруг беспокойно пошевелился и сделал знак прервать чтение. Он хочет кое-что сказать.

— Крепко запомните эти мои слова, ибо они очень важны: у меня один-единственный сын — Хакон Сверресон; других детей нет, а коли явится кто и станет говорить, будто он мой сын, знайте, это обманщик и смутьян и поступать с ним должно соответственно.

Минуло еще несколько дней, и Сверрир почувствовал, что его час пробил. Ближним людям велено было облачить его в парадное платье и усадить на трон, ибо так он желал умереть. Вообще же недужный король пребывал в добром расположении духа, шутил и даже смеялся. О королевине и своем родиче и противнике, епископе Осло, он сказал:

— Николас Арнарсон твердил, что меня надобно изрубить на куски и бросить псам и воронам. А я получу елеосвящение и буду сидеть тут, в кругу друзей, и мой безмятежный вид докажет всем, как подействовали на меня проклятия врагов.

В субботу 9 марта 1202 года пятидесятилетнего конунга Сверрира, облаченного в лучшее платье, усадили на трон, где он был соборован и встретил свою кончину. Он сидел в короне, со скипетром и державою в коченеющих руках и улыбался. Все могли видеть, что в последний свой час король Сверрир был светел и радостен.

В стене Церкви Христа — между хорами и главным входом — выбили нишу, куда с пышными церемониями поместили улыбающегося короля Сверрира, после чего под дробь барабанов, звуки труб и пение монахов нишу вновь замуровали.



НИДАРОС

Сквозь свинцовые стекла узких окон новый архиепископ Йон, разминая пухлый палец с перстнем — символом своего нового сана, глядел вниз на площадь перед Нидаросским собором, где скоро появится новый король, Хакон сын Сверрира.

Соборная площадь, как обычно, кишела народом, особенно паломниками. Одни были на костылях, другие — сплошь в мерзких коростах, с открытыми ранами, которые они старались очистить и промыть святою водой из колодезя Олава, третьих приходилось нести, и жить им оставалось совсем недолго. Но не только опустившиеся оборванные горемыки стояли там, зажав в кулаке тоненькие серебряные брактеаты* и дожидаясь, когда можно будет войти в собор и купить благословение и святую воду для питья и промывания ран. Были на площади и разодетые вельможи, кое-кто верхом. Отовсюду слышалась чужая речь.

Каноники переводили, указывали дорогу, поддерживали порядок в очереди и помогали чем и как могли. Несколько монахов продавали паломникам особые значки из свинца. Кое-кому удавалось даже запечатлеть свое имя на глиняных блоках, из которых каменщики клали стены, — достаточно было уплатить ничтожную сумму, но мало кто располагал такими деньгами. Иные приезжие издалека, едва завидев собор, падали на колени и вот так, на карачках, совершали путь покаяния. Некоторые, видно, каялись в тяжких грехах: вон трое замызганных грешников, бичуя свои окровавленные спины, ползут на ободранных коленях к собору. Потный монах, согнувшись в три погибели под тяжестью денежного ларца, обходил па-

* Брактеат — средневековая монета с чеканкой на одной стороне.

ломников, собирая пожертвования. Как только ларцы наполнялись, их относили в епископские палаты.

Архиепископ Йон был не слишком растроган жалостным зрелищем, которое видел под окнами. Он размышлял о предстоящей встрече с молодым королем. По слухам, Хакон сын Сверрира был весьма хорош собою. Среднего роста, но повыше отца. Благовоспитан, держится с достоинством, милостив, как и отец, и владеет красноречием. Знает по-латыни и по-французски. Йону не верилось, что Хакон так безупречен, как о нем говорят. Он знал, что его предшественник архиепископ посылал своих людей побольше разведать об учтивом королевиче. На это потребовалось время, потому что Хакон окружали надежные друзья, ограждавшие его от любопытных. Лазутчики выяснили, что у Хакона есть одна слабость — или сила, смотря с какой стороны поглядеть. Втайне он, как и его нареченный дед по отцу, Сигурд Рот, был невероятно охоч до женщин.

Впрочем, такое едва ли можно поставить ему в упрек, ведь знатные мужчины частенько имели по несколько женщин, да еще и кичились этим. Странно, что Хакон скрывал свои похождения. В особенности когда подошло время принять королевскую власть и ему требовалось все достоинство и авторитет, какие он только мог явить народу. Однако же молодой король нашел способ прятать следы. Он всегда был осмотрителен в выборе помощников и честен с женщинами, никогда не давая им невыполнимых обещаний, что позволяло ему сохранить их дружбу, благорасположение и во многом было залогом молчания.

Последние донесения, полученные архиепископом, сообщали, что загадочный сорвиголова Хакон с недавних пор «изрядно переменил свои обычаи, при том переменил к лучшему». «Возможно ли это?» — думал архиепископ.

И вдруг архиепископа пронзила ошеломляющая мысль. А что, если король Хакон назначил такое же расследование на его счет? Что, если он узнал о Черной Магдалине с Холмов, которая каждую среду навещала архиепископские палаты и продавала ему свои услуги? Ее вправду звали Магдалиной, как грешную соблазнительницу из Писания, и Йон долгие годы еженедельно поддавался соблазну, а после ее ухода каждый раз долго отмаливал грех, перебирая четки. Но другие могут и не зачесть ему этих молитв. А вдруг она расскажет

всему свету о странноватых причудах архиепископа Йона, обо всем скотстве, в каком он украдкой заставлял ее участвовать, и о том, что платил он ей из прочных дубовых ларцов, деньгами паломников? Нет, это невозможно. Не дерзнет она сказать ничего такого. Он объявит ее клеветницей и лгуньей, посланной сатаной, и велит нещадно высечь кнутом, а народ скорее поверит своему архиепископу, чем какой-то шлюхе. Или нет?

Дверь за спиной Йона распахнулась, и в комнату ворвался Хакон Бешеный, родич нового короля.

— Я скакал во весь опор, чтобы предупредить тебя. Король будет с минуты на минуту. Он выехал следом за мной и очень поспешал сюда.

Хакон Бешеный без спросу сел, но архиепископ как будто бы и внимания на это не обратил, немного постоял в задумчивости и с тяжеловесной насмешкой произнес:

— Все в этом деле поспешали. Ты и твои люди поспешали, да припозднились. Дружинники из Бьёргвина поспешали, им даже мнение архиепископа недосуг было выслушать, прежде чем отправиться на Эйратинг* присягать на верность конунгу. Вот набрать побольше людей, чтобы все прошло, как им надо, — на это у них времени хватило. Мне только не очень понятно, почему бы это теперь, когда Хакон сын Сверрира стал королем, ему этак не терпится поговорить со мной.

Хакон Бешеный не усидел на месте, опять вскочил и бросился к окну глянуть, не видно ли короля.

— Откровенно говоря, все мы припозднились, — сказал он, — дело сделано, теперь власть у Хакона, но это не означает, что он получит власть и над церковью, и над Нидаросом. Здесь твоя власть, Йон. Нынче впервые встречаются новый король и новый архиепископ. Все теперь в ваших руках: как вы двое решите, так оно и сложится в будущем. Ты не должен ни в одном пункте идти на уступки. Бейся за свою веру. Вспомни святого Томаса Бекета** в

* Эйратинг — областной тинг (вече), собиравшийся в устье реки Нид.

** Томас Бекет (1118 – 1170) — архиепископ Кентерберийский (1162 – 1170); канцлер короля Генриха II; выступал за церковные свободы и права папы и духовенства, отчего стал неуютен королю и был убит королевскими рыцарями прямо в соборе; в 1173 году причислен к лику святых.

Англии, он принял смерть у алтаря, но не пожертвовал ни единой привилегией церкви.

Сию минуту архиепископ Йон не больно-то горел желанием идти на смерть по примеру Томаса Бекета. Пусть даже у алтаря. Некоторое время он молчал. Затем повернулся к Хакону Бешеному и спросил:

— А еще что было на Эйратинге? Внял ли Хакон наказу короля Сверрира призвать клириков обратно в страну?

Хакон Бешеный налил себе вина, опять-таки без спросу, и осушил кубок.

— Призвал он клириков обратно? — повторил Йон.

Хакон Бешеный нехотя, с кислой миной кивнул:

— Да, призвал.

Архиепископ знал, что изгнанным на чужбину епископам и священникам жилось куда хуже, чем они изначально рассчитывали. Старый слепой архиепископ Эйрик Иварссон в конце концов даже умер из-за этого. Вот почему Йон разом оживился.

— Что ж, может быть, нас ждут лучшие времена, может быть, король Хакон не глух к добрым советам.

Тут Хакон Бешеный рассвирепел. Он стучал кулаком по столу и орал во все горло, выплескивая накопившуюся досаду:

— Глух не глух! Стыд-то какой! Нас трое сводных и родных братьев, и каждый из трех, уж во всяком случае, куда благороднее происхождением, чем сын короля Сверрира. Всему миру известно, что нашего деда по матери звали Сигурд Рот, а дядю по матери — Хакон Широкоплечий. А где доказательства, что кто-то в роду Сверрира или его сына может похвастать такой породой, как мы?

— Ну-ну, придержи-ка язык, Хакон Бешеный. Ты-то сам можешь доказать свои слова?

— Так или иначе Хакон сын Сверрира бесспорно рожден вне брака. Королева Маргрет — а она по праву носит этот титул — ему не мать. И столь же бесспорно, что пащенок на троне — глумление над указами Святейшего престола.

Под окнами, на площади, что-то происходило. Йон, пытаясь утихомирить ярла, поднял руку.

— Тихо. Это он. Ты выйдешь черным ходом, каноник проводит тебя. Наберись терпения, сын мой. Призови на помощь время. И не делай время своим владыкой, пусть оно служит тебе.

Архиепископ Йон протянул ярлу пухлую руку, тот с поклоном приложился к рубиновому перстню и поспешно вышел вон.

Между тем архиепископ наблюдал в окно за королем и его свитой. Лишь очень немногие на площади знали, что этот всадник — новый король. Хакону сыну Сверрира было двадцать пять лет, то бишь он был примерно вдвое моложе архиепископа. Король осадил коня, огляделся и взмахнул рукой, указывая на собор. Строительство еще не закончилось, высоко вверху, на лесах и в веревочных люльках, трудились каменщики и прочие строители, и огромный храм мало-помалу обретал целостный вид. Был он ста двенадцати локтей в длину и вдвое превосходил размером даже Церковь Христа на Хольме. Уже теперь говорили, что Нидаросский собор будет самым большим во всей Скандинавии. А иные говорили, что сравниться с этим храмом может разве только Шартрский собор во Франции.

А не послать ли, размышлял Йон, кого из челяди с сообщением, что он примет короля в большом зале? В минувшие годы он неоднократно был свидетель тому, как архиепископ Эйрик благосклонно принимал здесь, в Нидаросе, молодого королевича, сидя в высоком архиепископском кресле и нарочито подчеркивая свой сан и положение. Ныне Хакон сын Сверрира стал королем, и не мешало бы лишний раз выделить столь знаменательные тонкости, чтобы напомнить молодому человеку, чья тут власть. Йон улыбнулся. Оно конечно, в последних походах король Сверрир дал своему сыну возможность накопить военный опыт, а вот обучить его иным хитросплетениям игр вокруг власти не успел. Для наторевшего в интригах священнослужителя все будет легче легкого. Важно сразу заявить о своем превосходстве, установить обычай, начиная новую эпоху и устанавливая новую власть. Архиепископ Йон отдал необходимые распоряжения, прошел в зал и взгромоздился в кресло.

Что-то молодой человек не идет! Йон нехотя слез с парадного кресла и выглянул в окно. Хакон сын Сверрира спешиваться не торопился. Неужто заметил в окне Йона? Один из конюхов выскочил вперед, но король, спокойно сидя в седле, очень громко, так, чтобы Йон мог слышать, произнес:

— Ступай скажи, что я здесь.

Архиепископ Йон мигом засуетился. Король Хакон знал свою новую роль и свои новые привилегии и не попался на его удочку. Старый церковный лис тотчас же изменил план и с удивительным для такой туши проворством устремился к двери. Спускаясь по каменным ступенькам, он изобразил на лице самую что ни на есть сияющую улыбку.

— Ах, какая огромная радость! Если б мы знали, что ты, государь, надумаешь приехать сюда, мы бы встретили тебя как подобает — процессией и благовонными курениями.

Король спешил и первым зашагал вверх по лестнице, на ходу снимая перчатки. Он хоть и не показывал виду, но отлично знал, что архиепископа давно успели известить о его приезде. Устроившись в кресле на порядочном расстоянии от епископского возвышения, он знаком пригласил Йона сесть поближе. В зале никого больше не было, они сидели вдвоем, лицом к лицу. Начал разговор король Хакон:

— Теперь, когда моего отца нет в живых, вполне естественно будет объявить недействительным все, что записано в булле об отлучении, уничтожить шестилетней давности папское бревé*.

— Уничтожение самой буллы еще ничего не значит.

— Дурацкое послание, недаром писано на ослиной коже.

Архиепископ Йон лихорадочно соображал, стоит ли разыгрывать негодование, и предпочел с этим подождать.

— Я не могу решать за Его святейшество, но, коль скоро ты, как я понимаю, попросил изгнанное священство воротиться на родину, мне позволительно ходатайствовать о том, чтобы наша церковь восстановила все свои законные права. Однако ж снять анафему, которой был предан король Сверрир вкупе со всеми его потомками, Его святейшеству будет гораздо труднее.

От короля Хакона не укрылось злорадство, неуловимо сквозившее в кротком тоне Йона, и глаза его опасно сверкнули.

— Это отнюдь не означает, — поспешно добавил архиепископ, — что мы должны опустить руки. Нам необходимо лишь действовать заодно, поддерживать друг друга в наших общих усилиях вернуться к нормальным взаимоотношениям.

* Бревé — послание Папы римского.

Король Хакон бросил взгляд на архиепископские дубовые сундуки с деньгами и перешел прямо к делу:

— Насколько «весомая» поддержка требуется тебе, Йон, чтобы анафема была снята и мы вернулись к той ситуации, которая желанна нам обоим?

Архиепископ и бровью не повел.

— Его святейшество был бы весьма рад узнать, что нам в Нида-росе даровано право чеканить собственную монету.

— Об этом не может быть и речи.

Решительный ответ короля несколько смутил архиепископа, и он, выдержав короткую паузу, со вздохом проговорил:

— Или хотя бы дозволено взыскивать церковную подать весомым серебром, а не числом серебряных монет. Нам необходимо доброе серебро для наших церквей и для многочисленных поездок духовенства за границу. А серебряные монеты ныне чеканят очень уж тоненькие, народ смеется: они-де насквозь просвечивают. Не гневайся, государь, но от королевской монеты что при взвешивании, что при переплавке толку чуть.

Король Хакон с минуту молча глядел на Йона. Насчет монеты архиепископ прав, но говорить об этом пока не время. Сейчас речь о другом, и он напрямик сказал:

— Помощь церкви мне нужна, чтобы положить конец вечным междоусобицам. Не успеют замириться, как сызнова начинают воевать. Баглеры на востоке опять вооружаются, а бонды из горного Уплёнда жалуются, что так называемый король Инги, что засел на острове Хельгё среди Мьёрса*, обложил их своими поборами. Инги, конечно, большой пройдоха, да еще бахвалится, будто он сын короля Эрлинга Магнуссона. Но мы-то знаем, что это ложь, что он датчанин и зовут его Торгильс Тувескит.

— Да, ужасно, когда на лжи строят будущее, — благочестиво посетовал архиепископ, но прозвучало это весьма двусмысленно. — Ведь всегда есть женщины, которые спят со всеми подряд, а потом бесстыдно лгут, требуя привилегий для своих пащенков!

Король Хакон словно и не заметил оскорбления.

* Мьёрс (ныне Мьёса) — крупнейшее озеро в Норвегии, примерно в 80 км к северу от Осло.

— Мне не хочется, — сказал он, — чтобы нынешняя молодежь, мои сверстники, унаследовали войны наших предков. Поэтому я желаю, чтобы церковь перестала поддерживать баглеров. Я выступлю без промедления, пока мятежники не набрали силу. Когда в королевстве нет мира, у короля нет времени заниматься истинно королевскими делами.

В задумчивости архиепископ теребил на пальце рубиновый перстень. Вообще-то мир и ему тоже был выгоден. Собственные его военные силы иначе как весьма скромными не назовешь; по сути, дружина была ничтожная — всего-навсего сотня воинов, и каждый раз, когда биркебейнеры и баглеры шли друг на друга войной, Нида-рос решался на поддержку скрепя сердце. К тому же король Сверрир куда как ясно показал, что королевская власть способна обойтись без папского престола и церкви. Другое дело, каких преимуществ добьется он сам, если объявит о нейтралитете. Йон заговорил медленно, с расстановкой, чтобы придать своим словам больший вес:

— Нашим братьям и сестрам не так-то легко прекратить поддержку, которая шла баглерам долгие годы. И все же мы должны думать о будущем. Многие клирики сейчас как раз и озабочены будущим, хотя в другом плане. Как ты смотришь на то, чтобы усилить авторитет церкви при выборах епископов и назначении священников в королевские храмы?

— Об этом речи быть не может.

Йон опять поразился столь твердому отказу и безнадежно развел руками.

— Но в таком случае, государь, чем ты готов отблагодарить церковь за то, что она замолвит в Риме словечко об отмене анафемы, и за то, что мы откажем баглерам в поддержке? Чем-то ведь надо отблагодарить.

— Церковь получит право взыскивать свои подати в весовом серебре.

— И это все?

— Да.

Архиепископ понял, что больше ничего не добьется.

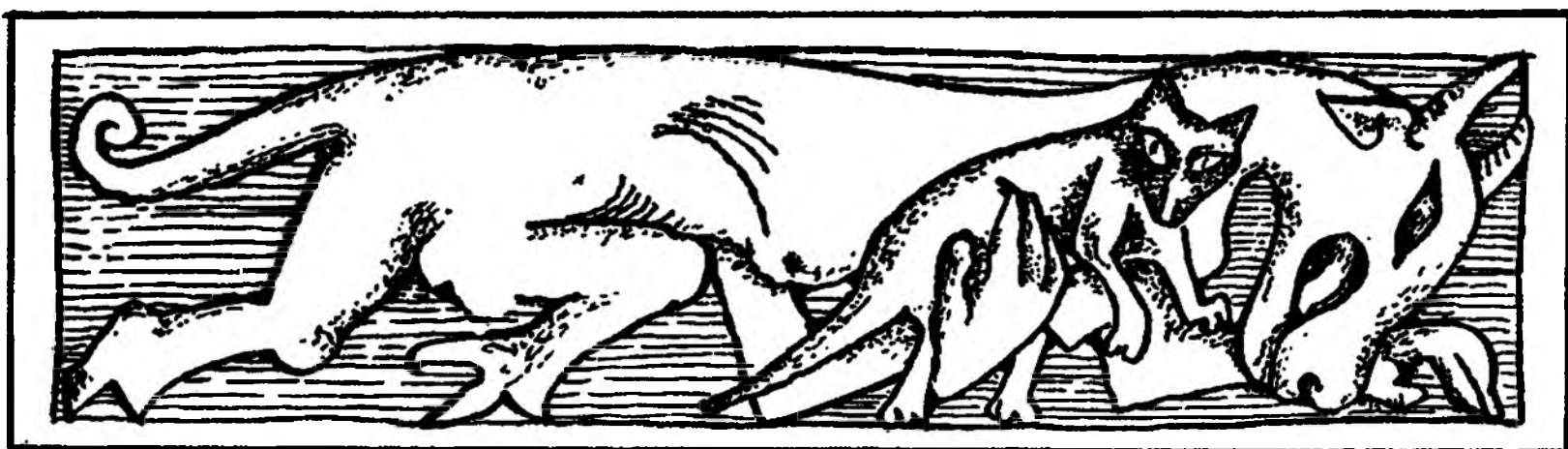
— Ты неуступчив в переговорах, Хакон сын Сверрира.

— Да.

И стало так, как пожелал король Хакон.

Еще спускаясь по лестнице архиепископских палат, Хакон отдал приказ направить в Упплёнд крупный военный отряд. На месте к этому отряду примкнули вооруженные группы бондов, и объединенными силами они двинулись к Мьёрсу. Баглеры увели с собой на Хельгё все пригодные лодки и там вытащили их на берег, но упплёндские бонды не растерялись: они соорудили из жердей и сучьев плоты и под покровом ночи поплыли к острову. Там они без труда разгромили немногочисленный отряд баглеров, король Инги и большинство его людей были убиты.

Голову юноши отрубили и насадили на кол — так повелел дружинникам король Хакон.



ЧЕРНАЯ МЕССА

В апреле 1203 года король Хакон отплыл с флотом из Нидароса в Бьёргвин. Всюду навстречу выходил народ — люди мечтали хоть одним глазком увидеть короля, бросались перед ним на колени, падали ниц. В Бьёргвине тоже царило ликование. Здесь он задержался на некоторое время, провел несколько ночей, бодрствуя в одиночестве у могилы отца. Смерть короля Сверрира застала его совершенно врасплох. Жизненные повороты обделили сына возможностью как следует узнать бродягу отца, и, словно желая хоть немного наверстать упущенное, он засыпал вопросами тех, кто знал короля лучше, чем он. На этой почве король Хакон и свел близкую дружбу с биркебейнерским военачальником Дагфинном Бондом, который с тех пор стал его первейшим советником. Отношения с мачехой, вдовствующей королевой Маргрет, у молодого Хакона складывались неважно, но он всегда оказывал ей положенное уважение.

Затем флот поплыл дальше. В свите короля были и его родичи — Хакон Бешеный и Петер Стёйпер. Хакон Бешеный — он в особенности — никак не мог примириться с тем, что король явно отдавал предпочтение господину Дагфинну и облек его большей властью, чем самого норовистого ярла. Однако Хакон Бешеный держал обиду при себе, словно рассчитывал, что его время еще впереди.

Где бы корабли ни приставали к берегу — их встречали толпы ликующего народа, который присягал на верность своему новому королю. Король Хакон побывал в Викене, в маленьком епархиальном городке Осло, а оттуда направился к южной границе королевства, к Гаут-эльву, в сторону Шведской Державы. Там флот тоже задержался.

В Бьёргвине меж тем наступил Иванов день. Пока церковные колокола в городе призывали народ на всенощную, дабы вознести молитву в честь святого Иоанна Крестителя, странная маленькая процессия медленно карабкалась к вершине Людерхорна. Большинство ее составляли унылые, неказистые женщины, но были и какие-то таинственные мужчины. Последней шла королева Маргрет, спрятав лицо под покрывалом. Дружиннику, который всегда следовал за нею по пятам, велено было ждать внизу, с лошадьми, с собой она взяла только Педера Разгадчика Снов, который тихонько объяснял ей, что она увидит:

— Местер* Франц приехал сюда из Любека навестить свою паству. Его слово — закон. Эти люди в нашего Господа не верят, они верят, что миром правят силы зла. Оттого и поклоняются князю тьмы, сатане, и хитростью да интригами помогают ему собирать души для геенны огненной.

Королева Маргрет перекрестилась, но, стора от любопытства, не могла повернуть назад. Подъем был крутой, и Педер Разгадчик Снов остановился передохнуть.

— У них все наоборот, они делают прямо противоположное тому, что говорят священники и велят десять заповедей. Глумятся, насмешничают, живут во грехе, совокупляются когда и с кем хотят и служат кощунственные черные мессы. Происходит это всегда в ночь на Святого Иоанна, без помех, здесь на вершине, когда мы служим в долине белые мессы во славу нашей истинной христианской веры.

— Ты точно знаешь, что местеру Францу известно о нашем приходе и что с нами ничего не случится? Эти люди, чего доброго, буйны и неистовы.

— Ему все известно, и он никогда не дерзнет подставить под удар первую даму королевства. Ведь, случись что, он же первый и сложит голову. Уверяю тебя, государыня, местер Франц чрезвычайно польщен твоим визитом, никогда ему не выпадала честь рассказывать о своей вере королевам. Он очень тебе доверяет, государыня, и скромно замечу, мне тоже. Он уверен, что мы не станем разглашать его тайны, просто посидим в отдалении и посмотрим, дабы побольше узнать о самом модном в южных краях увлечении. Его не волну-

* Местер — титул магистра, ученого.

ет, что у нас обоих под плащами христианские крестики. Для него это суеверие. А когда все будет позади, и он, и я получим вознаграждение, как договаривались.

Они пошли дальше.

— Думаешь, сатана существует? — спросила королева.

— Конечно, существует. В Откровении Святого Иоанна говорится, что был некогда вышний ангел, которого обуяла гордыня, и он решил, будто равен Богу. И потому «низвержен был... древний змей, называемый диаволом и сатаною». А такому человеку, как Иоанн Богослов, можно доверять. Ясное дело, сатана тотчас принялся искушать создание, которое Бог поставил выше иных, — человека, уговаривая его отвернуться от Творца. Он сам хотел властвовать над человеческой душой. Является он в облике всевозможных тварей, прельщает своих пособников сверхъестественными способностями, которые дают им власть над другими. Так-то вот.

— Я тоже слыхала, что он дает им власть над другими, — задумчиво произнесла королева.

На ровной площадке у вершины Людерхорна пылал под большим чугунным котлом яркий, трескучий костер. Окрестные пригорки и поросшие лесом высоты заслоняли огонь, и из долины не было видно желто-алого зарева. Перед костром белела выложенная из круглых, крашенных известкою камней шестиконечная звезда — гексагон, а рядом на каменистой почве были выведены диковинные белые знаки. Возле огня полукругом сидели безмолвные фигуры в темных плащах, большей частью старухи, но довольно много и молодых женщин. Позади них можно было различить нескольких мужчин. По другую сторону костра темнела маленькая хижина — шалаш из черных жердей и веток. Маргрет и Педер Разгадчик Снов устроились на пригорке, откуда все было видно как на ладони. Оба крепко сжимали под плащами свои нательные крестики.

Королева Маргрет обвела взглядом пустые лица. В зыбком отсвете костра угадывались знакомые морщинистые черты повитух и травниц, у которых ей и раньше доводилось искать тайного знания. Блики пламени играли в блестящих, полных ожидания глазах молодых женщин. Кой-кого из них она узнала — они прислуживали в королевских палатах. Удивительно, право слово, что все они исхит-

рились утаить от нее свои секреты. До Маргрет доходила молва о черных мессах на Людерхорне, но никогда она не видела такого вблизи.

— Объясни-ка мне еще раз насчет черной кошки, — шепотом попросила она.

— Кошка — символ супостата, искуителя, — отозвался Педер Разгадчик Снов. — Некогда христиане сражались в Египте с еретиками, а для этих язычников кошка была священным животным богини Бастет. Потому она и стала для христиан символом супостата. Ты, однако ж, не засматривайся на кошку и помни: когда мастер Франц станет коверкать и переиначивать слова причастия, ты не повторяй это за ним, а читай христианский чин, не то кошка завладеет тобою.

Внезапно тишину разорвали пронзительные звуки флейты.

И тотчас на пороге хижины явилось жуткого вида существо. На руках черная кошка, голова звериная, с большущими рогами, ноги ровно у козла, с копытами, на плечах шкура с длинным хвостом. Грудь и живот ничем не прикрыты, причинное место бесстыдно обнажено.

— Хокус Покус! — выкрикнул мастер Франц.

— Хокус Покус! — откликнулись женщины.

— *Hoc est corpus**, — сказали королева Маргрет и Педер Разгадчик Снов.

Мастер Франц знал по-норвежски. Хриплым голосом он провозгласил:

— Услышь нас, Вельзевул, повелитель мух. Услышь нас, Люцифер, ты, что воистину низвергся к нам с небес, сияющая звезда, светоносец, сын утренней зари! Мы жаждем пройти сквозь девять кругов и встретиться с тобою в великом спокойствии царства твоего, где сам ты, трехликий, стоишь в заледенелой топи, и из глаз твоих каплют слезы, и шесть кожистых крыл, трепеща, поднимают леденящий ветер...

— Да, да, леденящий ветер, — завyli женщины.

В этот миг откуда-то выпорхнула красная бабочка и исчезла в кустах.

* *Сие есть Тело (Мое)* — совершительная формула причастия (лат.).

— Смотрите... он среди нас! В образе мотылька!

— Он здесь! Он здесь! — подхватили все.

По знаку местера Франца вперед вышли старухи с корзинами и стали наделять собравшихся какими-то черными, похожими на облатки, комьями, а те с жадностью принялись их поедать.

— Что это они жуют? — спросила вдовствующая королева.

— Это глумление над Тайною вечерею, — прошептал Педер Разгадчик Снов. — Немного погода им дадут питье — глумление над священным алтарным вином.

Педеру хватило ума промолчать о том, что, собственно, отправляли в рот эти люди. Местер Франц меж тем подзадоривал женщин:

— Нынешней ночью мы возродимся к новому существованию, к новому бытию. Сатана жив!

— Сатана жив! Сатана жив! — кричали снова и снова, кто-то бился в корчах на земле, кто-то рыдал в голос.

— Восстаньте же! Возродитесь!

Оргия, которая разбушевалась теперь у костра, походила на призрачный кошмар, непостижный и незабываемый. Женщины поднялись, сбросили плащи и остались нагишом — старые, седые, сплошь в морщинах и складках, с обвислыми грудями. Грянул барабан, завизжала флейта, женщины в экстазе вскинули руки, ликуя ночному небу, начали петь и плясать. К изумлению королевы, плясали они, пятясь задом наперед!

По знаку местера Франца хромоногая травница шустро подковыляла к кипящему котлу и стала мешать варево, другая старуха разливала поганое зелье по маленьким кубкам и кружкам, чтобы всем досталось. Тощие руки хватали кубки, оцупью тянулись за ними, канючили, просили:

— Дай мне! Дай!

Ведьмы выстроились вереницей и с воплями, визгом и истерическим хохотом одна за другой подскакивали к местеру Францу, поднимали ему хвост и целовали в зад.

Какая-то беззубая карга принялась читать визгливым голосом:

— Аминь, земли на и небеси на яко твоя воля будет да, твое царствие...

— Что это она лопочет? — испуганно прошептала королева.

Педер Разгадчик Снов, бледный как полотно, осенил себя крестным знаменем и сказал:

— Читает «Отче наш», задом наперед.

Тут встала новая группа женщин и тоже сбросила плащи. Эти были молоды, руки у всех связаны за спиной, на глазах повязки. Местер Франц медленно и важно прошелся перед ними, внимательно разглядывая каждую. Наконец выбрал одну и повел за собой в хижину. Она шла за ним покорно, без звука, и оба исчезли внутри. Вход задернули дерюгой.

— Что там происходит? — спросила Маргрет.

— Благоприличие не позволяет мне говорить об этом, государыня.

— Коли здесь впрямь происходит то, что я думаю, так неужто все эти женщины должны покорно стерпеть такую мерзость?

— Не все. Дурнушкам это не грозит, им возрождаться незачем, они и без того родились ведьмами.

Крутом ликовали-плясали старые ведьмы, а костер Ивановой ночи высвечивал голые, извивающиеся, мокрые от пота тела. Кое-кто уже едва держался на ногах, иные кричали, всеми владело шальное неистовство.

Шабаш был в разгаре — не остановишь.

Королева Маргрет спешила вниз по склону, Педер Разгадчик Снов бежал следом.

— В жизни не видывала ничего более омерзительного.

Педер вконец запыхался и поспевал за нею с трудом.

— Ты, всемилостивая государыня, не можешь держать на меня обиду за то, что при сем присутствовала. И ты обещала, что местер Франц будет вознагражден, а не наказан.

— Наказан? Кто сказал, что его накажут? Этот человек поистине находка! Он не иначе как владеет огромными знаниями о травах и сокровенных силах. И нынешнее событие для меня не без пользы. В общем, можешь сказать местеру Францу, что я желаю поскорее увидеть его, сегодня же утром. Вы оба получите свою плату, но к тому же мне надо кой о чем поговорить с местером Францем, так что ты предупреди: с ним одним, наедине.



ИНГА ИЗ ВАРТЕЙГА

Возвращаясь на север, флот короля Хакона стал на якорь, а войско двинулось к реке Гломма, к доверенному человеку короля — Аудуну из Борга. Дагфинн Бонд загодя послал ему письмо на пергаменте, извещая о приезде Хакона. Аудун был весьма влиятельной персоной, родичи его жили по всей стране, аж в Эйде и Скауне, но пригласил он не только родню. Люди тянулись изо всех долин. Иные учтиво кланялись, иные пытались тронуть краешек королевского плаща, потому что это сулило удачу. Дружинникам король велел не препятствовать народу приближаться к нему.

Аудун пригласил короля в свой большой деревянный дом, украшенный и резьбой с изображениями драконов, змей и вооруженных воинов, пеших и конных. Хакон взмахнул рукой, приветствуя толпы народа, и следом за хозяином вошел внутрь. Ему пришлось наклониться — дверь была низкая.

По стенам большого нарядного зала висели тканые гобелены, ковры, щиты и арбалеты. Был здесь и огромный камин с обмурованным дымоходом.

Широкие половицы к приезду короля добела отскоблили; свисавшие с потолочных балок каганцы разливали теплое сияние, горели толстые сальные свечи, и собравшиеся в зале гости могли прекрасно видеть друг друга, не то что в иных покоях.

Почетное место* располагалось на возвышении перед внутренним фронтоном. Там уже водрузили королевский стяг. Вдоль стен стояли крепкие скамьи, перед большинством из них — столы.

* Почетное место — возвышение, на котором помещались хозяин дома с почетным гостем; остальные сидели на скамьях.

Король не слишком интересовался убранством Аудунова пиршественного зала. Он все время поглядывал на дверь и думал о чем-то своем.

Аудун принес показать королю диковинное приспособление, которым он очень гордился.

— Это, государь, путеводный камень. Он у меня от одного исландца, а используется, чтобы отыскивать в открытом море нужное направление. Смотри: как ни крути камень, он всегда глядит на север. Я хочу, чтобы ты принял его в дар и брал с собою в дорогу. Я показывал его кормчим больших гребных лодок, и они говорят, что с таким камнем можно плавать и в пасмурную погоду, и даже в кромешной тьме.

— Ну не колдовство ли, право слово!

— Нет, не колдовство, государь. Для верности я призвал священника Транда, чтоб прочел над камнем «Отче наш» и благословил его.

Король поблагодарил за диковинный подарок и пожелал, чтоб его ближние люди рассмотрели камень как следует. Аудун смекнул, что надо уйти, и с поклоном удалился.

Король повернулся к Дагфинну Бонду и тихо сказал:

— Ты видел ее?

— Кого, государь?

Король кивком показал на девушку, которая была хорошо видна в дверном проеме.

— Узнай, как ее зовут.

Дагфинн вышел и тихонько поговорил с Аудуном из Борга. Аудун было замялся, потом быстро прошел в зал, прямо к королю, не понимая толком, чем объяснить неожиданный его интерес.

— Она моя родственница, государь, из Вартейга. Это усадьбу, неподалеку от Фалкинборга. А зовут ее Инга.

— Никогда не видел такой красавицы.

— Здешние женщины славятся своей красотой. Среди них найдутся и... я к тому, государь, что, может быть, ты желаешь познакомиться с какой-нибудь другой дамой, а? Инга-то, пожалуй, не...

— Она уже с кем-то помолвлена?

— Кто?.. А-а, Инга? Да в общем, нет, не совсем. Но священнику Транду про это известно наверняка побольше моего. Хоть ее отец с матерью мне и родня, священник Транд знает ее куда лучше. Он для всей округи духовник.

— Ладно, Аудун, забудь мои расспросы. Это я сам улажу.

Аудун был задет за живое и с несчастным видом смотрел на короля.

— Я уже все забыл, государь. Ничего не слышал, знать ничего не знаю... В общем, опочивальня для тебя, государь, приготовлена в дальнем покое. Коль скоро ты почтил мой дом своим пребыванием, я и мои домочадцы будем пока ночевать в другом месте.

Поклонившись, Аудун торопливо ретировался, испытывая единственное желание: не замешаться в то, что король хотел уладить сам. А король и сам плохо понимал, чего ему хочется. И опять послал за Дагфинном Бондом.

— Внутренний голос твердит, что я непременно должен познакомиться с этой девушкой. Раньше, Дагфинн, ты помогал мне в таких обстоятельствах. Скажи, что надо делать?

— Пригласи ее к себе, государь: здравствуй, Инга, так, мол, и так, я король, хочу с тобой познакомиться.

— Очень уж у тебя все просто получается.

— Ты король. А королю ни в чем нельзя отказать.

— Она хочет твердого положения. И подумает, будто я решил взять ее в наложницы.

Господин Дагфинн придал своему лицу простодушное выражение.

— Да неужели кто дерзнет заподозрить короля в этаких помыслах?!

Король невольно улыбнулся.

— Разыщи этого священника Транда и попроси его найти okazji представить мне Ингу. А заодно допытаться, кто за нее в ответе. Будем учтивы и отнесемся к даме со всем уважением.

Церковь, где служил священник Транд, была деревянная и не из самых больших, зато далеко славилась редкостной своей красотой — безмятежно покоилась эта ставкирка среди величавой хеггенской природы. Даже пустая, она словно бы звучала дивными хорами голосов минувшего. Некогда здесь стояло языческое капище, от которого остался каменный алтарь с отверстием посреди верхней плиты — в народе шептались, что-де в былое время туда стекала человеческая кровь. Теперь в алтаре находились четыре священные реликвии — камень, который Господь наш Иисус Христос полил потом и кровью, когда молился в саду Отцу Своему; обломок плечевой кости

святого Свитхуна и локтевой — святого Павла, а еще окровавленный лоскут одеяния святого Эдмунда.

Горделивые столпы вздымались ввысь, мощные опоры-ставы из ядровой древесины сосен несли и поддерживали устремленные к небу ярусы кровли. На самом верху щерили пасти смоленые, обожженные солнцем драконьи головы, а внизу, вокруг притворов, в которые, склоняя голову, входили и выходили люди, обвивались корчащиеся в смертных судорогах свирепые чудовища. Гордецы вырезали свои родовые знаки в крытой галерее, робкие и опасливые — на тесовой обшивке стен и в укромных местечках на скамьях и под плитами пола. Бывало, в церкви находили и баночки со скинутым плодом — под покровом ночи их прятали там до смерти перепуганные безутешные женщины.

В полумраке возле ризницы, под галереей, поручни которой опирались на резные андреевские кресты, сидел, беседуя со священником Трандом, королевский родич Петер Стёйпер. Говорили они тихо, очень тихо, хотя и удостоверились, что больше здесь никого нет. Набожный господин Петер был встревожен и украдкой озирался по сторонам.

— Я не могу поделиться тем, что знаю, ни с королем, ни с кем другим, могу рассказать обо всем только священнику, который, как известно, связан обетом хранить тайну исповеди. Вот почему я пришел к тебе.

— Говори без утайки, сын мой.

Прежде чем облегчить душу, Петер Стёйпер помолчал, словно собираясь с мыслями.

— Ума не приложу, что делать с моим двоюродным братом, Хаконем Бешеным. Коли он что вобьет себе в голову, так никакого удержу нет. Прозвище-то у него вполне под стать норову.

— Что же он надумал?

— Втемяшилось ему, что он сам мог бы стать королем. А ведь это мысли вероломные, противные воле Господней, хоть и живут пока только в его фантазиях. Они, я чай, даже и погибельны для других, кто, не дай Бог, с ним свяжется. Ему и дела нет, что собственный его сводный брат, Инги Бардарсон, имеет в таком случае больше прав на корону. Вдобавок он теперь начал толковать об этой шведке, о Кристин дочери Николаса, которую вдовствующая коро-

лева хочет в Осло представить королю. Кристин — племянница королевы Маргрет, а отец ее, Николас Блаке, там у них в большой силе. Так вот, мой родич открыл мне, что король, похоже, ни малейшего интереса к Кристин не проявляет, а потому он, Хакон Бешеный, хочет сам жениться на этой даме и таким образом заручиться поддержкой шведов против короля.

— Почему ты не расскажешь все это королю Хакону?

— Потому что Хакон Бешеный посвятил меня в свои планы, только когда я поклялся Господом и душевным покоем, что никому ничего не скажу. Давши перед Господом такой обет, я обязан вести себя безупречно. Вот почему я пришел к единственному человеку, у которого могу просить совета, — к тебе, священник Транд.

Н-да, плохо дело. Священник Транд храбростью не блистал и предпочитал елико возможно держаться в стороне от политических интриг. И священную тайну исповеди тоже не мог нарушить. А если бы все-таки нарушил, приобрел бы врага в лице Хакона Бешеного. А не нарушить ее и не предостеречь короля еще опаснее. Эх, лучше бы вообще не слышать этой исповеди. Остается прикинуться дурачком, другого выхода нет.

— Ты, наверно, не так понял, Петер Стёйпер. Умный человек вроде Хакона Бешеного никак не может всерьез вынашивать такие замыслы.

— Что же мне делать?

— Покайся в своих заблуждениях. Подари нашей церкви серебряный подсвечник и тридцатикратной молитвою испроси у Господа прощение за то, что дерзнул усомниться в честности Хакона Бешеного. Давай же вместе преклоним колена и принесем Господу эти тридцать молитв.

Тем временем Дагфинн Бонд подскакал к церкви. Еще не спешившись, он заметил свежевырытую глубокую яму. Угодишь туда, так без посторонней помощи не выберешься. На дне ямы господин Дагфинн углядел двух убогих горемык. Не иначе как «ямные должники», или заемщики, не погасившие долговых обязательств перед каким-нибудь богатым бондом.

Господин Дагфинн знал об этом странном обычае, но ни разу не видел вблизи, как это происходит. Возле ямы караулил батрак, присматривал, чтобы один из наказанных остался жив, а еще ждал: вдруг кто из проезжих захочет уплатить их долг. Священники говорили, что такое милосердие отпускает душе все грехи. Господин Дагфинн подъехал к батраку.

— Чьи это должники?

— Аудуна из Борга, господин.

Господин Дагфинн виду не показал, что знаком с Аудуном, и, выяснив, каковы размеры долга, произнес:

— Вот, в этом кошельке ты найдешь надобную сумму. Но не говори Аудуну, кто дал деньги. И рабам тоже ни слова. Мол, проезжал мимо человек и уплатил их долг, а тебе тот человек незнаком.

Забавно было смотреть — до чего же изумленные физиономии показались из ямы, когда туда спустили лестницу и двое горемык выбрались наверх уже свободными людьми. Однако минуту спустя Дагфинн Бонд забыл об этом происшествии, так как увидел Петера Стёйпера: тот вышел из церкви и, вскочив в седло, поехал прочь. Что он здесь делал? Господин Дагфинн привязал коня и прошел в церковь потолковать со священником Трандом об Инге из Вартейга.

Под вечер в дверь королевского покоя постучали. Дружинник доложил, что некая девица желает наедине побеседовать с королем. За спиной дружинника стояла Инга, зардевшаяся как маков цвет. Она вошла, и король закрыл дверь.

— Что ты хочешь от меня, Хакон сын Сверрира?

— Почему ты спрашиваешь об этом?

— Наверно, следовало бы называть тебя «государь», ты ведь вправду мой государь и господин, хоть и не во всем.

— Не угодно ли тебе сесть?

Инга присела на краешек скамьи, но немного успокоилась.

— Отец мой умер нынешней весной. Аудун из Борга говорит, что теперь он в ответе за меня. По мне-то, лучше бы ответ держал Транд священник, однако же сейчас ни тот ни другой не могут толком объяснить, в чем дело. Запинаются, виляют, мямлят, краснеют. Впрочем, Аудун складно говорит, лишь когда знает свою выгоду, ну а

Транд — он и есть священник. А я думаю, государь, то, что у тебя на уме, такого свойства, что придется мне самой держать за себя ответ. Но сперва надобно узнать, о чем речь, и узнать об этом я могу у тебя.

— Мне известно, что тебя зовут Инга из Вартейга. Хочешь ли узнать меня поближе?

— Узнать тебя, государь?

— Не узнать ли нам друг друга поближе?

Инга задумалась.

— Задолго до твоего приезда здесь шла о тебе молва, король Хакон. Сведущие люди говорят, что, прежде чем стал королем, ты любил женщин, хотя известно об этом не всякому. Но отзываются о тебе хорошо: ты, мол, настоящий мужчина, ибо никогда не сводил близкого знакомства с женщиной против ее воли и никогда не заикался о праве владетеля, которым другие знатные мужи дурачат своих служанок.

— Ты никогда не станешь мне служанкой. А что я никогда никого не принуждал, так это чистая правда.

— Значит, если ты захочешь сделать меня наложницей, я могу сказать «нет»?

— Странная ты женщина, Инга. Идешь напрямик, не обинуясь, не виляя, по-мужски. Сам удивляюсь, но, по-моему, это похвально.

— Ты не ответил, можно ли мне сказать «нет». Тогда я буду говорить откровенно. Пришло время искать мужа. Более видного мужчины, чем король Хакон, в Норвегии нет, только ведь законной супругой я ему, поди, никогда не стану. А тут Аудун, сидит себе в Борге и толкует, что есть у него на примете подходящий муж. Я знаю, по вечерам они с отцом этого парня все торгуются, какова мне цена в земельном чинше, только и рассуждают что об эресболях, и лаупсболях, и маркеболях, и спанах. И для их расчетов, похоже, очень важно, что я девица и ни разу еще не спала с мужчиной. Ежели ты, государь, сумеешь до своего отъезда все это изменить, цена моя, пожалуй, будет меньше, чем у суповой курицы.

Хакон никак не ожидал от нее эдакой иронии и невольно рассмеялся. Инга с минуту смотрела на него и вдруг сказала:

— Жаль мне тебя, Хакон сын Сверрира, придется тебе взять в жены королевну, да еще, глядишь, задастую и с усами.

— Моя мать не была королевной. Как и мать короля Сверрира.

— Зато мачеха у тебя королева. Люди говорят, высокородная, заносчивая шведка. Я слыхала, она будет ждать тебя в Осло и привезет с собой знатную молодую шведку тебе в жены. А коли дело сладится, как тогда быть с такой, как я? Спрятать среди челяди и тайком видаться меж окороков в свайной кладовке, пока шведская дочь изво-лит почивать?

— Как по-твоему, смеяться мне или плакать?

— Можно и серьезно поговорить. Вдруг у меня родится дитя, мальчик? Что его ждет впереди? Станет ли он твоим сыном, сыном короля, станет ли зваться Хаконарсон? Или будет расти в деревне, как всякий внебрачный ребенок, которого все бранят да оплевывают? Ты знаешь законы и сам — закон. Если незамужняя женщина ждет ребенка и откажется назвать отца, люди решат, что он раб, и ребенок лишится свободы и вырастет рабом.

— Я никогда от сына не отрекусь.

Инга примолкла, задумавшись над словами короля, и невольно повторила:

— Ты, король Хакон, никогда от сына не отречешься.

Совершенно очарованный прямотушием Инги, Хакон с жаром воскликнул:

— Внутренний голос говорит мне, что мы встретились не случайно. Останься здесь сегодня ночью, Инга. Нам суждено познать друг друга. Не пойми меня превратно, спешить некуда, и все будет честь по чести.

— Как все может быть честь по чести для людей, которые никогда не будут честь по чести женаты?

— Говорят, у вас в Бorge часто бывают странствующие сказители и чтецы-грамотеи. Ты наверняка слышала, как они читают франкские рыцарские романы.

— Я сама умею читать и знакома с такими манускриптами.

— Тогда тебе известно, что рыцарь и девица могут разделить ложе, поместив меж собою обнаженный меч.

— Пожалуй, я разделю с тобой ложе, Хакон, — подумав, деловито сказала Инга, — но при одном условии.

— О чем ни попросишь, все будет исполнено.

— В постели нам будет куда уютнее без обнаженного меча.

Позднее в тот вечер она медленно и серьезно подошла к его ложу и тихонько улеглась рядом. Она сама не понимала, где этому научилась, но откуда-то ей было известно, что нужно делать.

Ночью они лежали, благодарно лаская друг друга, не говорили ни слова, только ласкали. У обоих было странное предчувствие, сокровенная надежда, что чудесные эти минуты не канут с рассветом в прошлое и что самое большое чудо еще впереди — когда родится новый человек.

Наутро король Хакон собирался поехать в Ингины края, к мастеру Лаврансу в Фалкинбург, что неподалеку от Эйдсберга. Ему надобно было посмотреть новых кречетов и выбрать несколько этих замечательных птиц: он подумывал послать кречетов в дар Святейшему престолу, а в фалкинбургском питомнике найдется из чего выбрать. Инга, верно, поможет ему советом и потому непременно будет его сопровождать. Когда кавалькада отправилась в путь, Инга ехала обок короля, и, конечно же, это не прошло незамеченным, но все делали вид, будто в появлении молодой дамы нет ровным счетом ничего особенного.

Белые исландские кречеты были, пожалуй, самой большой ценностью, какую могли доставить приезжие люди из Норвегии — послы ли с дарами короля либо церкви, купцы ли с товарами на продажу либо для обмена. В южных странах щедро платили за ворвань, кожи, меха, резные вещицы из моржового зуба и за шкуры белых медведей, но за доброго ловчего кречета покупатель готов был, не задумываясь, выложить более тысячи динаров*.

Хозяина Фалкинбурга звали Лавранс Мореход, так как раньше он плавал на торговых кораблях в чужедальние гавани. Шесть кречетов повез он с собой в первый раз, а теперь человека богаче его во всей округе не сыщешь. Народ до сих пор вспоминал тот первый корабль, на котором он вернулся домой, — груза там было видимо-невидимо: и мед, и пшеница, и шелк, и наряды, и перстни, и пряжки, и серебряные да золотые украшения, и ткани, и даже драгоценные манускрипты и святые реликвии, почитай что от

* Динар — арабская золотая монета, имевшая хождение без малого девятьсот лет (начиная приблизительно с 695 г.).

всех апостолов. Часть груза пошла в уплату за новых кречетов и новый корабль. Теперь он послал торговать других людей, на двух кораблях. А вскоре — уже на трех. Сам Лавранс занялся разведением кречетов и разводил их по сей день. Король Сверрир даровал ему монопольное право на занятие этим прибыльным ремеслом, с тем чтобы взамен король когда угодно мог выбирать себе обученных кречетов.

В Фалкинборге все во главе с Лаврансом высыпали навстречу гостям. На правой щеке у Лавранса был глубокий рубец, из-за которого он будто все время улыбался. Оставил эту отметину клюв свирепого исландского кречета, однако ж птица жизнью не поплатилась — слишком дорого она стоила. Хватало у Лавранса и других шрамов и отметин — что на руках, что на теле. Кой-какие достались ему от острых птичьих когтей, но большая часть была получена в непрерывных вооруженных стычках с теми, кто незаконно пытался заниматься соколиным промыслом в здешних местах.

Когда вокруг тебя существа, от которых можно хоть сейчас, хоть немного погода ожидать любой каверзы, а к тому же у этих существ есть острые, как шило, клювы, когти и мечи, без известного урона не обойтись. Да по нынешним временам и добрые отношения с королем тоже порой сулили неприятности. Это испытал на себе не один только Лавранс.

Завидев короля, встречающие, как по команде, пали на колени. Король Хакон спешился, отдал поводья конюху и жестом велел всем подняться. Король с Ингой переходили от одного служителя к другому, рассматривая кречетов.

На головах у птиц были разноцветные колпачки, и сидели они, вцепившись когтями в перчатки кречетников. Мастер Лавранс подробно рассказывал о каждой птице, о ее преимуществах и недостатках. Затем сам Лавранс и его люди продемонстрировали свое искусство. Из клеток выпустили мелких птах, которые в испуге порскнули в разные стороны.

— Кречеты — они что твоя дружина, государь. Не терпят от других тварей бестолковой суеты и мельтешения. Перво-наперво всё хорошенько разведдают, а потом уж бьют, без промаху и без пощады — для своего господина.

В следующий миг колпачки с кречетов были сняты. Птицы тотчас взмыли в небо, высоко-высоко, откуда им все открылось как на ладони. И вдруг камнем ринулись к земле, и в считанные секунды каждый вонзил когти в затылок кровавой жертвы. Один за другим кречеты возвращались с добычей и получали в награду кусочки мяса. После короткой трапезы они безропотно позволили нахлобучить себе колпачки.

Инга побледнела. И король сам выбрал кречетов.

— Беру трех птиц, что воротились первыми.

— Добрый выбор, государь! — сказал Лавранс. — На тех, что первыми исполняют приказ, всегда можно положиться.

В Борге король за первой же трапезой усадил Ингу рядом с собою. Тут только придворные начали смекать, что король относится к этой даме по-особенному и ждет, что ей окажут почет и уважение. Что король, что Инга, оба как будто бы веселы и довольны. Дагфинн Бонд участвовал в их оживленной беседе. Священник Транд, видя, что Инге хорошо и она счастлива тем, что король так к ней внимателен, искренне радовался за девушку. Ему и в голову не пришло, что они спали в одной постели.

Аудун из Борга был не настолько наивен. Почти всю ночь он провел на ногах, все глаза проглядел, дожидаясь, когда Инга выйдет из королевской опочивальни. Он с огромным трудом смирил свою досаду, но предпринять что-либо не рискнул. Меньше всех эта история взволновала двух двоюродных братьев — Хакона Бешеного и Петера Стёйпера. Тот и другой свято верили, что король позабавится с Ингой денек-другой — тем дело и кончится. То-то оба и удивились, когда настала ночь, и Инга вместе с королем направилась в опочивальню. Пожелав всем доброй ночи, молодая пара с улыбкой затворила дверь.

До сих пор король ни разу так открыто, чуть ли не демонстративно не выказывал своего увлечения женщиной. Кто-кто, а они его знали. Он бы никогда не поступил подобным образом, если бы не желал, чтобы они это заметили. Петер Стёйпер отвел родича в сторону.

— Он что, решил взять ее в наложницы? В жены-то нельзя.

— Нет, в жены никак невозможно. Или все-таки...

— Тогда выходит, он сам себе создаст неодолимые препятствия. Во-первых, девушка не королевского рода. А во-вторых, — и это куда серьезнее, — ему не миновать неприятностей с мачехой, ведь королева будет ждать его в Осло не одна, а с девицей Кристин из Шведской Державы. Если он предпочтет благородной девице Кристин простую наложницу, то восстановит против себя не только вдовствующую королеву, но и шведского короля.

Хакон Бешеный сорвался с места, подошел к королевской опочивальне, бесцеремонно оттолкнул дружинника и громко постучал в дверь.

На пороге появился король Хакон. Он был недоволен, что его потревожили, но, увидев родича, вполне дружелюбно спросил, что стряслось.

— Спешу сообщить, что королева Маргрет со дня на день будет в Осло, вместе с известной нам особой из Шведской Державы. Надобно нынче же вечером обсудить приготовления к отъезду, потому-то я и не промедлил спросить у тебя, государь, когда ты желаешь выехать из Борга.

— Как все здесь уладим, так и отправимся. Вдовствующая королева может подождать.

— Я думал, не выехать ли кому-то из нас вперед и до твоего появления не составить ли дамам компанию? Ведь королева в плохих отношениях с епископом Николасом и, наверно, предпочла бы не быть там одна. Кто-то должен взять ее под защиту.

— К чему ты клонишь?

Вокруг было много ушей, и Хакон Бешеный понизил голос.

— Можно говорить без утайки. Николас Арнарсон королеве троюродный брат, и мы оба знаем, что именно она уговорила короля Сверрира сделать его епископом Осло. Вот почему, выступив против короля, Николас поразил ее в самое сердце. Когда баглеры напали на Бьёргвин, она так разбушевалась, что воевода поневоле запер ее в погребе. И хотя сейчас все тихо-мирно, у нее нет доверия к епископу Николасу.

— Тогда поезжай вперед и окружи вниманием вдовствующую королеву. Передай дамам поклон и скажи, что у нас тут еще много дел, но мы непременно прибудем, как только сможем.

И король затворил дверь.

Хакон Бешеный отвесил закрытой двери поклон, усмехнулся и пошел собираться в дорогу. С Петером Стёйпером он не говорил, мысли его были совсем о другом: он намеревался рано утром выехать в городок с бревенчатыми мостовыми на улицах и в переулках, где деревянные домишки лепились вокруг каменных церквей и просторных епископских палат. В Осло.



ОТЦЫ

В самом центре Викена лежал Осло. Плодородные земли по берегам большого фьорда издревле назывались Викин, то бишь «залив», «бухта», и с легкой руки скандинавов-викингов это имя стало известно всему миру. В ответвлениях фьорда и в бухтах, дома и на чужбине, подстерегали добычу наводящие ужас «люди с заливов».

Хакон Бешеный и его спутники скакали без отдыха до самого Эйкеберга* и там, на вершине, остановились. Лето шло к концу, и, глядя вниз, они видели, как курится дымок над кровлями деревянных домишек, которые теснились вокруг солидных епископских палат и больших церквей. В одной из них был похоронен Сигурд Крестоносец**. Да, Николас Арнарсон явно человек могущественный, а уж если покажут тебе земельные угодья, что принадлежали епархии, так и вовсе оторопь берет. На острове Ховедё раскинулся славный цистерцианский монастырь, можно даже различить монахов, которые усердно трудятся на полях. К северу и к западу бегут волны живописных, поросших лесом холмов. А на восточном берегу залива Бьёрвика полтора века назад Харальд Суровый Правитель*** заложил город, который хотя и не мог еще тягаться с Бьёргвином, Нидаросом и Ставангом****, но неуклонно рос. Лишь довольно большие постройки и усадьбы были обнесены стенами, однако определить, как проходят границы города, не составляло особого труда, а проходили они вдоль подошвы холма Энерхауген, мимо Мартустоккера, где казнили

* Эйкеберг — возвышенность неподалеку от Осло.

** Сигурд Крестоносец — король Норвегии в 1103 – 1130 г., сын Магнуса Голоногого; в 1107 – 1110 г. предпринял крестовый поход в Иерусалим.

*** Харальд Суровый Правитель — норвежский король в 1047 – 1066 г.

**** Ставанг — ныне город Ставангер в Южной Норвегии.

преступников, вокруг поместья под названием Валежник до самого фьорда. На берегу жались друг к другу дома, лавки, сараи, а в гавани было множество кораблей, что говорило о процветании торговли. Лесопилки и огромные штабеля бревен опять-таки свидетельствовали, что именно просили в обмен на свои товары многие из чужестранных купцов. Вдали змеились, поспешая в город, стежки-дорожки со всех концов Восточной Норвегии, и движение там было весьма оживленное.

В городе, едучи по узким людным улочкам, Хакон Бешеный похвалил прочные бревенчатые мостовые и сказал, что эта заслуга епископа Николаса. Таких удобных подъездов к своим палатам не имел больше ни один епископ. Хакон без умолку рассуждал о славном священнослужителе, будто старался убедить и себя, и других, что влиятельный епископ Осло ему друг и союзник.

В ворота епископской усадьбы всадников пропустили тотчас, но епископ Николас принял их далеко не сразу. Когда же, наконец, они предстали перед ним, то встречены были учтиво и дружелюбно.

— С чем пожаловали?

Хакон Бешеный начал издалека, решив сперва сказать епископу что-нибудь приятное.

— Тому есть несколько причин. Во-первых, мы давно мечтаем увидеть знаменитую церковь Святого Хальварда, о которой очень слышаны. Ведь уже сто лет минуло...

— Тогда вам бы следовало приехать сюда пятнадцатого мая, именно в этот день мы славили чудо.

— Оно произошло в здешнем фьорде?

— В Драмменс-фьорде. Святой Хальвард был родом из Лиера.

— Его подвергали преследованиям?

— Не его, а некую благородную даму, и будущий наш святой защитник пришел ей на подмогу своим луком и стрелами. За это ему надели на шею жернов и утопили, но он снова выплыл на поверхность, вместе с жерновом и стрелами. Такое вот случилось чудо.

— Жуткая история.

Епископ Николас приподнял бровь, и Хакон Бешеный быстро добавил:

— И все же отрадная.

Повисло молчание. Наконец Николас Арнарсон заговорил:

— Но вы ведь приехали не только ради этого?

— Нет, мы прибыли из Борга с вестью о скором приезде короля Хакона.

— Когда же он будет здесь?

— Как только уладит свои дела в Борге.

— Мы будем рады видеть его. Надеюсь, меня предупредят о точном времени, чтобы мы встретили его с надлежащим почетом.

Больше ничего сказано не было. Епископ велел своим людям приготовить покои для гостей и удалился. Хакон Бешеный, пока был в Осло, уже почти не видел славного епископа.

Довольно скоро у него сложилось впечатление, что доверие Николаса Арнарсона так просто не завоеешь. Вдовствующая королева тоже встретила его учтиво, но и в ее отношении к нему чувствовалось приветливое безразличие, в котором он поневоле угадывал известную недоверчивость.

Шведская королевна Кристин дочь Николаса красотой не вышла: маленькая, толстая, бледная, — и держалась тихо, как мышка. По деликатности люди звали ее скромницей, да ей и было отчего скромничать. Однако ж в глазах Кристин читалось уступчивое покорство. Она готова была смиренно принять в мужья кого угодно, лишь бы сей брачный союз послужил интересам королевского дома и народа Шведской Державы. Дед Кристин по матери был королем, а это обязывает.

— Роскошная женщина, — восхищенно сказал Хакон Бешеный королеве Маргрет, издали разглядывая ее племянницу. Кристин, круглая, как шар, сидела за ткацким станком, щурясь от света жировой лампы.

— Когда приедет король Хакон? — коротко осведомилась королева.

— У короля очень много дел в Борге.

С епископом Николасом королеве Маргрет говорить было, в сущности, не о чем, и спартанский ужин, каким ее угощали, тоже пришелся ей не по вкусу, поскольку же епископ вечерами рано отходил ко сну, она велела подать себе другой ужин, приготовленный собственным ее поваром. Сейчас, отщипывая жирные кусочки мяса и пальцами запихивая их в рот, Маргрет пристально наблюдала за льстиво улыбающимся Хакон Бешеным, словно пыталась уразуметь, куда он

клонит. Наконец она вытерла губы. Любопытно, как он воспримет то, что она скажет.

— Говорят, король взял себе наложницу. Не вздумай мне врать, Хакон Бешеный. Отвечай честно, правду ли рассказывает мой посланец или он так плохо слушал, что надобно отрезать ему уши.

Хакон Бешеный возликовал. В свое время он с легкостью выяснил, кого вдовствующая королева отрядила в Борг соглядатаем, и, не входя в особый расход, отправил этого человека назад с «желанным» известием. Однако сейчас он прикинулся, будто изумлен и обескуражен осведомленностью королевы.

— Король молод, пользуется временем. В точности как отец.

— Значит, это правда. В точности как отец.

— Ты, королева, знаешь своего пасынка лучше, чем я.

— В нашем роду не заведено знать друг друга. Король Сверрир говаривал, что люди вроде нас чувствуют себя тем уверенней, чем они дальше друг от друга. С ярлами из рода Хладиров обстоит иначе?

— Мы добрые и искренние друзья, и в Бьёргвине, и в Нидаросе.

— Друзья? Пожалуй. Только вот искренние ли? Время от времени мы встречаемся, учтиво беседуем, но расходимся, держась начеку, словно корабли в ночи. Что, собственно, ты обо мне знаешь, Хакон Бешеный?

— Что я знаю?

— Да, что ты знаешь помимо того, что я травница, присланная шведским королем в дар Сверриру после победы при Фимрейте? Или лучше сказать — колдунья? «Избави нас от таких даров», — твердили небось в Нидаросе, однако ж следили, чтоб по случаю именин и дней рождения к нам в Бьёргвин посылали другие подарки. Ну, Хакон Бешеный, искренний мой друг, когда у меня день рождения?

— В январе? Нет... в мае?

— Ошибся, оба раза, да, в общем, все равно. Я ведь тоже никогда и не вспоминала про твой день рождения. Кстати, когда он у тебя? Нет, не говори. Я попробую угадать. Мне думается, ты родился... в ноябре.

Хакон Бешеный искренне изумился.

— Правильно.

— А точнее, во второй половине ноября!

Откуда она знает? Насмехается над ним, что ли? Минуту-другую вдовствующая королева не сводила с ярла своего странно неподвижного взгляда.

— Ты — Скорпион, Хакон Бешеный. И жаждешь власти, так говорят магические книги. С человеком вроде тебя враждовать не стоит. Я хочу, чтобы ты был на моей стороне, и оттого буду тебе льстить, говорить приятные слова — может, искренние, а может, и нет. Мне кажется, тебя интересует моя племянница, верно?

— Да, интересуется.

Вдовствующая королева отхлебнула вина из кубка и сказала с каменным лицом:

— У тебя хороший вкус, Хакон Бешеный.

А в Борге король Хакон с Ингой жили в своем собственном, счастливом мире. Резкий восточный ветер приносил в дом речную морось, и постель становилась сырой и холодной, но они внимания на это не обращали.

Однажды пришли несколько человек и просили разрешения поговорить с Дагфинном Бондом. Был это некий Ингьяльд Бардарсон, отец девицы Боргхильд, и с ним двое свидетелей. Ингьяльд рассчитывал представить свое дело на тинге минувшей весной, но Гломма, как на грех, устроила в округе наводнение, у всех было по горло работы, и необходимой четверти местных бондов на тинге не набралось. Стало быть, придется ждать до осеннего тинга. Но раз уж король сейчас здесь, так, может, он рассудит?

Дагфинн заметил, что беспокоить короля судебным разбирательством прежде осеннего тинга можно, только если дело впрямь необычайно важное.

Чернобородый малорослый Ингьяльд отличался горячим нравом и большой напористостью. Дело касалось юноши по имени Свейнунг Торарсон, который писал висы его дочери Боргхильд. Имели место и тайные поцелуи — эти вот люди тому свидетели. Ингьяльд, понятно, наведася на хутор к Свейнунгову отцу и изложил свою жалобу. Однако старик Тор совершенно рассвирепел, выставил его за порог да еще и выбранил вдогонку на весь двор, так что отступить больше некуда.

Дагфинн Бонд осторожно обронил, не стоит ли обратиться с этим в церковный суд, но Ингьяльд решительно заявил, что не желает связываться со священниками. Сперва он хотел третейского суда, и оказалось это ох как непросто. Каждая из сторон выставила по шесть добропорядочных мужей — вот эти-то двенадцать человек и должны были вершить суд. Но когда все сказали свое слово, выяснилось, что ровно шестеро считают Свейнунга виновным и требуют наказания, а другие шестеро опять-таки полагают, что прекраснотрудая Боргхильд извела не более того, чем могла ожидать обладательница этакой груди, и что Свейнунг совершенно не виноват. С подобным разладом Ингьяльд примириться не мог и теперь желал настоящего суда.

Господин Дагфинн любопытствовал, целовал ли Свейнунг девушку против ее воли. Ингьяльд сказал, что не знает, он, мол, у дочери не спрашивал и спрашивать не намерен. Впрочем, он сам убежден, что против воли, а в этом случае закон вполне однозначен. Свейнунга должно изгнать за пределы страны. А ежели он бы еще и обрюхатил Боргхильд, его бы вдобавок объявили вне закона. Ингьяльд так и сыпал словами, по пальцам перечисляя пункты закона. Там все ясно и насчет девичества, и насчет мерзавцев вроде Свейнунга. Никто не смеет прикоснуться к женщине прежде, чем ее родня все взвесит и как следует посоветуется насчет брачного союза.

— А что, — невольно спросил господин Дагфинн, — Боргхильд и вправду потеряла девственность?

— В одиночку мне этого не установить, Боргхильд-то брыкаться начнет.

Дагфинн с трудом сохранял серьезность.

— Коли будет новый суд, — сказал он, — тебе вновь придется выставить шестерых свободных людей, готовых присягнуть, что ты говоришь чистую правду, и хотя бы один из тех шестерых, которых выставит Свейнунг, тоже должен быть готов под присягой подтвердить твою правоту — тогда у тебя будет на тинге большинство. А меньшинство должно в таком случае согласиться уплатить пеню серебром, коль скоро решение им не по нраву. Ну а если все это окажется невозможно, ты примешь на осеннем тинге Божий суд?

— Божий суд? Это еще что такое?

— Божий суд? Это еще что такое?

— Тинг или иной какой судья могут приговорить, что в доказательство твоих обвинений ты должен нести раскаленное железо либо погрузить руки в кипяток. Не будет тебе от этого ущерба — выиграешь дело.

Негодующий отец побледнел. Ба, дело-то может принять оборот, на который он никак не рассчитывал. Ингьяльд хорошо знал закон, но даже не предполагал, что тинг способен этак ловко оградить себя от соседских склок и вздорных выходок. Дагфинн Бонд благодушно протянул ему спасительную соломинку.

— Может быть, молодые люди хотят пожениться?

Ингьяльд все еще упорствовал. Пожениться? Чтобы он да стал собственником старику Торю? Никогда в жизни! Последний раз, как разговаривал с Тором, Ингьяльд аккуратно предложил решить дело свадьбой и сказал, что даст за Боргхильд целых две марки*. Так этот сквалыга Тор фыркнул и объявил, это-де нищенская подачка, хотя всем известно, что нищенской подачкой называют полторы марки. Многие, кто это слышал, и смеялись, и досадовали.

Дагфинн Бонд подвел итог:

— Как я разумею, Ингьяльд, мысль о свадьбе все ж таки тебе не чужда, и четыре марки приданого для человека вроде тебя — сумма вполне достойная?

— Этот брак распадется, и она, опозоренная, пешком вернется к нам. Поди сыщи ей тогда жениха! И кто о ней позаботится? Родичи, больше никто!

— Но если ты дашь за нею четыре марки, старик Тор по закону обязан дать ей столько же. И коли ей суждено воротиться обратно, она принесет с собой восемь марок. Или же столько, сколько положено, когда брак кончается крахом.

Ингьяльд воспрянул.

— Большая часть и впрямь останется в целости и сохранности. Жена бонда самостоятельно может истратить не больше эйрира**. Насчет всего прочего решают родичи и муж. А Боргхильд быстренько надоест, что она распоряжаться не вправе. Тут все мигом и кон-

* Марка — 216 г серебра, а также денежная единица в тогдашней Норвегии.

** Эйрир — 1/8 марки.

— Да, восемь.

Ингьяльд почесал в затылке.

— Не обязательно ведь, что брак расстроится этак скоро. Она может уйти, только если Свейнунг прилюдно ее поколотит, возьмет наложницу из той же усадьбы, откуда взял ее, или скоропостижно умрет.

— По твоим словам, Свейнунг ведет себя до крайности опрометчиво, так что все может быть.

— Я обдумаю то, что ты сказал, господин, про четыре и про восемь марок. Но если мне все ж таки потребуется королевский суд, я вернусь.

— Думаю, на королевский суд рассчитывать не стоит. А коли вынесешь свое дело на осенний тинг, помни: бонды скучают. Им охота развлечься, увидеть что-нибудь этакое, необычное, и они с радостью посмотрят, как ты будешь окунать руки в кипяток.

Ингьяльд и двое его свидетелей с поклоном оставили развеселившегося Дагфинна Бонда. Король Хакон почти все это время сидел на галерее и слышал бóльшую часть разговора. Улыбаясь, он попросил Дагфинна Бонда разыскать Петера Стёйпера и привести к нему: надо кое-что обсудить.

Когда Дагфинн Бонд и Петер Стёйпер вошли в комнату, король Хакон с Ингой ожидали их, сидя в креслах. Обоим предложили сесть напротив, а дружинникам велено было выйти вон и затворить за собою дверь. Король по-прежнему улыбался.

— Добрый совет ты дал в запутанном деле, Дагфинн Бонд. Напомнил, как ревностно мы охраняем законом наших женщин и как легко человеку изменяет здравый смысл. Мы сурово караем хищение даже столь малой ценности, как двадцать четвертая доля марки: привязываем краденое к спине вора, отводим его к береговому утесу и там казним. Целых три марки должен платить тот, кто украдкой срывает поцелуй. Поцелуй может означать все что угодно, и неосторожного мужчину легко объявить вне закона. Вот как важно для нас оградить девичество и обеспечить род залогом подлинного отцовства и правомерного наследования. Когда речь идет о женщинах, можно потребовать справедливости и от короля.

Дагфинн Бонд и Петер Стёйпер догадывались, куда клонит король, однако ж на Ингу не смотрели. А король продолжал:

— Хочу тебе сказать, Петер Стёйпер, что не знаю в моей державе более честных и добропорядочных людей, чем ты, Дагфинн Бонд да твой двоюродный брат Инги Бардарсон из Нидароса. Вот почему сейчас, в присутствии Инги, я открою вам один секрет, которым вы поделитесь с другими, если со мною вдруг что-то случится. В особенности это должен узнать Инги Бардарсон. У нас с Ингой, возможно, будет ребенок. Я говорю «возможно», так как мы пока не вполне уверены, но, если и правда родится ребенок, вы свидетели, что я признаю свое отцовство и горжусь этим. Говорю я все это затем, чтобы Инга ни в чем не сомневалась и спокойно, счастливо и столь же гордо, как я, исполнила свою важную миссию — выносила первенца короля Хакона. Больше мне добавить нечего, разве только что вы должны поклясться хранить полное молчание об этой радостной новости. В первую очередь Хакон Бешеный ни под каким видом не должен ничего знать.

Они дали клятву молчания. Был сентябрь 1203 года. Жизнь в Борге шла своим чередом. Лишь в середине октября король Хакон стал подумывать об отъезде в Осло.



ОТРАВА

Как только у острова Несё завиднелись верхушки мачт Хаконова флота, королева Маргрет выехала из епископских палат. Вместе с девицей Кристин и всеми своими приближенными она отправилась в окрестности города навестить родичей. Пусть пасынок в свой черед дожидается. Хакон Бешеный, который приехал сюда с поручением развлекать дам, охотно взялся их сопровождать. В последнее время они стали большими друзьями.

Зато епископ Николас Арнарсон устроил королю грандиозную встречу — с процессиями, хоругвями и воскурением благовоний. А потом, когда все чин чином устроились, епископ и король сошлись для беседы с глазу на глаз. Начал разговор епископ Николас:

— Мы слышали о тебе много хорошего, Хакон сын Сверрира. В особенности меня радует, что ты решил покончить с раздорами и призвал домой клириков.

— И я слышал о тебе хорошее, Николас Арнарсон, — сказал Хакон, — даже от отца, хоть ты и участвовал в его коронации двенадцать лет назад.

— Знаю, он говорил, что язык у меня проворный да ловкий, а верность — лисья. Наверно, язык у меня и впрямь проворный да ловкий, так ведь и выручал он меня за эти годы не раз. А ежели лисья верность во благо стране — что ж, тогда я лис.

— И во благо церкви.

— Этим я тоже горжусь. Ты знаешь, государь, мы живем в стране, которую очень трудно повернуть к миру. Оба мы родились в краях, где борьба за власть разгоралась чаще всего, — в Западной Норвегии и в Трандхейме. Именно тамошняя родовая знать предъ-

являла претензии на наследование королевской власти*, а когда власть увязана с таким спорным вопросом, как наследование, не приходится удивляться, что в наших краях без конца вспыхивали распри. Здесь, на Востоке страны, смотришь на эти раздоры как бы вчуже, и здесь я взял на себя задачу примирить враждующие партии, чтобы народ был един и избавлен от бесполезных страданий. Мир и стабильность — вот что для нас здесь важнее всего. — Николас Арнарсон задумался, потом добавил: — Однако, чтобы наши начинания окрепли и упрочились, нужно время. Тут как с деревом, из которого строят длинные лодки и церкви. Сперва требуется время, чтобы дерево выросло сильным и крепким. Затем бонды обрубают у сосны верхушку — это больно, но мало-помалу живица возобновляет свой ток по стволу и дает древесине такую силу, что ни крысы, ни грибок ее не берут. Коли сосну на год-другой оставить в покое, древесина приобретает необычайную прочность и стоит не одну сотню лет.

В итоге король и епископ решили сообща добиваться прочного мира, чтобы время взяло свое и залечило раны. Еще не раз они вели между собой откровенные беседы, и ученый епископ оставил у молодого короля большое впечатление. И все же король понимал, что этот почтенный муж всегда будет независим в своих действиях. Сейчас он дал клятву верности потому, что сам считал это правильным, и союзником будет, только пока оба они радеют за общее дело. Епископ всегда предпочитал ни к чему не обязывающие обороты речи.

Но однажды вечером Николас Арнарсон обронил замечание, которое король Хакон воспринял как более личное и доверительное:

— Не знаю, есть ли для этого основания, да только внутренний голос подсказывает мне, что ты должен остерегаться Хакона Бешеного.

— Я это знаю, — ответил король Хакон.

Возвращения вдовствующей королевы ждали долго, но вот наконец она прибыла в город. Король Хакон сделал вид, что отлучка Маргрет была совершенно в порядке вещей, и встретил королеву учтиво и благосклонно. С подчеркнутым радушием он приветство-

* Королей (конунгов) в Норвегии выбирали на тинге, но претендентом мог быть только тот, в чьих жилах текла кровь Харальда Прекрасноволосого.

вал девицу Кристин и свою сводную сестру Сесилию, дочь короля Сверрира и Маргрет.

В Осло они оставались недолго.

Королева Маргрет быстро поняла, что приезжая девица несколько короля не интересуется, и не сдержалась, вспылила при посторонних — отчасти потому, что он заставил так долго себя ждать, а отчасти потому, что он якшался с наложницами и подавал другим дурной пример. Стыд-то какой! И Кристин осрамил, и сводную свою сестру Сесилию! Король Хакон для первого раза обуздал злость и сказал, что наутро все выезжают из Осло, чтобы встретить Рождество в Бьёргвине. Но вдовствующая королева не унималась: всё, хватит, она с Кристин и Сесилией уезжает в Швецию, добропорядочным дамам лучше праздновать Рождество именно там.

Король бросил взгляд на Сесилию и коротко сказал:

— Норвежская королевна, замужняя ли, нет ли, не покинет Державу без нашего позволения. Таков закон. Завтра мы все отправимся в Бьёргвин.

С этими словами он ушел к себе в опочивальню, а тем временем его люди снаряжали корабли к выходу в море.

Флот шел в виду побережья, королева Маргрет и король Хакон плыли на разных кораблях, но по прибытии в Бьёргвин король решил, что никаких раздоров допускать нельзя, и неизменно выказывал королеве большое благорасположение и внимание, позволил ей держать собственный стол и собственную прислугу, однако ничего этим не добился. Маргрет даже не пыталась пойти на мировую. Холодные, официальные улыбки быстро сменялись кислыми, брюзгливыми гримасами. Все было не по ней. Всех она встречала неприязненной насмешкой, и в особенности доставалось тем, кто сопровождал короля в Борге, даже благочестивому Петеру Стёйперу это даром не прошло.

Единственное исключение составлял Хакон Бешеный. Во время плавания он держался в тени, наблюдал, пряча усмешку. Вдовствующая королева принимала его как нельзя более благосклонно и особенно заботилась о том, чтобы у него не скудели возможности поухаживать за девицею Кристин. Вдобавок они втроем вели долгие разговоры с Педером Разгадчиком Снов, королевным советчи-

ком-травознаем. Порою, но уже втайне, Маргрет и Хакон Бешеный встречались с неким загадочным человеком в черном плаще. И был это местер Франц из Любека.

У короля Хакона была собака, которую он очень любил. И вот однажды вечером он нашел ее на лестнице, мертвую. Не иначе как съела что-то неподходящее.

На Рождество, по велению короля Хакона, был назначен большой роскошный пир с множеством гостей — и лендрманов пригласили, и сюзсельманов*, и духовенство, и иных важных персон из ближних и дальних земель. В Святую ночь, когда под звон колоколов все расселись по скамьям, почетное место рядом с королем, предназначенное для королевы Маргрет, пустовало. Поблизости должны были сидеть девица Кристин и королевская дочь Сесилия, но все три дамы пока отсутствовали. Время шло. Гости прекрасно знали, кого ждут. Разговоры в пиршественном зале мало-помалу утихли, и королю все это было не по душе.

Он послал за дамами, приказав напомнить им, что гости собрались и что почетное место ждет королеву.

Посланец воротился красный как рак и тихонько доложил, что королева велела передать, она-де насиделась на почетном месте, пока был жив король Сверрир, а теперь особого почета в этом не усматривает. Король Хакон едва не вспылil, но тут дверь распахнулась, и дамы вошли в зал. Все встали, заиграла музыка, челядинцы один за другим потянулись к столам, обнося приглашенных яствами, медом да вином, — пир начался. Но общего веселья не получилось — каждый разговаривал с ближайшим соседом, и только.

Король Хакон удалился в свои покои одним из первых. Спал он плохо, почти всю ночь, снедаемый беспокойством, расхаживал по комнате. Сел, начал было письмо Инге, но никак не мог собраться с мыслями и в конце концов отложил перо. Чуть свет он разбудил Дагфинна Бонда, хотя особой нужды в этом не было. Так, поговорили о том, о сем — что, мол, через три месяца вторая годовщина смерти короля Сверрира и что в этот день все должны помянуть

* Сюзсельман — служилый человек короля, контролировавший местное управление, сбор налогов и военную власть.

покойного медом и хлебом из ржаной муки с древесной корою. Потом Хакон вернулся к себе.

Что-то тут не то. Господин Дагфинн оделся и пошел к королю. Хакон сидел на кровати, кутаясь в меховые одеяла. Он был бледен и дрожал от озноба. Дагфинн молча постоял рядом, затем спросил:

— Может, послать за лекарем-травознаем?

— Не надо, само пройдет. Надо только как следует согреться.

— Тогда я пошлю за горячим питьем, ладно?

Хакон не желал никакой суеты и шума. Он просто немного отдохнет. Дагфинн удалился.

Днем королю захотелось покататься верхом. Ему гораздо лучше, сказал он, а на свежем воздухе вообще все как рукой снимет. Он вскочил в седло, но прогулка вышла короткая. Через несколько минут он воротился, и слезть с коня стоило ему больших усилий. Дагфинн опять спросил, не послать ли за кем, и опять король отказался. Его лихорадило, но ведь в рождественские праздники такое не редкость, с каждым может приключиться. Самое милое дело — лечь в постель и хорошенько пропотеть, чтобы выгнать хворобу. Он ушел к себе и закрылся в комнате, словно подчеркивая, что желает побыть один.

Минуло несколько часов. Господин Дагфинн не тревожил короля — пусть поспит; но вот уж и вечер настал, а Хакон все не выходил, и Дагфинн Бонд отправился к больному. Король лежал, не зажигая огня: дескать, так легче вздремнуть. Накануне-то он почитай что глаз не сомкнул. Нет, есть ему неохота, только спать. А уж наутро наверняка полегчает.

В эту ночь уже Дагфинн Бонд глаз не сомкнул, и в скором времени его опасения подтвердились. Утром всем стало ясно, что молодой король Хакон захворал не на шутку. Спешно призывали лекарей. Те назначили кровопускание, но король решил с этим подождать. «Незачем устраивать переполох, все обойдется», — сказал он. Пришел епископ со священниками, попросил разрешения отслужить молебны во здравие короля; Хакон возражать не стал, лишь бы его оставили наедине с Дагфинном Бондом и немногими приближенными. Без королевы Маргрет и Хакона Бешеного. Ни есть, ни пить он не желал.

Ближние люди сидели в соседней комнате, а господин Дагфинн — у короля. Говорили мало. Из Церкви Христа доносился колокольный звон, зовущий на рождественскую мессу второго дня; отслужили и

молебен во здравие недужного. Когда колокола возвестили окончание литургии, Дагфинн Бонд решительно произнес:

— Государь, тебе надобно подкрепиться, заставь ты себя хоть немного поесть-попить, а потом дай лекарям отворить тебе кровь. Не отказывайся.

Хакон упираться не стал. Он немного поел, выпил горячих травяных настоев, но тотчас почти все и вытошнил. Явились лекари со своими ножами и плошками, сделали кровопускание. Король очень ослабел, но твердил, что теперь ему много лучше и он желает встать. Слуги помогли Хакону одеться и проводили в большой зал — он изъявил желание сесть за стол и отобедать. Однако ж сидел он там недолго. Аппетита не было, хотелось лечь. Свет раздражал глаза, и он почти не говорил.

Ночью большинство обитателей королевских палат не спали — молились за короля.

На третий день Рождества священники и монахи спозаранку принялись служить молебны во здравие короля, а король меж тем лежал в своей опочивальне. Он хотел было встать, но эта попытка закончилась неудачей — ноги дрожали. И поесть тоже не сумел. Состояние короля Хакона все ухудшалось.

Следующую ночь Дагфинн Бонд неотлучно просидел подле короля. Хакона бил озноб, он бредил.

— Какой яркий свет. Глаза режет.

— Занавесь задернута, государь, но я могу погасить еще две-три свечи.

— Пошли за Ингой. Она тебе поможет. Отчего Инги здесь нет? Пусть придет.

Господин Дагфинн намочил полотенце и отер потный лоб короля.

— Инга в Борге, государь. А мы в Бьёргвине.

— Где король Сверрир? Я должен поговорить с отцом, это очень важно. Надобно сказать ему про Ингу.

Дагфинн попытался успокоить его:

— Как только тебе, государь, полегчает, мы отрядим за Ингой корабль.

Королю Хакону не полегчало. На пятый день Рождества он весь опух. Почти не говорил и мало что воспринимал. Так продолжалось

до первого дня нового 1204 года. Тело Хакона посинело и распухло, черты утратили все человеческое. Окружающие давно поняли, что произошло. Непростая это была болезнь, ведь король был молод, в расцвете сил. Поначалу люди перешептывались, но теперь заговорили во весь голос. Короля отравили. Без малого два года назад его отец с улыбкой отошел в мир иной, на этом самом месте. Король Хакон не улыбался, когда пробил его час.

И никто другой не улыбался. Люди были охвачены возмущением и яростью, толпы народа заполнили королевскую усадьбу, теснились на мостах, и на языке у всех было одно: вина лежит на королеве Маргрет и шайке лживых мошенников, с которыми она вечно якшалась. Вдовствующая королева появилась на стене Хольма, ломая руки и выкрикивая, что ни в чем не виновата. Хакон Бешеный — по праву рождения, хотя и против воли большинства, он немедля, впредь до выборов нового короля, принял власть в стране — пытался унять страсти, выгораживая королеву. Но тщетно. Его освистали и напрямик потребовали подвергнуть вдовствующую королеву испытанию железом — пусть докажет свою невиновность. Хакон Бешеный кричал, что королеве неможется, что здоровье ее пошатнулось, и кое-как сумел настоять, чтобы вместо Маргрет испытание раскаленным железом прошел один из ее приближенных.

Не жалея хмельного меда, и денег, и тайных заверений, что железо будет негорячее, Хакон Бешеный уговорил Педера Разгадчика Снов подвергнуться испытанию. Всего-то минута-другая — и дело с концом, а там и денежки явятся. Много денежек, он столько никогда не имел. Совершенно пьяный Педер был в прекрасном расположении духа, заговорщицки подмигивал, смеялся и знай повторял, что все будет в лучшем виде. Но схватившись за раскаленный железный прут, он уже не смеялся, а истошно вопил. Ожог был страшный — запахло паленым мясом, руки почернели и обуглились.

Иных доказательств народу не требовалось. Педер кричал и выл, когда его на лодке вывезли в Бухту и, привязав ему на шею камень, бросили в воду. Течение медленно потащило его в глубину, а на берегу рассуждали, долго ли из-под воды будут слышны вопли да бульканье.

Когда лодка воротилась и толпа собралась идти за королевой Маргрет, уготовив ей ту же участь, ее давно и след простыл — сбежа-

ла, с девицей Кристин и небольшой свитой. Прошел шепоток, будто посодействовал им Хакон Бешеный, но его кольцом обступили дружинники, и народ утих. Позднее стало известно, что Маргрет и Кристин сначала отправились в Согн, потом в Валдрес к лендрману Эрлингу Квиденскому, а оттуда в Вермаланд и в имение вдовствующей королевы, в Вестеръётланд.

После похорон Хакон Бешеный спешно выехал в Нидарос, откуда вел переписку с вестеръётландскими дамами, убеждая их вернуться в Норвегию, в Нидарос. Особенно он уговаривал девицу Кристин. И уговорил-таки. Некоторое время спустя Кристин приехала. Многие были ошеломлены, когда эти двое неожиданно обручились.

Биркебейнеры в Нидаросе и в Бьёргвине прикидывали, кому быть новым королем. Некоторое время подумывали о Хаконе Бешеном, правда очень недолго. Ведь случившееся породило слишком много вопросов, оставшихся без ответа. Вдобавок лучше бы все-таки продолжить линию Сверрира. Поэтому выбор пал на четырехлетнего Гутторма Сигурдарсона, сына Сигурда Лаварда, тоже покойного сводного брата короля Хакона. В утешение Хакона Бешеного назначили опекуном малыша, и на десятый день Рождества 1204 года мальчик произвел его в ярлы.

А затем опять случилась беда. На этот раз в Нидаросе. Станным образом маленький король тоже не на шутку захворал. В народе говорили, что перед болезнью он сидел на коленях у девицы Кристин, которая долго его тетешкала. Малыш Гутторм дрожал от озноба, жаловался, что его будто иголками колют по всему телу, и в скором времени умер.

Доказать вновь ничего не удалось, но теперь уже никто не заикался о Хаконе Бешеном как о претенденте на престол. Опять долго судили-рядили, изучали происхождение и родственные связи, а в итоге сошлись на том, что лучшего престолонаследника, чем его сводный брат, восемнадцатилетний Инги Бардарсон, не сыскать.



РОЖДЕНИЕ

Аудуну из Борга король Хакон приказал всячески помогать Инге из Вартейга, пока он за нею не придет. Аудун полагал, что король скоро забудет Ингу, однако же и в ноябре, и в декабре к ней приезжали нарочные с письмами, которых ему читать не давали, и с подарками, которых ему не показывали.

Пришел новый год, а с ним — страшная весть о кончине короля.

Инга, которая целых три с половиной месяца успешно скрывала, что беременна, сперва услышала ее от проезжих путников. В слезах она бросилась к Аудуну, босиком по снегу, отчаянно надеясь, что он развеет нелепые слухи. Но увы, Аудун их подтвердил да еще добавил столь жуткие подробности, что Инга заподозрила его в злорадстве. Будто смерть короля — его победа.

Два дня и две ночи Инга плакала и рыдала, однако в конце концов все же заставила себя поесть — ради ребенка. И тут к ней явился Аудун. Не спеша слез с коня, поздоровался. Держался он с нарочитым дружелюбием, улыбался и посмеивался собственным шуткам. Инга пригласила его в дом, подала меду. Они сели, и Аудун перешел к делу.

— Видишь ли, Инга, обстоятельства ныне переменились. Что проку оплакивать случившееся — жизнь идет дальше. Надобно смотреть вперед. Вот я и хочу потолковать с тобой насчет жениха.

Инга так и ахнула.

— Что ты! Не время сейчас говорить о свадьбе!

Аудун поерзал на лавке.

— Время как время, не хуже любого другого. Мы же знаем, как давно он мечтает жениться на тебе. Я обещал твоему отцу позаботиться о тебе и нашел для тебя хорошего мужа. Ничего не скажешь,

парень хоть куда. О приданом мы, стало быть, уговорились, богатое приданое будет, и поверь, все сложится как нельзя лучше.

Инга покачала головой.

— Я твоего друга-приятеля не знаю, мне надобно подумать.

— Не тяни. Обмозгуй предложение, но с ответом очень-то не тяни. Видишь ли, Инга, вы, женщины, думаете больше сердцем, а не умом, и ничего удивительного тут нет, так уж вы созданы. Оттого мужчины и поставлены заботиться о вас.

— Давай поговорим о другом.

— Давай.

Оба замолчали. Потом Аудун отхлебнул меду и сказал:

— Сколько же вокруг горестей да невзгод. То и дело слышишь о девицах, попавших в щекотливое положение и не ведающих собственного блага. Им бы в лесу бросить этих младенцев, у которых нет права на жизнь. Детей без отцов нельзя считать полноценными людьми, и этак вот пособить, чтобы они не вырастали, — самый что ни на есть христианский поступок. Чистейшее милосердие.

Инга похолодела, Аудун же продолжил:

— Но вообще-то доводить до этого не стоит. Я имею в виду, коли этакая девица пришла бы ко мне за советом, я бы ей сказал: найди повитуху, чтоб до родин вовсе не дошло. Мне известны кой-какие, что в случае чего помогут.

Аудун с невинным видом встал, попрощался, дескать, надо за-светло добратся домой. Сел на коня, сказал, что пришлет весточку, и уехал. Инга была в ужасе. Что именно знает Аудун? Но потом ее охватила злость.

Она знала, что ей надо делать и как вынудить алчного Аудуна оставить ее в покое, хотя бы на время. Собрав вещи, она послала сказать Аудуну, что уезжает из Вартейга в Эйдсберг, к священнику Транду, и что услышит он о ней нескоро. Так, может быть, присмотрит пока за ее усадьбой, а доход за это время оставит себе? Инга знала, он своей выгоды не упустит и теперь уже не станет спешить с передачей усадьбы жениху, сколько бы ни сулила ему такая сделка. Чем дольше Аудун не увидит ее, тем больше доходов от хозяйства приберет к рукам. А жених никуда не денется, подождет.

Священник Транд жил на хуторе неподалеку от Фалкинборга. У него исповедовалась почти вся округа, и, конечно же, он знал о не-

уместных сватовских стараниях Аудуна, а поскольку состоял с Ингой в родстве и любил ее, то не задумываясь распахнул перед нею двери своего дома, чтобы она мало-мальски обрела душевный покой. Транд понимал, что смерть короля Хакона явилась для Инги страшным ударом. Так прошло несколько месяцев.

Все это время Инга была задумчива, молчалива, людей сторонилась. Она знала, что иные новорожденные быстро умирают. И каждый вечер молилась об одном: чтобы их дитя — ее и Хакона — подрастало во здравии и чтобы она сама была жива, покуда ребенок в ней нуждается. Увидеть, как он повзрослеет, а там и умереть не жаль. Из досужей болтовни прислуги она узнала, что будущая мать может получить церковное отпущение грехов на случай морской бури, пребывания в зачумленном городе и разрешения от бремени, если за двенадцать дней до родов пойдет к исповеди и примирится с Господом, предавшись милости Божией и испросив у Девы Марии помощи и спасения от душевных мук и опасностей. Но как узнать срок разрешения от бремени, чтобы точно установить этот двенадцатый день? Инга считала так и этак, но уверенности не было. Обратиться к повитухам она не решалась, хотя им ведомы средства и способы определить сроки и пол ребенка — золотые кольца на шнурках, заклинания, кости, раскинутые на земле. Но ведь могут пойти сплетни, а слишком уж многие способны догадаться, кто этому ребенку отец. Правда, она заучила фразу, которую говорит священник, и повторяла ее про себя, чтобы не забыть в случае надобности: «Мария родила Христа, Елисавета родила Иоанна Крестителя, роди же и ты им во славу, прииди, дитя, Господь призывает тебя к свету!»

Инга совсем отчаялась. В народе говорили, что, пока мать ждет ребенка, и она, и младенец беззащитны перед силами зла. Она нечиста и потому опасна для своих близких. Коли она умрет прежде, чем народится дитя, ему тоже должно умереть, чтоб оба они не являлись живым и не терзали их. Вот почему в могилу матери и младенца вбивали кол. Просыпаясь среди ночи, Инга лежала без сна и все думала про этот кол, вбитый в младенца. А еще думала о том, что некрещеный младенец — язычник и похоронят его в неосвященной земле, да и мать тоже нередко лишают христианского погребения. Только бы благополучно разрешиться от бремени, тогда она сразу же, не откладывая, пойдет в церковь, с зажженной свечою в руке,

чтобы священник прочитал над нею благословение. Это будет самое счастливое в ее жизни паломничество, коли Господь ради ребенка приведет дожить до этого.

О том, что Инга в тягости, первой догадалась жена священника Транда.

Инга была к этому готова. Достоинно и сдержанно она раскрыла перед родичами все свои карты. Священник Транд попросил ее поклясться на Священном писании, что она говорит чистую правду. Он не то чтобы сомневался в Ингиных словах, просто хотел выиграть время и собраться с мыслями. Ему было совершенно ясно: огласка здесь крайне опасна, и не только для ребенка.

Священник и его жена обошлись с Ингой чутко и ласково, как с родной дочерью. Отныне оба они редко впускали в дом пришельцев и с чужаками беседовали лишь по необходимости. Двое их сыновей были посвящены в тайну и тоже соблюдали осторожность.

Однажды летним вечером 1204 года Инга и Транд решили, что до родов осталось аккурат двенадцать дней. В деревянной хеггенской церквушке Инга исповедалась Транду и вознесла молитву Деве Марии о помощи и поддержке. Священник Транд пал на колени, простер руки к деревянным сводам и произнес:

— Мария родила Христа, Елисавета родила Иоанна Крестителя, прииди же, дитя, Господь призывает тебя к свету!

Затем они тихонько воротились домой, и по дороге Транд бережно поддерживал Ингу. Впервые за долгие месяцы в душе ее воцарился мир и покой.

Удивительно, однако ж на двенадцатую ночь после этого у Инги начались родовые схватки. Добрый знак. Жене священника Транда случалось прежде помогать при родах, да и сама она дважды рожала. Теперь она решительно взялась распоряжаться: парни сновали туда-сюда, то с горячей водой, то с холодной, то с чистым бельем, то еще с чем-то необходимым. Транд менял влажные компрессы у Инги на лбу, держал ее за руку, утешал, ободрял и громко молился о благополучном разрешении:

— Мария родила Христа, Елисавета родила Иоанна Крестителя, роди же и ты им во славу, прииди, дитя, Господь призывает тебя к свету!

Снова и снова повторял он слова молитвы, и сама Инга тоже пыталась твердить их, когда схватки отпускали:

— Прииди, дитя... прииди... Господь призывает тебя...

Инга держалась храбро, иначе ей было никак нельзя. Она терпела боли, тужилась, пыхтела, делала все, что ей велели. Ни разу не пожаловалась, ни разу не захныкала, берегла силы для важного дела. Для самого важного.

Наконец боли до того усилились, что она их уже вроде и не ощущала. Только дышала все учащеннее, ага, воды отходят... или уже отошли? Она так и не поняла, ибо в эту минуту почувствовала, что ребенок вот-вот явится на свет... сейчас... сейчас... Все, кроме женщин, стояли как зачарованные и, открыв рот, глядели на это чудо. Вот показалась головка, темные, слипшиеся колечки волос... вот... вот...

— Ну-ну, умница... потужься-ка еще, — сказала жена священника, — давай, еще немножко... Хорошо... молодец, Инга. Молодец... А теперь возьмусь я.

И жена священника Транда осторожно взялась и потянула, сначала тихонько, потом сильнее, медленно поворачивая, и внезапно мир для Инги словно вспыхнул переливами дивного света, все струилось, парило, все стало легко, и вот... вот... ребенок выскользнул наружу. Встряхнулся и закричал... Удивительно. Чудо. У Инги все мысли были об одном, и она, точно в бреду, бормотала:

— Какой он? Красивый? Скорее дайте мне малыша. Это мальчик или, может, девочка?

— У тебя родился мальчик, Инга. Красивый, складный сынок.

Только теперь из глаз у Инги хлынули слезы, но это были слезы радости. Потом она рассмеялась и так, вперемежку смеясь и плача, поднесла удивительное маленькое существо к своей налитой груди.

В скором времени однажды ночью, когда все спали, немногочисленная процессия отправилась в церковь. Жена Транда и парни поддерживали Ингу, когда она с горящей свечой в руке шла к алтарю. Это был путь облегчения. Священник благословил ее. Затем она воротилась к церковным дверям и снова пошла к алтарю. Теперь это был путь счастья, потому что Инга несла младенца, чтобы его окрестить.

И был он наречен Хакон Хаконарсон*.

* Ребенка, родившегося после смерти отца, называли по отцу, а не по деду.

Немногочисленные обитатели усадьбы Транда поклялись молчать о новорожденном, и целый год все было спокойно, хотя семейство, конечно, по возможности старалось избегать посторонних визитеров. Не всегда это было легко, но кое-как удавалось. Если кто приходил, Инга с младенцем прятались. Священник Транд вел свои дела в Хеггене и наказывал всем искать его там.

И вот пришла весть, что новый король Инги Бардарсон и Хакон Бешеный прибыли в Борг с военным отрядом. Тогда Инга и священник Транд отправились за советом к почтенному высокородному человеку по имени Эрленд. Отправились на лодке вдоль берегов Скаумланда, мимо Осена, до самого Хусабю. Господин Эрленд был рыцарем и род свой вел от деда Сигурда Рта по матери — Гутторма Седой Бороды, а значит, приходился королевскому сыну дальним родичем, по этой причине они и рискнули ему довериться. Поместье Хусабю было большое, и Транд не вполне рассчитывал, что знатный господин Эрленд пожелает принять таких простых, неприметных людей, как они, однако господин Эрленд приятно их удивил: сам тотчас вышел на крыльцо и пригласил их в дом. Усадив гостей у огня, он сказал:

— Как я погляжу, священник Транд, тут с тобою Инга из Вартейга. Помню, помню тебя, красавица, с минувшей весны, когда у нас гостил король Хакон. И отца твоего помню — хороший был человек. — Седовласый господин Эрленд приветливо посмотрел на них. И вдруг спросил: — Как поживает королевский сынок?

Инга и Транд испуганно вздрогнули: впервые эти слова были произнесены вслух. Откуда господину Эрленду известно о рождении ребенка? А он, словно прочитав их мысли, продолжал:

— Земля слухом полнится. Потому-то я был уверен, что рано или поздно вы придете ко мне. Как я понимаю, вы благоразумно старались держать это в секрете — баглеры опять зашевелились. Но раз уж слух добрался до такого медвежьего угла, как Хусабю, скольким же людям ведомо об этом!

Инга подробно рассказала о беседе, которая состоялась у короля Хакона с Петером Стёйпером и Дагфинном Бондом, и о том, что этим двоим велено было передать слова короля Хакона Инги Бардарсону, теперешнему королю. Стало быть, король Инги знает о ребенке. Священник Транд вмешался в разговор, попросив совета у

господина Эрленда. Может, стоит отправиться с ребенком в Борг, к королю Инги и Хакону Бешеному? Старик покачал головой.

— Ни Петера Стёйпера, ни Дагфинна Бонда в Борге нет, а король Инги уже отплыл на север, в Нидарос. Там сейчас один Хакон Бешеный.

— Король Хакон предостерегал нас от Хакона Бешеного. Такому человеку я не могу доверить ребенка. Тем более королевского сына, — сказала Инга.

— Баглеры столь же опасны для этого ребенка, — сказал господин Эрленд. — Хакон Бешеный в скором времени тоже уедет, потому что Вальдамар Победитель* послал баглерам из Дании денежную помощь. Они думают, что после убийства короля Хакона королевская власть опять ослабела, и скоро нанесут удар по всему Викену.

— А ты уверен, что баглеры станут замышлять дурное против младенца? — помедлив спросила Инга. — У них ведь много других дел.

— Его дед, король Сверрир, был заклятым врагом баглеров, а не так давно отец ребенка, король Хакон, разгромил Хельгё и насадил на кол голову баглерского короля. У баглеров теперь новый король, Эрлинг Стейнвегг. Не сомневайся, у него множество поводов замышлять дурное против твоего младенца.

— Самозванец он, а не Эрлинг Стейнвегг, — сказал священник Транд. — Настоящий Эрлинг Стейнвегг был повешен дружинниками короля Сверрира в Ернбераланде**.

— Тем больше оснований для мести. Будь там в ту пору сам король Сверрир, он бы наверняка перевез труп в такое место, где бы каждый мог видеть, что Эрлинг Стейнвегг вправду мертв. Так он поступил, когда были убиты король Магнус и его сын Сигурд. Сверрир неукоснительно следил, чтобы новые мошенники не выдавали себя за старых и не сеяли слухи. Нет, мы должны отправить ребенка в безопасное место.

— Может быть, к епископу Николасу Арнарсону? — спросил Транд.

Господин Эрленд замялся.

* Вальдамар II Победитель (1170 – 1241) — король Дании с 1202 г.

** Ернбераланд — старинное название нынешнего Бергслagens (Швеция).

— О епископе Николасе я и сам думал. Знаю, он был королю Хакону искренним другом. И обещал не вмешиваться в новые раздоры и не поддерживать баглеров, коли они опять взбунтуются. Только вот не знаю, вправе ли он в таком случае принять сына короля Хакона. Николас Арнарсон идет своим путем. И, возможно, считает, что это обещание имело силу лишь при жизни короля Хакона.

Некоторое время все трое молчали, а потом Инга произнесла то, о чем думали все трое:

— Мы должны ехать в Нидарос, к королю Инги Бардарсону.

Господин Эрленд и священник Транд тоже пришли к заключению, что для маленького Хакона это единственное безопасное место. Обсудили сроки отъезда, но в итоге признали, что ради блага ребенка отъезд надобно отодвинуть как можно дальше. Дорога будет дальняя и трудная, пусть мальчик подрастет и окрепнет, тогда он выдержит все эти тяготы.



БЕГСТВО ЧЕРЕЗ ЛИЛЛЕХАММЕР

Время в Хеггене шло своим чередом.

Они думали отправиться в дорогу ранней весной, в марте или в апреле, но еще задолго до Рождества 1205 года стало ясно, что слухи неуклонно ширятся и опасность день ото дня возрастает. Люди слонялись возле усадьбы, шушукались, показывали пальцем, а смекнув, что их заметили, неловко съезжались и норовили поскорей убраться подальше. Тянуть с отъездом было крайне рискованно.

Господин Эрленд — в его-то почтенные лета и при том что былую силу и крепость он уже подрастерял — вознамерился ехать с ними и никаких возражений слушать не желал. Мог бы проводить немного, и все, так нет: решил ехать в Нидарос и даже маршрут детально обдумал. Знал, где меняют лошадей, кого можно попросить о помощи, а кого надобно сторониться пуще огня. Священнику Транду он велел остаться дома. Дескать, тот слишком стар. Но Транд сказал «нет»: он тоже поедет, хотя бы проводит их чуток.

И вот они снарядили повозку и начали свой путь на север. Но уже скоро пришлось заменить повозку санями. Время было зимнее, близилось Рождество. Ингу и малыша тепло укутали и усадили между облаченными в медвежьи шубы господином Эрлендом и священником Трандом; взяли они с собой и нескольких челядинцев господина Эрленда, ведь без возницы и помощников далеко не уедешь. Каждый день путешествия был долог и утомителен, а когда смеркалось, они искали ночлега на постоянных дворах, которые часто попадались у дороги: иные принадлежали королевским поместьям, иные — ближним монастырям. В особенно малолюдных местах монахи строили постоянные дворы непосредственно при монастырях — из сострадания к усталым паломникам, гонцам и странствующим ме-

лочным торговцам и в надежде на пожертвования в благодарность за пищу и кров.

Кого только не встречали наши путники — и нищих набожных пилигримов, и задиристых молодцов, которым только дай повод — мигом затеют свару, а заодно и чужим имуществом поживятся. Правда, это сурово каралось, вот почему, пока вокруг былолюдно, можно было чувствовать себя в безопасности. И дюжих воинов, скорей всего баглеров, на дороге хватало с избытком. Баглеров они особенно боялись.

Осло объехали стороной. Господин Эрленд предпочитал не искушать судьбу.

К северу в долинах тоже начали строить большие постоянные дворы, как на юге. А в глуши лесов и на горных перевалах можно было заночевать в заезжих подворьях, что стояли там — без хозяев, без прислуги, открытые для всех, кто искал приюта в непогоду. Возводились такие подворья непременно на общественной земле и принадлежали всем.

В конце концов они по целым дням не встречали людей, но поскольку именно этой дорогой пользовались многие паломники к нидаросскому колодезю Олава, в местах для ночлега недостатка не было, и они не сомневались, что найдут крышу над головой. Инга быстро поняла, что без помощи господина Эрленда им никогда бы не осилить утомительного путешествия.

И вдруг возникли осложнения.

Они сумели незамеченными пересечь Упплэнд и под Рождество добрались до Хамара, где предполагали заночевать у сюзсельманов Фрирека Слафси и Гьявальда Гаути. Сюзсельманы собрали большие военные отряды, но были встревожены: кругом полным-полно баглеров. Господа Фрирек и Гьявальд приняли гостей радушно и устроили как подобает. Если им и было ведомо, кто этот ребенок, ни тот, ни другой даже виду не подали. Ближе к ночи неожиданно явились посланцы от высокородного епископа Хамарского Ивара. Он, мол, прослышал о приезжих издалека, а поскольку состоит с мальчиком в родстве (и это были чистая правда), просит их нынче пожаловать к нему на Рождество. Они поблагодарили, сказавши, что нынче быть никак не могут, однако с радостью принимают приглашение и навестят его в первые дни после Рождества. И

только задним числом сообразили, что епископ заманил их в ловушку: они не отреклись от родства и тем подтвердили его догадки о происхождении мальчика.

Той ночью Инга изнывала от страха. Снова и снова она молилась, в надежде, что ее услышит и король Хакон. Господин Эрленд сказал, что епископ Ивар держит сторону Эрлинга Стейнвегга и баглеров и положиться на него нельзя. Она просила Деву Марию о заступничестве, но не чувствовала уверенности, что мольбы ее будут услышаны.

На второй день Рождества, ни свет ни заря, когда все еще спали, господин Эрленд велел заложить трое саней, и они украдкой выехали на север, в направлении Лиллехаммера. Сюссельманы Фрирек и Гьявальд очень скоро убедились, что медлить и впрямь было нельзя: едва закончился рождественский мир, люди епископа явились при оружии и начали расспрашивать о гостях. Верные соратники Сверрира сообщили с невинным видом, что-де путешественники неожиданно поспешили обратно на юг, откуда прибыли; мало того, они даже не уплатили сполна, и если люди епископа сумеют их перехватить, пускай непременно пошлют весточку на постоянный двор — ведь надобно возместить убыток.

Допросчики не могли открыто обвинить почтенных сюссельманов во лжи, однако ж когда решили, что никто их не видит, принялись искать в снегу санный след, чтоб проверить, правду ли им сказали. Но пороша уже скрыла все следы, да еще и буран вот-вот поднимется. Несолоно хлебавши воины убрались восвояси и доложили обо всем епископу Ивару.

Маленький кортеж только-только успел добраться до Лиллехаммера, как начался буран. Здесь их тоже встретили надежные друзья. Но продолжить путь удалось не сразу — буран не утихал. День за днем выл ветер, густо валил снег, и ненастью не было видно конца-краю. Впрочем, нет худа без добра: они могли хотя бы некоторое время знать наверняка, что никто их не преследует. Благодаря Ингиным заботам малыш переносил путешествие на удивление легко. Всю дорогу она держала его в тепле и холе, успокаивала и ласкала, кормила, когда он просил поесть. Он почти и не хныкал, всегда весело лепетал и смеялся. Но ребенку нужно было хорошенько отдохнуть, потому что впереди ждал самый трудный участок пути. Они

решились пробыть в Лиллехаммере еще неделю-другую, до конца января. Как раз об эту пору обычно устанавливалась хорошая погода.

Утром в день отъезда на подворье явились два бородатых биркебейнера — Торстейн Скевла и Скервальд Туесок, лучшие лыжники во всей округе. С минуту оба молча, обнажив голову, смотрели на внука короля Сверрира, будто сподобились увидеть чудо. Да, ребенок походил и на Сверрира, и на Хакона. Но черты его казались мягче, нежели у отца и деда.

Наконец они нарушили молчание, велели всем быть наготове, а сами надели лыжи и отправились за крестьянами, которые будут указывать дорогу. Господин Эрленд объяснил Инге, что два этих немолодых человека верой-правдой сражались за короля Сверрира, а умелая помощь им определенно пригодится. Впереди горы, дальше идти надо на лыжах. Господин Эрленд попрощался со своими людьми и отослал их домой, в Хусабю. Тепло и сердечно попрощались они и со священником Трандом, который перед отъездом искренне помолился за мать и дитя. Через некоторое время биркебейнеры привели провожатых — и вот они снова в пути.

Темнело. А продвигались они теперь куда медленнее. Управляться с массивными лыжами на плетеных креплениях — дело сложное, особенно с непривычки. Инга сперва хотела нести ребенка сама, но очень быстро поняла: пусть лучше его будут по очереди нести Торстейн и Скервальд. Она и без того едва поспевала за ними. Господин Эрленд тоже не больно молод, нельзя об этом забывать, а с другой стороны, и непогода могла в любую минуту опять разыгаться не на шутку.

Изредка им навстречу попадались люди, и всякий раз надо было рассказать, что путь их лежит в долину Гудбрандсдалир; но, добравшись до заранее условленного места, они сняли лыжи, вышли на замерзшее озеро и по льду — чтобы не оставить следов — зашагали обратно, а через некоторое время снова надели лыжи и, распрощавшись с проводниками, направились в другую сторону — не в Гудбрандсдалир, а в Эстердалир. Теперь их было всего пятеро: Инга, ребенок, господин Эрленд и двое биркебейнеров.

Небо затянули низкие серые тучи. Тяжелыми влажными хлопьями повалил снег, но очень скоро похолодало и завьюжило — в рез-

ких порывах северного ветра все вокруг обернулось непроглядной снежной стеною. Потом вдруг шквалом налетел вперемешку со снегом ледяной дождь и град. А маленький кортеж неуклонно брел вперед и вперед, поднимаясь в горы. Торстейн и Скервальд то и дело возвращались, чтобы помочь Инге и господину Эрленду. Внимательно приглядывались к их лицам — нет ли обморожений — и на всякий случай дали господину Эрленду пучок сухой шерсти, чтобы растирать щеку. Снегом тереть не надо, от этого только ссадины получают. Инге они еще раз обмотали запястья и щиколотки, а то ведь, не дай Бог, обморозит пальцы и ступни. Глядя на Ингину обувь, Скервальд сказал:

— Когда человек ходит и лежит, он всегда опирается оземь. Вот почему обувь и ложе непременно должны быть первейшего сорта.

А подошедший Торстейн добавил:

— Холод замедляет ток крови. Как придем в дом, где есть огонь и два ушата, сразу в одном согреем воду, а в другой нальем холодной. И ты будешь окунать ноги то в один, то в другой ушат — тогда кровь опять побежит быстрее.

Но дома пока не нашлось, а погода не улучшалась. Скервальд и Торстейн знали один домик на горном пастбище, но до того места было еще далеко. Тогда Инга потребовала, что биркебейнеры не мешкали из-за нее и господина Эрленда и спешили вперед — пусть ребенок поскорее окажется под крышей. Потом кто-нибудь из них вернется за нею и господином Эрлендом. Биркебейнеры медлили: все ж таки буран, мало ли что может случиться — заплутают, замерзнут. Но Инга села прямо в снег и сказала, что с места не двинется, пока они не обещают первым делом найти кров для младенца. И Скервальд с Торстейном тотчас пустились в дорогу, а Инга с господином Эрлендом медленно побрели по следу, который быстро заметало снегом.

Спустя три часа Торстейн и Скервальд вышли к заброшенному домику на высокогорном пастбище в Невердалире и взломали дверь. Потом развели огонь в очаге, растопили снегу и напоили мальчика. Торстейн принялся устраивать ребенку сухую постель, а Скервальд опять стал на лыжи и поспешил назад — искать Ингу и господина Эрленда.

Эти двое меж тем бродили по кругу, без всякой цели. Может, зря? Может, лучше бы стоять на месте? Ведь наверняка же сбились с пути

и, продолжая брести в никуда, окончательно заплутают. Может, зарыться в снег, укрыться снежной шубой и так переждать наихудшее? Но копать нечем — разве только тяжелыми лыжами, а просто сесть в снег и ждать означало до смерти замерзнуть. Надо все время двигаться. Идти, идти. И они решили ходить по кругу.

Как вдруг на снежном гребне поодаль завиднелись человеческие фигуры.

Инга и господин Эрленд мгновенно бросились наземь. И из своего укрытия разглядели сквозь вьюжную крутоверть отряд из тринадцати воинов. Что, если это дружинники Хамарского епископа? Или Эрлинга Стейнвегга? Немного погодя они рискнули подняться на ноги. И тут из лесу выбежал лыжник, промчался было мимо и с ходу затормозил, вздыбив пелену бурана.

Это был Скервальд.

Они сразу сообщили ему об отряде. Скервальд не стал искушать судьбу и повел их в обход, тайными тропами. Уже смеркалось, а они шли вперед и вперед. И вдруг, словно по волшебству, перед ними вырос дом. Сдавленно всхлипнув, Инга сбросила лыжи и вбежала внутрь. Малыш спал. Никогда, никогда больше она по своей воле не разлучится с сыном. Разлука — это чудовищный кошмар. Теперь на нее навалилось изнеможение — ни рукой шевельнуть, ни ногой. Она даже говорить не могла, прямо в одежде прилегла рядом с мальчиком и мгновенно уснула.

Но спала она всего час-другой. Пристанище оказалось не очень прочное. Тепло очага растопило лед под крышей, и вскоре с балок дождем закапала вода. Они разыскали меховые одеяла, а поскольку ветер улегся, и мороз отпустил, Торстейн и Скервальд нарубили лапника и устроили себе на опушке этакие «гнезда», где, по крайней мере, было сухо. Глаза у биркебейнеров слипались, но они караулили по очереди — иначе нельзя, вдруг воины вернутся.

В ближайшие дни погода лучше не стала. Вьюга, правда, временами утихала, но снег валил вовсю. Тем не менее маленький кортеж продолжил путь. И находил теперь для ночлега дома получше, и добрых друзей биркебейнеров они встречали, получая от них кров, и постель, и съестные припасы на дорогу. А дорога эта уводила все дальше и дальше. В глухих местах нередко случалось ночевать в лесу, в охотничьих избушках, порою даже в сугробах. Завидев жи-

лье, они всякий раз сперва должны были убедиться, что там нет врагов. Частенько, чтобы уж наверняка не попасться никому на глаза, выжидали до темноты. Ни Инге, ни господину Эрленду и во сне не снилось, что путешествие будет таким.

В один из дней вдалеке показался тот самый отряд — тринадцать вооруженных воинов шли на лыжах по долине в направлении, противоположном тому, в каком двигались беглецы. Маленький кортеж схоронился в лесу, а Торстейна отрядили на разведки — может, удастся выяснить, кто эти воины. Немного погодя он вернулся: отряд направлялся обратно в Упплэнд и, судя по всему, поиски прекратил, но послал этих людей не Хамарский епископ. Торстейн узнал кой-кого из воинов.

— Так кто же они? — спросил господин Эрленд.

Торстейн посерьезнел.

— Нам сопутствовала удача. Эти воины служат баглерскому королю Эрлингу Стейнвеггу.

Наиболее труднопроходимые и глухие горные районы остались позади, а здешние бонды с радостью им помогали — и съестными припасами, и ночлегом, и лошадьми, и провожатыми. Как выяснилось, Эрлинг Стейнвегг послал за ними в погоню ни много ни мало восемь больших отрядов, и поисков баглеры не прекратили. Искали не только в Упплэнде, но и дальше к северу. Поэтому наши путники похолодели от ужаса, когда однажды утром увидели во дворе множество дружинников.

Господин Эрленд побледнел и закричал:

— Что вам нужно от нас?

Два воина выступили вперед — сюзсельманы Сэминг и Торбранд Черный. Они прибыли из Эстердалира с отрядом из ста сорока биркебейнеров, чтобы охранять королевского сына. Инга вышла на крыльцо. Увидев у нее на руках маленького Хакона, все воины, как по команде, пали на колени.

Путешествие продолжалось, и на сей раз отряд был так велик, что те, кто не знал, в чем дело, думали, не иначе как баглеры идут походом на короля Инги. От встречных путников они доведались, что именно такой слух уже достиг Нидароса. Мол, большая рать идет с гор на короля. Король Инги хоть и не был уверен в правдивости рассказней, однако ж привел свою дружину в боевую готовность и начал скликать ополчение.

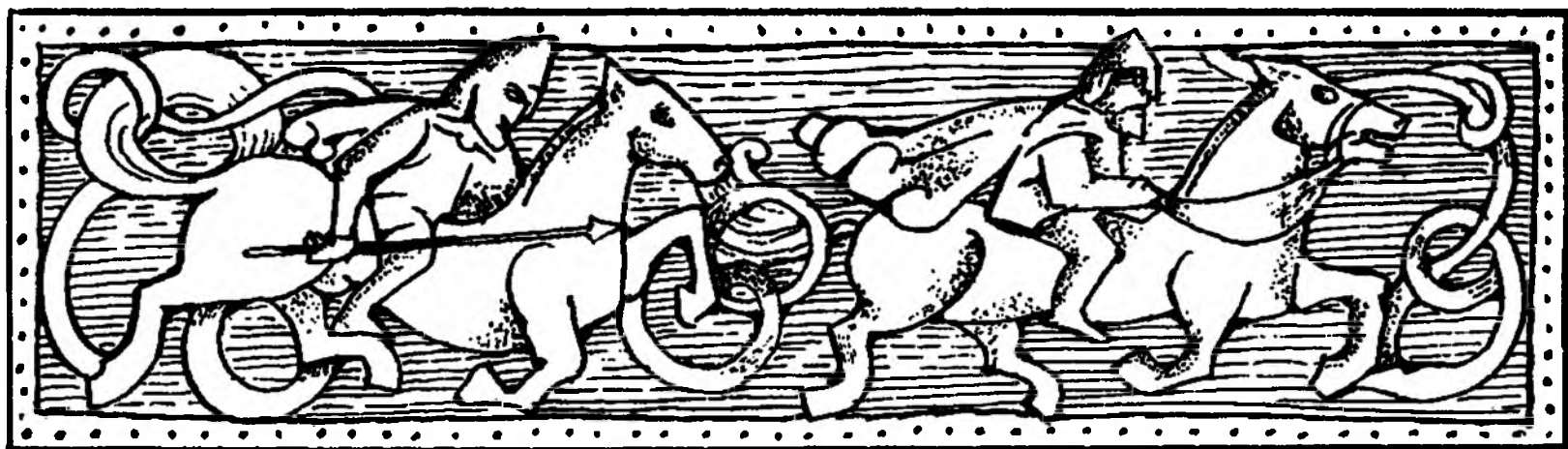
Встретиться с королем рать против рати господин Эрленд желал меньше всего. Поэтому он позвал к себе Сэминга и Торбранда, поблагодарил их и в конце концов убедил вернуться с воинами в Эстердалир. Дальше Инга с мальчиком, господин Эрленд и два лыжника снова отправились одни.

Ранней весной 1206 года они подошли к Нидаросу. Вдали уже виднелись его дома. Малыш Хакон, которому было всего-навсего год девять месяцев, прекрасно выдержал долгую дорогу и благодаря Ингиным заботам хныкал куда меньше, чем бы можно было ожидать. Торстейн и Скервальд намаялись поболее остальных, но виду не показывали, сколько им довелось пережить, а вот Инга и господин Эрленд совершенно выбились из сил. Обувь в крови, стоптана до дыр. Вот наконец и поместье, где жили родичи господина Эрленда. Не заходя в дом, прямо у крыльца Торстейн и Скервалд попрощались. От денег они отказались наотрез, минуту-другую стояли, обнажив голову, перед маленьким Хаконем, затем отвесили поклон и пустились в обратный путь, чтобы засветло сделать большой переход.

— Отчего все эти люди помогали нам? — спросила Инга.

— Во имя короля Сверрира, — ответил господин Эрленд.

Их отвели в баню, и Инга, ребенок и господин Эрленд наконец-то выкупались. Здешние домочадцы после бани ныряли в снег — путники последовали их примеру. Малыш Хакон визжал от восторга. Старая одежда, которую они неделями не снимали, превратилась в лохмотья. Им дали новое платье, хорошенько накормили, а потом уложили спать — на настоящих кроватях.



РАДУШНЫЙ ПРИЕМ

Все в усадьбе еще крепко спали, когда господин Эрленд оделся, велел седлать коня и поскакал в Нидарос, к королю. Как только Инга проснулась, ей передали, что надобно ждать его возвращения.

Медленно тянулись часы. Инга, как могла, собралась сама и снарядила ребенка. Нужно быть наготове — вдруг король Инги пожелает принять их не откладывая, прямо в этот день, которому в таком случае суждено стать для них решающим. Она умыла мальчика, насухо вытерла и переодела. Малыш лежал, удивленно глядя, как мама причесывается и пробует вывести пятно на своей сорочке.

Инга обдумывала, что делать, если ни короля Инги, ни Петера Стёйпера в городе нет. Нельзя же оставаться в Нидаросе — во власти такого человека, как Хакон Бешеный. Кроме тех двоих, можно обратиться только к Дагфинну Бонду, но он в Бьёртвине. Ехать с ребенком дальше вдоль побережья? Внезапно ее молнией пронзила мысль, что их ждет, коль скоро никто не поверит, что ребенок — сын короля, и их обвинят во лжи. А такая ложь карается смертью. Инга похолодела. У нее не было сил ни размышлять, ни есть, ни вести разговоры, она бродила как неприкаянная и все смотрела на дорогу — не едет ли господин Эрленд.

Наконец вдали появились какие-то всадники.

Конный отряд приближался, земля дрожала от грома копыт; это были воины, все, как один, в броне. Возглавлял кавалькаду всадник в блестящем черном панцире, с красным плюмажем на шлеме. Нет, это не конюший, не Дагфинн Бонд, король Хакон, помнится, говорил, что у него другие цвета. И не король Инги, потому что королевского штандарта со львом тоже не видать. Может, господин Эрленд привел с собою Петера Стёйпера или еще кого-то из военачальни-

ков? Инга бросилась в дом и снова вышла на крыльцо с ребенком на руках. Предводитель взмахнул рукой, и всадники стали полукругом позади него. В следующий миг он снял шлем. Это был Хакон Бешеный.

Невольно Инга крепче прижала к себе ребенка, словно желая защитить его. Ярл усмехнулся недоброй усмешкой.

— Здравствуй, Инга из Вартейга. Я гляжу, с тобой тут молодой человек, который, как говорят, проделал долгий путь. Каким именем ты нарекла сына?

— Хакон Хаконарсон.

— Хакон Хаконарсон. Сколько же годков твоему ребенку?

— Через три месяца сравняется два.

Хакон Бешеный выдержал паузу, пересчитал пальцы на затянутой в перчатку руке; вид у него был такой, будто в счете он не силен.

— Так-так, два года — это двадцать четыре месяца; три месяца долой — стало быть, двадцать один месяц. Теперь прибавим девять, и выходит, прошло уже тридцать месяцев с тех пор, как мы гостили в Борге. Неужто и впрямь столько времени миновало? А ты уверена, что твоему ребенку через три месяца будет два года? Может, ему через два месяца сравняется год?

Он осклабился и глянул вокруг, ожидая одобрения своей оскорбительной неучтивости, и некоторые из воинов подобострастно хихикнули. Инга вспыхнула от негодования.

— Ты, господин, говоришь «твой ребенок». А он не только мой, как тебе известно.

Хакон Бешеный смерил ее ледяным взглядом. Потом посмотрел по сторонам.

— Я не вижу здесь твоего супруга, если ты его имеешь в виду. Единственное, что я вижу, и единственное, что мне известно наверняка, — это что ты проделала дальний путь из Борга с ребенком, которого сейчас держишь на руках. С твоим ребенком. Больше я ничего не знаю.

В эту самую минуту во двор на всем скаку влетел новый, более многочисленный отряд — дружинники с королевским львом на щитах. Господин Эрленд спешил сам, взял под уздцы лошадь Петера Стёйпера и помог тому спешиться. Господин Петер подошел к Инге и ребенку и с учтивым поклоном произнес:

— Добро пожаловать в Нидарос, Инга из Вартейга. Король Инги послал меня за тобой, я отвезу тебя к нему, вместе с сыном короля Хакона.



КОРОЛЬ ИНГИ И БАГЛЕРЫ

Король сидел на почетном месте.

Придворные, окружавшие Инги Бардарсона, были молоды. Разряженные дамы и представительные господа стояли в ожидание у длинных столов. Самому королю Инги было только двадцать лет. Когда Петер Стёйпер ввел мать и сына в просторный пиршественный зал, король встал, учтиво шагнул им навстречу и на глазах у всех расцеловал обоих, а затем громко, чтобы все слышали, произнес:

— Это — сын короля Хакона, а это — мать Хакона Хаконарсона. Они проделали дальний путь, и мы рады видеть их у себя.

Краткая, простая речь — и с этой минуты все знали, как им себя вести. От облегчения Инга едва не расплакалась. Господин Эрленд тоже явно был растроган. Они преодолели все трудности. Мальчик спасен.

Король Инги усадил их за стол рядом с собою; остальные тоже сели. Потом король доверительно наклонился к Инге и сказал:

— Петер Стёйпер посвятил меня в тайну, и Дагфинн Бонд тоже скрепил клятвой свое свидетельство, как они и обещали королю Хакону. Господин Дагфинн предлагал послать в Борг корабли, но, не слыша ни словечка о новорожденном, мы решили, что вышла ошибка. И вот теперь вы здесь.

Инга смешалась, но в конце концов сказала:

— Мы очень обрадовались, что увидим такой большой город, как Нидарос.

Король Инги был в прекрасном расположении духа.

— Город замечательный, но ежели у тебя есть какое-то дело, перво-наперво требуется нюх. До королевского зала ты добралась, а вот коль хочешь попасть в собор, иди на запах погреба и плесени.

За столами слышался смех, Инги продолжал:

— Корабельные верфи тоже найти легко — они пахнут смолой и канатами, свечные мастерские воняют ворванью, дубильные — мочой, мясные лавки — свежей кровью и потрохами, а от заведений гробовщиков сладковато тянет тленом.

Инги Бардарсон громко захохотал над собственными непочтительными словами.

— А уж медовщиц найти и вовсе проще простого, — вмешался его сосед, — тонкое обоняние здесь не требуется: ступай на запах блевотины — не ошибешься!

Новый взрыв смеха. Король Инги представил:

— Мой младший брат Скули. Всегда он норовит превзойти других и оставить последнее слово за собой.

Королевский двор был молод, весел и церемонностью не отличался. Со временем все станет иначе, но пока настроение здесь царило жизнерадостное.

Наутро господин Эрленд принес хорошие вести. Даже если трон всерьез и надолго вернулся к роду Хладиров и даже если малыш Хакон как незаконнорожденный никогда не сможет предъявить права на престол, он — внук Сверрира и обходиться с ним будут соответственно. Король объявил придворным и дружине, что Инга будет жить в королевских палатах и заботиться о сыне, пока он подрастет, и что обращаться к ней надлежит как к замужней даме. Когда мальчик станет постарше, учить его будут лучшие в Нидаросе книжники-монахи. А Скули, брат короля Инги, проследит, чтобы Хакон вместе с другими высокородными детьми в королевской резиденции получил надлежащее воспитание. Так что Хакону обеспечена хорошая будущность.

Инга, преисполненная благодарности, счастливая, вздохнула с облегчением. Она достигла своей цели — ребенок спасен. Господин Эрленд получил от короля дорогие подарки и привилегии, для него даже корабль снарядили, чтобы он морем добрался вдоль побережья домой, в Хусабю. В минуту расставания и у Инги, и у господина Эрленда щемило сердце. Господин Эрленд обещал завернуть в Бьёргвин, рассказать Дагфинну Бонду, что мать с сыном благополучно прибыли в Нидарос, и поблагодарить за то, что, свидетельствуя перед новым королем, Инги, он сдержал слово, данное королю Хакону.

Благочестивому Петеру Стёйперу король тоже выразил благодарность, но только на словах. Петер Стёйпер не хотел земных богатств. С недавних пор он был подвержен припадкам религиозного экстаза, и тогда речь его становилась бессвязна, на губах выступала пена, нередко он сам себя бичевал. А необычайная предупредительность короля Инги, кстати сказать, объяснялась тем, что он особенно благоволил Петеру Стёйперу и знал, что этаким святой человек лгать не может. Частью дело было в том, что его до глубины души потрясла страшная гибель отца маленького Хакона, а главное — он не мог отделаться от подозрения, что к этому приложил руку его сводный брат, Хакон Бешеный. Король Инги хотел убедить Господа Бога и весь мир, что он, нежданно-негаданно занявший престол, в происшедшем не виновен.

Мало-помалу и Хакон Бешеный сообразил, что, выказывая благоволение мальчику, снисщет в народе симпатию. Ведь многие зорко за ним следили. Ярлу нужны воины, а они, храня верность Сверриру, не хотели слушать разговоры о том, что отец этому ребенку отнюдь не Хакон сын Сверрира. И при всем своем оголтелом сумасбродстве Хакон Бешеный хорошо понимал, за кем они придут в первую очередь, если с мальчиком что случится, и насчет виновности разбираться не станут. Правда, у него даже мысли не возникало, что этот незаконнорожденный ребенок — возможный претендент на престол. Тут он заручился словом нидаросского духовенства. Власть прямо связана с тем местом, где ее исполняют, а теперь королевская власть снова в Нидаросе. Архиепископ, голос которого отныне будет решающим на выборах короля, однозначно заявил, что никогда не признает внебрачного королевского сына. Потому-то Хакон Бешеный не совершал над собою большого насилия, к месту и не к месту повторяя, что очень полюбил маленького Хакона — как родного сына.

Как-то раз его жена Кристин довольно кисло заметила:

— Не понимаю, отчего ты все время только и говоришь что об этом мальчишке. Еще неизвестно, кто ему отец.

И Хакон Бешеный тотчас ее одернул, громко, чтобы все слышали:

— Как у тебя язык поворачивается! Знаешь ведь, все мы сидим на наследстве его отца.

Уверенный в своем деле, ярл Хакон не скупился на подобные заявления. Инга с сыном могли спокойно идти своей дорогой. Хакон

Бешеный быстро потерял к ним всякий интерес; сейчас его занимало другое: как бы исхитриться и сделать так, чтобы сводный брат, король Инги, захотел поделиться властью с ним, с Хаконем Бешеным.

Вначале Хакону Бешеному тоже хотелось стать королем. Но, как выяснилось, никто этого его желания не разделял. Тогда он чуть поостыл и вознамерился взять под свою руку хотя бы войско. И многие посчитали, что для такого дела он годится куда лучше. Так что ярл отбросил мысли о короне и скипетре и сосредоточился на том, что сулило ему больше выгоды. По части умения воевать король Инги, изменчивый и деланно бодрый, ни в какое сравнение с ним не шел.

Король Инги был высок ростом, весел и жизнерадостен, а разговаривая с кем-нибудь, забавно щурил один глаз. Объяснялось это просто: Инги плохо видел, вот и щурился. В народе он был популярен, но в отличие от Хакона Бешеного, непомерным властолюбием не страдал. Женщин молодой король Инги любил и секрета из этого не делал, однако ж к красавице Инге из Вартейга относился с почтением.

Инги Бардарсону и во сне не снилось стать королем. От родичей, которые знали, что говорят, он в детстве и отрочестве наслушался историй о том, что королевская власть идет об руку со смертью, что король всегда в опасности, даже на родню положиться не может. Рано или поздно рядом с королем льется кровь. Поэтому известие, что король Хакон скончался от отравы, буквально потрясло его душу. Еще большее потрясение он испытал, когда загадочная смерть постигла и четырехлетнего короля Гутторма Сигурдарсона. Инги держал мальчика на руках, когда это случилось: ребенок почернел всем телом. Диво ли, что он обомлел, когда новым королем страны неожиданно избрали его самого.

Все это очень скоро наложит на него отпечаток и совершенно изменит его характер. С каждым годом им все больше завладевал страх перед неведомыми силами, которые неотступно преследуют его и грозят убить. Он окружал себя шумными дружинниками и виночерпиями, заставляя их пробовать вино, и мед, и все блюда, какие ему подавали. Спал он тоже скверно.

Хакон Бешеный быстро смекнул, что сводный его брат, король Инги, полон страха и что его можно принудить ко многому — дай

только хоть на время избавиться от страха за свою жизнь и от бессонницы. И Хакон Бешеный решил нажать на Инги и, навестив его как-то раз, изложил вот что:

— Я правил страной как регент после смерти короля Хакона, я был опекуном короля Гутторма и значительно раньше любого из вас сделался ярлом; наконец, я старший по возрасту. Когда королем избрали не меня, многие очень удивились и очень огорчились. Но в одном согласны все без исключения: так или иначе я вправе претендовать на половину Державы. На область, где я буду единовластным правителем. И по справедливости ко мне должна отойти Западная Норвегия. Так все говорят.

— Западная Норвегия? — Инги умолк и прищурясь посмотрел на Хакона.

— И половина тамошних доходов Державы; это не слишком много.

Отдать Хакону Бешеному Западную Норвегию и половину тамошних доходов казны? Инги Бардарсон плохо представлял себе, как отвечать на подобные притязания, он был одинок, совета спросить не у кого, ну а брат его всегда получал то, что хотел.

— В войсках беспокойно, — продолжал Хакон Бешеный, теперь уже более угрожающим тоном, — воины остро чувствуют несправедливость, и трудно предугадать, что может произойти, если мы их не успокоим таким разделом. Кровопролитий никто из нас не желает. И еще: необходимо установить, кто наследует престол после тебя. Безусловно, мы надеемся, что ты нас всех переживешь, но ведь на свете каких только случайностей не бывает! Тут все должно быть ясно, во имя блага Державы и рода, если не во имя чего другого.

— Престолонаследником будет мой сын Гутторм, верно?

— Не так-то все просто, как ты думаешь! Признают ли Гутторма престолонаследником? Он ведь рожден не в браке. У тебя есть законная жена, но этот ребенок не ее. Мать Гутторма родом из Квие, что в Валдресе, и зовут ее Рагнфрид дочь Эрлинга, это всем известно. А ни архиепископ, ни Святейший престол в Риме ни под каким видом не признают престолонаследника, рожденного вне брака.

— А если у меня родится законный сын?

— Если родится, то станет законным престолонаследником. А если не родится? Что тогда? Разве не справедливо будет, чтобы в таком случае на троне сидел старший из законных сыновей твоих братьев?

— Может быть.

— Об этом нужно в присутствии свидетелей составить договор, и чем раньше, тем лучше, а потом — огласить его на Эйратинге, чтобы впредь ни у кого не возникало сомнений. Ибо из сомнения рождаются беспорядки.

Инги медлил с ответом, но Хакон Бешеный не сдавался. День за днем он так и этак убеждал брата в своей правоте. И в конце концов король Инги уступил по всем пунктам. Хакон Бешеный получил Западную Норвегию и половину тамошних королевских доходов. Инги Бардарсон согласился даже на то, что, если у него самого не будет законного сына, трон перейдет к старшему сыну Хакона Бешеного или к старшему сыну Скули, брата короля Инги. Спустя некоторое время у ярла Хакона и Кристины родился сын Кнут, будущий наследник норвежского престола — конечно, если у короля Инги не появится собственный законный сын. Но Инги рассчитывал, что с этим он управится, и был бодр и весел.

Договор был оглашен на Эйратинге в присутствии архиепископов Торира и Эйрика, епископов Николаса и Мартейна и других и скреплен восковыми печатями короля, ярла и этих высокородных господ. Хакон Бешеный настоял также на включении пункта о том, что, если король Инги умрет раньше него и не имея законных наследников, ярл Хакон будет королем до совершеннолетия Кнута.

Король Инги надеялся, что теперь его сумасбродный сводный брат доволен и уедет из Нидароса, до поры до времени оставив его в покое. А тогда мягкотелый король Инги сможет облегченно вздохнуть и заняться тем, к чему у него был особый талант, — женщинами.

Всего несколько месяцев прожили Инга и маленький Хакон в королевских палатах, когда грянула страшная беда.

Король Инги находился в Браттёра, нежился в объятиях наложницы, а тем временем брат Гаута Йонссона, грозный баглерский военачальник Арнбьёрн Йонссон, с восемью сотнями воинов напал на Нидарос. Ничего хуже этого с королем Инги в жизни не случилось. Мало того что он испытал поистине панический ужас, так еще, как на грех, с вечера был настолько пьян, что в первый и единственный раз отослал дружинников домой и остался без всякой защиты.

Крупные отряды баглеров метались по городу, обшаривая улицы, переулки, дома, — искали его. Пока наложница уверяла разъярен-

ных баглеров, что король находится в церкви Девы Мари, Инги в одной рубахе вылез на крышу и долго лежал там в холодном мраке апрельской ночи, а когда шум и крики переместились в другую часть города и вокруг стало тихо, он, как был, без штанов, побежал на пристань и прыгнул в море; течением его отнесло к какому-то кораблю, но человек, стоявший в потемках на палубе, ударил его багром и отпихнул от борта.

Король Инги устремился дальше и немного погодя сумел кое-как прибиться к берегу, где, на счастье, был замечен одним из своих дружинников и выловлен из воды. Злые языки говорили, что дружинник углядел белеющий в темноте королевский зад и что именно этой части тела король и обязан своим спасением.

Семнадцатилетний брат короля, Скули, проснулся от шума и выглянул в окно. Топтавшаяся в вонючем переулке пьяная баба тотчас показала на него пальцем.

— Гляньте, братец королевский! Эва, в окошке наверху!

— Где? В котором окошке?

— Да вон... нет, не там... еще подале. Скули, братишка короля, завсегда стоит у окошка и таращит глаза. Ох и ловок же парень пялиться на людей!

Подскакавшие баглеры заметили испуганного юнца, однако вид у него был не особенно царственный и с братом короля, Скули, никакого сходства. Воины хотели изловить парня и на всякий случай прикончить его, но тут пьяная баба поскользнулась и села прямо в грязную жижу. Баглеры во все горло загоготали, а секунду спустя, благодарение Богу, вообще забыли и о парне, и о бабе: кто-то из них приволок биркебейнерского трубача Торфинна Свидебранда, человека уже весьма немолодого. Баглеры встретили его хохотом и улюлюканьем, хлопали себя по ляжкам и норовили заставить его подуть в Андваку, старый боевой рог короля Сверрира.

Потом ратники согнали всех захваченных биркебейнеров на близкую площадь, большинство пленников были из королевских палат, люди высокородные, из числа известных в стране. Ни много ни мало девять десятков, безутешных знатных мужей были раздеты догола — платье-то у важных господ дорогое, жалко его марать, когда свершится то, о чем баглеры втайне уговорились. И вот, по условленному сигналу, они с пиками, мечами и секирами бросились на объятых ужасом плен-

ников, и пошла резня, кровавая баня. Лютая жестокость, исступленные вопли, кровь, хмельной угар необузданной ярости: бей! круши! мсти! Обезумевшие воины будто напрочь забыли о собственной совести, как только закричали «мсти!» и ринулись убивать беззащитных. Потом воцарилась странная тишина, и предводитель обошел побоище, а двое его подручных кололи пиками недвижные тела, дабы удостовериться, что никто из нагих не остался жив.

По одной из улиц спешил последний биркебейнер, безоружный, хотя и в доспехах, а следом за ним — баглер с мечом. Беглец сумел добраться до церкви святого Климента, что в самой старой части королевской усадьбы, и даже успел положить руку на церковную дверь. Этот жест давал ему право на перемирие. Но преследователь взмахнул мечом и нанес ему удар по затылку — беглец рухнул как подкошенный. В народе после долго еще говорили о том, как высшие силы покарали черное дело, ибо, снявши с убитого шлем, лиходей увидел, что погубил своего младшего брата.

А затем город был разграблен; добычу баглеры снесли в королевские палаты и там поделили. Ценностей им досталось много, в том числе триста шестьдесят боевых кольчуг, и каждый из баглеров получил в качестве трофея три-четыре марки.

Волею случая и брат короля Скули, и сам король Инги выбрались из города целыми-невредимыми. Инга и двухгодовалый малыш Хакон тоже сумели уйти, вместе с другими женщинами и детьми. По северным дорогам тянулись толпы пеших путников — сущее переселение народов.

В долине Гаулардаль биркебейнеры собирали силы для ответного удара. Они были крайне удручены бездействием короля Инги и его брата Скули и, не спросясь братьев, призвали военачальником Хаконна Бешеного. Скоро они уже могли выставить против баглеров две тысячи четыреста воинов — втрое больше баглерского отряда, который грабил Нидарос. Но когда биркебейнеры наконец подошли к городу, противники уже поспешно отплыли в Бьёргвин, а оставшиеся корабли подожгли.

Немногим позже Бьёргвин постигла судьба Нидароса. Баглеры ударили неожиданно, ночью, опустошили город, а иные кварталы предали огню. Спалили шесть церквей, но церковь Девы Марии чу-

дом уцелела, потому что отряд, которому было поручено сжечь ее, принялся вместо этого насильничать.

Дагфинн Бонд был в это время сюзсельманом в Хёрдаланде, лагманом* по «Законам Гулатинга»** и военачальником королевской усадьбы. Этого важного господина разбудили, он тотчас же выехал и принял на себя руководство обороной. Но, как на грех, большинство конных дружинников находились за пределами города. Тем не менее он собрал всех воинов, какие случились поблизости, вскочил в седло и во главе своего отряда помчался через Сандбрутанген навстречу врагу.

Короткое время спустя молодой Аскель Йонссон прибежал к своему младшему брату Гауту Йонссону, который как раз ставил по местам своих людей. Аскель едва держался на ногах и жадно хватал ртом воздух.

— Господин Дагфинн взят в плен! Вот ужас! Один из монахов видел, как это случилось.

— Взят в плен?

— Он попал в засаду, коней перебили из арбалетов; из дружинников вернулись очень немногие, они все подтвердили. Один из них при смерти. Господина Дагфинна связали и куда-то увели.

— Баглеры знают, кто он?

— Если раньше и не знали, то теперь уже знают. Господин Дагфинн всем известен.

Братьям стало ясно, что надобно предпринять. Первым высказал это вслух Гаут:

— Нужно навестить нашего брата Арнбьёрна.

В сумерках они украдкой спустили на воду лодку и взялись за весла; путь был неблизкий, но они знали, куда грести: вконец перепутанный пленник не стал закипать и быстро выложил, где находится недоброй славы баглерский предводитель Арнбьёрн Йонссон. Скоро за мысом откроется палаточный лагерь.

Много лет Аскель и Гаут не видали своего брата Арнбьёрна. Даже облик его обоим помнился смутно. Когда он был маленьким, их

* Лагман — судебный чиновник, назначенный королем.

** «Законы Гулатинга» — судебник для Юго-Западной Норвегии.

отец, лендрман Йон, отдал первенца на воспитание* самому почтенному из знакомых ему людей — Николасу Арнарсону, епископу Осло. Теперь Арнбьёрну было тридцать два года, изрядно больше, чем братьям. Он искренне любил и уважал приемного отца, славного епископа, однако уже давно выбрал свой путь и мало-помалу стал лучшим военачальником Эрлинга Стейнвегга. Странная это была семья: сам Йон и два его сына — почтенные биркебейнеры, верой-правдой служившие трем королям; третий же, старший сын Арнбьёрн — наводящий ужас, но и самый уважаемый баглер.

Узнает ли он их? А они — узнают ли они Арнбьёрна?

С моря они увидели, что возле палаток горят большие костры. Дозорные, заметив лодку, немедленно подняли тревогу. Арбалетчики вскинули оружие и прицелились. Братья же неумоимо работали веслами и, наконец, пристали к берегу. Их тотчас обступили воины.

— Ведите нас к Арнбьёрну Йонссону.

Один из баглеров, бородатый, зверского вида, расхохотался.

— С чего это вы, грязные бродяги, решили, что такой важный господин, как Арнбьёрн Йонссон, захочет вас принять?

— Скажи, что с ним хотят повидаться его родные братья.

Воины недоверчиво уставились на них. Неужто правда братья? Надо посоветаться. И они тихонько заговорили между собой. Про то, что у их предводителя есть в Бьёргвине два брата-биркебейнера, они слышали, но чтоб эти братья рискнули явиться сюда?..

— Передай, что его братья Гаут и Аскель хотят с ним потолковать, — сказал Аскель.

Баглеры успокоились, но на всякий случай обыскали пришельцев — нет ли у них припрятанного оружия? Один из караульных бегом направился к самой большой палатке, на пороге которой сей же час выросла высокая темная фигура в боевых доспехах. Помедлив, человек подошел ближе и остановился. Отблеск костра озарил суровое, решительное лицо, на котором читалось недоумение. Но вот он узнал обоих и широко улыбнулся.

— Милости прошу, заходите, дорогие мои братья. Угощение у меня, правда, небогатое, в лагере живем.

* Обычай отдавать на воспитание ребенка (чаще сына) с раннего детства в другую семью был широко распространен; при этом тот, кто брал на воспитание, обыкновенно считался менее знатным, чем тот, кто отдавал на воспитание.

От угощения они отказались. Арнбьёрн отослал всех, кто был в палатке, и братья растроганно обнялись. Предводитель баглеров был настоящий великан, и Аскель с Гаутом едва не задохнулись в его объятиях.

— Братишки мои меньшие, Аскель и Гаут, одноглазый Гаут, второй-то глаз я отнял. Дорогие мои меньшие братишки!

Аскель тоже был тронут, однако ж сказал:

— Нам о многом нужно поговорить, но одно дело не терпит отлагательства. Мы пришли просить за Дагфинна Бонда. Твои люди захватили его в плен, и мы опасаемся за его жизнь.

Арнбьёрн пригласил их сесть. Он помрачнел и, словно оправдываясь, произнес:

— Мне сообщили об этом, и могу вас успокоить: я успел им помешать, не дал отвезти его в Сандвик, к месту казни, где его собирались повесить. Было это нелегко, потому что ныне Эрлинг Стейнвегг поставил меня над ратниками, которые никакого удержу не знают. Хочу сказать вам, я покарал самых необузданных, что учинили резню в Нидаросе, коли вы о ней слышали. Это лихое действо, непростительное и ненужное, не принесло баглерам чести. Да, мы воюем, но воевать должно с вооруженными воинами.

Про Нидарос братья еще не слышали. И потому Гаута прежде всего занимала судьба господина Дагфинна.

— Что же произошло с Дагфинном Бондом?

— Такие, как господин Дагфинн, у нас в стране нынче наперечет. Их надо беречь. Я отпустил его на волю. Сейчас он, верно, уже воротился в крепость.

Не успел он договорить, как на пороге возник один из баглеров.

— Дозорный корабль заметил большой флот к северу от побережья. Они считают, это Хакон Бешеный.

Арнбьёрн вскочил на ноги.

— Вели трубить сбор! Пошли людей в город, мы выступаем!

Вот и вышло, что едва только братья встретились после стольких лет, а уже пришлось разлучаться вновь. Гаут с Аскелем отправились восвояси, меж тем как на берегу спешно сворачивали лагерь и спускали на воду корабли. Из города спешили баглерские воины, сгибаясь под тяжестью награбленного — кто сколько мог унести. Занимался серый рассвет. Приближаясь к крепости, братья видели, как

первые корабли баглеров быстро выгребают к устью фьорда. Им даже показалось, будто Арнбьёрн помахал им на прощание рукой.

Они тоже махали в ответ — пока не решили, что он уже их не видит.

Многим баглерам удалось уйти, но не всем. Хакон Бешеный, подойдя с флотом, напал на замешкавшихся и беспощадно их перебил, а малое число военачальников собрал в Сандвике, и на следующий день они были повешены под ликующие крики народа. Хакон Бешеный торжествовал. Наконец-то он показал, на что способен — как полководец и властитель. И понял, что после этого многие прониклись к нему уважением — за решительность и за то, что не промедлил отмстить.

Король же Инги был теперь совсем не тот, что прежде.



ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ПРЕСТОЛ И КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

Нидаросские биркебейнеры не могли нарадоваться на маленького Хакона Хаконарсона. Им очень хотелось, чтобы он рос поскорее, и, бывало, здоровяки воины то и дело хватали его и тянули каждый к себе: этак, мол, в нем быстрее росту прибавится. Мальчик был веселый и смекалистый, и чем бы он ни занимался — они во всем видели многообещающие доводы энергии и предприимчивости. Однажды студеной зимой воины, держа в горсти замерзшее масло, неуклюже скоблили его зажатый в другой руке куском мерзлого хлеба, а маленький Хакон положил хлеб и масло себе на ладонь и ловко сжал кулак — хлеб раскрошился и прилип к маслу.

— Вот так мы удержим хлеб, биркебейнеры.

Скажи эту фразу кто-то другой, ее бы вовсе не посчитали забавной, но, прозвучав в устах Хакона, она стала среди биркебейнеров чуть ли не поговоркой. «Вот так мы удержим хлеб», — говорили все, когда старались найти простое решение. Они по-всякому учили-воспитывали Хакона, чтобы он и ума набирался побыстрее.

Мальчик постоянно был в центре внимания, и особенно он подружился со старым дружинником Сверрира, по имени Хельги Вострый. Однажды старик биркебейнер встретил Хакона не приветливо.

— Поди прочь.

— Почему?

— Как гляну на тебя, так печалуюсь о договоре, который лишил тебя отцовского наследства.

— А где и кто заключил такой договор?

— На Эйратинге. Братья Инги и Хакон Бешеный. Тайком от тебя.

Хельги пришлось объяснить подробнее. Хакон задумался, а потом сказал:

— Нелегко на сердце, когда видишь, что вершится этаким суд. Там ведь не было доверенного человека, который бы говорил от моего имени.

Когда эти речи дошли до Кристин, жены Хакона Бешеного, она грубо выбранила мальчика.

Через год после нападения баглеров на Нидарос и Бьёргвин скончался Эрлинг Стейнвегг. Говорили, что он задохнулся, подавившись рыбьей костью, и что это Божья кара. Баглеры избрали нового короля, Филиппуса. Хакон Бешеный тотчас вознамерился выступить в карательный поход на Восточную Норвегию, но бесхребетный король Инги заключил с баглерами некое подобие соглашения, чтобы получить передышку. И все же ярл Хакон от похода не отказался, только взял на себя мирную миссию.

Не одна Кристин, многие люди расспрашивали ее мужа о его соглашении с королем Инги: отчего-де никто на Эйратинге не говорил за маленького Хакона? Известный пройдоха именем Хиди дошел до того, что предложил ярлу отдать мальчика на воспитание кому-нибудь из чужестранных правителей. Всякий скажет, что это поступок христианский. Однако ж выбрать надо правителей, которые ничем Норвегии не обязаны, будут плохо обращаться с мальчиком и заточат его в темницу.

Хакон Бешеный поблагодарил за совет, но сказал, что, раз существует договор, он за престолонаследие не опасается. Наперекор всем злобным наветам он делами докажет, что хочет мальчику только добра. Прежде всего добра. Вот почему он настоял, чтобы маленький Хакон был его гостем и отправился вместе с ним в прибрежное плавание. На роскошном корабле «Олавссуден» было три с лишним десятка помещений, и мальчик мог бегать где угодно, лазить на мачты и участвовать во всем, что происходило на борту. Инга пробовала, конечно, увильнуть, но безуспешно, пришлось дать согласие. Сама она сопровождала сына и решила ни на миг не спускать с него глаз.

Наконец они прибыли в Тунсберг. И там, в Викенской крепости, ярл Хакон на целых три месяца их покинул — оставил без всякой

защиты в гостях у баглерского короля Филиппуса. Как-то раз в гавани маленький Хакон спросил:

— Кому принадлежат эти корабли?

— Твоему государю, королю Филиппусу.

— Моим государем Филиппус никогда не будет.

Филиппусу тотчас передали слова мальчика, и они ему не понравились. Но он ничего не сказал. Затем поползли слухи, будто баглеры надумали выбрать этого мальчика королем, а Филиппуса сделать ярлом. Зная, что Рейдар Посланник, снова вернувшийся к баглерам, действительно вынашивал такие замыслы, король все же не посмел тронуть юного Хакона. Мир был ему дороже. Мальчишку надо отправить из Викена целым-невредимым. А время шло. В итоге так ничего и не случилось, из-за осенних штормов Хакон Бешеный поневоле отказался от похода на север и ближе к зиме забрал мать и сына обратно в Нидарос. Ярл тоже не дерзнул причинить мальчику зло.

После всех ужасов той страшной ночи, когда баглеры напали на Нидарос, король Инги изменился до неузнаваемости. Он был подавлен, болезненно подозрителен, мучился недомоганиями и, когда все вокруг смеялись, редко заражался общим весельем. В народе только о том и судачили, что король теперь всегда ночует на своем корабле, который стоял на якоре в устье реки Нид, готовый в случае чего немедленно уйти в открытое море. На берегу король Инги бывал редко, да и то под охраной многочисленных дружинников. В иное время он сидел на своем корабле, погруженный в раздумья. Если знатым господам нужно было поговорить с королем, они садились в лодку и велели доставить их на корабль, и немало было таких, кому отвечали, что короля на борту нет. Иные божились, что слышали приглушенный голос короля Инги.

Король Инги жил затворником, и ему было не по нраву, что сводный его брат Хакон Бешеный стяжал своим карательным походом этакую славу. Говорили, что в народе он по-прежнему весьма любим. И мало-помалу велеречивый ярл начал раздражать короля Инги. Когда Скули предлагал пригласить Хакона на корабль, король с жалобным стоном ронял:

— Сегодня вечером обойдемся без него. Сил нет слушать, как он не закрывая рта разглагольствует о всякой чепухе.

О договоре король Инги думал частенько. Изменить его трудно. Но, при всей своей трусости король Инги был отнюдь не дурак. Его младший брат Скули давно повзрослел, шел своим путем и подавал большие надежды. Может быть, удастся вовлечь его в игру, столкнуть лбами этих двух властолюбцев — Скули и ярла Хакона, — а самому спокойно править в одиночку?

И вот король Инги начал осыпать своего брата Скули знаками внимания, меж тем как Хакон Бешеного демонстративно перестал замечать. Но хитрый ярл, похоже, разгадал его планы. Король Инги старался нанести Хакону Бешеному обиду в надежде, что сгоряча тот совершит оплошность и даст ему, Инги, повод порвать договор. Однако ж ярл ловко избегал распрей и на все отвечал улыбкою.

Ничем король Инги не мог пронять Хакона. Договору и разделу власти, как видно, суждено сохраниться. Вдобавок Инги все больше мучили хвори, и настоящие, и мнимые. Он не выносил хлопот и беспокойства.

Однажды, когда молодой Гаут Йонссон приехал в Нидарос и был допущен на королевский корабль, королю Инги вздумалось повести речь о знамениях свыше. Лендрман Гаут приехал из Бьёргвина, где часто бывали ученые иноземцы.

— Что предвещают светящиеся полосы, которые являются на небе и зовутся кометами? — спросил король.

— Так сразу и не ответишь, государь. Они много чего могут означать.

— Вот-вот! Тут случайности нету, ведь либо такая оттепель наступает, что в январе распускаются деревья, либо, напротив, стужа весь урожай на корню побьет. Эти кометы и голод предвещают, и падеж скота, и поварные болезни, то в одном месте, то в другом. Бывает, они и паводок сулят, и чью-то скорую смерть. — Король умолк, потом добавил: — Вчера вечером я видел такую полосу.

Гаут Йонссон растерялся, не зная, что сказать. И промолчал.

— Комета, — продолжал король, — не иначе как связана с первым человеком, которого я ныне встретил, а это был ты, лендрман Гаут. Желаеть что-то мне сказать?

— Нет, государь!

— А может, дело совсем в другом, — быстро сказал Инги.

— Наверное в другом, государь.

Король прищурил один глаз и подмигнул кривому Гауту, но тотчас словно бы спохватился, что Гаут может обидеться, и переменял тему.

— Как я погляжу, Гаут Йонссон, ты бодр и здоров.

— Да, государь. Всевышний даровал мне крепкое здоровье.

— Не то что мне. Намедни кто-то рассказывал об изнурительной хворобе, которую исландцы прозвали «злая чесотка». Пальцы на руках и ногах нестерпимо зудят и чешутся. Глаз не сомкнешь, места себе не находишь. День ото дня становится все хуже, свербит и жжет, ровно зубная боль, круглые сутки, без передышки. Повсюду горит — в ушах, в груди, в причинном месте. Кожа идет пятнами, боль такая, что вовсе не вмоготу, руки-ноги будто в кипятке. Человек не знает, куда деваться, с ума сходит от боли, тело у него синее, пальцы начинают отваливаться...

— Злая чесотка, государь?

— Злая чесотка.

Оба вновь помолчали. Наконец Гаут сказал:

— Никому не пожелаю этакой напасти.

— Спасибо на добром слове, господин Гаут, а то ведь меня час-тенько донимает мысль, как бы самому не слечь от этой заразы. Так прямо и чувствую уже зуд да свербез. Не ешь хлеба, Гаут, потому что хвороба эта прячется в плохом хлебе*. Я теперь хлеба не ем.

Король Инги обретался на корабле, размышлял о всяческих недугах, какими можно захворать, и без конца привередничал по поводу еды, а Инга и маленький Хакон так и жили себе в королевских палатах. Опыт подсказывал Инге, что от Хакона Бешеного надобно держаться подальше и лишь с королевским братом Скули, которого Инги сам назначил присматривать за воспитанием мальчика, можно встречаться без опаски. Вообще Инга, даром что красавица, чуралась мужчин. В ее жизни был только один мужчина — король Хакон, и никого другого она не желала. В свое время она соединится с любимым, а до тех пор будет жить лишь ради сына. Все, кто знал Ингу, глубоко уважали ее за беспорочность и восхищались ею. Иные даже дерзко сравнивали эту прекрасную чистую женщину с самою Девой Марией.

* Видимо, речь идет о гангренозном отравлении спорыньей, которой заражен хлеб.

Малыш Хакон подрастал, и вдруг оказалось, что не такой уж он теперь и маленький. Писать и читать он выучился раньше многих своих сверстников. Пришло время, и к нему приставили наилучших учителей из числа нидаросских монахов, которые знай нахваливали его способности. А Хакон, как всякий мальчишка, был горазд на выдумки и озорные проделки.

Так шло детство. Порой Хакона навещал королевский брат Скули, спрашивал, чему он успел научиться. Изредка они плавали на лодке к королю Инги. Ни Скули, ни король Инги особой веселостью не отличались. Для братьев жизнь в эти годы состояла большей частью из безрадостных обязанностей и общих неурядиц из-за бесконечных интриг Хакона Бешеного.

Как-то раз к королю на корабль явился Петер Стёйпер. Поздоровался: «Мир вам!» — и решительно уселся подле кровати. У Петера, королевского друга, был план, и он хорошо подготовился к разговору.

— Похоже, государь, настают более мирные и спокойные времена.

— Да, хорошо бы этот мир продлился.

— Закаленные воины никак не привыкнут к мирной жизни, не на месте они в ней. Землепашество и рыболовство — плохая замена тому, что прежде заполняло их дни. Им бы маленько тревог, да опасностей, да в поход — вот это дело.

— В поход, чтоб грабить и разорять. Так, что ли?

— Ныне даже в Ирландском море настали мирные времена. А значит, можно без труда, и не входя в большой расход собрать крепкие вооруженные отряды. Я знаю, где использовать воинов, а то ведь они слоняются без дела, так и до беды недалеко.

Король не верил своим ушам.

— Ты богобоязненный человек, Петер Стёйпер, а намекаешь-то вроде как на войну?

Петер Стёйпер наклонился к королю и, кивнув головой, убежденно провозгласил:

— Да, на войну. Священную войну. Я хочу сражаться за гроб Господень.

Пока Петер Стёйпер с жаром излагал свои планы, король Инги размышлял. Понятно, ни один король не мог возражать, если кто-то, желая сражаться за гроб Господень, по доброй воле стремился в

Святую землю. Станешь возражать — наживешь врага в лице Святейшего престола. Но годится ли кроткий и глубоко религиозный Петер Стёйпер, чтобы возглавить столь кровавое предприятие? Способен ли он громить в раскаленных песках язычников и темнокожих мавров? Под жарким солнцем тяжелые доспехи накаляются, как печь. Всюду болезни, с провиантом плохо, с водой еще того хуже. Хищные звери нападают, ядовитые змеи кишмя кишат, плутов и разбойников кругом видимо-невидимо, в том числе и среди своих.

Король Инги попробовал осторожно напомнить Петеру Стёйперу о тех ужасах, что выпали на долю Сигурда Крестоносца. Надо же ему знать, на что он замахнулся. Но Петер стоял на своем:

— Господь даст мне силы для крестового похода. Один из нас двоих станет крестоносцем, а это очень много значит для нас обоих, для моего и твоего спасения, государь. Да и Христов наместник в Риме порадует.

— Но я не имею возможности снарядить большой крестовый поход.

— А кто сказал «большой»? Совсем маленький. Рейдар Посланник, которому благоволил король Сверрир, по-прежнему живет в Викене. Он мне свояк и вскорости прибудет в Нидарос. Мы двое снарядим каждый по кораблю.

— Рейдар Посланник умелый воин и в оружии разбирается. Стало быть, он намерен идти с тобой?

— Да, государь. И наши жены. Ты ведь знаешь, Ингибьёрг и Кристина — дочери короля Магнуса Эрлингссона, и уже одно то, что с нами будут две королевны-христианки, придаст нашим воинам сил и бодрости и поможет укрепиться духом. — Петер Стёйпер умолк, возвел очи к небу и вскричал: — *Deo volente!* Да свершится воля Господня!

— Да свершится воля Господня! — повторил король.

Услыхав давний клич крестоносцев, король Инги понял, что Петер Стёйпер от своего решения не отступит.

Петер Стёйпер и Рейдар Посланник снарядили каждый по кораблю и взяли на борт всех безработных искателей приключений, что толклись на берегу. И вот однажды утром все было готово к отплытию. Набожные супруги стояли на корме своих кораблей, распевая гимны. В свое время, когда король Сверрир до и после сражения пел

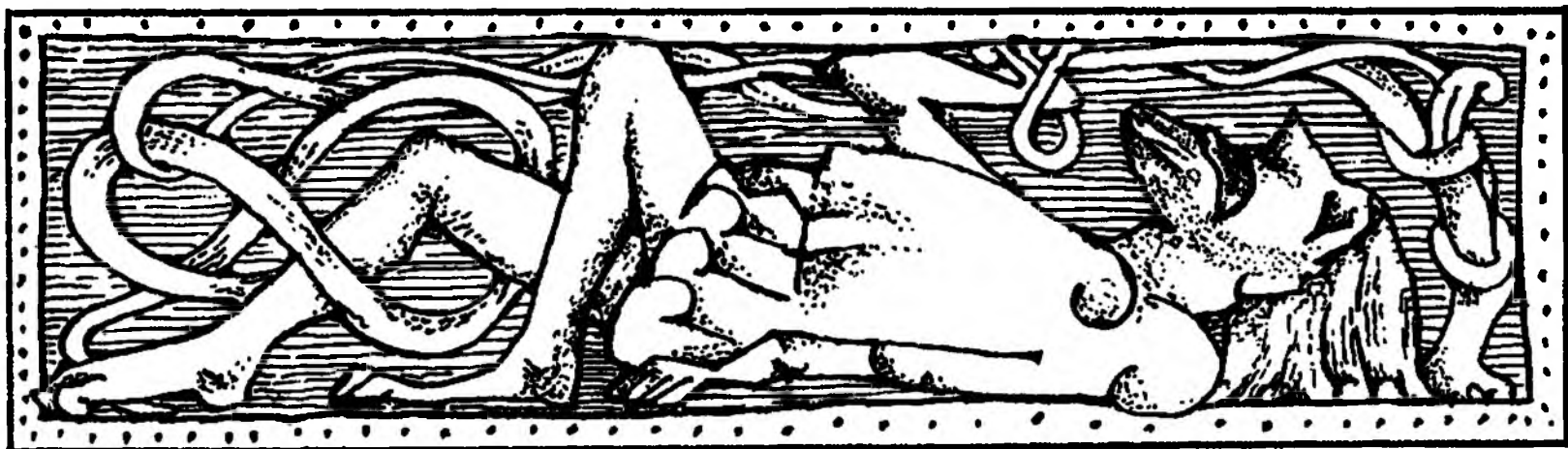
латинские гимны, противники дрожали от страха. Теперь же, если кто на берегу и вздрагивал, так оттого, что с трудом сдерживал недоверчивый смех.

Мирное зрелище, какое-то нереальное и невероятно наивное. Два пожилых господина и их разодетые жены отплывали в чуждальнюю сторону на кровавую битву — и восторженно махали на прощание руками, проплывая в устье Нида мимо королевского корабля. Там, на палубе, стояли обок короля и провожали крестоносцев Инга с юным Хаконом и другие родичи короля.

Как и следовало ожидать, Петер Стёйпер и жена его умерли в пути. Правда, никто не предполагал, что в могилу их сведет морская болезнь. Даже до Святой земли не добрались, упокоились в море у берегов Испании. Вскоре по этой же причине потерял жену и Рейдар Посланник, ее тоже схоронили в морских глубинах. Невзирая на почтенный возраст, привычный к походам Рейдар Посланник единственный из четверых, претерпев тяжкие лишения, дошел до Иерусалима. У гроба Господня он вознес молитву за упокой души своих усопших спутников. Рейдар Посланник едва не погиб, но, к счастью, встретил давних друзей из Нидерландов; они сжалились над ним и помогли поступить на службу к константинопольскому императору Генриху Фламандскому*, который вряд ли хоть раз посетил тот город, где был императором. Однако ж Рейдар был стар и отмечен печатью смерти — спустя четыре года после отплытия из Нидароса он скончался. Похоронили его в песчаном бархане, который ветры очень скоро навсегда стерли с лица земли.

В конце концов горестная весть достигла Нидароса, привез ее торговый корабль из Фландрии. Смерть Петера Стёйпера очень подействовала на короля Инги, он вовсе ослаб здоровьем и почти не вставал с постели, но теперь частенько заговаривал о том, что сам выступит в крестовый поход — как только поправится.

* Генрих граф Фландрии и Геннегау (1174 – 1216) — император Латинской империи (1206 – 1216).



ПО ДРЕВНЕМУ ЗАКОНУ СТРАНЫ

Уже два года юный Хакон сидел за книгами. Чего только он не узнал о христианской вере и ее идеях. Однажды к нему мимоходом заглянул ярл Хакон.

— Что учишь?

— Песнопения.

— Зачем тебе псалмы? Ты ведь не будешь ни священником, ни епископом.

Но кем же он будет?

Хакону было сейчас девять лет, примерно столько, сколько и шумному, горластому Гутторму, внебрачному сыну короля Инги. Гутторм отличался порывистостью и вспыльчивым нравом, однако на школьной скамье был вполне смирным. Пришла пора королевскому брату Скули учить мальчиков уму-разуму. Скули сравнялось двадцать четыре года, но держался он с такой солидностью, будто ему все шестьдесят четыре. Не весельчак, хотя всегда отменно вежлив. Внешне королевский брат был весьма привлекателен, ростом высокий, стройный, в глазах светилось тепло, а густые пышные волосы вызывали всеобщее восхищение. Он умел складно говорить и хорошо знал, как принято вести себя при европейских дворах. Впоследствии, ставши герцогом, он украшал свою лобную повязку изящными розетками, по моде иноземной знати.

В жизни Скули любил порядок. Все должно быть на своем месте. На самом верху находился Бог-Отец, далее следовали Бог-Сын и Святой Дух. Затем Пресвятая Дева и римский папа, затем король и так далее, до вонючих рабов-трэллей, что спали в хлевах и сараях. Каждый человек исполнял в жизни предназначенную ему роль, для которой и рождался на свет. В своей роли королевского брата Скули

ничего веселого не усматривал, он был приятным в общении, надежным молодым человеком, ревностным служителем долга, но временами на редкость скучным.

Он безрадостно занимался будничными делами королевства и воспринял свой брак с Рагнхильд дочерью Николаса как неизбежную судьбу. Отец Рагнхильд, пожилой лендрман из Гицки Николас Улитка сын Паля, водил в бой самый крупный боевой корабль короля Сверрира — «Эркесуден». Злые языки утверждали, что внешностью Рагнхильд очень походила на этот громадный корабль.

До сих пор монахи в основном растолковывали мальчикам, как устроен потусторонний мир. Теперь пришло время узнать, как обстоит с жизнью на земле. Для молодых господ, которые однажды займут свои места среди повелителей державы, это немаловажно, и королевский брат Скули отослал монахов и взял обучение в собственные руки. Он хотел, чтобы на его уроках присутствовал и сынишка Хакон Бешеного, Кнут, от рождения носивший титул юнкера, но ярл Хакон не пожелал, чтобы столь знатный молодой господин, как юнкер Кнут, сидел на школьной скамье рядом с мальчиками, рожденными вне брака. Потому-то юный Хакон и Гутторм, сын короля Инги, сидели вдвоем и дожидались Скули. Когда наставник вошел, оба встали. Королевский брат основательно подготовился к уроку и разложил перед собою густо исписанные листы пергамента, ибо все, что он намеревался сказать, требовало неукоснительной точности. И вот Скули начал читать вслух свои свитки.

— Каждой стране Господь назначил короля, дабы он ею правил. В Норвегии все короли ведут свой род от Харальда Прекрасноволосого и являются его наследниками. Он покориł всех мелких конунгов и создал единую державу. Иные из конунгов стали его вассалами, иные вместе с войском уплыли в Исландию и заселили остров. Случилось это три с половиной столетия назад. Ежели прикинуть, что всякий король вполне мог бы прожить лет восемьдесят-девяносто, получится, будто с тех пор строною правили десять-двенадцать королей, однако ж на самом деле мой брат, король Инги, тридцать второй в этом ряду. Стало быть, большинство наших королей правили не особенно долго.

Пока все было хорошо — мальчики без труда следили за ходом его мысли. И Скули продолжал:

— Король получает державу в наследство и владеет ею самолично, а власть передается в его роду из поколения в поколение и идет от Бога. Король действует по своему разумению, слово его — закон, но руководится он древним законом страны. Коли возникают сомнения, то на сей счет есть у короля законоговорители, которые могут ему поведать, как раньше поступали в том или ином случае. Повторите за мной: «По древнему закону страны».

— По древнему закону страны, — вразнобой повторили школяры, сперва Хакон, за ним Гутторм.

— Когда один король сменял другого, — продолжал Скули, — всякий раз надлежало поскорее установить, кто по рождению обладает наибольшими правами на корону Харальда. Много раз в стране из-за этого вспыхивали войны, много бед она извела. Вот почему ныне престолонаследником может стать только первенец короля, рожденный в законном браке. Родители наследника должны быть повенчаны.

— А если они не успели повенчаться? — спросил Хакон.

— Лишь королевские сыновья, рожденные в церковном браке, могут стать королями, — твердо заключил Скули.

— Правда ли, что в свое время юнкер Кнут станет королем?

— Мы этого не знаем. Возможно.

— Его отец, Хакон Бешеный, никогда королем не был.

— Но юнкер Кнут — единственный из вас, кто рожден в браке, освященном церковью. Коль скоро нет королевского сына, рожденного в церковном браке, архиепископ и двенадцать мудрейших мужей в каждой епархии должны избрать другого, а затем их выбор должен быть одобрен на Эйратинге, Гулатинге, Фростатинге, Боргартинге и так далее. Это называется *выборы короля*.

Наступившая короткая пауза словно бы подчеркнула: решение о том, что новый король должен быть рожден в браке, — окончательно и бесповоротно.

До сих пор мальчики успешно следили за ходом сложных объяснений. Однако велеречивый нидаросец Скули брат короля читал и рассуждал так солидно и так уныло, что они с большим трудом сохраняли бодрость. Смышлелый Хакон кое-как перебарывал сон, а маленький Гутторм уже начал клевать носом. Хакон тихонько шепнул ему:

— Раз уж Скули этак говорит, тебе надо выучиться зевать с закрытым ртом. Да и всем остальным тоже.

Скули поднял голову, и Хакон громко сказал:

— Дружинники говорят, что право наследования у королей божественное, потому что короли происходят от богов.

— Верно. Потому оно и божественное.

— Но те боги были языческие. Их теперь нету.

Скули пришлось выкручиваться:

— Твой дед, король Сверрир, говорил, что наши короли состоят в кровном родстве с императорами, папами и христианским Богом. Чтобы доказать свое божественное право наследования, им не нужен Один.

А Хакон уже заготовил новый вопрос:

— Дружинники говорят, у всех королей есть особенно ценное семя, какого ни у кого нет, и поэтому они, дескать, сеют повсюду, где придется. Я вот не понимаю, отчего королям так важно самим метаться по полям со всем этим семенем?

Скули быстро перевел разговор на другую тему:

— Инглинги и Халейги — очень знатные дома и царствуют не только в Скандинавии. Нормандские властители, которые ныне правят Англией и Шотландией, ведут родословную от нашего Ганге-Рольфа, а русские князья в Новгороде считают своим прародителем викингского конунга Рюрика. Он пришел туда из Шведской Державы, однако ж по крови был Халейгом. Потому-то в других странах власть строится в основе своей по нашему образцу.

Хакон не сдавался:

— Юнкер Кнут — никчемный и противный. Он будет плохим королем. Почему трон не может отойти к тебе или к твоему сыну Петеру? Или ко мне?

Скули смутился.

— Никто из нас не может претендовать на трон. Ты и Гутторм рождены вне брака, и королю Инги было угодно предпочесть в престолонаследии не меня, а юнкера Кнута. Наше дело — сторона, и я думаю, мы должны только радоваться этому.

— Я не радуюсь, — ответил Хакон, — и Гутторм не радуется, и ты, Скули брат короля, тоже не больно-то радостен, как я погляжу. Раз архиепископ должен выбирать, пусть на благо страны выбирает самого подходящего. А это, уж во всяком случае, не юнкер Кнут.

Скули брат короля был ошеломлен: совсем дитя, а мыслит как взрослый, и мысли-то какие — самому Скули ничего подобного в

голову не приходило. «На благо страны», «самого подходящего»? Этот мальчик, ровно король Сверрир, высказал вслух немыслимую мысль, но ведь он был прав. Юнкер Кнут, конечно, еще очень юн, однако не проявляет ни малейших задатков к тому, чтобы стать по-настоящему хорошим наследником престола. Скорее даже наоборот. Умом он не блистал, и на него большей частью смотрели как на несносного ребенка.

Скули опять попытался перевести разговор на другую тему:

— А теперь посмотрим, какой порядок установлен среди людей. Ступенью ниже короля находятся один или два-три ярла, которых король часто ставит наместниками над большими областями, где они правят самостоятельно. Хакон Бешеный — ярл и управляет Западной Норвегией.

— Там бы ему и жить, — заметил Хакон, — а он почти все время здесь, в Нидаросе.

— В иных странах, — продолжал Скули, — такие высокородные господа, как ярлы, зовутся герцогами. Это вроде как малость почетнее. За ярлами следуют королевские казначеи, или канцлеры. У короля есть придворный казначей, а еще несколько живут в самых больших городах, присматривают за королевскими владениями, казной и расчетами.

Хакон опять вмешался:

— Я знаю, что казначеи получают в год целых двадцать марок жалованья. Это чтобы они не соблазнились мздоимством. Ниже казначеев находятся лендрманы и стольники-скутильсвейны, их обычно десять-пятнадцать. Знаешь ли ты, Скули брат короля, как они зовутся у чужеземцев?

Скули невольно улыбнулся. Мальчик по собственному почину задал себе вопрос о знати и обо всей сложной системе управления, а изъясняется совершенно как взрослый. Прямо оторопь берет.

— Бароны и рыцари.

Хакон кивнул.

— Правильно. И за столом они сидят согласно своему званию, а именовать их надобно так: господин Дагфинн, господин Андреас, господин Брюньольв. При дворе есть еще королевские повара и кертисвейны. Король Инги велел теперь звать их по-другому. Как же именно?

— Похоже, ты прекрасно это знаешь, — улыбнулся Скули.

— Кухмистеры и пажи. Среди рыцарей у нас сорок-пятьдесят сюссельманов, которые управляют не только доходами короля, но и своими собственными. Там, где собирается тинг, сюссельманы нередко являются и лагманами, а еще есть среди них арманы, законоговорители и военачальники, которые руководят ратниками и боевыми кораблями.

Скули бы в затруднении от познаний Хакона и решил испытать Гутторма:

— Позволь спросить тебя, Гутторм, знаешь ли ты, кто располагается ступенью ниже сюссельманов?

Гутторм захлопал глазами и кивнул:

— Да.

Но ответить он не успел, потому что ретивый Хакон опять вмешался и на память отбарабанил:

— Затем идет дружина, и она самая многочисленная. Ею управляет конюший, то бишь королевский шталмейстер, он ведает перевозками и командует боевой королевской конницей. Это Дагфинн Бонд. За ним идет знаменосец, которому доверено королевское знамя; это господин Онунд. А затем — прочие военачальники и воины. Воины имеются повсюду в стране, но иные находятся при короле постоянно. Кто из вас знает, сколько у королей ныне дружинников?

— Несколько сотен, — ответил Скули, и тотчас последовало уточнение:

— Шестьдесят один — это личная охрана, они всегда трапезничают с королем; еще пятьдесят восемь тоже несут охрану, но в королевских трапезах участвуют лишь время от времени, и, наконец, сто двадцать три рядовых дружинника. Всего двести сорок два.

Хакон полностью взял на себя роль наставника. Скули брат короля, намереваясь снова перехватить бразды правления, отыскал в своих записях другое место и прочитал вслух:

— Когда король объезжает свою державу, его сопровождают ровно сто двадцать дружинников — «большая сотня». Ведь чтобы разместить всех как подобает, надобно точно знать, сколько людей прибудет с королем.

— Случалось, — добавил Хакон, — король брал с собою и триста дружинников. Тогда все знали, что он намерен обсудить какое-то важное дело.

Минуту-другую Скули в безмолвном удивлении смотрел на даровитого мальчика, а потом, наконец, сказал:

— Ты многому научился, Хакон, к тому же самостоятельно, хотя ты еще очень юн. И это свидетельствует о недюжинных задатках. Но может статься, тебе неведомо, почему для нас, людей королевского рода, столь важно до тонкости знать, как все устроено. Каждый из тех, о ком мы сейчас говорили, занимает свое место, свою ступеньку, и все они присягнули на верность королю. Вот потому-то для нас важно, чтобы все эти ступени, все эти звенья оставались прочны и крепко связаны друг с другом, чтобы не заводилась гниль и они не рассыпались. Это как сад с великим множеством буйных растений. Однажды мы будем работать в этом саду, помогая королю управлять. Нам должно слушать, изучать, обнаруживать и неверных слуг, и благонадежных сподручников, полоть, пересаживать, карать лишением «кормлений», награждать верных людей привилегиями, должностями, титулами. Дворянство для нас — полезный инструмент. Нередко деньги для человека значат меньше, чем баронский или рыцарский титул, — люди тщеславны. Для нас троих дворянство не просто предпосылка мирного и спокойного правления, мы должны уметь властвовать им, дабы постоянно обеспечивать себе необходимую поддержку. Наша задача — быть рачительными, искусными садовниками в королевском саду.

Скули брат короля ставил перед собой цель разъяснить мальчикам, какое будущее их ждет, и чувствовал, что успешно этой цели достиг. Они понимали теперь, почему престолонаследнику должно быть рожденным в законном браке и что их жизненная миссия — поддерживать короля изнутри той важнейшей иерархической системы, на которой зиждется королевская власть. Но Хакон Хаконарсон воистину поверг его в изумление. Маленький мальчик держался как взрослый, от Гутторма и других ребят таких речей никто слыхом не слыхал, а этот высказал мысли, над которыми ему, Скули, стоит подумать. Снова и снова в его ушах звучало: благо страны требует, чтобы королем стал самый для этого подходящий. Благо страны. Разве же он сам не больше подходит на роль короля, чем никудышный сынок Хакона Бешеного? Минуту-другую он пристально смотрел на Хакона, словно узнавая в невинном личике ребенка черты короля Сверрира. Что, если Сверрир родился вновь и сидит сейчас перед ним? Нет, это невозможно.

Скули брат короля закончил урок, сложил свои свитки и встал, собираясь уходить. Но приостановился подле удивительного мальчика, захотел испытать его, закрепить кое-что из сказанного раньше.

— Твой дед, король Сверрир, знал, что делал. Он отменил передачу по наследству духовных и светских должностей. И отдал эти должности людям, наиболее для них подходящим. Иногда тем, кто и прежде имел большую власть, а чаще — неимущим, которые отныне были всем обязаны королю.

Хакон улыбнулся.

— Дружинники научили меня песенке, которую король Сверрир сложил сам и частенько напевал:

*Того, кто силен и богат,
кто в жизни владеет всем,
бессмысленный дар — возносить.
Возвысь же того стократ,
кто бедствует в мире сем,
и вечно твой дар будет жить.**

* Перевод Е. Пучковой.



БРОСАЮЩИЙ ВЫЗОВ

Настал 1212 год.

Король Инги никак не мог избавиться от мысли, что комета, которую он видел, была знамением свыше. Кого ни спрашивал, все в один голос твердили, что кометы каким-то образом связаны с человеком, который затем первым встречается на твоём пути. Снова и снова возвращаясь в памяти к этому событию, король пришел к выводу, что для него таким первым встречным был Гаут Йонссон. Гаут давно вернулся в Бьёргвин, но король Инги знал, что Дагфинн Бонд охотно поспешит в Нидарос, потому что бьёргвинцы желали услышать о здравии короля и о том, не могут ли они что-либо для него сделать. Король Инги послал гонца к Дагфинну, пригласил его к себе и наказал привезти с собою господина Гаута.

Дагфинну Бонду было уже за сорок, и принадлежал он к числу славнейших мужей во всей Норвегии. Гаут Йонссон был молод. Этот их визит в Нидарос положил начало тесной дружбе с Хаконом Хаконарсоном — дружбе, которая продлится всю жизнь.

Когда корабль вошел во фьорд, и впереди открылся Нидарос, Дагфинн Бонд сказал Гауту Йонссону:

— Не дело это — собирать королевскую и церковную власть в одном городе.

Уже спустя несколько дней Гаут понял, что имел в виду господин Дагфинн. Сам по себе город Нидарос был величествен и роскошен. Однако ж трёндам — так звали обитателей здешних трэндхеймских краев, — которых Гаут всегда считал людьми бодрыми и веселыми, жилось в родном городе не больно-то весело. Атмосфера здесь была какая-то странная — архиепископ плел интриги за стенами своей резиденции, а хворый король сидел на своем корабле в устье Нида и лишь

изредка отваживался сойти на берег. Оба окружили себя многочисленной охраной, бдительно следили друг за другом, и у обоих не хватало духу ни громко посмеяться над этой ситуацией, ни совершить что-нибудь из ряда вон выходящее и тем досадить сопернику.

Пожалуй, не так уж и странно, что молодой, энергичный Гаут Йонссон и веселый десятилетний мальчик тотчас нашли общий язык. По причине своего высокого положения лендрман Гаут мог не опасаться укоризны, не то что простой дружинник, и сразу же стал соучастником самых отчаянных проделок. То они снимали ручки со щита какого-нибудь ворчуна дружинника, которому предстояло идти в дозор. То ночью подкрадывались к двум спящим монахам, известным своею злобностью, сшивали им подола ряс и ждали, когда монахи проснутся. Раз они даже настолько осмелели, что спрятали посох архиепископа, аккуратно перед тем как идти к торжественной мессе. Поднялся такой переполох, что они вообще не рискнули признаться, что это их рук дело. Правда, жертвы их озорства все же кое о чем подозревали. Мальчику, конечно, было необходимо общение — нельзя же вечно сидеть при матери, — да и посмеяться хотелось, а Гауту Йонссону не доставало живого веселья, к которому он привык в Бьёргвине.

Среди ночи за Гаутом Йонссоном прибыл гонец: король Инги требовал лендрмана к себе. Король опять хворал и лежал в постели, а разговор начал с того, что он, дескать, дал Господу обет отправиться в крестовый поход и должен сдержать свое слово. Только вот со здоровьем худо, недуги никак не отпускают.

— Я много думал о той комете, — сказал король, — и о тебе, Гаут Йонссон. Ты истинный христианин?

— Да, государь.

— И верный королю лендрман?

— Да.

— Тогда, выходит, ты и должен отправиться в крестовый поход вместо меня.

Гаут опешил и в замешательстве пробормотал:

— Но разве же я достоин такой великой чести?

— Сын славного Йона Гаутссона не может быть недостойным, и ты много раз с честью обнажал свой меч. Хорошо бы, твой брат

Арибьёрн составил тебе компанию, а заодно прихватил с собою всех баглеров, тогда в стране настанет долгожданный мир.

— Государь, ты не шутишь ли?

— Спасибо тебе за обет, Гаут. Выступай первым в Святую землю, я буду следом.

Король пылал в горячке. Понимает ли он, что говорит? Дружинник, стоявший в карауле, всем своим видом показывал, что король ныне просто не в себе. Гаут замялся, потом сказал, что мысль, конечно, христианская и стоило бы позднее обсудить ее подробнее. Может быть, теперь король позволит ему удалиться и отплыть в город? Позволение было дано, с пожеланием доброго пути в жаркие страны.

Инга из Вартейга встретила Дагфинна Бонда очень ласково. Она поблагодарила его за свидетельство перед королем Инги, который их одевал-обувал, предоставил кров и так заботился о воспитании мальчика. Снова и снова память уносила ее в Борг, в то счастливое, но столь недолгое время. Потом она стала выспрашивать подробности страшных происшествий в Бьёргвине. Господин Дагфинн снова и снова рассказывал обо всем, что знал, хотя и остерегся называть имена тех, в ком подозревал зачинщиков преступления.

Хакон подавал большие надежды, и как раз это тревожило Ингу. И Гаут, и Дагфинн Бонд прекрасно понимали, отчего в Нидаросе мать и сына дарили такой симпатией. Для многих они были как желанный луч света.

Дагфинн Бонд принадлежал к числу тех, кого имел в виду король Сверрир, сочиняя свою песенку о возвышении таких, «кто бедствует в мире сем».

Дагфинн Бонд был биркебейнер, хитрее, лукавее и тверже волей, чем любой уроженец Западной Норвегии. В нем бурлила энергия, не давала усидеть на месте. Дагфинн не мог не бороться — если не «за», то «против». Род Сверрира всегда стремился привлекать таких людей на свою сторону. А вот Хладиры и король Инги не умели понять, с какой легкостью человек вроде господина Дагфинна способен перевернуться. Не понимали этого ни ярл Хакон, ни Скули брат короля, ни даже архиепископ Торир. Но придет время, и им

придется это уяснить, да еще как. Дагфинн давно уже все продумал и спланировал.

Был вечер. Ярл Хакон прибыл на королевский корабль навестить своего сводного брата, который, к всеобщему удивлению, вдруг пошел на поправку. Скули брат короля решил воспользоваться случаем и показать Гутторму и Хакону, как подают на стол и разливают вино. Пора мальчикам узнать, как это делается, тогда в будущем они станут хорошими хозяевами. Король Инги искренне радовался успехам, каких добились оба мальчика, и не упускал случая похвастаться своим сыном Гуттормом.

Ярл Хакон не преминул подергать за эту струнку, а потом завел речь про своего сына, юнкера Кнута, и про его успехи. Ведь братья наверняка рады услышать это, поскольку именно юнкер Кнут, скорей всего, и будет следующим королем.

Скули помрачнел. Да и королю Инги не понравилось напоминание о договоре, который он заключил так неосмотрительно. Они предпочли бы сменить тему, но Хакон Бешеный продолжал:

— Конечно, мы очень сожалеем, Инги, но непохоже, что у тебя может родиться сын от законной супруги. И никто тебе это в упрек не поставит — ты же не нарочно захворал. Но договор заключен и оглашен на тинге. Я думаю лишь о благе страны и о том, что теперь мы первым делом должны проявить предусмотрительность и подготовить юнкера Кнута к его важной миссии.

Скули брат короля встал и отослал мальчиков на берег — пора спать. Потом выпроводил ближних дружинников и закрыл дверь — они трое остались одни. Король Инги понимал: настала решающая минута. Он сел в постели и сказал:

— Я что-то начал сомневаться в этом договоре. Возможно, нам стоило бы обсудить его заново.

Повисла тишина. Хакон Бешеный прямо ахнул:

— Как это «заново»? Письменный договор между королем и ярлом, засвидетельствованный четырьмя епископами и вдобавок оглашенный перед тингом? Возможно ли изменить такой договор? Он же заключен окончательно и бесповоротно.

Скули вмешался в разговор:

— Уж мы-то, рожденные властвовать, прекрасно знаем, что окончательным и бесповоротным бывает только правильное решение.

— Что ты имеешь в виду?

— Речь не о том, чтобы осуждать заключение этого договора. Просто со временем возникли кой-какие сомнения, и вопрос стоит вот как: было ли у нас тогда право составлять подобный документ?

— Право? А разве нет?

— Имеет ли король право сам назначать себе преемника, коль скоро этот преемник не королевский сын, а у самого короля есть наследник? Королевский сын, который вдобавок был так юн годами, что не мог участвовать в договоре.

— Законного сына нет. Гутторм рожден вне брака.

— Тем не менее он у короля первенец, и древний закон считает его старшим, независимо от того, рожден ли он от законной супруги или нет. Думаю, участников тинга весьма заинтересует, как поступали в таких случаях наши предки.

— Вот именно! — энергично поддакнул с постели король Инги.

Ярл Хакон отчаянно запротестовал.

— Король — верховный правитель. Если он решает заключить такой договор, ему никто не воспрепятствует.

— Но король может и переменить свое решение, — спокойно ответил Скули.

Король Инги тотчас с ним согласился.

Тут уж ярл Хакон не сумел сдержать свой норов.

— В таком случае я совершил ошибку, пойдя на то, чтобы Инги стал королем. В моих жилах течет кровь Харальда Прекрасноволосого, я разбираюсь в управлении, знаю дружину, я человек взрослый, энергичный. А Норвегии в нынешние времена не нужен... малолетний король.

Хакон твердил, что никому не нужен «еще один король-малолетка», имея в виду хилого Инги, но уже опамятовался. Скули все время говорил не повышая голоса, сдержанно, деловито:

— Юнкер Кнут тоже стал бы малолетним королем. А что до крови Харальда Прекрасноволосого, так она течет в жилах многих из нас, и ее даже больше, чем у тебя. У Инги, к примеру, и у меня.

Хакон Бешеный наконец-то смекнул, что к чему, залился краской и выкрикнул:

— Вот, значит, как! Я — сводный брат, а ты — родной, потому и перетянул его на свою сторону, чтобы после него корона перешла к тебе!

— Я этого не говорил.

— Ах, какой стыд. Какой обман. Если такой священный договор, как наш, того и гляди, будет отменен, если слово короля ничего не значит — диво ли, что в стране постоянно вспыхивает недовольство королем Инги, что всякие паршивые баглеры в Восточной Норвегии нагло объявляют, у них-де свой король и свое королевство? Это же глумление! Народ презирает короля, который не держит слово. Коли это будет продолжаться, народ взбунтуется, так и знайте. Церковь тоже на моей стороне. Она неукоснительно требует, чтобы престолонаследники были рождены в законном браке.

Тон Скули мгновенно стал ледяным:

— Это угроза?

— Никоим образом. Просто соображения, которые вам, если угодно, следует учесть.

Скули выдержал паузу, чтобы его слова прозвучали весомее:

— Я кое-что скажу тебе, Хакон Бешеный, и я знаю, мой брат, король Инги, в этом со мною согласен: если ты вынашиваешь измену, то, что ты нам сводный брат, тебя не спасет. Если мы убедимся в твоём предательстве, пощады не жди — ни для себя, ни для своих близких. Можешь не сомневаться, уж тут-то и король, и я своего слова не нарушим.

Хакон Бешеный фыркнул, встал, вышел, хлопнув дверью, и потребовал доставить его на берег. Он спешил к архиепископу.

Братьев этот инцидент, похоже, не слишком огорчил. Наоборот, они словно бы облегченно вздохнули на радостях, что все необходимое наконец-то было сказано. Король, все так же сидя в постели, проговорил:

— Мне показалось, глаза у Хакона Бешеного стали какие-то странно выпученные.

— У него всегда выпученные глаза, когда он выходит из себя.

— Н-да, пожалуй.

Скули брат короля подошел к двери и, кликнув охрану, велел дружинникам послать за Дагфинном Бондом.

В Бьёргвине настала осень. Небо в тучах, бесконечный дождь, смеркается рано. Хакон Бешеный пробыл здесь уже три недели и чувствовал себя не в своей тарелке. Из Нидароса он привез с собой

пышку Кристин, с которой толком не поговоришь, и сына, юнкера Кнута, который все время орал. Больше всего ярла бесило, что Дагфинн Бонд и прочие люди в крепости как бы и не замечали его. Когда он что-то предлагал, они вежливо слушали, а в итоге поступали так, как считали нужным, зачастую делая прямо противоположное тому, что говорил он. Не меньше злили его и воспоминания о разговоре со сводными братьями.

Думы одолевали Хакона Бешеного, лишали сна. Ему было необходимо хоть ненадолго отрешиться от всего этого, побыть одному. И он уехал на взморье, проведать свои имения. Как-то раз — погода в этот день была хуже некуда, тяжелые валы бились о берег — он прогуливался в одиночестве.

У воды играли дети. Дразнили волны. Море с грохотом обрушивало на прибрежные камни могучий прибой и, вскипая пеной, откатывалось назад. Тогда ребятишки подбегали к самой кромке берега, верещали и кривлялись, вопили и дразнили волны, выкрикивая обидные слова, некоторые даже отваживались на шаг-другой зайти в клокочущую воду.

— Эй, дураки безмозглые, дьявольское отродье, зачем вы забрали моего отца и его брата?!

— Нежить мокрая! Мерзкий тролль! Это ты напустил моровую язву на мою сестренку!.. Чтоб тебя, упырь проклятый, засосало дно морское, чтоб ты сдох!..

— Шатун бородавчатый! Змеюка ядовитая, это мы из-за тебя голодаем, ни зернышка в доме нету! Матушка все глаза выплакала!..

Разъяренные валы опять кидались на берег, тянули к дразнилам пенные щупальца, грохотали и ревели, а ребятня порскала врассыпную, стремглав мчалась обратно на сушу, восторженно взвизгивая и хохоча во все горло.

Они дразнили волны, бросали им вызов.

Море вновь отхлынуло, с долгим всхлипом. И ребятишки вновь принялись за свое.

— Коварный буян, ты хуже скаредного армана, который дерет налоги и отнимает у нас корову, хуже самого худого сквернавца, хуже бешеного, мерзостного ярла, хуже...

Тут дети заметили ярла Хакона и узнали его. Они так перепугались, что замешкались у воды и кинулись наутек в самую послед-

нюю минуту. На сей раз они побежали прочь от берега, домой, подалее от мрачной и грозной фигуры. Хакон Бешеный огляделся по сторонам. Один. Ни души кругом. И едва лишь море опять отхлынуло, он вдруг сам устремился на мелководье и во все горло завопил навстречу пенным гребням, выкрикивая издевки и угрозы:

— Они думают, ярл Хакон у них в руках! Думают, что могут отнять у меня то, что мне принадлежит! Думают, можно так просто порвать священный договор, скрепленный печатями короля, ярла и четырех епископов! Чтоб их черти взяли! Чтоб им сгнить в язвах, крови и собственных испражнениях! Чтоб им... чтоб им...

Огромные валы надвинулись на него. Хакон Бешеный метнулся назад и благополучно отбежал на безопасное расстояние. Потом глянул вокруг — не видел ли его кто? Он насквозь промок, но дышалось легче. Теперь он был достаточно спокоен, чтобы обдумать свой следующий ход.

Бросая вызов морю, воспрядываешь духом.

Зерно в тот год не уродилось, и бонды опять не сумели уплатить налоги. Тогда сюзсельман короля Инги в Стринде, Эйрик Фосс, созвал бондов из всех восьми уездов Трандхейма на тинг. Здешние бонды не очень-то жаловали сюзсельмана и порешили явиться на тинг в полном вооружении*. Доведавшись об этих планах, Эйрик призвал королевского брата Скули с большим конным отрядом и несколькими кораблями. Но Скули с подкреплением еще не прибыл.

Эйрик был человек гневливый, вспыльчивый. Он подскакал к боевым порядкам бондов и попытался заговорить с ними, но, встреченный градом камней и глумливыми возгласами, тотчас осерчал и концом своей пики огрел по спине одного из крикунов. Бонд резко повернулся и наотмашь рубанул секирой по бедру сюзсельмана. Эйрик покачнулся в седле, потерявши опору. Потом рухнул наземь, истекая кровью.

Бонды уже было пошли на людей сюзсельмана, но в эту минуту появился Скули брат короля со своими дружинниками. Часть бондов они перебили, остальных обратили в бегство.

* Вообще на тинге нельзя было иметь оружие.

В ближайшее время случился еще ряд стычек, из чего Скули заключил, что бонды получают новое оружие и иную поддержку из какого-то неведомого источника. С большим военным отрядом Скули брат короля прошел по Трандхейму огнем и мечом: рубил головы, вешал, сек плетями, палил усадьбы. Гаут Йонссон и маленький Хакон раз-другой были тому свидетели. Обоих это потрясло, и они только диву давались, как хладнокровно Скули взирает на весь этот кошмар. Не упивается жестокостью, но и отвращения не испытывает. Просто выполняет свой долг — точно поставлен колоть дрова или носить воду. Однако ж карательные экспедиции увенчались успехом. Мятеж был полностью подавлен.

В народе ходили слухи о том, откуда бонды получали поддержку и оружие. В частности, к этому якобы приложил руку новый архиепископ Торир Гудмундссон.

Король Инги не вставал с постели, и Скули теперь сосредоточил власть в своих руках, а потому у него появились тайные враги. Стоя у власти, человек должен уметь притворяться, говорить учтивости, играть разные роли. Он должен с умным видом слушать, когда разговор касается предметов, о которых он понятия не имеет, и не затмевать других своими познаниями, когда речь идет о знакомых вещах.

Скули брат короля отроду был надменен и спесив. Играть, смотря по обстоятельствам, то одну, то другую роль он не умел. И никогда не скрывал ни своего ума, ни учености, охотно пересыпая речь меткими выдержками из старинных преданий. Он так много знал о королях и древних божествах, что всегда мог ошеломить окружающих остроумной репликой, выставив честолюбцев-придворных глупцами и недоучками. Он привык производить впечатление — острослов, щеголь, галантный кавалер. И всегда оказывался прав. А в Скандинавии таких, что всегда правы, не жалуют. Вот иные и шушукались украдкой: Скули-то не в меру самодоволен; ишь, прямо королем себя возомнил, да не рано ли? — ведь трона ему не видать. Люди не прощают, если их ближний мнит себя тем, кем ему быть не дано.

Гаут Йонссон и тот, бывало, злился. Один-единственный раз Скули брат короля забыл в его присутствии о своем благоразумном

хладнокровии и повел себя импульсивно. Решив любой ценой добраться до истоков стриндского мятежа, Скули взял на службу заезжего немца — заплечных дел мастера по имени Бранвальд, грязного, плешивого, почти беззубого мужика с огромными ручищами. Этот мастер Бранвальд повсюду таскал за собой старый кожаный мешок, в котором гремели какие-то металлические штуковины.

Однажды вечером Бранвальд вылез из подвала, где «беседовал» с двумя горемыками из младших военачальников, и, как выяснилось, они сообщили ему немало интересного. Скули внимательно выслушал мастера Бранвальда, вручил ему вознаграждение, а затем, когда Бранвальд удалился, призвал к себе Гаута Йонссона и возложил на него некую миссию. Вид у Скули был очень возбужденный.

— Твой корабль готов к отплытию, — сказал он. — Ты немедленно отправляешься в Бьёргвин. Там ты наведишь Дагфинна Бонда, он знает, о чем речь. Вместе с господином Дагфинном пойдешь к ярлу Хакону и, когда вы трое — ты, господин Дагфинн и Хакон Бешеный — останетесь наедине, ты лично передашь ярлу весточку от меня.

— Весточка-то письменная?

— Нет, устная, и состоит она всего из двух слов: «Скули знает».

Три дня и три ночи длилось плавание, большей частью по внутренним шхерам, а местами и по открытой воде. Море сердилось, и Гаут, обычно не слишком страдавший от морской болезни, на сей раз устоял перед нею с большим трудом. Почти все время он провел в одиночестве, лежа на койке. Говорить о своей миссии он ни с кем не мог. Об этом его строго-настрого предупредили.

Долгое путешествие — ради двух слов. Но Гаут Йонссон не жалел ни о чем. Корабль стал на якорь у стен крепости, Дагфинн Бонд лично прибыл на борт. Миссия произвела на господина Дагфинна большое впечатление, хоть он и не подал виду. Сказал только, что они быстро покончат с этим делом. Передавши «весточку», Гаут тотчас уйдет и оставит его с ярлом наедине.

Никогда лендрман Гаут не видал, чтобы два слова этак подействовали на человека. Хакон Бешеный застонал, побелел лицом, пошатнулся и оперся на стол. Господин Дагфинн слегка кивнул — по этому знаку Гаут вышел и закрыл за собою дверь.

Минул вечер. А наутро Хакон Бешеный вдруг захворал: есть ему не хотелось, пить тоже, от света резало глаза, и в конце концов ярл

свалился в бреду и горячке. Он сквернословил и вел себя совершенно непотребно. Через день-другой он посинел телом, распух и почти потерял человеческий облик, а потом умер — в точности такую же странной смертью, какая унесла Хакона сына Сверрира, и в той же постели.

Вдову и юнкера Кнута выслали к шведам.

Когда все дела в Бьёргвине были завершены, Дагфинн Бонд сказал:

— Что ж, теперь все сдержали свое слово.

В тот же день Гаут Йонссон отплыл обратно в Нидарос с известием, что король Инги и ярл Скули могут немедля вернуть себе земли, которыми правил их сводный брат, и за меч хвататься не надо.



РОДИЧ РОДИЧУ — ЗЛЕЙШИЙ ВРАГ

Рано утром Гаута Йонссона отвезли в лодке на королевский корабль. Король Инги и его брат Скули ожидали своего посланца. Инги, напряженный как струна, сидел на краешке кровати; бледный Скули стоял, вцепившись руками в спинку стула. Братья догадывались, что за вести принес Гаут, но хотели услышать все из собственных его уст, будто совершенную новость. Дверь плотно закрыли. Гаут сразу перешел к делу.

— Хакон Бешеный мертв. Говорят, скончался от тяжелой болезни.

У короля Инги вырвался стон, он упал на постель и до подбородка натянул меховое одеяло. Скули брат короля встревожился, глядя на брата, но ничего не сказал.

— Умер он так же и в той же постели, что и король Хакон. Господин Дагфинн отослал госпожу Кристин и юнкера Кнута в Швецию, тою же дорогой, какой в свое время сбежала королева Маргрет.

Скули, помолчав, сказал:

— Благоразумно ли было отпускать юнкера Кнута?

— Такое условие поставил Хакон Бешеный, — ответил Гаут. — Господин Дагфинн просил передать, что он поручился за это.

Скули, даже не взглянув на хнычущего брата, твердо произнес:

— Помни, Гаут Йонссон: Хакон Бешеный скончался от тяжелой болезни, иных разговоров быть не должно. Если кто спросит, не было ли у него какой размолвки с королевским домом, ответ один: он поддерживал с нами наилучшие отношения, особенно с двумя младшими — Гуттормом Ингисоном и Хаконем Хаконарсоном. При дворе немедля будет объявлен трехнедельный траур.

— Иначе было нельзя? — простонал король Инги.

— Нельзя, — коротко отрезал Скули.

Как только Хакон Бешеный вышел из игры, Скули стал другим человеком. Он пребывал в добром расположении духа, держался еще солидней прежнего, и для Гаута Йонссона и других не составляло труда вычислить его следующий ход: Скули постарается улучшить взаимоотношения с церковью и архиепископом Тори́ром. Он и слышать не желал о том, что архиепископ поддерживал мятежных бондов. Напротив, оказывал Тори́ру большие почести, слал подарки, давал людей на строительство собора. Внешне Скули как будто бы пекся об интересах Гутторма, но очень уж тревожился за племянника: признают ли мальчика вообще престолонаследником, ведь он рожден вне брака. Вдобавок парнишка простоват, доверительно сообщал он.

Еще одним камнем преткновения были баглеры.

Скули брат короля начал оказывать повышенное внимание Гауту Йонссону. Благосклонно отзывался о его брате, грозном баглерском предводителе Арнбьёрне. Ведь его воспитывал сам епископ Николас Арнарсон, верно?

— Да, господин, — нехотя согласился Гаут Йонссон.

— Встреча с епископом Николасом оставляет неизгладимое впечатление.

— Я встречал только одного человека, который производил такое впечатление.

— Это был король Сверрир?

— Да, король Сверрир, враг епископа.

— Великие мужи, каждый в своем роде.

— Да, господин. Величайшие мужи.

— Твой брат Арнбьёрн имел замечательного наставника.

Гаут Йонссон понимал, что Скули брат короля проявляет к нему интерес только из-за Арнбьёрна и из-за того, что ищет способ привлечь баглеров на свою сторону.

— Говорят, — продолжал Скули, — Николас Арнарсон никогда не поддерживал Эрлинга Стейнвегга.

— Возможно, тот человек просто не был настоящим Эрлингом Стейнвеггом.

— Я слышал, он обещал королю Хакону не принимать сторону баглеров.

— Я тоже слышал, что он дал такое обещание королю Хакону.

— Но не королю Инги?

— Об этом ведомо только королю Инги.

— Однако же нельзя отрицать, что епископ Николас посодействовал, чтобы после Эрлинга баглерским королем был избран его племянник Филиппус.

— Мне это неизвестно.

— Во всяком случае, нам обоим известно, что Филиппус властвует на землях баглеров так, словно это его собственная, самостоятельная держава. И что баглеры обмениваются дарами с королем Иоанном Английским. И что Филиппус во всем берет с Иоанна пример.

— Мигом перестанет, как только услышит, что Ричард Львиное Сердце вернулся домой.

— Епископ Николас строит башни и укрепления вокруг своей резиденции в Осло, с валами и камнеметами, и держит немецких наемников. От кого это он намерен обороняться?

Гаут Йонссон сам хотел потолковать насчет баглеров и потому сказал:

— Не знаю. Может, у тебя есть свои соображения, господин?

— Пожалуй что, от короля Инги и от меня.

— У баглеров нет денег, а численность их так невелика, что они не смогут противостоять столь превосходящим силам.

Скули брат короля усмехнулся и произнес:

— Филиппус прислал весточку: он желает, чтобы нынешний мир упрочился. Предлагает встретиться на полпути между Осло и Нидаросом, на Квитесё в Рюфюльке, и обсудить раздел державы. Инги останется королем на Западе, а Филиппус, с нашего согласия, будет править Восточной Норвегией. Более того, если мы отдадим в жены Филиппусу дочь короля Сверрира, Кристину, тогда в жилах следующего короля Восточных земель будет кровь Сверрира. В случае нашего согласия само имя «баглеры» забудется навсегда. Как по-твоему, стоит дать Филиппусу позволение называться королем?

Гаут насторожился: не ловушка ли это? Серьезно глядя на брата короля своим единственным глазом, он сказал:

— По-моему, нет, господин. В стране должен быть один король. Дать Филиппусу право власти над Восточной Норвегией — еще куда ни шло. Но позволить ему называться королем — это уже чересчур.

Скули ответ понравился.

— Когда в стране один король и зовется он Инги, а не Филиппус, с властью все ясно, — сказал он. — Тут Филиппусу будет мало толку от своей правоты, пока ошибки делает король Инги.

На Квитесёйской встрече постановили примириться и разделить страну, но при условии, что Филиппус будет именоваться не королем, а как-нибудь иначе. Епископ Николас Арнарсон тихонько улыбался. Королевский титул — невеликая цена за благоденствие и мир. Кристина дочь Сверрира станет женой Филиппуса, а раз так, мстительности у биркебейнеров поубавится.

Однако ж уговорились они обо всем, не спросивши Кристину. Ей было двадцать семь, а Филиппусу — в два с лишним раза больше. Кристина пошла к епископу Николасу жаловаться, ибо была отнюдь не в восторге от такого замужества. Филиппус, сказала она, по-настоящему вовсе и не король, подобный брак для нее унижителен и выглядит как насмешка над памятью отца. Но у епископа Николаса разговор был короткий. Он напустился на нее и пригрозил, что, если Филиппус для нее нехорош, ее либо отдадут замуж за тридевять земель, на чужбину, и потомки ее никогда не увидят Норвегию, либо она станет женой простого бонда. И Кристина покорилась.

Для всех Квитесёйский мир был сущим благом, Кристина, однако, уживалась со своим пожилым супругом далеко не мирно. За неимением лучшего она попрекала его тем, что он ненастоящий король. Поэтому всякий раз, как за королевской печатью являлись послы, их встречали недовольством, и Филиппус отказывался выдать печать. Однако, прежде чем король Инги и Скули брат короля решили, как тут быть, случилось то, о чем, кроме епископа Николаса, почти никто и не думал. Кристина понесла. Но, слабая и истерзанная отчаянием, бедняжка умерла родами. В народе говорили, что она давно приготовилась уйти из жизни.

Младенец пережил свою мать всего на несколько дней. Сведущий в законах Филиппус действовал быстро: призвал лагманов и знатоков наследственного права и показал им дитя, когда оно еще шевелилось. И материнское наследство перешло к живому младенцу. А день-другой спустя, когда малыш умер, состоялись повторные смотрины. Теперь права ребенка на наследство и имущество были отменены и вернулись к Филиппусу. В итоге брак с Кристиной принес ему выгоду. Так он полагал.

Филиппус не сумел понять, что был всего-навсего пешкой в борьбе за власть, которую вели два блестящих интригана — его дядя, епископ Осло Николас Арнарсон, и Скули, брат нидаросского короля.

Скули с самого начала знал, что Филиппус серьезно болен, а его женитьба на Кристине дочери Сверрира была нужна лишь затем, чтобы утихомирить наиболее воинственных биркебейнеров. Вот почему весть, что эта чета ждет ребенка, так всех поразила. И теперь, когда мать и младенец сошли в могилу, Скули смекнул, что игра обернется к его выгоде. Утратив престиж, приобретенный благодаря браку с Кристиной дочерью Сверрира, Филиппус станет никому не интересен. Скули постоянно наводил справки о состоянии здоровья Филиппуса и ничуть не удивился, когда Филиппус внезапно слег и в скором времени умер.

Квитесёйский договор в итоге привел к тому, что Инги опять стал единовластным королем Норвегии. Баглерское королевство распалось. Скули заключил с баглерами мир, и опять все обошлось без кровопролития. Скули брат короля, как никогда, крепко сидел в седле. Противников у него оставалось раз, два и обчелся. Он был почти у цели.

В конце концов приготовился умирать и его брат, король Инги Бардарсон.

Однако еще задолго до того король Инги возвел своего брата Скули в достоинство ярла. Надеясь Скули столь высоким званием, король Инги рассчитывал, что уж теперь-то брат наверняка станет правителем при малолетнем Гутторме, пока тот, достигнув совершеннолетия, не возьмет власть в свои руки.

Напоследок же он призвал к своей постели Гаута Йонссона, а вместе с ним нескольких свидетелей из духовенства. Гауту напомнили про его обет отправиться вместо короля в крестовый поход, но король Инги до того ослабел и страдал одышкой, что так и не сказал, когда Гауту должно отплыть в Святую землю. Перепуганный Гаут хотя бы по этому поводу вздохнул с облегчением. Вообще-то он надеялся, что со смертью короля эта затея канет в небытие, а во время траура прочно забудется. Но среди свидетелей был ярл Скули, и в глазах у него прыгали злорадные искорки. Ярл прекрасно видел, что Гаут очень сблизился с юным Хаконом и, коли приспеет нужда, тому трудненько будет обойтись без Гаута, без его помощи словом и делом.

И вот король Инги скончался. Случилось это 23 апреля 1217 года.

Похороны пышностью не отличались. Никто почти не горевал в открытую, даже одиннадцатилетний Гутторм, которого все это как будто и не трогало. Одна только Инга искренне оплакивала усопшего. Король Инги был неизменно добр к ней и к ее сыну, и они с благодарностью думали о нем.

— Теперь Гутторм станет королем? — шепнул матери тринадцатилетний Хакон.

— Не знаю. Не будем об этом говорить.

Тогда Хакон шепнул Гутторму:

— Ты станешь королем?

Гутторм помедлил.

— Может быть. А может быть, дядя Скули. Ему охота, по-моему.

Гутторм по обыкновению, был ко всему равнодушен. Его даже королевская корона не интересовала. Гаут Йонссон, подслушавший шепот мальчиков, наклонился к Хакону и тихонько сказал:

— Еще неизвестно, может, ни тому, ни другому королем не бывать.

Гаут знал, что Дагфинн Бонд намерен предложить на тинге совсем другого престолонаследника и с давних пор заручился поддержкой.

Вскоре после похорон ярл Скули созвал всех епископов, знатных вельмож и военачальников, которые находились в городе, и обратился к ним с речью.

— Я сожалею, что мне приходится говорить об этом сейчас, когда еще слишком свежо горе утраты, но это мой долг. На Эйратинге предстоит избрать нового короля. Как вам известно, имеется только три претендента: двое детей — сын короля Инги, Гутторм, и сын ярла Хакона, юнкер Кнут, который находится за пределами страны, в Гаутланде; третий претендент — я сам. Я родной брат короля Инги, рожден в браке, как того и требует Святейший престол в Риме. А вот Гутторм, увы, рожден вне брака. Тем не менее кое-кто полагает, что Гутторм вполне подходит для того, чтобы стать нашим новым королем. И я хорошо их понимаю, хотя всем нам ведомо, что означенный отрок, возможно, не лучший претендент.

Один из присутствующих, по имени Эйстейн зять священника, заметил:

— Ты забыл наследника короля Хакона, господин, Хакона Хаконарсона. Ведь по крови именно он самый близкий родич Сверрира.

Скули будто и не слышал.

— Думаю, те, кто шел за королем Инги, предпочли бы пойти за его сыном Гуттормом, будь он рожден в браке. Юнкеру Кнуту я не очень доверяю, он вовлечет Швецию в борьбу за норвежское наследство, а это легко может привести к войне.

Скули едва заметно кивнул архиепископу Ториру, и тот сию же минуту взял слово. Дряхлый, трясущийся Торир подготовился загодя, написавши все, что надобно было сказать.

— По моему мнению, ты, ярл Скули, должен наследовать своему брату, королю Инги. По происхождению ты лучший из всех. Родоначальник рейнских мужей, который тоже звался Скули, был женат на рожденной в законном браке племяннице королей-братьев Харальда Сурового Правителя и Олава Святого. В твоём роду, ярл Скули, такие славные предки, как ярл Хакон Хладир, Эйнар Брюхотряс и Эрлинг сын Скьяльга. Ты муж зрелый, энергичный, безусловно сведущий в управлении, что ты доказал во время болезни твоего брата. Ныне нам надобен зрелый король, а главное — рожденный в браке.

Ярлу Скули стоило большого труда не выдать, каким удовлетворением он преисполнился от слов архиепископа, хотя они были ему не в новинку. Все прошло куда легче, нежели он смел надеяться. Теперь дело было за формальностями. Скули покорно — дескать, что тут поделаешь! — развел руками.

— Я понимаю, архиепископ Торир, ты меня уговариваешь. Ты человек мудрый, и коли другие поддержат твою точку зрения, я не стану перечить и ради блага страны приму на себя эту ответственную миссию, хотя бремя власти и очень тяжело. Но прежде нам надобно прийти в себя после горькой утраты — кончины короля Инги. Вопрос будет решаться не здесь и не сейчас, а на Эйратинге, в свое время. До тех же пор есть возможность хорошенько обдумать все, что здесь было сказано.

Встреча закончилась. Спору нет, нужно время. Как можно больше времени. Правда, ярл Скули не знал, что другие втайне употребили свое время, дабы подготовить нечто такое, чего Скули совершенно не принимал в расчет. Ярл Скули забыл принять в расчет Дагфинна Бонда.



ВЫБОРЫ КОРОЛЯ

Гаут Йонссон и юный Хакон Хаконарсон сидели в Ингином покое в королевских палатах. Комната была небольшая, но опрятная, как и сама Инга. Скули брат короля принимал у себя архиепископа, и вся поварня стряпала не покладая рук. По причине плохих зубов архиепископ Торир предпочитал кушанья, которые не нужно было подолгу жевать. Вдобавок он донельзя любил сладкое. Гаут с Хаконном унесли, спрятав под плащами, несколько душистых пирогов и теперь с наслаждением уписывали свою добычу.

— Хочешь поехать со мной в Бьёргвин, Хакон?

Гаут Йонссон много рассказывал тринадцатилетнему мальчику об этом большом городе, в котором тот бывал лишь проездом, а ведь там чего только не увидишь: каждый пятый житель — немец, и моряки приплывают туда из Англии, из Франкского королевства и других краев, даже из таких чужедальних, как Аравия, приходят на диковинных кораблях диксвинные темнокожие купцы. Гаут заранее знал ответ и, конечно же, услышал:

— Хочу. А еще хочу в Ставанг. Говорят, у тамошнего старика епископа есть дурная привычка разуваться, сидя за столом. Все, кто у него бывал, про это рассказывают. Мы потихоньку заберем его башмаки и спрячем — то-то будет смеху, когда ему понадобится на двор: кругом снег, а он босой!

Гаут расхохотался. Хакон, как всякий тринадцатилетний мальчишка, постоянно затевал проказы. Ребенок — он и есть ребенок. Так ведь и Гаута все зовут ребенком. Большим ребенком... В комнату вошла Инга из Вартейга. Закрыла за собою дверь. Гаут поднялся.

— Сядь, Гаут Йонссон. Мне надо поговорить с тобой кое о чем.

Гаут сел, думая, что, скорей всего, услышит сейчас внушение за какую-нибудь озорную выходку, которую устроили они с Хаконном.

Жаловаться ходили только к Инге, к другим и обращаться было бессмысленно. Однако же Инга повела речь совсем не о том.

— Некоторое время тому назад к королю Инги явились люди из Внутреннего Трандхейма, просили его отдать Емтланд в лен нашему Хакону. В ответ им было сказано, что король не намерен более делить королевство. Хватит уж этих разделов, а что до Хакона, так о нем и без того хорошо заботятся. Намедни те же люди явились к Хакону, при мне. Биркебейнеры. Ныне, сказали они, больно много охотников урвать кусок от Хаконова наследства. И они хотят, чтобы Хакон был с ними и сделался королем, как его отец; они соберут большую рать и мечом отвоюют его права.

— Что же ты им ответила, Инга?

— Ответила не я, а Хакон.

— Я ответил, что пока еще недостаточно взрослый и столь большие дела мне не по плечу.

Гаут посмотрел на мальчика с уважением: такой юный, а рассуждает не по годам мудро. Инга меж тем не обинуясь спросила:

— Хакон рожден вне брака, хотя Дагфинн Бонд знает, что все могло быть иначе. Как по-твоему, может ли Хакон стать королем, унаследовать своему отцу, Хакону сыну Сверрира?

Мать и сын в напряженном ожидании смотрели на Гаута. Он сознавал, что для них его приговор очень-очень важен.

— С тем же правом, что и другие, — наконец ответил он.

Повисло молчание. Вообще-то и у матери, и у сына мелькала такая мысль, только они ее не принимали всерьез и уж тем более не обсуждали. Да и заявления ярла Скули звучали слишком безапелляционно. Теперь же они уяснили себе, что это серьезно.

— Второй решающий момент — выборы короля, — сказала Инга, — я в это мешаться не стану, не знаю я, что лучше для такого мальчика, как Хакон. Но если для него лучше стать королем, то сопоставимы ли его шансы с шансами других? На равных ли он с ними? Что они могут использовать против Хакона как вероятного претендента на престол?

— Скажут, что Хакон сын Сверрира ему не отец.

Инга вспыхнула. И Гаут поспешно добавил:

— Ни Дагфинн Бонд, ни кто-либо из нас, кому известны все обстоятельства, никогда подобных мыслей не допускал. Но ты спро-

сила, что они выдвинут против Хакона, и я тебе ответил. Противники у нас хитрые, изворотливые. От них всего можно ожидать.

— Я не позволю марать мое имя наветом, что Хакон сын Сверрира мальчику не отец, — вскричала Инга. — Мой сын не какая-нибудь безотцовщина, не пащенок, и мы не бесстыжие мошенники, что норовят обманом заполучить привилегии, на которые не имеют никаких прав. Лучше уж я соглашусь на испытание каленым железом.

— Быть не может, чтобы возникла нужда в таком испытании, — перебил Хакон. — Король Инги и Петер Стёйпер приняли нас и при всех поручились, что я сын короля Хакона. Дагфинн Бонд подтвердил это своим свидетельством, а кто дерзнет обвинить во лжи такого человека, как господин Дагфинн? Хакон Бешеный и тот во все услышание говорил, что трое братьев сидят на наследстве моего отца.

— Единственное, что досталось Хакону от отца, — сказала Инга, — это фибула и золотой перстень. Все прочее наследство двух королей — Сверрира и Хакона — держит ярл Скули. В этом нет справедливости. Я знаю, что и об этом, и об иных правах мальчика говорят многие, что дружина и биркебейнеры не раз хотели встретиться с ярлом, однако ж Скули не откликнулся на их призывы.

— Ярл Скули знает, о чем поведет речь дружина, — заметил Гаут. — Потому и норовит похоронить все разговоры о Хаконе, чтобы выиграть время до Эйратинга. Он думает, время будет работать на него.

Хакон Хаконарсон встал и выпрямился.

— А я думаю, ярл Скули ошибается.

У архиепископа Торира разболелись зубы, и еще до того, как назначили срок Эйратинга, он скончался. Нового архиепископа звали Гутторм. Ярл Скули, который и постарался об избрании Гутторма, беспрерывно осыпал нового иерарха щедрыми подарками и знаками искреннего дружества. Однако ж архиепископ Гутторм вскоре отправился в поездку на север, в Халогаланд, и непохоже было, что он успеет воротиться обратно к началу тинга. Запомывал, что ли? Или сомневался в исходе и решил остаться в стороне? Скули призадумался, но все-таки уповал на то, что остальное нидаросское духовенство и другие епископы поддержат его, ибо из всех претендентов он один рожден в законном браке. Вдобавок он позаботился, чтобы два

его родича — Асольв из Аустратта и лендрман Грегориус Йонссон — повторили хвалебную речь, которую в свое время произнес архиепископ Торир. Там перечислены все доводы, а к столь важным и высокопоставленным людям всегда прислушиваются.

Да, Скули по-прежнему твердо верил, что выбор падет на него самого. Юнкер Кнут, который формально тоже считается претендентом, сидит у шведов; о племяннике его, одиннадцатилетнем Гутторме Ингисоне, никто уже вообще не вспоминает; а церковь Скули постарался привлечь на свою сторону. Духовенство имеет на выборах самое большое влияние, это бесспорно, и всем требованиям церкви удовлетворяет лишь один-единственный претендент — он, ярл Скули. Правда, есть еще юный Хакон, о котором начали кричать иные бузотеры. Как мог его брат, король Инги, столь опрометчиво признать этого пащенка сыном короля Хакона? Поневоле решишь, что король Инги перед смертью повредился рассудком. Скули прекрасно понимал: главный его козырь то, что Хакон — ребенок внебрачный. А уж если удастся поставить под сомнение, что этот мальчишка вообще сын короля Хакона, — считай, выигрыш за ним, ведь тогда никто не сможет выдвинуть юного Хакона претендентом на трон. Пожалуй, стоит подобрать молодцов пошустрее, чтоб они распустили этакий слухок.

Нидаросская дружина, числом невеликая, собиралась на сходы, где много рассуждали, а еще больше кричали. Раз за разом воины приглашали на свои сходы ярла Скули, однако ж он упорно не появлялся. И они смекнули, что ярл старается увильнуть от них, не хочет прежде Эйратинга ввязываться в прения о престолонаследии и разговоры о новых претендентах, не желает рисковать всем тем, что сумел себе обеспечить.

Многим дружинникам это пришлось не по нраву, особенно военачальнику Вегарду из Верадаля, известному своим склочным характером. Назначивши в большом королевском зале очередной сход, они отрядили с десятков людей к ярлу Скули — просить его прийти к ним. Тут уж вывернуться трудновато — Скули сделал хорошую мину и отправился с дружинниками. Когда он занял почетное место и обвел взглядом собравшихся — а было их немного, — Вегард из Верадаля встал и заговорил так:

— Господин ярл, мы не желаем более откладывать обсуждение выборов короля. Претендентов двое: ты, господин, и Хакон Хаконарсон. Мы хотим, чтобы впредь до Эйратинга вы оба и считались претендентами. Далее, мы хотим, чтобы вы оба присутствовали здесь, и отрок сидел подле тебя на почетном месте, и вы оба выслушали все, что мы имеем сказать. Если ты этого не желаешь, мы завтра же спустим на воду свои корабли и увезем Хакона Хаконарсона в Бьёргвин, к тамошним дружинникам.

Ярл Скули попытался было взять высокомерный тон:

— Есть ли в этом необходимость, Вегард?

— Есть, господин, и большая. Коли ты не пожелаешь выслушать нас на равных с Хаконем, дружина созовет на Гулатинг всю Юго-Западную Норвегию и там выберет Хакона королем.

Скули помедлил, не зная, насколько серьезно стоит воспринимать угрозы такого вскидчивого человека, как Вегард, но в конце концов улыбнулся и уступил.

— Я не хочу усобиц в стране, и коли вы решительно настаиваете, чтобы незаконнорожденный отрок сидел рядом со мною, будь по-вашему.

Скули встал и покинул зал. Сход был немногочислен — несколько сотен дружинников, да и те едва ли все, как один, на стороне Вегарда. Но у них, очевидно, есть тайные союзники в Бьёргвине, и вот это его встревожило. Ночью ярл призвал к себе близких людей. Они совещались и весь следующий день, и всю ночь, но о чем шел разговор, посторонние не узнали. Мало ли что хотел выяснить ярл Скули.

На третий день воинские начальники велели трубить сбор — сход назначили под открытым небом, во дворе королевской усадьбы, и прийти туда мог кто угодно из нидаросцев. У южной стены церкви Святого Николая устроили почетное место для ярла Скули. Рядом стояло пустое кресло. Мало-помалу начал стекаться народ, пришли и клирики из архиепископской резиденции и из собора, который тоже был по соседству, из королевских палат явилось довольно много людей ярла Скули. Замешались в толпу и праздные зеваки. Дружинники, созвавшие сход, быстро оказались в меньшинстве. Площадь между церковью и рекою Нид не отличалась просторностью и в скором времени была переполнена народом.

В наступившей тишине люди прянули в стороны, пропуская ярла Скули к почетному месту. Затем вперед вышел Вегард из Верадаля.

— Господин ярл! Нидаросская дружина полагает, что впредь до Эйратинга нужно обсудить двух претендентов на престол. Эти двое, о которых нынче и пойдет речь на сходе, — ты сам, господин, и молодой Хакон, сын короля Хакона, дружинники сейчас приведут его прямо со школьной скамьи. Намедни ты согласился, что оба вы будете присутствовать здесь, сидя рядом, как равноправные претенденты, и выслушаете все, что мы имеем сказать.

Ярл Скули едва заметно кивнул своему родичу Грегориусу Йонссону — тот шагнул вперед.

— Господин ярл! Многие из нас слышали об этом предложении и об этом сходе, который поддерживает малая часть дружины. Мы всё обдумали и пришли к выводу, что никакой спешки с прениями нет. Лучше подождать, пока вернется архиепископ Гутторм, да пригласить сюда других епископов и славных мудрецов, чтобы услышать и их совет в этом важном деле. Думаю, господин ярл, сейчас тебе стоит распустить сход.

Одобрительный шум и возгласы в толпе как будто бы подтверждали, что большинство полностью согласно с предложением Грегориуса разойтись по домам. Однако в крикунах легко опознали людей ярла, умышленно рассеянных среди толчеи. Поднялся немыслимый гвалт, дружинники чуть было с кулаками не пошли на ярловых подпевал. Онунд-знаменосец все же кое-как унял своих воинов и взял слово:

— Господин ярл! Нам, биркебейнерам, нет смысла дожидаться пространных речей архиепископа Гутторма. Мы и так знаем, что он скажет. Когда дело идет о ком-то из рода короля Сверрира, в речах архиепископа нет пользы ни Законам святого Олава, ни потребностям державы.

Биркебейнеры радостно зашумели. Духовенство и люди ярла помалкивали. А Онунд продолжал:

— На востоке, в Викене, зреет мятеж, и Бог весть, что они там натворят, пока наше войско сидит здесь без вождя. Мы послали дюжину добропорядочных мужей за Хаконем Хаконарсоном, чтобы он тоже выслушал нас. Сейчас он, по уговору, займет подобающее ему место.

Ярл Скули резко перебил Онунда:

— Не спешите сажать отрока на почетное место. Многие отнюдь не уверены, что он вправду сын короля Хакона.

Бегард из Верадаля, услышав это, пришел в бешенство. Зная, как легко он может сорваться, дружинники пытались остановить его, но на сей раз безуспешно. Бегард побагровел лицом и заорал:

— В первую зиму, когда мальчик пришел к твоему брату и к тебе, его приняли как настоящего родича короля Инги. Ярл Хакон при всех говорил, что вы, трое братьев, сидите на наследстве отца этого мальчугана. А конюший Дагфинн, которого никто никогда не мог обвинить во лжи, — конюший Дагфинн свидетельствовал, что король Хакон в его и Петера Стёйпера присутствии признал себя отцом мальчика. И ежели нынче говорят другое, так это все от зложелательства и козней тех, что намерены истребить в Норвегии королевский род и возвысить иных, не имеющих никаких на это прав.

Тут все закричали наперебой. Духовенство и люди ярла возмущались дерзкими выпадами Бегарда, дружинники стояли на своем. Началась потасовка, но любопытство заставило народ утихнуть, когда сквозь толпу провели к почетному месту побледневшего тринадцатилетнего отрока, Хакона Хаконарсона, и усадили в кресло подле ярла. Скули даже взглядом его не удостоил. Хакон скоро тоже перестал глядеть на ярла, и оба так и сидели, не глядя друг на друга, на протяжении всего этого примечательного схода.

Один за другим брали слово, говорили за Хакона и против Хакона, за ярла и против ярла. Два равно больших и равно непримиримых лагеря загодя выработали каждый свою позицию касательно престолонаследия и отстаивали ее с жаром, не давая себя прервать. И оставались непоколебимы. На этом воинском сходе никто никого не слушал, только дожидались, чтобы противник закрыл рот и можно было выступить самому. Тайные совещания ярла Скули прошли не зря: он знал, куда клонят дружинники, какого решения хотят. Через своих людей он сумел принять контрмеры и теперь потчевал интриганов своей панацеей. Скули спокойно сидел и слушал, а когда сход закончился, все разошлись, уяснив себе только одно: у ярла Скули появился соперник, тринадцати лет от роду, по имени Хакон Хаконарсон. Но насколько этот соперник серьезен, никто знать не знал. Сам ярл не тревожился, однако ж впредь решил действовать только наверняка.

Теперь ярл Скули был уверен, что истинный его противник не кто иной, как конюший Дагфинн Бонд из Бьёргвина. Своим умом ни даросские дружинники до такого не дошли бы, слишком они разобщены. Господин Дагфинн — единственный, кто мог объединить дружину и на расстоянии создать в ней подобный настрой. И первым делом ярл послал господину Дагфинну распоряжения, поставив перед ним целый ряд безотлагательных и сложных задач — конюшему надолго их хватит, не то что к Эйратингу, а и после него скоро управится. Не успел Скули спровадить гонцов на юг, как пришла Инга из Вартейга: ей надобно с ним поговорить.

Скули встретил ее учтиво и весьма приветливо. Инга была серьезна и сразу перешла к делу.

— Я слышу, ты не уверен, что король Хакон родной отец моему сыну?

Ярл заюлил.

— Я не говорил, что *сам* не уверен, я сказал: *многие другие* не уверены в этом.

Инга с трудом овладела собой.

— Сегодня ночью я пойду в церковь Апостола Петра и, по обычаю, буду поститься. А ты, ярл Скули, ступай к твоим друзьям в Ни даросском соборе и скажи им: я готова к испытанию каленым железом в доказательство того, что отец мальчика — король Хакон.

Минуту-другую ярл стоял в раздумье. Если Инга сожжет руки каленым железом — он выиграл. Мальчишка не сможет претендовать на трон. Но эта женщина так уверена в своей правоте, так пугающе решительна. Что, если она пронесет железо и свершится невозможное — железо не оставит следов? Тогда происхождение Хакона будет неопровержимо доказано и можно ожидать чего угодно. Но таких чудес не бывает. Скули охотно посмотрит, как она будет нести каленое железо, но стоит ли рисковать, позволив ей сделать это уже сейчас, перед Эйратингом?

Ярл Скули принял решение. Послал к Инге сказать, что для испытания все готово и он уверен, святой Олав защитит ее, так что никогда и никто больше не усомнится в происхождении Хакона. Но когда пришло время вынести железный прут, оказалось, что он исчез, неведомо куда. Кто-то из каноников сказал, что непозволительно устраивать испытание прежде, чем архиепископ вернется из Халогаланда.



ХАКОН, КОРОЛЬ НОРВЕГИИ

Близился срок Эйратинга. Ярл Скули пришел к мысли, что у Дагфинна Бонда наверняка есть свой человек в Нидаросе и что человек этот — Гаут Йонссон. Господина Дагфинна ярл вывел из игры, на тинге он не появится; теперь нужно было удалить и господина Гаута. И Скули призвал Гаута к себе.

— Обет, который ты при свидетелях дал королю Инги, очень нас тогда порадовал. Мы всегда будем вспоминать тебя с благодарностью, поскольку ты изъявил желание почтить память моего брата, отправившись вместо него в крестовый поход, в Святую землю. Ныне пришел, наконец, счастливый день: у нас появилась возможность исполнить твою мечту, осуществить христианское деяние. Два корабля стоят готовые к отплытию и нынче вечером выйдут в море.

— Нынче вечером? Я должен нынче вечером отправиться в крестовый поход?

— Пути Господни неисповедимы. Бог тебя благослови.

Ярл Скули широко улыбнулся и ушел. Гаут Йонссон ничего не мог поделать. До избрания короля на Эйратинге ярл Скули был в стране первым лицом, и в повиновении ему так просто не откажешь. Поздно ночью господин Гаут, собрав свои немногочисленные пожитки, поднялся на борт. И еще до рассвета корабли вышли в море. Гаута Йонссона не будет на Эйратинге рядом с претендентом Хаконом.

И вот настал великий день тинга. Уже накануне вечером люди ярла поставили большие палатки для высоких гостей и для посланцев со всей страны. Самая большая и яркая шелковая палатка предназначалась для ярла и его близких. Палатка Хакона была скромнее и стояла далеко от ярловой.

С утра начали собираться окрестные бонды. Один за другим прибывали епископы, священники, аббаты, монахи и прочие духовные персоны. Архиепископа Гутторма не было, но это никого не удивило. Подъезжали воинские начальники со своими дружинниками, лендрманы, бароны и рыцари с оруженосцами. Хакона Хаконарсона сопровождали его мать Инга, Вегард из Верадаля, Онунд-знаменосец и несколько суровых дружинников, которые, как все видели, были вооружены. Затем явился ярл Скули, верхом, в белой шляпе, роскошном платье и развевающимся плаще. Он скакал во главе большого конного отряда — всадники были в доспехах, копья украшены вымпелами со львом. Прежде чем спешиться, Скули долго кивал и улыбался направо и налево.

Внезапно среди дружинников прокатилась волна ликования. Ярл Скули сперва было решил, что приветствуют его, и тут увидел — Дагфинна Бонда. Скули не поверил своим глазам. Когда господин Дагфинн остановился и отвесил ему поклон, он спросил:

— Все ли задачи ты выполнил?

Господин Дагфинн улыбнулся, а ответ его можно было истолковать по-разному:

— Сделано все, что нужно, господин.

И вот тинг начался. Сперва по очереди держали речь двое родичей ярла — Асольв из Аустратта и Грегориус Йонссон. Оба говорили одно и то же, что-де по происхождению ярл Скули лучший из всех, что родоначальник рейнских мужей, который тоже звался Скули, был женат на рожденной в законном браке племяннице королей-братьев Харальда Сурового Правителя и Олава Святого, что в роду его столь славные предки, как ярл Хакон Хладир, Эйнар Брюхотряс и Эрлинг сын Скьяльга, что ярл Скули не дитя, а зрелый муж, который именно и нужен стране в нынешнюю пору, что во время болезни брата он доказал, что умеет править, и главное — он рожден в браке. А это строжайшее условие поставил Святейший престол в Риме, в противном случае церковь не признает выборы действительными.

Оба повторили одну и ту же пространную речь, которую некогда отбарабанил архиепископ Торир, один за другим повторили ее слово в слово. Кто-то даже шепнул, что они не иначе как позаимствовали текст у архиепископа Торира.

А дальше грянул гром среди ясного неба.

Биркебейнерские вожди один за другим выступали в поддержку тринадцатилетнего Хакона как законного короля Норвегии. Онунд-знаменосец и Вегард из Верадаля никого этим не удивили, но то же самое сказал и Роар, родич ярла, да и все остальные, кто, как говорится, имел в этом деле вес. Все они в один голос твердили, что Скули королем быть не должен и что есть только один претендент, вокруг которого они могут объединиться.

Наконец поднялся Дагфинн Бонд, чтобы сказать последнее слово. Некоторое время господин Дагфинн стоял молча, потом вынул из-за пазухи грамоту. Он был конюший дружины, сюссельман, законоговоритель на Гулатинге, начальник крепости короля Сверрира в Бьёргвине. Господин Дагфинн знал, что к нему прислушаются, а потому был краток:

— Я приехал с Гулатинга. И мне поручено сказать, что Гулатинг готов присягнуть на верность Хакону Хаконарсону как единственному законному королю. Если завтра здесь, на Эйратинге, он не будет избран королем, биркебейнеры увезут внука Сверрира в Бьёргвин и объявят войну всякому в Норвегии, кто дерзнет отнять у него королевский титул.

Тут грянуло ликование. Дружинники кричали и колотили по щитам, бросали в воздух все, что попало под руку, обнимались. Кто-то выкрикнул имя Сверрира. Общий восторг захватил и бондов, они кричали: «Сверрир, Сверрир!» Духовенство хранило молчание. Говорить было бессмысленно.

Ярл Скули сидел точно парализованный. Он был совершенно уничтожен. Хитрого лиса перехитрили. Бледный, он встал, с отсутствующим видом поклонился тринадцатилетнему и ушел в свою палатку. Хакона подхватили и собрались было качать, но Дагфинн Бонд немедленно пресек эту затею. С будущим королем подобные вольности недопустимы.

В палатке Инги и Хакона царила радость пополам с недоверием. Ошеломленный мальчик смеялся, и шутил, и никак не мог осознать, что все это правда. Хотя твердой уверенности пока не было. «Назавтра все может случиться, — говорила Инга. — Вдруг те, кто будет решать, передумают да и примут сторону Скули. Остается только надеяться, что ярл Скули не сочтет актом неприязни то, что Дагфинн Бонд явился на тинг с таким большим военным отрядом».

Всю ночь в палатке ярла Скули горели свечи. Он подолгу совещался со всеми вельможами, с какими только возможно, говорил громко и много. Все они отвечали учтиво, но обязательств ни один не давал. Вокруг конюшего слишком много дружинников, и речь господина Дагфинна прозвучала вполне однозначно. Под утро ярл понял, что опоздал. Все его приготовления пошли насмарку. Тринадцатилетний Хакон будет королем. Скули не хотел себе в этом признаться, но Дагфинн Бонд связал его по рукам и ногам. До поры до времени.

На следующий день тинг прямо дождаться не мог, как бы поскорее присягнуть Хакону. Привели старого Скервальда из Гаулардаля. Пусть мальчика провозгласит королем тот же человек, который пятнадцать лет назад провозгласил королем его отца, Хакона сына Сверрира. Что ж, ростом мальчик невелик, но взгляд у него решительный. Со слезами на глазах старик посмотрел на него, воздел руки и произнес:

— Присягаю тебе, Хакон, король Норвегии!

Разразилось ликование.

Хакон взмахнул рукой, призывая к тишине, и сказал:

— Первое наше повеление таково: отныне и впредь моя матушка будет зваться Инга мать короля.

Когда воротились первые участники Эйратинга, все в Нидаросе пришло в смятение. Никому здесь даже в голову не приходило, что рожденный в браке ярл Скули не станет королем. Куда же подевался архиепископ Гутторм? Почему его не было на месте? Не веря своим ушам, люди слушали, как лендрманы и дружина приняли присягу и стали воинами короля и ярла. Выходит, ярл по-прежнему был у власти — может, как правитель при короле Хаконе, пока тот не достигнет совершеннолетия? Один каноник, встретивши ярла Скули по дороге в королевские палаты, дерзнул сказать:

— Я слышал, дело решено, господин?

— Ничего не решено! — прошипел Скули. — Окончательно и бесповоротно только правильное решение.

Это ярл Скули говорил и раньше, в другой связи. Он всегда так говорил, если что-то было ему не по нраву, но каноник об этом не ведал.

Теперь дружинники явились к Церкви Христа и потребовали от каноников вынести раку Олава Святого, чтобы король дал присягу. Каноники заперли двери, а звонари сказали, что если кто вынесет раку силой, без дозволения архиепископа, то будет предан анафеме. Казалось, вот-вот вспыхнет рукопашная, но подоспевший Дагфинн Бонд быстро утихомирил воинов. Рака подождет.

Последние дни были для короля Хакона куда более серьезным испытанием, чем думали многие. Инга мать короля, понимая мальчика, хотела, чтобы ему дали отдохнуть. Господин Дагфинн решил исключить все случайности и позаботился о круглосуточной охране молодого короля. Двенадцать отборных дружинников с оружием постоянно стояли на часах. Без предварительной договоренности и без надзора никто не входил; еду и питье подавали, только снявши пробу. Радостное ликование на тинге резко сменилось суровой необходимостью будней. Мальчик стал необычайно серьезен, прежде никто его таким не видел. За день-другой король Хакон повзрослел на несколько лет.

Очень скоро все уразумели, что если бы ярл Скули попытался захватить корону силой, без боя он бы ее не получил. Из фьордов нежданно-негаданно явилось великое множество кораблей с дружинниками из Бьёргвина и других городов. Корабли стояли в гавани, и случись что, конюший подаст им сигнал. Если Скули возьмется за оружие, он не сможет противостоять столь превосходящим силам. Хитроумный Дагфинн Бонд продумал все как надо. Скули вправду вынашивал планы захвата власти. Однако ж после разговоров со своими людьми он поневоле их изменил. Господин Дагфинн тоже знал от своих соглядатаев, что в Нидаросе зреют беспорядки.

Но до драки не дошло. Увидев в гавани лес мачт, ярл Скули тотчас отбросил эту возможность. Зато, чтобы выиграть время, он измыслил новую стратегию, а вместе нашел способ сохранить за собой львиную долю той власти, которая прежде была целиком сосредоточена в его руках.

На встрече с королем, господином Дагфинном и другими ярл сообщил, что считает себя регентом и опекуном — на несколько лет, оставшихся до совершеннолетия Хакона, после чего тот сможет править единолично. Все остолбенели. До сих пор никто об этом даже не заикался, хотя идея буквально напрашивалась сама собой. А Ску-

ли меж тем предложил кое-что еще, твердо зная, что на это они клюнут, а в итоге и регентство тоже будет за ним. Он вызвался сопровождать Хакона в парадном плавании вдоль побережья, чтобы все видели — между королем и ярлом нет ни малейшей неприязни.

Против такого предложения господину Дагфинну было нечего возразить — ведь это бы разом пресекло беспорядки. И вот они поднялись на борт; король Хакон, Инга мать короля и господин Дагфинн со свитой — на один корабль, новый регент, ярл Скули, со свитой — на другой. Дагфинн Бонд позаботился, чтобы обе партии плыли порознь. Флот направился в Бьёргвин. Малолетний король постоянно находился под охраной дружинников, которые не давали ему шагу ступить в одиночку.

Однажды на рассвете корабли обогнули Кварвен, и перед ними открылся Бьёргвин. Но что это? Вон там, у стен королевской крепости... Быть того не может! Там стояли на якоре два корабля, с оборванным такелажем, изрядно побитые непогодой. Не на этих ли кораблях ушел в свой крестовый поход Гаут Йонссон, лучший друг короля Хакона?

Еще не закончилась швартовка, а они уже услышали всю историю из уст самого Гаута. Он стоял на причале, и настроение у него было превосходное. Крестовый поход Гаута Йонссона продолжался недолго. Набранная с бору да с сосенки команда, протрезвев, быстро охладела к плаванию в Святую землю, тем паче что большая часть жалованья была пропита еще до отплытия. Некоторое время они курсировали в Северном море, а через неделю-другую вошли в шхеры южнее острова Сторд. В конце концов собрался шторм. И тогда они начали опять пробиваться на север, чтобы укрыться в ближайшем порту — в Бьёргвине, и там корабли стали на якорь в Бухте, с оборванным такелажем, с изодранными парусами, явно выдержавшие в открытом море такую бурю, что просто чудом сумели добраться до гавани. Господь в мудрости своей не пожелал, чтобы Гаут Йонссон совершил крестовый поход.

Король Хакон был счастлив. Господин Дагфинн тихонько присоветовал ему по случаю возвращения пожаловать Гауту Йонссону Эльвесюссель. Король так и сделал, без колебаний, прямо на корабле, хотя не слишком хорошо представлял себе, где этот сюзсель рас-

положен. Годы спустя они частенько шутили, что господин Дагфинн не иначе как ясновидец. Только представьте себе: он знал, что господин Гаут будет ждать их в Бьёргвине, и с ходу придумал насчет Эльвесюсселя. И ведь по удачному стечению обстоятельств сумел разом отблагодарить всех трех братьев — Гаута, Аскеля и Арнбьёрна — за то, что некогда они спасли ему жизнь.

А на следующий день юный король Хакон, сбежав от своей охраны, отправился гулять по Бьёргвину и был найден за беседою с архи-диаконом Аскелем Йонссоном, братом Гаута. Инга мать короля взяла с сына обещание, что больше такое не повторится. Правда, никто не надеялся, что он сдержит свое слово.

Начался июль 1217 года, и в Бьёргвине готовились приступить к разбирательству о наследстве, которое причиталось ярлу Скули после его брата, короля Инги. Защищать интересы ярла и на сей раз будет его родич Грегориус Йонссон, который взял себе в помощь еще одного родича, Паля Флиду. Оба понимали, что решение находится в руках войсковых вождей — хёвдингов, а их держит в руках Дагфинн Бонд. Так что вряд ли удастся добиться многого. Они чувствовали, что заранее было решено отдать ярлу Скули как можно меньше, и предчувствие их не обманывало.

Однако же ярл сдаваться не привык. Он немедленно вскочил и взялся за дело сам, отстранив растерянных родичей. Скули произнес пламенную речь и в итоге нежданно-негаданно получил под свою руку третью часть страны и право на тамошние налоги, а также был утвержден как опекун Хакона впредь до его совершеннолетия. Хёвдинги оценили позицию человека, который не склонялся перед неудачей. Он так замечательно говорил и был один как перст — явно незаурядная личность, а на таких много напраслины возводят. И они его поддержали.

И вот настал черед Гулатинга провозгласить Хакона королем. Звонко запели трубы, созывая на сход к Церкви Христа. Под песнопения монахов торжественно вынесли раку святой Суннивы и другие священные реликвии. Сигурд из Онархейма обратился к Хакону с приветствием от имени лагманов Гулатинга. Конюший Дагфинн Бонд сказал речь. Первый и единственный раз суровый господин

Дагфинн едва сумел скрыть умиление. Он злился на себя и все же был растроган до слез, понимая, что это высочайший миг в его жизни. На норвежском троне теперь внук Сверрира. И это его заслуга — так он, Дагфинн Бонд, отблагодарил короля Сверрира и Хакона сына Сверрира за все, что они для него сделали.

Под конец господин Дагфинн подал знак бонду Стейнгриму Стрюлю — тот вышел вперед и перед всеми собравшимися на Гулатинге провозгласил Хакона королем.

— Присягаю тебе, Хакон, король Норвегии!

Затем все они, лендрманы и бонды, торжественно принесли новому королю клятву верности. Хочешь не хочешь, сделал это и ярл Скули.



ИСПЫТАНИЕ КАЛЕННЫМ ЖЕЛЕЗОМ

Король Хакон, ярл Скули и Гаут Йонссон совершали морскую прогулку в Хегренес, что к северу от Бьёргвина, когда их неожиданно догнал корабль Дагфинна Бонда. Конюший поднялся на борт.

— Нидаросские каноники прислали письмо епископу и каноникам Бьёргвина, в котором пишут, что те не должны оказывать королю Хакону никаких почестей.

— Что же говорят на это священники Церкви Христа? — озадаченно спросил король Хакон.

— А то и говорят, что пребывают в сомнении. С одной стороны, хорошо бы явить покорство Нидаросу, с другой же — королю, со всеми надлежащими почестями.

— Тут мы ничего поделать не можем, — подхватил ярл Скули. — Церковь вправе иметь собственное мнение.

Король Хакон посмотрел на него.

— И каково же мнение нидаросских клириков?

— Не знаю, государь, но, возможно, там не уверены в твоём происхождении.

Дагфинн Бонд посуровел:

— Если церковь вправе иметь *такое* мнение, она быстро уничтожит высокое достоинство, которым облечен король.

— Езжай обратно к бьёргвинским каноникам, — сказал король Хакон, — и передай им, я жду, что они поступят лучше, нежели их нидаросские собратья. А коли нет, то очень скоро узнают, по душе мне это или не по душе.

Дагфинн отправился назад.

Когда королевский корабль показался в виду города, в церквах зазвонили колокола, а священство на лодках вышло навстречу, самым что ни на есть подобающим образом.

Бьёргвинское духовенство держало его сторону, и король Хакон чувствовал, что ни даросских клириков ему опасаться незначем. Ими он в другой раз займется. Пока что ему, четырнадцатилетнему, все было в новинку, и увлекался он больше тем, что интересовало его сверстников, — играми и шалостями.

Зато ярл Скули тратил время на серьезные дела.

Скули постоянно совещался со своими ближними людьми, и всегда при закрытых дверях. Слал письма на север страны и на юг. Мало кто знал, о чем в них речь, и королю никогда их не показывали. Но Дагфинн Бонд смотрел в оба, и однажды ярл Скули зашел слишком далеко. Он послал Оркнейскому ярлу Йону письмо и запечатал его печатью короля Хакона. Гонца звали Йостейн Томб, и был он верным человеком господина Дагфинна.

Канцлером король Хакон, по совету господина Дагфинна, назначил Ивара Бодди. Теперь канцлер Ивар пришел к королю и спросил, читал ли он письмо со своей печатью, которое отослал ярл Скули. Король ответил, что нет. Письмо по-прежнему находилось у Йостейна Томба, а тот ждал распоряжений под Хердлевером, северо-западнее Бьёргвина; туда-то и поспешил за этой депешей канцлер Ивар. Однако же ярл каким-то образом проведал обо всем, ибо, когда канцлер Ивар прибыл на место, письма у Йостейна уже не было — его только что забрали люди ярла.

Вечером, созвавши совет, ярл метал громы и молнии. Он регент и не потерпит, чтобы другие вскрывали его письма, чьей бы печатью он их ни скреплял. Не обинуясь, он выложил все, что думал обо всех этих смехотворных и самозванных советниках, которыми бьёргвинские военачальники окружили короля. Грегориус Йонссон поддакнул и заявил, что так называемого канцлера Ивара Бодди растерзать и то мало. Тут уж поднялся Ивар Бодди и сказал, что вовсе не намерен испытывать на прочность взаимоотношения короля и ярла и, радея о мире и согласии, слагает канцлерские полномочия. Пожалуйста, он готов отдать себя на растерзание, коли от этого будет какой-то прок.

Ночью совет собрался еще раз и назначил канцлером Дагфинна Бонда, и наутро, опамятавшись, ярл никаких возражений не высказал. Обе стороны вели себя чрезвычайно предупредительно и учтиво, при том что знали: отныне они будут бдительно следить друг за другом. Скули не собирался признавать Хакона единовластным

королем, а советники Хакона не собирались мириться с непомерными аппетитами ярла. И у Скули, и у советников все помыслы были о власти и о том, кто кого первым перехитрит, но утром во время завтрака они смеялись, и шутили, и говорили друг другу любезности.

Среди дня ярл Скули неожиданно взошел на корабль и, ни с кем не попрощавшись, отбыл в Нидарос.

Король Хакон призвал к себе Дагфинна Бонда и спросил:

— Как ты думаешь, что было в том письме?

Дагфинн Бонд не смог дать ответ.

Да, ярл Скули не на шутку разгневался на советников четырнадцатилетнего короля. Еще несколько лет — и Хакон достигнет совершеннолетия, но править страной в одиночку юный король все равно не сможет. Надобно было создать административный аппарат, который будет в его распоряжении, когда придет срок. Первым делом королевским советникам предстояло изыскать способы управления Западными землями. Да и другие государственные задачи естественно было решать из Бьёргвина, который занимал более-менее центральное положение. Однако ж ярл Скули сидел в Нидаросе, претендуя на всю полноту власти, и осуществлять ее намеревался из Трандхейма. Продолжаться так до бесконечности не могло.

Король Хакон не хотел ссориться с ярлом. Наоборот, он желал обсудить со своим наставником и королевский совет, и разделение задач. Потому-то и надумал отправиться в Нидарос. Дагфинн Бонд и Гаут Йонссон тотчас вызвались его сопровождать. Король согласился, но при условии, что они не станут брать с собою слишком много кораблей и воинов: это могут превратно истолковать.

Ярл Скули ожидал короля за городскими стенами, и в ворота они въехали бок о бок, впереди свиты. Ярла встретили почетом и ликованием, но в честь юного короля ни колокола в церквах не звонили, ни процессий с курением ладана не устроили, хотя обычай был именно таков.

В Нидаросском соборе — новый сюрприз: жертву ярла архиепископ Гутторм принял и возложил на главный алтарь. А вот принимать жертву короля никто и не думал. Тогда король Хакон встал, прошел к алтарю и сам возложил на него свою жертву.

Королевская свита была потрясена и расценила это как демонстративное оскорбление. Ярл Скули молчал и даже не пытался ничего объяснить. После торжественной мессы Дагфинн Бонд прошел в ризницу к архиепископу и напрямик спросил его, почему он не оказал королю Хакону надлежащих почестей. Архиепископ Гутторм смешался, ему было неловко говорить, пока ярл находился поблизости, но в конце концов он выдавил из себя:

— Многие здесь не уверены, что он родной сын Хакона сына Сверрира.

Господин Дагфинн обмозговал этот ответ со своими людьми. А вечером отправился в архиепископские палаты и решительно попросил Гутторма принять его для конфиденциальной беседы.

— В настоящее время, — с убитым видом произнес Гутторм, — на нас оказывают некоторый нажим. Больше я ничего не могу сказать. Пусть король запасется терпением, тогда все уладится наилучшим образом.

— Я пришел не затем, чтобы запастись терпением, — ответил Дагфинн Бонд. — Король Хакон настаивает, чтобы Нидарос признал его наследственные права.

Архиепископ как-то странно взглянул на него.

— Я вполне понимаю, что королю необходимо законное признание. Равно как и ты, господин Дагфинн, вполне понимаешь, что нам хотелось бы чеканить в Нидаросе свою монету. Но нельзя же рассчитывать, что все наши мечты сбудутся разом? Верно?

Подобно своим предшественникам, архиепископ Гутторм всегда готов был договориться с теми, кто понимал его так, как надо.

Через месяц-другой в Бьёргвине назначили большое собрание, на которое неожиданно во множестве явились священнослужители. Бьёргвинский епископ Хавард встречал новоприбывающих у Сандбрутангена. В Хольмской крепости, стоя у бойницы, наблюдали за происходящим Хакон, Инга и Гаут Йонссон.

— Это вот епископ Ставангский, Хенрик, — пояснил Гаут.

— Тот самый, что разувается, — вырвалось у Хакона.

— А это Ивар, епископ Хамарский.

Инга невольно присмотрелась внимательнее.

— Я видела его в кошмарном сне, не видя наяву... Надо же, точь-в-точь такой, как во сне, только еще чернее и зловещее. А вот тот

бледный — я знаю, кто он: Оркнейский епископ Бьярни. Говорят, что он и Оркнейский ярл Йон держат сторону ярла Скули и положиться на них тоже никак нельзя.

— По-моему, — сказал Гаут, — ни один из епископов доверия не заслуживает. Ну разве лишь тот, кто как раз подъехал, но опять-таки, если улыбнется счастье привлечь его на свою сторону.

В толпе пробежал шум. Всем хотелось пробиться вперед и увидеть человека, который только что подъехал, потому что это был самый славный из норвежских священнослужителей — Николас Арнарсон, епископ Осло. Впервые за весь день народ так оживился, даже процессии, встречавшие архиепископа Гутторма и местера Бьярни из Нидароса, вызвали куда меньший интерес.

Инга мать короля знала, что Гаут имел в виду. Епископ Николас никогда не торговал своими убеждениями. Давши кому-то слово, даже устно, в конфиденциальной беседе, он никогда этому слову не изменял. Поэтому Николас Арнарсон тщательно взвешивал свои речи и если уж говорил, то каждое его слово имело непреходящую ценность. В свое время, давши слово Хакону сыну Сверрира, он проявил к королю редчайшее доверие. Как же он отнесется к сыну короля Хакона? А самое главное, верит ли он вообще, что мальчик — сын короля?

Все трое догадывались, что именно этот вопрос и будет обсуждать высокое собрание. Ярл Скули уже некоторое время находился в Бьёргвине, и все время к его резиденции потоком шли люди — сюссельманы, чиновники, высокие гости с разных концов страны. До глубокой ночи ярл вел секретные переговоры.

Советники и лендрманы короля сидели в крепости у Хакона, когда явились посланники — Бьёргвинский епископ Хавард и местер Бьярни из Нидароса, которым было поручено сообщить решение. Бьярни тотчас перешел к делу:

— Архиепископ Гутторм и ярл Скули шлют вам привет и просят, чтобы испытание каленым железом, предложенное минувшей весной, когда избрали короля, состоялось теперь, дабы пресечь кривотоллки о происхождении монарха.

Они ожидали чего-то подобного. И все же новый канцлер Дагфинн Бонд побагровел от гнева. Однако четырнадцатилетний Хакон жестом остановил господина Дагфинна прежде, чем тот успел открыть рот.

— Я не уверен, господа, — произнес король, — что мне стоит платить за ваши почести такую цену, поздновато вы спохватились требовать от матери короля и от меня столь унижительной проверки. Но я подумаю об этом и завтра утром в ризнице Церкви Христа дам ответ.

Засим он отпустил обоих священнослужителей.

Ярл Скули принудил церковь бросить перчатку и с превеликим трудом скрывал свое торжество. Наутро все почтенные и знатные господа, собравшиеся в городе, устремились в Церковь Христа. Скули со своим отрядом стоял у входа в большую ризницу* и приветствовал знатных гостей — с иными разговаривал, другим, что проходили поодаль, приветственно махал рукой, третьим, до которых и вовсе было не добраться, посылал радостную улыбку: мол, как же, как же, узнаю. Перед епископом Николасом Арнарсоном ярл буквально расшаркался, но славный князь церкви лишь сухо и сдержанно поздоровался и, не говоря более ни слова, проследовал в ризницу.

В скором времени помещение было набито битком. Когда все расселись по местам и двери закрыли, Дагфинн Бонд вышел на середину и подал кому-то знак: в распахнувшуюся боковую дверь вошел многочисленный отряд тяжеловооруженных воинов и быстро рассредоточился по всей ризнице. Собравшиеся ахнули, испуганно озираясь по сторонам. Неужто королевский канцлер задумал учинить кровавую баню? Если так — кто может этому воспрепятствовать? Ярл Скули одним из первых сообразил, что, прежде чем сказать свое слово, Дагфинн Бонд решил напомнить обеим сторонам, что сила за ним. Ход, достойный мастера, поневоле признал ярл.

Некоторое время Дагфинн Бонд наблюдал за собравшимися. Понимая, что к нему приковано всеобщее внимание, он не без удовольствия высказал то, что было на сердце:

— Сколько я ни размышлял, но так и не мог припомнить, чтобы в былые времена кто-то имел дерзость ставить самодержавному королю этакие унижительные условия, вдобавок когда он уже избран королем и народ присягнул ему на верность. Ведь требуют ни много ни мало как испытания каленым железом. Сдается мне, что тут бы

* В больших церквях и монастырях ризница нередко занимала отдельную постройку.

стоило испытать другое железо — холодную сталь против непокорных вассалов.

Услышав столь недвусмысленную речь, собрание заволновалось. И в этот самый миг четырнадцатилетний король Хакон встал и поднял руку, утихомиривая нервный шепоток, пробежавший по скамьям.

— Твоя правда, Дагфинн Бонд. Большинство королей явно сочли бы, что негоже обращаться к самому близкому на свете человеку с просьбой пройти ради них испытание каленым железом, тем более если король уже избран, и избран по закону. Когда моя матушка минувшей весной предложила это испытание, вы еще не избрали меня королем и не принесли мне клятву верности. Однако священники ответили ей тогда отказом, те же самые священники, которые теперь требуют испытания. Многие из сидящих здесь в свое время слышали от короля Инги и ярла Хакона, что они двое и ярл Скули сидят на моем королевском наследстве. Петер Стёйпер и Дагфинн Бонд засвидетельствовали, что мой отец Хакон сын Сверрира признал свое отцовство, а ведь ни господина Дагфинна, ни Петера Стёйпера никто лжецами не назовет. И если я все же не велю моему канцлеру Дагфинну Бонду наказать тех из вас, кто фактически заслуживает наказания, то лишь по одной причине: я желаю раз и навсегда положить конец всем сомнениям. Инга мать короля сию же минуту начнет готовиться к испытанию каленым железом.

Хакон решительно зашагал к главному выходу из ризницы и удалился, закрыв за собою дверь. Гости, едва опомнившись, поспешили за ним наружу и как раз увидали Ингу мать короля: она направлялась в Церковь Христа, чтобы начать предписанный недельный пост.

Дружинники Дагфинна Бонда сей же час стали в караул вокруг огромного собора, занявши заранее назначенные места. Все входы и выходы будут под охраной день и ночь, пусть Инга без помех предастся молитве и медитации. Ей принесли три меховых одеяла — постелить на пол да укрыться, и Инга устроила себе ночлег подле раки святой Суннивы. Засим она отослала своих помощников. Отныне посетить ее могли только король Хакон и Дагфинн Бонд, да и то если она пожелает.

— Вряд ли в этом возникнет нужда, — сказала Инга. — Вы же понимаете, мне необходимо побыть одной.

В определенные часы появлялись в церкви мальчики-певчие с кадильницами и курили ладаном, вблизи ее, но не совсем рядом, и не глядя на нее, и не заговаривая с нею. В определенное же время изо дня в день занимали свои привычные места на галереях малые и большие хоры монахов и каноников и в течение часа пели для нее псалмы. В остальном Инга была совершенно одна в огромной пустой церкви. Одна. Наедине со своими мыслями, день за днем, ночь за ночью. Наедине с собою.

С утра и до вечера взор ее мог следить переменчивые полосы света, падающие внутрь сквозь цветные витражи свинцового стекла. На рассвете снаружи весело щебетали птицы, галдя, шебаршились в кронах деревьев, раскачивали ветки.

Яркий солнечный свет, повторяя движения черных веток, осыпал мощные каменные стены зыбкими, трепетными узорами теней. На протяжении дня свет мало-помалу менялся, следуя солнцу и легкокрылым облакам, с востока на запад, медленно, неспешно. Исподволь, неприметно полосы света скользили по полу, по стенам. Затем свет вдруг утрачивал яркость, тускнел, навеяв дремоту. Усталое сияние дня неторопливо цедилось сквозь мглу курений, дымок жировых лампад и копоть толстенных восковых свечей. Последние его лучики тихонько ощупывали церковные скамьи, играли в грубоватой деревянной резьбе и наконец устраивались отдохнуть в аляповатых каменных арках, где нежились в тепле сонные мухи. На мгновение свет густел, вновь набирая яркости и как бы дрожа подобно крылышкам насекомых, — но лишь на мгновение. И тотчас угасал. Оставались лишь золотисто-алые блики, сотни зыбких огоньков — лампады и восковые свечи. Исполинские своды собора постепенно наливались вечерним сумраком и в конце концов нависали над головою крошечной тьмой — чернее ночи.

Тогда Инге вновь слышалось пение, хоть она и знала, что совершенно одна.

Всякий раз, как мальчики-певчие помахивали кадильницами или монахи пели на галереях псалмы, Инга тихонько сидела в своем уголке. В тех немногих случаях, когда являлись посетители, она обращала свои молитвы внутрь, безмолвная и сосредоточенная, чтобы после душа ее посылала их еще выше в небеса.

Оставаясь одна, Инга бродила по огромной церкви. Тогда можно было говорить вслух. Время суток не имело для нее значения. Много раз она останавливалась у могилы короля Сверрира и молила его о поддержке в предстоящем испытании. Она возьмется нести каленое железо ради его внука, на карту поставлено будущее Сверрирова рода. Потом она продолжала свой путь, преклоняя колена у святых образов. Чаще всего она молилась Деве Марии, Спасителю и Отцу Небесному. Вознеся молитвы этим трем, она, бывало, подолгу разговаривала сама с собою у другой гробницы. Ей нужно было многое сказать Хакону сыну Сверрира, которого она всегда называла своим супругом. Ведь именно он вовлек ее в эту историю. То, что предстоит, она сделает и ради него, и ради их сына, Хакона. И где бы он ни был, пусть по-мужски поможет ей выстоять.

А напоследок, прежде чем забыться сном подле раки святой Суннивы, она вслух беседовала со святой. Суннива тоже была женщиной, ей ли не понять, как много для Инги значит сын. Бренные останки святой Суннивы лежали так близко, и Инга уверилась, что святая слышит ее.

Мало-помалу Ингу охватило ощущение покоя и безопасности. Ужас, который терзал ее вначале, гнетущий страх перед тем, что может случиться, куда-то исчез. Она чувствовала, что вовсе не одинока. От каменных стен словно бы шли голоса, возвещавшие, что она получит помощь. И душа ее преисполнилась спокойной решимости. До сих пор она справлялась с возложенной на нее миссией, значит, сумеет исполнить и последнее, чего от нее требуют. Еще немного — и наследственные права мальчика будут обеспечены раз и навсегда.

Вот так шли дни для Инги.

В ночь со вторника на среду Дагфинна Бонда разбудили дозорные дружинники. Дверь была приоткрыта, и канцлер увидел, что они приволокли какого-то перепуганного незнакомца: схватили, когда он пытался проникнуть в крепость, но терялись в догадках относительно его намерений. Вряд ли его целью было убийство короля — оружия при нем нет, да и взяли его в совсем другом крыле. Твердит, что хочет поговорить с канцлером, господином Дагфинном, хотя им-то сдается, что он это сейчас придумал. Чтобы поговорить с королев-

ским канцлером, через стены по ночам не лазают. Тут недалеко в крепости ярлов человек Бранвальд, заплечных дел мастер. Может, разбудить его, пускай придет со своим инструментом?

Дагфинн Бонд оделся, вышел из опочивальни и присмотрелся к чужаку. Нет, прежде он никогда его не видел.

— Хочешь, стало быть, поговорить со мной?

— Да, господин. Я из голландских земель, зовусь Сигер.

— Слышу, выговор у тебя тамошний.

Дружинник шагнул к канцлеру и что-то шепнул ему на ухо. Господин Дагфинн повернулся к Сигеру и куда более резко спросил:

— У кого ты на службе?

Пленник, не задумываясь, ответил:

— У ярла Скули, господин, но я пришел сам по себе. Ярл не должен об этом знать. Потому я и пришел ночью.

— Чего же ты хочешь?

— По-моему, негоже подвергать красавицу Ингу мать короля великой опасности, позволяя ей нести каленое железо, когда есть от этого защитное средство. Я знаю секрет и открою его тебе, канцлер Дагфинн.

— Защитное средство? Какое же?

Сигер заговорил тише, словно посвящая господина Дагфинна в одну из величайших тайн природы:

— Завтра на рассвете ты повсюду увидишь этот секрет, господин. Сок травы, что растет на всех торфяных крышах, — вот мой секрет. Этот сок имеет защитные свойства, о которых никто почти не веда-ет. Натри им ее руки, и она не обожжется.

Господин Дагфинн молча смотрел на пленника. Затем вместе с начальниками караулов вернулся в опочивальню, а Сигера оставил под стражей. Закрыв за собой дверь, господин Дагфинн сказал:

— Этот человек определенно мошенник, и очень может быть, что его подослал ярл Скули. Но вот почему он явился с таким нелепым предложением? Не ловушка ли это?

— Может, они думают, что мы заинтересуемся и пошлем людей собирать по крышам эту траву, чтобы выяснить, правду он сказал или нет, — предположил один из дружинников, — а они проследят за нами: вдруг мы готовы пойти на обман. Небось и соглядатаев уже расставили.

— Ярл Скули не дурак, — заметил Дагфинн Бонд. — Возможно, он рассчитывает, что мы не пойдём в эту простенькую западную и повесим голландца.

— Этот Сигер, — сказал дружинник, — наверняка слывет мошенником. Коли мы его повесим, на нас же и возведут напраслину. Дескать, он обучил нас всяким обманным трюкам, и повесили мы его, чтобы убрать опасного свидетеля. Хоть траву собирай, хоть его повесь — все едино: история до того странная, что непременно поползут слухи и посеют сомнения в честности испытания.

Дагфинн Бонд решительно встал и, выйдя из опочивальни, сказал Сигеру:

— Пожалуй, мы сделаем так: натрем тебе задницу этой травой и посадим на уголья, на часок-другой. Так как, не возражаешь?

Сигер побледнел.

— Не делай этого, господин.

— Или же мы тебя повесим. Согласен?

— Этого я и вовсе не хочу, господин.

— Тогда есть третий выход, о котором твои друзья не подумали. Мы отпустим тебя на свободу, целого и невредимого. Убирайся вон, откуда пришел.

Так и закончилась странная история с Сигером.

Назавтра рано утром Дагфинн Бонд имел продолжительную беседу с архиепископом Гуттормом. Говорили они о многом, и с глазу на глаз, но позже Гутторм призвал к себе епископов Бьёргвинского и Ставангского. Все услышанное им надлежало хранить в тайне.

И вот наступил четверг — день испытания. Начало назначили на девять часов, после утренней молитвы. Под торжественное пение хора, меж тем как мальчики-певчие помахивали кадильницами, все занимали свои места. Сначала король Хакон с Дагфинном Бондом и Гаутом Йонссоном. Затем ярл Скули с многочисленной свитой. Ярл со своими людьми и король со своими учтиво раскланялись. Никто не улыбался.

Ходили слухи, что на этот раз у людей ярла под плащами будет спрятано оружие, хотя в церкви такое было под запретом. Поэтому Дагфинн Бонд на всякий случай тоже разместил вокруг своих дру-

жинников. У них под плащами уж точно было оружие, и большинство присутствующих догадывались об этом.

Архиепископ Гутторм, стоя у главного алтаря, наблюдал, как один за другим входили епископы и рассаживались по местам. Последним явился епископ Осло — Николас Арнарсон, встреченный с величайшим почтением; но он лишь смерил архиепископа Гутторма пристальным взглядом, словно что-то вызывало у него сомнения. Гутторм даже бровью не повел.

Наконец все расселись. Архиепископ Гутторм отслужил короткую мессу, снова запел хор, закурился ладан. Потом двое монахов внесли большой чугунный котел, до половины заполненный раскаленным жаром. Сверху лежал железный прут. Монахи поставили котел перед алтарем и отошли в сторону. Еще два монаха, каждый с кузнечными клещами, стали по бокам котла.

Двери отворились, и на пороге возникла Инга мать короля, в простой белой рубахе, бледная, но полная решимости; на миг она замерла, собираясь с духом. По церкви пронесся шепот — и воцарилась мертвая тишина. Инга спокойно подошла к котлу, затем отступила на семь шагов и остановилась. Монахи быстро подхватили клещами концы каленого прута, подняли его из котла и медленно направились к Инге матери короля.

Инга закрыла глаза, сосредоточилась. За краткие секунды, пока монахи шли к ней с прутком и еще не успели остановиться, — за эти краткие секунды перед ее внутренним взором промелькнула почти вся жизнь. Она видела Борг и Хакона сына Сверрира, слышала обрывки разговоров, вспомнила, как они познакомились, вспомнила роды и замечательного малыша, бегство и малыша, буран в горах и малыша, и как она прижала малыша к себе, когда Хакон Бешеный поднял забрало, и бегство от баглеров, и малыша... малыша, Хакона, малыша и Хакона... все сливалось в одно... и псалмы монахов звучали все проникновеннее, ладан... Хакон...

Внезапно Инга как бы проснулась. Протянула руки и обхватила прут, а затем прошла семь шагов к котлу и положила прут на место. Два первых монаха тотчас бросились к ней и наложили на руки повязку. Инга даже не поморщилась, ни звуком не выдала боли. Бледный и встревоженный Хакон бережно повел мать из церкви в королевские палаты. За ними последовали Дагфинн Бонд и Гаут Йонссон.

Все, кто присутствовал при испытании, поднялись, но не говорили ни слова. Кое-кто подошел к котлу, рассмотреть его получше. Теперь там стояли двое дружинников, наблюдая, чтобы люди не подходили чересчур близко и ничего не трогали. Кое-кто уже сделал определенные выводы, но предпочитал помалкивать. Иные тихонько перешептывались. Вправду ли железо раскалили докрасна? Этот вот прут — вправду ли им можно было обжечься? Долго ли монахи держали его на угольях, прежде чем внесли сюда котел? Кто наблюдал за испытанием — люди архиепископа Гутторма или дружинники Дагфинна Бонда? Монашеская ряса не доказательство; вполне могли быть и дружинники. Инге они, однако же, доверяли, она была честна и сама никогда бы не пошла на обман. Замечательная женщина! Не издала ни звука, но это еще не означает, что руки у нее не изуродованы. Может, на них сейчас жутко смотреть? Нет, это загадка.

Невысказанных и произнесенных шепотом вопросов было великое множество. Некоторые обращались к ярлу Скули, но ярл, похоже, был далеко не так уверен в исходе, как в первый день, когда назначили испытание. Поживем — увидим, сказал он. Вдобавок у господина Дагфинна кругом свои люди. Единственное, что ярл мог сказать со всею определенностью, это что продолжалось испытание на диво недолго. Тут все были согласны. Испытание кончилось невероятно быстро. Но, как заметил ярл, еще ничего не решено. Надобно несколько дней подождать. Вот снимут повязки, тогда все и узнают Господень приговор.

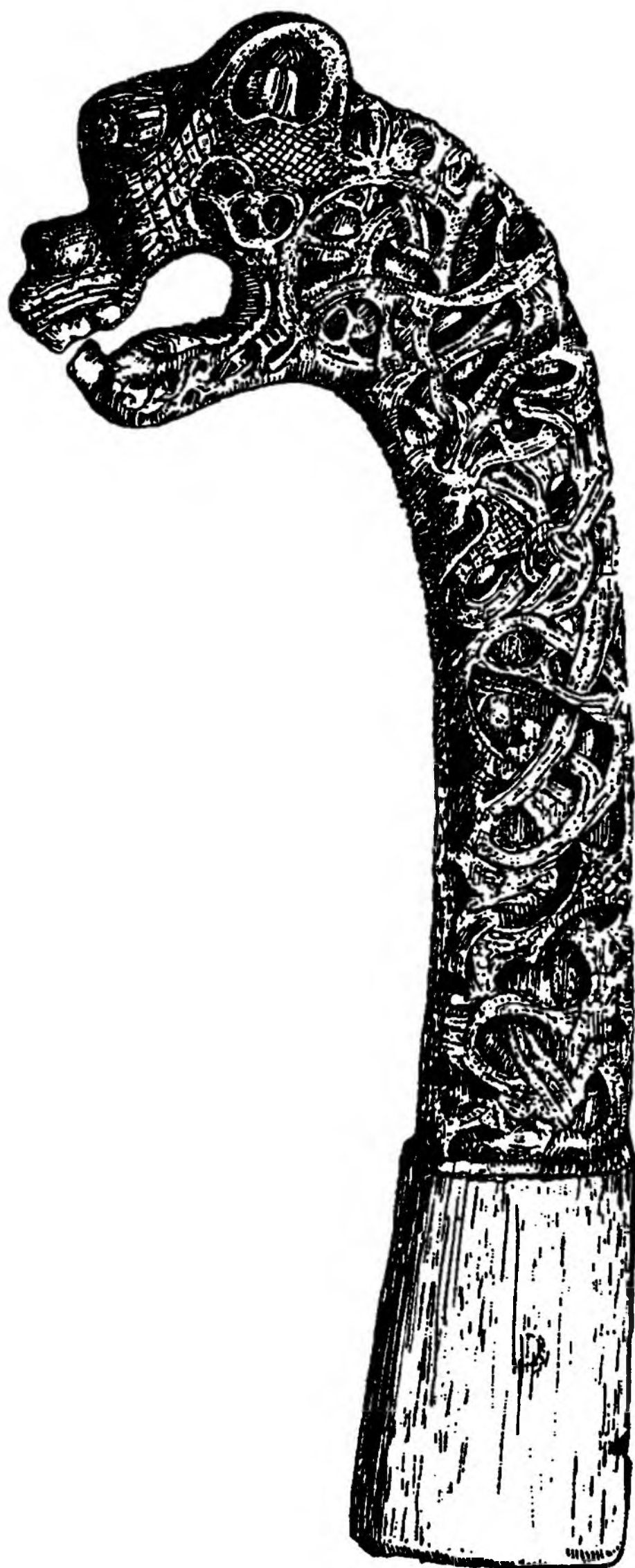
Миновали несколько предписанных дней, и обряд был продолжен. Вновь пел хор, вновь курился ладан, вновь все заняли свои прежние места. Архиепископ Гутторм отслужил мессу. И вот привели Ингу мать короля и сняли повязки. Инга подняла руки, чтобы всем было видно. Ладони были белые, без единого шрама. Ярл Скули невольно встал, будто не веря своим глазам. Возможно ли такое?

Зазвонили колокола, монахи запели гимны, биркебейнеры и дружинники возликовали, король Хакон и Инга мать короля пали друг другу в объятия, господин Дагфинн Бонд и господин Гаут сияли от радости. Большинство остальных от изумления потеряли дар речи.

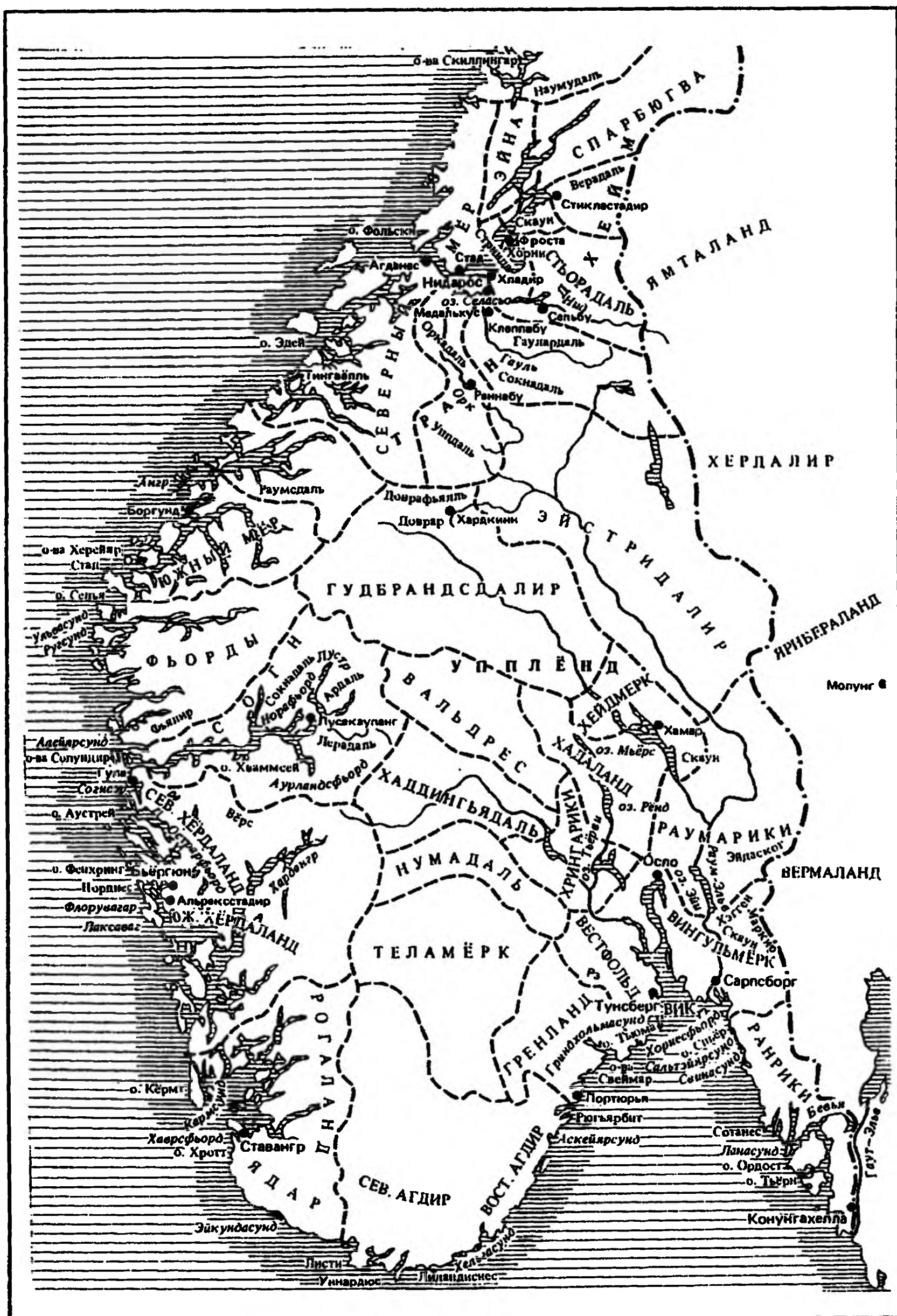
Наконец архиепископ Гутторм произнес последнее слово:

— Господь вынес Свой приговор. Король Хакон — родной сын и наследник короля Хакона сына Сверрира. Отныне под страхом кары запрещено задавать вопросы о происхождении короля.

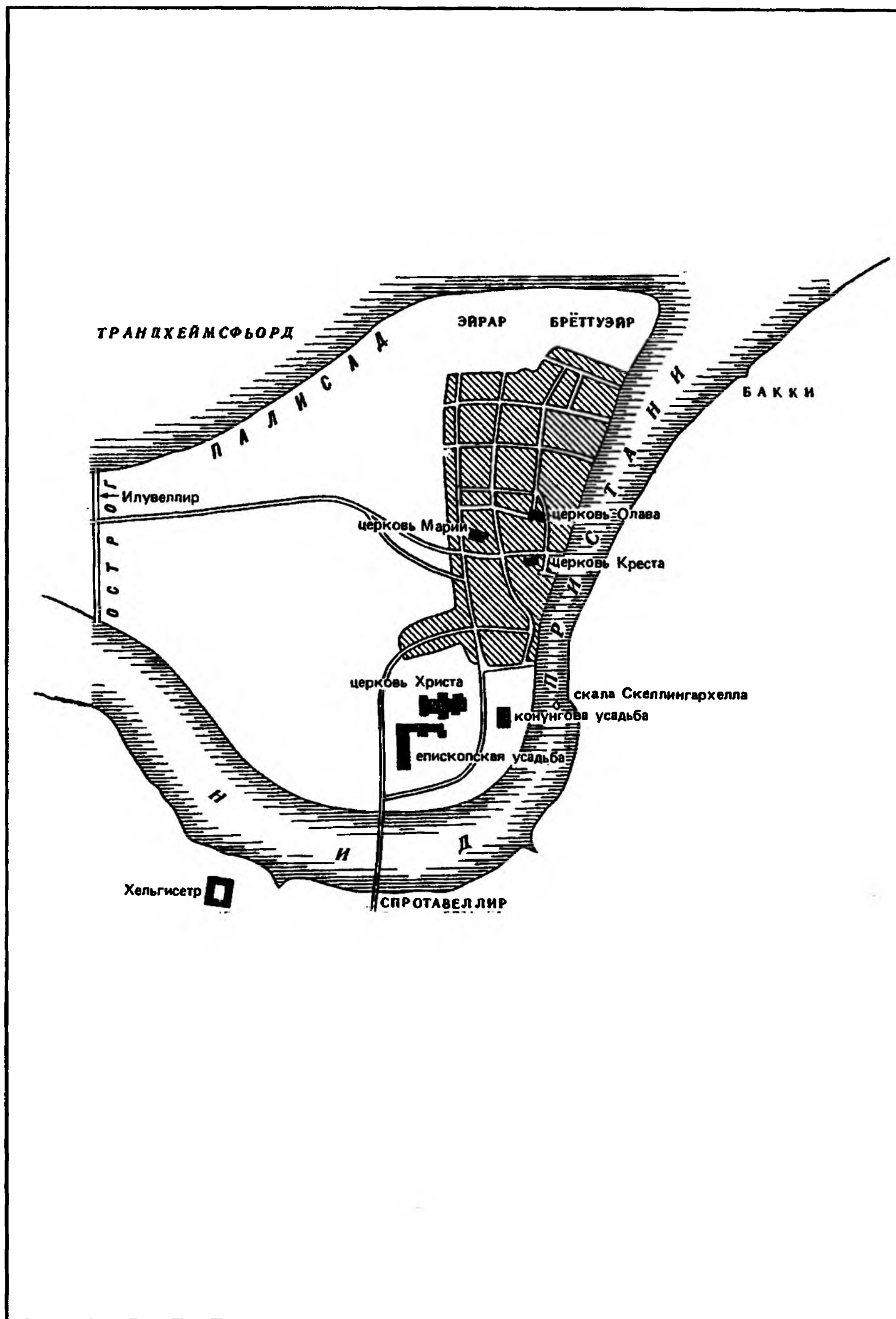
Немногим позже ярл Скули взошел на корабль, намереваясь отплыть в Нидарос. Род Хладиров утратил полноту власти, и ярл прекрасно понимал, что отныне Нидарос будет церковным городом, а Бьёргвин — королевским. Король Сверрир одержал решающую победу — через пятнадцать лет после смерти. Больше всего ярла Скули злило, что он недооценил Дагфинна Бонда и что юный Хакон Хаконарсон, возможно, станет бóльшим самодержцем, нежели он, Скули, рассчитывал. Но он намеревался отныне готовиться получше. Борьба за власть в Норвегии еще не развернулась. Это было только ее начало.



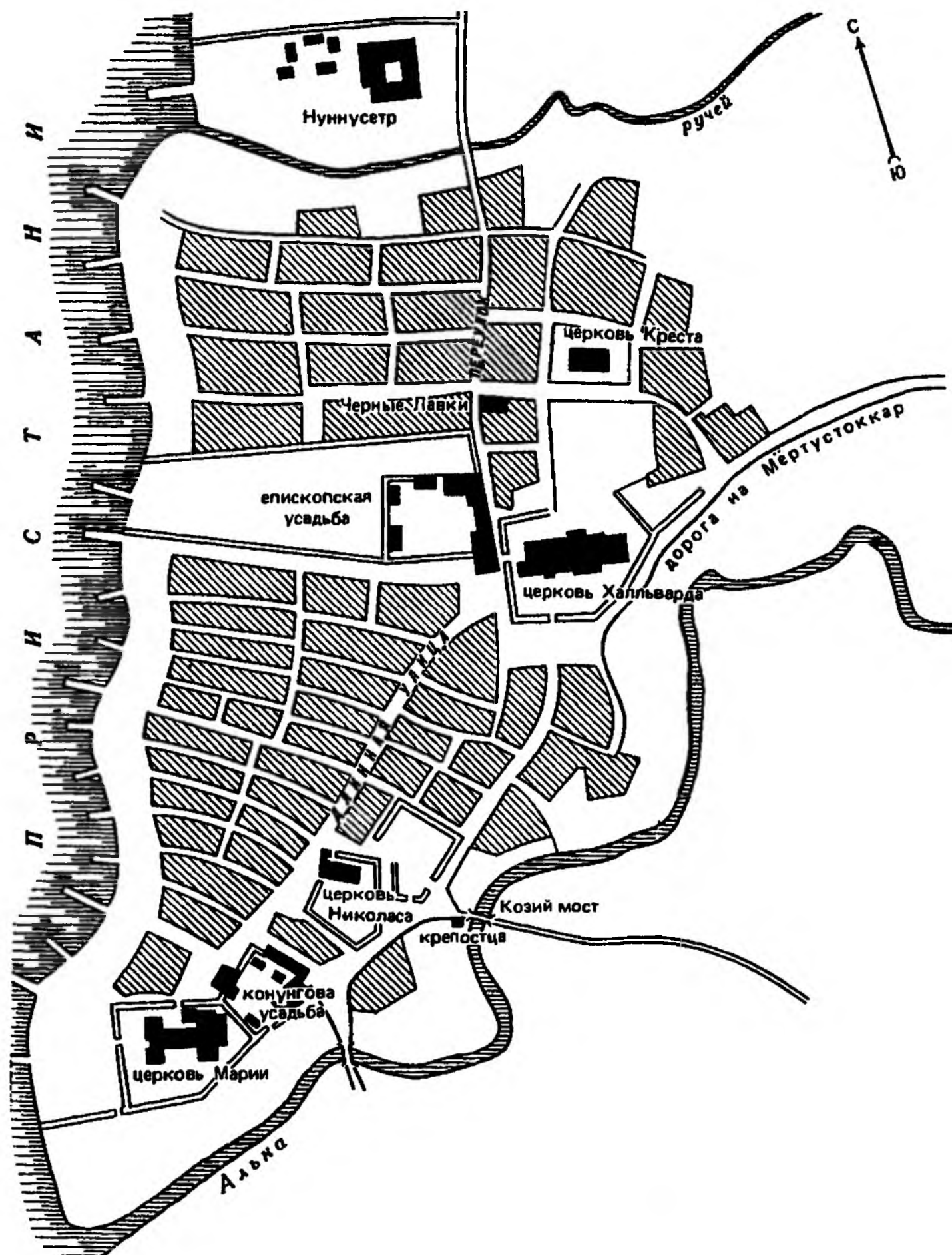
КАРТЫ НОРВЕГИИ XII – XIII вв.



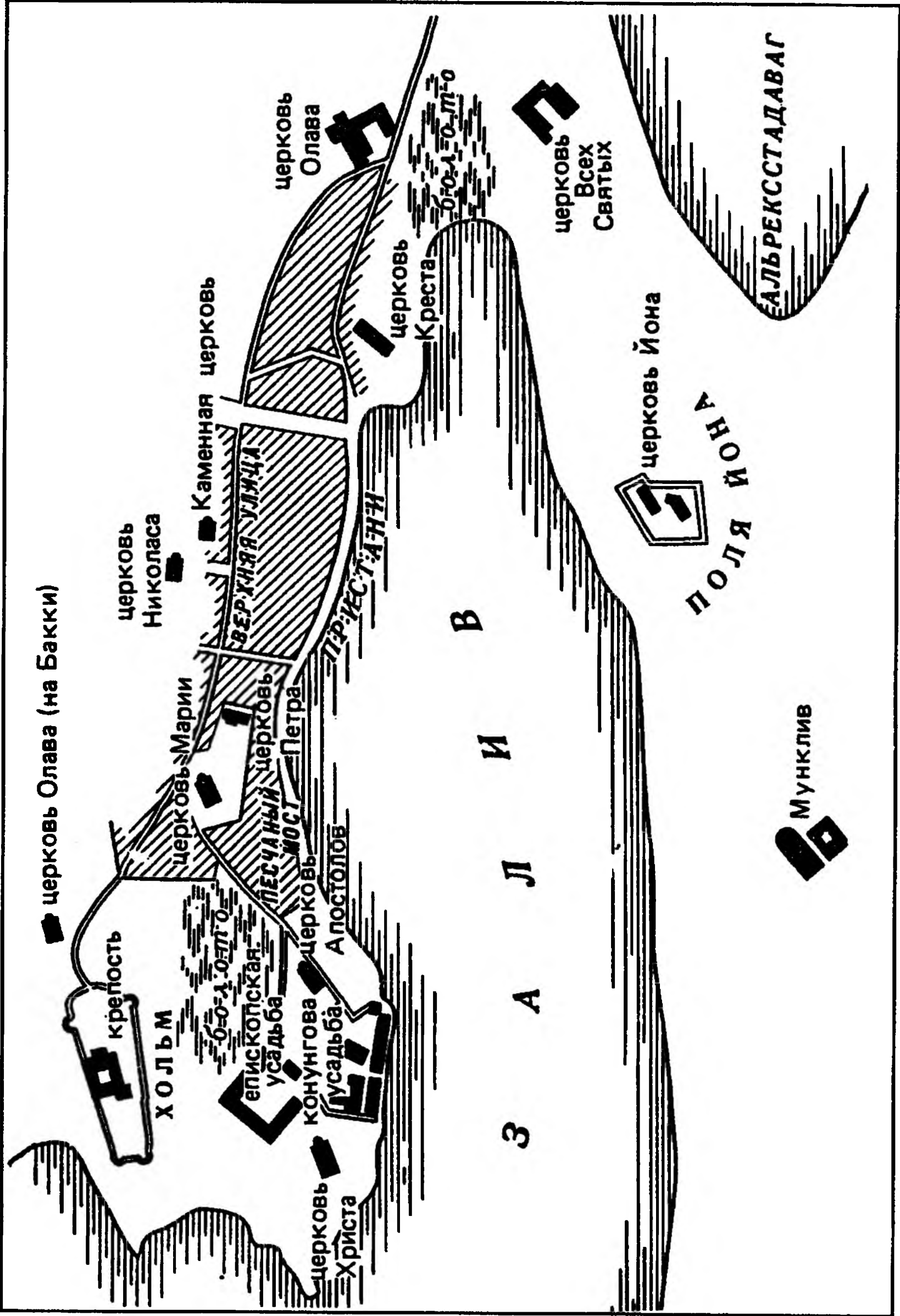
Карта 1. Норвегия XIII вв.



Карта 2. Нидарос, конец XIII в.



Карта 3. Осло, конец XIII в.



Карта 4. Бьёргюн, конец XIII в.

КОРЕ ХОЛТ
Конунг. Властитель и раб

ХАРАЛЬД ТЮСБЕРГ
Хакон. Наследство

Романы

Редактор
Н. Будур, Л. Горлина

Художественный редактор
И. Марев, Т. Хрычева

Технический редактор
Н. Привезенцева

Корректор
Е. Выборнова

Компьютерная верстка
Е. Фунтова

ЛР № 030129 от 23.10.96 г.
Подписано в печать 01.10.96 г. Уч.-изд. л. 32,85.
Цена 26500 р. Цена для членов клуба 24000 р.

Издательский центр «ТЕРРА».
113184, Москва, Озерковский наб.,
18/1, а/я 27.

Наследие конунгов.

Н 31 Холт К. Конунг. Властитель и раб. Тюсберг Х. Хакон , Наследство / Пер. с норвежск.
Е. Медяковой, Т. Чесноковой, Н. Федоровой. — М.: ТЕРРА, 1997. — 560 с.:ил. —
(Викинги)

ISBN 5-300-00982-2

В том вошли заключительная часть трилогии «Конунг» классика современной норвежской литературы К. Холта (первые две части включены в том серии под общим названием «Конунг») и роман современного норвежского писателя Х. Тюсберга «Хакон. Наследство», посвященные периоду «гражданских» войн и самозванничества (XI–XII вв.).

УДК 82/89
ББК 84 (4 Нр)

В серии



ВЫШЛИ:

Королевское зеркало

Мечи Севера

Девы битв

Хёвдинг Нормандии

Рыжий Орм

Тризна по женщине

Гроза Византии

Гарольд Английский

Русь и норманны

Вильгельм Завоеватель

Винланд

Конунг

Норманны в Византии

Эрик сын человека

Фритьоф Смелый

Фантастическая сага

Корни Иггдрасиля



Вышли из печати:

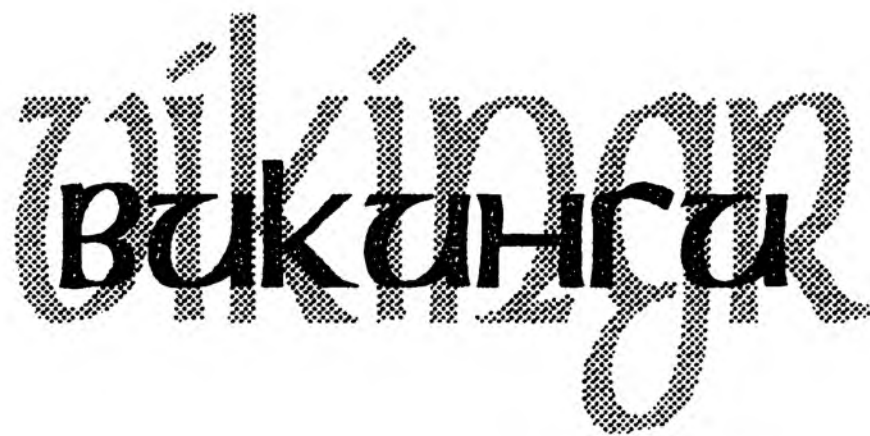
«НОРМАННЫ В ВИЗАНТИИ»

Плавая вдоль западного берега Франции, норманны стали проникать дальше на юг. В 844 г. викинги напали на поселения на Астурийском берегу, но были отбиты. Они разграбили много магометанских поселений, Севилью, разбили войско эмира.

В Италию норманны пришли в IX веке. В 1016 году немногочисленный отряд норманов-пилигримов, возвращавшихся из святой Земли, помог князю салернскому в борьбе с сарацинами, осаждавшими его город, и итальянцы, пораженные силой и храбростью викингов, стали приглашать их к себе на службу. С тех пор все новые и новые отряды скандинавских воинов прибывали в Южную Италию, и им вскоре удалось создать там маленькое норманнское владение, а некоторое время спустя Роберт Гюискар создал на Сицилии сильное государство.

Встречались норманны и в Византии, где императоры высоко ценили их храбрость и силу и за это брали их в свои дружины.

О приключениях викингов в Византии и Южной Италии вы узнаете из очередного тома нашей серии, куда вошли романы «Норманны в Византии» известного французского писателя Г. Леру, «Викинги на Сицилии» знаменитого барона А. фон Шакка и «Ожерелье Странника» классика английской приключенческой литературы Р. Хаггарда.



Вышли из печати:

«КОРНИ ИГДРАСИЛЯ»

«Боевые раны до костей, праздничные здравицы допьяна, струны, лопающиеся под рукой вспылившего певца, кольчуга, разрывающаяся от порывистого дыхания разгневанного витязя...

Бесстрашное, презирающее смерть мужество, суровая доблесть и бодрая жизнерадостность; миросозерцание в высшей степени положительное и деятельное; и как идеал посмертного блаженства — не туманные чертоги расплывчатого созерцательного рая, а крытая золотыми щитами Валгалла, где властитель богов наделяет своих избранников добрым оружием и ежедневно водит их в битву, чтобы после жаркого боя вернуться в светлый чертог для веселого пира, для жен и мудрых бесед...» («Старшая Эдда»)

Таким был мир викингов, такими были и их предания, песни о богах и героях, хвалебные песни...

В очередной том нашей серии вошли лучшие образцы литературы «эпохи викингов» — избранные песни «Старшей Эдды», отрывок из «Младшей Эдды», некоторые саги и пряди об исландцах и, конечно, скальдическая поэзия.

Издание рассчитано на широкого читателя и снабжено комментариями.

vikings

Вышел в свет очередной том серии:

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ САГА»

«Придумать зеленое солнце легко, — писал в одном из своих писем Дж. Р. Р. Толкин, — трудно создать мир, в котором оно было бы естественно».

А как сделать так, чтобы жестокий и суровый мир викингов превратился в волшебную сказку, полную таинственных превращений и великих подвигов, леденящего душу колдовства и чар изящных эльфов? Да еще такую, чтобы взрослые люди не захотели захлопнуть книгу с этой сказкой, а читали бы ее не отрываясь?

Для этого нужна такая малость как Талант.

Фантастический роман столь популярен в наши дни, что серия «Викинги» просто немыслима без тома, в который не были бы включены лучшие образчики этого жанра.

Имена Гарри Гаррисона и Пола Андерсона известны во всем мире, и нашим читателям повезло, что и они не остались равнодушными к воинам с Севера!

Древние скандинавы считали, что существует девять миров: Асгард (мир асов), Ванахейм (мир ванов), Альфхейм (мир альвов), Мидгард (мир людей), Ётунхейм (мир ётунов), Муспелльсхейм (мир огня), Свартальхейм (мир темных духов), Нифльхейм (мир карликов), Хель (мир смерти).

Вот по всем этим мирам Вам и предстоит совершить путешествие на страницах этой книги.

*Книги издательства «ТЕРРА»
можно купить в магазинах по адресу:*

113399, Москва, ул. Мартеновская, 9/13,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 1.
Тел. 304-57-98, 304-61-13

113216, Москва, б-р Дмитрия Донского, 14 б,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 2.
Тел. 712-34-54

123022, Москва, ул. Красная Пресня, 29,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 3.
Тел. 252-03-50

129110, Москва, пр. Мира, 79, стр. 1,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 4.
Тел. 281-81-01

или заказать по адресу:

109033, Москва, а/я 66.

vikings

«Когда конунг понял, что конец его близок, он сказал:

— Когда я умру, откройте мне лицо, дабы и друзья мои, и недруги могли сами видеть, появится ли на моем теле какой знак в подтверждение того проклятия и отлучения, которому предали меня мои враги.

<...>

Его тело было пышно убрано, как того требовал обычай... и все, кто там находились, впоследствии свидетельствовали, что никому из них не доводилось прежде видеть покойника с таким прекрасным лицом».

«Сага о Сверрире»

Впервые в мировой книгоиздательской практике «ТЕРРА» издает серию «Викинги», в которой представляет литературные произведения, повествующие о славных подвигах и приключениях морских разбойников Средневековья.

